Виктор Голубев

БОМБА В ГОЛОВЕ

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Всякое зло оправданно, если при виде его бог наслаждается», – так выражалась первобытная логика чувств, и действительно, – первобытная ли только?

Фридрих Ницше, «К генеалогии морали»

**1**

Яркий солнечный свет, проникавший по утрам в комнату, большим прямоугольным пятном ложился на стену напротив. На ней висела репродукция под стеклом, и отражённые сочные блики в течение получаса неминуемо проползали по голове больного. Отвернувшись, в сотый раз приходилось изучать замысловатый рисунок обоев. Он снова просыпался в полной растерянности и, пока игривые потоки фотонов гладили темя и затылок, блуждал в потёмках сознания, с огромным трудом приоткрывая дверку в реальность, прилагая неимоверные усилия, чтобы понять картину окружающего его мира.

Воздух подрагивал, новое утро, нарождавшееся добрым светом, привносило мир и спокойствие. Те далёкие отвлечённости, что терзали его накануне, казались надолго забытыми и вообще потусторонними, в чём он пытался убедить себя всякий раз, как только обнаруживал, что страхи его связаны лишь с тёмным временем суток, если не совершенно надуманные.

Палата была двухместной. В другом углу лежал сосед, который вообще ничего не соображал, таких здесь было много. Доктор с сожалением сообщил, что в раздельные помещения положить их не может и, поскольку поведение обоих не вызывает опасений, вполне допускает их соседство. Больной этот тихий, мешать ему не будет, однако за ними на всякий случай намерены присматривать – так надёжнее. Впрочем, заверения доктора о безучастности данного субъекта к событиям оказались несколько опрометчивыми: сосед действительно смотрел на всё пустым, отрешённым взглядом, но имел свойство подолгу приставать и вёл себя довольно нудно. Насколько он помнил, они были вместе с самого начала. Провалы памяти, когда реальность вдруг куда-то уплывала, случались раньше довольно часто. Сквозь сон он чувствовал, будто кто-то кричит и угрожает ему и его славный сожитель при этом обязательно попадается ему под руку, отчего летаргическая отрешённость того казалась теперь странной, чуть ли не наигранной. Если тот видел когда-то его возбуждение, смотря в упор предметно, почему сейчас в тех же самых глазах не случается обнаружить ни одной искры интеллекта?

Потихоньку жизнь наполнялась содержанием. Он вспоминал, где находится, вспоминал, сколько нудных часов проводил в бестолковом торчании у окна и в коридоре, и, однако, чувствовал, что не может отдать себе отчёт, чем занимался в течение довольно продолжительных периодов времени. Не то чтобы они выпали из головы вообще, какая-то связь с внешним миром существовала. Но припомнить досконально своё «я» в такие моменты не удавалось. Даже вообще определить, когда заканчивался сон и начиналось пробуждение.

В коридоре послышался шум, возвещающий о начале повседневной больничной суеты. Правда, сама суета здесь вовсе не означала какие-то разговоры и перемещения пациентов и не включала в себя ничего осмысленного с их стороны. Кто-то передвигал стулья, кто-то заглядывал в комнату, ворчал или корчил рожи, но всё это не вызывало ровным счётом никакого интереса, поскольку заранее было известно, что в речах этих, вскриках, вопросах и угрозах отсутствует всякий смысл и никакое событие ни в какое из последующих мгновений не способно будет придать им дополнительный оттенок. Ощущение твёрдой основы в сознании большинства обитателей клиники, при которой они понимали бы, что делают, отсутствовало напрочь. Всякое сиюминутное подключение внимания способно было только запутать отученные от серьёзной работы мысли. Поэтому лучше было вообще забыть о существовании здесь жизни, о характерах и поступках людей, не реагировать на их нескончаемую возню, не утруждать себя поиском причин страдальческой гримасы какого-нибудь психа, а погрузиться в небытиё, некое состояние сосредоточенного медиума, при котором движение, сидение и стояние равносильны спокойному естественному сну, в мягкой постельке под тёплым одеялом, полёту простой безмятежности удалённого от мирских забот ребёнка.

В восемь часов приходила сестра, перемещаясь по комнате в строго заданных направлениях и производя несколько традиционных, вероятно, заученных до автоматизма действий. Она раздвигала на окне шторы, трогала графин с водой и обмахивала тряпкой подоконник. Затем, не обращая на них внимания, тихо удалялась, не оставив никакого намёка на реальный эффект своего присутствия. Невольно на ум приходила мысль, что ей просто необходимо было удостовериться, что они на месте, никуда не сбежали, не умерли и с ними не произошло за ночь ничего экстраординарного. Больше её визит, похоже, не имел никаких целей. Если невзначай он встречался с ней взглядом, даже когда смотрел на неё в упор, она воспринимала его как застывшее каменное изваяние, не отличающееся живым интересом к окружению, словно он бездушный истукан, который можно было отключить от внешнего мира простым поворотом ручки, как телевизор. Вероятно, ей и в голову не могло прийти, что её могут здесь о чём-то спросить или просто перекинуться с ней парой незначительных фраз. Выработанные в ней навыки невосприятия здешних больных в принципе – только по долгу службы, который она ограничила минимумом необременительных для себя обязанностей, – прочно въелись ей под кожу, до того даже, что одного взгляда на неё было достаточно, чтобы понять, что это совершенно чужой для вас человек. Если же её уха касалось какое-нибудь произнесённое вами слово или вполне членораздельная просьба, она смотрела на вас с таким изумлением, будто заговорило какое-то доисторическое животное, а язык его изначально неизвестен никому на свете. Даже раздражаясь, она никогда не имела в виду вас. Это было какое-то тихое раздражение, притом что, будучи достаточно энергичным человеком, она при желании никому не давала спуску.

Однажды он попробовал вызвать в ней некое подобие добрых чувств, подняв оброненный ею пустой флакон и улыбнувшись. Она не ответила взаимностью, которая так и напрашивалась в данной ситуации. Тем более стало обидно, что её чёрствость определённо выглядела демонстративной.

Он повернулся лицом к соседу. Тот по-прежнему лежал пластом, уткнувшись в подушку, так что вызывало опасения его самочувствие: насколько легко ему было дышать? Но нет, по мерному вздыманию тела, совместно почему-то с ягодицами, можно было заключить, что с этим всё в порядке – больного до сих пор одолевает глубокий сон.

В палату влетела дежурная по этажу:

– Мальчики, подъём! – Она отдёрнула край одеяла у его изголовья. – Все уже давно встали, а вы до сих пор в постели! Скоро завтрак.

Она так же быстро умчалась, чтобы то же самое сказать в других палатах. Ёе слова были хорошо слышны по всему этажу.

В коридоре уже вовсю шаркали и стучали, кто-то монотонно бубнил у них под дверью. Он поднялся, чисто механически проследовав в ванную комнату, и замер у зеркала, чтобы в тяжёлой борьбе мыслей вспомнить наконец, для чего туда пришёл.

Тонкая струйка воды, когда он коснулся её, вызвала повторное оцепенение. Нет, решительно незачем было делать то, что не доставляло никакого удовольствия. Какой необходимостью был вызван каждодневный ритуал мочить руки и лицо, жертвуя для этого занятия своим душевным спокойствием? Его раздражала заключённая в утреннем умывании какая-то глупая условность, и, лишь вспоминая, что раньше он делал это постоянно, вполне осознанно, глубоко удовлетворяясь охватывающей его при этом бодростью, успокаивался окончательно, как будто даже внутренне преображаясь, словно и не было только что желания разбить раковину стулом.

Освежённый влагой, трезвел взгляд, вроде бы даже чётче стали выглядеть предметы. Он снова обнаруживал неоспоримую пользу умывания, тут же и терзаясь муками забывчивости, словно осознавая своё минутное опьянение. А сколько таких помутнений рассудка, в которых он теряет реальность, могло ещё быть?

Медленно выполнив то, что необходимо было сделать, он вернулся в комнату и обнаружил, что сосед сидит на кровати, тупо уставившись в одну точку и почти не моргая.

«Вот ведь человек. Ему, наверное, ничто не мешает. – На мгновение больного охватила растерянность. – Думает ли он? Если думает, то его выдержке можно позавидовать».

За соседом обычно ухаживали, но сегодня никто не приходил. Возможно, это обстоятельство и вызвало у того обеспокоенность. Однако вид его ни о чём не говорил вообще. Застывшая фигура и пустые стекляшки глаз характеризовали этого лунатика как абсолютно отрешённое от мира существо. Его везде нужно было водить и ко всему подталкивать, иначе он так и помер бы, не в состоянии сообразить о самых насущных своих потребностях.

Слабый отголосок жалости к субъекту, который ничего не мог делать самостоятельно, не позволил ему оставить человека одного. Он подхватил его под руки и заставил подняться:

– Пойдём со мной. Не бойся, я рядом. Я тебя провожу.

Сосед на это никак не отреагировал, однако слабыми шажками поплёлся-таки вперёд, увлекаемый напарником в сторону туалета.

– Вот так, осторожнее. Разве можно лежать, ничего не соображая? Так всю жизнь пролежишь и никому не будешь нужен.

Он впервые проявил участие в отношении этого несчастного, ещё недавно сам не обладавший способностью ориентироваться в пространстве. Ему вдруг отчётливо захотелось помочь соседу, всем сердцем. И такой радостью откликнулось в душе доносящееся из туалета слабое журчание, когда тот сподобился наконец справить там малую нужду, что ему захотелось рассказать об этом любому встречному. То было счастье – осознать результат помощи ближнему, хоть она и явилась совсем незначительной и не была, возможно, такой уж необходимой.

Он плохо помнил, как сюда попал. Туманное представление о том злосчастном спектакле, который разыгрался в стенах научной лаборатории, обрывки каких-то выкриков, угроз, безумное поведение его сотрудников – всё это смешалось воедино, превратившись в голове в полнейшую кашу. Плотной пеленой закрылись не только недавние события, но и отдалённые горизонты жизни, заставив подозревать, что обычное недовольство его окружением имело слишком резкую форму проявлений постоянно. Теперь его запросто можно было вывести из равновесия, напугав рассказами о буйном помешательстве, присовокупив туда, наверное, то, чего и не было вовсе, и слепив из домыслов ужасную историю. Он давно никому не верил, относясь с подозрением к любым попыткам осветить в его памяти прошлое. Он противился встречам с друзьями и собеседованиям с психиатрами, которые донимали его постоянными тестами, словно рассказывая в доверительных интонациях ребёнку, как отнимут у него вкусную конфету. Как же он возненавидел их, здешних психиатров! И ненависть эта, похоже, не была беспочвенной. Такая данность, первая здравая мысль, пришедшая ему в голову, когда он стал отличать чёрное от белого, клетки от полос, ввела его в ступор, заставив тут же глубоко уйти в себя, и он подсознательно ощутил признаки того ужаса, который привёл его в нынешнее место пребывания.

Теперь же, будто в противоположность сделанным открытиям, хотелось больше позитива, и он интуитивно почувствовал, как этого можно достичь. Он помог соседу надеть халат, вернее, настоятельно посодействовал тому просунуть в рукава руки, затянув на его поясе кушак, и они вышли в коридор.

Это было самое оживлённое место в клинике. В одном его конце находилась столовая, в другом – просторное фойе с мягкой мебелью и телевизором – что-то вроде общественной гостиной. У большинства больных состояние покоя не соответствовало приглушению их моторных функций. Они жестикулировали, говорили, неосознанно двигались, отчего их местом пребывания в каждый конкретный момент времени мог быть любой закоулок здания, поэтому в коридоре практически всегда кто-нибудь находился. Правда, за пределы этажа, за исключением летних прогулок, им выйти не давали.

У дверей им тут же повстречался Счетовод, как его тут все называли, который на протяжении многих дней вёл трудную работу по умножению и делению вслух огромной вереницы чисел. Причём, если задаться целью, можно было установить, что вычисления он производит с абсолютной точностью, возвращаясь через несколько шагов к полученным ранее результатам и подставляя их в новое выражение. Говорили, что за всё время пребывания здесь он уже выполнил в голове несколько сотен тысяч операций, добравшись до десятизначных чисел.

Парень скривил рот, скрючил в напряге пальцы: он выглядел очень отстранённым. Кроме того, у него было сильное косоглазие на оба глаза, и, обращаясь к нему, никто не знал точно, в какой глаз ему смотреть: оба взгляда были направлены мимо вас. Он блуждал в прострации, хотя доктор неоднократно подталкивал его, пытаясь направить его мысли на рассмотрение конкретных бытовых вопросов. Доктор всегда советовал больным помогать друг другу, поощряя интересы и внимание собеседника. В частности, чтобы вывести этого парня из цикла, требовалось настойчиво пытаться вовлекать его в самые простые разговоры. Наверняка ведь в его подсознании ещё остались где-то реальные образы и переживания, возможно, даже те, что спровоцировали клинический синдром. И если девяносто девять из ста адресованных ему реплик пропускались мимо ушей, то какой-нибудь самый незначительный нюанс поведения или оттенок речи мог заставить его заново пережить глубоко забытую драму, запустив тем самым прежний механизм жизнедеятельности.

Однако, что касалось данного субъекта, любые попытки заговорить с ним уже давно не давали никакого результата. Здороваться с парнем было бесполезно – он всё равно ответил бы двузначной степенью какого-нибудь числа, – и они проследовали мимо.

Мелко шаркая, его знакомый плотно вцепился ему в руку и будто даже с какой-то целеустремлённостью тянул вперёд. Из-за поворота вынырнула старшая сестра:

– Канетелин, почему сосед без присмотра?

Вопрос прозвучал так, словно в этом был виноват он лично, а его присутствие рядом с больным ни о чём не говорило. Вскрывать недоработки персонала клиники вопросом не по адресу было в её стиле. Впрочем, он её не понял, не зная, как в данном случае правильнее поступить: пропустить её слова мимо ушей, отвернувшись в сторону, либо промямлить что-либо двусмысленное, как у него выходило – он это чувствовал – в других случаях. В результате получилось ни то ни сё: он засунул свободную руку в карман и неопределённо присвистнул. Вышло как-то слишком вызывающе.

Сестра ничего не приняла на свой счёт. Само собой разумеется, она относилась к нему так же, как и ко всем остальным, среди которых попадались откровенные идиоты. Разбираться в тонкостях болезней, равно как и в тонкостях души, было не её делом.

Соседа у него забрали через несколько минут. Когда они пришли в столовую, того посадили за стол и кормили из ложки, как малыша. Он делал всё, что его просили, в отличие от других, которые, находясь в достаточно людном помещении, теряли спокойствие, всё время подозревая, что за ними кто-то наблюдает, или наблюдали сами. Процесс поглощения пищи многих не интересовал, хороший аппетит здесь вообще был из разряда нонсенсов. Кто-то размазывал по тарелке кашу или спал с открытыми глазами, собираясь с далёкими мыслями перед обременительной трапезой. Один косился по сторонам, работая челюстями украдкой. Ему казалось, наверное, что он и не ест вовсе, а выполняет шпионскую миссию. Причём антураж столовой, заполненной потенциальными врагами, доводил его до такой степени напряжения, связанного ещё и с полным выпадением из памяти собственно задания, что его беспокоил любой шум, производимый посетителями как вблизи его, так и в дальних углах помещения. В связи с этим готический хохот какого-то бедолаги, которому показались очень смешными гримасы за столом напротив, вывели этого тайного агента из себя, он рванул рукой за отворот пижамы и с корнем вырвал на ней пуговицу.

«Неужели я так же доставляю всем неудобства? – думал наш герой, держа в кулаке ложку. – Они не различают меня, но уже не любят, как и всякого, оказавшегося по недоразумению рядом. Им улыбаешься, но они не воспринимают тебя как личность – ты для них просто ходячее настроение, причём не самое лучшее, по всей видимости, настроение».

Словно в подтверждение этих мыслей, смеявшийся заплакал – видимо, ему ответили на его весёлый оскал недружелюбно. Утренняя бодрость совсем потеряла смысл. Атмосфера казённой заботливости среди кучи проблем, которую представлял из себя каждый обитатель клиники, вновь удушила его в своих объятиях.

«Как беспокойно. Почему, всего лишь поглощая завтрак и выпивая чай с бутербродом, приходится морщиться, будто это самое неприятное занятие в твоей жизни? И почему невозможно сделать это в спокойной обстановке? Они все так мешают. Ведь некоторым приносят еду прямо в палату, хотя по виду они не хуже и не лучше меня».

С некоторых пор сквозь туман безумия к нему стали возвращаться вполне чёткие, здравые мысли, и первые понятия, которые полноправно начал генерировать мозг, касались его отношения к окружающим. Он стал замечать убогость больных, что приводило к невольному от них отдалению, поскольку сам он, подспудно подозревая неладное, уже не мог смириться с тем, что находится в этом мрачном диком отстойнике, где первой реакцией любого нормального человека на увиденное является сочувствие. Тяжело было воспринимать себя частью этого мира, но ещё большей тоской иногда накатывало чувство безысходности, поскольку, не вполне ещё оправившись от трагедии, он не мог представить себе, что где-то вовне существует другая жизнь: более правильная, разумная, интересная. Оттого он боялся здешних психов, и вся эта ватага нехристей будто подозревала в нём чужака, как бы норовя обидеть его, чем-то задеть, по мере возможности уязвить его достоинство. Во всяком случае, ни один взгляд постояльцев заведения, ни одна никчёмная, самая пустая фраза не давали повода усомниться в их враждебной сущности.

В коридоре кто-то дотронулся до его плеча. Обернувшись, он уткнулся в одутловатое мрачное лицо.

– Доктор сказал вам прийти к нему, – коверкая слова, натужно выговорил незнакомец.

В его поведении не было и намёка на безумство, он выглядел вполне вменяемым. Однако в то, что он сказал, верилось с трудом.

– Он просил вас прийти сейчас же, – чуть более раздражённо повторил просьбу доктора незнакомец и, почуяв неладное, занервничал.

Очевидно, говоривший подумал, что его не понимают или умышленно игнорируют – такое он вообще принял бы за катастрофу, – оттого его левая щека задёргалась, глаза округлились и в горячем неистовстве зрачки забегали вправо-влево.

Заметно было его замешательство. Его поза выражала растерянность, он хотел было сказать что-то ещё, но запас просьб и, очевидно, слов, отражавших добрые намерения, иссяк. У него вдруг судорожно затряслись пальцы, и он сильно сжал их в кулак. Воинственный вид его возник как-то сам собой. Ничто не предвещало его негодования, однако молчаливый и несколько заторможенный образ того, к кому он напрямую обращался, был для него оскорбительным.

«Вот она, их болезнь, – пронеслось в голове. – Страшный миг отчаянного страдания, принимающего безотносительный намёк как форму надругательства над личностью».

Возникшая ситуация разозлила также и нашего героя. У него завибрировала губа. Он давно уже понял: если вибрирует губа, значит, он испытывает злобу. Почему он должен сдерживать себя при явном проявлении недружелюбия со стороны? Может быть, они все в тысячу раз ему противней.

Они стояли напротив друг друга, чуть ли не грудь в грудь, и только не смотрели сопернику в глаза. Если бы смотрели в глаза, наверняка случилось бы непоправимое, а так каждый негодовал по-своему. Было странно наблюдать эту нелепую сцену – незримую борьбу так запросто лишившихся равновесия типов. Незнакомец уже побагровел, чувствуя направленный на него негатив, до самых отдалённых уголков сознания проникшись ненавистью к своему оппоненту.

Но Канетелин вдруг отбросил упрямство, совершенно ясно увидев выход из положения. Он широко и мило улыбнулся, что давно ему было несвойственно, и тихо, можно сказать, даже трогательно проворковал:

– Обязательно навещу его сей же час. Спасибо.

И, оставив незнакомца стоять с раздутыми ноздрями, с медленно выходящим на эконом-режим биением сердца, эффектно обогнул его сбоку, горделиво поплыв в направлении лестницы.

Однако так же легко пробиться сквозь тоскливый монумент охранника ему не удалось. Тупой рыцарь уж точно не поддался бы на благозвучный тон его речей, тому было вообще наплевать, в каком настроении находится пациент. После долгих неумелых объяснений, в результате которых его быстро поставили на место, после звонков главврачу и уточнения правды, которую он десять минут пытался донести до человека в серой форме, его наконец-то пропустили вниз по лестнице, унизительно доложив на следующий пост, что идёт такой-то и такой-то. И в тишине лестничных пролётов он наконец обрёл долгожданный покой, спускаясь по широким ступеням с явным наслаждением.

Кабинет главврача находился на первом этаже, вход туда предвосхищала длинная комната с пальмами в кадушках и большими непонятными картинами.

Широкая дорогая дверь, подпружиненная механизмом в петлях, мягко и беззвучно отвалилась в сторону, и он оказался лицом к лицу с властителем здешних судеб. Ему показалось, что он видит его впервые.

– А, Ларий Капитонович. Рад, что вы сумели откликнуться на мою просьбу. Проходите смелее, не стесняйтесь.

Главврач увлёк его за собой и усадил в глубокое мягкое кресло.

Кабинет был просторным и светлым. Полки стеллажей занимали расставленные в беспорядке издания в аляповатых цветных обложках, а также множество непонятных вещиц: то ли затейливых настольных украшений, то ли каких-то макетов. Над рабочим столом доктора, как и принято, висело несколько важных для него сертификатов и дипломов в рамках. Сам стол был безупречно чист: на нём стоял только монитор компьютера, а также подставка с дорогой представительской ручкой.

– Простите за мой профессиональный интерес, – начал доктор, присев напротив, – но я специально устроил вам проверку. Мне захотелось знать, как вы воспримите возникшие трудности. Сначала вам надо было поверить одному из наших пациентов, который передал вам мою просьбу. А потом преодолеть пост охраны на этаже, где о моём поручении никого не предупредили. Скажу прямо, я не ожидал от вас такой рациональности действий. Вы молодец. Можно смело сказать, что вы уверенно идёте на поправку.

«Зачем он так? – пронзило острым жалом в голове. – Он говорит со мной как с несчастным недоумком, в то же время зная, что я фактически способен понимать каждое его слово».

– Вам нужно знать своё нынешнее состояние, а также, извините, то, кем вы были до этого, – словно отвечая на его немой вопрос, продолжал доктор. – И именно потому, что я в вас верю, мне следует, наверное, более детально описать, что вы пережили.

Ему был представлен отчёт, в силу умения и художественных способностей рассказчика описывающий один день несчастного из того времени, когда в нём господствовали, как страшная чума, кошмарный нрав, ужас, убожество, мракобесие. Воспоминания об этом уже затёрлись в памяти и не смогли бы самостоятельно воскреснуть из небытия ни завтра, ни потом, ни вообще когда-либо в будущем. Он узнал себя интуитивно. Ещё на дальних подступах к описанию мрачных эпизодов своего существования он понял, о чём идёт речь, и первый же пример столь вежливо предлагаемой ему как полноценному собеседнику правды привёл его в лёгкое замешательство.

Далее последовала паника, охватившая его всего до кончиков пальцев. Никаких слов не хватило бы, чтобы описать его состояние в данный момент, поскольку сидевший рядом ирод с острым проницательным взглядом просто кромсал его на куски. Ему было больно почти физически. Он не трясся, не свирепел, но по его глазам было ясно, какому стрессу он подвержен, едва заметным движением тела гася те непонятные судороги, больные всплески эмоций, что отвечали на безжалостные речи специалиста. Вжавшись в мягкое кресло, спасительно утонув в нём, он слушал почти что приговор, ужасаясь величине несчастья, творящегося рядом с ним, с кем-то здесь ещё, в конечном счёте напрямую сейчас указанного, – с ним самим.

– Это… это не я, – после минутного затишья выдавил наконец он пред ясным взором экзекутора, искусно терзающего его сердце страшной фантасмагорией.

– Нет, Ларий Капитонович, это вы. Это действительно вы.

Потянувшись к столу, доктор стукнул несколько раз по клавишам и повернул в его сторону монитор. С экрана на него смотрело жуткое человекообразное, в котором с трудом можно было выделить какие-либо узнаваемые черты.

– Это запись пятимесячной давности. Всё это время с тех пор мы пытались выдернуть вас из чёрного лабиринта расстройства, и, можно теперь с уверенностью сказать, небезуспешно. Теперь, когда ваш мозг в состоянии отражать реальность такой, какая она есть, мы можем подключить к делу ваши эмоции и заняться психотерапией. Тогда процесс восстановления пойдёт быстрее.

Он явно был доволен собой и говорил так, будто выступал перед солидной аудиторией. Как истинный творец, он испытывал особые чувства к человеку, который являлся удачным примером его научной и врачебной практики.

– То, что вы узнали себя, как бы это тяжело для вас ни было, очень хорошо, – продолжал доктор. – Животные, например, не узнают себя в зеркале ни при каких условиях. Только не обижайтесь, ради бога, я не хотел сказать о вас ничего скверного. Я только отмечаю, что функции вашего мозга постепенно нормализуются, вы приходите в исходное состояние, причём более быстрыми темпами, чем следовало ожидать. После такого глубокого кризиса выбраться удаётся далеко не каждому… Но давайте не будем о грустном. Я уверен, у нас с вами всё сложится наилучшим образом.

Он вальяжно раскинулся на диване, будто собирался помечтать о самом сокровенном.

– Теперь мы можем наладить курс реабилитации, опираясь на пробудившиеся мотивы, даже если они ещё не совсем чётко обозначены. Поверьте, то, что с вами было, обязательно должно быть вам известно. И сейчас, зная всё, вы с двойным усердием должны стремиться к прежней жизни, преодолев неприязнь к этому безумцу, – он махнул рукой на экран монитора, – а значит, и страх перед будущим. – Картинка на мониторе исчезла. – Вы ещё упорней должны стремиться к полноценному контакту с миром. Я вам в этом помогу, не сомневайтесь.

Мягкий, убедительный тон доктора сам собой внушал доверие. Он сидел закинув нога на ногу, будто разговаривая на досуге с коллегой, казалось, совершенно не беспокоясь о том, насколько его слова доходят до пациента.

– Давайте попробуем начать с малого. Я буду спрашивать вас простые вещи, а от вас потребуются только односложные ответы: да – нет, хорошо – плохо. Если хотите, можете давать какие-то пояснения, это ваше право. Говорите что угодно, импровизируйте… Только не напрягайтесь так, я не собираюсь вас оценивать. Расслабьтесь.

Он, безусловно, волновался. Боясь своей речи, боясь обнаружить внешнюю неадекватность своего поведения, когда реакция опережает мысли, он больше молчал, создавая впечатление некой притуплённости сознания. Да и вид его пока действительно не внушал оптимизма. Однако на слух он воспринимал информацию вполне сносно. То, что говорил доктор, хоть и не сразу, но доходило до него почти в полном объёме, и даже оттенки речи в виде сарказма или тонкого юмора он вполне распознавал и мог дать им оценку.

– Вчера вы подрались с одним из наших клиентов. Вы были рассержены?

Он растерянно вытаращил на доктора глаза, будто его застали за неблаговидным занятием. Но через мгновение успокоился, словно придя в себя, даже несколько преувеличенно обозначив отсутствие интереса к затронутой теме, и утвердительно кивнул.

– Чем он вам не понравился? – продолжал доктор. – Он приставал к вам? Корчил рожи, толкался, был назойлив?

Было неприятно, когда простыми, казалось бы, вопросами его ставили в тупик. Как можно определить своё отношение к людям, не зная, насколько ты способен увидеть их такими, какие они есть? Требовать отчёта в такой ситуации бессмысленно. Это его путало, в такие моменты он запинался, выдавливая из себя первое, что приходило в голову.

– Что конкретно вывело вас из себя?

– Он омерзителен. – В подтверждение сего факта пришлось состроить соответствующую гримасу.

– Омерзителен? Но он больной, вы должны это понимать. Не всякий человек способен быть приятным настолько, насколько вы этого хотите. Иной раз смысл заключается в том, что правда не соответствует первым впечатлениям. Вы не находите?

Он промолчал, естественно. Как и в прошлый раз, стало непонятно, чего от него хотят. Сейчас он почувствовал раздражение относительно субъекта в белом халате, сознательно отнимающего его время на бессмысленный допрос.

– Вы набросились на самого тихого и безобидного обитателя клиники, в моём представлении ничем не способного задеть вас в принципе. И ему я верю больше, чем вам, хотя соображает он хуже. Вам не кажется это странным?

– Нет.

Ответ прозвучал столь трезво и убедительно, что заставил доктора на мгновение забыть о своей тактике и немало удивиться. Однако спустя несколько секунд он вновь увидел перед собой больного, страдающего странным психическим расстройством, создающего вокруг себя новый, совершенно не похожий на прежний мир.

Главврач сменил позу, чуть подавшись вперёд, как бы давая этим понять, что намерен более внимательно отнестись к словам пациента.

– Скажите, вы добрый человек?

Можно было бы ответить сразу, но доктор словно предчувствовал, что он теперь ревностно относится к любому высказыванию в свой адрес, поэтому более скрупулёзен в обдумывании решений и обязательно повторит этот вопрос про себя.

Добрый ли он человек? Как это можно определить? Сентиментальный точно.

Он вдруг вспомнил, совершенно отчётливо, эпизод из своей жизни, как однажды прогуливался по зелёному летнему скверу, удовлетворённый текущим положением дел и довольный успехами в аспирантуре. Он сладко вдыхал воздух бытия, который в тот момент удачно совпал с ароматом цветущей черемухи и лип. Навстречу ему по аллее быстро шла молодая мамаша, а за ней бежал полутора-двухгодовалый ребёнок. Он заметил их ещё издали, поскольку женщина сразу произвела на него какое-то странное впечатление. Та везла на верёвке игрушечную машинку, которую с немалым усердием пытался догнать карапуз. Но всякий раз, как только малыш приближался к любимой игрушке, мамаша ускоряла шаг и увозила от него красивую вещь на довольно значительно для детских ножек расстояние.

Так повторялось несколько раз. От весёлой игривости, сияющей на лице ребёнка, уже не осталось и следа. Он с детским вожделением достигал наконец источник своего счастья, приседая и чуть ли не касаясь ручками ярко раскрашенной пластмассы, но мать с тупым изуверством дёргала за верёвку, и машинка опять уезжала от него в неизвестность, отчего он неопределённо хмурил брови, удивлялся, но стоически пока не уступал накатывающей комом обиде.

Когда они поравнялись с ним, мать в очередной раз не дала малышу насладиться радостью жизни, выдернув игрушку из-под самого его носа. С гортанным хохотом она отбежала на несколько шагов вперёд, весело крикнув: «Костя-а-а. Давай-давай догоняй».

«Ну хватит уже!» – точно металлом по асфальту, резануло внутри негодование. У него сжалось сердце. Он безумно любил детей, и столь бесчеловечную пытку этого милого беззащитного существа практически уже не мог сносить.

Мальчишка, конечно, заплакал. Глупая мамаша, совсем не понимавшая, похоже, своей вины, резко оборвала спокойный утренний моцион малыша. Не предвещавшая никаких неприятностей прогулка, наверное, в очередной раз закончилась одёргиванием, непонятным недовольством родительницы, оставив в душе ребёнка горький осадок обиды и несправедливости.

Ему до такой степени стало жалко малыша, что он ещё долгое время не мог тогда успокоиться. Он переживал этот эпизод, как будто это произошло с ним, остро чувствуя противостояние детского сердечка грубой простоте родительской навязчивости. Он живо представлял, как бы тот радовался, когда без малой доли каких-либо усилий малышу досталась хоть часть той теплоты и душевности, которую он сам испытывал к детям. В подобные минуты на него всегда накатывала странная помесь любви и раздражения, один такой эпизод способен был расстроить его неимоверно. Сейчас он только вспоминал, что было, но переживания за ребёнка вопреки отдалённости во времени пришлось испытывать ещё ярче, чем тогда, ещё эмоциональнее.

И другой случай тут же воскрес в памяти, в противоположность первому позволивший душе наполниться мягким добрым счастьем. Он вспомнил улицу весенним погожим днём и катающегося на велосипеде мальчишку, который со всего хода въехал в огромную лужу, желая, очевидно, лихо её проскочить. Но у велосипеда прямо посередине лужи неожиданно слетела цепь, и парнишка застрял в неприятном удалении от ближайшего края суши. То ли от испуга за целостность механизма, то ли от досады, что поломка случилась в самом неподходящем месте, то ли предвкушая недовольство мамы, когда он явится, сильно промочивший ноги, – скорее там вскипело всё разом, – он заплакал, потрясённый коварством неудачи, обречённо глядя по сторонам в поисках поддержки.

Канетелин как раз проходил мимо, и горе пацанёнка невероятно сильно его задело.

– Чего ты плачешь? Подумаешь, беда какая. Не переживай, сейчас всё исправим.

Парнишка с готовностью подошёл к нему, несмотря на мокрые ботинки, довольный тем, что хоть кто-то проявил к нему участие. Всхлипывая по инерции, он с надеждой поглядывал на то, как неизвестный дядя налаживает цепную передачу, насаживает звенья на зубцы звёздочки, прокручивает её, чтобы восстановить нормальное зацепление. А когда колёса закрутились с той же лёгкостью и быстротой, что и раньше, бесконечно довольный, вскочил на своё транспортное средство и помчался дальше, забыв неудачу так же скоро, как она его настигла.

Не сказав ни слова в благодарность, мальчишка покатил по мостовой, но разве можно было тогда упрекнуть его в невоспитанности? Однако, словно опешив в догадке, уже отъехав от него на десяток метров, парнишка резко затормозил, обернувшись, и после некоторой паузы широко и счастливо ему улыбнулся, точно давая понять, что помощь мужчины ни в коем случае не осталась им незамеченной. Вот это и было настоящее «спасибо», оставшееся в памяти на всю жизнь.

Душа наполнилась теплом, ощущение огромной радости охватило его тогда невероятным порывом. Стало легко дышать, любить, он любил всё на свете, никакие бури, капризы коварной судьбы не смогли бы повлиять на его чувства. Одна благодарная улыбка ребёнка сделала его богатым в тот день до уровня самой возвышенной одухотворённости. Какой бы ни вышла его жизнь, он точно знал свою защиту, в тревоге и борьбе находя успокоение в том, что смог когда-то и кому-то помочь. Он часто вспоминал потом этого мальчика, и ноющей болью отзывалась душа, когда воспоминания эти неожиданным образом накладывались на чувство тоски и одиночества…

Он вышел из кабинета и облокотился на подоконник, всё это было ужасно неприятно. После долгого разговора с главврачом он чувствовал себя крайне опустошённым. Он вынужден был морщиться и страдать от невыносимой тяжести прошлого, однако те немыслимые цели, которые преследовал, очевидно, этот хитрый терапевт, остались для него неясными.

Что может этот доктор? Он взялся ковыряться в его душе, надеясь увидеть в ней нечто обыденное, подпадающее под сетку стандартных теоретических выкладок. Но как он способен ему помочь, если никто не знает, от каких корней растёт его несчастье? Если явной болью, физической болью в груди и суставах, отдаются самые простые переживания прошлого, которых хотелось бы поменьше, чтобы не тревожить себя понапрасну всякой мерзостью. Ему пытаются сказать, что было раньше. Задают наводящие вопросы, отчищают суеверия давних дней от традиционной пыли, налипшей толстым слоем на память, точно последней он сто лет уже не пользовался. Но им невдомёк, что эта связь ничем ему уже не поможет. Чтобы жить нормально, функционально двигаться, работать, нужны потуги в ином направлении, и нащупать пульс его стремлений можно, совершенно не вдаваясь в подробности кабалистических изысков.

Иногда он ловил на себе проницательные взгляды, даже здесь, в клинике, находясь в бредовом состоянии. Но чаще люди мешали ему, вставляли палки в колёса, и это единственное, что умели делать злобные дилетанты, бесконечно далёкие от сути его проблем. Сами их мысли и слова, их действия, имеющие примитивное толкование, его мало беспокоили. Он ненавидел всех их в совокупности, и в этой своей ненависти никого не различал. «Доктор умён, но блуждает уж слишком далеко. До меня ему не добраться», – с этой резюмирующей мыслью он отправился назад в свою палату.

Но, может, здесь хотят его погибели? Задавить, замучить, как большинство мелких душ этого странного заведения? Тогда ему не довершить начатое, и никто уже не будет способен установить наконец-то справедливость. Некому будет сделать последний шаг, чтобы наказать злодеев их же собственными методами.

Он приблизился к зоне отдыха на своём этаже, там было на удивление спокойно.

В разных местах, кто сидя, кто стоя, больные замерли, наблюдая новости на большом экране телевизора, где рассказывали о произошедшей только что жуткой катастрофе. Войдя в зал, он органично влился в компанию напуганных увиденным шизофреников.

Искорёженный металл, разбросанные вещи и кое-где мелькавшая в кадре кровь ввели присутствующих в ступор. Даже отвлечённый, тяжёлый взгляд некоторых неадекватных замер в направлении экрана, словно они угадывали в произошедшем настоящий ужас. Казалось, факт трагедии был единственным событием, который все понимали одинаково.

Он смотрел на всё это, отмечая свою уникальную предрасположенность к пугающим мотивам, и по его лицу скользнула едва заметная зловещая ухмылка.

**2**

Утром шестнадцатого на федеральной трассе МN недалеко от города взорвался туристический автобус.

По предварительным данным, бомба находилась внизу в багажном отделении. Взрывом прорвало днище салона и разворотило обшивку, автобус практически переломился пополам. Двигаясь на большой скорости, он вылетел с дороги, несколько раз перевернулся на откосе и загорелся, превратившись в груду чёрного искорёженного металла. Все пассажиры и водитель погибли.

Через два часа того же дня на перегоне M–L потерпел катастрофу скоростной пассажирский поезд. Заряд сработал в одном из первых вагонов, искорёжив его до безумных форм. Взрыв был настолько мощным, что состав слетел с рельсов, протаранив ближний лес, и, навалившись на деревья, замер в зигзагообразном положении. Некоторые вагоны встали над землёй домиком. Прибывшие на место крушения спасательные бригады работали до вечера, людей с переломанными костями и черепами свозили в ближайшие больницы. Жертв было много, масштаб содеянного выглядел ужасающим.

Весть о террористических актах – а в том, что это были террористические акты, никто уже не сомневался – заполнила собой все новостные выпуски. Корреспонденты передавали репортажи с мест событий и пытались по крупицам собрать информацию, черпая её у представителей власти. Как всегда, информация была скудной, малопонятной и противоречивой, словно выдавали её разные службы, ни сном ни духом не знавшие, что делают в данном направлении другие. Однако причины подобного замешательства у знавших истинное положение вещей были. Дерзость, чёткость и планомерность проведённых операций вызвали внутри компетентных органов изрядное напряжение, поскольку по поводу замышлявшихся актов у них не было абсолютно никакой информации. Прогремевшие взрывы явились как гром среди ясного неба, заставив всполошиться серьёзные аналитические отделы, проспавшие и направление, и время, и форму вражеской атаки. Это выглядело тем более устрашающим, что в череде злодеяний днём ранее произошла ещё одна подобная этой трагедия. На воздух взлетел припаркованный у тротуара автомобиль, причём именно в тот момент, когда мимо проезжал троллейбус с пассажирами. В автомобиле сидел человек, но странность его убийства, если это было убийством, – в людном месте, с жертвами среди простых граждан, – сразу же вызвала множество вопросов.

Способ подрыва, заставивший всполошиться спецорганы, был таким же, но тогда это случилось впервые. Было время подумать, проанализировать ситуацию, сопоставить данные с наработками в других странах. На расследование отводилось достаточное в таких случаях время. Однако теперь, когда диверсия приобрела тенденцию к повторению, причём в гораздо более серьёзных масштабах, и неизвестно было, сколько ещё подобных взрывов прогремит по стране, в среде ответственных лиц это вызвало настоящую панику.

Столь сильное беспокойство было обусловлено всего лишь одним, но очень существенным обстоятельством. Во всех трёх случаях работавшие на местах профессионалы, тщательно обследовавшие каждый сантиметр исковерканных металлоконструкций, каждую складку матерчатых изделий, все кусочки предметов и мелкие обугленные обломки, не обнаружили никаких следов присутствия какого-либо взрывчатого вещества. И вообще ничто не указывало на наличие в эпицентре каких-либо взрывных устройств.

Видавшие виды специалисты по взрывному делу были обескуражены. Сначала решили копать глубже, надеясь найти то, что с первого раза, возможно, упустили. Однако время шло, изучение материалов не прекращалось круглые сутки, а положительных результатов так и не было. Кроме факта ошеломляющей силы взрывной волны, действовавшей изнутри транспортных средств, ничего другого достоверно утверждать было нельзя. Тогда к делу решили привлечь нескольких серьёзных физиков и химиков, взяв с них подписку о неразглашении, полагая с их помощью хоть немного пролить свет на столь необычный и современный метод ведения войны. Но и их консультации ни к чему не привели. Обсуждение фактов неимоверно затянулось, и это производило удручающее впечатление, поскольку действительность по-настоящему пугала. С момента взрыва автобуса у главы спецкомиссии по расследованию этих преступлений шли постоянные совещания: составлялись списки, отрабатывались различные версии случившегося, проверялись данные, рисовались схемы, высказывались самые нелепые предположения, учитывающие научные достижения и применение всевозможного оборудования, – но сказать что-либо определённое о случившемся никто пока не мог.

Все эти сложности возникли на уровне следствия и высшего руководства страны, обыватель же ничего о них не знал. Обыватель думал, что расследование идёт своим чередом, что бы там ни случилось. Он, как и раньше, напряжённо вглядывался в телеэкран, но после того, как узнавал о страшных событиях, беззаботно отправлялся на прогулку, чертил схемы или засовывал в рот остатки сладкой булочки. У него были свои заботы, он не мог думать о последствиях случившегося, он мог только пугаться или пренебрегать информацией, опутавшей тайной всю систему управления. Он даже не предполагал, что у компетентных органов могут возникнуть в процессе расследования подобного рода проблемы…

На улице светило солнце и пели птицы. Прозрачный воздух после утренней грозы дурманил ароматами парковых насаждений. Веселилась детвора, не имеющая понятия о необходимости каждый день вставать и идти на работу. Весь мир излучал радость, но настроение было мрачным.

Тяжким грузом давила тоска. Виталий брёл по дорожке, уже давно пройдя место встречи, не решаясь остановиться, будто в движении легче переживалась горечь утраты и сильный, шокирующий удар от увиденного. Ему даже не показали то, что осталось от Олега, его давнего закадычного друга, однако по форме и объёму содержимого чёрного пакета можно было определённо сказать, что это было мало похоже на человеческое тело. Олега опознали родные по металлическому медальону, который он носил на груди с пятого класса, никогда с ним не расставаясь. Это был подарок отца, какой-то знаковый, Олег придавал ему особое значение, притом что с родителями у него были довольно натянутые отношения. Оттого, наверное, их с Виталием дружба и явилась для него тем прочным основанием, которое позволяет чувствовать себя в жизни по-настоящему комфортно. У них было много совместных мероприятий – пожалуй, все интересные события в жизни Виталия можно было смело делить на двоих.

Отчего-то вдруг сразу вспомнились мгновения их детской беготни, милые ребячливые шалости, Виталий натужно выдохнул, чтобы подавить тоску, понимая, что давать волю эмоциям теперь не время и не место. Зря он пришёл на встречу пораньше. Свободное время безраздельно заполнялось воспоминаниями, не давая отвлечься на рабочие моменты, и ему стоило больших трудов вернуться к действительности.

Чёрный сверкающий глянцем «майбах» неслышно подкатил в назначенное время. Виталий, машинально глянув по сторонам, по-деловому открыл дверку автомобиля и уселся рядом с водителем.

– Как всегда, вы пунктуальны, – бросил он в сторону строгого, респектабельного вида мужчины, сидевшего за рулём.

– У меня не очень много времени. В два часа совещание у главного, не хотелось бы опаздывать.

– Наверное, вы пойдёте туда не с пустыми руками. В такого рода делах любые сведения могут иметь решающее значение.

Только теперь Виталий внимательно посмотрел на собеседника. Хозяин автомобиля выдержал взгляд журналиста с присущей ему невозмутимостью и затем мягко погасил его профессиональное любопытство:

– Это дело особой важности. К сожалению, ничего существенного я вам сообщить не могу, потому что лиц, владеющих всей информацией, не много. Меня могут легко вычислить.

– Тем не менее на встречу вы согласились.

Собеседник будто ждал этих слов, но ответил не сразу:

– Согласился. – И снова взял некоторую паузу.

Виталий работал в серьёзном аналитическом издании, специализируясь в вопросах военно-политических исследований и глобальных угроз. Его статьи выходили регулярно почти каждый месяц, отличаясь скрупулёзностью подобранных фактов, снабжённых чёткими, зрелыми комментариями. Однако в данном случае глубоким противоречием в нём столкнулись два чувства: абсолютная ясность во всём, присущая простому обывателю, и полное непонимание произошедшего, исходя из знаний опытного, сильного аналитика. Поэтому нынешний разговор, который в любой момент мог завершиться ничем, представлялся ему чрезвычайно важным.

Приехавший на встречу с ним человек был его тайным информатором, сливавшим данные скорее не из-за денег, а исходя из побуждений высокоразвитого интеллектуала, желающего слышать и донести до других альтернативные точки зрения. Звали его Глеб Борисович.

– Всё это очень странно, – задумчиво произнёс он, уставившись в панель управления автомобиля.

– Что может быть странного в терактах?

– В самих терактах ничего, но вот в мотивах исполнителя…

Виталий замер в ожидании:

– Вам что-то известно?

– Нет. Ничего мне не известно. – Глеб Борисович устало мотнул головой. – Я только размышляю… Совершенно очевидно, что это дело одной и той же группы лиц или, может быть, даже одного человека. Но если это один человек… – Он чуть задумался и потом решительно повернулся в его сторону: – Я вам расскажу кое-что, но это не для печати.

– А для чего тогда?

Собеседник взглядом дал понять, что торговаться не намерен:

– Об этом никому не надо говорить. А для чего я с вами делюсь этой информацией, я объясню чуть позже.

Он выжидательно уставился на журналиста, и Виталий, давно уже понимая его с полуслова, даже с полунамёка, утвердительно кивнул:

– Хорошо, договорились.

Глеб Борисович снова откинулся на спинку сиденья, приняв такой вид, будто главное дело уже сделано:

– На данный момент факты таковы. Места выбраны людные, объекты подрыва – транспортные средства, сила разрушения и количество жертв увеличиваются с возрастанием скорости их движения. Взрывы идут по нарастающей: автомобиль, автобус, поезд. Следующий взрыв может быть ещё мощнее, но где и когда он произойдёт – неизвестно. Причём временнáя последовательность взрывов – с такими короткими их интервалами – говорит о том, что оборудование для проведения актов уже полностью готово, до использования самого высокого его потенциала. Похоже, с применением данного вида разрушений нет никаких проблем, решается только задача, где и в какой степени. Это были не испытания взрывного устройства, а проверка эффекта неконтролируемого воздействия по нарастающей. Катастрофой будет то, когда это поймут широкие массы населения.

– Я об этом тоже думал.

– Прекрасно. Значит, вы улавливаете степень моей обеспокоенности.

– Вы говорите про какое-то оборудование. Это что, не просто бомбы?

– Пока неясно. Но одно можно сказать вполне определённо. Бомб там никаких не было. Никаких следов взрывчатых веществ, никаких устройств. Всё абсолютно чисто, как в девственном лесу.

– А аварийные разрушения самих транспортных средств возможны?

– В такой степени нет. И потом, три случая подряд на разных объектах? Вы же понимаете.

Глеб Борисович достал из внутреннего кармана и показал Виталию несколько фотографий, одновременно дав ему осмыслить сказанное.

– Тогда что произошло?

– Всё указывает на то, что были осуществлены наведённые взрывы.

Виталий попытался было вспомнить что-нибудь по теме, но понял, что с подобными вещами не встречался.

– Наведённые? Что это значит?

– Это значит, что источник и эпицентр взрыва находились в разных местах, на некотором удалении друг от друга, и, может, даже на значительном удалении.

– Такое возможно?

– В принципе да. – Глеб Борисович испытующе посмотрел на собеседника. – Мгновенное лавинообразное повышение давления в отдельно взятой точке. Мощный взрыв вне поля прямой видимости без применения ракет и лазеров. Задача вполне реализуемая, только для этого необходимо использовать громоздкий энергетический агрегат, который в чемодан не положишь. Необходимо сложное дорогостоящее оборудование, и в таком случае подозревать в проведении террористической атаки придётся целое научное производство, целый завод.

– И есть такое предприятие?

– Есть несколько таких мест. Там уже работают наши люди, но поверьте, если бы подобные, скажем так, приготовления были проведены в рамках действующих научных производств, всё это лежало бы на поверхности. Там везде есть соответствующий контроль, над контролем – свой контроль. Система строго перевязана и замечательно работает. Пусть даже из цепи на время выпадает какое-то звено, скрыть данный дефект никак не удастся. Там не закоулки человеческой души, разобраться в которой не может даже её обладатель, – там вполне зримый, ощутимый механизм, а сбои в его работе легко фиксируются уже на стадии их зарождения, для чего есть масса всевозможных способов.

– Вы говорите про сбои в работе оборудования?

– Я говорю про людей, которые обслуживают такое оборудование.

Глеб Борисович довольно часто говорил витиевато, иногда умышленно камуфлируя проблему в массе ничего не значащей информации, словно прощупывая собеседника на вшивость. В любой момент он мог свернуть тему, и подхода к ней уже было не добиться. У Виталия были с ним моменты, когда он оставался ни с чем, когда был просто не готов к восприятию нестандартных сведений. К любому собеседнику нужно уметь приспособиться, к его тайному информатору тем более. Но сейчас Виталий понял, что его визави сам вызвался посвятить его в некие государственные тайны и уровень компетенции журналиста в обсуждаемых вопросах никакой роли не играет.

– Стало быть, я так понял, масштабная диверсия, глобальный теракт на базе солидных производственных мощностей практически исключён.

– Совершенно верно.

– И в стране не существует частных предприятий, занимающихся подобного рода научными изысканиями не под контролем государства.

– По крайней мере, у нас – да.

– А провести такие операции, грубо говоря, с чемоданом в руках и с расстояния в несколько километров невозможно.

– Академики говорят, невозможно.

– Тогда где путь к решению проблемы?

– Вот этим мы сейчас и озабочены.

Очевидно, преграда, невидимой своей плоскостью вставшая поперёк мыслей этого серьёзного и ответственного человека, которого Виталий знал уже несколько лет, действительно была не легко преодолимой. Виталию стали понятны его трудности, почти не разделяемые в нём на личные и государственные. Конечно, люди из его ведомства иногда намеренно способны напустить тумана в вопросах, решение которых давно осуществляется по чётко разработанному плану. Это делается с целью дезориентации окружения: и враждебного, и обывательского, – которое до поры до времени плохо различимо. Однако Виталий нутром чувствовал, что теперь полковник в настоящем затруднении, а вместе с ним в затруднении находится и весь смазочно-профилактический компонент системы, призванный обеспечивать бесперебойную работу её механизма и не допускать случаев, когда кому-то вздумается вставить в её колёса палку.

– Действительно, события из ряда вон, – осознав проблему, заявил Виталий. – Я о таком ни разу не слышал. Если допустить, что организация подобных взрывов не составляет для кого-то особого труда, то в его руках находится страшное оружие. И, судя по тому, что вы говорите, оно какое-то фантастическое.

– Ну-у, ну, я не склонен драматизировать ситуацию. У любой фантастики, помимо головы, есть руки и ноги, которые откуда-то растут. Нам важно их отыскать и ухватиться за них. А иногда есть и сопли и много чего ещё. Поэтому любое чудо никогда не выглядит безнадёжно непонятным. Дело скорее в том, что в мире полно ущербных людей и шарлатанов – на любом уровне, – и их обязательно нужно разоблачать. Я действую исходя из того, что человек постоянно конфликтует с кем-то и постоянно врёт.

– А ошибаться вам не приходилось?

– Приходилось. Но я размышляю о судьбах людей отдельно, в свободное от работы время. А на работе я работаю.

– Странная философия.

– Принципы у каждого человека свои.

– Но есть же общие правила…

– И общее дело. Масштабные угрозы необходимо устранять.

– За счёт кого-то?

Полковник будто подивился наивности собеседника. Или принял его слова в качестве неизбежного посыла к справедливости, часто используемого в разговорах как неоспоримый аргумент, когда действенных доводов не хватает. Он не изменил тон, хотя в его речи нотки определённого превосходства всё же промелькнули:

– Если вы не знаете, есть такая работа: определять то, чем надо жертвовать в данный момент. – Через мгновение он продолжил: – Дело не простое, людей задействовано много, расследование ведётся по нескольким направлениям. Но рано или поздно результаты будут, я в этом уверен. Положительные результаты.

Он закурил, не выказывая никаких признаков того, что у него мало времени. Наоборот, разговор с Виталием будто приобрёл для него первостепенное значение. Виталий не раз сталкивался с некими противоречиями в его словах и действиях, за которыми скрывалось никак не скудоумие, а скорее тонкий, выверенный расчёт.

– В поезде ехал ваш друг?

«Бог мой. Неужели Олег был к этому как-то причастен?» – первое, что мелькнуло в голове Виталия.

– Да, он возвращался домой из командировки. Мы дружили с дошкольного возраста.

– Мне очень жаль… Однако он был именно в том вагоне, который взорвался.

– Ну и что?

Было заметно, что полковник не из тех, кто с удовольствием делится соображениями, даже если того требуют его планы.

– Мы изучили списки жертв и лиц, которые могли быть как-то связаны со всеми этими тремя террористическими актами: пассажиров, обслуживающий персонал, диспетчеров, людей, принимавших решения, – и вот что выяснили. Олег Белевский был старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском физическом центре Академии наук. Во взорванном до этого автобусе находился его коллега Семён Савелов. А днём раньше взлетел на воздух автомобиль с Максимом Кашвили. Все трое работали в лаборатории высоких энергий, работали по одной теме и имели интересные результаты в данной области.

– Кто-то устраняет конкурентов?

– Может быть. Но зачем таким сложным и варварским способом?

– Чтобы все поверили в версию терактов.

Полковник сделал вид, что, разумеется, такие мысли у него тоже возникали.

– Я всё же склонен думать, что дело не в этом. Однако какая-то связь с перечисленными людьми, безусловно, должна быть. Связь с их профессиональной деятельностью.

Виталий невольно почувствовал немой вопрос:

– Олег мне кое-что рассказывал о своей работе, но только в общих словах. Ни о каких деталях мне не известно.

– Возможно, мы поговорим об этом чуть позже. В принципе погибшие могли знать что-то такое, что не знали рядовые сотрудники лаборатории, но сейчас нам интересно другое. Есть ещё один человек, который находился непосредственно в теме данных работ, и он жив. Это бывший заведующий лабораторией Ларий Капитонович Канетелин, хороший учёный, но человек с тяжёлым и сложным характером. Полгода назад он пережил фазу буйного помешательства и с тех пор находится в клинике для душевно-больных. Он плотно работал со всеми тремя специалистами, много с ними конфликтовал, но ввиду важности работы их до последнего момента не разводили по разным лабораториям.

Виталий внимательно слушал собеседника.

– Ваш друг, наверное, тоже был не ангелом. Во всяком случае, нередко именно он являлся создателем конфликтных ситуаций, есть свидетели.

– Никогда бы про Олега такое не подумал. Мы с ним много общались, но он ни разу не говорил, что у него есть какие-то проблемы на работе. По жизни у него были, конечно, неприятности, но в целом он всегда выглядел жизнерадостным и беззаботным.

– И тем не менее, судя по рассказам сотрудников центра, по крайней мере одного человека наверняка можно записать в его враги. Это его бывший шеф.

– А сколько шефу лет?

– Около семидесяти, точно не скажу.

– Странно. Что они могли не поделить? Авторство в научных изысканиях?

– Пока не знаю. Но мне почему-то кажется, что разгадку прогремевших взрывов прежде всего нужно искать в их отношениях. А посему у меня есть к вам просьба. Тем более что вы лицо заинтересованное. – Глеб Борисович повернулся к Виталию всем телом. – Поговорите с этим человеком, может быть, у вас что-нибудь получится. Вы друг Белевского, и, вполне возможно, вам он расскажет что-либо интересное, на что следует обратить внимание. Особенно если он назовёт ещё какие-нибудь имена.

– Он вменяемый?

– Разговаривать с ним сложно. С виду он рассуждает здраво, но его трудно понять: много тумана. Рациональные мысли в его речах, если они есть, приходится собирать по крупицам. Во всяком случае в бытовом плане без посторонней помощи он обойтись не может, его на всё необходимо направлять.

Что можно узнать у свихнувшегося физика, с которым наверняка беседовали уже не раз? Виталий моментально оценил ситуацию, приобретавшую некий детективный характер. За ними будут наблюдать, пока тот о чём-нибудь не проговорится, так что ли? Свою роль в этом деле он понял не до конца – она слишком завуалирована. Подобных просьб ему ещё не поступало, а эти ребята просто так даже прикурить не попросят, тем более выложив ему информацию, вероятнее всего затрагивающую государственные интересы. В то, что Глеб Борисович выступает от своего имени, он не верил.

– А может, гибель этих людей – случайное совпадение?

– Маловероятно, вы сами понимаете. В любом случае эта связь – пока единственное, что у нас есть. Главные вопросы – кто и как? – пока остаются без ответа.

– Хорошо, я поговорю с ним. В данном случае было бы нелепо вам отказывать. Вернее, с этим человеком я бы всё равно, наверное, встретился, но держать наш разговор втайне от вас неразумно. Узнать правду, скорее всего, можно, только действуя сообща.

Глеб Борисович удовлетворённо и одновременно как-то бессмысленно, как это умел делать только он, кивнул.

– Поезжайте к нему сегодня же. Если будет что-нибудь интересное, я на связи в любое время.

Он укатил, оставив Виталия в смешанных чувствах.

«Зачем он мне всё это рассказал? Они уже давно, наверное, выпотрошили учёного до основания. Каким бы неподдающимся тот ни был, но, пока он отличает раковину от унитаза, его можно разговорить на любую тему, в том числе и по поводу пережитых им когда-то потрясений».

Виталий уже забыл об испытанном ранее шоке от трагедии с другом, сосредоточившись на предмете расследования. Он брёл по аллее парка, не обращая внимания на мелькавших то и дело бегунов и раздающийся рядом детский смех.

Возможно, человек замкнулся в себе и никому не доверяет, и если он ушёл вовнутрь именно в таком состоянии обиды и нелюбви, отвращения ко всему на свете, то необходим какой-то ключ, чтобы «отпереть» его, чтобы он опять открылся миру, начал с ним дружить. Не найдя к учёному подход, они обратились к нему, Виталию, не сильно понимающему в физике, зато напрямую заинтересованному в том, чтобы расшевелить субъекта касаемо его отношений с сотрудниками. Через ком ожившего негодования они хотят попробовать вернуть ему память. Борьба идей, взглядов, характеров; принципиальность, продажность, тщеславие – для затравки сгодится всё. Ведь погружаться в творческий экстаз заставляют стимулы, внешние или внутренние – неважно. Самое главное, чтобы он понимал свои стимулы.

Им, наверное, нужен какой-то символ: формула, пароль, слово, – которого недостаёт, чтобы воспроизвести заново невероятную комбинацию выкладок, благодаря которой и был получен реальный эффект. Обычно так и происходит. Всё, что получено до этого, могут сделать многие. Но существенный скачок в каком-либо процессе заключается в доселе скрытой среди мусора информации маленькой приставке, обнаруживаемой в какой-то момент – волею ли случая или благодаря чьему-то гениальному озарению – и позволяющей потом кормиться с использованием этого открытия или страдать из-за него целые поколения. Если всё дело в сумасшедшем физике, то за него теперь ухватятся мёртвой хваткой, каким бы ненормальным он ни был. Он вспомнит всё и будет переживать свои обиды во сне и наяву. Наука – это радостный кусочек жизни, пока тебя распирает от мечтаний и потенциала возможностей, а когда мечты воплощаются в конкретные достижения, наука чаще всего заканчивается и начинается головная боль.

В раздумьях он добрёл до своего автомобиля, не сразу решив, куда ехать. К визиту в клинику следовало бы подготовиться, ведь наверняка придётся затрагивать в разговоре бывших коллег учёного, а Виталий даже не представлял, в каком смысле, например, упомянуть про Олега Белевского: ну друг он ему и друг, что из того?

Забравшись в салон, некоторое время он сидел неподвижно. С момента отъезда полковника прошло всего несколько минут, однако ему показалось, будто он всё утро уже занят решением задачи, касающейся важных аспектов жизни города.

Кто мог организовать подобную серию терактов? Связаны ли с этим сотрудники упомянутой лаборатории, и, в частности, её бывший заведующий, возможно, сохранивший в памяти необходимые знания? Если полковник не лукавит, сейчас это действительно единственная зацепка, дающая надежду расследовать преступления. Им очевидно, что этот учёный им нужен, а ему, Виталию, ясно, что дело приобрело серьёзный оборот. Прощупывание пошло по всем направлениям, а оказаться в затруднительном положении, судорожно бросаясь к первому встречному, системе не к лицу. В таком случае влезать в подобные расследования представляется делом чрезвычайно опасным. Кто знает, чем всё обернётся? Не окажется ли он однажды крайне неудобным носителем важной информации?

Однако не столько профессиональный азарт, сколько обычное желание во всём разобраться, узнать, из-за чего погиб его друг, как бы он ни останавливал себя, подспудно уже привело его к решению заняться этим делом и проявить по нему необходимую активность.

Прежде всего Виталий отправился в центр, где работал учёный. Из беседы с директором выяснить что-то необычное не удалось. При виде Виталия тот сразу принял любезно-отстранённый вид, дающий понять, что на специальные вопросы кому надо он уже ответил, а рассуждать на отвлечённые темы не намерен.

– Всеми нами движут определённые мотивы. Человеческая душа – потёмки. Как учёный профессор Канетелин меня полностью устраивал, а в его взаимоотношения с коллегами по труду я старался не вмешиваться. Впрочем, я не заметил в них чего-то необычного, – заключил он.

В качестве компенсации за сухой тон и невозможность побеседовать с журналистом подольше – он куда-то спешил – он посоветовал поговорить с парой лаборантов, работавших вместе в Канетелиным, которые общались с профессором намного чаще его. Поручив секретарю сопровождать Виталия по территории, он распрощался с ним, предоставив ему возможность поупражняться в налаживании мостов взаимопонимания на примере менее значительных фигур в их сообществе.

Молодые люди оказались неординарными. Первое впечатление о них составить было трудно. Один был чем-то озабочен – скорее всего, так можно было охарактеризовать его резкость, некорректные выпады в адрес бывшего руководителя. Однако он не выглядел глупым человеком и, более того, позволял себе смелость пространно рассуждать на тему совместной деятельности в их сложной по иерархии команде. Второй изъяснялся точнее и конкретнее, но говорил мало. Его умный, проницательный взгляд наводил на мысль, что вряд ли это связано с тем, что он долго подбирает нужные слова. Через несколько минут они всё же разговорились, выложив про тогдашнего своего шефа, пожалуй, всё, что о нём думают.

– Он слишком надменный, высокомерный, что проявлялось в любой ситуации. В лаборатории он практически никого не замечал. Ты для него либо равный, либо вообще никто, это чувствовалось и сильно раздражало.

– Вы с кем-нибудь разговаривали на эту тему?

– Да, несколько раз. Он был со всеми такой. И мнение большинства сотрудников его вообще не интересовало.

– Любопытно. Как же вы обсуждали рабочие моменты, результаты исследований?

– Большей частью с ним общались Белевский и Савелов. Но когда доводилось лично разговаривать, то для меня, например, это было мучением.

– Даже так?

– Представьте, что вы рассказываете взрослому человеку сказку и он на вас смотрит как на идиота. Постоянно перебивает, одёргивает. Ваше сообщение превращается в глупый, совершенно никчёмный монолог.

– Но ведь были же какие-то правильные, полезные наработки? Он же не мог такие моменты совсем игнорировать.

– Именно не замечал. Точно вам говорю. И ни капли позитива от него не дождёшься. А через некоторое время давал новое задание на основе ваших же положительных результатов. Об этом нам Белевский рассказывал

Тема, очевидно, была для них не новой. В их словах чувствовалась искренность: редкий человек бывает неприятен настолько, что в отношении его в памяти остаётся один негатив.

– По поводу погибших… Они все с ним конфликтовали?

– По-разному. Белевский его терпеть не мог, это было очевидным, и Канетелин отвечал ему взаимностью. А например, с Кашвили он любезничал. Правда, что сие означало, я не знаю. Может, они постоянно разыгрывали какой-нибудь изощрённый ритуал: с улыбкой на лице и со сладкозвучными речами устраивали друг другу подлянку.

– По вашим рассказам, выходит, что ваш бывший шеф никем не любимый, ужасный деспот.

– Он такой и есть. Очень странный и сильно давит. Если бы вы столкнулись с ним по делам, вряд ли общение с ним доставило вам большое удовольствие.

– И долго вы собирались его терпеть?

– В каком смысле?

Виталий промолчал. Окинув взглядом помещение с многочисленными стеллажами приборов и оборудования, он указал пальцем на какое-то странной формы устройство с множеством блестящих шаров и выставленной вбок стреловидной антенной:

– Что это?

Сотрудники лаборатории даже не взглянули на то, что заинтересовало посетителя.

– Извините, но что-либо объяснять вам по приборам и теме исследований мы не можем.

– Понятно… А директор института не деспот?

– Пожалуй, нет. Не думаю, – ответил один из них.

– Канетелина он ценил, но не похоже было, чтобы уважал, – добавил второй.

– Почему вы так думаете?

Тот неопределённо пожал плечами:

– Ходят слухи.

Из разговора с парнями удалось почерпнуть кое-что ещё, что Виталий не смог бы определить как нечто конкретное, но, исходя из своей профессиональной интуиции, зачислил в разряд полезных сведений. Поблагодарив сотрудников за уделённое ему время, уже стоя в дверях, Виталий спросил:

– Можно узнать, как вы сюда попали?

Ответил только один:

– Меня пригласил Канетелин. Он проводил со мной собеседование, когда я ещё учился в университете. Тогда он выглядел вполне нормальным.

– Он сам на вас вышел?

– Наверное. В школе я был победителем региональной олимпиады по физике.

Виталий кивнул и попрощался. В целом он остался доволен услышанным. По крайней мере, появилась хоть какая-то шелуха, которую теперь можно старательно разгребать при встрече с самим учёным. По поводу пребывания шефа в клинике для психов оба лаборанта единодушно заявили, что там ему и место. Правда, для них его помешательство явилось полной неожиданностью: заведующий лабораторией был злобным, но здравомыслящим человеком. Этим он более всего и досаждал окружающим. А насчёт гибели троих работавших рядом с ними сотрудников, о чём, исхитрившись, Виталий сумел спросить лаборантов по отдельности, они без всяких сомнений объяснили сей факт трагическим совпадением. Хотя Виталий им не сильно поверил, думать, что им что-то известно, тоже, наверное, не следовало.

Теперь предстояла главная встреча, где надо было отдавать себе отчёт в том, что он хочет услышать. Наверняка его приобщили к делу неспроста. Уж в совпадения, связанные с органами госбезопасности, Виталий точно не верил. Пусть им нужен свихнувшийся физик, но что, если им требуется нечто и от него самого, от Виталия? Надо быть всё время начеку, поскольку в понимании нюансов дела чаще всего и кроется залог успеха.

«Скорее всего, они думают, что я смогу его как-то расшевелить, – решил он. – Ну что ж, надо попробовать. Это даже интересно».

**3**

Частная психиатрическая клиника «Киимаярви» располагалась на берегу живописного лесного озера. Здесь было тихо и спокойно, что способствовало возникновению у людей мягких, положительных эмоций. Вымощенные плиткой дорожки петляли между кустами и ельником, плавно спускаясь к открытому побережью, образуя длинный извилистый променад. Густой лес на противоположном берегу придавал местности просто сказочный вид. В лучах заходящего солнца, медленно утопающего в верхушках ёлок и берёз, силуэты здания, зелёный массив, а также аллегорические каменные глыбы, установленные возле изгибов дорожек, выглядели какой-то диковинной фантасмагорией.

В хорошую погоду под наблюдением охранников больным разрешали прогуливаться. Их поведение и реакция нередко менялись на свежем воздухе, безусловно, отражая впечатления от открытого пространства и, как полагал лечащий персонал во главе с хозяином клиники, помогая стабилизации функций головного мозга. Здесь были разные люди: от глубоких шизофреников, практически никак не воспринимающих себя в окружающем мире, до слегка тронутых головой писателей и учёных, путающих дни, забывающих слова и неестественно реагирующих на любых встречных. Людей низшего сословия – например, попавших сюда на почве дикого алкоголизма, – было меньше. В подавляющем большинстве это были те, у которых имелись богатые родственники.

Виталий не стал подъезжать непосредственно к клинике, а вышел из автомобиля раньше, как только белый флигель здания показался в проёме зарослей. Он решил немного прогуляться, настроить себя на встречу с человеком, поведение которого, да, собственно, и направление разговора с которым очень плохо себе представлял.

Он не умел импровизировать, всё, что не являлось для него спланированным, как правило, не несло в себе никаких существенных результатов. Поэтому он давно уже привык обдумывать каждый свой шаг заранее. Особенно это было полезно в его специфической работе, где добывание нужных сведений зачастую зависело от настроения собеседника, то есть фактически от воли случая, который, как он представлял, есть квинтэссенция правильной организации труда и правильно выбранного момента времени. Впрочем, отточенная с годами техника умелого вымогателя позволяла ему работать в любое время суток, из любого положения и сколь угодно долго, подобно матёрому агенту из всем известных шпионских ведомств. Он мог поддаться на спонтанную выпивку, закусывая огурчиком или занюхивая по простому сухарём, а потом тихо, без лишней суеты, спокойно раскрутить на откровения изрядно охмелевшего оппонента, уже не ведающего, что можно, а что нельзя, и не способного правильно оценить степень риска. Он мог втереться в доверие какой-нибудь незаурядной личности, а потом в самый обычный день и час подловить того на проколе – когда человек проговорится или в пылу занятости начнёт при нём обсуждать рабочие моменты по телефону. Он мог элементарно блефануть – правда, когда при этом была соответствующая техническая и командная поддержка, – наговорив про себя кучу нелепостей, так что у оппонента всерьёз возникали опасения за свою нежнейшую будущность, что если не мгновенно, то чуть позже обязательно проявлялось в его поведении. Короче, работать хитро и брать клиента тёпленьким ему уже доводилось не однажды. Единственное, он ни разу не встречался с людьми, страдающими серьёзными психическими расстройствами, а посему впервые в своей практике не знал, к чему себя готовить.

Пройдя по петляющей тропе через сухой сосновый лес, Виталий вышел к зданию с тыльной стороны. Неожиданно он увидел недалеко от себя первого психа. Тот прятался за деревом и, не отрываясь, наблюдал за ним. По его испуганному виду можно было понять, что появления постороннего в этих местах он не ожидал, хотя, возможно, данный образ был его постоянной визитной карточкой.

Виталий проследовал мимо, на всякий случай не заметив больного, чтобы не встревожить того ещё сильнее. Правда, он тут же наткнулся на санитара, наверное, искавшего беглеца, и молча указал на того пальцем.

«Ещё чего доброго огребёшь тут по макушке, – подумал Виталий, искоса поглядывая в сторону больного, державшего в руке палку. – Надо было подъезжать прямо к входу, а не бродить тут по лесам в поисках приключений».

Он обогнул строение и поднялся по ступеням на тянувшуюся вдоль всего фасада широкую террасу. Со стороны озера перед клиникой была устроена просторная лужайка с коротко стриженным газоном. Здесь уже гуляли десятка три обитателей лечебницы. Практически все сидели или ходили поодиночке, и только в одном месте виднелась что-то оживлённо обсуждающая парочка. За больными наблюдали расположившиеся по периметру несколько охранников.

Попав в небольшой вестибюль, Виталий наткнулся на лучезарную улыбку дежурной сестры.

– Добрый день. Мне нужен главврач, – сказал он, протягивая свою визитную карточку.

– Вы договаривались о встрече?

– Да, мне сказали, что он меня ждёт.

– Сейчас я уточню.

Она быстро переговорила с доктором по внутренней связи и пригласила Виталия следовать за ней. Возле дверей кабинета, находящегося тут же за приёмной, она опять красиво улыбнулась:

– В вашем распоряжении не более сорока минут. В семнадцать у доктора встреча с зарубежным коллегой.

– Спасибо, я управлюсь, – вежливо ответил Виталий, оценив её приятную учтивость.

«Как на приёме в министерстве», – подумал он. Дверь в рабочие апартаменты доктора открылась словно по мановению волшебной палочки – сестра лишь слегка прикоснулась к ней рукой. Главный врач, он же главный управляющий клиники, известный в широких кругах психиатр Полуэкт Захаров поднялся из-за стола и вышел навстречу журналисту.

«Полуэкт, – пронеслось в голове Виталия. – Как надо не любить своего ребёнка, чтобы придумать ему такое мудрёное имя».

Он поздоровался и представился учёному.

– Как вам наша клиника? – живо поинтересовался тот.

– Впечатляет. И место красивое.

– Здесь тихо, рядом никаких селений.

– Вам объяснили цель моего приезда?

– В двух словах.

Виталий осмотрелся. Через огромное окно, от пола до потолка, открывался прекрасный ландшафт. Наблюдать за тем, что творится на лужайке, можно было практически из любой точки кабинета, даже сидя на диване.

– Я встретил в роще за домом одного из ваших пациентов.

– Это наш известный непоседа. Он постоянно норовит убежать от охраны и спрятаться среди деревьев. Но он всё время находится в зоне видимости.

– А кто он по жизни? По профессии?

– Он племянник менеджера одной крупной компании. С ним дела идут неважно…

– Давно он у вас?

– Лет десять уже.

Глядя на странные позы и занятия гуляющих, Виталию на мгновение показалось, что он находится в детском саду. Вполне можно было увидеть в их действиях зачатки острого ума, небывалой зрелости, если представить, что перед вами великие в будущем затейники, учёные, управленцы, пребывающие пока в младенчестве и не знающие о своём особом предназначении. Правда, как только они поворачивались к вам лицом и вы видели их унылые, измождённые бедой физиономии, видение заканчивалось, и для осмысления их близости к вам уже требовалась другая любовь.

– Им надо помогать, – уловил его мысли доктор. – Тогда есть вероятность, что они вернутся к нормальной жизни.

– Мне кажется, таким делом могут заниматься только одержимые люди.

– Вы серьёзно так считаете?

Виталий не понял, зачем начал превозносить деятельность Захарова. Он так не считал.

– С ними, наверное, тяжело общаться. Они же как малые дети.

Доктор ухмыльнулся:

– Не драматизируйте. – Он пригласил гостя сесть на диван. – Я прихожу на работу как обычный клерк. У меня есть некие обязательства, дополнительная ответственность, а в остальном я работаю точно так же, как офисный служащий, – по привычке. Только вместо бумаг ковыряюсь в человеческом сознании. Иногда это не сложнее, чем посчитать числа в столбик.

– Но среди прочих, наверное, бывают и тяжёлые, неординарные случаи?

– Бывают, безусловно. Таким пациентам приходится уделять больше внимания, хотя, строго говоря, все подобные заболевания неординарны. Главное, как к ним относиться в каждом конкретном случае. То есть неординарными они являются не сами по себе, неординарными их делаем мы, врачи.

– Иными словами, у кого больше денег…

– Ну, ну, что вы! Я же не это имел в виду. – Захаров сделал вид, что понял шутку гостя, по привычке вальяжно развалившись в кресле. – Итак, что вы хотите знать про интересующее вас лицо?

«Если бы знать, что я хочу знать», – подумал Виталий.

– Прежде всего, в каком он сейчас состоянии и как бы вы оценили степень этого конкретного расстройства. Скажем, по десятибалльной шкале, где десять – самый тяжёлый вариант.

Захаров в задумчивости повёл пальцем возле бровей. Очевидно, и в его практике нередко приходилось подбирать слова, чтобы выразиться понятнее.

– Скажите, а почему вас заинтересовал этот человек? – неожиданно спросил он. – Вы с ним раньше встречались?

– Я как-то брал у него интервью, и мы договорились встретиться ещё раз. Небольшой очерк с продолжением, – озвучил Виталий заранее подготовленный ответ. – Это обычно репортажи не о человеке, а на определённую тему. И теперь вот я узнал о произошедшем с ним несчастье… В какой-то мере для меня это был интересный источник информации, интересный собеседник. Хотелось бы понять, насколько я в дальнейшем могу на него рассчитывать.

Захаров удовлетворённо кивнул:

– По десятибалльной шкале я вам ничего говорить не буду. Не потому, что не знаю, а потому, что вы всё равно неправильно меня поймёте. Такие оценки дать невозможно. Сегодня человек заперт внутри себя и кажется безнадёжным, но завтра всё может резко измениться. И наоборот. В мотивах поведения не существует количественных подходов, здесь всё устроено немного по-другому. Что же касается его состояния, то могу сказать вам следующее. – Захаров безотрывно смотрел на гостя. – У него диссоциативное расстройство личности. Свою навязчивую неприязнь, совершенно не связанную с реальностью, он пытается распространить на всё ближайшее окружение: на родственников, соседей, коллег по работе. Сейчас уже нет оснований опасаться резких проявлений его недовольства. Но ещё недавно он был чрезвычайно буйным. У него часто случались приступы немотивированной агрессии, так что приходилось помещать его в специальный изолятор. Но самое главное в другом…

Доктор не стал говорить о том, что двинутый физик сильно его озадачил и вообще опровергал все его накопленные с годами практические выводы. Однако, скрывая своё незнание и недоработки, он научился выглядеть ещё более уверенным в себе, чем был.

– Пять месяцев назад, когда он к нам поступил, я диагностировал у него первую группу шизофрении. Он пережил глубокий синдром. У него наблюдались расстройство мышления, утрата эмоциональных реакций, серьёзные аномалии личностного восприятия и поведения. Мы провели необходимый курс лечения и, конечно, надеялись, что это поможет. Но результаты оказались даже лучше, чем я ожидал, намного лучше. Он возвращается к нормальной жизни семимильными шагами, и это меня, безусловно, радует. Однако я ни разу не встречал случая, когда с таким диагнозом люди так быстро восстанавливались.

– Наверное, причиной этого могут быть какие-нибудь замечательные методы лечения? – вставил Виталий.

– Методы лечения самые обычные. Поверьте, существует гораздо больше способов вылечить простуду, чем психическое расстройство человека. По поводу его организма я тоже не заметил никаких особенностей. В сущности, своим быстрым восстановлением он обязан прежде всего себе. Сейчас симптомы шизофрении проявляются не так явно. Он подавлен, раздражён, но уже в значительной степени адекватен.

– С ним можно разговаривать?

Доктор покачал головой:

– Не думаю, что он уже в состоянии ответить на какие-либо вопросы по работе. Вы ведь собираетесь спрашивать о вещах, которые касаются его профессиональной деятельности?

«Если этот Канетелин ничего не соображает, то разговор с ним не имеет смысла, – подумал Виталий. – Но если что-то скрывает, то, может быть, именно сейчас, пока он не до конца себя контролирует, он способен сообщить какие-нибудь важные сведения».

– Вчера погиб сотрудник его лаборатории, с которым он много работал. – Виталий не стал говорить о трёх сразу, и Захаров, похоже, ничего об этом не знал. – Как вы думаете, ему можно сейчас сообщить такую новость?

– Зачем?

– Возможно, это оживит какие-то его воспоминания.

Доктор встал и прошёлся по комнате, потом остановился возле стола. Он будто озадачился дилеммой, хотя что могло вызвать у него затруднения, Виталий не понимал. Наконец, он повернулся в его сторону:

– Вы хотели бы с ним поговорить?

– Я на это рассчитывал. В лаборатории, где я был до этого, в принципе не против нашего сотрудничества, и мне было бы спокойнее, если бы я предупредил Канетелина, если он, конечно, поймёт, что я намереваюсь обсудить его работы с другим человеком.

– Хорошо, давайте попробуем. – Доктор вызвал по внутренней связи санитаров. – Говорить, естественно, будете при мне – я не знаю, какова будет его реакция. Сейчас он, по-моему, на улице.

Вошли двое крепких санитаров с такими лицами, будто место их работы является последним прибежищем по дороге в ад. Словно утомлённые непосильной ношей, они уставились на главного врача в ожидании ещё более тяжёлого задания.

– Ефим, попросите Канетелина, вежливо попросите, – уточнил доктор, – пройти с вами и приведите его в десятый кабинет.

Ефим кивнул, они с напарником скрылись, а Захаров предложил посетителю следовать за ним.

Они прошли ряд коридоров и очутились в отгороженной от внешнего мира, не имеющей окон комнате, где и остались ждать больного.

В углу Виталий заметил видеокамеру. В помещении, кроме нескольких стульев, стола с металлической столешницей и высокого лежака с ремнями, ничего не было. Гладкие стены и яркий свет настраивали, очевидно, на дознавательную форму беседы, когда вас в упор рассматривают три-четыре человека, задавая совершенно не злобным тоном самые простые вопросы типа «как здоровье?», «что с кошмарами?» и «не пошаливают ли у вас нервишки?». Это, очевидно, поднимает тонус клиента, заставляет сосредоточиться на интересе к себе, а не вызывает у него страх по поводу пикантной формы усов или нервически подёргивающейся щеки у одного из вопрошающих, в самом облике своём таящего скрытую угрозу. И помогает представить такие светлые, оказывается, намерения докторов, а не решать головоломку про их заботы о воплощении в жизнь интересных замыслов. Может, им просто не терпится услышать ваше признание – но только какое? Хорошо бы выяснить это сразу. Может, им хочется сделать самим себе приятное, изумительно восприняв тот факт, что именно в этом допросе и есть их истинное предназначение. В этом им помогают удивительно простые приспособления, а лёгкая настойчивость в достижении их целей чуть-чуть только усугубляет состояние вашего душевного дискомфорта.

Иными словами, Виталий увидел одну из тех ситуационных комнат, для которых отмеченную часть процесса можно отобразить в самой незамысловатой форме изложения. Больной смеётся, плачет или раздражается, его притягивают ремнями к лежаку и заставляют погрузиться в глубокий сон. Всё. Совещание закончено. То, что предшествовало этому, не совсем, в общем-то, и важно, поскольку связать в точности следствия с причинами не способен ни один из лучших умов планетыледствияку связать симптомы с причинами .

Кого, например, не раздражали дилетанты и самодуры, разумеется, имеющие по всем вопросам собственное мнение? Кого не бесила явная несправедливость обвинения, причём тем более серьёзного, чем нелепее оно на самом деле выглядело? Кто не скрывал негодования перед глупой беспардонной навязчивостью? Понять можно любого, и вас понимали. И вас никто при этом не сравнивал с сумасшедшим (только называли), и вы не бежали тут же на стул к психоаналитику. Пара лёгких шуток, и ссора, как обычно, заканчивалась панибратством. Однако насколько глубоко и долго тлел в вас огонёк ярости, которая, безусловно, приводила потом к следующим конфликтам, вы так никому и не сказали. А здесь вы открыты и смелы, да и честны по отношению к себе, и можете задавать жару любого уровня. Это пусть они разгребают авгиевы конюшни вашего буйства, поскольку это им писать диссертации и, в конце концов, получать зарплату за сделанное, ибо уж они-то точно попытаются что-то сделать, прежде чем удивить вас мягкими доводами, прежде чем вы почувствуете их правоту.

Захаров присел на стул, засунув руки в карманы. Он тут же ушёл в себя, расположившись, словно в зале ожиданий, точно до отправления его самолёта оставалось ещё очень много времени.

Неловкость ситуации его не трогала. Поистине железное спокойствие учёного, даже в моменты искусственных заминок, заставляло относиться к нему с некой настороженностью. Виталию вдруг захотелось уронить что-нибудь на пол, что-нибудь поувесистей и пошумнее, но, похоже, и такая выходка не смогла бы вывести доктора из состояния задумчивости.

Помолчали. Собственно, Виталий не испытывал особых неудобств, хотя в результате затянувшейся паузы решил-таки кашлянуть. Усталые глаза доктора покосились в его сторону, но Захаров не изменил положение своего тела. Однако каким-то шестым чувством Виталий уловил шевеление его губ на несколько мгновений раньше, чем тот заговорил:

– Вы не беспокойтесь, мы всё успеем. Я думаю, наша беседа с пациентом долгой не окажется.

– Успеем что? – не понял Виталий. Поведение доктора ему казалось странным.

Захаров промолчал, предоставив оппоненту лишь возможность обмениваться с ним ничего не значащими репликами. Он как-то резко закрылся: чтобы потревожить такого монстра, понадобились бы старания целой когорты журналистов. Виталий понял, что теперь он смог бы расшевелить это докторообразное только разговором по существу, но существа не было. Вернее, его не хотел обозначать сам учёный, то ли не желая вдаваться в подробности перед посторонним человеком, то ли приберегая свои выводы на более подходящий момент.

Виталий долго соображал, о чём его спросить, даже немного погрустнел, но так ни на что и не решился. Преодолеть смущение перед принципиальным умником он почему-то был не в силах.

– Вы его, конечно, мало знаете, – вдруг заговорил Захаров. – Но представьте себе, что Канетелин-физик упорно борется с Канетелиным-человеком как личностью. Личность, подчинённая моральным и этическим нормам поведения, противопоставляет себя физику, добившемуся серьёзных успехов в своём деле.

– Что вы имеете в виду?

– Раньше много говорили об ответственности учёных или художников перед обществом, об их моральной чистоте, – продолжал доктор. – Будто это главная проблема человека – отвечать за свой творческий маразм. Маразм, одолевающий каждого пятого землянина после его полового созревания. – Он вперил в журналиста легкомысленный взгляд. – Вам, наверное, приходилось писать по наитию? Когда пальцы опережают мысли, отстукивая по клавиатуре бойкой чечёткой, и потом остаётся только привести этот сумбур в порядок, исправляя корявые фразы и подбирая нужные синонимы к словам. Я думаю, в том и есть смысл творчества, когда лирика сама просится на бумагу, в нотную тетрадь или на сермяжный холст. Оно значительно только потому, что запрятано в глубинах души, и найти выход ему есть главная задача конкретного лица, если оно стремится к этому денно и нощно, сызмальства. Но не всякий с данной задачей справляется. Может быть, это и здорово, иначе работы у нас, например, – он указал пальцем на себя, – прибавилось бы на порядок.

– Все творчески одарённые – сумасшедшие?

– Это с какой стороны посмотреть. Для них, я думаю, сумасшедшие все остальные, потому как те не способны в полной мере оценить их талант. А исключительность – это главный критерий самоидентификации человека разумного, ищущего. Представьте себе, что можно сказать о самомнении сколько-нибудь отличающегося от всех артиста, художника или писателя. Сколько в нём всего плещется… Так вот, собственно, о физиках. К сожалению, они думают, что научно-технический прогресс напрямую связан с научным творчеством. Но мне кажется, что это не так.

Виталий не понял, к чему он клонит:

– Почему же, интересно знать?

– Потому что на самом деле никакого творчества там нет. Веками происходит усовершенствование форм практической деятельности человека, уменьшение затрат на неё собственной людской энергии, то есть, по сути, получение знаний для возведения на пьедестал основной сущности разумного существа – его лени. Ну, и уж как попутное следствие – возможность прибрать к рукам управление этой ленью повсеместно, чтобы получать с того дивиденды. Практически все достижения цивилизаций – изобретение колеса, открытие электричества, атомной энергии – вытекают из запросов времени, а не благодаря творческому экстазу отдельных индивидуумов. Наука – это не самодеятельность, это ремесло. Настоящему профессионалу вдохновение не надобно.

– Не согласен с вами.

Виталий испугался, что доктор говорит всерьёз. Надуманность подобных суждений как-то неприятно задела его, поскольку вдаваться в отвлечённые дискуссии он не хотел, а как ответить просто и коротко – не знал.

– Если бы человечество развивалось без эмоциональных стрессов, было бы скучно жить, – как-то безразлично заявил он. – Человек всё-таки существо чувствующее. Для чего тогда нужны чувства?

– Для разума. Одно другое дополняет. Это комплексная гармоничная пара качеств, призванных не противоречить друг другу, а дополнять. Когда особо выпирает одно или другое, человека можно считать нездоровым.

– Любовь – это тоже болезнь?

– Безусловно.

– Упорство, страсть, одержимость? На этих качествах держится мир.

– Глубокое заблуждение. Мир держится на правилах. С помощью того, что вы перечислили, пытаются периодически его изменить, но он всё равно возвращается в прежнюю колею. Ибо человек в этом мире букашка, ему тут ничего не принадлежит, а свои страсти или творческие потуги, которые для многих давно уже потугами не являются, люди используют лишь для удовлетворения собственных амбиций.

– Какая-то средневековая философия, – Виталий решил всё-таки вступить с Захаровым в спор. – Если бы не требовалось прилагать усилия… Если посадить человека в тепличные условия, он перестанет писать музыку и изобретать.

– Вы в этом уверены?

– Уверен. Сначала он перестанет писать хорошую музыку и усовершенствовать свои приборы, а потом перестанет писать её вообще и про науку забудет начисто. В тепличных условиях устраняется дух соревновательности. Чтобы работать качественно, нужны неравные условия, нужны страх, зависть, борьба за выживание.

– Однако тогда он будет вынужден нарушать негласный моральный кодекс. В том и есть несовершенство нашего мира. На самом деле не надо быть одержимым, надо жить по правилам – и все будут счастливы.

– И любовь не нужна?

– Она будет другой.

– Так, может, в правилах всё и дело? Раз до сих пор их не придумали такими, чтобы они устраивали всех, то, возможно, таких и не существует?

– Может быть… – Доктор принял ту фривольную позу, которая означала, что он увлёкся разговором или в данном случае увлёк им сам себя. – Мне кажется, время от времени некоторые физики-экспериментаторы стоят на пороге глобальных открытий, тех, которые доказывают влияние человеческих чувств на окружающую их материальную основу. А такие возможности явились бы для человека просто губительными... Философы открыть ничего не могут, они только болтают. А вот физики способны воспроизвести в пространстве-времени такие туннели, через которые полетит не только материя, но и мысль, эмоции, а с ними и вся человеческая гнусность, потому что её в нас гораздо больше, чем нам кажется, и она-то уж точно полетит. И если такому экспериментатору, который понял, чего он достиг, представится возможность первому воспользоваться своим открытием, как вы думаете, он удержится от подобного соблазна?

– Наверное, нет.

– Вот и я так думаю. И тогда, возможно, то, что мы принимаем за психическое расстройство, есть явление совсем иного толка.

– Это вы о Канетелине речь ведёте?

– О нём самом. Мне кажется, его болезнь непосредственно связана с его научной деятельностью. У них в центре серьёзная экспериментальная база, и причины расстройства его психики, возможно, лежат не в нём самом, а частично или полностью являются привнесёнными, связанными с каким-то внешним воздействием.

«А он хитрец, этот врачеватель душ человеческих, – подумал Виталий. – Настоящий пройдоха. Запудривает мозги своей странной философией, приглашает к дискуссии, а ведь тоже пытается что-то выведать, наверняка не без этого. Боже мой, кругом одни мошенники, куда ни сунься! Все только и мечтают, как бы оставить тебя в дураках и на этом ещё заработать или хотя бы выглядеть на твоём фоне куда привлекательней, чем есть на самом деле».

– Скажите, его помешательство не может быть результатом воздействия какого-нибудь химического препарата? – Виталий вдруг вспомнил, о чём хотел спросить доктора с самого начала.

– Не похоже. Я обследовал его всесторонне и ничего подозрительного не обнаружил.

– Стало быть, человек потерял умственные способности, скажем так, потом стал возвращаться к жизни, но слишком быстро, и для вас его история болезни – необычайный случай?

– В какой-то мере – да.

Виталий уже хотел было поосновательней насесть на доктора с расспросами, поскольку тот, похоже, высказался и добавить ничего более не собирался. Он уже готов был открыть рот, чтобы представить теперь свою точку зрения на домыслы психиатра, додумавшегося до того, что в его руки попал учёный гений, но дверь вдруг резко распахнулась.

Шагов снаружи слышно не было, из-за чего это явилось для Виталия неожиданностью. Двое санитаров ввели в помещение тщедушного, ничего не соображающего мужчину – в серой пижаме, мелко шаркающего тапками по полу и тупо смотрящего вниз перед собой. Один держал больного под руку.

– Ефим, я надеялся, что он придёт сюда без посторонней помощи, – укоризненно заметил доктор.

– Он и пошёл самостоятельно, только в другую сторону, – пробурчал в ответ санитар.

– Ларий Капитонович, у нас к вам несколько вопросов, это не займёт много времени. – Доктор подошёл к пациенту вплотную, доверительно заглянув ему в глаза, будто разговаривал с ребёнком. – Это Виталий Сукристов, журналист, который год назад брал у вас интервью. Вы его помните?

Если бы он начал отнекиваться, можно было бы сослаться на последствия его психического расстройства, так было задумано Виталием с самого начала. Но Канетелин, похоже, не просто имел провалы в памяти, но и вообще был не в состоянии оценить ситуацию и дать более-менее вразумительный ответ. Глядя на худое бледное лицо больного, его бестолково вытаращенные глаза, Виталий понял, что приехал сюда напрасно.

«Похоже, толку от него не будет никакого. Если Захаров заметил в его поведении сдвиги, что же он представлял из себя до этого?»

Отдельные лицевые мышцы пациента будто застыли в судороге, значительно исказив его нормальный облик. Лицо не просто отражало полное безразличие, но было затянуто таким туманом, что получить от больного сколько-нибудь значимую информацию представлялось делом совершенно безнадёжным. Тонкие пальцы, сжатые в хилый кулачок, продолжали болезненно трястись, отчего и вся рука его ходила ходуном. Другой он поддерживал равновесие, постоянно опираясь на какое-нибудь подходящее основание. В данный момент он продолжал держаться за своего провожатого, обхватив его руку с большой охотой, ни на йоту не заинтересовавшись предложением удовлетворить любопытство посторонних. Он никак не реагировал на доброжелательный тон обращений и, казалось, вообще не понимал, о чём его спрашивают, повинуясь лишь лёгкому нажиму, жестам или наглядному примеру визави, демонстрирующему, что надо делать.

– Пусть вас не смущает немного безнадёжный вид нашего клиента, – обратился доктор к Виталию. – Это сказываются психологические нагрузки, накопившаяся за последнее время усталость. Когда он входит в тему и начинает говорить, то моментально преображается. Вот увидите. Ларий Капитонович, – он повернулся к Канетелину, – вы же не дадите нашему гостю подумать, что не способны выразить никакой мысли?

Больной несколько раз перевёл взгляд с одного на другого, но ничего не сказал.

– Давайте мы присядем.

Доктор отцепил пациента от плечистого санитара, аккуратно подведя его к стулу. Однако, чтобы усадить его, пришлось слегка надавить ему на плечи, поскольку самостоятельно решить данную задачу ему, похоже, было не по силам.

– Вы его помните? – повторно спросил Захаров, указывая на Виталия.

В вопросе психиатра проявились нотки настойчивости. Если бы и теперь больной проигнорировал слова доктора, беседу можно было бы считать завершённой. После необоснованных ожиданий, когда он заговорит, впору было бы развести руки, сославшись на неудачный день, и больше к нему не приставать. Но тот вдруг заметно сосредоточился, на лбу у него проявились характерные складки.

– Да, – еле слышно вымолвил он, не замечая при этом никого из присутствующих.

«Откуда, интересно знать?» Виталия нисколько не удивил ответ душевнобольного, просто возникло естественное любопытство, имеют ли его мысли что-то общее с реальной действительностью.

– Он разговаривал с вами? Вы помните, когда это произошло? – продолжал доктор, наседая на изувеченное недугом сознание пациента.

Но тот, похоже, испугавшись сказанного, теперь безумно таращился на Захарова, враз потеряв нить воспоминаний, того отголоска прошлого, который позволил ему на долю секунды поддаться назойливости чужаков. То, с каким любопытством все до единого, включая санитаров, обратились в его сторону, заставило его пережить настоящий шок. Где-то глубоко внутри себя угадывая границу между здоровым сознанием и тупой уродливостью, он опять почувствовал своё одиночество, и это было сравнимо с несчастьем. Их снова было намного больше. Он ощутил дискомфорт, что-то главное, что отличало его от существ, обитающих в этом заведении. Он растерялся, но собраться с мыслями времени не было, ответ требовали дать незамедлительно.

Подождав немного, Виталий решил вступить в разговор и уже без опаски подошёл к больному:

– Ларий Капитонович, вчера произошла трагедия. Погиб один из ваших коллег. – Он понизил голос в соответствии с негативом информации, которую пытался до него донести. – Вы в курсе событий?

Канетелин молчал, не поднимая головы, не меняя выражения лица и позы, по которым было трудно понять о его настроении.

– Мне сообщили, что погибший принимал непосредственное участие в последних разработках, некие общие сведения о которых я публиковал в нашем журнале. – Виталий соврал, потому что на самом деле таких публикаций не было. – Насколько я понял, работа свёрнута не будет…

– Я думаю не стоит нагружать его служебными проблемами. Сейчас не время, – вмешался доктор. – Мы не знаем точно, каково его реальное мироощущение, а вы хотите, чтобы он думал о работе.

– Но вы же сами сказали, что он быстро восстанавливается.

Доктор покачал головой:

– С этим могут случаться перебои. Когда он не реагирует на сведения из его недалёкого прошлого, его лучше не трогать, иначе на длительное время он замкнётся в себе.

Не добившись своего, Виталий отвернулся:

– А он вообще что-нибудь о себе рассказывал?

– Да, несколько раз. Его речь была сумбурной и сбивчивой, но я имею о нём некоторое представление.

Будто уловив нечто важное и пытаясь восстановить в памяти промелькнувшую мысль, Канетелин нахмурил брови, состроив вполне живую, серьёзную гримасу, и отчётливо, без запинки заявил:

– Их было трое.

Всеобщее внимание вновь было обращено на пациента.

– Кого? – не понял доктор.

Больной, не глядя, указал рукой на Виталия, так же бесстрастно констатировав:

– Олег Белевский был неплохим человеком. Последний раз вы виделись в кофейне на Гжатской улице.

В то утро, кроме них с Олегом, там никого не было. Потом Олег сразу поехал на вокзал.

Виталий сначала даже не понял, чему следует удивляться, словно получил абсолютно точные сведения о себе у гадалки. Любым словам пациента можно было бы не придавать особого значения, однако он знал то, что с огромной долей вероятности знать не мог.

Приблизившись к больному, Виталий спросил:

– Откуда вам это известно?

Тот даже не поднял головы. Его тупая отрешённость начинала раздражать. Лучше бы он вообще был невменяемым – по крайней мере, интерес к нему быстро бы иссяк. Однако, чем больше Виталий вглядывался в измождённое недугом лицо учёного, тем отчётливее понимал, что он всё же пытается что-то вспомнить, нащупать потерянные в жизни связи либо боится чего-то, надеясь найти защиту у подходящего для такого случая человека. Ему показалось даже, что Канетелин отчасти хитрит, скрывая информацию, которая находится в тайниках его сознания и выдать которую, возможно, по тем или иным причинам он не решается.

Скорее чтобы найти подтверждение своим догадкам, а не из желания выудить из физика какую-либо правду, Виталий присел перед ним на корточки, упёршись взглядом в стекляшки его глаз:

– Что вам известно, скажите? Почему вы упомянули Белевского? Он как-нибудь связан с вчерашними взрывами?

Создавалось впечатление, что Канетелин его не слышит. Сухая, наделённая простыми функциями плоть с трудом удерживалась на сиденье стула. Сложенные на коленях руки мелко тряслись, как от работающего механического привода. Сгорбленный и подавленный, он имел жалкий вид, никак не располагающий к беседе, а только призывающий к тому, чтобы о нём позаботились. Казалось, тронь его, и он тут же завалится на бок.

Ещё несколько минут Виталий пытался добиться от больного каких-нибудь слов, потом встал, безнадёжно вздохнув, давая понять, что теперь уже иссяк окончательно и ничего больше спрашивать не намерен.

– Очень странно, – сказал он доктору, прощаясь в вестибюле клиники. – Ваш пациент, по-моему, что-то скрывает. Для меня он точно представляет интерес, поскольку сведения от него могут прояснить вопросы, касающиеся смерти моего друга. У меня к вам просьба. – Словно оговаривая важнейшие условия, Виталий сделал акцентирующую паузу. – Если вы услышите от него что-либо необычное, какие-либо дополнительные подробности или вообще если он будет чувствовать себя лучше, дайте мне знать. Телефон я вам оставил.

– Хорошо, я буду держать вас в курсе.

Разумеется, подобная просьба обошлась Виталию в некоторую сумму, которую журналист обещал перевести на счёт доктора, из-за чего тот сразу же отнёс посетителя к классу людей, с которыми стоит иметь дело. В его клинике уже попадались персоны, пристальное наблюдение за которыми оценивалось их родственниками либо другими заинтересованными лицами довольно приличным вознаграждением. Поэтому он проникся озабоченностью журналиста, но при этом в конце их встречи с Канетелиным не увидел главного.

Когда доктор первым вышел из кабинета, а Виталий на какое-то мгновение оказался рядом с больным, тот неожиданно подошёл к нему и прошептал на ухо:

– Их было трое. И будет четвёртый.

– Когда?

Виталий задал первый вопрос, который пришёл ему в голову, позже удивляясь, почему именно время, а не то, кто будет этим четвёртым, заинтересовало его в качестве мгновенной реакции на данную реплику. Возможно, именно в сроках, чтобы успеть осмыслить ситуацию и поведение пока основного действующего лица трагедии, именно в сроках и заключалась теперь главная проблема всех тех, кто работал в этом направлении. В том числе и его, Виталия, проблема. Канетелина увели санитары, а он остался стоять озадаченный, не получив в ответ никаких разъяснений.

Он покидал клинику в полном смятении. По поводу интересующего его человека не только ничего не прояснилось, но, наоборот, запуталось теперь ещё сильнее. Направляясь сюда, он предполагал с ходу отмести все скрытые подозрения по поводу причастности физика к недавним событиям и увидеть невменяемого психопата, способного только вызвать к себе сочувствие. Однако заявление душевнобольного, его недвусмысленные смелые намёки заставили Виталия немного скорректировать свою первоначальную позицию, предполагая отвести Канетелину пусть и не ясную до конца, но вполне реальную, ощутимую в данном деле роль. Пока что всё выглядело именно таким образом. Если удастся подтвердить, что он элементарно валяет дурака, ко всем его словам можно будет отнестись со снисходительной улыбкой, пожелав ему скорейшего и полного восстановления работоспособности. Но пока что нужно искать любые зацепки, прямо или косвенно относящиеся к его работе, к его коллегам, и ждать, когда он сам даст дополнительный повод для расследования.

Санитары, безусловно, передадут Захарову, что больной шепнул ему пару слов, что наверняка вызовет у доктора некое любопытство. Ну что ж, это очень даже кстати. Пусть доктор тоже заразится интригой происходящего. Возможно, для этого ещё и придётся снабдить его дополнительной информацией. Он тут ближе всех к физику и, если возникнет необходимость, то помочь сможет совершенно конкретно. Вдруг Канетелин ничего не выдумывает? Что он имел в виду, упоминая про четвёртого? Убийство? С кем он связан?

Виталий шёл назад пролеском, одолеваемый сомнениями по поводу развёртывающейся на его глазах странной истории. Он любил побродить в лугах или по лесу – там, где не досаждает городской шум и мельтешение прохожих, – и теперь испытывал досаду, оттого что не мог спокойно любоваться природой. Его отвлекали навязчивые мысли.

Пока что надо посмотреть записи Олега, которые ему передала его жена. Небольшую синюю тетрадь она нашла в гараже и не стала предъявлять её следствию. Она сказала, что Олег последние дни много работал, даже по выходным, делая какие-то расчёты и выкладки. Конечно, Виталий вряд ли сможет разобраться в них сам, но, безусловно, он лучше знает, кому их следует передать.

Размышляя, он вышел к своему автомобилю, стоящему на небольшой площадке у дороги, и был неприятно поражён увиденным. Вся левая боковина машины, капот и двери были нещадно исцарапаны острым предметом. Порезы были довольно глубокие, постарались на славу. Он осмотрел окрестности в поисках негодяя, однако, кроме шныряющих по веткам птиц, никого не обнаружил: вокруг царили покой и тишина.

«Вот урод!» Он сразу подумал на того ненормального, которого встретил в лесу по дороге в лечебницу. Захотелось найти его и дать ему в морду, однако вряд ли он теперь ошивается где-то рядом, небось и забыл уже, что сотворил. Его охватила ярость. Попадись ему сейчас этот ублюдок, он бы точно двинул ему по роже, невзирая на его убогий облик и скудоумие.

Страшно раздосадованный, Виталий хлопнул дверкой и рванул с места, не в силах успокоиться из-за того, что оказался виноватым сам. Он не доехал до здания клиники, поскольку думал, что вокруг никого нет. Хотя в любом случае данный поступок остался бы безнаказанным, ибо наказать психа невозможно.

Через минуту его машина скрылась за поворотом.

Предъявлять себе претензии он не любил, всегда находилось лицо, несущее по поводу случившегося бóльшую ответственность, чем он. Однако и на явного вроде бы виновного не всегда можно было указать пальцем. Час назад, когда Виталий, направляясь в клинику, оставил за спиной психа, которого он заподозрил в содеянном, того забрал санитар, уведя в здание, и больше тот на улице уже не появлялся.

**4**

Чем дольше этот странный физик находился в клинике, тем сильнее он привлекал к себе внимание доктора. Помимо чисто профессионального желания помочь пациенту, выявить особенности и глубину его психического расстройства, чтобы провести необходимый курс лечения, появился ещё и дополнительный интерес, возбуждаемый главным образом обеспокоенностью судьбой Канетелина совершенно не знакомых с ним людей. По крайней мере двое сердобольных проявили любопытство о пациенте настолько, что напрямую предложили следить за ним, фиксируя его речи, просьбы, контакты и всё остальное, словно он был не обычным больным, а агентом иностранной разведки. И если пожелания представителя спецорганов можно было бы принять как рядовой случай – мало ли кем они могут интересоваться, – то попытки поговорить с Канетелиным журналиста, да ещё в увязке с последними событиями в городе, уже напрямую наводили на мысль о возможном конфликте больного с законом, с государством или с какими-то отдельными важными лицами.

Клиника, конечно, не самое лучшее место для дознания. Поскольку лечащий врач здесь как переводчик с никому не известного языка и его помощь в любом случае необходима, Захарову вынуждены были дать понять, что пациентом они интересуются по серьёзному, а уж он сам потом заключил, что дело, которым они занимаются, скорее всего, особой важности. Видимо, учёный этот непростая штучка и даже с помутнённым рассудком до сих пор играет в их делах далеко не второстепенную роль.

Действительный член Академии медицинских наук Полуэкт Захаров сидел за столом в своём рабочем кабинете и обдумывал сложившуюся на данный момент ситуацию. Проблема заключалась в том, насколько важными являются полученные им сведения и как ими в дальнейшем следует распорядиться. Возможно, будет лучше в первую очередь побеседовать с журналистом. От него скорее можно ожидать разъяснений, чем от мрачных типов с кодированным сознанием, которые, как чёрные дыры, заглотят его слова со всеми попутными междометиями, похлопают его по плечу, не сказав даже «спасибо», и скроются за дверью, не забыв засунуть ему между ягодиц дополнительный «жучок». Он был далёк от личной выгоды, тем более что небольшое вознаграждение за свои услуги уже получил. Но кое-какую корысть в данном деле, не связанную, если можно так сказать, с материальной составляющей, всё же имел. Необычность поведения пациента, неординарность его личности, необъяснимый феномен событий, с которыми доктор столкнулся, – всё это делало его сопричастным к какой-то дьявольской игре, отказаться от которой он теперь уже был не в силах. И, как любой азартный человек, он, несомненно, желал быть в этой игре победителем.

Он уже несколько дней наблюдал за Канетелиным не как врач, а как тюремный надсмотрщик, выполняя просьбу и желание, которые были ему высказаны в конфиденциальной форме. Пациент проявлял нервозность, чурался других больных и, похоже, желал выйти на контакт, но только не с кем-нибудь из персонала клиники и не с ним. Это Захарова немного задевало, хотя он вроде и нашёл объяснение необычной закрытости своего подопечного. В разговорах с доктором пришлось бы объяснять некоторые вещи, происходящие с ним, которые Канетелин умышленно скрывал, скрывал по причинам, возможно, даже от него не зависящим. Или не мог объяснить, поскольку некоторыми событиями с его участием, по всей видимости, сам был слегка потрясён. Для физика Захаров, похоже, был не тем человеком, которому можно доверять, поскольку в его представлениях круг интересов доктора очерчивался только своей клиникой и собственным благополучием. Другое дело журналист, да ещё лично заинтересованный в расследовании. Ему можно довериться в любой степени, постоянно подогревая интерес, и тот без лишних разговоров исполнит любую просьбу физика на стороне. Если у учёного присутствует мышление, то, само собой разумеется, он будет пытаться утаить свои идеи, а может, даже и попробует приступить к активным действиям.

Захаров сам видел, как занервничал, едва заметно, но забеспокоился пациент, когда узнал, что к нему пришёл представитель журналистской братии, знакомый с его бывшим коллегой. И не случайно Канетелин, постоянно углублённый в себя, вдруг прорвал преграду отчуждённости и выдал в свет вполне членораздельные, значимые фразы. Стало быть, с журналиста будет больше проку, чем с знакомых федералов, с ним надо дружить. Он как связной, через которого придёт дополнительная информация, а она в дальнейшем может очень даже пригодиться.

Захаров встал и прошёлся по кабинету. Было одиннадцать часов вечера. Сегодня он задержался в клинике, что в последние дни происходило довольно часто. Он подолгу засиживался у себя, просматривая архивные дела, видеозаписи, с помощью специальных программ обрабатывая и анализируя психосоматические реакции пациентов. В столе лежали материалы по двум неоконченным научным статьям, но в последнее время руки до них не доходили. История с Канетелиным не давала покоя, он думал о его состоянии и всё отчётливее понимал, что степень расстройства его психики, так же как и вероятность полнейшего восстановления умственных способностей пациента, лежат вне зоны его действующей практики и не сопоставимы ни с одним подобным случаем. Физик не был сумасшедшим, просто в нём на время что-то сломалось. Потом само починилось, и сломалось другое. Потом ещё раз, и так он периодически терял ориентацию во времени, терял навыки, правда, приходя в себя уже значительно чаще, что единственное можно было утверждать вполне определённо.

Показалось, что этажом выше что-то брякнуло. Доктор бросил взгляд на гладкий потолок. Потом посмотрел на зашторенные окна и на дверь, будто пытаясь увидеть за ней пустоту приёмной. Сейчас там никого не было, а по всем коридорам клиники было включено только дежурное освещение. Немного подумав, потеребив пальцем подбородок, доктор подошёл к стеллажу и, прислушавшись к тишине, запустил руку в глубь средней полки.

Стеллаж неслышно отъехал в сторону, открывая проём потайного входа. Захаров вошёл внутрь помещения, включил свет, и толстая перегородка тут же встала на своё место, заперев его в маленькой прямоугольной комнатке.

Это был звукоизолированный наблюдательный пункт, позволяющий следить, что происходит в данный момент практически в любом закоулке здания. Тайная комната была спроектирована по непосредственному указанию Захарова. О ней знал только руководитель его службы безопасности, и ни с какими федеральными агентами своими возможностями доктор делиться не собирался. Посередине помещения стоял стол с огромным монитором, в углу размещался мощный сервер. На экране, как у охранников, в мультиоконном режиме были выведены картинки самых разных объектов вплоть до изображений того, что творится внутри больничных палат.

В клинике было установлено более сотни видеокамер, как и положено, в самых людных местах: в коридорах, залах, в фойе и проходах, а также снаружи строения. Однако помимо этого, вне системы общего наблюдения, здание было нашпиговано ещё большим количеством скрытых камер, которые ни уборщики, ни другой обслуживающий персонал обнаружить не могли. Человек, традиционно знающий, что его могут видеть, волей-неволей иногда расслаблялся там, куда взгляд наблюдателя, по его мнению, добраться не мог, и вот именно информация из таких закоулков была для доктора наиболее ценной. Надо сразу сказать, что Захаров использовал данные записи исключительно в своих профессиональных интересах. Ну и, помимо всего прочего, система позволяла следить за работниками клиники, насколько они честно и добросовестно выполняют свои обязанности. Иногда не в первый раз попавшийся на халатности или откровенной нечестности работник, увольняемый с объяснением причин, долго гадал после, откуда это стало известно руководителю, подозревая в тайном доносительстве любого из служителей этого странного заведения, вплоть до недоумков-пациентов. Но о тотальной слежке задумывался в последнюю очередь. Из-за этого у Захарова с течением времени сложилась репутация человека, от которого ничего невозможно скрыть. Его боялись, но оттого сильнее уважали, потому что большей частью он был справедливым.

На верхнем этаже в дальнем конце коридора мелькнул свет фонаря. Это охранник начинал традиционный вечерний обход, осматривая проходы и служебные помещения. Захаров нажал пальцем на нужное окно и развернул изображение на весь экран. Детали можно было увеличить до такой степени, что различалась мимика лица, собственно и являющаяся той необходимой характеристикой объекта, которую должна была отразить техника. Данная задача была выполнена разработчиком системы на отлично. Охранник предлагался одновременно в нескольких ракурсах, что позволяло ни на секунду не терять его из виду. Хотя сам он не представлял для Захарова никакого интереса, на его месте мог быть любой обитатель клиники, и его поведение доктор мог наблюдать бесконечно долго. Кроме того, система сама анализировала и отбирала картинки по рабочим макетам. И в результате реализации функции сжатия данных непрерывная круглосуточная запись велась по всем наблюдаемым секторам в самом высоком разрешении.

Из динамиков доносились шаркающие шаги охранника. «Этот парень никогда не поднимает ноги», – подумал доктор, провожая взглядом неуклюжего, странного на вид работника.

Он пробежался глазами по тем местам, где должны были находиться люди, проверив «караул» в своей лечебнице, и потом переключился на палату Канетелина.

Пациент мирно спал, наверное, уже просматривая десятый сон. Так же, как и его сосед, он лежал на спине, сложив на животе руки, точно египетский фараон. На экране отображалась картинка в режиме ночного видения, где отчётливо проступали морщины на лице, впадины глаз и губы. Он ничем уже не напоминал того безумного смутьяна, поступившего в клинику весной, который, казалось, даже во сне норовил броситься на вас прямо с кровати. Тогда он спал, сморщившись или состроив такую ужасную гримасу, будто его прижигали во сне раскалённым железом. Говорить он не мог, только мычал, и в бреду, и проснувшись, одинаково бессистемно. Его жуткая специфическая внешность отталкивала даже бывалых обитателей клиники. Они его пугались и таким вот и запомнили навсегда, не веря теперь в его выздоровление.

Наверное, он сам себя помнил каким-то не таким. Во всяком случае, Захарову казалось, что отдельные эпизоды того зрелища не для слабонервных, которое он специально устраивал для пациента, живо рисовали ему собственное поведение, отложенное где-то в дальних уголках памяти. Доктор показывал ему только те сюжеты, которые записывал при нём же, а не скрытой камерой, поскольку, будучи человеком опытным, не доверял даже лишённым рассудка особям. Тем более, как показал случай с самим же Канетелиным, проблески трезвости случались неожиданно, и никогда не было точно известно, что больной запомнит, а к чему отнесётся весьма поверхностно.

Тогда казалось, что ему уже ничто не поможет. Нечленораздельные звуки, которые он из себя выдавливал, не были необходимостью. Он не страдал и не боролся, просто обстоятельства сложились так, что одномоментно отказали и речевые, и мыслительные, и моторные функции его нервной системы и воздействовать больше было не на что. Какие там упражнения по новым мультитехническим методикам, какая химиотерапия. Это был человек-призрак, полуживая материя в доисторической форме её пребывания. Он не откликался ни на какие призывы, а только выл и беспорядочно дёргался вследствие воздействия непонятных раздражителей. Таких они сажали в отдельные комнаты, обитые мягкой материей, и некоторое время их не трогали, пока они совсем не успокоятся.

Зато каким удивлением для специалистов явилось первое более-менее членораздельное слово, произнесённое им через месяц в полном одиночестве, заставившее сбежаться на чудо почти весь персонал клиники. Он вдруг начал оживать, он вспоминал отдельные слова, фразы, и уже безумные формулы, нацарапанные карандашом на страницах журнала, таили в себе какой-то смысл, позволявший взглянуть на несчастного как на трезвое, вполне думающее лицо. Теперь на него не смотрели косо, ему помогали в его потугах, помогали выразить себя, и он ещё более откликался, живость пациента тут же стала выглядывать из-за мрачных туч его образа. У него появилось настроение, он становился управляемым, постоянно чего-нибудь хотел и этим, безусловно, всем нравился. Нет большего удовольствия видеть, как опекаемый во всём вас слушается, но возможность улавливать в нём отголоски вашей же души, частички ваших правил и увлечений поистине превращает его в собственное, любимое творение. С ним нянчились, его лелеяли, видя, как он возвращается из небытия. Он самостоятельно стал кушать, не требовал серьёзного ухода, интуитивно соблюдал распорядок дня. Постепенно персонал лечебницы стал уже забывать, какой тяжёлой формой недуга он был поражён. И только доктору Захарову, как главному ответственному за здоровье своего подопечного, досталась самая нелёгкая сторона взаимоотношений с ним – уловить проблемы разрушительных процессов, чтобы правильно настроить его мозг на дальнейшее взаимодействие с внешним миром.

Работа требовала терпения и немалых сил. Поначалу приходилось с ним тупо возиться – бросить его теперь уже было невозможно. Подсказками и уговорами, часто долгими и безрезультатными, выводящими его из себя, всё же удавалось настроить его на волну прямого спокойного общения, точнее сказать, взаимодействия без отклика, но такого, что он вполне отчётливо воспринимал, что вокруг него происходит, и на отдельные слова-просьбы, слова-команды реагировал вполне в духе человека.

Те нелёгкие дни вспоминались как кошмарный сон. Научить обезьяну грамоте было бы проще. Однако та отличительная особенность сильной личности, то вдохновение, которое не позволяет оставить самое безнадёжное дело, вдруг решительно пришло к Захарову, когда он занялся возвращением в мир этого странного субъекта, о чём вспоминал потом неоднократно, поскольку вложил в своего пациента достаточно много сил. Что послужило побудительной причиной, он не знал. Бывают такие случайности в жизни, к которым относишься с особым пристрастием, и даже профессиональный запал ваш, казалось бы, уснувший навеки, таит в глубине достаточные резервы, чтобы выплеснуться наружу именно в такие вот особые моменты. Захаров гордился им. Он заставил его думать. Бессчётные часы занятий и упражнений в конце концов дали результат. Канетелин уже ориентировался в обстановке, мог различать, что плохо и что хорошо, его можно было предъявить обществу. После долгих сомнений он был переведён в одноместную палату, где фактически начинал заново жить, где сама атмосфера нормального человеческого быта позволяла ему скорейшим образом адаптироваться к естественным условиям.

Содружество остальных тронутых на этаже приняло его враждебно. В чём-либо ущербное существо всегда воспринимает подобные своим отклонения с особой нервозностью. В нём увидели чужака, и на Канетелина это произвело сильное впечатление: рецидивы припадков бешенства были у него ещё не редкостью. Единственным местом, где он мог успокоиться, была его палата. Зато с каким наслаждением он, похоже, предавался отдыху, ограждённый от кривляний, нападок, угроз странных и непонятных ему соседей, можно было не сомневаться.

Захаров вспомнил, как в первый раз привёл его в эту комнату. Канетелин замер, как в ожидании чего-то необычного. Ему самому теперь предстояло здесь обустраиваться и действовать согласно собственному разумению.

Четверть часа было отдано тому, чтобы сосредоточиться на фрагментах обстановки, что предстала перед ним в виде графина с водой и стоящего рядом с ним на тумбочке стакана. Охватить всё в целом он, очевидно, не мог, иначе непременно его внимание привлекла бы какая-нибудь другая малозначительная деталь и в конце концов выжидательный взгляд доктора, которым Захаров держал его на привязи, пока не решаясь отпускать. Но и по отдельности видеть окружающие его предметы, судя по всему, давалось ему с большим трудом. Он не изучал их и не дивился, он только натужно воспроизводил в голове уже знакомые ему очертания, не в силах заполнить их содержательной основой. То, что скрывалось за стеклом, помеченное тонким фигурным абрисом, по всей видимости, не давало ему покоя, теребя сознание обрывочными догадками. Оно мучило его какой-то непреодолимой тягой к восполнению утрат, к восстановлению представлений о мире, своего места, своих ощущений в нём, мучило его жаждой, утолить которую он не мог, потому что потерял для этого все навыки и связи с реальным миром. Вид этого графина вызвал у него реакцию невыносимо пересыхающего горла, требующего только одного – глотка воды. Но он лишь безумно вопрошал в сторону заполненной ёмкости: что это такое, если, в общем-то, не жидкость? Может ли оно помочь в удовлетворении его насущной потребности? Попробовать добиться чего-то самому у него ещё мысли не возникало. И лишь оказанная сторонним услуга откликалась в нём чем-то отдалённо напоминающим благодарность, о чём он пока тоже быстро забывал.

Первые дни в обществе были для него стрессом. Всё мешало, а противные людишки, стоило выйти за порог комнаты, начинали донимать его неуступчивостью и своими ужасными нравами. В палате его постоянно не держали, старались выпроваживать наружу. Будто заново рождённый, но с запасом какой-то скрытой, недосягаемой взрослости, он зримо страдал, не зная, как ответить на дурацкое поведение ближних, хотя со временем всё реже принимался по этому поводу буйствовать. Наоборот, после долгих, многочисленных разъяснений доктора вполне ощутимое становление его как личности сопровождалось расцветом в нём великой толерантности и отдельными признаками уважения к самому себе. Его характер стал меняться на глазах. Словно это свойство личности, формирующееся в человеке в раннем возрасте и практически неизменное в течение всей его последующей жизни, содержало в себе резерв к восполнению, однажды резко поменяв полярность на противоположную. Он стал намного более сдержанным, а потом и вовсе индифферентным по отношению к выходкам сожителей по этажу.

Теперь уже странным выглядело его молчание на недвусмысленные обиды, нередко наносимые ему отдельными больными. Казалось, природная невозмутимость наложила отпечаток на всё его поведение: он не обращал внимание даже на то, что неизбежно должно было бы вызвать отрицательные эмоции или выявить явные признаки неудовольствия. Но в какие-то отдельные моменты, даже принимая во внимание его неадекватную реакцию, то безмятежное спокойствие, с которым он смотрел на всякие выпады в свой адрес и на самого обидчика, давало повод подумать, что он утратил последние составляющие своего мелкого самолюбия и никакая отчаянная встряска не способна пробудить его от этого своеобразного сна. Он всё видел и слышал, уклонялся от стычек, реагировал на боль, но никак не связывал с ней непосредственных исполнителей сиих актов недружелюбия. В его глазах не отражалась обида, тоска, удивление, он был предельно равнодушен как по отношению к психам, так и в связи с теми неудобствами, которые они с беспримерной настойчивостью создавали ему каждый день. Он ни на кого не жаловался. Наивная детская улыбка, которая расцветала вдруг на его лице, когда он, грубо оттеснённый с места, выслушивал в свой адрес какую-нибудь гнусную ересь, была его единственной реакцией и, похоже, раззадоривала местный контингент ещё сильнее. Очень бы не хотелось думать, что в подобных эпизодах он только накапливал где-то глубоко в себе отрицательные эмоции.

Так повелось, что этот человек служил объектом нескончаемых нападок и унизительных выходок со стороны некоторых наиболее активных обитателей клиники. Персонал лечебницы как мог ограждал ретивых придурков от остальной части больных, разве что не сажая первых под замок, но за всеми трудно было уследить. Канетелина бесконечно донимали толчками, пустой бранью и мелкими издёвками, которые с подачи какого-то одного идиота превратились для них в традиционную игру. Впрочем, исключающую само содержание игры из их нелепых и случайных, бессвязных действий. Решительно всегда он служил для них отменным раздражителем, как красная тряпка для быка. Словно в порыве ребячьей шалости эти убогие люди, найдя способ простого, безнаказанного удовлетворения своих смешных страстей, способ выплёскивания наружу затаившейся в них злобы, потерявшей за годы отчуждения своё лицо, постоянно пытались ему чем-то досадить, и только явная разрозненность и явная глупость их поступков не позволяли подумать, что это спланированная и целенаправленная акция. Они донимали его порознь и по отдельности же наслаждались его безответным молчаливым сношением провокаций.

Вместе с тем подвижки в его поведении стали более заметными. Храня достоинство, он будто напитывался величием духа, свойственного сознательным существам, и иногда, когда он уходил от стычек с недругами, это особенно хорошо чувствовалось. Можно представить, какое негодование он испытывал, окружённый не соответствующей его темпераменту и мировоззрению компанией. Но большей частью он теперь умело отдалялся от назойливых типов, словно уяснив ценность спокойствия и избегания не нужных ему склок. Не то чтобы он этих типов боялся, скорее презирал, определённо не впуская в свой мир даже похожих на него по характеру постояльцев. Интуитивно или вполне по-взрослому он уже возводил на прежний уровень свой социальный статус.

Он изменился внешне. По-прежнему подолгу блуждая в глубинах своего сознания, посвящая этому занятию львиную долю времени, он, тем не менее, обрёл некую уверенность в себе, а в чертах его лица стали проглядываться оттенки интеллекта, как бы говоря о том, что период мрачного одиночества скоро закончится и он вернётся в жизнь таким же умным, интересным человеком, каким был раньше. Точно подтверждая данные предположения, он брал ножницы и, спокойно, без тени сомнения орудуя ими, подстригал у себя ногти. Увидев его в такой момент, вряд ли кто бы мог предположить, что данный субъект страдал когда-то буйным помешательством.

За ним стало интересно наблюдать. Не в плане того, чтобы следить за процессом его восстановления, а улавливая в нём необъяснимую, полную мирских тайн жизнеспособность. Чем больше Канетелин становился похожим на здравомыслящего человека, тем сильнее он притягивал к себе как к цельной, неординарной личности, отличающейся умением возносить в ваших глазах то, к чему вы относитесь весьма спокойно, или сглаживать эффект от того, что вас порядком раздражает. Никого не донимая, всё сильнее сторонясь окружения, он проводил сеансы терапии самостоятельно, но можно было не сомневаться, что в такие моменты в его голове зрели самые настоящие, первоклассные мысли и занятия его, безусловно, не пройдут даром.

Порой это было сравнимо с магией. Блуждающий взгляд, не выражавший ровным счётом никакой заинтересованности окружающим его миром, вдруг останавливался на каком-нибудь предмете, с невероятной проницательностью начиная постигать, казалось, самые глубинные основы сущего, в чём подозреваешь иногда человека, долго и упорно рассматривающего самую обычную, ничем не примечательную вещь. Будто он видит в не имеющих никаких особенностей деталях некую связь с прошлым или будущим данного воплощения. Будто он видит иные проекции занимаемого им пространства и отличает его от других предметов не только по цвету, форме, видимой шероховатости его поверхностей, но и по изменениям его свойств, качеств, которые происходят с течением времени и которые как бы мгновенно отображаются в каком-то особом аналитическом отделе его мозга. Та напряжённая поза, в которой он замирал, словно погрузившись в глубокие раздумья, меньше всего соотносилась с состоянием простой меланхолии. Он смотрел на данную вещь с такой же неопределённостью, как и на всё остальное до этого. Но иногда отражавшаяся в его глазах ясная и восторженная одухотворённость, словно перед ним висела всемирно известная картина или находилось потрясающее в сочетании гармонии и выразительности изваяние, побуждало вдруг к стремлению окунуться в столь же глубокую и почтительную созерцательность, дабы понять, не упущено ли на самом деле что-то важное. Невидимая связь предмета его внимания с эпохой уже ощущалась не интуитивно, а почти явственно. Воображение выделяло подчёркнутые светотенью контуры, невозмутимый вид его утверждал гармонию мира, возвышенность убеждения над формой, отдельного чувства над суетой, и вдохновляющая сущность былого, детально реализованного в настоящем только благодаря тонкому, проникновенному взгляду на окружение, обретала с его помощью смысл уже не просто как набор полезных в обиходе вещей, но и как элементы высокого, скрытого в обыденности существования творчества. Его стремление постичь границы непознанного вовсе не выглядело безнадёжным. Порой казалось, что спроси его, и он тут же смог бы донести до вас какие-то особые, отличительные с точки зрения мастера нюансы исполнения – отдельные качества образа, характеризующие не только художника, но и среду обитания, налёт эпохи, пластику, выразительность, те убедительные и яркие доказательства принадлежности предмета своему времени и культуре, что несёт в себе практически всё, что сделано руками человека.

Постепенно Захаров просто загорелся желанием вернуть ему нормальную речь. Хотелось, чтобы он больше говорил, пусть туманно и сбивчиво, но хоть как-то пытаясь выразить себя. Наверное, ему было что сказать, даже если он человек неразговорчивый.

Преуспеть в налаживании взаимопонимания не удавалось долго: он не допускал к себе нормальных людей в той же мере, в какой не видел сумасшедших. Именно внушённый пример, пример человека, которого он мог считать своим другом, заставил бы его учиться по-настоящему, поскольку те редкие звуки, что иногда вырывались из него, похоже, являлись для него малопригодными. Он не пытался ими что-либо обозначить, а употреблял их так же, как мы вводим в свою речь бессистемные междометия типа «э-э», «ну-у», «м-м», не замечая их присутствия, хотя это есть типичная речевая грязь. Когда же требовалось выразить нечто в явном виде – в момент захлёстывающих его эмоций, при необходимости высказать порицание или угрозу, – он прибегал больше к жестам, дёрганиям, гримасам, как у диких животных, не довольный собой и во время, и после своих художественных кривляний.

Именно вот это недовольство собой Захаров и положил в основу их взаимоотношений, для начала давая понять, что он видит, как непросто приходится Канетелину в подобных ситуациях. Он жёстко брал его за руку, отводя в сторону, повторяя неоднократно нужные ему в данном случае слова, внушая речами темперамент, указывая пальцем на того, кому предназначались его нелестные отзывы. Он действительно надеялся, что такими подсказками его можно было пронять. И ребёнка и взрослого воспитывают одинаково – на уважении к личности другого. Однако для взрослого, уже досконально знающего, что такое враньё, тема добра и зла не катит – ему нужна опора посерьёзнее личного примера учителя. Смог ли он проникнуться к доктору уважением, неизвестно, однако через некоторое время старания последнего дали о себе знать. Однажды в момент какой-то ссоры с больными Канетелин произнёс фразу, которую запомнил от своего наставника, чем ошарашил недругов и значительно вырос в собственных глазах. Не ожидая в его поведении таких перемен, оппоненты моментально заткнулись. А прикинув, что он при явном проявлении сообразительности ещё и дружит с главврачом, сразу оставили его в покое.

Так доктор втёрся к нему в доверие, и Канетелин перестал его стесняться. Он уже не тяготился его обществом, перекидываясь с ним потихоньку отдельными репликами и даже обращаясь к нему с некоторыми просьбами. Доктор намеренно иногда «не понимал» пациента, заставляя того вспоминать забытое и пытаться выразить мысль другими словами, которые в бессчётном количестве накидывал ему при каждой новой встрече, отчего у больного сдвигались брови, морщился лоб и плотно сжимались губы. Он овладевал речью через силу. Видно было, с каким трудом ему даются необходимые звуки, притом что он когда-то и говорил, и кричал как бешеный, и пел, отрывочные воспоминания о чём неприятно задевали за живое. Это была родная речь, не иностранная, однако она давалась труднее, чем в своё время незнакомая фразеология. Во рту что-то мешало, язык не ворочался, мысль не поспевала за действием – хотелось сильно тряхнуть головой, чтобы восстановить хоть какой-то порядок, что он и проделывал неоднократно, а когда убеждался, что это не помогает, готов был выть. Его лицо перекашивало от напряжения, взгляд тупел, и, чтобы восстановить прежний тонус, при котором только и можно было произнести что-то нормально, приходилось, взяв себя в руки, долго успокаиваться.

Регулярно через день он выполнял задания доктора, готовя короткий рассказ по выданной ему картинке – портрету или простенькому интерьеру, отображавшему знакомую ему обстановку. Захаров намеренно выбирал такие, чтобы всегда можно было сослаться на примеры меблировки в клинике. Надо сказать, что сам процесс занятий, при которых он принимал правила игры и поддавался научению, уже сам по себе являлся серьёзным достижением, означающим, что он понимает, к чему надо стремиться, и, несомненно, хочет говорить. Доказательством его тяги к жизни служило непомерное усердие, с которым он брался за выполнение уроков, выделяя на них всё своё свободное, да и прочее тоже время. Он ложился с картинками спать и с ними вставал, постоянно что-то бубнил под нос, пытался задавать в коридоре вопросы. Можно сказать, что и к очередным встречам с доктором он всегда подходил полностью подготовленным, почти осознавая, чего ему не хватает. По нескольку раз он повторял одно и то же, силясь развить мысль, но никак не находя нужных выражений. Захаров подсказывал ему, и он злился, что не мог додуматься до этого сам. Иногда в отчаянии, когда ничего не получалось, срывался и плакал – было и такое. Его губы тряслись, как у немощного старика, хотелось обнять его и утешить, и он, понимая настроение наставника, собирал с полу разбросанные картинки и начинал мычать по новой.

С начала их регулярных занятий прошло три месяца. Он уже не боялся на примитивном уровне выражать свои мысли, помогая себе жестикуляцией, что выглядело иногда довольно забавно. И всё же речь к нему стала возвращаться совершенно неожиданным для Захарова образом. Нельзя сказать, что уроки доктора не имели для пациента решающего значения, однако повреждённые нервные связи занимали у него такую обширную область мозга, что надеяться на обходные пути в нём можно было не в самой ближайшей перспективе.

Он вдруг достаточно чисто стал произносить отдельные заученные им слова, потом фразы, так что можно было подумать, будто он до этого только придуривался. Правда, было заметно, как нелегко даётся ему любой нормальный звук, но происходящие перемены явились для всех настоящим прорывом. Сёстры изумлялись и радовались, даже они теперь подключились к делу выработки у него чёткого произношения. Не все, конечно, но к нему относились уже без всяких издержек, по серьёзному, как к солидному клиенту. Если раньше, сказав ему что-то, могли сразу и уйти, не дождавшись, пока он вымучит в голове ответное слово, то теперь, как от умного собеседника, ожидали его реакции, зная, что это не бесполезно, заводя порой пространный, поддерживаемый для пользы пациента диалог. А уж вершиной его становления как человека, владеющего нормальной речью, явился случай, когда в порыве эмоций он разразился настоящей бранью на уборщицу, случайно опрокинувшую ему под ноги ведро с водой. Та не обиделась, но была ошарашена чрезвычайно: и по поводу своей безрукости, и тем живым негодованием, с которым обрушился на неё ещё недавно тронутый умом тихоня.

Всё шло как надо. Захаров вспомнил, как почти с нулевой отметки Канетелин добрался до вполне приемлемого уровня общения. Они часто обсуждали погоду, телевизионные программы и более тонкие, близкие пациенту вопросы: его настроение и его отношение к другим обитателям клиники.

Теперь главной проблемой стала не сама речь, а его лексикон – тот мизерный запас слов, что он помнил с рождения, то есть что осталось в подсознании в качестве базового комплекта фонем. Всё остальное в одночасье выветрилось. Он вытаскивал периодически любой из этих патронов, чтобы хлопнуть холостым чисто из соображений шумности – произвести эффект в кругу незатейливой аудитории, готовой не думать, а только лишь попусту хихикать. Теперь же нужна была осмысленная программа действий, речь как источник информации, а не фон для времяпровождения. Классический анализ, крошечные остатки которого иногда всплывали на поверхность в его учёной голове, давил на него родовитостью догм. Он начинал говорить и терялся. Было больно осознавать, что этот великий учёный уже не сможет осветить в кругу знакомых своё отношение к той или иной проблеме. Ему не понадобится его огромный опыт экспериментатора, он не вспомнит свой творческий путь, вехи познания, производящие взрывной эффект малых, но очень значимых для него открытий. Ему, как самому убогому, никчёмному существу, предстоит лишь жрать и спать, пердеть и возмущаться странной историей своего прозябания, в которое он так и не смог привнести какого-либо толку.

Как хотелось его разговорить, чтобы он чувствовал участие хотя бы со стороны своего лечащего врача! Захаров, бывало, наводил его в беседах на животрепещущие темы, которые Канетелина раньше непременно заинтересовали бы, и учёный поддавался на уловку. Искринки увлечённости тут же начинали появляться в его глазах, он напрягался, суровел, начинал загораться вдохновением – его было не узнать. Он пытался изъясняться, применяя экзотические формы словообразования, приводя Захарова поистине в восторг, и тому никогда ещё не удавалось испытать такого сильного увлечения, каким являлись его речевые занятия со своим пациентом.

На то, что можно было описать в двух словах, он тратил весь свой небогатый разновес чудных фразеологических оборотов. Слова подбирались с трудом, произносить их он мог, прикладывая для этого ещё большие усилия, и то, что получалось в результате, – при обработке скудной информации, дошедшей до него откуда-то издалека, – сравниваясь с известными подобными выражениями, которые подсказывал доктор, наверное, путало его окончательно. Он запинался, а временами делал продолжительные паузы, смотря перед собой широко открытыми глазами, будто сильно испугавшись невпопад произнесённой непристойности. Его мучила вставшая непреодолимой преградой зависимость от трезвой мысли, которую он ощущал где-то в дальнем углу сознания и отделаться от которой, как бы ни подталкивали к тому его охваченные флегмой остатки сообразительности, не мог. Можно было жалеть его, подгонять, подсказывать, вставляя в прерывистый бессвязный поток этого надоедливого бормотания отдельные правильные фразы – вы ему практически никак не помогали. Он останавливался, точно узнав смысл нового для него слова, но только, казалось бы, находил его, выключался вновь. И возникшая у вас мысль о посетившем его на несколько секунд просветлении тотчас улетучивалась. Он становился так же труден для понимания, как и до этого, и продолжал наседать несусветным речитативом, похожим на тарахтение старой издыхающей машины.

Но всё же сила желания пациента и творческий подход Захарова в его реабилитации дали о себе знать. Ещё через месяц, стоя на берегу озера, Канетелин уже вполне сносно делился с Захаровым своими впечатлениями от прекрасного заката. Он немного тормозил, запинался, но в целом умело и, главное, осмысленно поддерживал разговор, начатый невзначай доктором. Он излагал ровно то, что хотел выразить, и у него это здорово получалось.

– Такими темпами он станет мастером риторики покруче вас, – говорил потом Захарову его коллега по работе.

Академик стоял нахмурившись. Явные успехи Канетелина его радовали, но заботило другое.

– Судя по томограмме, его речевой центр практически не восстанавливается, – обратился он к говорящему, – а результаты слишком впечатляющие, что довольно странно. Чего мы не знаем?

– Для меня это тоже непонятно, – откликнулся молодой коллега. – Я просмотрел подобные случаи в мировой практике и ничего похожего не нашёл. Патологические изменения обратного хода не имеют, но он держится так, словно с ним ничего не произошло. – Коллега испытующе посмотрел на более опытного и маститого товарища: – Возможно такое, чтобы отдел мозга, отвечающий за речь, полноценно переехал в другую его часть?

Доктор покачал головой:

– Даже если переезд хорошо оплачен и наняты грузчики.

– Но ведь должно же быть объяснение его феноменальным успехам. В человеке заложен огромный резерв жизнеспособности, а мы даже не предполагаем, где он находится.

– Иначе как вмешательством потусторонних сил я объяснить это не могу.

Позже Захаров всё же выдвинул гипотезу о происходивших в голове пациента переменах, однако повременил рассказывать кому-либо о своих догадках. Случай с Канетелиным был особенным, и делать поспешные заключения явилось бы верхом неосторожности. Во-первых, всякие плохо обоснованные революционные теории могли повредить его учёной репутации. Он не молодой, рвущийся в бой вояка, который не имеет за плечами никакого багажа и которому поэтому нечего терять. Он уже достаточно подёргался в жизни, чтобы бросаться на амбразуру без всяких на то оснований. Фортуна любит смелых, но осмотрительность она ценит ещё больше. А в его годы осмотрительность является главной управляющей силой, пусть и притормаживающей иногда волшебные полёты фантазий. Практика показывает, что многие стихи, питаемые вдохновенными порывами, очень быстро становятся скучной прозой – достаточно одного трезвого взгляда на них чуть позже.

А во-вторых, предположения его, разумеется, нуждались в многочисленных проверках, поскольку и сейчас ещё он не мог признаться себе, что по-настоящему в них верит. Если бы дело касалось простого неврастеника, теряющего самообладание по четвергам, тогда можно было бы в чём-то слукавить, убедив себя и остальных в том, что настроение пациента обладает приобретённой каким-либо образом цикличностью. Можно было бы впустую перемалывать большое количество разнообразных доказательств, представленных по необходимости под нужным углом. Можно было залить действо теорией – таких, слава богу, имеется предостаточно. В сфере применения неточных наук, не требующих буквенно-цифрового описания процессов, количество аксиом, как и самих провидцев, счёту не поддаётся. Однако речь шла об интеллектуально развитом физике, обладающем определённым набором знаний, в том числе и в области философского осмысления задач. Он работал с какими-то системами и установками. Без сомнений, воздействия мощных полей, потеря личности, последующее лечение и реабилитация тесно переплелись между собой и отразились на его собственном «я» самым непосредственным образом. То, что наблюдалось снаружи, возможно, было запрограммировано изначально, если не им, то кем-то ещё. И тогда физические страдания человека, его переживания являлись не лишённой смысла историей болезни, а цельной картиной реакции субъекта на вполне конкретное воздействие, которое осталось всего лишь найти. Или вычислить теоретически, что, правда, не совсем по его части…

Сейчас он смотрел на Канетелина, тихо посапывающего в своей кровати, и вспоминал совсем ещё недавние события. Словно времена тяжёлых переживаний, последние месяцы предстали целой эпохой, оставив в душе неизгладимый отпечаток чего-то очень важного. У него были свои принципы и подходы, позволявшие достигать нужных целей без видимых затрат энергии. Он был настоящим мастером своего дела. Хорошо известно: чтобы успешно лечить или управлять, что в стратегическом плане одно и то же, надо лишь всенепременно и полностью завоевать доверие интересующих вас людей, и тогда любая метода ляжет на благодатную почву сознания и быстро даст нужные всходы. Идея потворствует правителям, но для врача она подобна дорогой пилюле, направляющей концентрацию жизненных сил больного в нужное русло. Однако Канетелин, ещё не приняв облик полноценного человека, сам излучал идеи, не только не поддаваясь чьему-либо внушению, но и пытаясь подчинить окружающих себе. Его лоб и надбровные дуги, будто у древнегреческого стратега, налились властным припуском гордыни. Не зная его, можно было бы представить большого полководца на сонном одре, оставившего свои войска на попечение надёжных помощников, но в ближайшее время готового вновь приступить к исполнению нелёгких обязанностей.

Его сон был крепок и безмятежен, поза бесстрастна. Он лежал неподвижно и блуждал обрывками мыслей в далёких фантазиях, возносясь на высоты нечеловеческого величия. И чем-то пугал, неся в себе неразгаданную тайну подсознания, незримо опираясь на то, что приносило вред.

Канетелин вдруг открыл глаза. Доктор затаил дыхание, словно тот находился в непосредственной от него близости. Пациент, оказывается, не спал, что явилось для наблюдающего полной неожиданностью.

Он смотрел в потолок, скорее куда-то выше, что было ясно даже в контурах нечёткого изображения, выделявшего зрачки еле различимым оттенком в больших пятнах глазниц. В его взгляде было что-то демоническое. Но именно мысли о странных явлениях, которые происходили вокруг него, вернее даже которых он был непосредственным инициатором, не давали видеть в нём обычного клиента. Искушённый в невероятных странностях человеческой психики, Захаров столкнулся теперь с совершенно неведомыми ему физическими явлениями.

Вот опять! Вытянув шею, доктор впялился в экран монитора. Над головой пациента чётко обозначились какие-то волнообразные полосы, словно исходящие от него, явно указывающие на источник их происхождения. Что они означали, Захаров не мог себе даже представить. Волны фиксировались в инфракрасном диапазоне излучения, однако это мог быть какой-то побочный эффект – физическая суть явления скрывалась под черепной коробкой больного, и фокус заключался в том, что в человеке столь сильных источников возмущения просто не должно существовать.

В очередной раз Захаров в недоумении смотрел на это ночное действо, не в силах оторвать взгляд от экрана, будто наблюдая сцену из сказочного фильма. Однако то, что он видел, было наяву, в обычной палате клиники, с обычным, вполне рядовым больным. В какой-то момент он подумал о неисправности техники, преподносящей ему сюрпризы, но он несколько раз проводил наблюдения за похожими пациентами и там ничего подобного не обнаруживал.

Сравнивая записи канетелинских излучений, он заметил, что картина поля вокруг него, рисунок волн всё время разные. Данный феномен поразил его ещё сильнее. Странный излучатель, сидящий в голове физика, оказывается, меняет форму, а может, даже и интенсивность своего действия. Получалось, наводящий на больных панику субъект действительно имеет способность реального физического воздействия на окружающих, будто антенна, выделяя в пространство спонтанно возникающую, но, возможно, и вполне себе ощутимую энергию. Его не зря не любили пол-этажа здешних постояльцев, вероятно, чувствующих подобные излучения и относящихся к физику с опаской. И оттого те нелёгкие отношения, которые он имел с большой группой разномастных придурков, расширились под воздействием данного фактора до размеров ненависти.

Показалось, что, испытывая лёгкое беспокойство, Канетелин глянул прямо в камеру, отчего стало как-то не по себе. Жуткий вид неморгающих глаз, расплывшихся на тепловизоре до огромных пятен, будто предупреждал о заряде опасной энергии, сфокусированной по направлению поворота его головы. Тонкий намёк или затаившаяся в недрах сознания грубая сила заставляли воспринимать его с настороженностью. Захаров никогда не думал, что на пике своей профессиональной карьеры будет испытывать растерянность или даже лёгкий страх перед собственным пациентом.

Но через несколько минут, прекратив «передачу», Канетелин широко зевнул и повернулся к стене, поправив одеяло, принимая более удобную позу для отдыха. На этот раз он, кажется, уснул по-настоящему. Оставив без ответа возникшие к нему вопросы, он, точно затеявший игру мошенник, спрятался под личиной скромного мирянина, ничего не ведающего о своих феноменальных способностях.

Захаров ещё долго наблюдал за ним. Вернее, задумчиво уставившись на экран монитора, пытался выстроить логически завершённую картину необычного явления. Однако, как и в предыдущий раз, он закрыл кабинет и уехал домой, так и не решив окончательно, что следует предпринять в дальнейшем. Одного его ума здесь явно не хватало.

**5**

Уже неделю Виталий жил в каком-то напряжении, всё это время его не покидало ощущение, что он прикоснулся к тайне никак не меньше чем вселенского масштаба. Чем бы он ни интересовался в связи с последними событиями, везде обнаруживались некие странности, которые при должном рассмотрении, наверное, могли бы вывести на нужный след. Однако по прошествии некоторого времени выяснялось, что вскрытые факты ничем необычным на самом деле не отличаются и наделять их подозрительными свойствами способно лишь сильно развитое воображение. Дело только запутывалось ещё сильнее.

По возвращении из клиники он в первую очередь внимательно просмотрел переданную ему вдовой друга тетрадь. Это были рабочие записи и наброски мыслей, сделанные, скорее всего, незадолго до трагедии. Текст изобиловал тяжёлыми, непонятными простому обывателю терминами. Судя по выводам в конце тетради, как понял Виталий, результаты проведённых экспериментов не подтверждали первоначально выдвинутую гипотезу. При этом говорилось о несовпадении каких-то факторов, служащих исходным условием для анализа, и было указано на необходимость проведения повторных исследований уже более конкретной направленности.

Сделанные от руки рисунки вообще походили на загадочные схемы из эпохи древних цивилизаций. Хаотично разбросанные по листу кружки, чёрточки, волнистые линии составляли, очевидно, суть передаваемой информации. Местами они объединялись рамкой в группы, причём группы пересекались и входили одна в другую. Единственным указанием на существование между знаками каких-то связей являлись перемежающиеся в беспорядке стрелки, то ли обозначающие причины и следствия, то ли указывающие на вставку в нужное место дополнительных пояснений. Словом, понять что-либо в этих зарисовках непосвящённому человеку было невозможно.

Виталий несколько раз перелистал тетрадь, но прийти к определённым выводам по поводу дальнейших своих действий так и не смог. Вопрос был в том, кому стоит отдать черновики друга. Если в них скрыта важная информация, то не всякому, наверное, можно было её доверить. Сомнения возникли в тот момент, когда Виталий неожиданно наткнулся внизу одной из страниц на короткую приписку мелким почерком:

*«Не показывать Канетелину, если А1* –> *Х. Это страшный человек».*

«Странная запись, – подумал Виталий. – Что это? Напоминание самому себе? Будто они с Канетелиным встречались настолько редко, что можно было забыть, какой он страшный».

Возможно, ремарка имела смысл, если Олег сам намеревался показать кому-то свои записи, сделав пометку в самом важном месте изложения, чтобы именно в этот момент акцентировать внимание читателя на своём отношении к руководителю группы. И тогда это тот человек, который, по крайней мере, сможет понять, что такое «А1» и «Х» и какая между ними достижима связь. А если такой связи не существует, то, стало быть, и Канетелину можно знать обо всём, что тут изложено, не опасаясь какой-либо с его стороны нежелательной реакции.

Очень странно. По крайней мере несколько вопросов после прочтения данной сноски встали перед Виталием в полный свой рост, и первый из них заключался в том, зачем вообще здесь понадобилось кого-то предупреждать. В век развитых коммуникаций ничего не стоит донести своё мнение до другого иным, более простым способом: позвонив ему или отправив сообщение по электронной почте. Но делиться опасениями на полях тетради, да ещё, судя по всему, с привязкой их к результатам рабочих исследований, выглядело не просто странно, но даже подозрительно. Выходит, мнимый адресат, для которого предназначались пояснения, не достаточно хорошо знает Канетелина, но прекрасно осведомлён о деталях работ, проводимых его группой. Если отбросить внешние связи Олега, попахивающие в данном случае преступлением, во что Виталий ни за что не хотел верить, речь может идти только о сотруднике их центра из верхнего руководящего звена. Тогда и конкретика в описании физических процессов, и ссылки на неполную причастность к ним Канетелина вполне оправданы и лишь отводят Олегу Белевскому особую, не совсем пока ясную роль.

Но, пожалуй, точнее обнаруженная ремарка говорила о другом. Похоже, отношения в их коллективе были действительно далеко не радужными. Виталий вспомнил, что пару раз Олег вроде бы упоминал о неких сложностях на работе, но тогда он не придал его словам большого значения, посчитав, что друг говорит об обычных трениях, коих в любой группе дерзких и талантливых людей всегда предостаточно. Вряд ли Виталий мог реально ему помочь, даже если бы вник в суть проблемы.

Очевидно, его друг надеялся на поддержку другого человека, более компетентного в данных вопросах, и из пометки следовало, что Олег, по крайней мере, доверял этому третьему лицу безоговорочно.

На всякий случай Виталий сделал копию с тетради и решил отдать её директору исследовательского центра. Он позвонил ему на работу, фактически напросившись на встречу. Во время разговора по телефону у Виталия возникло ощущение, что, заинтересовавшись записями, тем не менее видеться с журналистом тот большого желания не испытывал: для него лучше было бы получить тетрадь через секретаря. Но Виталий настоял на своём.

Как и в первый раз, директор исследовательского центра Антон Егорович был скуп на комментарии, не желая развивать тему и углубляться в рабочие отношения своих сотрудников. На вопросы он отвечал по возможности односложно, а от объяснений по научным аспектам, затронутым в предлагаемом черновике отчёта, элементарно ушёл, коротко сказав, что тема закрытая. Единственное, в чём он постарался быть убедительным, это комментируя наличие подобных материалов у постороннего лица.

– Я надеюсь, вы никому это не показывали? – несколько озабоченно спросил он Виталия.

– Нет, я прямиком к вам.

– Вот и хорошо. Естественно, наши сотрудники не имеют права производить записи и вести какие-либо переговоры по теме вне своего рабочего места. Но иногда степень увлечения процессом у творческих людей зашкаливает, вы меня понимаете. Они думают над идеей дни и ночи напролёт и, конечно же, далеко не всегда соблюдают правила секретности. Я, как руководитель серьёзного учреждения, должен на это реагировать, но мне не хочется этим заниматься, потому что я понимаю, что интересные идеи могут прийти в голову где угодно и когда угодно, а степень их «утряски» – процесс непрерывный, не прекращающийся даже во сне. Поэтому у меня к вам просьба: не говорите никому о том, что Белевский работал дома, анализируя какие-то результаты, полученные в ходе научных экспериментов.

– Да, конечно. Можете во мне не сомневаться. – Виталий понимающе кивнул. – Только хотелось бы знать, был ли между Белевским и Канетелиным конфликт, и если был, как далеко он мог зайти. Меня это интересует не из праздного любопытства, а в плане того, что данное обстоятельство может как-то помочь в расследовании гибели Белевского. И других членов группы тоже.

– Вы хотите сказать, что целью терактов могло быть убийство конкретных лиц?

– В наше время ничего исключать нельзя.

Директор выказал недоумение, сильно сомневаясь, что подобная версия в целом состоятельна, однако его реакция показалась Виталию не совсем естественной.

– Про конфликт вам рассказывал Белевский? – поинтересовался руководитель центра.

– Нет, он как раз не склонен был рассказывать о своих неурядицах, тем более происходящих вне стен его дома. Но вот это. – Виталий взял из рук директора тетрадь, открыл на нужной странице и указал пальцем на приписку.

Прочитав её, тот снял очки и задумался. Не обращать внимания на подобные мелочи, которые в сложившихся обстоятельствах представляли особый интерес, было неразумно.

– Вот оно что.

– Параметров «А1» и «Х», о которых здесь упомянуто, я так и не нашёл. Может быть, запись спонтанная, а может, она привязана к определённому месту изложения, я не знаю… Вы мне можете сказать о степени важности этих экспериментов? Есть ли в их результатах какой-то серьёзный научный прорыв?

Антон Егорович представил, сколько хлопот возникнет с этим журналистом, окажи он ему малейшую услугу в деле, связанном с гибелью сотрудников лаборатории. Но тем не менее, поразмыслив, не стал отгораживаться от него глухой стеной.

«По крайней мере он может подтолкнуть меня к нужному решению, – подумал директор. – Сейчас даже опосредованная помощь важна, как никогда».

– В этой тетрадке ничего нового для меня нет. – Он указал на неё взглядом. – Но могу со всей ответственностью вам сказать: мы действительно на верном пути. Речь идёт о серьёзном научном достижении, дополняющем наши представления о мире. Оно напрямую касается общих законов физики.

– А если чуть поконкретнее.

Директор всем своим видом обозначил трудности в изложении проблемы.

– Всего я вам объяснить не могу, но вы, наверное, в состоянии представить, как тянет всегда в открывшийся проход из замкнутого, надоевшего до ужаса, изученного до мельчайших подробностей пространства. Такое стремление присуще всем существам в мире: и обладающим сознанием, и абсолютно не думающим. Однако такое же стремление присуще и неживой материи тоже.

«Стало быть, Канетелин и его помощники окунулись в лоно открытия, разделившего их группу на две неравные части, – рассудил Виталий. – Коллектива гениев быть не может: кому-то достаются лавры, а кому-то – обязанность ковыряться в мелочах, кои и являются всегда основой сущего. Попробуй рассуди тогда, кто главнее, если все у них до чрезвычайности умные».

У него засвербело внутри. Один свихнулся, трое погибли в результате терактов, и есть определённые основания думать, что именно они являлись мишенью страшных преступлений. Здесь что-то неладно. Если подозреваемые один за другим выходят из игры, значит, должно быть по крайней мере ещё одно действующее лицо, которое обязательно нужно найти. Во что бы то ни стало.

– А что означает предупреждение Белевского, вы можете сказать?

– Честно говоря, я не совсем понял, чем могло быть вызвано его беспокойство. Даже если предположить, что они разошлись во взглядах или поругались, это ничего не объясняет.

– То есть вы склонны думать, что данная запись отражает только сиюминутные эмоции Белевского.

– Наверное, да.

– Иными словами, о серьёзном конфликте в их группе вы ничего не знаете.

– Не знаю. Я ничего необычного не замечал.

– Лаборанты в прошлый раз рассказали, что Канетелин довольно жёсткий и требовательный руководитель, но при этом странный и не всегда справедливый.

– Это так. Действительно чувство меры у него иногда отсутствует напрочь. Однако я не думаю, что его невозможно терпеть. Мне, во всяком случае, никто на него не жаловался.

– Он до сих пор в штате лаборатории?

– Пока да. Посмотрим, как будут развиваться события дальше.

– Вы надеетесь, что он вернётся в строй?

Директор устало вздохнул:

– Мне бы, конечно, не хотелось терять такого специалиста. Он обладает потрясающей интуицией, это учёный с большой буквы. При всех его недостатках работать с ним интересно.

– Мне кажется, члены его группы с вами не согласились бы. Спросите мнение его лаборантов.

– Я уже спрашивал. Они ещё молодые и только вступают в полноценную научную жизнь. Сейчас их главная задача набираться опыта и терпеть, с кем бы ни приходилось работать. А предъявлять какие-либо претензии они ещё не вправе.

Больше ничего существенного он не сказал. Он, словно маститый демагог, умело жонглировал словами, потопляя конкретные вопросы в сплетениях общих рассуждений. Виталию так и не удалось понять, сильно ли его озаботило неожиданно всплывшее примечание Белевского, хотя бы из тех соображений, что какие-то пояснения, возможно, ему придётся давать и более компетентным в данных вопросах людям.

Для истинного журналиста, начавшего расследование, тупиковых ситуаций быть не может. Любая информация всегда лежит в сфере чьих-то интересов, и какая-то её часть всегда прячется от всеобщего внимания. Если бы эта часть лежала на поверхности, такой профессии, как журналист, вообще не существовало бы, в ней бы не было необходимости. Но умение выскрести из малозаметных, разрозненных фактов суть, сложить из них цельную картину, снабдить её точными и правильными ссылками и является главной отличительной особенностью хорошего профессионала от бездарного пустого проходимца. Пока он ещё не смог углубиться в затеянное расследование, но всё же надеялся откопать по этому делу что-нибудь стоящее. Все концы утеряны быть не могут, обязательно существует какой-нибудь эпизод, момент, нюанс, оставленный вне контроля заинтересованных лиц, и при должном усердии в исследовании событий он рано или поздно обнаружится.

После разговора с руководителем научного центра Виталий отправился к жене Олега и пробыл с ней до конца дня.

Она выглядела подавленной. Из того, как они любили друг друга, можно было понять весь ужас неожиданно свалившегося на неё одиночества. У них был во всех смыслах счастливый брак, Виталий даже завидовал другу, видя, как этот весёлый, своенравный человек, чуть задержавшись где-то, неизбежно всегда стремился в своё тёплое уютное гнездо. Детьми они обзавестись не успели, но это для них было делом времени.

Марина сидела напротив, углубившись в себя, выражая своим видом всю свою невыносимую тоску. Она только что проводила родителей погибшего мужа. Вид убитой горем свекрови надломил её стойкость, но она ещё держалась, стараясь отойти после тяжких объятий, живо напоминавших ей страстного, неугомонного мужа.

– Ты знаешь, – говорила она, – я сначала даже не поняла, как это страшно, оказаться в пустоте. Не слышать его голоса, не ощущать его присутствия. Как невыносимо тяжело думать о том, что его больше нет, потому что ни о чём другом думать уже не можешь. – Она смахнула покатившуюся по щеке слезу. – Бывало, он подолгу не выходил из своего кабинета, работал даже ночами, но всё равно я знала, что он здесь, со мной. Он разговаривал потом и целовал меня, хотя я видела, что он отсутствует – смотрит на меня и решает в голове какую-нибудь очередную трудную задачу. Щёлкнешь его по носу – вот тогда он бросает свои заряды и индукции, целиком посвящая себя нашей любви. Сидя там, он успевал по мне соскучиться. Эти мгновения наших встреч я просто обожала.

Виталий не решился спросить о работе друга на дому, посчитав свой интерес пока в высшей степени неуместным.

Марина предложила чаю. По всей видимости, она была рада возможности поухаживать за кем-то и отвлечься от тяжёлых дум. Они перешли за стол, хозяйка угостила его сыром и печеньем. У неё вообще отменно получалось соблюдать размеренный дружественный церемониал, что Виталию всегда очень нравилось, потому что он и сам не избегал изысканных манер поведения.

– Скажи, он и на рыбалке высчитывал джоули и делал записи? – неожиданно спросила она, заставив Виталия подумать над ответом.

– Нет, я этого не замечал. – Виталий, как всегда, когда не понимал, о чём речь, принял озадаченный вид. – Почему ты об этом спрашиваешь?

Она то ли сожалела о чём-то, то ли вспоминала об этом с удовольствием.

– Я его ревновала к физике, это была моя главная соперница. Мне казалось, он увлекался ею так сильно, что начинал жить второй, внутренней жизнью. Скажи, что может заинтересовать в науке настолько, что человек теряет ощущение реальности?

– Неоткрытые острова… Или даже континенты.

– Неужели ещё есть области знаний, вмещающие в себя целый мир, вселенную? В которую можно окунуться с головой?

Виталий вдруг почувствовал, что Марина сама начинает затевать нужный разговор. Видимо, и ей, с её утончённым вкусом, отменным пониманием жизни, досталось проникнуться заботой неразделённых интересов, когда словно утыкаешься в глухую стену, в то время как любимый уже нырнул в невидимую щель. Их мелкие несогласованности, не выливавшиеся даже в заметные разногласия, Виталию были абсолютно понятны, поскольку Марина работу мужа уважала, исходя из того, что уважала его самого. Но всё же они доставляли ей неприятности, впрочем, никак не касаясь собственно её любви. Она и недостатки его характера давно примирила со своим счастьем. И особенности его вкусов, и отдельные привычки тоже, потакая ему в нужный момент, как в искусной игре хитрых обольстительниц. Однако, видя его постоянный уход куда-то далеко, откуда возвращать необходимо ударом гонга, да ещё неоднократного, уже примеряла своё терпение под сводом нежности и необходимого умения прощать. Теперь вдруг совершенно отчётливо ей захотелось выяснить у ближайшего друга её мужа, достаточно хорошо его знавшего, чем он дышал всё это время, если не предельно плотно, а лишь насколько позволяла наука, был соединён с ней узами взаимности.

С Виталием у Олега было всё намного проще. Хотя Виталий вполне отчётливо представлял себе моменты творческого экстаза, подразумевающего отстранённость от своего окружения во всём диапазоне слуховых и визуальных эффектов, в его присутствии Олег делами никогда не занимался. Они отдыхали, общались, играли в шахматы, а неразрешённые научные вопросы приятель всегда оставлял на потом. Видимо, Виталий и устраивал его максимально в том, чтобы иметь возможность отдохнуть, поэтому видеть его в работе Виталий просто не мог. Но журналист знал, как это важно иметь часы, дни, а может быть, и недели – кому сколько нужно – уединения, чтобы ничто не мешало сосредоточенному обдумыванию, достижению выбранной цели, и понимал, насколько возрастает всегда это тихое сумасшествие творца, если осознаёшь невзначай, что у тебя что-то получается.

Бывало, Олег рассказывал о жизни их лаборатории, но скорее в шутливых тонах, увлекательно описывая характеры персонажей, представляя комедию в сюжетах, в которой присутствовало достаточно и вымысла, чтобы не получалась из всего поведанного банальная склока. Виталий тогда и представить не мог, что там господствуют совсем другие настроения, из-за чего и дома у Олега изменилось всё кардинальным образом. Из Марининых слов он почувствовал, что Олег не столько посвящал работе своё личное время, сколько жертвовал им, не столько упивался красотой неизведанного, нащупывая невидимые связи, сколько был озабочен чужой безответственностью, не так стремился к уединению для дела, как тяготился собственных мыслей и досады, одолевавших его в последнее время. Если испытанию на прочность была подвергнута даже их чистая, волшебная любовь, которая была заметна невооружённым глазом, стоило ли сомневаться наличию для этого важных предпосылок. Последнее время Олег часто раздражался и, когда необходимо было отвлечься от дел, ничего не рассказывал своей умной и внимательной супруге. Он оставался безучастным даже в тех случаях, когда не лишним было бы его элементарное вмешательство. Период трудностей всегда перемежается с подъёмом. В конце концов бросаешь опостылевшие уравнения, ни к чему не приводящие выкладки и с головой окунаешься в увлечение той великой страстной близостью, которая одна за всё в ответе и одна намерена тебя спасти. Здоровому организму обязательно нужна разрядка, и именно наличие рядом любящего заботливого сердца даёт жизни столь необходимую в такие периоды подпитку. Оттого и поделиться трудностями хочется тогда неимоверно. Пусть хоть отчасти, опосредствованно, но коснуться веры в то, что и в дальнейшем твои усилия будут подкреплены прочными тылами, ты до конца будешь востребован в любви, а уж главную свою стезю тогда прорубишь с потом и кровью обязательно.

Но его безмолвие и странная реакция на вмешательство извне вошли в привычку. Трудно было понять, когда он отдыхает, а когда работает. За столом и при гостях он был обычным субъектом-мужем, вносящим свой домашний, не слишком яркий, но всё же шутливо-развлекательный колорит. Но, уже провожая их, у порога, или убирая посуду, растворялся в тяжёлых мыслях, озадачивая супругу нежеланием обременять её излишней информацией. Она пыталась его одёргивать, либо по-доброму внушать ему свою озабоченность, он был всегда открыт к разговору – пожалуйста. Однако пробиться сквозь бетонный монолит его представлений, убеждённости в том, что у них по-прежнему всё нормально, ей было не по силам. Когда надо было, он смеялся, не забывал быть обходительным, ласкал и целовал её без меры, но всё чаще казался чужим. Прохладным, приторным. Не настоящим.

Олег сам понимал, каким иногда холодом от него веет, и тут же терялся в выборе необходимых эмоций, стремясь загладить впечатление от намеренной бестактности. Он уходил в себя, разрабатывая какую-нибудь важную концепцию, уже оттуда, из глубины, пытаясь подавать умилительно-нежные сигналы. Он стонал, ругался и радовался одновременно, бывал мрачным, как ночь, а затем, опомнившись, вспыхивал бесхитростным паяцем, привлекая к себе природной, художественной своей выразительностью. Его можно было любить или ненавидеть, но такой отчаянный Олег всегда мог рассчитывать на некую толику внимания, в чём никогда ему не отказывал ни один из присутствующих рядом друзей, не говоря уже о любящей жене. Он сам себя не понимал и вводил в заблуждение присутствующих. С ним что-то творилось, с некоторых пор он поддавался панике, кипел, страдал и лихо веселился, однако объясниться по поводу чрезмерного ухода от близких у него не хватало ни времени, ни сил. Вот из всей этой гаммы противоречий и складывалась его жизненная драма, с лёгкой руки Марины названная безумным увлечением наукой.

Но это только внешняя канва смятений, Виталий уже думал о другом. Между Олегом и Канетелиным что-то произошло, и вообще у них в лаборатории что-то произошло. Понятно, как мешает противодействие, когда не работаешь, как принято теперь говорить, в одной команде. Но и внутри сплочённого, казалось бы, монолитного коллектива могут возникнуть тонкие струны напряжения, если интересы одних лишь ненамного, всего на чуть-чуть, весомее цели каждого другого. Люди не заряжены на успех абстрактно, всякий представляет себе вершину достижений по-своему. И покуда общие цели определяются мерой испорченности конкретных созидателей, стремление к личному благополучию всегда будет весомее зыбкого, неправдоподобного альтруизма.

Несомненно, Олег был заряжен какой-то идеей. Он был трудяга, крутой теоретик, отвлечь от решаемой задачи которого могла лишь серьёзная проблема. Пожалуй, даже важнее было бы выяснить причины их с Канетелиным разногласий, а суть самого открытия представлялась лишь второстепенным этапом расследования. Теперь, как никогда, Виталий почувствовал, что те же глебы борисовичи всегда начинают не с того конца.

– Мне даже показалось, что я очень мало для него значу, – меж тем говорила Марина, – но сейчас я поняла, насколько ошибалась. Он потому и работал дома подолгу, что был уверен во мне абсолютно. Он был уверен, что я не стану тревожить его понапрасну, докучать бессмысленными вопросами. Он знал, что моя любовь к нему незыблема, он мог безболезненно ставить свои дела на первое место… Как мы не хотим принимать людей такими, какие они есть. Всё время норовим подстроить их под себя. Они сопротивляются, и в этом есть основа нашего раздражения. – Марина, грустно уткнувшись в стол, крутила в руках ложку. – Постоянного счастья ведь не бывает. Нужно только уметь ценить его отдельные кусочки.

– Ты считаешь, нужно уметь к людям приспосабливаться?

Марина посмотрела на него с любопытством:

– Если любишь человека, да.

– А если он, скажем, преступник? Чем любовь между людьми отличается от их отношения к жизни и окружающим?

– Перестань, Виталик. Ты опять начинаешь философствовать, мне сейчас не до этого.

Он взял её за руку:

– Я знаю. Но некоторые вещи в поведении Олега мне сейчас непонятны. Если бы ты согласилась кое-что вспомнить, я был бы тебе за это очень благодарен. Поверь, это важно.

– Ты о чём?

– О его отношениях с сослуживцами. Он тебе ничего про них не рассказывал?

Марина переключилась на Виталия без сопротивления. Всё, что было связано с её мужем, любые воспоминания о нём, необходимые его другу, словно отсылали её в прошлое, когда жизнь была наполнена светлыми и радостными минутами.

– Нет, я ничего не знаю о них. Я не вникала в его дела, а с его коллегами по работе виделась всего один или два раза по случаю.

– Но, может, ты слышала, как он общался с ними по телефону?

– По Интернету. В режиме видеоконференции они иногда обсуждали свои проблемы, но я не заметила в их разговорах ничего необычного. Простые деловые разговоры.

– Он ни о чём не спорил?

– Нет, вроде бы… Виталик, я уже отвечала на эти вопросы одному парню в галстуке.

– В галстуке?

– Ну да. Он был из органов. Обычно надевают галстук, чтобы элегантно выглядеть, а у этого галстук сам по себе, такой школьный, а парень – отдельно. Поэтому я его так и назвала – парень в галстуке. Он был чёрным.

– Кто?

– Галстук. И костюм тоже. Человек в чёрном. Он целый час задавал мне дурацкие вопросы, как будто я училась в шпионской школе и вышла замуж только для того, чтобы следить за своим мужем.

– Задавать вопросы – это его работа.

– И твоя тоже.

Виталий вдруг понял, что невольно подставился, в самый неподходящий момент акцентировав внимание на своих чисто профессиональных интересах, но сглаживать Маринины ощущения не стал.

– Ты не заметила, Олег упоминал когда-нибудь понятие «мультиполярный синапс»?

Марина взглянула на него умоляюще:

– Вита-а-алий, я не физик. Если бы он обсуждал с кем-нибудь, как готовить лазанью, я бы, может, обратила на это внимание. А что касалось его науки, я относилась к этому спокойно. Мне нужен был он, а не какие-то синапсы.

– Да, извини. Я действительно стал немного надоедливым. Это такая привычка выяснять подробности там, где на первый взгляд они не нужны. Но иногда из нюансов складывается совсем другое целое, не то, что представлялось изначально.

Виталий встал и отошёл к окну. Ему не хотелось донимать Марину всякими подозрениями, хотя он чувствовал, что она ещё сможет ему помочь. «Впрочем, почему мне? – подумал он. – Разве не главная задача общества жить по правде? Я лишь инструмент в его руках для узнавания правды, поскольку по самым разным причинам, кажущимся всегда уважительными, очень часто её пытаются скрыть. Все, от малого юнца до государства».

– Я всегда за вас радовался, – заговорил он. – В молодости любовь окрыляет, а в зрелые годы она успокаивает. Олег был самым спокойным человеком из тех, кого я знаю. Мне не доводилось видеть его раздражённым, кроме последних нескольких дней, когда мы общались урывками и в основном по телефону. Я и тогда не думал, что между вами что-то произошло, а теперь на девяносто девять процентов уверен, что это из-за каких-то событий в лаборатории. Насколько я понял, у них была очень разношёрстная компания, компания в меру амбициозных учёных, но довольно ревностных в отношении своей роли в проекте. Об этом мне рассказали люди, которые с ними работали. Если они не врут, каждый из ведущих сотрудников имел в своей части важный результат, но придерживал его до поры до времени при себе, препятствуя соединению данных в одно целое. Они даже не знали, сколь существенным мог явиться их вклад в общее дело, не понадейся каждый продолжить свою работу отдельным этапом, самостоятельно, выбив под неё в будущем хорошие деньги. Открытие, на пороге которого они находились, могло состояться ещё год назад. Однако собственно о науке они думали в последнюю очередь, а в первую – о своей доле в выгодном проекте. Коммерциализация фундаментальных исследований – гиблое дело.

Он повернулся к ней, она внимательно на него смотрела, дожидаясь только, что он скажет об Олеге. Остальная история, наверное, её мало интересовала.

– Первым, похоже, просёк ситуацию Канетелин, их непосредственный руководитель. Это естественно, поскольку он имел возможность сопоставить сразу все, даже неточные выводы коллег и ранее других озаботиться новой идеей. Наверное, ему нужен был помощник, всего лишь один, и он выбрал Олега. Он несколько раз посылал его в командировку уточнять косвенные данные, чтобы экспериментально проверить правильность своих предположений, а сам работал на месте, в лабораторных условиях. Но, видимо, и вдвоём им не удалось договориться. Однако в чём состояла суть их разногласий, пока неясно.

– Ты полагаешь, Олег мог быть где-то непорядочным? – На её лице отразился испуг, готовый перейти в негодование.

– Не знаю, Марина. Но если дома у вас была любовь, то на работе у него, похоже, царила ненависть. Элементарная ненависть, с которой он каждодневно входил в контакт, общаясь с другими сотрудниками лаборатории и выполняя свою великую научную миссию.

– Но это очень странно. Откуда ты узнал?

– Я понял о том, что творится у них в лаборатории, из последнего разговора с Олегом. Тогда я не придал его словам большого значения, думал, что он просто устал. Но вот теперь, после нескольких бесед с другими сотрудниками, стала вырисовываться вполне определённая картина. В том числе я поговорил и с их директором, когда отвозил ему ту тетрадь, которую ты мне передала. Серьёзный господин. Мне кажется, у него всё было под контролем, даже внутренняя атмосфера в лаборатории Канетелина.

Всё это время Марина слушала его как заинтересованное лицо, всё сильнее углубляясь в смысл сказанного. Виталий пытался поведать ей драму человека, завязшего в болоте беспринципности, и эта драма после гибели Олега оказалась не законченной – она, вероятно, только начиналась.

Теперь уже ей, Марине, предстояло оценивать неизвестное прошлое, определять степень правильности поступков, отличать зло от злословия, чтобы в конце концов оставить добрую память о муже неискажённой и не корить себя потом за глупую упёртость. Пройти мимо, отвертеться от навязчивых мыслей, подбрасываемых ей Виталием, уже не удастся. Он вмешался в дознание каких-то важных вещей, вплёл Олега в неблаговидную на первый взгляд историю и заставил её думать о погибшем как о замешанном в гнусных, нечистоплотных делах. Заставил думать её, которая не чаяла в Олеге души.

Могла ли она заподозрить супруга в подлости? В нечестности не по отношению к ней, что приходит прежде всего на ум женщине, а по отношению к своим коллегам по труду? Наверное, до сей поры ей действительно было на это глубоко наплевать. Какое ей дело до каких-то высоколобых долдонов, путающих туше с антраша, увлечённых несчётными закорючками и синхронными полями, если они и рядом не стояли с её избранным, исходя из той деликатной нежности, изысканности и красоты в жизни, темперамента в постели, в конце концов, которые он имел? Что они могли противопоставить ему, даже если бы нашли нужным посоревноваться с ним в умении любить? Ей не нужно было даже знать его истинных друзей. Она достаточно видела и слышала подобных лысых истуканов, либо неврастеничных умников с заискивающей улыбкой, либо элегантных пижонов с куриными мозгами и такими же клевательными манерами и походкой. И потому узнать о том, что он попросту кинул пару-тройку таких теоретиков, пожалуй, и не стало бы для неё драмой, если бы Олег при этом, страстно обняв её, как он нередко делал, уткнулся влажными губами в её шею, обжал её талию, изобразил бы силу и, как тростинку на ветру, буквально с ходу увлёк её в постель. Вряд ли она тогда придала бы его творческой нечистоплотности большое значение.

Но теперь она вдруг поняла, что мелочей в жизни не бывает. Те нервные срывы, которые позволял себе муж при его рациональном и спокойном всегда поведении, наверное, уже были последней каплей, чтобы выплеснуть из чаши терпения всё то негодование, которое накопилось в нём за годы работы у Канетелина. И если с ней он компенсировал негатив страстью, то вне любви, в делячестве по-крупному, в кругу отчаянных пройдох, возможно, был ловок не более, чем музыкант перед фрезерным станком.

Она его, конечно, не идеализировала, считая себя не вправе предъявлять супругу претензии, касающиеся его дел, поскольку это только в церковных постулатах личность в абсолютном грехе и стопроцентный праведник есть два разных субъекта. В жизни всё гораздо сложнее, в жизни работают законы диалектики. В любой твари всего понемногу, и в своих действиях она всегда сообразуется с представлениями об окружающей её обстановке. В конце концов, если бы в мире не было зла, мы бы понятия не имели, что такое есть добро. Однако предел допустимого, который у всех разный, есть та особая мера, которую и стоит только принимать в расчёт и вести за неё борьбу, что и должно являться целью каждодневного воспитания.

Олег был, безусловно, талантливым учёным, а главное трудолюбивым, об этом все говорили открыто. То есть он находился на такой стадии становления, что подчеркнуть его талантливость уже не считалось мягкой похвалой авансом, которой удостаиваются обычно молодые дарования. Он много печатался, участвовал в нескольких телевизионных проектах, его часто цитировали в статьях и в Интернете, но всё это до того момента, как его пригласили однажды заняться серьёзной научной проблемой в обмен на обусловленные такими случаями некоторые ограничения. Следует отметить, что такие предложения зря не поступают. Затрагиваемая в разговоре тема, как правило, стоит того, чтобы потратить на неё определённые жизненные силы. Молодой амбициозный учёный без долгих раздумий приступил к делу и был последним, кто влился в слаженный коллектив лаборатории, хотя насчёт слаженности, здорового честолюбия у них, наверное, было не всё гладко. Марина сразу почувствовала перемены в настроении мужа, как только он перешёл на новое место работы. Некое внутреннее напряжение и мрачноватость, чего раньше у него не наблюдалось, довольно долго не оставляли его по вечерам, и она связывала это только с его работой – никакой другой причины быть не могло. Из всех знакомых только с Виталием он расслаблялся по-настоящему, за это Марина и ценила Виталия как друга семьи, то есть и её друга тоже. Виталий был такой же деловой и интересный, но делить с Олегом ему было нечего, они занимались совершенно разными вещами. А сама она никогда бы не стала причиной раздора между ними, они это прекрасно знали оба: она очень сильно любила Олега.

Именно в силу своего особого статуса в их доме Виталий однажды и поведал Марине о том, что её муж, похоже, не очень ладит с учёными коллегами и, как Виталий подозревает, проблема может вырасти в серьёзный конфликт. Не доверять его словам не было резона, но она поначалу также не придала новости особого значения. Мало ли что может происходить у мужа на работе. Совсем необязательно ему делиться с ней своими трудностями, чего он, собственно, никогда и не делал. Он вполне волевой человек и способен отстоять свои позиции без особых трудностей, а если будет что-то важное, то, разумеется, посвятит её в возникшие проблемы в первую очередь. И вот теперь Виталий говорит, что его друг ежедневно ездил на работу, как на битву, теряя вдохновение в жалких противостояниях. Но если постоянно раздражаешься, беспричинно или имея для того повод, то рано или поздно начинаешь осознавать вполне конкретно оформившееся по отношению к оппоненту чувство. Ненависть – штука коварная. Она возникает, когда нет возможности убедить себя в безразличии, наоборот, возводя безразличие на пьедестал своих амбиций, доказывая себе, что это главная твоя цель.

Она давно уже изучила Олега во всех подробностях. Он умел отстоять свою правоту в равных, аргументированных спорах. Умел организовать работу в коллективе. Делячество и зазнайство вызывали у него глубокую неприязнь, а нечестность в достижении конкретных целей он глубоко презирал. Но в этой своей правильности сам довольно часто позволял себе лукавство в мелочах, обман без зримого эффекта – так, по пустякам. Она не раз наблюдала, как он жульничал с проходимцами или говорил неправду людям для своего удобства. Однако критерии нравственности для себя определяем ведь мы сами. Даже у идеально правильного человека нечестный поступок может выглядеть в его глазах как временное оружие против ещё более мерзкого – но опять же на его взгляд – деяния. Он собственноручно выдаёт себе индульгенцию на отпор и даже не утруждает себя оценками своего личного поведения на фоне коварного недруга, мило вздыхая после одержанной победы, будто в умении побеждать ему нет равных. И потом опять возвращается в русло своих понятий, забывая неприятный инцидент как самый будничный, текущий эпизод в жизни.

Однажды Олег сказал, что, видимо, достоин в этой жизни большего и обязательно добьётся своего, если не возникнет никаких серьёзных осложнений в их коллективе. Она поинтересовалась тогда, какие это могут быть осложнения, заметив, кстати, что он и так пользуется значительными привилегиями, они очень даже неплохо живут и для любви им, в общем-то, всего хватает. Олег как-то странно улыбнулся, сделав вид, будто она чего-то не понимает. Он впервые тогда заговорил о своих возможностях, словно они только что познакомились и она практически ничего о нём не знает.

– Я чувствую в себе силы, огромный потенциал, – сказал он. – Мне кажется, будь я музыкантом или художником, я и там бы достиг серьёзных успехов.

Будь он музыкантом или художником, оценить его талант было бы проще. То, что ей сразу пришло в голову и о чём она, будучи умной женщиной, не сказала вслух, означало ни много ни мало глубокую неудовлетворённость творческого самолюбия, когда не видишь плоды своего труда многократно умноженными, в непосредственной близости от тебя играющими яркими красками признаний, благоухающими тонкими ароматами восхищений, что подбадривают бравурным звучанием аплодисментов, растворённых в гордой зависти иных и являющих тот сладкий привкус величия, который единственно и даёт тебе право считать себя непревзойдённой личностью. Нет, он не был актёром – он являлся великим тружеником. Она живо представляла себе, как у него кипели мозги, как он дёргался во сне в своих видениях, как снисходил до обычных приветствий по утрам, казавшихся ему бытовым убожеством, но непременно каждый раз воспроизводимых им, чтобы только не касались его мыслями о каком-то там диком невежестве. Это ли он хмурый и невесёлый! Вы ещё не видели его хмурым, как говорил однажды Штирлиц. Он скрывал свои заботы и чаяния, но та невыносимая карикатура, которой они выливались наружу, на всеобщее обозрение, не давала покоя ни ей, ни ему самому. Необходимо было делиться внутренним, необходимо было описывать то, что не можешь описать, – в этом было главное мучение. Она давно поняла этого милого зазнайку, настоящего гения предубеждений, славного баловня судьбы, приравнявшего свой безусловный талант к великой поступи человечества. Но если он наслаждался любовью без вдохновения, если носил иногда маску неприкасаемого, то, значит, действительно был озабочен мыслями, касающимися жизненно важных вещей.

– Конечно, я вряд ли смогла бы ему чем-то помочь, – рассказывала Марина Виталию. – Советы постороннего никогда не приносят нужного эффекта, они могут только раздражать. Видимо, я ещё не успела стать в его жизни самым главным звеном.

– Дело не в этом… Возможно, мы представляли Олега по-разному. Но мне кажется следующее.

Виталий, в постоянном побуждении рассказать ей о своих подозрениях, до этого момента одёргивал себя, пресекая самолюбивые попытки нагрузить её излишней информацией, но теперь не смог.

– Каждый человек непроизвольно оценивает себя на предмет своих сильных и слабых сторон. В любом сообществе, в любой период, – продолжил он. – В этом мы мало отличаемся от животных, а там если ты не имеешь права выпендриваться, то подыхаешь всегда одним из первых. Застолбить место под солнцем можно только завоеваниями. Талант этому безусловное подспорье, активность тоже важна в какой-то степени. Но рано или поздно приходится делать широкие шаги, чтобы бить дилетантов по боку.

– Без этого никак?

– Я думаю, нет. Надо действительно расталкивать всех локтями, иначе тебя сомнут. Причём действовать так приходится и по дороге к великим свершениям, и на пути к спокойному счастью в тихой гавани. Но вот тогда по-настоящему и проявляются нравственные позиции человека, отвечающие за то, чтобы идти вперёд, но не опускаться до элементарной подлости.

– Ты так говоришь, будто подлость бывает неэлементарной.

– Иногда её умело скрывают, даже от самого себя, так что и не распознаешь её никак. И долгое время, а то и навсегда она так и остаётся необнаруженной.

– Ты что-то знаешь про Олега?

Он все же заронил в её сердце подозрения – воспользовавшись правом лучшего друга, пренебрегая светлой памятью о нём, будто беря на себя обязанность поведать ей возможную горькую правду.

– Если бы я что-то знал, то сказал бы тебе прямо. Но, видишь ли, мне показалось, что Олег о чём-то торговался с Канетелиным. Разумеется, неспроста. Я больше чем уверен, им было что обсудить помимо результатов их исследований. Я, безусловно, на стороне Олега, но у тебя наверняка ещё будут интересоваться его связями, отношениями, выспрашивать какие-то подробности. У меня к тебе есть просьба. Всё, что ты ещё вспомнишь касаемо работы Олега, сообщи и мне тоже, и желательно даже раньше других. Поверь, это очень важно. Для всех, и для тебя не в последнюю очередь.

Она кивнула головой:

– Хорошо. Конечно. А что всё-таки произошло?

Виталий некоторое время соображал, давать ли ей повод для новых переживаний. Ещё можно было отыграть назад: если она начнёт повсюду задавать вопросы, то закопает все концы окончательно. Впрочем, он ей верил, как никому другому.

– Они сделали большое открытие, совсем недавно. Но в прикладном плане их достижениями кто-то уже вовсю пользуется.

– Канетелин, мне сказали, невменяем.

– Да, несколько месяцев. Всё очень запутанно. Сейчас ведётся следствие по факту гибели Олега и двоих его коллег. Они занимались исследованиями, инициированными Министерством обороны, однако на что-то наткнулись и параллельно вели собственные изыскания. Никто не понимает, какие. У тебя Олегово всё изъяли?

– Компьютер, книги и бумаги из стола.

– Вот видишь. У них в руках все данные и записи, и та тетрадь, в которую я смог заглянуть лишь потому, что приехал к тебе самым первым. Однако, кроме обозначенной темы, в них ничего уникального не обнаружено. Ни слова, ни намёка. Поэтому главный сейчас вопрос: как могли трое-четверо человек реализовать прорывную идею, не оставив после себя никаких следов?

– Так, может, ничего и не было?

– Было. Что-то было. И это не моё мнение.

Она напряглась, невольно подавшись вперёд, будто ухватила вдруг давно витавшую в воздухе мысль:

– Ты думаешь, Олег погиб не случайно?

– Мне кажется, они все погибли не случайно.

**6**

Он вышел на улицу около двенадцати. Стояла прекрасная летняя ночь. Большой пригородный бульвар, утопающий в зарослях, прямой стрелой протянулся в сторону города. Пешеходная дорожка проходила чуть сбоку от основной трассы, отчего освещалась тускло и не везде равномерно, создавая впечатление какой-то сказочной тропы с густыми тенями и пятнами редких построек. Виталий любил эту улицу и заранее решил немного пройтись пешком.

Его автомобиль был в ремонте, поэтому он заказал такси, но не к Марининому дому, а к кемпингу у северного парка, до которого было полчаса ходу. Иногда он любил прогуляться, не гнушаясь даже шумных городских улиц. В движении лучше думалось, и многие дельные мысли, он заметил, рождались на ходу или даже во время выполнения им физической работы.

Раскидистые липы, высаженный вдоль дороги кустарник с трудом пропускали свет оранжевых фонарей. Здесь было пустынно и тихо. Городская черта располагалась в нескольких километрах отсюда, оживлённые трассы, ведущие в центр, тоже проходили в стороне. Не спеша, пока ещё был запас по времени, он брёл по асфальтовой дорожке, упоённый прохладой, лёгкой грустью после длительного тура размышлений, очарованный подсвеченными кронами деревьев, напоминающими декорации для минорной пьесы. Здесь было прекрасное место для уединения – славный закуток для влюблённых пар, для рассуждений о преданности, верности, большом продолжительном счастье. Здесь ничто не отвлекало от сущего: никакой суеты, никакого лишнего шума. Всё гармонично сбалансировано – цивилизованно чисто и малораздражающе по поводу влияния странных надоедливых горожан. Можно утопать в путаных речах, улыбаться, видеть влюблённые глаза, а потом, в забытьи, бесконечно долго ощущать вкус бесценных губ как самый искренний подарок судьбы. И быть обрадованным нежно. Всё-таки в толпе поцелуи не так интересны: они не столь волнительны, они скорее вызывающи.

Он представил себе друга с женой: наверное, и они гуляли раньше по таким же красивым тенистым аллеям. А может, и здесь проходили не раз, хотя переехали сюда в принципе недавно. Это был элитный район города, и Олег мечтал купить дом именно в этом месте.

Ему опять стало тоскливо. Оборванная на взлёте жизнь друга корявой гримасой показала превратность бытия, плохо разбирающегося в ценности своих кадров, равно как и тщетность попыток многих индивидуумов выудить для себя хоть малое благополучие. Ничего не было ясно и относительно его, Виталия, будущего. Всё может повториться в точности до запятой. Стоит ли ему лезть в тёмные дела людишек? Не лучше ли в открытую расписаться в собственном бессилии, оставить добрую память об Олеге ничем не замаранной и благополучно проживать свой век в достатке и спокойствии? Тогда, наверное, и не станешь жертвой очередного такого вот происшествия, не попадёшь под колёса какого-нибудь случайного автомобиля. Но, думая об этом, он знал, что никогда не уступит обстоятельствам: не тот у него характер, не те устои, не такая внутренняя данность. Если у одних какие-то опасности могли вызвать только озабоченность, у Виталия они обязательно отсылали к первопричине. Его всегда тянуло разобраться, узнать, насколько он далёк от правды, как следует действовать и как быть при всём при том достаточно упорным. А когда речь заходила о крутых переменах, его жизнь не могла уже развиваться спокойно, она непременно должна была сделать замороченный зигзаг. В принципе так оно всегда и получалось, и он ни о чём не жалел, он всегда стоял на своём, поскольку не успел ещё в себе разочароваться.

Неожиданно сменившееся окружение поменяло и ход его мыслей, словно порождённых неким таинством окраин. Теперь он думал не столько о последних событиях, сколько о живой природе, красоте мира, присутствующей во всём неизведанном и открывающейся всегда неожиданно броско и волнительно. Он увидел спящие деревья, мягкий бархат взлохмаченных крон, уловил дыхание леса, ласкающее воспоминанием детских грёз, сладких и таких же тонких по воздействию, как картины сказочных ландшафтов.

Есть нечто универсальное, что понятно любому живому существу, способному двигаться, моргать и чувствовать – красоту видят такой, какой она является всем представителям фауны без исключений. Однако у людей красота идеализированная, у каждого своя собственная, выношенная в замеси конкретных удовольствий, приносящая только иногда прекрасное настроение от волшебства высокой утончённости мира. Люди, обладающие множеством разных характеров, воспринимают её каждый по своему. Для кого-то красота необычна и является источником вдохновения. Некоторые вкладывают в это понятие сугубо профессиональный смысл, затаскивая выражение своих навыков до тошнотворной от них зависимости. А кому-то она приносит только тревогу, поскольку данный субъект, не способный удивляться, воспринимает глубоко волнующее с удвоенной опаской. Но красота есть неотъемлемая часть жизни, даже в темноте скрывается яркое величие ожидаемого. Отбросив примитив, всегда хочется свободы и простора, волшебной гармонии непостоянства, хочется возвести его в самую загадочную, никому не известную степень бытия.

Он подумал, что всегда стремился к лучшему. Лучшему не в смысле качества, а в соотношении истинно прекрасного и своих понятий об этом. И ему бы хотелось не только познавать, но и быть вдохновителем чувств для многих. Подражание не является полноценной сферой деятельности. Образованный, гармонично развитый человек никогда не согласится быть похожим на кого-то, всегда подразумевая некую свою исключительность уже самим фактом своего существования, умения думать, анализировать, отображать чувства. Именно уловив неординарность друг друга, они и сдружились с Олегом, и Виталий хорошо понимал его и тогда, и особенно теперь, после рассказа Марины. Он сам ощущал иногда тонкую грань между личной прихотью и полноценным величием замыслов, грань, которая то возникала, то пропадала вдруг по неизвестным причинам, словно побуждая его водить кистью по живой материи поклонников. Он погружался в работу как древний алхимик, находя смысл и связи там, где многие только разводили руками, а уж ухватившись за факты, вырисовывал картину с безупречной точностью, под которой только оставалось получить подпись главных фигурантов дела. В этом было его призвание – связывать суть с фактами, а факты с характерами, ибо возможность причастности к событию того или иного лица априори определяется его дальним интересом. И сейчас, оказавшись в полумраке затенённого бульвара, он ощутил в расследуемом деле не просто борьбу амбиций, злобу и лицемерие людей, в нём замешанных, а катастрофическую сущность всего разумного, неизменно приносящего беды себе подобным.

Справа открылось пустое тёмное пространство. Ни насаждений, ни построек не было видно, огромная лужайка и ничего более, и только чуть позже в глубине участка возник загадочный силуэт дома. По контуру, удалённому от дороги на добрую сотню метров, было понятно, что это солидное роскошное строение, коих даже здесь имелось не слишком много. Дом возвышался над кустарником изысканными формами, заметно выделяясь необычной угловатостью и широтой размаха сооружения. Виталий шёл мимо несколько минут, но участок, занятый под жильё каким-то состоятельным гражданином, всё не кончался.

Уже пройдя мимо, Виталий не увидел, как в одном из окон отмеченного им особняка зажёгся свет. Дом будто ожил, приоткрыв глаз среди безмолвия, среагировав на лёгкое движение возле ограды. По странному стечению обстоятельств именно в этом доме жил со своей семьёй академик Захаров. Если бы не было так темно, можно было бы уловить некое сходство в стилях жилого дома и здания клиники, которой руководил академик, тем более что оба проекта выполнял один и тот же архитектор, воплотивший в постройках необычайно широкий свой взгляд на условия жизнедеятельности человека.

Здание будто преобразилось, реагируя на внимание постороннего, даже не имеющего возможности рассмотреть его детально. Выхваченный из мрака, обозначился полукруглый стеклянный флигель, лёгкий и просторный, служивший вестибюлем с лестницей на верхние этажи. Расположенная сбоку балконная галерея одновременно являлась смотровой площадкой, открывающей дивный пейзаж снаружи. Искривлённые формы будто специально давали понять о новаторской смелости проекта. В то же время они подчинялись какому-то дивному закону пропорций. Глядя на архитектуру строения, можно было сколько угодно удивляться фантазии автора, но ничуть при этом не заподозрить его в отсутствии меры. Дом был построен из лёгких современных материалов, он не давил тяжестью мрамора или гранита, а богатство ему придавали искусная широта и продуманность объёмов. Узкие высокие окна в полтора этажа чередовались с масштабными витринами, словно выставляющими напоказ жильцов, но и намекающими одновременно на их индивидуальность и утончённую натуру. В середине здания выделялись три угловатые башенки, а наискосок, под углом к фасаду, было сооружено что-то вроде протяжённой мансарды со стеклянным потолком и балконом. По ней можно было приятно прогуливаться, любуясь расположенным вокруг парком пасмурным осенним днём или в знойную погоду летом.

Всё строение, планировка словно были подчинены неким важным смыслам, высвобождению той масштабной жизненной энергии, что заключена в возвышенной меланхолии. Они должны были говорить о высоте полёта хозяев, сумевших при наличии средств вложиться не в пышность, а в широту.

Шикарное просторное жильё, наверное, само по себе способствует обретению семейного счастья, разумеется, если семья при этом достаточно крепкая. Прочно осев на дорогой пригородной территории, наняв себе повара, уборщиц и даже экономку, устроив быт, приличествующий, как он понимал, своему положению, Захаров целиком сосредоточился, как мечтают многие, на предмете своего жизненного призвания, уделяя ему внимание не в ущерб семье, но не менее необходимого, чтобы чувствовать свою востребованость в профессиональной среде. Причём, являясь ко всему прочему и хорошим психологом, в себе он разбирался хуже всего. Если человек – это картина, то охватить нюансы его поведения возможно лишь на расстоянии. Копание в подробностях изнутри мало что даёт.

Свой капитал он сколотил и знаниями, и умением втереться в доверие к состоятельным людям, и способностью быть действительно полезным в их непростых семейных и личных проблемах. В основном вопросы, связанные с психическими отклонениями людей, поднимались родственниками, но были случаи, когда приходилось помогать чьим-то важным компаньонам, от работоспособности которых зависела судьба чужого предприятия. Многие полагают, что деньги приводят только к размолвкам и коварному избавлению от конкурентов. Но он видел и другие примеры использования средств и, помогая иным, прилично зарабатывал сам. Когда он вылечил от шизофрении будущего миллиардера, который через десять лет в деловой схватке сумел заработать солидное состояние, репутация Захарова окрепла неимоверно. Его узнали многие, а указанный персонаж хорошо отблагодарил его потом за помощь и молчание, чтобы не выдвигать на всеобщее обсуждение своё непростое прошлое.

Последняя из подобных историй была особо примечательная. Мальчик страдал дебилизмом, порождённым целой группой психических расстройств, путая полезное с второстепенным, стеная там, где нужно было радоваться, и справляя нужду, не доходя до туалета. Коллегам субъект представлялся малоперспективным, исходя из наблюдений за похожими пациентами и результатов предписанного им клинического и медикаментозного лечения. Однако профессиональный риск врачевателя, отторгаемый вполне обоснованным доводом «не навреди», обретает существенный вес в действиях не только с годами разумной практики, укрепляющей опыт, но и благодаря вдохновенной тяге ко всему новому, которой Захаров в полной мере был наделён с детства. Он поместил парня в своей клинике и уговорил родителей подвергнуть его суровым процедурам, возбуждая в нём отчаяние на уровне тяжелейших стрессовых реакций. И только после этого давал ему специфические препараты, приводя к успокоению на фоне блаженной музыки и красочных видений в специально оборудованном кабинете. Через месяц, после цикла процедур, парень стал более адекватен в своих реакциях, а через год терапии обладал уже вполне сносным поведением. Родители не могли нарадоваться, глядя на своего «проснувшегося» мальчика. Как-то так получилось, что отец семейства при этом имел довольно толстый кошелёк и в качестве дополнительного вознаграждения перечислил на счёт Захарова приличную сумму, притом что собственно услуги врача и так стоили ему совсем недёшево. Трудно сказать, стал бы Захаров заниматься данным пациентом с необходимым усердием, не рассчитывая при этом на весомый бонус, а имея только риск судебного разбирательства в случае неудачи. Не списал бы он мальчика в круг проблемных людей, относясь к нему с обычной долей скепсиса всю его последующую жизнь.

«А ещё говорят, не в деньгах счастье, – думал он частенько на досуге. – Если они мерило устремлений и для пациента и для врача, совпадение наших интересов предрешено. Любая удача имеет своё денежное выражение, а браться можно за что угодно, только не всякое лечение помогает».

Неосторожные высказывания никак не влияли на отношение к нему друзей. Он был силён в аргументации, переспорить его никому не удавалось. К тому же, чёрт возьми, он был действительно успешен, а симпатии всегда на стороне успешных людей, поскольку других непременно подозревают в зависти.

В субботу Захаров проснулся рано и, приняв душ и по привычке начисто побрившись, спустился вниз, чтобы выпить кофе. Напиток бодрил, снимая атрофию разморенных за ночь мышц, а также утомление от тяжёлых, каких-то дурацких сновидений.

На лестнице скрипнула пятая сверху ступенька, это начинало уже раздражать. Порываясь в такие минуты вызвать мастера для устранения неполадок, через мгновение он забывал об этом как о несущественном моменте, коих накапливалось таким образом большое количество. Что-то можно было сделать самому и сразу, но, привыкнув вести хозяйство по серьёзному, он уже не допускал мысли о дилетантстве. Самодеятельность он не любил ни в каком виде, домашнюю деловитость понимал по- своему, а отдыхал всегда в самом прямом смысле этого слова.

На кухне завтракал сын, видимо, собираясь в университет. Он сидел в наушниках, слушая музыку, поглощая омлет и одновременно читая какую-то книгу, прислонив её стоймя к сахарнице. Ритмичный фон загромождал его сознание до упора, не оставляя места для собственной продуктивной мысли. Последнее время даже трудно было вспомнить, когда он отвлекался от своих музыкальных пристрастий. Его законопаченные уши практически стали нормой. Серьёзные разговоры для него не являлись серьёзными, во всяком случае Захарова уже стала утомлять необходимость делать своему отпрыску внушения, поскольку за этим всегда следовало одно и то же: стоически выдержанный взгляд, сосредоточенно-умная, даже вызывающая уважение гримаса, а после – коробки на уши, чтобы всё так же погрузиться в мир нескончаемой однообразной трескотни.

Каким-то образом Димка научился угадывать сообщаемую ему информацию, не отвлекаясь от внутреннего шума и считывая слова по губам. Стоило только обратиться к нему с каким-либо вопросом или просьбой, он тут же отвечал или кивал головой, давая понять, что всё уловил и не стоит больше утруждать себя разъяснениями. Диалог сам собой умирал не начавшись, подразумевая существования для него значительно более важного занятия, чем перемалывание воздуха языком.

Сейчас он сидел, придерживая наушники пальцем, точно умилялся редкой красивой мелодией, хотя доносящиеся до Захарова частые пшики заставляли сильно в этом усомниться.

– Ты и на горшок с ними ходишь?

На этот раз Димка не понял, о чём речь, и снял их с ушей:

– Что?

– Я говорю, всю жизнь в наушниках. Ты не боишься упустить что-то главное?

– Что, например?

Типично юношеская манера возражать уже начинала граничить с дерзостью.

– Например, такие моменты, когда твоей матери плохо. Вчера у неё случился приступ, и никого, кроме тебя, в доме не было.

Димка посмотрел на него обиженно:

– Пап, ну ладно тебе. Я не такой уж безнадёжный, ты же знаешь. Вчера я посидел с ней полчаса и давал лекарство.

Словно это оправдывало его на все времена. Он мило улыбнулся – никакого ехидства, вполне добрая, открытая улыбка – и, выдержав приличную паузу в ожидании новых упрёков родителя, но не дождавшись его слов, вновь углубился в стихию нагромождения синтетических звуков.

Захаров тяжело вздохнул, однако его деланой озабоченности сын не заметил. Наверное, надо было провести с ним очередную беседу, чтобы он немного задумался, однако тщетность предполагаемых попыток была очевидной, и Захаров уже не в первый раз промолчал. С каждым днём сын всё более отдалялся от родителей, живя своей, непонятной жизнью. Всё очевидней становилось его безразличие к их чаяниям и заботам. Впрочем, Захаров понимал, что, отдавая бóльшую часть своего времени клинике, он и сам потерял какие-то важные человеческие контакты с родными.

Сделав горячий тост, он без удовольствия выпил кофе, потом поднялся наверх и заглянул в спальную.

Жена мирно спала, развалившись на кровати по диагонали. Рядом с ней спала в кресле её сестра, оставшаяся дежурить на ночь у постели. Сегодня он ночевал у себя в кабинете. В такие моменты она всегда использовала их кровать во всю ширину, наслаждаясь во сне пространством, словно ютилась до этого на какой-то узкой, плохо приспособленной для сна лежанке.

Дыхание ровное, лицо как у ангела. Накануне она изрядно их напугала, у неё опять случился астматический приступ, и он сразу примчался домой, по дороге проконсультировавшись с её лечащим врачом. Димка уже позвонил родственнице, та приехала мгновенно. В общем-то ничего страшного не произошло, но этот приступ был вторым за последний год, что вызывало некоторые опасения. Знакомый предлагал стационар, но она до сих пор противилась.

– Пап, я ушёл, – прогремел с лестницы голос сына.

Добрый юноша, не задумываясь о том, что может разбудить родных, задолбил ногами по ступеням и был таков. Впрочем, до сего дня он их вообще ни о чём не предупреждал.

Прикрыв дверь, Захаров проследовал в свой кабинет. Предстояло серьёзно поразмышлять: он с нетерпением ожидал того момента, когда сможет спокойно обдумать свои дела, ни на что не отвлекаясь. Усевшись в гостевое кресло, он прислушался к воцарившейся в доме тишине и сосредоточенно уставился перед собой.

На стене мерно тикали часы. Письменный стол олицетворял собой лёгкий творческий беспорядок, чего он практически никогда себе не позволял. Последние события в клинике выбили его из колеи. Он перестал заниматься другими делами, поражённый необычной формой психического расстройства и удивительной саморегуляцией организма, с которой столкнулся впервые в жизни. Конечно, если при этом пациенту никто «не помогает» помимо него.

Вчера вечером произошло нечто. Сестра на этаже передала, что с ним хочет поговорить Канетелин.

– Он так и сказал? – поинтересовался Захаров.

– Да. Ему как бы очень неспокойно, и он хотел бы поделиться с вами своими подозрениями.

– Хм, интересно. Последние дни он спит как убитый. Я уже думал, что он успокоился… Хорошо, я пошлю за ним санитара.

– В этом нет необходимости, он сидит в приёмной.

– В приёмной? Это вы его привели?

– Да. Вы знаете… – Сестра неопределённо пожала плечами. – Он теперь нормальный.

Захаров не понял, о чём она говорит, но разбираться не стал.

– Зовите.

Однако когда Канетелин зашёл в кабинет, удивлению Захарова не было границ. Уверенной походкой, без каких-либо признаков помутнения рассудка к нему приблизился не пациент его клиники, а вполне здоровый человек, будто пришедший по поводу содержания здесь его любимого родственника. Захаров видел многих людей с психическими отклонениями и заблуждаться в данных вопросах не мог. Перед ним стояла личность – с ясным взглядом, чётким контролем своего поведения, вполне обыденными манерами. Столь редкостного преображения в его практике ещё не встречалось. Он не верил своим глазам. Уж не сон ли это? Даже с учётом того стремительного прогресса, с которым физик, пройдя стадию утраты умственных способностей, вновь ощутил себя человеком, Захаров полагал, что пройдут по крайней мере долгие месяцы, пока тот снова научится думать, принимая адекватные формы поведения. Но так быстро выйти на уровень рационального из глубокого кризиса представлялось делом совершенно немыслимым. «Если он ещё и рассуждает как учёный, то это просто волшебство», – подумал Захаров, рассматривая пациента в упор.

Первая же мысль, пришедшая в голову академику, касалась того, что Канетелин до этого момента умело симулировал болезнь. Неизвестно зачем – у людей возникают разные проблемы, в том числе и проблемы с законом, чтобы таким вот образом скрываться от преследования. Однако он прекрасно понимал, что это невозможно. Любой врач-психиатр, даже менее опытный, чем он, без особого труда способен отличить подобного рода притворства. Некоторые отклонения в поведении человека подделать нельзя, это прекрасно известно, так что разоблачить в обмане даже искусного актёра можно в два счёта. Но тогда как всё это объяснить? Что такого произошло с этим человеком, чего Захаров не знает, из-за чего теперь его пасут спецорганы? Мало этих таинственных ночных фокусов, так теперь ещё и в сфере его непосредственных знаний образуется прореха, грозящая одним махом вытряхнуть через себя весь его многолетний научный багаж. Этот физик и удивлял его, и в той же мере теперь раздражал своей уникальностью и непредсказуемостью.

Канетелин будто выжидал, что скажет доктор. Его лицо было спокойным, а взгляд сосредоточенным.

– Рад вас видеть, Ларий Капитонович, – невозмутимо заявил Захаров и протянул пациенту руку.

Тот смело её пожал, будто они были большими друзьями, но никак не соответствовали статусу доктора и больного.

– Как ваше настроение?

– Скверное, – ответил Канетелин, не сводя с Захарова глаз. – Последние дни меня всё больше мучают кошмары. Собственно, поэтому я и попросился к вам на приём.

Он говорил так, будто в данную минуту решалась вся его дальнейшая судьба. Доктор жестом указал сестре оставить их одних и предложил пациенту сесть.

– Расскажите, что вас беспокоит. Как вы сегодня спали?

Канетелин на мгновение запнулся, точно не зная, с чего начать. Если он соразмерял свои ощущения с возможностью правильно передать их словами, это указывало на то, что он явно желает, чтобы его поняли.

– Спал я крепко, но мне теперь являются непонятные видения. Они ужасны.

– Ужасны теперь? А до этого вас кошмары не мучили? Вы мне рассказывали про них уже несколько раз.

Больной напрягся. Видимо, откровенный разговор с предельной мерой доверительности давался ему совсем не просто.

– Доктор, я помню, что я вам говорил. То, о чём я рассказывал, было частью моего потерянного сознания, со всеми моими ощущениями во сне и наяву. Для меня сон и явь тогда практически ничем не отличались. Я был вневременным существом, словно ходячая сомнамбула, и порой, наверное, не очень спокойная. Вы можете даже не показывать мне те записи, которые демонстрировали прошлый раз, я всё знаю. Для меня это жуткие воспоминания, но это не главное.

Нет, он был далеко не прост, он внутренне готовил монолог, Захаров даже за него порадовался. То достойное спокойствие, с которым он вошёл в кабинет, являлось лишь формой представления себя в новом качестве. Однако теперь уже определённо можно было сказать, что он справляется со своей новой ролью блестяще.

– Что же главное? – поинтересовался Захаров.

– Я стал различать кошмары, потому что начал о них думать, как-то сопоставлять с теми фантазиями, которые возникали у меня, когда я был… – пришлось мучительно подбирать нужное слово, – ещё тогда, – он указал пальцем себе за спину, – ненормальным.

Прошли секунды, прежде чем разговор возобновился. В связи с последними словами, похоже, он сам себе показался слишком самонадеянным. Захаров открыл было рот, но дал говорить пациенту, видя, что тот намерен продолжать.

– И вот, что я заметил. Те странные видения, что преследовали меня в течение моего помешательства, выглядят теперь какой-то сказкой. Они неестественны, потому что нереальны. Это всего лишь сны. Люди видят множество таких, не придавая им никакого значения, поскольку те никак не влияют на их жизнь. Однако мои нынешние видения вполне конкретны по содержанию и будто целенаправленно меня пугают. Самое страшное то, что они являются мне не во сне, а наяву. И я меньше всего склонен думать, что это какие-либо галлюцинации.

– Ну, самому вам определить это сложно. Сознание может неявно управлять эмоциями. Нередко оно тщательно маскирует свои функции, дабы вы жили и действовали в привычном вам ритме и сами себе не навредили. Человек – самодостаточная система. Если у вас подобные видения, то это, скорее всего, отвлекающий манёвр организма.

Захаров вдруг поймал себя на том, что слишком увлекается разъяснениями.

– Так что вы конкретно видите? В каких ситуациях? Постарайтесь это поподробнее описать.

Канетелин заволновался:

– В последнее время я пребываю в каком-то жутком состоянии, я ничего не понимаю. Мне страшно. Поверьте, со мной творится что-то невероятное, чему я не могу найти объяснений.

Доктор внимательно смотрел на пациента. Выслушивать подобные истории ему приходилось довольно часто.

– Скажите мне, – обратился к нему Канетелин, – если вы, находясь в тёмном помещении, закроете глаза, что вы увидите?

Захаров неопределённо вскинул брови:

– Ничего. Полнейшую темноту.

– Нет. Если присмотреться внимательнее, то на фоне черноты вы всё же увидите отдельные пятна и разводы. Зеленоватые такие. При этом они находятся в постоянном движении. – Он уставился на доктора, надеясь на подтверждение своих слов.

– Пожалуй, да. Действительно. Но это всего лишь отображение на сетчатке неоднородностей жидкой среды, в которую погружён хрусталик. Они незаметны, когда он пропускает световые лучи.

– Возможно, так. Но почему эти искажения складываются у меня во вполне различимые портреты? Вы можете это объяснить?

– Такое происходит, когда вы закрываете глаза?

– Сейчас нет. И вообще днём нет. А вот в темноте не всегда сразу, но в глазах неожиданно проглядываются образы каких-то животных и людей, точнее, их физиономии, искажённые жуткими гримасами. Они долго не пропадают, и, когда я начинаю думать, что они смотрят на меня изнутри, мне становится страшно. Меня будто кто-то пытается напугать, но этот кто-то – я сам.

– Эти лица вам кого-нибудь напоминают?

– Они очень неприятные. Это не обрывки воспоминаний, я так не думаю. Скорее какие-то карикатуры, какие-то страшилки. Они являются, когда я бодрствую. Разве такое возможно?

– Ну, раз вы их видите, значит, возможно. – Захаров вдруг почувствовал, что его начали утомлять связанные с данным субъектом мистификации. – Но я ни за что не поверю, что вас пугают видения, которые никак не соотносятся с действительностью. – Он деловито уставился на Канетелина: – Они ведь для вас что-то значат?

Тот застрял в какой-то мучительной нерешительности, будто собирался поведать доктору свою самую сокровенную тайну. Потом сказал:

– За день до гибели Белевского, нашего бывшего сотрудника, я определённо видел его лицо. Он как-то зловеще улыбался. И с двумя другими было то же самое.

У него нервно дёрнулась щека. Похоже, он был обеспокоен тем, что и теперь останется со своими проблемами один на один.

– Возможно, не стоит обращать на это внимание… но сегодня ночью я видел самого себя.

Захаров задумался. Пациент смотрел на него вопрошающе, ожидая услышать слова понимания или хоть что-то, что в таких случаях говорят лечащие врачи, заманивая больного в спокойную гавань и бросая спасательный круг надежды. Как и все в подобных ситуациях, он ждал объяснений, дежурных, малоубедительных, но, безусловно, означающих, что врач знаком с его случаем болезни и, разумеется, знает, что делать и как быть, чтобы подобные рецидивы больше не повторялись и не привносили того тягчайшего ужаса безысходности, который охватывает нас, например, в минуты ожидания трагедии. Всё это читалось в глазах Канетелина, пока длилась молчаливая пауза, показавшаяся ему вечностью, однако Захаров её не замечал. Он вполне мог сносить такие взгляды и при этом думать о чём-то своём.

Наконец доктор медленно заговорил:

– Когда вы смотрите на сильно подсвеченные предметы, а потом резко закрываете глаза, на сетчатке остаётся световой слепок изображения. Он отчётливо виден первые доли секунд, поскольку нервные окончания глаза по инерции ещё подают сигналы в мозг, уже не получая подтверждение световой информации. В вашем же случае сигналы о сохранённом в памяти изображении, возможно, поступают из отделов мозга, который генерирует сны.

– А почему я вижу только странные маски?

Захаров и сам не очень верил в то, что говорил. Он просто рассуждал вслух, чтобы проникнуться реальной проблемой пациента.

– Так, – что-то решив для себя, продолжил он. – Давайте по порядку. Те физиономии, которые вы видели, они носили конкретный характер? В них было выражение, особые черты, детали, которые вы смогли бы описать?

– Да. Определённо да. Они были вполне естественны.

– Идите сюда. – Доктор взял Канетелина за руку, подвёл к столу и посадил в своё рабочее кресло. – Вот вам бумага и карандаш. Попробуйте нарисовать то, что является причиной ваших страхов. Точного сходства не требуется. Если вы отразите хотя бы одну или две особенности ваших ночных призраков, это может помочь нам в контроле за вашим состоянием.

– Вы считаете, что это плоды моего больного воображения?

– Ларий Капитонович, – Захаров состроил добродушную гримасу, –в философии, как вы знаете, есть направления, где вообще всё сущее считается плодами нашего воображения. Рисуйте и ни о чём не думайте. Я постараюсь вам не мешать.

Захаров подошёл к шкафу, где хранился архив дел на всех пациентов клиники. Выдвинув средний ящик, он вытащил папку-регистр с надписью «Канетелин Л.К.», плотно забитую всевозможными бумагами. В ней находились материалы по истории болезни: справки, отчёты, фотографии, распечатки записей, которые делали люди, наблюдавшие больного в различные периоды времени. Два листа с непонятными каракулями пациента были датированы одним из весенних дней четыре месяца назад, когда находившийся у них физик был ещё совершенно невменяемым. Тогда никто и не думал обращать на них внимание, Захаров сам прихватил их из палаты только потому, что записал на обороте чей-то телефон. Но сейчас, рассматривая их, он вдруг обнаружил в линиях вполне отчётливые контуры.

Интуитивно сложив два листа и посмотрев их на просвет, он увидел набросок физиономии, явно источающей агрессию, но направленную не напрямую на того, кто смотрит на рисунок, а куда-то в сторону, словно намекая на чьё-то ещё присутствие. Наброски показались теперь более чем уникальными. Они говорили о сохранявшейся в голове больного разумной составляющей, хотя в тот момент он представлял собой абсолютно недееспособного субъекта. Пусть он не думал о том, что рисует, но ведь смог же расчленить изображение на части, а потом, разнеся их и во времени, нанести отдельные составляющие на разные листы. Причём это были не просто две половинки, а переплетение линий, обретающих понятные очертания только при наложении друг на друга двух слоёв кальки. Сидя в углу кабинета, Захаров молча изучал изображения, периодически поглядывая на автора рисунков, относящегося теперь к заданию значительно сдержаннее, можно даже сказать ответственнее, чем раньше.

Канетелин начал рисовать не сразу. Он долго обдумывал просьбу доктора, вертя карандаш в руке и часто роняя его на стол. Теперь вполне резонно он боялся, что не сможет отразить свои ощущения, примеряясь, как правильнее провести линию, чтобы сразу наметить нужный контур. И всё же он больше вспоминал, чем не решался взяться за дело из-за недостатка умения. Было видно, как тяжело ему дались первые штрихи к портрету и как ладно пошёл процесс, когда он полностью определился с тем, каким будет искомый лик. Дальше уже сомнений не возникало – он лишь останавливался, чтобы сделать кое-какие правки, но в целом не прекращал занятие ни на минуту.

Однако нельзя сказать, что он работал с вдохновением. Скорее как робот, расчётливо двигающий механической конечностью и следящий только за точностью исполнения своих действий. Когда он уже решился что-нибудь изобразить, вдохновение прошло и сам процесс, похоже, не нёс для него никакого позитива. Это было странно и совершенно не соответствовало творческим началам личности. Казалось бы, от его рисунка должна быть явная польза делу. Он нащупал нужные контуры, что позволит ему более конкретно общаться с доктором, почувствовать удовлетворение от способности доводить свою иррациональность до уровня простых составляющих. Он открыл в себе умение быть нацеленным на исполнение желаний. Он не дал усомниться в резонности своих доводов, которые признаются таковыми, только если исходят от уважаемых спорщиков. Но когда Захаров подошёл, чтобы взглянуть на плоды его стараний, пациент не обнаружил никакого беспокойства по поводу того, сможет ли доктор что-то увидеть в его каракулях.

То, что он нарисовал, действительно было похоже на сказочное чудовище, хотя следовало признать, по части изобразительных искусств отменными способностями Канетелин не обладал. Но это было не важно. Главное – попытка сосредоточиться на проблеме, детализировать её, тогда, возможно, какие-то нюансы уже потеряют свою значимость. А выбивая подпорки из-под страхов, можно оставить их и без причины.

Контуры изображения были жирными. Вообще все линии рисунка Канетелин снабдил изрядной толщиной, отчего тот казался похожим на большую кляксу. Выделялись неправильной формы глазницы и широко раскрытый рот с тремя клыками. Этим создавалось впечатление оскала хищника, причём сугубо фантастической породы. Отходящие в стороны отростки с лопухами напоминали уши. Любые признаки носа, даже ноздрей у него отсутствовали. Захарова, безусловно, не интересовала точное соответствие образов на бумаге и в голове пациента. Он лишь пытался понять по манере рисования, насколько глубоки эмоции больного, как тот соотносит реальный мир со своим воображаемым, есть ли между этими мирами какие-то связующие нити.

– У этого чудовища довольно всклокоченная голова, – обозначил своё первое впечатление Захаров. – Оно похоже на то, что вы видели?

– Да. Примерно такое я и наблюдал несколько раз. Только тогда оно было подвижным, почти живым.

– Подвижным, это как?

Канетелин потряс в воздухе ладонью:

– Всё расплывалось… Не знаю. Словно масляные разводы по воде. Но морда эта так и стояла в глазах постоянно. Я тряхну головой – вроде исчезнет, а как закроешь глаза, снова возникает. И никуда не деться от этой твари, только если свет включить, помогает. А потом какая-то новая появляется. Их всего несколько приходит, и, по-моему, они возникают по очереди.

– Интересный случай.

Захаров вспомнил, что пациент во время исполнения задания пару раз смотрел на него, и вполне заинтересованно.

– Скажите, вы намеренно изобразили здесь маленькую родинку, такую же, как у меня на левой щеке? – Он указал пальцем на отдельное пятнышко в соответствующем месте рисунка.

Канетелин растерялся, улавливая в вопросе доктора определённые намёки, то ли не рассчитывая, что его могут заподозрить в лукавстве, то ли вообще не понимая, о чём идёт речь.

– Нет, оно ни о чём не говорит.

– Это случайность?

– Я нарисовал эту точку совершенно непроизвольно. Видимо, мне так показалось, когда я вспоминал тот жуткий образ.

– Хорошо. Вы это видели неоднократно. У него всегда левый глаз больше правого?

– Или один или другой. А бывает, он является с закрытыми глазами вообще, будто дремлет, а сам, хитрый, всё время следит за мной. Когда он неожиданно поднимает веки и смотрит в упор, у меня от страха сжимается сердце.

– А как он выглядит с закрытыми глазами?

Он думал, что пациент опишет это словами, но тот взял карандаш и затушевал контуры глазниц, оставив на их месте огромные чёрные пятна.

– Пожалуй, вот так.

Захаров забрал рисунок, рассматривая его усевшись на диване и пытаясь представить, как что-то подобное появляется перед ним в черноте ночи, моргая поминутно и скаля зубы. Если он не выслушал очередную выдумку больного воображения, то такая функция сознания выглядела безусловной аномалией. Это действительно было пугающе неприятно, потому что объяснить подобное не представлялось возможным.

– Закройте глаза руками, – попросил он пациента, – прижмите ладони плотнее, чтобы не проникал свет.

Канетелин безропотно повиновался указанию врача.

– Что-нибудь видите?

– Сейчас нет.

– Это потому, что ваш мозг занят другими вещами: воспроизводит внешнюю обстановку, анализирует шумы, зрительные образы, мои слова. Но в моменты возбуждений, связанных с прошлыми воспоминаниями, естественнее всего по ночам, у вас открывается какая-то другая ячейка сознания, которая у большинства людей в основном заперта. Там хранятся обрывки ваших страхов, может быть, ещё с глубокого детства. Эта информация не призвана специально вас пугать, она просто мешает, она лишняя. У вас в голове нарушены пути обмена данными, что вполне, я полагаю, излечимо.

– Вы считаете?

– Почти не сомневаюсь. – Захаров приятно улыбнулся. – Я поразмышляю ещё о ваших беспокойствах, а пока советую вам больше отвлекаться, желательно с тем, чтобы получать положительные эмоции. Выходите смелее на людей, общайтесь. Составьте список ваших любимых фильмов, музыки – мы постараемся всё это вам предоставить. Не делайте того, что вас расстраивает. И главное, очень не хотелось бы, чтобы вы увлекались чем-то по своей работе – во всяком случае, пока. Повторный рецидив ваш организм может не перенести, не забывайте об этом…

В доме по прежнему царила тишина, стрелки часов сошлись на без четверти девять.

За окном доминировала зелень. Разнообразные оттенки её, от ярко изумрудного до приторно-хвойного, составляли тот великолепный пейзаж умиротворения, который был придуман кем-то, чтобы насытить жизнь спокойствием.

Захаров задумавшись откинул в кресле голову и с удивлением обнаружил теперь, что разглядывает блики на стекле. При желании и в этой мелькающей светотени можно было найти признаки злобного мира, его желание испоганить вам жизнь. Стоит только присмотреться на мельтешащие отблески лучей, будто утопающие в яростной схватке с невежеством, как сразу вспоминаются не безликие, а вполне живые оппоненты-враги, приносящие тот тягостный мрак разочарования, раздражения, безумной ненависти наконец, неуёмно копошащиеся всегда на ваших знаниях и строящие из себя больших носителей ума. Как всё это было знакомо. И не доходило только до безумия. Почему? Не хотелось тревожить близких? Не хотелось знать их снисходительного отношения или застолбить нехорошую о себе память? Порой вы видите такие же физиономии, но не в клинике, а по жизни. И чем отличается от вас этот бедный труженик науки, осмелившийся признать своё безумие? По сути он не безумец, а смельчак. Все мы великие творцы и столь же ярые гонители чужого великолепия. И в том, кто победит в данной схватке убеждений, повинна всего лишь малая толика характера, от которой зависит, в чём вы готовы переусердствовать.

От общих мыслей он постоянно возвращался к Канетелину. Казалось, что произошедшее с физиком каким-то образом касается и его. Главным образом его задевали далеко не миролюбивые взгляды пациента, которыми тот ещё и сверх меры, похоже, бравировал, безотчётно пользуясь тем случаем, что в качестве психически больного находится под его прямым покровительством. «Теперь он выражает свои воззрения вполне определённо, и они ужасны», – думал академик, впервые столкнувшись с циничной ересью среди своих клиентов. Галлюциногенные возбуждения больного заботили его даже меньше, поскольку он не в полной мере осознавал, можно ли ему верить. Вполне допустимо, что тот пережил стадию критического нарушения функций мозга и благополучно вернулся потом к нормальному взаимодействию с окружением. Уникальные случаи бывают в любой практике, это не такая уж и редкость. Но теперь уже на девяносто процентов ясно, что этот физик просто прикрывается статусом несостоятельной личности для каких-то своих целей, имитируя симптомы шизофрении с крайней охотой, даже в некоторой степени изобретательно. Такие вещи тоже случаются. Он сталкивался с этим не один раз. Человек воспроизводит несвойственный ему характер, будто играет роль, а иногда по инерции продолжает использовать привнесённые болезнью манеры, как бы желая в истинном свете увидеть отношение к себе окружающих как к несчастному. В Канетелине же его настораживала какая-то глубинная ложь. Все предъявляемые на её фоне симптомы выглядели нереальными. Если бы не патологическая ненависть к убогим, с скрупулёзной чёткостью обоснованная в его речах, Захаров отнёсся бы к нему как к заурядному сумасшедшему, переживающему не лучшие времена в своей жизни. Однако сознание Канетелина возрождалось, широченными шагами покрывая скорбные метры отчуждения. А с ним поднималась во весь свой угрожающий рост вскормленная махровыми залежами злоба.

Захаров встал и, подойдя к рабочему столу, вытащил из папки последний рисунок больного, который прихватил с собой из клиники. В кабинете не было зеркала. Он вышел в коридор и уставился на своё отражение в одной из зеркальных панелей в стене. Собственный вид его мало сейчас беспокоил. Утомлённый взгляд покрасневших от бессонницы глаз лишь подчёркивал то внутреннее напряжение, которое накопилось в нём последние дни и недели. Если по недостатку информации или знаний нет возможности качественно обдумывать поступки, принимаемые спорадически решения только усиливают тревогу. Наверное, эта тревога и характеризовала того, кого он сейчас видел прямо перед собой.

Он показал зеркалу рисунок и состроил рожу, изобразив насколько смог звериный оскал. Нет, это никак не соответствовало карандашному наброску пациента – ни по общему виду, ни по силе эмоций, ни по темпераменту. Наверное, и во сне его трудно представить в виде коварного монстра, пугающего людей по ночам.

Скорее из привычки до конца проверять все возникшие предположения, чем всерьёз помышляя найти элементы сходства своего лица с рисунком пациента, он провёл такое сравнение, после чего вернулся в кабинет и набрал на телефоне номер Виталия:

– Виталий Евгеньевич, добрый день.

– Доброе утро.

– Для меня всё, что не ночь, это день. Вам удобно разговаривать?

– Да, конечно.

– Я вас не разбудил?

– Да нет, я уже давно встал. Последнее время что-то плохо спится.

– Представьте, у меня то же самое. Всё время думаю о Канетелине. Его психическое состояние с каждым днём усиливает моё беспокойство. Случай необычный, и я, признаться, никогда не испытывал подобных затруднений.

– Ну, я, наверное, вряд ли смогу вам чем-то помочь.

– Может, и смогли бы, не знаю.

– Вы о чём?

Доктор всё ещё держал в руке рисунок своего пациента:

– Неделю назад вы его видели. В таком состоянии больные остаются надолго, по крайней мере не на один год. Качественные улучшения, конечно, случаются, но редко, тем более с таким диагнозом, как у него… Так вот, по поводу известного вам пациента могу сказать, что он теперь абсолютно адекватен, здраво рассуждает и ведёт себя как нормальный человек. И я даже не знаю, когда это произошло.

– Вы серьёзно?

– Серьёзней некуда.

– Но разве такое бывает?

Захаров сам уже несколько раз спрашивал себя об этом.

– Предваряя ваш следующий вопрос, скажу сразу, что симуляция такого рода расстройств абсолютно исключена. Я уже проверял видеоматериалы по его истории болезни. Кроме того, я сам его наблюдал всё это время: у него действительно была тяжёлая форма шизофрении.

– В таком случае за него можно только порадоваться. И что вас тогда в нём беспокоит?

– Его мысли.

– Мысли?

– Я не знал его до этого, но сейчас он предстаёт крайне недоброжелательной личностью.

– По отношению к кому? Мне с трудом верится, что можно быть абсолютно злобным человеком по поводу всех на свете.

Захаров согласился с мнением Виталия.

– Об этом позже. Сейчас я хотел передать вам просьбу Канетелина. Собственно, поэтому я вам и звоню. Он желает с вами встретиться.

Виталия почему-то не удивило подобное известие. В самой истории с физиком и неослабевающих относительно его подозрений изначально была заложена какая-то интрига. Не возникало даже сомнений, что увидеться с ним ещё придётся.

– Когда вы сможете приехать в клинику? – поинтересовался Захаров. – В принципе, если вы не против, можно завтра.

– Я предлагаю сейчас.

Доктор на несколько секунд замолчал, обдумывая предложение журналиста. Потом сказал:

– Хорошо, я согласен. Могу заехать за вами, когда вы скажете. Заодно обговорим кое-что по дороге.

– Очень любезно с вашей стороны. И, надо признать, очень кстати.

Виталий назвал улицу и попросил подъехать доктора через час.

**7**

Пока они ехали, всё небо заволокло пеленой облаков. Неприятно и, похоже, надолго заморосил дождь.

Дежурная сестра доложила, что все пациенты, кроме Канетелина, находятся в корпусе. Тот, несмотря на уговоры, остался гулять. Он неподвижно стоял в беседке у озера: со стороны главного входа была хорошо видна его субтильная фигура.

Виталий попросил у доктора поговорить с Канетелиным наедине. Затем он придёт в кабинет главврача, и они обсудят интересующие обоих моменты.

– Имейте в виду, за ним тут постоянно наблюдают, – как бы вскользь заявил Захаров в последний момент.

– Я знаю.

Виталий не нашёлся что ещё сказать, и с видом всё понимающего человека зашагал к больному.

Пришлось раскрыть зонт, иначе даже того небольшого промежутка времени, что он шёл до беседки, хватило бы, чтобы серьёзно намокнуть. Влажный воздух проникал под одежду, подбираясь со всех сторон, однако Виталий уже перестал обращать на сырость внимание.

Вокруг царила глухая убаюкивающая тишина. Мохнатые лиственницы и упругие стройные ели, заселяющие прибрежную лужайку, надменно красовались поодиночке, в стороне от плотного лесного массива, будто на пороге сказочной страны.

Пациент стоял приподняв голову, вдыхая аромат промозглого утра. Глаза его были закрыты. Казалось, он спал в таком положении – словно экзотическая древняя статуя.

– Обычно ненастье и нудный дождь навевают тоску, а вы, я вижу, наслаждаетесь, – Виталий остановился в трёх шагах от беседки, не входя внутрь.

– Плохой погоды не бывает, – не поворачиваясь, вступил в разговор Канетелин. – Это только люди называют её плохой, потому что не любят мокнуть под дождём – очень не комфортно. Кому-то в дождь тоскливо, у кого-то срываются заранее намеченные планы. Мы всегда даём оценку тому, что творится на улице, сообразуясь с собственными желаниями и самочувствием. В сущности, что такое погода? Некая производная от нашего настроения.

Он удовлетворённо улыбнулся, почувствовав, что у него получилось красиво. Только теперь он посмотрел на Виталия. Складывалось ощущение, будто они находились вместе с самого утра. Виталий так и не поздоровался с больным, потрясённый его скорым преображением. Одно дело рассказы лечащего врача и совсем другое личные впечатления.

– Я люблю дождь, – продолжал Канетелин. – На душе как-то тихо и спокойно… И не выходят на улицу всякие уроды.

– Себя вы, конечно, к их числу не относите.

Захотелось вдруг осадить его. Виталий почувствовал, что тот как-то сразу начал доминировать, что было и неожиданно, и несколько задевало самолюбие журналиста. Блеск умных глаз физика отбросил последние сомнения в его полной вменяемости.

– Да, представьте себе. И это удел немногих. Тех, которые наслаждаются в одиночестве, поскольку получать удовольствие в толпе – это выглядит не просто нелепо, это дико, я бы даже сказал, безнравственно.

– Почему?

– Потому что вся индустрия развлечений работает только на толпу, и она воспитывает стадные инстинкты, стадное мышление. Она губит лучшие качества людей.

– Может быть, просто не развивает? – Виталий поднялся в беседку и присел напротив больного.

– Именно губит. Я сужу по себе. Меня стала раздражать толпа: отчаянно, невыносимо – в юности я таким не был. Тогда я думал, что каждый всё равно индивидуален, со своим собственным набором чувств. А теперь вижу, что все люди с отштампованными мыслями, с примитивными знаниями и восхищаются всякой чепухой.

– Вы хотели со мной о чём-то поговорить.

Виталий намеренно не стал с ним церемониться, дав понять, что собственные проблемы обитателя клиники его мало интересуют. В конце концов могло быть и так, что больной элементарно соскучился по интересному собеседнику, поскольку доктор Захаров ему изрядно надоел. Но Канетелин не обиделся – во всяком случае, так показалось. Он будто и не услышал реплики журналиста, хотя дальше развивать свою мысль не стал.

– Белевский умел ценить прекрасное, – устало заявил он. – Вы это знаете. Вы ведь были с ним хорошо знакомы?

– Он был моим лучшим другом.

– Другом это здорово… – Канетелин тоскливо уставился в пол. Через несколько секунд он продолжил: – А мне он был лучшим помощником в работе. Скажу прямо, кроме меня и руководства нашего центра, он один владел всей информацией по проекту, о котором вы, наверное, уже слышали.

– Да, я наводил соответствующие справки.

– Я это предполагал. Скажите, насколько вы верите в то, что причиной гибели Олега Белевского вместе с кучей народа явилась его профессиональная деятельность?

Виталий насторожился. Наверное, физик действительно знает такое, чего не знает никто. И здесь любая его оговорка, любая мелочь может иметь существенное значение.

– Честно говоря, я пытался что-нибудь узнать в данном направлении, но даже предположить такую версию у меня нет никаких оснований.

– Понятно. А сам Белевский, по-вашему, мог бы кого-нибудь убить?

– Убить? Не знаю. Нет, это исключено. Он не такой человек.

– Как будто убийцы какие-то особые люди.

– Ну как же, склад характера, образ мыслей.

– Перестаньте, вы сами в это не верите.

– Почему вы об этом спрашиваете?

Виталия вдруг начала доставать манера общения физика, которому будто нравилось ходить вокруг да около, держа оппонента в неведении. «Вот уж поистине метаморфоза, – подумал он. – От сумасшедшего от него не было никакого толку, а беседовать с ним разумным становится противно. Где золотая середина?» Пожалуй, всё равно придётся задавать прямые вопросы, и тянуть с этим не было никакого смысла.

– Вы знаете, кто их всех убил?

Канетелин сощурил глаза, сморщился, точно попал в полосу яркого света. Потом открыто уставился на журналиста:

– Кто – не знаю. Но я знаю, как произвели эти взрывы.

«Вот оно. Теперь его вытрясут всего без остатка. Впрочем…» Мелькнувшая было догадка ещё не успела оформиться в мысль, как физик заявил:

– Насчёт спецслужб вы можете не волноваться. Эти бравые ребята сами попросили посвятить вас в некоторые подробности дела. Так что дипломатические реверансы можете отбросить в сторону. Разговор открытый. Я практически не ограничен в формах ведения с вами диалога.

– Зачем вас попросили поговорить со мной?

Физик неприятно улыбнулся:

– Этого мне не пояснили. Да и потом, любым их пояснениям всё равно можно верить лишь с большой натяжкой. Вы же знаете.

Виталий с усилием цеплялся за обрывки версий: «Может, Захаров лжёт? Физик действительно симулировал помешательство, и доктор это знает. Или они все заодно?» Он начал путаться в догадках, но быстро понял, что теперь для них не время. Надо выуживать из учёного всё что можно, а дальше видно будет, как действовать.

– Значит, инициатива разговора со мной исходит не от вас. Я думал, это ваша просьба. Жаль. Откровенно говоря, этой новостью я разочарован.

– Не торопитесь с выводами. – Его глаза загадочно блеснули. – Человек в любом случае тайна. Никогда не знаешь, что найдёшь в общении с другим.

– Или потеряешь.

Канетелин состроил гримасу неопределённости:

– Или потеряешь.

Он сел, засунув руки в карманы пижамы. Теперь он выглядел вполне заинтересованным собеседником, а не отстранённой личностью, которую побеспокоили пустым вопросом.

– После трагедии я был у Олега дома, – печально произнёс Виталий. – Жена не находит себе места. Они были идеальной парой… Олег всего себя отдавал работе, они так и не успели насладиться счастьем.

– А кто пожалеет моих родных? – повысил голос Канетелин. – После того что случилось, им впору самим тронуться рассудком. – У него заиграли желваки на скулах, но он быстро успокоился. Вообще говоря, неврастеничного склада люди являлись любимыми информаторами журналиста. – Я десять лет отдал этой теме, работая днями и ночами. И Белевский вместе со мной: мы постоянно были на связи друг с другом. Он был очень работоспособным. Иногда даже подталкивал меня, когда после череды неудач опускались руки, а он находил выход из тупика. Просто продолжал искать, продолжал двигаться – в этом отношении он был чрезвычайно полезен. В самых сложных ситуациях никогда нельзя останавливаться. Нужно цепляться за любую возможность, за любое продолжение, и у него это получалось. Остановка смерти подобна, она сродни отчаянию. Нечего вообще тогда браться за дело, если не готов пожертвовать ради него своим временем, своим спокойствием. И мы творили. В науке творческое начало имеет даже более важное значение, чем в искусстве. Вы мне верите?

– Пожалуй, да… Наверное.

– Но в момент отыскания истины неожиданно включаются собственные приоритеты. Тогда вы начинаете ценить не столько свои достижения, сколько себя в них. Вам кажется, что их значимость соотносится с вашими способностями не в прямой пропорции. Способности являются главным элементом, а всё остальное второстепенное. И уже встаёт вопрос, что важнее: наука, то есть непреложные законы бытия на службе человечества, или ваш ум, интеллект, способный с помощью этой самой науки обеспечить вас почестями и материальным достатком? Противоборство вполне объяснимое исходя из представлений обычного карьериста. Но вот если далеко не рядовой учёный делает серьёзное открытие…

– Белевский?

– Да. Вернее его точных данных и численных показателей я так и не видел, где они – никто не знает. Но то, что он был на пороге чрезвычайно важных достижений или даже добился их, я в курсе.

Виталий не стал говорить про тетрадь друга, хотя, физику наверняка её уже показывали. Кому, как не Канетелину, её в первую очередь следовало бы показать.

– Что интересно, мы проводили исследования с совершенно другой целью… Но результаты говорят сами за себя.

– Вообще-то в это трудно поверить. – Виталий перехватил озадаченный взгляд собеседника. – В то, что вы не знали, что делаете. Вас на сей счёт ни о чём не спрашивали?

Канетелин впервые испытал трудности в разговоре. Похоже, никакой чёткой позиции по данному вопросу у него не было. Неуютно поёжившись, он собрался с мыслями и выдал единственно точную формулировку, какую смог найти в данный момент:

– Взрыв происходит из-за разрыва сплошности пространственно-временного континуума. Но поскольку абсолютной пустоты не бывает, то, чтобы заполнить её, туда устремляется поток энергии от какого-то наружного источника, история которого нам неизвестна.

– Своеобразный белый взрыв, то есть «белая дыра»?

– Что-то в этом роде.

– И такое можно устроить в нынешних условиях?

– Абсолютно я в этом ещё не уверен. Но похоже, что можно. – Канетелин принял на удивление отстранённый вид и спокойно заявил: – Если то, о чём я думаю, подтвердится, то задать точку и время мгновенного преобразования материи теперь не составит труда. По сути это новый тип оружия.

«Зачем мне это знать? – тут же пронеслось в голове Виталия. – Им определённо есть до меня дело».

Чем дальше, тем очевиднее становилось, что ему в данной истории предназначена отдельная роль. Почему полусумасшедший физик, но всё-таки учёный, заявляет постороннему человеку о каком-то оружии? Зачем понадобилось впутывать его в это расследование? Мотивы их встречи практически полностью были исчерпаны во время первого свидания. Он бы и знать не знал о чудесном выздоровлении больного, о его предположениях и незаконченных научных исследованиях. По крайней мере, его, Виталия, помощь следствию в запутанной череде событий выглядит крайне сомнительной. С новой остротой встал вопрос: что от него требуется? От ответа на него зависело очень многое.

– То есть вы допускаете, что оборудование и наработки, выполненные в вашей лаборатории, могли быть использованы для совершения последних терактов? Но в данной связи гибель среди прочих людей троих ваших сотрудников приобретает вполне определённый смысл. Это убийство с целью устранения свидетелей или конкурентов. Как вы считаете?

Канетелин не выглядел обескураженным. Казалось, он даже был удовлетворён тем, что подталкиваемый им ход мысли находит отклик в здраво рассуждающем собеседнике.

– Мне уже задавали подобные вопросы. Могу предположить, что по ходу собственного дознания вы вряд ли узнаете всю правду. Её не знаю даже я. А между мной и вами есть ещё определённые люди, которые крайне не заинтересованы в утечке важной информации. Для них ситуация в какой-то момент вышла из-под контроля, и они хотят знать, в чём прокол.

Учёный был прав. В сложившейся ситуации Виталию не следовало бы углубляться в поиски преступника. Или преступников. Но, чёрт возьми, зачем он тогда нужен?

Ему не раз приходилось ходить по краю, добывая информацию сверх лимита, но выдавая в свет значительно урезанный, поверхностный материал, не касающийся серьёзных лиц и их делишек. Оттого за ним и закрепилась репутация маститого профессионала, говорящего правду всегда выборочно, строго под роспись своего шефа. Тот иногда даже не подозревал, какого опасного сотрудника держит в своём штате. Даже тому, в ущерб собственному самолюбию, Виталий никогда не выкладывал все данные, самое важное и опасное оставляя при себе. Но это важное не пропадало даром, не хранилось где-то в тайнике до лучших времён, на какой-то чёрный день. Виталий использовал его по-другому: он основывал на нём свои методы ведения «деликатных» разговоров. Забавно было наблюдать, как у какой-нибудь важной птицы отвисала пачка и тупился взгляд, когда в приватной беседе Виталий намекал на имеющийся в его кругах достойный компромат на интервьюируемого или его доверенных лиц. Человек становился при этом намного сговорчивее, а его правда уже не представляла из себя обычную лапшу на уши.

Теперь же область расследования и люди, с ним связанные, были совершенно не в его теме. Интуитивно Виталий чувствовал, что заходить в опасную трясину не следует – засосёт намертво. Однако очевидно и то, что ему дают определённую свободу действий, свою нишу деятельности, а затем сведения, добытые им собственными усилиями, попросят, очевидно, выложить на стол: все без остатка, вплоть до запятой. Глеб Борисович, конечно же, не прост. Этот жук сам его использует. Вопрос, похоже, только в том, до какого момента он будет Виталия прикрывать, если придётся копнуть – случайно или намеренно – слишком глубоко.

Дождь усилился, насытив парк мягким убаюкивающим шумом. Белёсая дымка закрыла отдалённые окрестности, с крыши беседки полилась вода. В какой-то миг Виталия охватила печаль, превращающая разговор в оду странствий. На несколько секунд он потерял нить беседы, однако вернулся к разговору, заметив, что физик за ним наблюдает.

– Вы знаете, что Белевский о вас далеко не лучшего мнения? – спросил Виталий.

– Это неудивительно. Я со всеми ругался, и ему от меня доставалось. Видите ли, если не поддерживать вверенное вам подразделение в тонусе, оно превращается в болото, какие бы сильные умы его не составляли.

– Вы жёсткий человек?

– Оптимальный. Хотя я вспыльчивый. Что касается работы, я не люблю волокиту и халтурщиков, поэтому я всегда видел в действиях подчинённых больше недостатков, чем их было на самом деле. Но такова общая специфика управления, иначе будут управлять вами.

Наверное, он посчитал эту мысль решающей. Что-то, но надо было сказать про их взаимоотношения в коллективе, поскольку за время его отсутствия всевозможных мнений на эту тему было высказано немало. Он знал, что после серии терактов досье сотрудников лаборатории, всех без исключения, были изучены всесторонне, рассмотрены под микроскопом с разных позиций и освещены во множестве аспектов их личных дел и профессиональных обязанностей. Свою собственную точку зрения по поводу коллег он держал при себе, открывая по мере надобности частями, маленьким штрихами к портрету, как дополнение.

– Утаить научное открытие от коллег нереально, – предположил Виталий. – Вы же все вместе работали по одной теме. Или можно? Какую роль в данной истории могли сыграть остальные?

– Вы хотите в этом разобраться?

– А вы не хотите? Сами же сказали, что не до конца всё знаете. На вашем месте я бы схватился за любую попытку обелить своё имя.

Физик даже не повёл бровью:

– Святая наивность. Когда дело касается государственных интересов, кто будет разбираться в мелких помыслах и мотивах какого-то там Канетелина? Или Белевского, или ещё кого. Козлом отпущения сделают любого – им бы только найти, где и как нажимать кнопку. Но этой кнопки нет, вот в чём дело. Процесс не запускается простым включением установки.

– А как он запускается?

Виталий подумал, что учёный либо что-то скрывает – что-то самое главное, – либо не до конца ещё пришёл в себя, пребывая в плену собственных иллюзий. Но в любом случае приходилось надеяться только на его добровольное согласие к сотрудничеству. Никаких способов к принуждению журналист не имел. Его задачей и было всегда использование в качестве подручного материала тех отбросов натуры, которые швыряются оппонентами в мусорный бак, но очень часто летят мимо цели.

Тем временем Канетелин собрался с мыслями, сделав вид, что приготовился к долгим разъяснениям.

– Современная наука больше похожа на мозаику, – сказал он, – огромное поле с разноцветными фишками. Попробовал одну – не подходит. Убрал, подставил другую, третью, четвёртую, пока не выпала интересная комбинация. И так до бесконечности. Вся слава большинства современных корифеев науки основана на скрупулёзном переборе вариантов. Потому большинство учёных нынче превратились в обычных лаборантов, занимающихся умышленным гаданием. И когда выпадает вдруг нечто стоящее, они вскидывают руки, кричат «ура» и хлопают в ладоши, однако никто из них на самом деле не способен заглянуть внутрь вселенной.

– Это проблемы фундаментальной науки.

– Я про неё и говорю. Есть, конечно, крупные учёные, всеми уважаемые, высказывающие неординарные мысли. Но у меня складывается впечатление, что крупные они только потому, что кто-то должен быть крупным. Такова научная иерархия. Должны быть индивиды, к мнению которых нужно якобы прислушиваться, иначе не построишь систему знаний – люди просто запутаются во множестве суждений.

– Однако вы не слишком любезны к представителям своего сообщества.

– Я не читаю лекции и мне начхать на мнение других. Я занимаюсь чистой наукой, в которой оценка моих трудов научным сообществом занимает последнее место.

– Это, наверное, оттого, – не удержался Виталий, – что вы всю жизнь работаете в узком коллективе по строго засекреченной тематике.

Канетелин воспринял реплику журналиста по-своему:

– Вы намекаете на то, что государство компенсирует мне моральные издержки дополнительными благами? Нет, я не имею обид и говорю совсем о другом. Я о процессе созидания. Разумеется, он не должен быть оторван от, условно говоря, мирового: вы должны быть в курсе имеющихся в данной области достижений. Однако апеллировать к мнению других, даже самых почитаемых светил, недопустимо, а воспринимать их критику – слюнтяйство. Я понимаю, учёный постоянно хочет быть в процессе, но в процессе чего?

– А как тогда зафиксировать открытие? Его же нужно зафиксировать.

– Открытие, если оно действительно имело место быть, будет зафиксировано непременно. Современные коммуникации не позволят ему затеряться в мире болтовни. Правда, не держа руку на пульсе времени, вы можете упустить первенство, вот к этому надо быть готовым. Остальное чепуха. Даже наоборот, хорошему учёному лучше быть оторванным от мировой научной среды, как и хорошему прозаику от литературной, – только тогда он не будет подхватывать и развивать чужие идеи, многие из которых глупейшие.

Физик встал и заходил перед Виталием, словно родитель перед ребёнком, которого следовало отчитать.

– Истина рождается из абстракций. Она скрывается среди сумбура представлений, мы видим её много раз в году, не удосуживаясь остановиться и обратить на неё внимание, однако только чтобы убедиться в том, что она есть отражение нашего сознания. Прежде всего открытие нужно сделать в самом себе. Точные предметные эксперименты лишь подтверждают уже давно маячившие в подсознании и выведенные на бумаге закономерности.

– Но это чистейшей воды идеализм.

Он вскинул брови:

– Правильно. Вы хотите сказать, что материализм – это не бредни идеалистов? Помилуй боже, что бы вы знали о мире, если бы не постоянное идеалистическое подзуживание у вас под боком? Наука есть часть всемирной истории, она развивается и умирает вместе с расцветом и упадком цивилизаций. Некоторые знания утрачиваются навсегда, пока кто-то заново не воспроизведёт их на пользу человечеству. Мы не властны над этими процессами.

– Наука – это божий промысел?

Он ответил не столь уверенно, потупив взор и отвернувшись в сторону:

– Может быть, и так.

– Странно. Я перестаю вас понимать. – Виталий вновь ощутил неприязнь к обитателю клиники.

– И чем вас не устраивают мои воззрения?

– Я не понимаю, как вы, серьёзный учёный, физик, можете так рассуждать. Ваши убеждения порождают во мне массу вопросов.

– Каких, например?

– Например, насколько искренни ваши слова о служении науке, если вы фактически результаты опытов объясняете провидением?

До него дошло недоумение журналиста, определённо дошло. В той мере, в какой он не должен был выглядеть современным шарлатаном, он ответил вполне естественно, напустив на себя лишь малую толику тумана:

– Возможно, и в результаты исследований иногда закрадывается мистика.

– Мистика? Какая ещё мистика? Не морочьте мне голову. Если вы решили таким образом уйти от ответов, вам не помогут даже стены здешней клиники. Вам никто не поверит. Мистицизм – это лишь своеобразная форма сказок, сказок для взрослых. В зрелом возрасте люди уже не верят в добро и зло, как в детстве, поэтому некоторые из них умело паразитируют на страхах. И на запретах тоже. Этим, кстати, занимается церковь.

– Я полагал, она является проводником религиозных взглядов.

– Религия, как известно, есть опиум народа.

– Вот как?

– Именно так! А вы думали, кому-то там наверху есть дело до ваших химер? Учёному искать объяснения на небесах по меньшей мере наивно. – Виталий завёлся. – И мне вы, в сущности, никак не сможете возразить, поскольку всю нелепость теологии я давно уже уяснил до самого основания. Наука основана на фактах, а теология – на предположениях. Против здравого смысла и логики она слаба, как, впрочем, была слаба изначально. А процветает потому, что люди ленивы и не хотят знать больше, чем им говорит сосед. А уж если у собеседника бойкая речь и душевные складки на лбу, его тут же готовы записать в свои наставники.

Учёный улыбнулся с таким видом, будто заведомо знал больше, чем Виталий. Он не допускал снисхождения, что при его широком кругозоре и умении вести диалог ещё сильнее подчёркивало разницу в классе.

– Вы молоды и потому бескомпромиссны, – сказал он. – Однако реальная жизнь не состоит из одних лишь плюсов и минусов, кое-где встречаются пробелы, многоточия. Обычно тратишь себя на то, чтобы избавиться от неопределённостей, но с годами они только прибавляются, растут как снежный ком. И, набив себе шишек, накричавшись в порыве экстаза «да!» или «нет!», постепенно начинаешь понимать: эти самые неясные, многозначительные пустоты и наполняют реальное бытиё, а плюсы или минусы мы присваиваем событиям только для себя, поскольку в масштабе человечества они не имеют ровным счётом никакого значения. По прошествии некоторого времени начинаешь удивляться: чего ради ломал копья? Почему устроил свой мир так, а не иначе? Зачем поддался ярым убеждениям, так красиво отметающим мелкие соблазны? С какой стати поддерживал одних и ненавидел других? И вот тогда приходит прозрение: ты только барахтался среди событий, ничего в них толком не поняв. Твой ум был занят чем-то мелким, потому что глобальное находится в нас самих. Ты был пленником иллюзий. Всё до этого свидетельствовало лишь об отсутствии опыта, не только бытового, но и опыта познаний. К знаниям ведь тоже можно идти разными путями.

Канетелин отвернулся, сосредоточившись на мысли, при этом зная, что его внимательно слушают, точно он выступал с речью среди ярых своих поклонников.

– Человек, напичканный информацией, всё время ищет ей подтверждения. Он спокоен и в ладу с самим собой, если видит, что получал вполне достоверные сведения. События неизвестной природы, неординарные, сверхнеобычные, вызывают у него сначала любопытство, потом тревогу и в конце концов панику. Ему страшно за своё будущее. Он не видит выхода, не знает, что делать и чему учить других. Обычно говорят, что он бессилен перед натиском природы. Но он бессилен только потому, что не может с нею слиться, он этого не умеет. Мы не можем противостоять стихии и глобальным космическим явлениям. Наша функция в другом: упорядочить отношения и, соответственно, знания внутри сообщества, в том малом кусочке пространства и времени, в котором мы обитаем. Функция человечества в том, чтобы выжить. Надеюсь, с этим вы согласны?

– Согласен.

– Так вот, представьте, что один из миллионов, вполне умный, просвещённый человек, вдруг получает возможность управлять потоками вещества вне нашего информационного поля. Он не понимает происходящего процесса. Он не способен ни описать его, ни проанализировать, но он видит, что данный процесс работает, работает с завидной регулярностью, и даже есть способ вызывать его искусственно. Вы знаете, что Белевский несколько раз использовал установку несанкционированно?

– Вы же говорили, что полученный процесс неуправляемый.

– Я надеюсь, что он неуправляемый. Он не должен быть управляемым. Но, возможно, Белевскому удалось в этом плане что-то обнаружить. Это его тайна, о которой мы теперь можем только догадываться. Те его записи, которые мне недавно показывали, есть лишь результат обычной рутинной работы, не более.

– И вы ничего не можете предположить?

– Предполагать можно что угодно. Но любая гипотеза требует экспериментального подтверждения, что является долгим и дорогим удовольствием. Я ещё раз говорю: наши исследования лежали в совершенно другой плоскости.

«Неужели он попытается всё спихнуть на Олега? Что за наивность. Кто же поверит, что он ничего не знал?» – подумал Виталий.

– А почему он тогда сам погиб? Случайность?

Канетелин развёл руки:

– Понятия не имею.

Он уселся и опять потускнел, будто устал от бездушия донимающего его дилетантства.

– Материя тонкое вещество, – резюмировал он, – и в то же время глобальное. Иногда она излишне любопытных поглощает. Во всём нужна отведённая нам свыше мера, иначе благо превращается в порок, как, например, способность некоторых детей замучивать своей любовью животных.

Виталий уже несколько минут перебирал пальцами брелок от ключей: сначала в кармане, затем достав его и теребя перед собой.

– Вы можете объяснить поподробнее, хотя бы в первом приближении, как были произведены эти взрывы?

Канетелин посмотрел на него несколько вызывающе.

Чем бы таким необычным мог отличаться этот непростой посетитель, чтобы заставить уделить ему чуть больше внимания, чем он заслуживает? Он явно не верит учёному и не знает, с какого боку к нему подступиться, дабы, не обладая компетенцией спецорганов, сделать разговор более продуктивным. Однако что-то в нём всё же настраивает на позитивную волну, подталкивая отнестись к нему с уважением и доверить ему информацию о некоторых аспектах проблемы. Ну что ж. Наверное, там знают, что делают. Хотя учёный не совсем понимал, почему выбор пал именно на этого журналиста, пусть даже он и являлся другом его помощника.

– Я расскажу вам. Расскажу всё, что смогу рассказать, – Канетелин сделал философский жест рукой. – Но если вы думаете, что узнаете что-то совершенно конкретное, то смею вас разочаровать: никаких разгадок не будет. В ином случае я бы с вами теперь не беседовал. Я, заметьте, не изолирован, не убит, не накачан транквилизаторами, а свободно рассуждаю с вами о погоде и нравах, имея, правда, устойчивое подозрение, что вам хотелось бы услышать от меня нечто иное. Так вот, я готов поделиться с вами некоторыми подробностями наших наработок, но прежде позвольте мне небольшое отступление, без которого вы не поймёте суть проблемы. Ибо суть её не в научных достижениях, а в людях, в нас с вами.

– О да, конечно. Люди – это сложный материал, – счёл необходимым вставить Виталий. – С ним можно долго упражняться, так и не поняв его структуры. Но зато будет возможность потом бить себя по ляжкам: «Чёрт возьми, вот этого как раз я и не мог предвидеть». Мир устроен так, что человек ответствен только за свои деяния, поэтому попытки покопаться в чужой душе выглядят всегда нелепо. Его помыслы и чувства есть его личное дело, но никак не общественное. Он никогда не откроется вам до конца. Или он глупый человек.

– Однако его слова и поступки говорят о многом, в том числе и о том, что он может сделать в будущем.

– Допустим.

Продолжение последовало не сразу. Канетелин был настоящим актёром. Всё отчётливее вырисовывались его манеры, он умело использовал интонацию и выдерживал глубокие паузы, отчего его речь становилась весомее и ярче. Поистине в нём пропадал драматический талант.

– Мне всегда казалось, что мы с Белевским очень похожи, – сказал он. – Я его хорошо понимал – и как учёного, и как человека. Наверное, поэтому я и сделал на него ставку как на основного продолжателя моего дела. Он обладал научной хваткой, быстро соображал, умел увидеть главное в цепочке разрозненных, казалось бы, данных. И при этом никогда не выпячивал своё «я». Может, он держал его на привязи – до поры до времени, – но мне слабо в это верится. Быть открытым в столь сложном научном пространстве, коим являлся наш коллектив, где постоянно шла борьба за первенство, борьба нервов, по-моему, невозможно. Но я его чувствовал: в последнее время в нём копилось раздражение. Знаю по себе: ты внешне спокоен, но в отдельные критические минуты нервы не выдерживают, и следует срыв. В принципе ничего страшного, но если подобный рецидив далеко уже не первый, тогда они могут вылиться в серьёзный недуг.

– Что вы имеете в виду?

– Видите ли. Я, конечно, не стремлюсь ставить диагнозы, тем более в моём положении… – Его рука описала в воздухе некую кривую. – Вокруг любого всегда полно неудобств. Что-то мешает, что-то портит настроение, некоторые вещи для вас неприемлемы вообще. Приходится постоянно мириться с неустроенностью общественного бытия: не быта, я имею в виду, а нравов. Однако это является безобидной констатацией переживаний лишь до тех пор, пока вы не начнёте за такое противное окружение кого-то винить. Даже не конкретно, а в отношении группы, слоя, класса людей – по совокупности своих ощущений. Возникает всего лишь идея, но она обладает свойством объяснительных мотивов для поступков, она мóжет быть применена как объяснительный мотив, и тогда внутренняя цепь переживаний замыкается – по ней можно пропускать ток. Сдерживающего фактора в виде неопределённости, блуждания в потёмках уже не существует: можно развивать мысли дальше, копить откровения, можно действовать. – Его речь стала жёстче и напористей. – Важным моментом в таком процессе является нащупывание единомышленников. Их наличие всегда полезно, поскольку те хоть как-то, но разбавляют гремучую помесь идей. Отличный от вашего темперамент, иное восприятие действительности служат неким демпфером в системе ваших предпочтений. Но если природой определено вам быть предоставленным самому себе, всегда и повсеместно, если тугая обособленность доведена в вас до презрения любой иной индивидуальности, тогда даже единомышленник становится для вас катализатором самопроизвольного излияния желчи. – Он прибавил интонации: – Противостояние всегда определить просто! Его все понимают, ему помогают, его воспроизводят поединично, классово, массами бесконечно долго, на протяжении всей истории существования человечества! Поэтому истоки его в каждой конкретной душе тут же обрастают почти генетически заложенной в нас сорниной, возмущая лишь немногих!

– Ну и что?

– Как хотелось бы наоборот! – Он повысил голос в порыве негодования. – Вот вам призрак духовности! Вы не видите в нём веления извне?! Безусловный наказ образумиться! Не противопоставлять себя сущему, а образумиться! Не-ет, вы его не ви-и-дите. – Он склонился перед ним с бесовской гримасой недружелюбия.

Канетелин раздул ноздри в чёрные фонари, выражая в лике озабоченность порывом мышления. Глаза сверкнули блеском чрезвычайной истины, и погрузить его в лоно сладкого отдохновения казалось теперь делом немыслимым.

– Вас всего лишь раздражают люди, – продолжал он. – Лишают покоя, заставляют нервничать, приводят в бешенство, поскольку угомонить их бестолковый нрав не представляется возможным. Какой-нибудь трахнутый сосед, донимающий целыми днями однообразной музыкой. Или клиент-дегенерат, которого вы, видите ли, не можете послать куда подальше. Или пустая случайность, достающая прямой бестолковостью окружения. Вот помню, как сейчас, когда я ещё ездил на работу в метро – там же всегда у нас полно народу! И каждый из толпы со своим прибабахом. Они все мешают! Встанет вот один такой рядом, и никуда от него не деться, поскольку тесно. Он вроде бы ничего не делает – переминается только с ноги на ногу, как подросток, посекундно меняя позы, будто у него шило в заднице. И вот этим своим верчением жутко раздражает. Так и хочется стукнуть его по голове, чтобы успокоился. Раз и навсегда. И сколько таких эпизодов за день? Десятки! Без конца! Это болезнь, по-вашему? Вы думаете, они все не такие же? – Он указал пальцем куда-то вдаль. – Они без разбору шлют вам проклятия по любому поводу, о котором вы даже не подозреваете. И это я лишь затронул бытовые аспекты неприязни, а если взять социальные, имущественные, расовые расслоения людей? Мы все читаем сладкую сказку про терпимость, но существует ли она на самом деле? Не лукавим ли мы себе постоянно? Не питает ли каждодневное напряжение более глубокую неприязнь, уже ко всему роду человеческому, когда не кажется чем-то невероятным в отместку за испорченную, скажем, жизнь кинуть как-нибудь десяток-другой его представителей, а то и попросту лишить их жизни? Вы считаете, что на такое способны только редкие изверги?

– На убийство?

– Да, именно на убийство. На сознательное убийство. То, на что решаются немногие, но мысль о чём витает в голове, по крайней мере, любого неврастеника. Разве не велик соблазн не отгородиться забором, а убрать от себя других? Да будь у вас возможность безнаказанно отправить на тот свет толпу уродов, причём так, чтобы никто даже не догадался, что это сделали вы, неужели вы не решились бы однажды «подчистить» ряды прямоходящих? Даже не исходя из каких-то собственных амбиций, а просто из желания увидеть окружающий вас мир более разрежённым, более спокойным? Убить одного сложнее. А вот извести за один раз сотни, тысячи, подстрекаясь убеждением, что среди них одни уроды, да ещё исподтишка, как в результате стихийного бедствия, – неужели вас не тронула бы возможность осуществить такую затею? – Он тут же сам ответил: – Вы бы болели этой мыслью до умопомрачения и когда-то реализовали бы её обязательно.

Виталий молчал, потрясённый услышанным. Он ещё не понял, как реагировать на слова больного, то ли приписывая их рецидивам помутнённого рассудка, о чём тот как бы вскользь, как бы невольно сам только что намекнул, то ли относя их к его истинным воззрениям и имея перспективу закончить разговор в резкой, невозобновляемой форме. Умение физика отражать собственную позицию, при этом оставаясь как бы в стороне, впечатляло. Но Виталий был уверен, что уже увидел его истинное лицо, и оно показалось ему крайне непривлекательным.

Мгновение спустя Канетелин без всяких переходов, словно эмоции его были ненатуральными, свернул свою озабоченность в трубочку и представил на суд журналисту вполне конкретный вывод своего темпераментного словоизлияния:

– Теперь про вашего друга конкретнее.

То есть то, что он выложил до этого, как бы его самого не касалось. Пусть даже известные события и были связаны скорее с ним, чем с кем-либо ещё, подразумевая наличие главного свидетеля преступлений живым и невредимым, хоть и не в здравом уме и памяти.

– В последнее время Белевский постоянно находился на взводе, вы не замечали? Впрочем, с вами ему устраивать перепалки не из-за чего. А вот на работе некоторые ему были неприятны. Наверное, в первую очередь я. Но это следствие, а в чём причина? Особенности характера? Ущербное детство, спонтанный невроз? Я далёк от мысли разбирать его душевные качества, я констатирую только факты. Самый яркий из них: он запустил установку, несмотря на мой запрет на проведение эксперимента, в пику моей позиции пытаясь доказать своё. Перед этим у нас случился неприятный разговор на повышенных тонах. Вообще в последнее время мы терпели друг друга с трудом, и по мере накопления экспериментального материала он пытался гнуть свою линию, делая обособленные выводы. А от согласованности позиций зависело направление дальнейших работ всей лаборатории. Но он, наверное, интуитивно что-то нащупал и пытался сам удостовериться в правильности своих предположений, никому ничего не говоря. Велик соблазн, используя тысячелетний опыт предшественников, стать гением случая. Возвести на пьедестал всего лишь жалкую нетерпимость, которая помогает двигаться вперёд, расталкивая других по сторонам. Вы даже не замечаете, как становитесь мерзавцем: сначала на бытовом уровне, а потом и в деле, в большом деле, где большие ставки и серьёзный уровень игры. Вот там уже вся ваша подноготная вылезает окончательно, поскольку нет картонки, за которую можно было бы спрятаться.

– Это вы про Олега Белевского?

– Нет, это я вообще. Его я понять до конца так и не успел. Помешал этот странный случай со мной. – Он досадливо скривил рот. – Впрочем, припадками неконтролируемого гнева он страдал, а отсюда недалеко и до мерзости.

Виталий удивился, сколь беззастенчиво физик выдавал про другого то, что окружающие рассказывали про него самого.

– Не замечал за ним такого. И вообще я вам не верю. По-моему, вы пытаетесь оговорить своего бывшего коллегу.

– Не верьте, это ваше право. Вы думаете, что хорошо его знали, но в наш сложный прагматичный век очень много двуличных и даже многоличных людей. Человек всё время приспосабливается к постоянно усложняющимся условиям обитания. Своеобразная душевная мимикрия, если хотите.

– Вы тоже двуличный?

– Да, наверное. Я сохраняю некие свойства своей натуры для себя самого и ни для кого более, – сказал он тоном, подразумевающим высокую степень откровенности. – Однако конфликт интересов вскрывается в первую очередь при совместной творческой деятельности. Любая творческая работа исходит прежде всего из удовлетворения личных амбиций, и утаить попутные мысли и чувства, работая в команде, становится делом очень непростым. Поэтому могу сказать вам со всей ответственностью: Белевского я знал лучше, чем вы.

«Ну допустим, – подумал Виталий. – Работе Олег действительно отдавал бóльшую часть времени, а сохранять независимость в компании рвачей может только очень сильная личность. Как говорится, с кем поведёшься, таким же козлом и станешь. Но для чего теперь всякие эзоповы басни? Почему бы не сказать прямо, что, по его мнению, Олег непосредственно причастен к последним событиям? Фактов у него, похоже, нет, есть только соображения. В таком случае на любые его соображения у меня есть свои».

– Меня не покидает чувство, что вы боитесь правды, – сказал журналист, – намеренно вводя всех в заблуждение. Чем больше вы вспоминаете Белевского, тем это выглядит менее убедительно. Вы же говорите о себе. По крайней мере, вас выдают страстность и вдохновение, когда вы начинаете говорить о себе. Я не врач, но совершенно очевидно, что в вас самом сидит какая-то проблема. Разве я не прав?

Проще всего Канетелину было бы сослаться на временное расстройство психики, что на самом деле служило бетонной преградой от посягательств на его человечность и порядочность. Он мог говорить что угодно, но обвинить его ни в чём было нельзя: в любой момент он мог оказаться невменяемым. Однако уже чувствовалось, что он с самого начала примеривался к роли изворотливой слизи. Он был неординарен, и его возбуждала игра эмоций, в которую он с великой охотой пытался втянуть Виталия.

– Ну что ж, если я вам чем-то интересен, пожалуйста, поговорим обо мне, – подумав, предложил физик.

«Чем-то, – ухмыльнулся про себя Виталий. – Прижучить бы психа. Сбить с него спесь, надругаться, в конце концов, над его жизненным кредо. Он запросто теряет самообладание, а в такие минуты любой человек наиболее уязвим: рушатся оплоты, и бетонные преграды превращаются в дырявую изгородь судьбы».

– Вас не заботит излишний интерес следствия к вашей персоне? – Журналист попытался сделать вид, будто знает больше, чем говорит. – Моё-то внимание к вам вызвано как к человеку, а не как к одному из предполагаемых фигурантов дела. Собственно, меня лично и интересует в первую очередь, как вы переживаете случившееся, что об этом думаете, если имеете к нему хотя бы косвенное отношение. Я разговариваю с вами только из стремления уловить, что вы из себя представляете. С Белевским разберёмся позже, но пока что я думаю лишь о вашем собственном восприятии окружения. И картина вырисовывается довольно мрачная.

Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, как нарисовать такую картину.

– Вы всегда и всем недовольны. Вас раздражает целый мир. И поскольку вы образованный человек, имеющий достаточно высокий социальный статус, допустить, что это всего лишь симптомы повышенной нервозности, вы не можете. Признать себя неправым в огромном числе случаев не приходит вам даже в голову. На вас давит собственное возвышенное самосознание. Деятельность подавляющего большинства других, по вашему мнению, менее впечатляюща, отсюда и поведение, и нравы их автоматически становятся для вас примитивными до отвращения. А в тех случаях, где вы не можете доминировать, то есть собственно в случайностях, бытовых и жизненных эпизодах, общение с людьми раздражает вас особенно сильно. Но здесь надо иметь в виду следующее… – Виталий сделал акцентирующую паузу. – Индивидуальность не может быть оторвана от сообщества, какой-то группы людей, иначе теряется её смысл. Это диалектика. И если вы противопоставляете себя окружению, то, как умный человек, должны тотчас же понять, что в первую очередь именно вы окружению становитесь безразличны, а не наоборот. Именно вам доводится быть у него на привязи – иначе возможно только сумасшествие. Независимых людей нет. Истинно быть самим собой могут только сумасшедшие. И тогда встаёт вопрос: противиться ли этому? И что значит противиться? Превозносить себя или принижать других? Пытаться постоянно подыгрывать, что гордые делать не будут, или ждать, когда вам выпадет счастливая карта понимания со стороны присутствующих? Но тогда можно прождать значительно больше отведённого вам свыше времени. Из этого неотвратимо следует только одно: если вы поняли расклад вещей, вы, безусловно, превращаетесь в циника или психопата.

Канетелин слушал его не перебивая.

– Таких, как вы, много, – продолжал Виталий. – Однако девяносто девять человек из ста вполне свыкаются с наличием вокруг себя постоянных раздражителей. Так устроен мир, это все понимают. Бесит лишь невозможность что-либо изменить, тогда как подавляющее большинство людей таких целей и не преследует. Но поскольку вам кажется, что среди них нет даже потенциальных единомышленников, они вам сильно не по нраву. Вы пытаетесь очернить их за то, чего в них нет и в помине. Вы презираете людей. Позвольте вам сказать, что это дико.

– Почему же дико? – физик искренне удивился. – Раз бог наделил нас сознанием, я вправе использовать его по своему усмотрению. Дико было бы, если я в ответ на своё презрение требовал бы от других добра и почестей, но я не требую.

Он словно ждал, когда Виталий скажет главное. Хотя он и понял, что заговорить собеседника вряд ли удастся, всё равно по традиции отводил ему роль большей посредственности, чем он сам.

– Если исходить из того, – заявил физик, – что индивидуальность, как вы отметили, есть общественный фактор и вы можете её ощущать только среди людей – наедине с собой или находясь среди животных, например, вы её не ощущаете, – тогда вы правы. Общество развивается в единстве и борьбе противоположных личностей, так?

Виталий не ответил.

– А представьте себе на секунду, что человек сам для себя целый мир. Со своими восприятиями, ощущениями. И никто ему больше не нужен.

– Так не бывает.

– Представьте только… Со своими правилами и законами.

– Со своей моралью.

– Мораль – это всего лишь мнение большинства и ничего больше.

– Тогда наступает хаос.

– Он и так уже наступил. Вы не замечали? Люди морализируют, только оправдывая свои должности и звания, но стремление к комфорту и наживе перевешивает любые моральные принципы.

– Это отдельные случаи, а не норма.

– И главное, совершенно не к кому прислушаться, – продолжал Канетелин, не обращая внимание на слова оппонента. – Вот, скажем, я. Для меня не существует авторитетов: все они далеко не искренни в своих побуждениях. Даже наш президент, мужик, которому чуть больше повезло в жизни, который уж точно не умнее меня, – почему я должен его уважать? За него думают десятки людей, и он, видите ли, принимает решения! А я один вижу, что они все не правы! Как мне тогда быть?

– Вы можете с ним не соглашаться…

– Я и не соглашаюсь.

Осудить того, кто над тобой, – это наше главное. Но когда над тобой никого нет, самого чувства подыгрывания чужим интересам возникать вообще не должно, в этом он был прав.

– Лихо вы всех под одну гребёнку, – заметил Виталий. – Неужели хорошие люди в таком дефиците?

– А я не беру конкретных людей, я рассуждаю обобщённо. То, за что вы цените кого-то конкретно, проявляется лишь в отдельных случаях, у вас на виду, а в другом месте и в другой ситуации это другой человек, чуждый вам и малозначительный. Поэтому симпатии и почитание являются лишь временным заблуждением относительно выделенного лица в форме лёгкой абстиненции. Общество – это огромный вытрезвитель. Вокруг одни посредственности, под них принимаются все правила. А куда в таком случае деваться умным?

– Их всегда было немного, но мир всё равно развивается по правилам умных.

– Не иронизируйте.

– Я вовсе…

– Я тоже шучу. Вы, конечно же, не иронизируете, вы заблуждаетесь! Глубоко, категорично! Дефицит ума есть принцип существования цивилизации. Она убивает сама себя, потом появляется другая, которая тоже себя убивает, и так до бесконечности. Так устроен весь материальный мир. Люди убоги, поэтому они не есть фавориты истории, – они не понимают даже этого. А я хочу вырваться из этого адова круга.

– Извините, но вы несёте какую-то чушь.

– Обычная отговорка при встрече с нетрадиционными взглядами.

– Вы тщеславный, заносчивый гордец с завышенным самомнением, и, по-моему, ещё не до конца здоровы.

– Прекрасный диагноз!

Виталий встал с явным намерением закончить разговор.

– Уже уходите? – Канетелин будто не ожидал, что его покинут в момент, когда он только начинал набирать форму. – И вам не интересно узнать, чем заканчиваются подобного рода психозы? Вы же для этого со мной встретились.

Журналист помедлил, не решаясь уйти и в то же время уже наевшись пустыми разговорами. Потом спокойно опустился на сиденье:

– Да… Пожалуй, останусь.

– Вот именно. – Канетелин резко к нему наклонился. – Вам бы следовало признать, что простой псих вас всех не интересует. Мало ли что мелет свихнувшийся обыватель, переживающий в жизни личную драму. Да и связываться с ним муторно, одна канитель только. Другое дело человек, способный в одиночку устроить ядерный взрыв, – вот тогда уже интересно. О чём он думает? Чего это ему неймётся? В какой стадии расстройства его сознание, чтобы не принимать в расчёт его бредни, в которых, не дай бог, ещё обнаружится правда? И на головы ответственных людей посыплются вопросы: неужели зло настолько неуязвимо, что любой, дай ему только в руки пистолет, тут же готов всадить в ближайшего пулю? О чём вы думали раньше? А если среди этих миллионов есть тот, который умеет злом управлять? Это его стихия, он такой же одержимый, как праведник! И попробуй докажи, что светлая сторона монеты не должна обязательно содержать и тёмную, поскольку монета всегда есть одно целое, а не половина, намеренно выставленная на всеобщее обозрение. Попробуй объяви его ненормальным – значит, ненормальные мы все?! А ещё, по традиции рассуждающих дуриков, назови его несчастным! Да он самый счастливый человек на свете, ибо в отличие от других может напрямую засадить оппоненту пистон в задницу, отчего тот поперхнётся сразу же в своём ораторском искусстве! И чтобы его остановить, от моралистов потребуется наступить на горло собственной же песне или, что они любят делать больше всего, извести злодея чужими руками. Зло неистребимо, а уменьшить его можно, только отрубив себе все значимые прелести. Вы не знаете какие, поэтому я вам и интересен. И опасен для всех вас… Кто-то правильно сказал, что в мире есть всего два главных чувства: любовь и страх, – все остальные производные. Именно эти два есть движущая сила человечества, крутящая шестерёнки его прогресса. Я осознал это в полной мере. Позвольте насладиться правом вас пугать.

– Пугать? Помилуйте, какой перед вами страх? Вы говорите о том, что вызывает скорее презрение. Обладающий секретами учёный, если он недостойный человек, никого не убедит, что его грехи прощаемы. И сколько бы вы ультиматумов ни ставили, общественное сознание вам не перебороть. Люди – существа гордые, и ваша гордость будет всегда меньше народной. Чтобы с людьми дружить, надо их уважать, а вы возвели свою злобу в принцип и ещё пытаетесь как-то оправдаться. Я вам не судья, но и не адвокат тоже. Мне бы хотелось вас понять, но вы сами этому мало способствуете. Я вас слушаю и только задаюсь вопросом: вы что-нибудь вообще любите? Можно ли такому человеку, как вы, доставить удовольствие?

– Почему нет?

Его деланое недоумение словно говорило, что собеседник не понимает его по собственной инициативе. Будто Виталий находится в плену стереотипов и сам не хочет представить оппонента равным себе.

– Вы знаете, я порой очень лиричен. И мне доставляет удовольствие многое из того, что некоторые просто не замечают. Я могу долго бродить по парку, слушать тишину, меня восхищают самые обычные окружающие нас пейзажи. Я люблю в зимнюю стужу сидеть возле горящего камина. На улице темень, мороз, а дома трещат дровишки. Это так успокаивает, умиротворяет… И вы знаете, страстно люблю в такой момент похлюпать горячего чаю – просто сам процесс хлюпанья обожаю. Крепкий сладкий чай. Рядом фыркают и хлопают поленья, а вы втягиваете губами мягкий аромат напитка и восхищаетесь красотой жизни, тем, что вам это доступно. Если подумать, как неплохо вы устроились в данный момент, никого не обманывая, никого не боясь, а просто наслаждаясь тем, что вам приятно, то, в общем-то, не следовало бы больше ничего желать.

– Вы, похоже, любите одиночество.

– Да, люблю. Я живу своим внутренним миром, меня одиночество не тяготит, меня к нему тянет. И особенно тянет после долгого и нудного пребывания в толпе.

Трудно было увидеть в нём тихого, спокойного горожанина. Он больше походил на взбалмошного, склочного делягу, готового потрепать кому угодно нервы. И как нельзя кстати олицетворял в себе представителя той самой массы, которой сторонился.

– Смотря что есть для вас понятие «толпа».

– Совершенно верно. Вот тут-то собака и порылась. Я не желаю отказываться от благ цивилизации, но при этом каждодневно вынужден сталкиваться с людьми, хоть с теми же соседями, например. Они даже не грешат навязчивостью, однако я их постоянно вижу и слышу, я их чувствую, наконец. Они мне неприятны, они мусорят, мешают, раздражают, привносят шум и суету. Я мог бы не обращать на кого-то внимание, но не на всех сразу, это невозможно. Значит, дело во мне самом? Пускай. Резонно. Пусть я ненавижу это мерзкое окружение, в котором вынужден обитать, и ни один из вас не способен сделать его более удобным для меня, поскольку пока один старается, другой, и третий, и десятый, и сотни других обязательно будут работать в противоположном направлении. Пусть я несносен и неисправим, но я существую и, стало быть, делаю выводы. И как долго такое может продолжаться? Вы думаете почему люди взрывают бомбы?

Вопрос повис в воздухе, будто самый риторический.

– Чтобы кого-то убить, – наконец ответил Виталий.

– Правильно. Только это следствие, причина лежит глубже.

– И вы её сейчас назовёте, – саркастично ухмыльнулся журналист.

Канетелин неприятно засмеялся:

– Нет, конечно. Я только хочу сказать вам одну вещь.

Он придвинулся ближе, отчего Виталию стало как-то не по себе. То, что больной физик вынашивает сумасбродные идеи, было ясно уже абсолютно. Его сущность пыталась бороться с понятиями, и здравый смысл ещё не давал признать в себе натурального злодея. Хотелось выкроить побольше оправданий, поскольку мешала только одна несносная мыслишка: какую он оставит о себе память? Однако Виталий мог оказаться тут совершенно не при делах и слегка уже его побаивался.

– Когда нам кто-то не нравится, мы, не задумываясь, можем его обидеть, – Канетелин смотрел Виталию в глаза. – И более того, считаем это правильным. Инстинкт неприязни порождает её продолжение уже в сфере сознательной деятельности: безусловно, хочется нанести оппоненту урон, хоть самый незначительный, но всё ж таки неприятный для него. Хочется наглядно показать, что вы его выше, сильнее. Бытовые склоки и разборки в расчёт обычно не принимаются, поскольку якобы не имеют последствий. Но малое питает нравы, закрепляет выводы, возносит идеи. Из пыли рождается грязь, а ненависть – из пренебрежения. Если вам не нравится кто-то конкретно, окружение с этим может смириться. Если вы испытываете неприязнь к людям по религиозной или расовой принадлежности, с этим, условно говоря, можно вести борьбу. И её ведёт вся мировая общественность. С переменным успехом, но пытается противостоять людскому разобщению. А вот если вы просто ненавидите себе подобных только потому, что они глупые, а таких подавляющее большинство, то с этим уже не справится никакая религия, никакой общественный порядок, будь то сивая демократия или лютая диктатура. Испорченность заложена в нас генетически, поскольку животных мы в себе далеко не изжили. Мы жуткие шаманы. Нам нравится приносить себе подобных в жертву, ибо только люди способны эмоционально ощутить весь трагизм урона. И каждый грезит себя в роли искусителя, готовый в случае удачного поворота судьбы свернуть шею всякой нечисти. Ну или хоть плюнуть ей незаметно на башмак. Какой там исламский ваххабизм, какой там «убей неверного»! Когда б была возможность резать сотнями, тысячами, нам было бы друг друга не унять, о чём, собственно, и рассказывает мировая история человечества. Людей не останавливают даже масштабные убийства, масштабные разрушения.

– И вы таких людей способны оправдать?

– А вы нет?

– Конечно, нет. Потому что это безумство. Среди живущих под небом полно детей и беззащитных, и просто тех, которые понятия не имеют о ваших личных проблемах. Они ни в чём не виноваты, а вы выписываете им счёт, точно проворовавшимся чинушам.

– Во время войн тоже гибнут все подряд. Однако войны развязывают конкретные люди, вполне себе тихие и обходительные частенько. Мы постоянно живём в условиях войны, только она ведётся сейчас более изощрёнными методами, а в остальном всё то же самое. Её ведут все одновременно, и вы в том числе.

– Я лично ни с кем не воюю.

– Воюют политики, от вашего имени. И если вы не в силах как-либо им помешать, то часть вины, пусть косвенно, ложится и на ваши плечи тоже. Да и сами политики, они уж точно не испытывают угрызений совести. Особенность нашей эпохи в том, что решения принимают одни, а исполняют их другие. В древние времена руководители государств, княжеств, империй были одновременно и полководцами. Они сами участвовали в походах, видели кровь, убивали людей. Зато мало кто из них и умирал собственной смертью. Теперь же боевыми действиями руководят из уютных кабинетов, не видя чужих страданий, а у военных всегда есть удобная отговорка: мы выполняли приказ. Вот так. Всё шито-крыто. – Он развёл руками. – Видите, как всё замечательно устроено? Представьте себя в роли такого вот наделённого широкими полномочиями политика и скажите себе: я не убийца, я лишь хочу немного обустроить мир, свою страну, своих людей, чтобы им всем лучше жилось, ну и мне чуть-чуть было бы удобнее. Отдайте приказ, нажмите кнопку, пошлите сигнальчик, подмигните – я уж не знаю, как там у них устроена система управления, – всё остальное произойдёт без вашего участия. Кто-то погибнет, кто-то будет разгребать завалы, некоторых стошнит. Иные воспримут несчастье как должное. Но за него никто не ответит, будто это последствия стихии. Уже не та формация, вы легко вписываетесь в мировой процесс. По миллионам никогда не плакали, и если некому поймать вас за руку, то убивать по одному или сотнями, – не имеет никакого значения. Вы повелитель стихии. Им вас не раскусить.

Когда обучают ремеслу, самым действенным методом является передача личного опыта, собственного умения, тех заковыристых фишек, которые не валяются на дороге и обладание которыми и есть та самая благодать природы, позволяющая осилить мудрёное мастерство. Очевидно, физик оценил силы журналиста положительно. Он стал грузить Виталия по полной, ожидая, что тот либо сдастся, либо всё же будет обдумывать его слова, и тогда его можно запутать окончательно. Умение, как и знания, вещь слишком субъективная. Можно делиться им так, что природе будет завидно в недосмотре за таким дивным камуфляжем.

Теперь Виталий почувствовал, что ему жарко. Словно от досады, когда не идёт в картах масть. Бессилия от методично атакующего его прагматика он не испытывал, но побить его без рукоприкладства не знал как. Этот глист вывернется из любых пут, и для себя всегда окажется прав. Ладно твердолобые, которых не переубедить, которые не воспринимают никаких аргументов. Но немотивированный учёный, вставший в позу, – неужели нет против него никаких способов переубеждения? Он испытывал к нему глубокую неприязнь, потому что тот готов был обосновать любую мерзость… Но вдруг осознал, органически ощутил – почти рефлекторно, – что именно об этой вражде непонимания и говорит Канетелин. О своём месте на земле, которые не видят и не хотят видеть другие.

– Мне изначально непонятно только одно, – встрепенулся Виталий, – и самое главное: зачем всё это? Разве можно ненависть ставить в основу жизненного кредо? Весь мир стремится к лучшему, рациональному. В духовной сфере это доброта. Посмотрите вокруг: в мире полно добрых людей, готовых делиться радостью и помогать друг другу бескорыстно. Они не знают законов мироздания, но им приятно дружить, ощущать свою нужность, видеть рядом с собой счастливых. В этом и заключается для них их собственное счастье.

– Я с вами совершенно согласен, представьте себе. – Он принял вид уставшего от разговоров человека. – Но вы рассуждаете исходя из логики сообщества, а я исходя из логики одиночек. Спросите любого, потерявшего ребёнка от рук маньяка, что он желает убийце. Разумеется, смертной казни, да ещё чтобы тот испытал перед смертью нечеловеческие муки. Способ наказания может быть любой, но в душе вы выбираете для него самый изуверский. В природе человека чувства являются главенствующими, так он устроен. Отсюда и насилие. Просто одни выбирают его в качестве чрезвычайной меры, а другие – как средство достижения каких-то целей, вот и вся разница.

– Насилие осуждается обществом, это в порядке вещей. Что бы творилось на земле, если бы люди убивали друг друга безнаказанно?

На губах Канетелина мелькнула саркастическая ухмылка.

– Вы же христианин, – не унимался Виталий.

– С чего вы взяли? У меня свои представления о боге.

– И вы смогли бы убить человека?

– А вы нет? На расстоянии, когда вы не видите жертвы, это вообще не составляет никакого труда.

– И бомбу смогли бы взорвать?

– А какая разница? Движет ли вами чувство мести или ненависть к неверным – суть одна: всадить между рёбер кол или выпустить кишки некоторому количеству особей, которых вам ничуть не жалко.

– Вы говорите страшные вещи.

– Я говорю правду. Делить людей на ангелов и извергов берутся только робкие замшелые дилетанты. Все люди – враги, и вовремя отстоять свои права, когда другие налезают со своими противными традициями, есть истинное предназначение каждого.

Виталий вскочил с места уже решительно:

– Я не могу вас больше слушать! Более всего меня возмущает, что вы умудрённый жизнью человек, а несёте какую-то чушь.

– Не бойтесь обнаружить в себе зверя. Наверное, вы страшный в гневе. Слава богу, у вас ещё нет желания со мною расправиться.

– Вас надо изолировать.

– Вот, вы уже проявляете признаки агрессии.

– Вы ненормальный!

– Скажите это моему врачу.

Виталий резко повернулся и быстрыми шагами, сквозь мелкий дождь, направился в сторону здания клиники.

Пациент, оставшись в беседке, занял спокойно-созерцательную позу, ровно такую, в какой его застали раньше. Как будто и не было до этого никакого разговора.

**8**

Около получаса Виталий просидел в кабинете главврача, где за чашкой чая поделился впечатлениями о беседе с больным.

– Он говорит такие вещи, которые вызывают оторопь. Если бы он не был вашим пациентом, я бы не знал, о чём думать.

– Я уже слышал о его желании взорвать мир. Возможно, он блефует, почувствовав себя в центре событий. Скорее всего, это отголоски психического расстройства, активизация некоего комплекса детскости, когда безосновательно пытаешься как можно дольше держать на себе внимание других.

Захаров не рассказал журналисту о странных явлениях, которые зафиксировали камеры наблюдения, направленные на спящего пациента. Он посчитал, что не имеет ещё достаточно информации о нём, чтобы придавать огласке данные факты. Если их удастся понять, вполне возможно, дополнительные сведения о больном могут в будущем пригодиться.

– Вы считаете, его словам не стоит придавать значение? – спросил Виталий.

– Я не знаю, насколько его практические возможности, связанные с работой, опасны для людей, но сам он, как мне кажется, убивать никого не станет. Он высоко себя ценит и хочет, чтобы его ценили тоже. Он понимает, что вынужден придерживаться общих правил, моральных принципов, сообразуясь с которыми, он не может действовать бесконтрольно. У него целая теория ненависти, но настоящие убийцы, как правило, такими вещами не заморачиваются. Для них убийство – или ремесло, или что-то из ряда вон выходящее.

Через окно Виталий видел, как санитары проводили Канетелина в корпус клиники. Если его не увести, сказал доктор, он может простоять так до самого вечера. Опущенная голова, меланхоличный облик больного резко контрастировали с тем возбуждённо-злым напором, с которым он чуть ранее доносил до Виталия свои взгляды. Показалось, что с участием этого необычного пациента разыгрывается какая-то дьявольская игра. Во всяком случае, намеренно или нет, но он давал слишком много поводов для размышлений.

– Резкие перепады настроений для него характерны? – спросил журналист.

Доктор посмотрел в окно:

– Да, возвращение к нормальной жизни обычно не проходит гладко. Вы знаете, его странные помыслы внешне почти никак не проявляются. Большей частью он спокоен, даже дружелюбен. Мне самому удалось распознать их только по косвенным признакам, и тогда я вызвал его на откровенность. То, о чём он думает, ужасно, однако пока его удаётся сдерживать. Я намеревался его изолировать, но он уверяет, что не станет причинять зло никому из здешних обитателей.

– Вы ему верите?

Академик выглядел невозмутимым.

– Видите ли. Форма общения с больным есть часть лечебного процесса. Оттого, насколько выстроены у нас отношения, зависит качество его мировосприятия в будущем. Иногда я предпочитаю рисковать.

Виталий отпил чаю, вспомнив вдруг, как заразительно приятно описывал данный процесс Канетелин. Но вопреки кажущимся ассоциациям почувствовал поминутно нарастающее к нему раздражение. Всё, что было связано с безумством, отображающемся в дикой ненависти к людям, олицетворялось теперь в одном конкретном психе, страдающем то ли от недостатка внимания со стороны учёных, то ли от бессилия подчинить себе всемирный разум. Однако Виталий замечал, что, бывало, и сам, пытаясь вдолбить кому-то свою правду, становится таким же невежественно-буйным, находясь совсем рядом со злобой и ненавистью в отношении своих оппонентов. Уже сегодня он несколько раз ловил себя на том, что теряет самообладание и в конечном счёте может сорваться, если, не дай бог, изречения физика заденут его лично.

– Следствие полагает, что он мог быть как-то причастен к катастрофе на путях, – высказал свои подозрения Виталий. Академик молча кивнул.. – Пока это выглядит нереально… Скажите, он мог, находясь в клинике, связаться с внешним миром?

– Через кого-то?

– Да.

Академик изобразил на лице озабоченность:

– Сомневаюсь. У меня проверенный персонал, люди, которые знают свои обязанности и не будут скрывать от меня любые вещи, касающиеся пациентов. Притом что за больными организован круглосуточный уход и наблюдение.

– Хотя иногда они у вас безнадзорно разгуливают по территории, – вставил журналист, не в состоянии забыть попорченный кузов своего автомобиля.

– Я же вам компенсировал потери. – Доктор покачал головой. – Видно, вас сильно задело, что виновник остался ненаказанным.

Виталий ничего не ответил.

– Отнеситесь к этому философски. Маленькие неприятности неизбежны, не здесь, так в чём-то другом, от них всё равно не скрыться. Канетелин свои впечатления накапливает, а вы спускайте их в унитаз. Так легче жить.

– Я это понимаю. Но для успешного противодействия неурядицам должно быть больше позитива. Где его взять?

– Ищите. Сам он, конечно, с неба не свалится. Живите больше для себя. Устраивайте то, что вас радует, успокаивает, вдохновляет.

– И только-то? – Виталий улыбнулся. – По-моему, все психологи поют всегда одну и ту же песню – и на праздники, и на похоронах.

Захаров спокойно отреагировал на мнение журналиста:

– Психология и психиатрия до сих пор ещё науки поверхностные. Профессионализм заключается в нюансах, если вы не в курсе.

Они договорились обмениваться информацией по Канетелину, причём каждый держал в голове гораздо большую заинтересованность в дополнительных сведениях, чем проявлял её наружно. Здесь смешалось всё: и профессиональный интерес, и человеческое любопытство, и скрытая надежда поиметь какую-либо выгоду, поскольку важная информация, как известно, всегда имеет свою цену. Оба знали, что чудес на свете не бывает, и если с физиком как-то связаны последние события, то этой связи обязательно должно быть простое объяснение.

Захаров поручил одному из своих санитаров отвезти журналиста в город. Парень всю дорогу без умолку болтал, но Виталий его не слушал, изредка поддакивая и думая о своём.

Только теперь, по прошествии некоторого времени, он начинал осознавать, чем был раздражён, что не давало покоя и служило поводом его жаркого, кипучего негодования. Физик, конечно, был умён, но оттого не менее, а, признаться, даже более противен.

Что за дикость полагать, что вокруг тебя одни уроды! Не принимать ни малейшего участия в людях, не иметь ни капли добрых намерений, тепла, сочувствия – как можно жить без всего этого? Даже в близких пытаться обнаружить до безумия надоедливых существ. Из чего тогда черпать вдохновение? Если жизнь поместила тебя в условия социума, просто глупо пытаться этим пренебрегать, не впитывая от окружающих всего самого лучшего. Или вдохновение заточено только на то, чтобы противопоставить себя всем остальным? Но это нелепо. В мире миллиарды разнообразий, подавляющее большинство из которых вас не знает и которым, совершенно естественно, нет до вас никакого дела. Обратить их всех против себя просто физически невозможно. На это можно потратить много сил и ничего не добиться, и разве в этом заключается смысл жизни? Гораздо проще любить, быть добрым и отзывчивым, это и продуктивнее даже, и приятнее. Но мы почему-то делаем всё возможное, чтобы превратить добродетель в излишество. Мы черпаем силы в самых пагубных пристрастиях, увлекая ими прочих, а от того, насколько поддаются они увлечению, записываем их в разряд принимаемых или не принимаемых нами людей. Индивидуальность не в том, чтобы не замечать её у других, – справедливость данного тезиса оспаривается нами всю жизнь.

И сводится индивидуализм, как правило, к простому набору противопоставлений, в которые вовлечены все самые важные сферы жизни. Почему одних мы любим, а других при этом люто ненавидим? Где-то ведь лежит грань, разъединяющая всех на категории привлекательности. Как же все привыкли определять степень своей привязанности к человеку по его физиономии или достоинствам и недостаткам! Какая нелепость, что приходится изначально доказывать, что ты не верблюд, хотя и показался кому-то странным. А в целом и прочие такие же с ходу записываются в стан недругов. И целые толпы людей при этом ставятся ступенью ниже или даже выделяются в группу презираемых из предубеждения, что отличаются от вас короткими ногами или странной причёской и составляют особый клан чужаков. Причём они могут думать о вас то же самое. Наверное, в этом и есть истоки человеконенавистничества. Мы склонны в любом, даже очень похожем на нас, искать в первую очередь различия, а не сходства, мы склонны выделять себя и сравнивать по всем критериям с собой. Да, наверное, полюбить Квазимодо с первого взгляда невозможно, но если он всем сердцем на вашей стороне…

Если человек умён и интересен, он, безусловно, может рассчитывать на благосклонность и приятие окружающих его людей. Но что делать миллионам безликих, не заслуживших по разным причинам места под солнцем? Как быть им с их нудной вознёй, глупостью и дурными привычками?

Мы способны обрести друга в самом неприятном представителе человеческого рода, если видим его чуткость и понимание, если нас устраивают его манеры, если у нас близкие с ним взгляды – одним словом, если чувствуем, что не испытываем рядом с ним дискомфорта. Но горе тому, кто не совладает с этим правилом человеческого общежития, потому что дальше для него вступают в силу обычные законы симпатии и антипатии, законы национальной розни и расовых отношений. Ему долго ещё придётся унижаться, чтобы добиться права: не любви к себе уж, но хотя бы уважения. И насколько это право окажется действенным, тоже большой вопрос.

Какое же оно странное, это человеческое существо. Оно не имеет чётких понятий, но готово винить и оправдывать, порицать и хвалить себе подобных в свете каких-то неясных представлений. Ложь во имя спасения, предательство ради любви… Но если невозможно определить, где грань между преданностью и фальшью, стяжательством и бескорыстием, пороком и мыслью о нём, о чём вообще тогда может идти речь? Человек настолько слаб, что исступлённо каждый день, час и минуту борется с себе подобными. Его стремление возвыситься в глазах других смешно и грустно. Он придумал себе шкалу ценностей и подводит к ней каждого, отмеряя планкой по макушке, – а как иначе определить безнравственность? (Они же мешают нам жить!) Он не хочет оставить суд времени и не доверяет никому, взваливая всё на свои хрупкие плечи. Он даёт оценку сам и сразу. Он печётся о своём благополучии (или благополучии своих)! А значит, надо разделять.

В мире правит зло, а историю творят посредственности, великие только вмешиваются. Неудивительно поэтому, что противодействие злу носит характер неустанной, бесконечной, яростной борьбы…

Парень наконец привёз его в город. Виталий сухо с ним попрощался, оставив, очевидно, не самое приятное о себе впечатление. Впрочем, хозяин автомобиля, похоже, не был обескуражен молчаливостью попутчика и, скорее всего, тут же его забыл.

Журналист зашёл в редакцию, но не успел подняться на своё рабочее место, как позвонил Глеб Борисович:

– Вы были сегодня в клинике?

– Я только что оттуда.

Виталий коротко рассказал о беседе с физиком, подчеркнув явно проявляющиеся у него признаки больных предубеждений, на что полковник заявил, что знает об этом от Захарова.

– Он ещё говорил про какую-то установку.

– Установка есть, но она охраняемая. Во время взрывов там никого не было.

– Может, она управляется на расстоянии?

– Вы шутите?

– …Просто я перебираю разные варианты, даже самые нелепые. Вообще Канетелин производит довольно странное впечатление. Я бы счёл его чрезвычайно опасным типом.

– Мы его проверяем. Огромная просьба, не рассказывайте никому то, что услышали.

– Да, я понимаю.

– Собственно, мне больше интересны его взаимоотношения с другими сотрудниками центра. Постарайтесь в следующий раз поковырять его в этом направлении. Он вам больше доверяет.

– Вы считаете, у него ещё будет желание со мной встретиться?

– Обязательно. Мне не звоните, я свяжусь с вами сам.

Виталий хотел было поинтересоваться: а что, если будет важная информация? – но полковник уже отключился.

Дело затягивалось. Расследование шло своим чередом, но, судя по всему, результатов практически никаких не было. Те зацепки, которые хоть на шаг могли продвинуть следствие, по словам полковника, приводили в тупик, внезапно обрываясь. Всё, что было связано с Канетелиным, имело вид бытовых разборок. Научные проработки были прощупаны со всех сторон. Никаких тайных дел он не имел, а кроме него, больше зацепиться было не за кого.

В новостях, рассказывая о трагедии, как всегда, говорили о «совокупности целого ряда причин», неожиданно совпавших в данном конкретном случае.

«Кого они хотят обмануть? Если бы подобный случай был первым… – думал Виталий. – Когда говорят о нескольких причинах, это значит, что на самом деле есть только одна, и она при этом, как правило, не называется».

Он хотел было заняться текущими делами, но разговор с Канетелиным никак не шёл из головы.

Был ли у них внутрицеховой конфликт? Если да, то он, безусловно, являлся главным катализатором чьих-то преступных действий. Можно быть социопатом или в чём-либо ущербным, но когда раздражитель рядом и каждый день, все силы сосредотачиваются на противодействии именно ему. Разговор на данную тему совсем недавно уже был, Виталий совершенно отчётливо начал вспоминать его нюансы, подивившись тому, насколько склонны люди акцентировать внимание на своих проблемах в преддверии важных изменений в своей жизни.

Да, он уже слышал это от кого-то, и долго вспоминать не пришлось. Странным показалось теперь, что именно от Олега. Как-то они разговорились по поводу здоровых человеческих амбиций, но для Виталия, имевшего слабость к рассуждениям на общие темы, его слова тогда не явились откровением. Тем более что Олег никогда не жаловался на судьбу, наоборот, всегда выглядел ею довольным.

– Я, например, не чувствую в себе возможности руководить нашим славным научным коллективом, – говорил он, – хотя по этому поводу просматриваются вполне реальные перспективы. И дело не в моих знаниях и характере, просто каждый должен заниматься тем, что умеет делать лучше всего.

– Это в идеале.

– И нужно к этому стремиться. Я чувствую, что сильнее, когда полностью погружён в тему, когда не связан проблемами управленческих отношений с партнёрами.

– Одно другому не мешает, если иметь в виду науку и административные обязанности, – возразил тогда Виталий. – К тому же любой руководитель всегда имеет по отношению к подчинённым преимущество.

Олег тогда серьёзно воспринял его реплику, но скорее оттого, что уже углубился в развитие собственной мысли.

– Вот что я тебе скажу, – заявил он. – Диалектика жизни такова, что все мы хотим иметь в этой жизни какое-то значение. Сознание дано не для того, чтобы развиваться до бесконечности, оно нам дано, чтобы покорять. Властвовать. Признавать свои качества самыми годными среди прочего окружения. В принципе каждый из нас не против того, чтобы быть каким-нибудь начальником, но для этого нужно не просто иметь хорошую голову, нужно быть злым. Тогда только появятся основания требовать от подчинённых выполнения ими своих функций на предельном уровне способностей. Хорошую «метлу» люди уважают, но не многим из управленцев удаётся перебороть в себе обычный веник. Дело даже не в характере. Если ты по философии, по способу мышления ни рыба ни мясо, то и в твоих управленческих потугах не будет никакого проку. Именно диалектическая злость делает из людей настоящих лидеров, а тот, кто не лидер, тот постоянно чувствует себя ущербным. И беда в них, в ущербных, хотя о них никогда практически не идёт речь. Они якобы душевные, правильные, неприкасаемые.

Виталий подумал о себе: «Я ущербный? Могу ли я выдвигать претензии другим, если чувствую, что нахожусь на своём месте? Мне вполне комфортно в своей шкуре, от меня кое-что зависит. Да даже если бы и не зависело, всё равно приятнее осознавать, что ты никому ничего не должен, чем постоянно с кем-нибудь бодаться. Для некоторых всё время улучшать свой имидж есть смысл жизни. Кто-то страдает из-за того, что застрял в этом процессе на определённой стадии, встал намертво и пути дальше нет. Но большинство ведь довольствуется малым, никак не переживая о нехватке времени и возможностей».

Однако он тут же понял, что, живя в обществе, человек в любом случае подвержен сравнениям, и любая тихая гавань также выбивается, выгрызается у жизни с боем.

Нет, он не знает, как повёл бы себя, окажись на месте Олега. Все его рассуждения годятся лишь для лекций затхлой профессуры, знакомой с психологией лишь на паре десятков выразительных примеров и возводящей свои догадки в ранг весомых постулатов, даже не обременяя их ремаркой «я так думаю».

Захаров от них существенно отличается, но этот лис хитрый, и тоже непонятно, чем он там занят. Похоже, его курируют спецслужбы – заведение у него явно не простое, судя по его статусу и репутации. Во всяком случае надо бы с ним поплотнее познакомиться. Человек полезный во всех отношениях. Вопрос только, что бы такое доброе для него можно было сделать.

«А может, я всё выдумываю? – пришло в голову Виталию. – Канетелин – просто физик, Олег – одержимый, а Захаров – сноб, каких свет не видывал, в силу обстоятельств вовлечённый не в свою игру. Никаких тайн не существует, им незачем друг друга обманывать. Контора лажанулась: следили, да не туда. И взрывы там были самые обычные, о чём и вещают изо всех динамиков по стране, ведь я знаю о подробностях только со слов Глеба Борисовича. Правда, тогда ещё менее понятной становится моя роль, но объяснение этому на самом деле найти проще, чем увлекаться поиском взрывателя для свёрнутой где-то в пространстве-времени акустической бомбы».

Полчаса он уже ничего не делал, он смотрел в окно. Внизу ходили люди, копошилась мелкими заботами улица. Проезжали автомобили, автобусы, по тротуарам шли пешеходы. Отчего-то совсем без клиентов оказалось расположенное напротив уличное кафе. Место было оживлённое, но никто из прохожих заходить туда не хотел, все быстрой походкой проносились мимо, деловые и строго направленные, подчинённые выполнению важных сиюминутных задач. Потенциальных посетителей с большой долей вероятности можно было заметить издалека, но таковых не наблюдалось.

Остановилась собака, вполне приличная, с ошейником, – видимо, по своим особым собачьим делам. Покрутила головой, даже взглянула, казалось, наверх, в сторону Виталия, однако ничего увлекательного не обнаружила и продолжила медленно трусить вдоль обочины. Всё так же плыли по небу густые облака, правда, теперь более кучерявые, однако по-прежнему тёмные и бесконечные. Он вернулся к рабочему столу.

Работа не шла, хотя сроки поджимали. Удивительным образом после встречи с физиком он вдруг задумался о собственной жизни. Будто Канетелин тронул его за живое, вновь заставив переживать из-за порядком подзабытых уже событий.

Когда он только устроился на работу, ему казалось, что придётся иметь дело только с фактами, опираясь на них и в развитие темы выискивая новые. Так он представлял себе высокий статус человека на своём месте, неукоснительно соблюдающего кодекс профессиональной этики. Однако уже с самого начала ему больше приходилось сочинять, чем приводить факты, что впоследствии превратилось в его главное достоинство и благодаря чему он выдвинулся на ведущие роли в редакции. Фактами он пользовался как подручным материалом, а позже вообще научился ими пренебрегать. И в своих уловках не находил ничего зазорного, поскольку всегда отражал собственное мнение, которому безгранично доверял. В конечном счёте каждый действует в меру своей испорченности: одни умело, другие не очень, а в среднем потакая только собственному чувству справедливости. Он вообще не понимал, что такое объективность, если она сплошь и рядом втолковывается другими. В оценках поступков правоты не добиться, стало быть, и говорить о ней можно только условно, принимая во внимание беспомощность и плаксивость одних и нависая дамокловым порицанием над другими. Канетелин прав, говоря о том, что все друг друга презирают, тот во всём уже давно разобрался. Учёный всего лишь не скрывает своего презрения. Законы законами, но отношения между людьми регулируются не тем, что зафиксировано общим собранием, а многообразием форм их внутренних противостояний. И вытачивают грани этих отношений постоянные пробы и ошибки, заставляющие принять ваше мнение и аргументы после того или иного количества удач.

Как-то за коньяком ему поведали о новой шкале ценностей, которая немного отличается от общепринятой, сказав, что, подразумевая последнюю, все живут на самом деле по другой. Ему сказали, что он ничем не лучше остальных и должен жить точно так же. Он, разумеется, почувствовал себя оскорблённым, однако затаился, поскольку резонов возражать у него ещё не было. Он лишь потихоньку стал предпринимать попытки выделиться в разных направлениях – хитрил или лез на рожон – и вскоре удостоверился, что действительно без понимания тех, от кого ты зависишь, жить очень трудно. А понимание это – вещь чрезвычайно прозаическая, усреднённая, до безумия простая, так что её может переварить любой жлоб. В частности, если ты рассчитываешь сделать карьеру, ты должен работать на кого-то, а не носиться со своей принципиальностью. Если ты хочешь иметь высокий доход, ты должен делать так, чтобы получаемые тобой дивиденды шли не первыми и не были выше дивидендов главного компаньона. Только подумай иначе, и ты сразу станешь выскочкой. Отсюда и стремление Виталия приспособить свои принципы под стратегию окружающего его сообщества, что рано или поздно становится главной проблемой любого мыслящего существа, приобрело вид первостепенной задачи, которую он решал в любой ситуации вне зависимости от отношения его к конкретным лицам. Нужно ценить время, серьёзные замечания вставлять только между делом; если они касаются мнения начальства, не акцентировать на них внимание; играть по общим правилам, не казаться умником, а свою полезность доказывать умелыми действиями по отдельно выбранным, главным направлениям, где и сливать свой припасённый на особые случаи цинизм. Приняв всё это на уровне подкоркового сознания, он запросто вписался в стратегию их законспирированного сообщества и с тех пор не имел с ним никаких конфликтов. Он не был мерзавцем, во всяком случае, никто на него пальцем не указывал. В нём как раз и проявлялось то тончайшее искусство – обходя стороной подлость, отрабатывать задание на пять с плюсом, – которое сделало его ценным работником в их департаменте. А уладив дела с самим собой, уверовав в свою не то чтобы непогрешимость, но вполне сносную по жизни правильность поведения, он вообще уже не думал о нравственных проблемах, которые мог бы иметь время от времени, и полагал, что недоразумений с собственной совестью у него быть не должно.

Статья, которую он теперь готовил, входила в серию заказных, а материал включал некоторые показательные цифры, к дозированию которых нужно было подходить с тщательной предосторожностью, подкрепляя тылы ссылками на ссылки.

Составление цепочки из десятка цитирующих друг друга источников, где найти первого, сказавшего «А», не представляется никакой возможности, являлось одним из страховочных элементов проводимой кампании на случай судебных исков. Обычно такая цепочка замыкалась сама на себя, что выматывало особо любопытствующих и практически не давало им шансов добраться до истины. Проводить такую «рекогносцировку» тоже входило в обязанности Виталия. То есть статей было несколько, и писали их с некоторым разбросом по времени разные издания, связанные негласно общей «темой». Это необходимо было делать, иначе любое из изданий могли бы прихлопнуть первым же серьёзным разбирательством. Он всегда подходил к своим заданиям крайне аккуратно, тщательно готовя «базу», это было самым главным в его деле. А уж когда тесто хорошо замешано, после из него можно лепить что угодно: и разоблачение, и пафос, и героику, и кляузу, – нужно только правильно подобрать факты и вдуть по ним сноровистым анализом. И тогда любому герою – в зависимости от действующей конъюнктуры – можно было резко прибавить или подсократить очков.

Нет, он не испытывал угрызений совести по поводу некоторой нечистоплотности в своей работе. Во-первых, в делах любого человека, о которых он упоминал, найдутся явные противоречия с его праведной личиной, Виталий их только выставлял на вид. А во-вторых, если сравнивать его методы с якобы чистой журналистикой, то на поверку различия можно было найти только в масштабах затрагиваемых вопросов, а суть везде одна и та же. К ней быстро привыкаешь, он и привык. Прогнуться под кого-то или уличить простака в элементарном проколе – вещи одинаково гнусные, только к ним относятся почему-то по-разному. Однако если отбросить условности, можно жить в согласии с самим собой очень долго, а вещать о заблуждениях разве только потом, в маразматических своих мемуарах, но это ему грозило ещё не скоро.

Всю содержательную часть работы он выполнял на отдельном лэптопе, не подключённом к Интернету. Да и за сохранность своих наработок нисколько не сомневался, поскольку в их изъятии никто не был заинтересован. К тому же имелись копии: вздумай кто-то почистить конюшни, выгребать пришлось бы очень долго – себе дороже, можно сильно запачкаться. Деятельность их отдела была прочно встроена в систему, никто их трогать не собирался, корректировали только векторы усилий. Методы воздействия на них были, это да, эффективные и простые, и о них все знали. Так что до сего момента результаты его трудов приносили только удовлетворение и доход, он даже полагал, что занимается полезным для общества делом…

Заглянул Павел из юридической службы:

– Пообедать хочешь?

Поскольку дела шли туго, необходимо было расслабиться и переключиться на что-то другое. Виталий знал такие моменты, но бороться с ними до сих пор не научился. Он кивнул:

– Пойдём.

Они спустились в кафе. Возле самых дверей у Павла заиграл телефон.

– Чёрт. Извини, важный звонок.

Павел отошёл в сторону. Как всегда, разговор вылился в продолжительный разбор нюансов очередного дела. Как он после объяснил, подвалила информация, и нужно срочно брать быка за рога, иначе упустишь инициативу. Для любого профи самое важное не допускать проволочек, конечно, если только в достаточной степени в себе уверен.

Виталий проскучал несколько минут, уже успев насладиться тушёной говядиной с баклажанами в ореховом соусе.

«Какой-то дурацкий сегодня день, – подумал он. – Всё идёт не так, как задумывалось».

Ещё не до конца он осознал значение для себя встречи с Канетелиным, но чувствовал, что влияние последнего оказалось весьма ощутимым. Учёный выбил его из колеи, и неясно как. Физик был нужен всего лишь для выяснения отдельных фактов, способных помочь в расследовании обстоятельств преступлений. Возможно, подозрения о его причастности к событиям окажутся небеспочвенными. Однако беседа с ним закончилась ничем, заставив только размышлять о жизни, оценивать его высказывания, разбираться, чем он дышит. А что делать дальше? Чтобы разговаривать с ним на равных, нужно представить себя в шкуре этого злобного шизофреника, иначе ничего от него не добьёшься. И что особенно напрягало, Виталий подумал вдруг, что, может, они с Канетелиным одного поля ягоды.

Пашка вернулся довольный: дела, видимо, шли замечательно.

– Никогда не знаешь, где подвалит удача. Трудности-то всегда сваливаются на голову неожиданно, – констатировал он, нарезая мелкими кусочками шницель. – Но к удачам тоже нужно быть готовым, поскольку сами по себе они ничего не значат. Это даже вредно – испытывать неподготовленным везение, оно только развращает. Удачу нужно использовать – для движения, рывка, – тогда только можно по-настоящему говорить о том, что тебе сопутствует успех. Иначе ты всего лишь провожатый. – Он отпил томатного сока и улыбнулся.

– Со шницелем как? Повезло?

– Определё-ён-но, – с настроением ответил он. – Ты знаешь, вкусовые и осязательные ощущения связаны с внешней конъюнктурой. Особенно вкусовые. Не замечал? Вот купил тут себе очки... В фирменном магазине, с дорогими линзами из сверхчистого специального стекла, которое не мутнеет, не царапается, как мне объяснили. Я за одни эти линзы пять тысяч отдал. Стекло, конечно, не царапается, они правы. Но зато пыль притягивает как магнитом. Мне их по три раза в день приходится протирать, иначе все страницы, которые я рассматриваю, в тумане и разводах. Когда я осознал, что мог приобрести самое обычное стекло и не мучиться с протираниями, как ты думаешь, что случилось с моим аппетитом?

– Я думаю, он усилился, потому что после двух стаканов тянет вкусно поесть.

Пашка даже перестал жевать:

– Ты абсолютно прав. Наверное, тоже подвержен перепадам настроения… И как хорошо, что оно быстро меняется! Вот сейчас я про очки уже не думаю. Я просто смеюсь.

При этом он с чрезвычайной серьёзностью наколол на вилку хорошо прожаренный кусочек свинины, повертел его перед глазами, с трудом различая вблизи степень его жирности, а затем медленно, словно преодолевая сомнения, отправил в рот.

– Слушай, раз уж ты в таком хорошем расположении духа, – осмелился Виталий, – может, попросить тебя помочь в одном деле?

– Валяй.

Виталий не часто обращался к приятелям за помощью, а к Павлу вообще впервые, но с данным вопросом он затянул, и откладывать его больше уже не было возможности.

– Нужно проконсультировать одних моих знакомых по поводу жилья. Заслуженные ветераны, муж с женой. Они попали под расселение, и им всучили самую дешёвую однокомнатную квартиру из новодела, словно художникам-передвижникам. Они не знают теперь, как отстоять свои права.

– А, знакомая ситуация. – Пашка сделал жест рукой, будто проблема решается элементарно просто. – Самое главное, не всякий даже одиночка согласится проживать в таких спартанских условиях. Уникальная планировка: ванная совмещена с туалетом, плита – с раковиной и кроватью, всё это находится в одном помещении и называется «квартира-студия». Кто это придумал?

– Я думаю, американцы, – поделился соображением Виталий.

– Скорее всего. У них всё не как у людей. Представь, я смотрю по телевизору футбол, а кто-то рядом стучит ножом по доске, отбивает мясо и гремит посудой. Слушать такое никаких нервов не хватит. Да даже если ты живёшь один. – Пашка входил в раж, а в такие моменты его речи по наитию обогащались самыми причудливыми фантазиями. – Понимаешь, утром хочется сварить яйцо на завтрак, но не знаешь, где включить. Как ни крути, это горшок, хоть ты и совсем не пьяный. Сплошные парадоксы.

Виталий улыбался. С аппетитом поглощая мясо, Пашка поведал ещё о нескольких парадоксальных случаях, представленных им в вольной интерпретации по мотивам собственных наблюдений. В компании весёлого балагура Виталий чувствовал себя как в театре. Он слушал болтовню приятеля с огромным удовольствием, потому что ему самому такой весёлости никогда не хватало. С Пашкой было легко. Не отличаясь занудливостью, он постоянно шутил, находя повод поюморить даже там, где у него возникали проблемы.

Когда он закончил трапезу, удовлетворённый по всем пунктам, Виталий на всякий случай напомнил про дело:

– Ну так как насчёт моих знакомых?

Пашка ничего не забыл, но для солидности порылся в голове по поводу ближайших планов.

– Дай мне их телефон и предупреди, что я позвоню им завтра днём.

Павел оказался молодцом, устроил всё быстро и эффективно. Так что пришлось принимать от знакомых горячие слова благодарности и даже отказываться от вознаграждения. Зная далеко не лучшее их материальное положение, он просто не мог себе позволить принять от них какие-либо деньги. Пашка тоже отказался от поощрения, для него это было делом принципа – восстановить хоть в малой форме справедливость в этом мире.

Между делом Виталий решил развеяться, посетив на следующий день оперу. Он никогда не готовился к таким мероприятиям заранее, а наезжал в театр спонтанно, по настроению. От таких внезапных подключений к прекрасному эффект был намного сильнее, и для этого у него было выкуплено постоянное место в ложе. Билетёрши на ярусе знали эту его особенность, никогда не позволяя занимать его место посторонним.

На этот раз он прибыл в театр заранее, позволив себе настроиться на музыку в лучших своих традициях. Его волновали и встреча с прекрасным, и огромный камерный зал, и особое зрелище его заполнения публикой, не всегда, правда, радующей его придирчивый глаз. Но всё равно это было частью незыблемого торжества культуры, отчего само место, из которого он лицезрел лёгкие прохаживания любителей оперы, вызывало в душе трепетный восторг, чудный резонанс моления, готовый уже вылиться в ликующее пламя страстей с первыми вырвавшимися из оркестровой ямы звуками.

Вагнер пришёлся как нельзя кстати. Давно заметив нечто триумфально-возвышенное в его музыке, заставляющее дышать с нею в унисон, гореть, сиять и мило трепыхаться, он постоянно слушал его дома, когда выпадало свободное время, и теперь вдруг решил испробовать, насколько взволнованное восприятие прекрасного уляжется параллельно или даже перебьёт его нынешние трудности метаний. Сможет ли он забыться на фоне музыкальной драмы, затрагивающей, по крайней мере у него, тонко настроенные струны души? Сможет ли снова услышать то, что неоднократно тревожило его волшебными переливами? Он не станет сравнивать их с чем-то. Он будет стараться предстать неподготовленным, словно ещё не имевшим счастье узнать, что такое первоклассная оперная постановка.

Но нет же! Музыка только усиливала впечатления последних дней. Она не давала спокойно дышать. Она теснила, толкала, носилась из стороны в сторону и только возбуждала его воображение. Во время всего спектакля он только и делал, что думал о своём, вырезая из памяти конкретные фразы и накладывая их на разливистое исполнение арий. Он копошился в своих недугах, как вошь под подкладкой, унюхивающая запах кожи, под звуки оркестра только представляясь вошью величественной, – волнуясь, ликуя, глубоко дыша, надрываясь от нестерпимого натиска эмоций, от представления своих пламенных речей, только мнимых, невсамделишных, от высокого мастерства исполнения вперемешку с собственной самодеятельной трелью. И ему было больно и жарко, как под ударом молнии. Он носился где-то в себе, то ли потрясённый музыкой, то ли задетый за живое в самое уязвимое своё место. Казалось, те крикливые стоны были его собственными, тот фантастический скалистый пейзаж – из его представлений, а сам волшебнейший полёт валькирий давался с неимоверным трудом, перехватывая дыхание, затмевая свет, громоздясь на ошарашенные невесомостью мышцы. Вжавшись в кресло, он словно пытался удержаться на месте, чтобы не взлететь самому. И яркий Призрак его могучей одухотворённости – такая редкость! – вдруг показался перед ним во весь свой сказочный рост.

И он сразу же успокоился. Действие продолжалось, даже с ещё большим напряжением. Однако делимое на двоих, на две пары глаз, ушей, на два настроения, оно воспринималось теперь с некой оценочной робостью, через фильтры самоконтроля, дабы не показать друг другу избыточную простоту первой реакции, которую скрыть в данном случае было невозможно. Вместе со своим Призраком он наблюдал сцены, не косясь на него, но хорошо чувствуя его присутствие, и уже ощущал в себе уйму степенности, собранность и понимание даже слов на сцене, готовый за последовавшей реакцией высказать собственное суждение.

Теперь сюжет занимал его больше. Он был достойней его знаний, чем вначале спектакля, не то чтобы из-за своего редкого гостя, но всё-таки в компании понимающего друга, всегда умеющего поддержать, можно сказать, единоверца до мозга костей. И наряду с лирико-драматическим восприятием мифа, отражающим главную тему – ослушание воли богов, он и с ним наладил собственный диалог, к которому готовился, оказывается, переживая до этого нервный приступ.

Его охватывало возмущение: какие же они боги, если подвластны чувствам? У них в головах должны быть только правила! Велико стремление смертного распространить свои переживания на подобного тебе титана. Представить его в русле общей для всех истории, гневающегося, властного, раздражённого, но и податливого уговорам, ещё и пасующего, наверное, перед шантажом, а может, и – бог ты мой! – чувствительного, трогательного, которого можно увлечь той же сказкой (в сказке) о любви и преданности между особями. Даже Вотан не всегда понятен, а мотивы Брунгильды и вовсе типично человеческие. Она ранима, как женщина, которой отказано в интересе к ней, и силы рода небесных властителей нивелированы в её образе до размытой чувственности наших земных обитателей. Таких же шатких в столкновениях, что сидят в ложах и внизу в этом зале, – он посмотрел тихонько направо и налево, – дышат сценой или хотя бы ладно ухмыляются прикосновением к искусству. Они видят их такими же, какие они есть сами. Они вертят ими как хотят. Вот, значит, как они в них верят! Выходит, и боги могут ошибаться, не всесильно их господство! А раз так, чем тогда мы им обязаны, если управляющая нить где-то в стороне, а возможно, и вообще утеряна? Может, её и не существует, этой нити? – этой связи между нами и ними, этих законов, правил, о которых нам твердят святоши (его Призрак довольно ему кивнул)? – и надеяться надо на что-то другое? Есть фантазии, вплетающие богов в земные действия, позволяющие общаться с ними напрямую, вот как мы с тобой – он обратился к своему другу, – и от этого они не становятся менее почитаемыми, но ведь это абсурд! Раз ты дотронулся до плоти, ты уже понял, что она живая, а не небесная. Раз ты услышал голос, ты уже не будешь никогда на него молиться. Вся прелесть – в таинстве, в безвестности того, чему ты поклоняешься, но тогда и, будь любезен, не выдумывай себе счастливых концов. Бог есть, если ты на него не уповаешь. Не чувствуешь его желаний, не знаешь его гнева, вообще не представляешь, что он от тебя хочет. В этом весь парадокс: ты для него неразличим. Бог всегда за занавесом. И в связи с этим гибель Зигмунда выглядит не такой уж пафосной жертвой, а всего лишь несчастным случаем. Да, подрались там два непримиримых, и мы услышали в их честь торжественные оды, и жалко его, а если он совсем уж некрасивый, то Хундинг, может быть, и прав? Мы люди, нам вообще не свойственно светиться, сиять лучами, нимбом над затылком. Мы любим только прелести. Нам нужно ликовать.

Что касалось музыкальной составляющей, то здесь вопросов не было: обычное их единодушие с Призраком подкреплялось, как всегда, одинаковыми вкусами. И даже единовременным замиранием сердца в особо лирические моменты. Ему не надо было обращать на него внимание: он знал, что тот так же упоённо слушает ариозо, не моргая и не шевелясь, не трогая мысли до поры до времени. Это были самые приятные мгновения их встреч, потому что в любом случае им было что сказать друг другу. Но какова же степень уважения к нему его собственного Призрака, который и является всегда для того, чтобы досаждать, если в отдельные мгновения тот делал всё, чтобы быть для него незаметным? Виталий был ему благодарен настолько же, насколько Вагнеру, даже, может быть, и больше. Он только под конец ощутил, что погрузился в музыку по-настоящему, не мечтая, не мучаясь, ощущая её всеми фибрами своей души, и теперь хотел бы начать всё сначала.

Он понял, что сюжет промчался как-то мимо него, и теперь с жадностью следил за каждым движением исполнителей, улавливал их каждый обертон, с маниакальным воодушевлением относился ко всякому звуку, доносящемуся со сцены. Ещё не вечер, он искушал себя самым малым, самым последним из того, чем остальные зрители, проведя с ним вместе ровно столько же времени, уже заполнили себя без остатка.

Для Виталия это была долгая постановка. Уже отгремели благодарные овации, наполовину опустел храм искусств, а он всё прощался со своим провожатым. Думая о нём, Виталий представлял, насколько сегодняшняя встреча для него самого оказалась знаковой и как повлияла на его восприятие музыки. Что-то новое ему, безусловно, сегодня открылось. Он понимал и чувствовал, что уже знакомые ему постановки, в которых отразилось столько всего разного, высокого, поэтичного, далеко не ординарного, было бы полезно повторить.

Он вышел из театра с больной головой и долго бродил по сумеречному городу. Нависшие над тротуарами фигуры зданий томили своей искусственной праздничностью.

В темноте было уютней, она убаюкивала своим сказочным успокоением. Головы зверей, кое-где торчащие из фасадов, словно реликты прошлого, вещали о буйности веков, уводя его всё дальше и дальше, в глухие проулки, где неугомонная челядь уже почти не встречалась, а вечерняя прохлада, насытившись парадностью, предстала в черноте замшелых окраин.

Солнце уже спряталось за горизонт, он порядком устал. Однако его первым желанием теперь, в котором он окончательно утвердился, было услышать вживую «Нюрнбергских мейстерзингеров».

Тем временем Глеб Борисович сидел у себя в кабинете. В полнейшей тишине при свете лампы он обдумывал свои последние действия, пытаясь представить их в свете чужой логики.

Только что состоялся разговор с «главным», работа Глеба Борисовича была подвергнута критике.

Мёртвое сияние зрачков шефа вкупе с брезгливым искривлением губ во время произнесения им итоговой фразы говорило о крайнем недовольстве руководства сложившейся ситуацией. Говорило об их простой недальновидности, то есть целой серии промашек – событий, неожиданно выпадающих из поля зрения их всевидящего ока. В таких случаях били аврал, и первый нагоняй получали самые преданные. Лёгкий, лёгонький, как будничное явление, чтобы те устроили быструю корректировку планов без участия сверху. Так всегда и проходило – на ура или без музыки. Система работала, ничего сверхъестественного в этом мире произойти не могло, разве только из-за полного разгильдяйства по всей структуре. Но бывали случаи и посерьёзней. Всё учесть верховоды, безусловно, не могли, да они этим и не занимались, а нижние не учитывали по свойству природной своей низости, из принципа или из мелкого недогляду – всё равно ни за что не отвечают, – отсюда и вылезали всякие глобальные пакости, готовые потрясти полчеловечества неучтённым своим фактором. И уж тогда громы и молнии метались по всем фронтам, искрили по ступеням от самой макушки до подножья, испепеляя наиболее сухие, неподготовленные щепки. Те, дурачки, пытались суетиться и делали неизбежные ошибки, за что им попадало ещё сильнее. Глеб Борисович знал, что он не в самом худшем положении, но от этого не становилось легче. Самолюбие полковника было подстать государственному, то есть глубокое и бесконечное.

Он сидел, играясь с зажигалкой, которая блестела в свету лампы и мешала думать, но он намеренно не выпускал её из рук. Что-то тут не срасталось, чего-то он не учёл. В событиях сквозило непредсказуемостью, а этого он боялся больше всего. Тема была слишком опасной, чтобы допускать в ней просчёты наподобие недавних. Ему уже влетело за самодеятельность, которой и в помине не было. Значит, отходные пути там продуманы и заручиться ничьей поддержкой он не сможет. В такие моменты приходится действовать жёстче и циничней, его вынуждают к этому. Чем сильна система? Спасая себя, ты неизбежно выгораживаешь начальство, а погибая – оставляешь его только в недоумении, потому что его обязательно спасёт кто-то другой. Воистину человечество – венец разумной иерархии. Никакая массовая тварь на земле соорудить такое больше не смогла.

Он ухмыльнулся, взяв с подставки дорогое перо. Потом достал чистый лист бумаги, положил перед собой и на несколько секунд замер. Текст уже давно сидел в голове, чётко сформулированный, осталось только набраться мужества и записать его, изложив свои мысли в явном виде. Никаким компьютерам в их времена доверия нет, самый надёжный способ утаить информацию – это перо и бумага. Пусть целлюлоза тлеет и разваливается, на его век её прочности хватит. Вечно он жить не собирается, а пока мы ещё поиграем, пока ещё есть чем прикрыться на всякий случай.

Ровным аккуратным почерком он оставил на листе пару десятков строк, прикрепив к тексту несколько выделяющихся размером чисел. После некоторой паузы дописал ниже мелким шрифтом ещё несколько строк, содержащих непонятный набор букв и символов, явно говорящих о том, что данная часть записки зашифрована и предназначена для очень узкого круга лиц. В записи присутствовали слэши, кавычки, скобки и квадратики, в целом она выглядела сверхубедительно, возможно, только направляя расшифровщиков по ложному следу.

Ещё раз перечитав написанное, он остался полностью удовлетворённым текстом, аккуратно сложил лист вчетверо, засунул в чистый белый конверт и положил его во внутренний карман пиджака. Откинувшись в кресле, он протяжно выдохнул, будто закончил очень важную работу. Некоторое время он сидел неподвижно, глядя перед собой и, очевидно, просчитывая возможные последствия предпринятых мер. Но записку не порвал и не сжёг, видимо, окончательно уверив себя в правильности своего решения.

**9**

Старший лаборант сектора высоких энергий Денис Иевлев, как и остальные сотрудники центра, в последние дни испытывал странную растерянность. После гибели сразу нескольких ведущих специалистов все работы по теме были приостановлены. В лабораторию нагрянули спецорганы, изъяв груды материалов, выяснив по минутам деятельность каждого учёного, практиканта, а также лиц обслуживающего персонала. Зафиксировав показания, они ушли, оставив после себя растерзанную пустоту, как после нашествия Мамая. Изредка ещё шныряли кое-где представители спецслужб и журналисты, но они никому уже не мешали – работы не было и, что делать дальше, никто не знал.

Однако подогретое данными обстоятельствами любопытство неожиданно выросло в большой вопрос: что же такое сверхъестественное открыли они в этих стенах, если результаты их труда переполошили все серьёзные службы страны? Быть причастным к передовым достижениям науки и не знать хотя бы приближённо о возможности их применения на практике всегда досадно. Но здесь покровами тумана были окутаны даже подходы к научной проблеме, не прогнозируемые выбросы в которой тем не менее перешли из разряда гипотетических в реальность. И получил эти выбросы кто-то из их великой четвёрки, а скорее всего, все они вместе. И кто-то потом наверняка сумел этим воспользоваться.

В живых остался только заведующий их лабораторией, но он теперь недоступен, что следовало понимать. Денис поделился своими мыслями с другими сотрудниками, с которыми поддерживал дружеские отношения. Никто из них не высказал каких-то научных догадок, либо сделал вид, что далёк от понимания сути произошедшего. Впрочем, как учёные его собеседники вряд ли находились на уровне, сопоставимом с уровнем его непосредственного шефа. А также остальных троих. Парень отработал тут уже достаточно времени, чтобы разобраться в людях, их способностях, амбициях и воле. Следовало знать, что работа работой, а карьера строится благодаря самым разным факторам, и люди в их заведении, обладающие деловой хваткой, уже на ранней стадии старались выделиться среди пней, готовых грызть гранит науки до глубокой старости. Сам Денис уже видел для себя тему, которую в будущем собирался проталкивать с единомышленниками.

– Странное дело, – говорил он, сидя в баре со своим приятелем, сотрудником той же лаборатории Кириллом. – Вот так вот ходишь полусонный на работу, а потом оказывается, что ты был в самой гуще событий и ничего при этом не заметил.

– Ты считаешь, мы упустили что-то важное?

Кирилл не разделял досады друга, полагая, что намеренно копаться в чужих материалах – удел жуликоватых проходимцев.

– Мне кажется, Белевский попутно занимался какими-то своими делами и не рассказывал о них шефу, – заметил Денис. – Никому о них не рассказывал.

– Он же был энтузиастом.

– Может, и так. Приходя в лабораторию, он часто забывал домашние записи, а по выходным из дома ездил на работу. Но, кроме него, почему-то никто у нас подобным энтузиазмом заражён не был.

– Канетелин был.

– Для которого это плохо кончилось.

Денис восхищался умом Белевского, однако глубокого уважения к нему не испытывал. Его озабоченность, именно озабоченность, а не увлечённость наукой, он понимал по-своему. Тот явно имел внутри их коллектива собственный интерес. И теперь, когда вокруг их центра поднялся переполох, очень хотелось отхватить хоть маленький кусочек тайного, чтобы, может быть, распорядиться им в будущем более рационально, чем другие. В этом мире обязательно кому-то должно везти. Не всем, конечно же. Белевский уже проехал мимо.

– Наш Олег Алексеевич в последнее время несколько раз оставался в лаборатории допоздна, – сказал Денис, – когда установка уже была отключена.

– Откуда ты знаешь?

– Я заглядывал в журнал учёта на охране, и меня удивило это его необычное рвение. Дома жена, блинчики с вишней, а он в институте кроссворды решает. Чего он там высиживал по три часа в пустоте?

– Не вижу в этом ничего странного. – Кирилл не до конца понимал приятеля. – Мы же не знаем, насколько он продвинулся в решении проблемы.

– Мы вообще не знаем, какие он проблемы решал.

Про Белевского Денис сказал не просто так. Он нутром чувствовал, что в лаборатории должны остаться зацепки, невидимые и простые одновременно, за которые незаурядному молодому специалисту следовало бы ухватиться. Связь научной деятельности центра с прогремевшими взрывами только угадывалась, никто не мог установить её определённо, даже руководство их заведения. Если бы эту связь можно было установить точно, кругом стояла бы тишайшая тишина, он бы всё так же спокойно ездил на работу, а на место выбывших кадров быстро нашли бы новые. Однако прострация, в которой витала думающая среда сообщества, обременённая непомерным давлением со стороны руководства уже страны, была полнейшей. Она была расширенной, если можно определить градацию столь глубокого раздумывания человечества над вопросами жизни и смерти. И вот здесь уже выпадал шанс обнаружить самые незаметные, мелкие детали эксперимента: идеи, заготовки, свежие клочки, способные задвигать махину накопленного научного потенциала в том направлении, в котором выгодно отдельным лицам, а не всему сообществу в целом.

Следующим вечером Денис так же, как и Белевский ранее, решил остаться после работы, мотивировав это желанием привести в порядок собственный рабочий архив. Он действительно весь день возился с папками и якобы крайне заинтересовался старыми отчётами.

Кирилла в этот день не было, ему позвонили, и он уехал домой по личным обстоятельствам. Действовать приходилось одному, без поддержки друга, что, впрочем, может быть, пока и к лучшему. Будет что предъявить ему в исследовательском азарте. Денис обожал ощущать себя ведущим и значимым, когда это, безусловно, ощущали и другие. Однако поводов удовлетворить своё не в меру разросшееся самомнение пока было не много.

Он стоял посередине главного зала лаборатории и молча осматривал оборудование. Повсюду вдоль стен и в центре помещения возвышались стеллажи с металлическими ящиками, приборами, наборами деталей и расходных материалов. Многое уже годами не использовалось, однако техники не разрешали ничего списывать, сотворяя порой из хлама вполне работоспособные узлы агрегатов. Помимо разработки основной темы, лаборатория выполняла несколько второстепенных исследовательских работ.

Вряд ли Белевского могло что-нибудь задержать среди нагромождения старого оборудования и мелких моделей. Для него это словно детский конструктор рядом с замесом для строительства натурального прочного дома. Он здесь и не задерживался никогда, всё рабочее время проводя там, возле установки, и там же в долгой изнурительной борьбе идей совокуплял свои мысли с реальными физическими явлениями природы. Если и остались следы его последних дел, то только за этой железной дверью, возле чрева их непревзойдённой по мощи установки.

Сколько раз Денис бывал там, но сейчас вдруг испытал сильное волнение, будто в предчувствии прикосновения к чему-то очень важному.

Взгляд упёрся в прочную створку, снабжённую электронным замком. Чтобы войти внутрь, нужна была команда с поста охраны для его разблокирования. Дело пустяковое, но Денис медлил. Почему-то сейчас каждое действие ему давалось с большим трудом. Наконец он решился, сняв трубку местной связи, сообщив свою фамилию, кодовое слово и попросив впустить его на экспериментальный участок. Несколько секунд спустя на цифровой панели двери зажёгся красный сигнал. Он сунул в щель свою карту допуска, раздался глухой скрежет отодвигаемых внутренних запоров, и массивная створка плавно распахнулась, открыв перед ним проём, ведущий к месту столкновения идей, непредсказуемой борьбы интеллекта со стихией, последние несколько лет изматывающей нервы десяткам сотрудников центра.

Экспериментальный участок находился на глубине пятидесяти метров под землёй. Он состоял из двух залов с электроразрядными пушками мощностью сотни тысяч мегаватт. Залы располагались на удалении полукилометра друг от друга и соединялись между собой двумя тоннелями: один рабочий, облицованный внушительным слоем специальных тугоплавких материалов; другой технический, служащий для перемещения между залами людей. Защита рабочего тоннеля была более чем основательной. Она была многослойной, содержащей такую массу бетона и дорогостоящих сплавов, что средств на её сооружение хватило бы на постройку и жизнеобеспечение среднего европейского городка. «Наш возбуждённый пирожок», – шутили по поводу толстого подземного ствола физики, скрывая подспудные мысли об опасности. Стоило образоваться в его конструкции небольшой сквозной трещинке, это привело бы к неминуемой катастрофе с непредсказуемыми последствиями для всего центра. Само научное учреждение находилось на приличном удалении от города, в полях, отделённых от остальной территории надёжной оградой. Но жители крайних районов городка, со стороны полигона, часто жаловались на перепады напряжения в электросетях, неудовлетворительное самочувствие и даже повышенную заболеваемость в отдельные недели года. Статистику никто не вёл, поэтому все подозрения оставались только подозрениями. Подозрениями о том, что именно в эти недели запускали установку, ось которой была направлена по касательной к населённому пункту и задевала часть её окраин.

Денис спустился на лифте вниз. Выйдя из кабины, он прошёл широким коридором и открыл массивные железные ворота. «Как в банке», – мелькнуло в голове. Эта мысль возникала почему-то всегда, когда он через них проходил, она невольно намекала на судьбоносную сущность объекта. Однако как вынести из него приличную сумму, то есть превратить свои знания в солидный капитал, ему пока было неведомо.

Он очутился в огромном зале с бетонными стенами и дугообразным, подпёртым несколькими колоннами сводом. В центре располагался «саркофаг», который скрывал внутри себя тонны металла, рождающего «подвижную», «вневременнýю», как рассуждали их ведущие специалисты, материю. Сейчас установка спала. Однако интрига, разыгравшаяся вокруг способа осуществления последних терактов, уже не давала спокойно относиться ни к чему, что воплощало в себе глубокие научные идеи в стенах их заведения. «Возможно, они столкнулись с чем-то необычным, а может, оказались в тупике», – думал Денис. Он понял, что полученные недавно результаты изрядно насторожили учёных. Даже Белевский, самый приземлённый из всей команды, крепко задумался, хотя его чем-либо удивить было невозможно. Уже несколько месяцев отсутствовал Канетелин, а напряжение в лаборатории не спадало, наоборот, оно даже возросло. Причём по той теме, по которой они вели работы, программа была выполнена полностью, и они готовили подробный отчёт. В остальное Дениса не посвящали.

Он обошёл громоздкую конструкцию с трёх сторон, разглядывая её как впервые. Творение рук человеческих представлялось странным инопланетным сооружением. Оно было огромным, металлическим, с угловатыми выступами и плавно скруглённой центральной частью, где под толщей изолирующих материалов помещалась активная зона агрегата.

Никогда ранее Денис не испытывал такого страха перед этой установкой. Она давила массой и совершенно непонятным теперь предназначением. Он работал здесь неоднократно, фиксируя параметры, увлекаясь новизной методов и целей исследований, а сейчас боялся даже подумать, как угрожающе мерзко гудит её жерло во время «разогрева». Ещё месяц назад он занимался наукой, а теперь гибнут люди, знающие о происходящих внутри её процессах не понаслышке. Гибнут не случайно, и ограничится ли всё уже имеющимися жертвами – никто сказать не может. Если загадка скрыта в этом мрачном подземелье, то вполне возможно, и он окажется очередной такой жертвой, мысль о чём не давала ему покоя уже с самого утра, когда он решил сюда спуститься.

Невольно по телу пробежали мурашки. Он глянул на спасительные ворота, отчётливо представив, что он здесь совершенно один. Мягкий неоновый свет лишь усугублял назойливые мысли, сковывая движения, сужая область действий до минимума. Сбоку зияла круглая дыра длинного технического тоннеля. Нет, туда он не пойдёт. Там нечего делать. На другом конце был такой же зал с подобным сооружением в центре, устроенном в виде «ловителя», и его исправность могла заинтересовать только обслуживающий технический персонал. В любом случае для физика там работы нет, физик должен сидеть возле приборов.

Последний раз зафиксировав в памяти контуры объекта, Денис вышел за ворота и направился в боковое ответвление коридоров, ведущее на командный пункт.

За внушительным слоем защиты располагался центральный пост управления со всеми необходимыми для работы приборами. К залу примыкали несколько служебных комнат, одна из которых использовалась как хранилище материалов и дополнительного оборудования. Доступа туда Денис не имел. Впрочем все архивы исследований находились наверху, в специализированном отделе с дополнительной охраной.

Вокруг стояла убийственная тишина. Его шаги эхом разносились среди голых стен помещения. Находясь тут раньше вместе с другими сотрудниками лаборатории, он никогда не представлял, как жутко очутиться здесь в одиночестве, куда через толщу земли не доходят никакие вибрации, а источник любого постороннего шума вызывает беспокойство. Когда он был здесь, всегда тупо гудела работающая установка, поэтому подобных мыслей у него не возникало. Теперь же, пройдясь вдоль длинной панели приборов с встроенными в них мониторами и индикаторами, шаркнув по столу забытым кем-то листком бумаги, он ощутил, как сильно смогли бы его напугать эти звуки, возникни они вдруг без его участия.

Необъяснимая тревога, словно в ответ на его навязчивые мысли, заставила насторожиться. Невольно он повёл глазами по сторонам, но оттого, что ничего подозрительного не обнаружил, ничуть не успокоился. Отдалённый шорох, наверное, ему показался, потому что шуршать здесь было абсолютно нечему. Всегда неприятно думать, что рядом шевелится что-то живое. По крайней мере пока не найдёшь объяснение непонятным звукам, возникающим в тишине ни с того ни с сего, испытываешь явный психологический дискомфорт.

Помедлив, он заглянул в ящики столов, на полки ближайшего к пульту шкафа. Там лежали электронные платы и инструменты, больше ничего стоящего. Стопка бланков для занесения формальных данных по исследованиям превратилась в беспорядочную кучу бумаг, будто её шерстили в поисках отдельных заметок. Он прошёлся вдоль главного пульта, отодвигая кресла и осматривая рабочие места, очевидно, как это делали некоторые спецы до него. Но те не знали, на что конкретно обратить внимание: подспудно сидящая в голове цель сама направила его в нужное место. Денис подошёл к стоящему с самого края столу и запустил руку под столешницу с обратной его стороны.

На приделанном изнутри крючке висел ключ, отпирающий, очевидно, сокровенный ларец с тайнами. Он сам видел, как Белевский однажды полез туда, думая, что в зале никого больше нет. Увидев это, Денис инстинктивно тогда отступил назад, за проём двери, и вошёл внутрь помещения как ни в чём не бывало лишь спустя полминуты.

Ключ был большим, плоским, с довольно сложной конфигурацией зазубрин. Скорее всего им пользовался кто-то ещё, поэтому Белевский не носил его с собой, а оставлял в том же месте, где и должно находиться то, что он открывает. Долго гадать не пришлось: на его головке отчётливо проступали оттиснутые буквы «ГШ». Ключ делали на заказ вместе с замком, и отпирал он шкаф главного шинопровода электроснабжения. Там находилась дублирующая механическая система рычагов, замыкающая и размыкающая в различных комбинациях дюжину толстых медных пластин, поэтому токопроводники внутри были оголённые. Всё правильно. Более удачного места для тайника придумать было сложно. Кому придёт в голову лезть в систему с оборудованием, находящимся под напряжением несколько сотен мегавольт?

Теперь он знал, куда идти дальше. То, что должны появиться хоть какие-то зацепки, он не сомневался: слишком очевидными представлялись некоторые странности, творящиеся здесь в последнее время. Надо обязательно попробовать в этом разобраться.

Внутреннее напряжение усилилось, но причиной его стал не обнаруженный путь к таинствам эпохи, а повторившийся где-то шорох, вернее, не шорох даже, а шелест, или скорее шипение. Денис замер в полупозиции.

Звук был такой же отдалённый, как и в первый раз, но вполне отчётливый, а источник его происхождения он даже не мог себе представить. Неожиданно дёрнулись стрелки приборов, отскочив на треть шкалы и заставив его резко посмотреть на панель управления. Сердце бешено заколотилось. Установка была полностью обесточена, и всякие электромагнитные импульсы в ней просто невозможны. Это походило на дурное представление. У него мгновенно пересохло в горле. Он не знал, что делать, куда идти, шевелиться или ждать, когда что-нибудь проявит себя явно.

Он простоял неподвижно несколько минут, боясь повернуть голову. Ключ стал скользким: у него вспотели руки. Однако ничего более не заставляло сильно тревожиться. Он медленно двинулся к выходу, огибая кресла и углы, стараясь ступать как можно тише.

«Что это было?» – бесконечно стучало в голове. Предполагать можно всё что угодно, но если он здесь не один, то этого наверняка стоило опасаться. Ничего подобного он раньше не слышал. Автоматика отключена, работает только вентиляция. Кроме него здесь некому дышать, шуршать, двигаться.

Как ни старался он ступать осторожнее, всё же задел валявшуюся под ногами железку, которая необычайно громко теперь проскрежетала по полу, заставив его вздрогнуть. Оттого что он выдал кому-то своё местоположение, сердце ушло в пятки. Только сейчас он заметил, как в стеклянной перегородке отражается его субтильная, напряжённая фигура. Слабоосвещённый зал, в котором горел только дежурный свет, поглощал все краски и тонкости обводов, превращая его в зловеще серое, мрачное подземелье, будто специально отвоёванное в глубоких недрах для зримого воплощения человеческих пороков. И где, как не тут, в пустоте и спокойствии, с полным набором аксессуаров могла существовать обитель злых духов. Всё настойчивее стала давить мысль, что он зря сюда спустился.

Он двинулся вперёд. Подойдя к дверному проёму, осторожно выглянул в коридор. Там никого не было, хотя этот кто-то вполне мог укрыться в любом из нескольких проходов, образующих сеть сообщений между отдельными объектами. Возле поворотов или боковых коридоров Денис с опаской, в безумной тревоге заглядывал за угол, боясь уловить там малейшие признаки чьего-либо присутствия. Он направлялся в электротехнический отсек, куда вела его предметная подсказка, лежащая в правом кармане штанов. И хотелось, и чрезвычайно страшно было идти туда, незримые твари уже обложили его со всех сторон, он представлял, какое бешеное сопротивление должны оказывать тёмные силы, если хоть каким-то боком к ним относится то, что происходит здесь с недавних пор. «Может, в другой раз?» – как спасительная вешка возникла в голове мысль.

До щитовой оставалось всего несколько метров, но он остановился как вкопанный, вытаращив глаза и затаив дыхание. Совсем рядом послышалось шарканье шагов, и за поворотом отчётливо мелькнула чья-то тень. Намерения незваного гостя были неясны, но вряд ли они были дружескими. Это явилось последним для него предупреждением, нервы не выдержали: Денис резко рванул назад и, задыхаясь от страха, помчался к выходу.

В три минуты он добежал до лифта, поднялся наверх, закрыл на электронный замок дверь, взволнованный направившись на проходную здания. В замешательстве, думая о своём, он прошёл, не замечая охранника, очевидно, показавшись ему более чем странным. Впрочем, такие мелочи его сейчас не занимали. В дикой спешке он кинулся к автомобилю на парковке и глубоко выдохнул, приходя в себя, только когда проехал за ворота контрольно-пропускного пункта.

«Там кто-то был. Совершенно очевидно, там кто-то был», – думал Денис, петляя по пустынной лесной дороге, направляясь в сторону города. Даже не задаваясь вопросом, как туда мог проникнуть неизвестный, если двери единственного прохода открывал и закрывал только он, Денис, были совершенно непонятны его цели. Наверное, он проскочил туда за Денисом, но тогда он теперь там заперт. Или там существует другой выход? Об этом Денис ничего не знал.

На небе сияло вечернее, яично-жёлтое солнце. Одинокие деревья отбрасывали длинные тени, а в густоте зарослей царила бархатная летняя теплота. По дороге совсем никто не попадался навстречу. Впрочем, вечерние и ночные смены в последнее время ни одно подразделение не организовывало, на работу могли ехать только работники охраны.

Денис ничуть не успокоился, отъехав на приличное расстояние от центра, теперь его одолевали чувства иного рода. Мера упущений, когда он представлял себя на грани вскрытия важных фактов, во весь свой рост вставала перед глазами амбициозного юноши. Он будто спасал себя, но тут же задавал себе вопрос: что он делает? Ещё немного поборовшись с собой, он съехал на обочину и остановился.

«Там кто-то был, и был он там с одной целью – напугать меня. Чтобы я оттуда ушёл», – размышлял Денис. Он сунул руку в карман, нащупав сегодняшнюю находку. Похоже, он был на правильном пути, раз независимые факторы так безупречно сплелись сегодня в единый узел. Осталось самое главное, и не придётся уже гадать – тогда, возможно, придётся принимать решения иного рода. До них нужно только добраться. Добраться во что бы то ни стало. Или сейчас, или никогда.

Он развернулся и поехал обратно в лабораторию.

Охранник сидел на том же месте в той же позе, слегка удивившись, когда увидел Дениса снова.

– Я кое-что забыл. Надо вернуться.

Денис мельком глянул в его сторону, проскочив мимо быстрым шагом, и только у поворота в коридор обернулся. В руке он судорожно сжимал личную карточку, словно она была его спасением.

– Я бы хотел опять спуститься на экспериментальный участок.

Озадаченность охранника приняла явный вид:

– Ты что, парень, переработал, что ли?

– Мне очень нужно. Правда. – Его выдавало волнение.

Несколько секунд охранник оценивающе изучал молодого физика, не слишком доверяя его вечернему трудовому энтузиазму, но, не найдя причин для отказа, согласился:

– Хорошо. Но я позвоню на главный пост, как положено.

Денис кивнул:

– Звоните.

Лифт спускался, словно в преисподнюю. Открылись двери. Та же гробовая тишина, подсвеченная бледным, едва достаточным тлением ламп, встретила его на глубине свершений.

Он сразу же свернул в нужном направлении, ускоренным шагом отправившись туда, откуда некоторое время назад бежал. Однако напускной отвагой себя не обмануть. Чем ближе он подходил к условной цели, тем явственнее ощущал дрожь в коленках, будто необходимо было кинуться с обрыва в глубокую пропасть. Надо было себя преодолевать. Ничто не могло сбить его с пути до самого того момента, пока он не очутился в отдельном отсеке с электрооборудованием. Однако, придя на место, враз остыл, запал решимости пропал начисто.

Здесь было не просто страшно, а безумно жутко и тоскливо одновременно. Скрывавшаяся где-то в дальних углах опасность никуда не исчезла, она подстерегала его на каждом шагу, и он, как бравый солдат, пришёл, чтобы повстречаться с ней лицом к лицу. Зачем ему всё это, он опять не знал, однако, продвигаясь вдоль шкафов, ещё надеялся перебороть свой страх, чтобы узнать что-то очень важное. «Белевский тоже был один. И он ведь неспроста тут ошивался, – успокаивал себя Денис. – Надо открыть шкаф, тогда сразу станет ясно, для чего. Наверное, станет ясно».

Цель была от него в нескольких метрах. Огромный железный куб с массивными дверками на передней стенке располагался чуть поодаль, в самом углу помещения. В глаза бросалась выделенная большими буквами предупреждающая надпись: «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ОБЩЕМ РУБИЛЬНИКЕ НЕ ОТКРЫВАТЬ». Общий рубильник находился наверху, причём он отключал и аварийное освещение тоже. «Сделано всё по-нашему, – промелькнуло в голове Дениса, – крайне бестолково».

Рядом стояла подкатная рабочая площадка для обслуживания элементов верхнего яруса. Он тронул её рукой, и та с лёгким скрежетом откатилась в сторону. Это был единственный звук, кроме его шагов, воспроизведённый в подземелье с момента его возвращения. Денис осмотрелся вокруг: ничего странного пока не наблюдалось. Наверное, он никого не потревожил. Угловатые контуры оборудования не содержали в себе скрытых теней, ужасных и непонятных, способных, очевидно, привести его сейчас в обморочное состояние.

Вдруг где-то рядом опять раздалось шипение. Денис вздрогнул, обернувшись и уставившись в ту сторону, откуда предположительно исходил звук. Что было его источником, можно было только догадываться. Казалось, невидимый монстр затаился в непосредственной близости от него, готовясь к неминуемому нападению. Однако степень боязни уже перевалила через край: он резко дёрнулся вперёд, заглянув за угол ближайшего электрощита. Затем подбежал к следующему, и другому. За ними никого не было. И тут же новая волна ужаса заставила его приковать взгляд к тем дверкам, ключ от которых лежал у него в кармане. Сквозь неплотное соединение створок наружу стал неожиданно пробиваться тусклый свет. Потом пропал. Потом опять появился. Источник света внутри оборудования двигался.

С трудом переставляя ноги, Денис медленно приблизился к шкафу и достал ключ. В висках надрывно стучала кровь. Он теперь не замечал ничего вокруг, сосредоточившись только на этом загадочном блоке. Непослушными руками, немного повозившись, он вставил наконец ключ в прорезь замка, повернул его до щелчка, а затем плавно потянул створку на себя.

После толчка высокая дверка распахнулась. Внутри шкафа прямо напротив Дениса в воздухе висел небольших размеров шар, светящийся жёлто-сиреневым светом. Свет был неярким: на шар можно было смотреть, не щурясь. Он плавно колебался относительно одной точки, словно парил в пространстве, и с интервалом в несколько секунд «выключался». Сияние мгновенно прекращалось, а на месте шара зияла абсолютно чёрная круглая дыра, скрывавшая за собой всё, на фоне чего она располагалась. При этом дыра была такой же подвижной, вернее шар то светился, то представлял из себя чёрный непрозрачный объект, и данное свойство, как ничто другое, делало его живым.

«Что это?» – пронеслось в голове Дениса. Он безотрывно наблюдал непонятное явление, не в состоянии как-либо его классифицировать.

Шар неожиданно поплыл в его сторону. Денис сделал шаг назад, но понял, что уйти от странного объекта, находящегося на расстоянии вытянутой руки, ему не удастся. Не чувствовалось ни тепла, ни каких-либо исходящих от него звуков. Денис, как завороженный, стоял не шевелясь. Полными отчаянного страха глазами он смотрел в его мнимую сердцевину, дождавшись, пока шар медленно подплывёт к нему вплотную, прямо на уровне его лба.

В следующее мгновение его всего от головы до пят пронзила острая жгучая боль, заставив дёрнуться в безумном по силе рывке. Он не успел крикнуть: спазмы сковали все мышцы до кончиков пальцев, так что в мгновение ока он превратился в застывшую окаменелость. Последнее, что он осознал, это то, как падает вперёд, прямо на оборудование, расположенное внутри щита…

Через некоторое время приехавшие на место происшествия сотрудники центра обнаружили только почерневший от мощного электрического удара труп.

**10**

Серое предрассветное утро будто держало всё в напряжении. Лёгкая прохлада, окутавшая лес, взбодрила за ночь полусонные деревья, заставила ёжиться кусты, напитала влагой мох и корневища. Опустившийся на заросли густой туман обещал удушливый, необычайно знойный день.

Медленно просыпались овраги, освобождая от подвижной дымки свои рукава. Лениво потягивались сосны – размахнулись пушистыми ветвями вширь и вкось. Полезли из-под дёрна грибы, прокладывая набирающей вес шляпкой дорогу к свету. Цепляя на свои липкие головы листья и иголки, они выныривали тут и там, освежая нижний уровень растительности своей юной, девственно-чистой нежностью. Их ещё не тревожили никакие насекомые, забывшиеся после долгого бдения глубоким сном, не выискивали заядлые грибники, им в мертвецком, чёрном одиночестве предстояло расти, чтобы обогатить флору дикого леса разнообразием своей причудливой интеллектуально-вкусовой гаммы.

На востоке игриво зарделось небо. Лёгкой ненавязчивой краснотой нарушая всеобщее умиротворение, оно как бы готовило всех к яркому празднику жизни, не в силах скрыть смущение оттого, что эта роль доверена ему одному. Внизу из живности никто не шевелился. Не бежал, не полз, на махал крыльями. Не ухали совы, все точно замерли в блаженном оцепенении, закончив ночную охоту или ещё с вечера не размыкая век. Их прошлые дела остались позади, а новые ещё не начинались. Отменная пора лирического отступления, известная только поэтам, на несколько минут пришла на широте и долготе густого леса.

Казались лёгкой неосторожностью слетевший наземь лист или соскочившая сверху старая застрявшая в кроне ветка. Природа бережно хранила сны своих героев, ведя с ними бесконечную игру. Чистота созерцания представлялась абсолютной. Прислушиваясь к хвойно-лиственным мирам, можно было потерять ощущение реальности. Глубинные серые прорези, отмерявшие в вышине кусочки неба, неожиданно увлекали вдаль, присоединяя к себе и верхушки деревьев, и распаханные вдоль и поперёк ребристые облака.

И вот эта беспробудная тишь потихоньку стала отступать. Чёрные стволы всё активнее выплывали из тумана, заселяя пространство толпами прохожих. Пни и кочки принимали отчётливые очертания, а мягкий волнистый мох выстилал землю ковром. Тысячи взоров вдруг направились в сторону света, туда, где торжественно и пышно, уже точно оповещая о своём приходе, занималась заря. Облака засияли волнением, лёгкие всполохи неоднозначности ушли в прошлое, всё приняло соответствующий моменту статус приятного ожидания. Даже воздух напрягся, теряя в насыщенности влагой, приберегая свежесть на потом. Утро будто говорило: стоит насладиться этим чудом, увидеть рассвет во всей его красе, как он крадётся и ласкает, и впархивает в жизнь чарующим восторгом, такой заразительной лёгкостью, с какой не рождается никакая жизнь на земле. И действительно, восток наливался сказочным светом. Нежное зарево превратилось в пылающий костёр, исчезла перистость – буйным ярким отражением завеселились облака, которые окрасились теперь в один богатый обертон. Ещё недолго они маялись в ожидании – и первые лучи солнца наконец ударили в их бархатный навес, замешивая необычайно красивый, волнительный пейзаж.

Светило только краем показалось из-под чистого горизонта, однако уже ликовали верхушки деревьев, шевелились залежи бурелома, лес преобразился, включая музыку жизни, просыпаясь окончательно, умываясь, роняя капли росы, призывая окружение в новый день. Оттенки величия, проникая во все потаённые уголки зарослей, возвещали о новой, великой и всесильной, радости бытия.

И запели, засвистели птицы. Пространство наполнилось звенящим гомоном, суета вокруг преобразила лес до неузнаваемости. Зашныряли по веткам дрозды, тут и там шумно вспархивал ошарашенный крупняк, беспокойные белки выныривали из дупел осмотреть окрестности: не случилось ли чего? С включением яркости жизнь вокруг только усиливалась. Становилось понятно, что пора настраивать новый ритм, отвечать современности деловой хваткой, чтобы не утонуть в мелких проблемах, рискуя зачахнуть в своих глубоких жилищах. И весь этот огромный живой организм целиком олицетворял собой природную активность. Лес наливался красками, прихорашиваясь в присущей ему манере. Встрепенулись гордые ели, надменно раскинувшие лапы и смотря свысока на более молодую поросль. Рядом мельтешили лиственные: кому-то стоило расправить плечи, кому-то приходилось подтянуться на носках, чтобы выглянуть из-за голов соседей. А внизу уже шныряли мелкие ходоки, впрочем, тоже значительные в своей среде. У всех находились дела, словно они забыли давно про тёмную, глухую, неподвижную ночь.

Зашевелили кусты потревоженные кем-то кабаны. Барсук, намылив шею, приступил к утренним процедурам. Старательно отфыркиваясь, он полоскал морду, как кичливый самец, внушаясь запалом бодрости на предстоящий день. Совсем низко над землёй пролетела сорока, расправив свои длинные хвостовые перья, которые спросонья никому не были в новинку. Яркие блёстки пробивающихся уже до самой земли лучей будили всё больше и больше живности, и очень скоро бурлящий энергией лесной город зашумел, заверещал, задвигался в своём обычном ритме. Солнце поднялось над ним, покрывая площади добрым светом. На полянах засверкала роса. Тонкой нитью блеснул ручей, убегающий в самые глухие уголки мегаполиса. Полились стихи и песни из распахнутых окон, голоса множились, и чтобы уловить в них доблестный мотив, приходилось разделять их по частотам. Но нет-нет, да и громыхала среди зрелого разнообразия шумов какая-нибудь несуразная крикня. Звери настораживались, на несколько секунд замирали, улавливая дальние сигналы как тревогу, и лишь неугомонные птицы продолжали выдавать заливистые трели, приглашая дам к спариванию, никакая война не способна была отвлечь их от серьёзного и волнующего процесса оздоровления. И тётки данный феномен принимали теперь на уровне инстинктов…

В одиннадцать часов солнце уже было высоко. Город тоже жил своей жизнью. Красóты утра сменились маловыразительной декорацией спешащих по делам людей, а потом и вовсе превратились в непременную тоску будней, заполняющую драгоценное время рутиной.

Виталий только что приехал в клинику и прямиком направился в сторону гуляющих больных.

День выдался знойным, жара стояла неимоверная. От земли поднимался горячий воздух, из-за чего пейзаж в перспективе «плавал», словно поставленное вертикально отражение в воде. Термометр показывал за тридцать, из-за высокой влажности воздуха дышать было тяжело. Обитатели клиники медленно бродили по дорожкам с привычно притуплёнными выражениями лиц, в которых наверняка присутствовали и нотки неудовлетворённости, однако протестную их составляющую определить было сложно, посему их заботами никто сейчас не интересовался.

Канетелин, скорее всего, тоже был не в духе, он явно не обрадовался, заметив идущего к нему Виталия. Пациент находился в той же беседке, что и в прошлый раз, и к ней – Виталий обратил внимание – никто за время их разговора не приближался.

– Добрый день, Ларий Капитонович.

Тот едва заметно кивнул головой.

– У меня к вам появились дополнительные вопросы, если вы не против. – На самом деле Виталию было без разницы, против больной или нет. – Когда мы встречались в первый раз, вы сказали, что после трёх смертей ваших коллег будет ещё и четвёртая. Вы имели в виду кого-то конкретно?

Канетелин блуждающе сморщился, выразив нечто среднее между усталостью и недружелюбием:

– Разве я такое говорил?

– Вы не помните?

– Нет.

– Вы шепнули мне об этом на ухо, перед моим уходом.

– Что-то произошло? – Пациент сразу перешёл к главному.

Виталий снова почувствовал, что Канетелин его раздражает. Этот человек способен настроить против себя кого угодно.

– Вчера погиб ещё один ваш сотрудник. Молодой лаборант Денис Иевлев. Смерть выглядит случайной, но довольно странной.

– Мне ничего не сказали.

– То есть для вас это неожиданность.

– Конечно.

Наверное, новость его потрясла, хотя своих чувств он старался не показывать.

– Дениса жалко, – задумчиво вымолвил он. – Хороший был парень. И перспективный… Как он погиб?

– Его убило током в шкафу подводящего шинопровода.

– Зачем он туда полез?

– Вы меня об этом спрашиваете?

– А кого мне ещё спрашивать?.. – Канетелин обнаружил лёгкое раздражение. – По крайней мере, вы в курсе событий. Врачи разговаривают со мной на отвлечённые темы, а спецагенты только записывают показания. Иногда мне кажется, что я нахожусь под гипнозом: настолько всё выглядит сюрреалистично. Нет сил очнуться и сделать вдох. Вам не приходило в голову, что меня пытают?

Журналист озадаченно уставился на физика, но лишь на мгновение.

– Я думаю, вы знали бы об этом наверняка. Иначе в пытках нет смысла.

– Логично. Но я, может быть, неправильно выразился. Они намеренно довели меня до сумасшествия, чтобы я замкнул на себя все выводы по исследованиям и захлебнулся в них, не в состоянии представить себя как личность. В ненормального и веры нет, и одновременно допрашивать его проще, если есть что спросить. Может быть, они только слегка переборщили.

– Кто они?

– Не знаю.

Виталий с сомнением отнёсся к высказанной версии. Пока он видел в Канетелине скорее недруга, чем жертву чьих-то тайных козней. Загадочного, здраво мыслящего, но недруга, способного выкинуть какой-нибудь гадкий фортель.

– О чём же вы сообщили мне в полубредовом состоянии, когда предупреждали про четвёртую жертву? – риторически спросил он. – Вы ведь что-то чувствовали. Или понимали? Или даже знали, но считали, что правда сейчас вам не выгодна?

Временами Виталий сам не понимал, чего хочет от учёного. Всякие предположения на его счёт казались настолько нелепыми, что неприятно коробили журналиста, не способного представить себя идиотом. Но может, тот запирается только из-за того, что просто не видит возможности сказать главное?

– Если меня просили поговорить с вами, значит, я могу знать и нюансы дела, – словно про себя резюмировал Виталий. Он чувствовал, что теперь учёный не сможет ему отказать. – Скажите, как всё-таки был взорван поезд?

Канетелин медлил. Со стороны казалось, он решает, стоит ли начинать долгую историю с разъяснениями с совершенно не сведущим в данных вопросах человеком. Однако то, с какой лёгкостью он обратился в сторону журналиста, будто собирался поинтересоваться у него, что творится в мире, давало повод думать о его большей расположенности к Виталию, чем тот предполагал.

– Насколько хорошо вы знаете физику? – поинтересовался он, пронзив посетителя неожиданно острым взглядом.

– На уровне студента-технаря непрофильной специальности.

– Что ж… – Он отвернулся. – Тогда с вами ещё можно говорить.

Он долго не начинал, и Виталий вынужден был ждать, боясь нарушить молчание, дабы не испортить ему настроение и не получить мгновенный отказ удовлетворить своё любопытство. Этим пациент опять же подчёркивал собственную доминантность. Возможно, это тешило его самолюбие – в конце концов, ему-то от журналиста ничего не было нужно.

– Я не смогу вам всего объяснить, и вы сейчас поймёте почему, – заговорил наконец Канетелин. – Имеются лишь не совсем строгие теоретические выкладки. Механизм, управляющий процессом, мне до конца не известен, поэтому понять вам потребуется существенно больше, чем я вам скажу. Иначе вы не приблизитесь к истине, как многие другие, ни на шаг.

Он внимательно изучил лицо собеседника, старясь понять, какое впечатление произвели на последнего его слова.

– Прежде всего необходимо сказать, что гравитационное взаимодействие распространяется гораздо быстрее света. И если, скажем, солнечные возмущения мы визуально обнаруживаем лишь через восемь минут с момента их возникновения, то вызванные ими искажения гравитационного поля Земли фиксируются практически мгновенно. Стало быть, напрашивается вывод: если гравитационное взаимодействие обеспечивают какие-нибудь гравитоны, то преимущественно они распространяются в неком другом измерении, о котором мы ещё ничего не знаем, и путь от одного объекта до другого там намного короче. Получается, что в центре Вселенной пространство-время уже имеет как минимум пять измерений. При этом косвенно о скрытой перекачке материи между объектами во Вселенной говорит существование «чёрных» и «белых дыр». Но динамику и вещественность такого процесса описать пока невозможно, нет соответствующего математического аппарата. Интереснее заняться зримыми, поддающимися обнаружению процессами.

Виталий безотрывно смотрел на учёного.

– Вселенная бесконечна, потому что она замыкается сама на себя, – продолжал Канетелин. – Сейчас она постоянно расширяется, и где-то там, в далёкой дали, когда-то максимально перейдёт в другие измерения. Она будет всё так же расширяющейся, но для нас уже станет сжиматься. Потом сойдётся в точку – взрыв в новом измерении, – она вывернется наизнанку, и начнётся новый процесс расширения. И так до бесконечности. Но это только одна из теорий.

Физик прервался, дав возможность журналисту осмыслить услышанное. Затем, констатировав понимание с его стороны, продолжил свой рассказ исходя из выдвинутых соображений:

– Теперь далее. Можете ли вы назвать степень увеличения современного электронного микроскопа? Какого минимального размера частицы мы в состоянии сегодня разглядеть?

Виталий отрицательно покачал головой:

– Затрудняюсь сказать. Кажется, до размеров атома.

– Примерно десять в минус шестнадцатой степени сантиметра. Это расстояния, в несколько раз меньше протона и в несколько раз больше всех остальных частиц. И эти данные были зафиксированы ещё в шестидесятые годы прошлого века. С тех пор проникнуть в глубь материи серьёзным образом не удалось, а перспективы этого выглядят туманными. Учёные мечтают увидеть микровселенную, проникнуть в самую сущность взаимодействий, чтобы умело скорректировать их векторы и величины. Добраться до самых кирпичиков общего фундамента. За последние десятилетия точность электронных микроскопов постоянно улучшалась, но она, разумеется, ограничена корпускулярными и волновыми свойствами самого электрона как частицы. Наивно было бы думать, что с помощью лопаты удастся подковать блоху. И что тогда дальше? А дальше, я вам скажу, видится следующее… – Он поднял указательный палец. – Улучшать свойства инструмента можно лишь до определённого уровня, потом мы упираемся в какой-то предел, который невозможно преодолеть только количественными изменениями, это вы знаете. Нужен прорыв. Новый подход, новые идеи, новые теории. Но как можно понять то, что неописуемо принципиально? Квантовая физика – это только набор правил, если говорить о ней по простому. То есть учёный народ собрался, подумал и решил: пусть будет так, а не иначе, и выбрал для убедительности десяток формул. Но теперь только есть о чём рассуждать, однако нет базы для того, чтобы увидеть, пощупать, передвинуть, сломать в конце концов, узнав, смертельно это для нас или совсем неопасно. И причины неведения кроятся совсем не в слабой нашей технической оснащённости, а в другом.

Он окончательно овладел вниманием слушателя, и данное обстоятельство его вдохновляло.

– В классической механике есть понятия устойчивого и неустойчивого равновесия. – Он протянул в его сторону ладонь, как бы говоря, что подобные вещи журналист уж точно понимает без объяснений. – Вы, наверное, помните картинки из школьного учебника физики. – Виталий кивнул. – Шарик внутри гладкой сферической лунки отражает положение устойчивого равновесия, поскольку после воздействия силы, выводящей его из данного состояния, он опять скатывается вниз, то есть возвращается в прежнее положение. А шарик, покоящийся на вершине гладкой сферической выпуклости, отражает положение неустойчивого равновесия, поскольку при действии малейшей боковой силы скатывается с горки, обратно уже не возвращаясь. Так вот попытки проникновения в глубь материи, к основам построения элементарных частиц, приводит систему мироздания в положение неустойчивого равновесия, поэтому такое проникновение принципиально невозможно. Человек не обладает такими свойствами, чтобы увидеть себя изнутри, это сверх его возможностей и понимания. Его инструменты слишком грубы, неточны, и поэтому единственное, что он может делать, это осмысливать происходящее в определённых рамках.

– Но рамки-то тоже подвижны. Мы сами же их и раздвигаем. Если не в этом прогресс, то в чём тогда?

Учёный ухмыльнулся:

– Рамки наших заблуждений? Возможно. Сам процесс познаний неограничен, но вот что мы познаём?... Касаемо проблем мироздания, вы, наверное, в курсе, что в ходе экспериментов мы наткнулись на невообразимый в нынешнем понимании эффект. По каналам вневременной материи возможны передачи огромных потоков энергии, однако никакого контроля над подобными процессами на данном этапе нет и в помине. А я склоняюсь к мнению, что его не может быть вообще. Во всяком случае, методика всей нашей современной науки повода для оптимизма не даёт. Фундаменталисты проводят эксперименты с частицами, но им и в голову не приходит, что, строя революционные теории, они вторгаются в чужую сферу деятельности, не осмыслив ещё до конца собственного предназначения, не сопоставив свои интересы как интересы человеческие с интересами глобальной Вселенной. Проникновение в глубины мироздания это вопрос скорее философский, чем технический. – Он будто сейчас же собрался обозначить перед ним вековые трудности. – Вот представьте, что мы сидим, условно говоря, внутри надутой сферы, которая есть наша Вселенная, и нам очень хочется узнать, что находится там, снаружи. Как там всё движется, работает? Как нас в себе держит? Допустим, мы смогли бы просверлить в оболочке отверстие, чтобы заглянуть наружу, но она при этом из-за внутреннего давления неизбежно разрушается, происходит взрыв. Таким образом, обратно систему будет не собрать, она изменится на уровне элементарных частиц, до неузнаваемости. Более того, никто вообще не может сказать, что тогда произойдёт с материей. Куда она исчезнет и откуда появится.

– По поводу вашего мнимого эксперимента… – заметил Виталий. – А если внутри сферы не воздух, а вода? Во время гидравлических испытаний разрушение оболочки происходит без взрыва, потому что вода несжимаема. При образовании малейшей течи внутреннее давление сразу резко падает, и форма конструкции остаётся практически неизменной.

Канетелин задумался.

– Да, вы правы. Интересное замечание… И вообще то, что мы узнаём о природе, зависит от метода познания.

– То есть, изучая природу, мы постоянно делаем некую выборку.

– Совершенно верно. И данная выборка есть та или иная часть истины. Или не является истиной, а только кажется ею.

Учёный впервые посмотрел на Виталия с нескрываемым интересом. От физика старой формации такое внимание можно было посчитать скрытым комплиментом.

– Знаете что? – вдруг решился он. – Пойдёмте со мной.

Не дожидаясь ответа на приглашение, он вышел из беседки о побрёл в сторону здания клиники, Виталий последовал за ним.

Они продолжали диалог, временами останавливаясь, будто обсуждаемая тема требовала полной сосредоточенности и никакой конфликт интересов не мог заставить их бросить разговор на полуслове. Виталий заметил, что физик сегодня не так спесив и одиозен, как в прошлый раз, а его манера держать себя не есть вызов всему прогрессивному человечеству, что неизменно вытекало из той вызывающе-кичливой позы, с которой он встретил и проводил своего гостя несколькими днями ранее. Возможно, он пошёл на поправку окончательно. Ему не требовалось теперь уяснять мотивы собственного поведения, и он немного успокоился. Однако повестка дня ещё довлела им, исчерпывающих объяснений по поводу непричастности своей лаборатории к массовым убийствам он дать не мог, и те несколько вопросов, которые были озвучены разными лицами в однозначной форме, так и стояли перед ним во весь свой гигантский рост. Канетелин лишь слегка лукавил, пытаясь отвлечь собеседника несущественными мелочами, или попросту заговорить его. Но и он, и журналист прекрасно понимали, чтó в его изложении является главным, способным пролить свет на разгадку преступлений, а что есть шелуха, всегда сопутствующая трактовке плохо объяснимых фактов.

– Итак, вы обнаружили скрытые каналы передачи энергии, – констатировал Виталий исходя из всего услышанного.

– И я теоретически обосновал их существование.

– Это подтверждено экспериментально?

– Почти подтверждено.

– Чем тогда это не возможность устроить взрыв?

Учёный будто ожидал подобного вопроса.

– Вот здесь и начинаются сложности, – заявил он. – Рабочие выводы являлись достижением всей нашей группы, а кроме того, они были известны также и руководству исследовательского центра. Как вы знаете, я выпал из процесса почти на полгода, и что было сделано за это время, мне до конца неизвестно.

– Вас успели ознакомить с наработками коллег?

– Да, но, возможно, часть результатов, как я уже говорил, навсегда осталась чьей-то тайной.

– Хорошо, а по тому, что вы знаете, можно выстроить некую модель входа и выхода через обнаруженный вами вневременной канал? Ориентировочно.

– Можно. – Канетелин принял важный вид. Видимо, внешний облик человека соотносится с его образом мыслей непосредственно. – Я не случайно заговорил о философии, – продолжил он, – о том, что многие важные научные достижения нельзя объяснить без неких базовых, обобщающих построений. Вы скажете, что теория в принципе и должна строиться от частного к общему. Это действительно так. Однако голая наука, если можно так выразиться, исключает такой основополагающий фактор достижений, как их мотивация. Я, конечно же, не принимаю в расчёт одержимость и деньги, всё это глупости. Все научные работы выполняются по принципу: получится – хорошо, а не получится – и бог с ним. Они не являются жизненно необходимым ремеслом, потому что не пропитаны философским осмыслением деятельности. Если немного отвлечься и поговорить о более понятных, приземлённых вещах, то можно, например, выделить следующее… Главным в любом совершённом преступлении является мотив. Именно побудительные причины, возникающие внутри нас, являются движущей силой злодеяний, даже там, где этих причин, казалось бы, нет. – Канетелин недвусмысленно указал рукой на гуляющих вокруг сумасшедших. – В науке то же самое, и бомба, любую информацию о которой вы все так стремитесь заполучить, только в самом первом приближении есть плод технического мастерства. Настоящая, великая бомба должна быть прежде всего выстрадана внутри человека, потом должна созреть в голове и лишь затем, может быть, реализована практическим способом. Бомба заложена в нас потенциально, от взрыва нужно ещё уметь уберечься. По большому счёту человечество и есть некий взрывной материал, который ещё не набрал пока критическую массу. Оно пока рыпается, дёргается в бессилии, но отдельные его представители уже выказывают бунт, ведущий к полному всеобщему разрушению. Неслучайно ведь великие теории часто излагают люди не от мира сего, довольно странные по жизни. Я вам вот что скажу: наука есть частная интерпретация философских принципов. Наука и философия на самом деле должны идти по жизни рука об руку, и, как мне представляется, если открыть однажды базовые философские постулаты, безусловную науку на их основе можно построить как пазл, собирающий одно большое изображение.

– Уж не является ли то изображение ликом Всевышнего? – не удержался от саркастического замечания Виталий.

Канетелин ничего не ответил. Переждав минуту, пока смысл слов журналиста не размазался молчанием в неопределённость глупой шутки, он продолжил:

– Всё, что движет нами, воспринимается по наитию. Когда вы выучили правила, когда уже приладились делить и умножать безошибочно, вы начинаете гордиться своими знаниями, писать трактаты-рефераты, поскольку знакомые знаки действий уже не позволяют вам затеряться среди подобных и выглядеть среди них беззубым. Но вот где-то замаячила перспектива нырнуть в дебри переворотов, туда, откуда по-настоящему вершится история, и тогда вы сразу теряете ориентиры. Разве вам не захотелось бы попробовать себя в роли творца? Соорудив всем хорошую встряску. Я же говорил вам: ваши действия ни для кого не заметны, но они глобальны и вы сами определяете для себя степень дозволенности. Каково быть рассудительным в такой переломный момент жизни? Попробуйте это ощутить. Вы ведь такой же, как я – ничем не лучше и не хуже. Нервный гомо сапиенс, мечтающий иметь вокруг себя только самых достойных, остальные вас не касаются, стало быть, их при случае можно не заметить.

– Я всё ещё не вижу существа. Вы всё время пытаетесь увести разговор куда-то в сторону.

– А я вас предупреждал, что вы не получите с ходу ответы на все вопросы.

Они вошли в здание и поднялись на третий этаж. Охрана знала о приезде Виталия, поэтому его пропустили без проволочек. По дороге Канетелин вежливо поздоровался с несколькими сёстрами, которые улыбались в ответ, интересуясь его самочувствием, сделав пару дежурных замечаний и предупредив о приёме необходимых лекарств. Некоторые относились к больным как к своим детям. Но здоровые посетители, особенно из круга респектабельных граждан, вызывали у них раздражение. Виталий почувствовал это на себе, заметив косой взгляд, брошенный ему вслед одной из младших сестёр.

Канетелин привёл его к себе в комнату и усадил журналиста на стул, а сам занял диспозицию так, как хозяин собственного кабинета. Соседа на месте не было.

– Я вижу, вы слегка разочарованы. Не расстраивайтесь, рано или поздно вы подберётесь к этим преступлениям вплотную. Я просто не хочу, чтобы вы кого-то заранее винили, а для этого потребуется взглянуть на события изнутри. Тогда, может, и получится во всём разобраться.

– Как это, изнутри?

Вместо ответа больной подошёл к своей тумбочке и вытащил из нижнего ящика толстую папку, набитую листами и туго перевязанную капроновой лентой крест-накрест:

– Вчера Глеб Борисович вернул мне мою рукопись, над которой я работал последние несколько лет. – Он натужно засмеялся: – Мои труды теперь изучают в следственных органах.

– Вы знаете Глеба Борисовича?

– Да, он приходил сюда несколько раз. – Похоже, вопрос журналиста навеял на него неприятные воспоминания. – По-моему, только зря тратит своё время.

Физик подошёл к Виталию, не сводя с него глаз:

– Вот, возьмите. Почитайте на досуге. – Он протянул ему папку, толщиной заметно более стандартной пачки офисной бумаги. – Здесь тексты моей ключевой работы, которая мне очень дорога. Я потратил на неё много сил, но вряд ли она будет когда-нибудь опубликована.

– Ого, – удивился Виталий, перехватив бесценный груз, – впечатляет. Это и есть бомба?

– Нет, что вы. Бомба в голове. – Он неприятно улыбнулся, постучав себя пальцем по лбу. – Просто без этого вы ничего не поймёте.

– А те уже поняли? – Журналист указал куда-то себе за спину.

Он довольно скептически отнёсся к необходимости потратить определённое количество часов на чтение данного трактата, чтобы иметь потом возможность продолжить диалог с учёным. Что в этой папке, он понятия не имел, но почему-то заранее был уверен, что там нет ничего по существу, а разглагольствования Канетелина на отвлечённые темы ему и так уже порядком надоели.

– Вы полагаете, что ваши идеи пронзят меня до глубины души? Я готов с ними ознакомиться, но не думаю, что смогу испытать при этом сильные впечатления. Я в отличие от вас не верю в главенство мысли. Она есть только инструмент, что-то наподобие циркуля и линейки. Мысль служит только для упорядочения событий, чтобы отмерить и занести их в нужную графу. Мною управляют факты, а болтовня – это стезя закомплексованных уродцев, пытающихся представить себя надчастью общества и закинуть свои идеи на самую верхнюю полку словоблудия.

Пациент прошёлся перед Виталием вполне удовлетворённый, будто даже обрадованный словами журналиста.

– Да, я хорошо вас понимаю. Но я как раз и апеллирую к вашим чувствам, неужели до вас не дошло? Попробуйте узнать, каковы мотивы человека пишущего, для которого важнее всего не открытие, не самореализация, а движение вглубь и по спирали, охват пространства и нахождение себя в неугомонной череде видоизменений. Вы говорите, что заранее не склонны вникать в мои тайны и уж тем более доверять мне свои. Заранее. Вся беда в том, что вы всё знаете заранее! Вы уверены в себе абсолютно, и непостижимые законы бытия всякий раз вскрываются для вас неожиданностью! Они потому и вызывают восторг, что длиннющая череда дуралеев корпит всю жизнь над конечностью какой-нибудь блохи, не в силах найти в ней суставы, а найти-то их ох как хочется! Потому что в голове-то больше ничего нет! – Он с силой постучал костяшками пальцев по лбу. – Кроме картинки из монографии, изображающей ассиликантеля бесхвостого, которую набросал пьяный биолог в день бурной вечеринки, потрясённый отказом лаборантки от соития с ним после честнейшего его признания! А потом в отчаянии отбросил коньки!

Больной уселся на койку с таким видом, точно всю жизнь мечтал об этом, но, добравшись до неё, ничего, кроме злости, уже не испытывал.

– Тем не менее именно ваш скептицизм здесь и отражён. – Он указал на папку в руках Виталия. – Подумайте об этом, когда вознамеритесь отдать мне её обратно. Возможно, вам придут в голову нужные вопросы.

Канетелин вдруг стал каким-то скучным, Виталию показалось, что он устал от разговоров. Возможно, что тот и не имел намерений раскрывать ему правду. Во всяком случае, всё более очевидным становилось то, что если и удастся узнать что-либо конкретное по поводу известных событий, то только не от сидящего перед ним измученного проблемами физика. Почему-то стало его жалко. Ещё до момента, когда он заговорил вдруг о своей судьбе, Виталий почувствовал в нём тоску, которая не приходит просто так, а впитывается в кожу с годами неудовлетворённости и оседает в человеке самой бесхитростным налётом отчуждения.

– Вы знаете, я всё время боюсь внезапно уйти в небытиё, особенно после вот этого вот случая. Не смерти боюсь, поймите меня правильно, а остановиться в полушаге, на полуслове, в непонятной позе, застыть как камень, не реализовав себя до конца, что, наверное, свойственно всем творческим натурам. Страшно, что был никакой и станешь никем, а ведь были предпосылки откликнуться на чей-то зов, на чьё-то мирное душевное откровение.

– Зачем витиеватости? Скажите прямо, что вы боитесь умереть непризнанным. И никто вас за это не осудит.

– Нет, вы не понимаете меня. Я ищу радость не в известности, не в удовлетворении тщеславия. Как сие мелко для такого заносчивого кобеля, как я! Я же сам для себя гордыня! Я умнее и светлее их! – Он махнул на кого-то рукой. – Но, как ни странно, есть желание отдать кусочек своей яркости молодым – пусть им повезёт больше, пусть они будут лучше, чем я, чем мы все. И тревожит, бывает, то, что отдать многое не успел или, говоря начистоту, не сумел… В старческие годы именно на фоне молодых и хочется жить. Что там эпоха, достижения, удобства! Что красота мира, природа, которая иногда вдохновляет! Со всем этим можно безропотно расстаться, сказать всему: «Прощай», – закрыть глаза и подготовить себя к чему-то иному, куда есть доступ только после определённого периода жизни на земле. Но вот с молодыми прощаться тяжело. Я говорю не про детей и внуков, а про поколение вообще. Они такие светлые и весёлые всегда, не испорченные правилами и душегубкой, у них всё впереди. И хочется знать, как там у них сложится. Что будет главным, что главенствующим? Какая будет у них жизнь, какие взгляды, помыслы, какие нравы? И если чувствуешь, что твоё значимое что-то протянется невидимою нитью туда, в следующее столетие, и там они, не понимающие сейчас, будут разуметь и чувствовать то, что тебе самому уже давно известно, то ох как тяжело расставаться с этим миром, не выяснив хоть отчасти, хоть на йоту, что это действительно так. Как же хочется протянуть ещё немножко, самую малость, чтобы насладиться их разумом, счастьем, волшебною драмой их созревания. Как хочется верить, что кто-нибудь свыше согласился бы крутить такой фильм, ублажая тебя сказкой всемирного наследия предков. Может, тогда уже сейчас увидел бы себя в ком-то, не в родственной душе, а каком-то другом, интернациональном индивидууме, неизвестной даже породы, но точно таким, как ты, и умер бы тогда спокойно.

– Отчего такие упаднические настроения? Вам ещё рано думать о смерти. – Виталия нисколько не тронула речь пациента. – То, что вы говорите, есть обычные нюни возрастных персонажей, которых в последнюю треть жизни тянет на сентиментальность. Возможно, вам просто не хватало ласки и любви.

– Я знаю, что говорю, – спокойно отреагировал Канетелин. – Поверьте, я испытал и счастье, и любовь, и горечь расставаний. И предательство с глупостью, которая есть первейшее коварство из всех пороков… Жизнь – это приговор, и каждый к другому возле тебя относится как к осуждённому. Меня потому и одолевают мысли о будущем, что я плохо в него верю. Вы думаете, достойны кого-то из всех живущих на земле или вас кто-то достоин? Просто так? Хочу вас в том разуверить. Вы можете любить, но на людей надеяться не нужно. Доброта, отзывчивость, понимание – их не существует уже в том божественном, нетронутом виде, о котором вы думаете. Они стали атавизмами, и вы не сегодня завтра в этом убедитесь. Я вам больше скажу: никому вы не нужны на этом свете. Ни детям, ни внукам, ни кому другому. Дети придут к вам на могилу пару-тройку раз, и то лишь в часы собственных каких-то неурядиц. Внуки вообще о вас помнить не будут. Ну, был какой-то дедушка, а какой конкретно? Какой он был человек? Остальным нет до вас никакого дела уже теперь. Вы один на этом свете, и никто не в состоянии скрасить ваше одиночество: ни жена, ни дети, ни собака. Поэтому, чтобы не отчаиваться, дружить надо с самим собой. Жить для себя, потакать своим слабостям, удовлетворять свои желания. – Виталий подумал, что совсем недавно что-то подобное уже слышал. – Тогда вы будете самым счастливым человеком на земле. Жизнь одна, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно.

– После человека остаются его дела, – после некоторой паузы вставил Виталий.

– Правильно. Но они будут ассоциироваться только с вашим именем. Или с кличкой – людям без разницы. Кто станет детально копаться в прошлом? Ну жил когда-то Эйнштейн или Достоевский, но кто может сказать, что это были за люди? Какие они были на самом деле? Любой человек является личностью только для современников, а для потомков это никто. В лучшем случае бездушный символ, изображение на этикетке, имя и фамилия, обладатель которых, может, и обогатил чем-то мир, и за это его занесли в планетарный реестр важных деятелей. Но тех, с кем он здоровался за руку, давно уже нет, а с ними растворился и его мир. Так что все ваши дела – не ваши, они принадлежат лишь набору букв, обозначающих какую-то фамилию.

В палате воцарилась тишина. Стоя у окна, Виталий разглядывал парковую зону, примыкающую к лечебнице. Время от времени на него обращали внимание местные больные, вероятно, пытавшиеся увидеть в незнакомце в окне очередной для себя символ. Он увлёкся вниманием отдельных лиц, совершенно непроизвольно, даже не осознавая сего факта, поскольку мысли его были сосредоточены на физике, отпустив которого визуально, он не хотел отпускать его в голове.

«Что за противоречивая натура? – думал Виталий. – Ему свойственна сентиментальность, однако он настолько обособлен от других, что не желает видеть вокруг никакого позитива. Он либо очень сильно обижен, либо патологически не способен никого любить. Но разве такое возможно? Естественные влечения людей направлены в сторону добра, зло неестественно, стало быть, его невозможно держать в себе постоянно. Эта фига в кармане быстро оглупляется и надоедает, поскольку кулак всё же необходимо время от времени разжимать».

Виталий обернулся: больной сидел, уставившись в пол. Не тревожимый ничьими домогательствами, он моментально утрачивал интерес к окружению, удовлетворять чужое любопытство в его планы не входило. О чём он думал? Ведь о чём-то же думал. Быть уверенным стопроцентно и не ждать на себя реакции со стороны нормальный человек не может. Значит, он ещё не совсем нормальный. Только лишь призрак, пытающийся вписаться в сообщество благодаря дикой случайности и всё так же морочащий голову врачам и посетителям, как несколькими неделями ранее. Ещё вручил ему зачем-то свой трактат – наверное, навеянный туманом в голове в часы своих безвременных отключек.

В палату заглянула сестра и пригласила Канетелина на обед.

– Да, пора. – Он встал. – На сегодня хватит. Заходите ещё, – без всякого энтузиазма, как-то скучно обратился он к Виталию. – Побеседуем поосновательней.

Остановившись у самых дверей, он обернулся:

– Я вспомнил, о чём хотел вам сказать при первой нашей встрече.

Разобрать, насколько посетившее его прозрение было правдой, не представлялось возможным.

– Не знаю точно, поверьте на слово. По некоторым параметрам, следующий взрыв должен произойти второго августа.

– По некоторым параметрам?

– В пятнадцать двадцать пять где-то в воздухе над Западной Европой.

Он больше ничего не сказал и ушёл. Виталий остался в комнате один.

«Ну и как относиться к его заявлению? – размышлял журналист. – Что за чушь! Какие-то предпосылки дали ему понять, что он ясновидец? Похоже, его опять уносит в непролазные дебри. Надо будет поговорить ещё раз с Захаровым».

В этот день главврача в клинике не было, и Виталий без промедлений уехал в город.

**11**

Вечер прошёл в разъездах. Виталий заглянул к Марине, рассказав ей о беседе с физиком. Информация о Канетелине почему-то её живо заинтересовала. Она задала Виталию много вопросов, отражавших нечто среднее между тревогой и любопытством, заставив его поделиться собственным мнением об этом человеке.

Затем он встретился со своим знакомым, работником военного института, хорошим специалистом, знающим о выявленных проблемах не понаслышке. Они поговорили в уютном летнем кафе, расположенном в центре города.

– Как вы считаете, такое возможно? – поинтересовался Виталий. – Я имею в виду нынешнее состояние исследований в данном направлении. Мне не очень понятно, как к глобальным, эпохальным научным достижениям может быть причастен такой узкий круг лиц?

– С чего вы взяли, что он узкий?

– Иначе было бы ясно по крайней мере, в каком направлении двигаться. Но никому абсолютно ничего не известно.

Мужчина принял озадаченный вид, отражающий проблему как минимум планетарного масштаба:

– Да, вы правы. Само достижение никто скрывать бы не стал, поскольку секрет не в нём, а в технологиях. Что касается физики или математики, то в современном мире как раз наоборот, задача стоит умело донести суть открытий до общественности, чтобы они были всем понятны, потому что от этого зависит финансирование таких работ. Но, видимо, в данном случае речь идёт о таком явлении, сама информация о котором является государственной тайной. Оно может использоваться непосредственно в военных целях. А в секрете его держат, чтобы получить приоритет в разработках по отношению к другим странам. Собственно, что я вам говорю, вы и так всё прекрасно понимаете.

Действительно, Виталий это хорошо понимал. Однако его собеседник даже не догадывался, что с пониманием происходящего на самом верху управления, скорее всего, не всё в порядке. Не знал его визави и то, что Виталий являлся нештатным агентом спецорганов по работе на передовых технологических направлениях. Его задачей, в частности, было выявлять раньше недругов государства слабые стороны ценных научных кадров, предотвращая тем самым возможную будущую утечку информации. Он добывал конфиденциальные и даже секретные данные, а об информаторах, которые попадались ему на удочку, докладывал куда следует (или не докладывал – у него были на то свои резоны), и тех сразу же брали на карандаш. В обмен Виталий имел возможность творческой обработки полученной информации, выдавая обобщающие статьи, иногда не брезгуя откровенной дезой, ориентированной на Запад, что тоже входило в его обязанности.

– То, что вы рассказали, – продолжал собеседник, – разумеется, достойно внимания, но я думаю, долго держать подобные достижения в тайне от научного мира не удастся и похожие результаты очень скоро получат другие. Или уже получили. Сейчас уже многие исследуют не просто новые частицы, а поля и флуктуации полей. Неизвестные доселе явления связаны со столкновениями направленных потоков. Однако в насыщенном информационном пространстве, в котором мы живём, волей-неволей все подобные исследования происходят сообща, поскольку их может обработать только коллективный разум. И ваш физик многое теряет, если берётся всё осмыслить самостоятельно. Я думаю, что он сам это прекрасно понимает. Сейчас лишь нужна зацепка, чтобы не теряя времени повторить и описать именно его фазу исследований. Наверняка он где-то оставил об этом сведения, где-то их записал. Вот что нужно искать.

Слова знакомого подхлестнули интерес Виталия к делу физиков с новой силой. Будучи, как многие, гордым эгоистом и, наверное, редким стяжателем, он ни словом не обмолвился о рукописи учёного, надеясь раскопать там что-нибудь самому, а потом уже посвятить в находку других. Заехав по делам ещё в одно место, он только вечером вернулся домой, взяв в руки переданную ему Канетелиным папку.

«Ну что ж, посмотрим, что там есть», – с чувством азартного влечения устроился он за своим рабочим столом.

Это был нескончаемый текст, причём он был набран мелким шрифтом. Учитывая то, что труд содержал более девятисот страниц, объём сочинения уже заранее вызывал беспокойство. За таким чтивом придётся, наверное, упорно бороться со сном. Люди, дерзко бравирующие речью в живом разговоре, как правило, испытывают определённые трудности с последовательным и доходчивым изложением мыслей на бумаге. И наоборот, хорошо пишущие, ничего толком не могут высказать вслух. На это Виталий обратил внимание уже давно, замечая особенности коллег-журналистов в работе. Он быстро пролистнул пачку бумаги, остановившись где-то в середине, уловив неимоверно густое, насыщенное длиннотами изложение, и стал читать на первой попавшейся странице. С самого верха её начинался новый абзац:

*«Предсказания сбываются лишь однажды, но в отношении его несносные намерения судьбы, будто угадываемые задолго до обозначенных событий, подвизались вмешиваться во все дела постоянно. Трудно представить себе, если задуматься хотя бы на минуту, из каких предпосылок, сообразно какой философии жизни могла проявиться эта связь обстоятельств, создавая неимоверное напряжение сил, касаясь его самым непосредственным образом, пусть только в одном-единственном каком-то месте, но обязательно задевая его самым неприятным, опасным, острым своим углом».*

«О ком это он?» – сразу возник вопрос. Виталий перелистнул несколько страниц назад, наткнувшись наконец на фамилию Азаров.

«Господи, тут ещё и персонажи какие-то», – удивился журналист.

Человека с такой фамилией вспомнить не удалось. Возможно, он и не из круга общения физика, но тогда какой к нему может быть интерес? Он продолжил чтение с другого места:

*«Как хотелось, порой немедленно, запечатлеть неискажённый, самый первый отклик на воздействие, словно устойчивый, надменный вызов небесных сил этой жизни! Как помогало такое стремительное преобразование души, замечающей вливания самых ничтожных шорохов и ароматов, заражённой вечной энергией в покое, облагораживающей человеческий лик, характер и походку, преобразующей мягкий баритон голоса в девственно-чистую открытость сердца и возвеличивающей понятия дружбы, любви и гармонии отношений в совершенно конкретных случаях обыденного существования! Довести до малейшего простого раздражения эти всеохватные спазмы высокотворческого порыва, водрузить державу своей легкомысленной и основательной одновременно волнительности, возвести в степень тончайшие всхлипы туго напряжённых нитей мастерства, придав их рыданиям лёгкий и сноровистый, в чём-то даже восхитительный ритм привычной обывательской интонации, и, наконец, овеществить в простом и напружиненном образе всё то, что хранилось где-то очень глубоко внутри, хранилось, не зная выхода, но, созрев и округлившись, обрело со временем сочность и бархатистость сладкого плода, совокупив в себе благоприятную чистоту свежерождённого и мудрость долгожителя, – это ли не задача, достойная того волшебного исхода энергии, воплощающейся в произведении искусства! Но как возвысить отдельные разрозненные позывы к творчеству, как придать им направленность и постоянство, превратив их в устойчивый нацеленный поток волеизъявления, отмеченный глубоким видением исполнителя? Не совершенством его техники, нет – изумительным сходством природы внутренних переживаний и природы, окружающей нас в целом. Сходством, позволяющем видеть в ней исходное начало и логический конец нашего недолгого, но изнурительного движения в пространстве и во времени».*

Виталий прервался. Ещё не до конца поняв, о чём идёт речь, он искренне удивился явному пристрастию учёного к высоким иносказательным формам. Если здесь и присутствует суть, обнаружить её всё равно будет довольно сложно.

Про кого он пишет? Вполне возможно, это некий собирательный образ, который воплощает в себе понемногу и самого Канетелина, и хорошо известных ему людей, скажем, сотрудников его лаборатории. Однако, судя по тексту, в который Виталий пытался углубиться в нескольких разных местах, собственно научные вопросы здесь практически никак не затрагивались. И что это тогда?

Он заглянул на первую страницу сочинения. Кроме имени автора, на ней большими буквами красовалось название рукописи: «СЛЕДЫ ГРЯДУЩЕГО».

Вот тáк вот, ни больше ни меньше. Не какое-то там будущее, а будущее в настоящем, и всё тут. И никаких поясняющих надписей.

Виталия обескуражило прочитанное. Ясно, что тяга к сочинительству может выражаться и в таких вот малоубедительных формах, когда существо или скрыто за нагромождениями тяжёлого витиеватого текста, или его нет вообще и всё написанное представляется лишь в угоду болезненно разыгравшемуся самолюбию автора. Но у Канетелина, насколько он знал, есть несколько заметных публикаций в научных журналах, а копание в тонкостях человеческой души никогда не было его пристрастием. Списать данный опус на психическое расстройство, которое пережил физик, было бы неправильно. На такую работу потребовалось не менее полутора-двух лет, и сопутствующее ей глубокое погружение в себя всё-таки не могло бы остаться незамеченным. Канетелин, по отзывам знающих его людей, последние годы был очень плотно занят в лаборатории. Скорее всего, он писал это урывками в течение нескольких лет, а уж тогда осуществлять задуманное, не имея хоть какого-нибудь плана, идеи, не выстраивая содержания работы, есть полное безумие. Если данное «творение» не плод его юношеских забав, то налицо противоречие, из которого вытекает главный вопрос: он сумасшедший или нет? И если да, стоит ли увлекаться изысками его туманной словесности, которой он пытается скорее привлечь к себе внимание, а не что-либо сказать?

«И он хочет, чтобы я решал эту задачу?» Виталий ещё более недоверчиво, чем в первый раз, оценил взглядом папку. Стало ясно, что без пояснений автора он к ней больше не притронется. Главные мысли, если они есть, должны сидеть у физика в голове, и пусть высказывает их вслух, а не заставляет других разгребать горы словесной шелухи, якобы скрывающей формулы его собственного мира.

Но он так и не уговорил себя отвлечься от больного окончательно. Всё время о нём думал. Утром он ещё раз попытался было заглянуть в сочинение Канетелина, но опять не пошло.

Зазвонил телефон, надо было ехать на работу. Папка осталась лежать на столе, открытой случайно в том месте, где начиналось описание первых экспериментов с частицами в модифицированном пространстве. Но журналист до этого не дошёл. Впрочем, если бы он и увидел данный кусок, ему всё равно пришлось бы пропустить страниц пять текста, где говорилось о принципе единения мысли с физической материей, и не факт, что он добрался бы до предмета исследований со второго раза.

Так или иначе, предстояла встреча с главным редактором и новая тема, которая, по всей видимости, была сброшена ему намеренно для максимального уплотнения его графика. Он уже был в курсе. Вероятнее всего, ему будет предложено поколесить по стране, чтобы собрать необходимый материал и подготовить пояснительную записку. Задание не сложное, но требующее значительного времени, если подходить к делу не формально, и любые причины срочности задания выглядели теперь довольно странными. Если это намёк на ограничение его контактов с физиком, то с какой стати он возник? До сих пор предполагалось, что ничего существенного из научных работ Канетелина и его группы вынести пока не удалось. Было бы иначе, Виталию не дали бы тогда свободно расспрашивать физика о научных достижениях их группы. Но если теперь вдруг дана команда «стоп», значит, в каком-то звене расследования добыты обнадёживающие сведения и лишние посвященные в тайну, естественно, не нужны. В любом случае надо всё-таки как следует подготовиться и поскорее поговорить с Канетелиным ещё раз. Он увлекающийся человек. Погружённый с посторонней помощью в собственные мысли, он, может быть, и наведёт Виталия на верный путь. Тем более журналист, кажется, не вызывает у него явного отторжения.

Как он и предполагал, пришлось предпринять несколько вылазок в разные точки страны. Увидеть объекты своими глазами, навести контакты с информаторами – таких было семь человек, найденных им в разное время по разным случаям. С некоторыми из них он долгое время даже не встречался. Разумеется, в основном Виталий использовал неофициальные источники. Не считая заданий-легенд, на получение информации по которым он имел разрешение, бóльшая часть работы являлась «творческим» процессом, где в полной мере необходимо было проявлять индивидуальные способности. Поэтому деятельность его сводилась к непосредственным контактам с людьми, уговорам, угрозам, блефу и сопутствующим этому мелким и крупным расходам.

Вернувшись в город, он сел писать итоговый отчёт, надеясь отделаться от него побыстрее, но представить шефу чуть позже. Надо было поразмышлять о Канетелине.

Пока он не уткнулся в глухую преграду системы, стоило попробовать что-то найти. Он верил в свою интуицию: если в деле физика есть особенность, отличающая его от пресного лика бытия, Виталий отыщет её обязательно, необходимо только терпение. Ему всё не давала покоя цинично устроенная катастрофа поезда, гибель десятков людей, в том числе и его верного друга Олега Белевского. Глеб Борисович должен помочь. Это была спланированная акция, стало быть, где-то должны иметься концы, без концов ничего не остаётся, по крайней мере в их предметном человеческом мире. Утаить можно только мысли, но и это такому гнусному созданию, как человек, чаще всего сделать не под силу.

Однако события, последовавшие затем, норовили развиваться самым стремительным и неожиданным образом. Здесь надо было только поспевать, иначе запросто вывалишься из процесса, оставшись простым наблюдателем, вынужденным довольствоваться чужими выводами.

Приехав в следующий раз в клинику, никого не известив при этом о своём визите, он долго не мог найти физика. Того не было ни в палате, ни на процедурах, о чём сообщила дежурная сестра, а также нигде на прилегающей к лечебнице территории. Ему ответили, что больной где-то гуляет и с ним провожатый. До обеда оставалось совсем немного времени, они вряд ли ушли далеко, можно было подождать. Виталий даже не задался вопросом, кто это мог быть: скорее всего, физика навестил кто-нибудь из его коллег. У Канетелина не было близких родственников, да и те, что имелись, насколько знал журналист, не испытывали огромного желания с ним видеться. Походив по этажу, он ещё раз заглянул в палату, где бесконечно долго изучал потолок его сосед, и, собравшись уезжать, направился вниз по лестнице к выходу.

Проходя по площадке между лестничными пролётами, он машинально глянул в окно и имел возможность наблюдать не совсем обычную сцену. Канетелин стоял с тыльной стороны здания в тени большого дуба, рядом находился Глеб Борисович, о чём-то интенсивно вещающий собеседнику, будто у них завязался жаркий диспут. Впрочем, больной только моргал, внимательно слушая полковника. Могли показаться несколько странными столь многословные наставления посетителя мало знакомому ему пациенту, однако вскоре эта странность приобрела ещё более неожиданные формы.

Виталий задержался у окна, увлёкшись сценой, и снаружи его, видимо, не замечали, чего и не было надобности скрывать. Он без лишних опасений наблюдал происходящее. Полковник протянул пациенту руку, похоже, на прощание. Тот её пожал, причём пожал как-то слишком даже участливо, тепло, как это делают близкие друзья. Можно было подумать, что физик слишком даже рад визиту полковника, ретиво интересующегося состоянием его здоровья. И тут внезапно они по-дружески обнялись. Канетелин похлопал посетителя по плечу, и в глазах его блеснуло такое добродушие, словно их встреча отразилась на его настроении самым положительным образом.

«Что за чёрт? – Виталий не сводил с них удивлённых глаз, пока они не разошлись. – Вот это номер. Они, оказывается, близко знакомы. Настолько близко, что позволяют себе открыто выражать друг другу сантименты. Почему полковник скрыл от меня данный факт и что всё это значит?»

Он так и не встретился с больным, потому что того увели на процедуры, сказав, что надолго – лечебный сон под гипнозом, – и он решил его не ждать.

В тот же день Виталий позвонил Глебу Борисовичу.

– Видите ли. Я должен перед вами извиниться. – В голосе полковника прозвучало некое подобие сожаления. – Канетелин приходится мне дальним родственником со стороны жены. Не сказать, что мы часто виделись раньше, но в деле моих семейных отношений пару раз он оказался мне очень полезным, за что я ему до сих пор благодарен.

«Даже касаемо личной жизни он выражается каким-то казённым языком», – мелькнуло в голове Виталия.

– К недавним катастрофам он не имеет никакого отношения, – констатировал полковник.

– Очень интересно. Вы это точно знаете?

– Абсолютно.

Спрашивать, кто к ним на самом деле причастен, сейчас не имело смысла – полковник всё равно ничего бы ему не сказал.

– Для чего же понадобилось вводить меня в контакт с Канетелиным? Вообще-то всё это выглядит не очень красиво.

– Да, конечно. Я понимаю, что поступил не совсем правильно, не рассказав вам всего, что вам следовало знать. Ещё раз прошу меня извинить. Но, во-первых, на тот момент, когда я разговаривал с вами по поводу Канетелина, нам действительно мало что было известно.

– А сейчас?

– Сейчас чуть больше. А во-вторых, самое главное, я преследовал тогда совсем другие цели. Вы умный человек и настоящий профессионал, вы обладаете хорошим чутьём. Я хотел, чтобы разговорами о его работе вы быстрее вернули его к жизни, просто это произошло чуть раньше, без вас. Но всё равно я вам безмерно благодарен. У вас бы тоже получилось, ведь вы в этом деле были достаточно мотивированы, не так ли?

Ему бы не стоило упоминать о мотивации. Виталий заметил, что люди, уверенные в себе чрезмерно, всегда лезут в своих стараниях намеренно дальше, чем следует. Если бы они могли вовремя остановиться, цены бы им тогда не было. Однако инстинкт убивает разум. Тем более когда разум – не разум вовсе, а доля инстинкта.

– Вы имеете в виду мою заинтересованность в расследовании гибели моего друга?

– Вы же заинтересованы?

– Да, мне бы хотелось по возможности во всём разобраться, и официальные выводы о виновных вряд ли меня бы устроили. Кстати, Канетелин со свойственной ему истеричностью в свете нашумевших трагедий упоминал и ваше имя.

– Что он говорил?

Виталий заметил чрезмерно быструю, граничившую с замешательством реакцию на другом конце соединения и остался собой доволен.

– Этим я не могу сейчас с вами поделиться.

Он блефовал. Возможно, опасно для себя, но повинуясь тому дерзкому приёму изобретательности, который не раз помогал ему мгновенно запутать оппонента.

Полковник замолчал. Через несколько секунд, явно намереваясь закончить разговор, он заявил:

– Что ж, я понимаю. Поговорим об этом позже.

Виталий же ничего не понимал. До сих пор. В правдивость аргументов полковника он не поверил с самого начала, списав их на заранее подготовленный план действий и думая только о том, какую важную информацию он смог бы добыть у полусвихнувшегося учёного, не доверяющего родственнику – представителю спецслужб. Но ведь никакой же не добыл. Пока, во всяком случае. Если не считать его рукописи, в которой соответствующие органы наверняка уже перелопатили по нескольку раз каждую страницу и вымучили каждую фразу в бело-фиолетовом просвете на самой что ни на есть наноустановке. Нет, если Канетелин ещё и родственник, проблема для них действительно усложняется. Давить на него приходится осторожно. Или действовать теми изуверскими методами, о которых намекал физик. С другой стороны, если Виталию дали возможность свободно расспрашивать Канетелина о его работе, значит, они уверены, что тот ни при чём.

Размышляя за рулём, он забыл, что собирался заехать за продуктами, и чуть было не пропустил поворот на нужную улицу. Потом передумал, выйдя только за газетой у киоска.

Мимо промчался велосипедист, совсем близко от него, чуть ли не по ногам: очевидно, вильнул, чтобы объехать лежавший на тротуаре камень. Виталий обернулся ему вслед и заметил остановившийся немного дальше серый «рено». Что-то в этом автомобиле сразу привлекло его внимание, и через секунду он понял что именно.

Да, это была именно та машина, которую в ближайшие дни он встречал уже дважды. Первый раз, когда автомобиль был неудачно припаркован возле его дома. Он машинально тогда бросил взгляд на номер и запомнил его, поскольку номер был простой, включающий три последовательные цифры – один, два, три. А второй раз, когда днём позже на оживлённой трассе этот «рено» выполнял рядом с ним опасный манёвр и ушёл на обгон. Виталий даже выругался, оскорбляя водителя и заметив, что уже видел этот автомобиль буквально накануне.

Вернувшись с газетой на место, он с некоторым даже удивлением констатировал, что за ним так открыто и бесцеремонно следят. Три раза – это уже не случайность, такого просто не бывает.

«Как-то уж слишком навязчиво, – подумал он. – Может, они просто хотят, чтобы я их заметил?»

Для верности он подождал немного, не трогаясь с места, из автомобиля так никто и не вышел. Потом медленно поехал по улице – машина двигалась за ним.

Это уже было неприятно. Факт негласного наблюдения в любом случае вызывает беспокойство, невзирая на причины и категорию лиц, его осуществляющих. Но теперь данный ход сюжета означал лишь то, что отныне придётся обдумывать каждый свой шаг. Что-то они подозревают или не понимают относительно его персоны, а если он влезет туда, куда не следует соваться, выводы могут последовать незамедлительно.

Он специально свернул несколько раз в малолюдные переулки. «Рено» сзади уже не было, но за ним ехала другая машина. Определить, продолжалась ли слежка, было сложно.

«Этак могут и работе помешать, – размышлял Виталий. – Раскроют людей, с которыми я общаюсь, и карьере конец. Если будет интерес, обязательно раскроют. А добываемую мной информацию можно запросто присовокупить к любому делу, наштопать так, что под любой срок подвести проблем не станет. Объявят шпионом, например, и посадят в одиночку до конца века, это у них запросто, когда становишься лишним. Полезность и нужность в системе всегда идёт рука об руку с полным крахом, и всё зависит не столько от обстоятельств, сколько от настроения блюстителей законности. Если им кажется, что их дурят, они способны мстить».

Он остановился у парка недалеко от дома, вышел из машины и медленно направился вдоль берега небольшого пруда, обсаженного ветвистыми ивами и кустарником по периметру.

Он любил здесь прогуливаться. Холмистый ландшафт и живописный вид территории всегда успокаивали, заставляя забывать суетность жизни, отодвигая все проблемы на потом. Не думая о подозрительных людях, которых, впрочем, он и не имел намерений обнаружить, он лишь наслаждался красотой, спокойствием, гармонией света и тени и шелестом, мягко играющим сюиту на фоне отдалённого шума дороги.

Несколько взрослых деревьев угрюмо опустили ветви в воду. Длинные лозы со стреловидными листьями, казалось, болтались от устали, отражая слабое движение воздуха вокруг. Ветерок приносил приятные ароматы, подёргивая макушки, пошевеливая кронами, но почти никак не затрагивал общий изнурённый вид старшего поколения. Деревья смотрели вниз, будто в зеркало. Им ещё хватало нежности оценивать свой торжественный вид и вид своих подруг. Они играли, перешёптывались, потряхивая иногда кроной, но сбивали при этом спокойствие пернатых и дивились их мелкой порхающей неврастеничностью, словно никак не ожидая нестройного задиристого щебета по бокам. Птицы же наоборот, носились группками с места на место как оглашённые. Им не сиделось. Живя и празднуя, они тут же добывали корм себе и своим близким, и попутно радовались бытию как бесконечному счастью мелкого сословия. Вот так вдруг попавшийся на глаза чёрный скворец выныривал из травы и бежал вразвалочку в неизвестном направлении, останавливаясь как-то с неохотой, окунаясь головой в землю, как в затрапезном молебне, стыдливо, будто уличённый спутниками в неблаговидном поступке. А потом неожиданно выпрямлялся и не просто тянул, а с усердием вытаскивал из земли длинного червячка, помчавшись с ним вприпрыжку, раскидывая в стороны лапки, радуясь, словно не зная, с кем поделиться своей добычей, пока та мелкая тварь, извиваясь у него в клюве, умирала, не соображая, медленною смертью. А природа веселилась этой смерти, птицы чивкали попутно, не смолкая, ветви гнулись и шептали заупокойную. Люди прохаживались мимо, иногда отвлекаясь, чтобы полюбоваться дивным окружением, иногда останавливаясь, чтобы погреметь игрушками, местами прикрываясь, чтобы просто, не печалясь, выпить вискаря.

Старый дуб, большой, отягощённый своим величием, болел на вершине холма, надзирая за тропами, тянущимися к нему и от него во все уголки парка. Он будто даже покрякивал, с трудом перенося собственный вес, или нет – ворчал, недовольный, как все пожилые, шумливой бесшабашностью молодых. Юные кустики небольшими группками, взявшись за руки, разбежались по лужайке. Словно невпопад наткнувшись на гордое одиночество старожила, они нахально сновали туда-сюда, уважая лишь наружно, но нисколько не чтя на самом деле болезненно-скучной одухотворённости встречного. Их игра была божественной, ветер шевелил волосики на голове, а они кривлялись, возбуждённые собственным производимым шумом, и никакие беды других не могли отнять у них права наслаждаться чистотой и открытостью окружающего их мира.

Сам пруд, благородно-волшебный, красиво разлился в низине, раскинув ответвления и заводи на всём протяжении своей вытянутой глади. Островки и мысы с перекинутыми на них мостиками образовывали некую сказочную страну, где уживались наплывы прогуливающихся горожан с ненавязчивой кротостью природного великолепия.

Всё это виделось Виталию много раз. Он то поражался невостребованной томностью бытия, то восхищался, как теперь, бурлением летних солнечных настроений. Охватывая всё в целом, он с лёгким сердцем погружался в созерцание добытых им недалеко от дома красот.

В дальнем конце у водного грота обосновалась стая утиных. Устроив сиесту, большинство птиц мирно посапывали на воде. Крупные цветастые селезни и серые самки уткнули клювы под крыло и покачивались на ряби, словно маленькие кораблики на рейде в ожидании дальнего путешествия. Иногда отдельные особи сближались друг с другом и касались случайно грудками, что, впрочем, не нарушало их спокойствия, точно они заранее знали, что это свои.

Если бы они видели сны! Какая, наверное, идиллия могла бы утянуть их в свои чертоги и соблазнить возможностью мечтать! Какой необычностью предстал бы дивный мир в многообразии фаз его перевоплощения! Как захотелось бы нового! Как вдруг открылась бы любовь! Тонкий аромат сперва блаженной неги. Яркий праздник яви ожидаемого. Небесная чистота радости и стремления утюжить, драить, подметать, вылизывать все нескончаемые плоскости познания – редких отношений, так гармонично связывающих предметы с духом. Вот она, великая цель жизни, в противоположность той абажурной праздничности, коей пытается напичкать вас толпень. Вот он, мирный уголок собственного благополучия, не измеряемого количественными показателями, глубоко ревностный, противный достатку каждого и способный вселить в себя лишь одного-двоих сопереживающих. Маленькая гавань блаженства, и ведь не счастья вовсе, нет! Это было бы огромным достижением, если ваше пристанище всегда совпадало с счастьем. Оно ведь строится попутно, не втискивается в рамки отдельного нрава. Всеобщее – да, возвышенное, духовное – обязательно, понимаемое и ценимое всеми, кто только способен чувствовать, как социальная мера благополучия в целом. Однако при этом только ваша отдельная квартирка с набором вам присущих и только вам понятных аксессуаров способна успокоить вас, возвысить и направить в сторону остальных, в русло того полноценного взаимодействия нравов, которое и отзывается в вас настоящим чувством сопричастности.

Всякий раз, глядя на отражённые солнечные блики в воде, на умиротворённость безрассудной жизни вокруг, он задумывался о своей странной суете, а потом неизменно углублялся в мысли о главном. О том, что вообще казалось ему главным, но к чему приблизиться в своих размышлениях он никак не мог. Его удивляло не только разнообразие фаз переживаний, об отдельных из которых некоторые люди, например, вообще не имеют понятия, но и сама разнонаправленность человеческих принципов, представление о которых мы имеем только благодаря небольшому кусочку серого вещества, заключённому в нашей черепной коробке. И в то время как гораздо более многочисленная живность на земле, обитающая стаями, роями, кланами, исповедует по необходимости самый малый ряд поведенческих реакций, всегда реализуя общую мысль, царь природы между тем проявляет мастерство жизни в разнообразных ситуациях именно для того, чтобы доказать, что его мысли разнятся с общими. И это помогает нам выжить? Для чего, например, человек хочет собственного благополучия, допуская, что всеобщего достичь никогда нельзя? Только ли потому, что его собственный отрезок жизни есть малая песчинка по сравнению со временем существования цивилизации и оттого на всех остальных ему ровным счётом наплевать? Так ли ничтожна социальная составляющая в сознании каждого индивидуума?

Муравьи и тараканы – суть одно порождение природы – селятся в разных местах и живут по абсолютно разным принципам. Они вещают собой о многообразии способов существования, но совокупностью особей внутри вида доказывают наличие в мире разумного движения. Стало быть, у человека, раз он мыслит, в голове тоже имеются свои тараканы. Они бегают направленно по проторенным дорожкам, осуществляя информационную и образную функцию мышления. А мы полагаем, что богаты такой данностью самостоятельно, и всё время пытаемся наставить шлагбаумов на их пути.

Нередко он глубоко ощущал единение с природой. Придя вот так побродить среди берёз и клёнов, подышать воздухом влюблённости, он неизменно погружался в какой-то параллельный мир, словно перешагивал за границу полотна, которое до этого служило лишь фоном. Совсем по-другому тогда звучали птичьи голоса, парк наполнялся тонкими вибрациями. Излишне трепетно порхали бабочки, нежным обертоном подрагивали ветви кустов, мягко накатывала свежесть, а тонкий привкус удовольствия сам собой примешивался к совсем необычному лицезрению пейзажа. Время растягивалось в блаженном успокоении. За него не надо было хвататься в дикой нервозности, оно само чувствовалось главным атрибутом, данным нам для восприятия красоты. И через неё – вечности, маленький кусочек которой так трогательно касался его всякий раз, когда он утопал в этом сказочном сне очарования. И только если рядом гоготал в приступе веселья какой-нибудь идиот, он возвращался мыслями к исходным образам, чтобы оценить сей эпизод вполне по-человечески.

Он присел на скамейку у самого края воды. На противоположном берегу, сидя на пне, читал книгу старик, а рядом с ним возился мальчик. Или девочка с мальчишеской причёской – издали было не разобрать. На нём были футболка, бриджи до колен, он бегал босиком по колкой траве, расставив в стороны руки, балансируя ими совсем по-девчачьи, но в остальном поведении выглядел в точности как пацан. Виталий с интересом увлёкся наблюдением за ним, занявшись разгадыванием необычной для себя загадки.

Он находился не настолько далеко, чтобы не видеть в подробностях их действий, но и не так близко, чтобы можно было разглядеть лица. Внук – или скорее даже правнук старика – сначала кормил с берега чаек, в обилии кружащих над водой. Отщипывая кусочки хлеба, он подбрасывал их как можно выше, надеясь, что птицы схватят их прямо на лету. Но закормленная стая лишь по привычке изображала суету вокруг людей. Частенько наведываясь в городские парки, крикливые птицы в достатке получали от жителей внимание и пищу и теперь только игриво разрезали крыльями воздух. Хотя некоторые из них нет-нет да и схватывали корм, поддерживая интерес мальчика и доставляя ему огромную радость.

Затем ребёнку это занятие надоело. Он покрутился возле деда, тот ему что-то сказал. Очевидно, вняв просьбе старшего, он уселся под большим деревом и раскрыл книжку.

Виталий опять подумал, что это девочка. Ему показалось, что та поправила волосы типично кокетливым движением, которое уже теперь появилось в её поведении по примеру взрослых. Однако прояснение так и не наступило. Хотелось уже встать и направиться в их сторону. «Ну не может быть, ведь пацан же», – не унимался Виталий, для которого простой вопрос неожиданно превратился в интересную головоломку. Неугомонный ребёнок уже бросил книжку и стал ходить вдоль берега и вокруг дерева заложив руки за спину. Похоже, он нисколько не скучал, просто не мог сидеть на месте. Затем он вдруг принялся танцевать. Подпрыгивая и кружась, немного неуклюже, но с охотой, он увлёкся движением до того, что чуть ли не задевал читающего деда, когда проскакивал мимо пня. Раскинув руки, юное дарование выполняло пируэты под неслышимую музыку, явно испытывая от этого удовольствие. Его исполнение не выглядело картинным, он просто развлекался, однако с той мерой игривости, которая уже в раннем возрасте обнаруживает в детях скрытые таланты. Старик на его выкрутасы не обращал никакого внимания.

«Если мальчик, то очень необычный, – оценил его Виталий. – Наверное, уже учится в каком-нибудь хореографическом училище». Он так и не сумел определить пол ребёнка, который давал этот удивительный спектакль. Вскоре старик с ребёнком собрались и двинулись к выходу из парка, а он смотрел им вслед, пока они совсем не скрылись из виду.

Стало немного грустно, но только на минуту. Наверное, он получил определённый заряд эмоций, хотя отдавал себе отчёт в том, что в другой раз увиденная сцена, скорее всего, была бы ему безразлична. Просто теперь была хорошая обстановка, тихий парк и утки.

Ему нравился день, и вообще он заметил, что очень часто его настроение будто намеренно определяли мелкие, незначительные эпизоды. Что-то одно, но обязательно вносило в общий эмоциональный фон весомый вклад, без чего, наверное, его будни не отличались бы порой существенными порывами вдохновения. Однако Виталий, будучи внимательным по жизни человеком, строго фиксировал для себя причины и следствия и, исходя уже из живого человеческого интереса, перепутать их никак не мог. Юный танцор только разнообразил палитру его чувств. Он пришёлся всего лишь вовремя и оказался именно в том месте, где было нужно. Но если бы умилительные сцены вокруг бесконечно долго обволакивали его душевным успокоением или, наоборот, всевозможные странности людей постоянно являлись причиной раздражения, о чём говорил Канетелин, то это была бы уже некая стадия расстройства, бороться с которым методом самовнушения очень сложно. Виталий понимал, конечно же, что дело не в самом позитиве или негативе, дело в их количестве.

Дорожка петляла среди кустов и пригорков, иногда взбиралась на вершину, откуда расходилась тропами в разные стороны, словно предлагая на выбор несколько маршрутов. Здесь была и аллея среди лиственной рощи, и большой луг, и каменистые насыпи с уютными гротами. Проходя вдоль поребрика, ограждавшего искусственное русло канавки, он задумался о своём характере, о том, что, несмотря на дела и проблемы, всегда имел необходимость немного отвлечься, то есть отвлечься так, чтобы испытать наслаждение от простой прогулки по обычному городскому парку. И не надо было никакой смены обстановки, под которой обычно подразумевают другие суетные занятия или развлечения. Ни к чему были яркие впечатления, которые запоминались бы на долгие времена – к ним ведь и тянет обычно от безделья, от постоянной ненагруженности сознания, от скудности переживаний, от тупости ума. В нём же самом творилась работа без конца, на опережение, такая, в которой чуждые нравы, советы, псевдолюбовь или обычная человеческая беспомощность выглядят просто помехой. И он вдруг начинал понимать физика, волею случая посвятившего себя естественным наукам, построению гипотез о веществе, но только к завершению своей славной карьеры начавшего осознавать, что ему это совершенно не нужно. На самом деле ему безразличны знания о материи, не приносящие необходимого удовлетворения, а только лишь работающие на его авторитет. Ухудшенным зрением тот увидел наконец не родившиеся плоды своего гордого стояния, обнаружил вдруг мрачное подземелье своих технических идей. Для него пустым звуком гремит теперь слава, уважение, почёт. Ему не нужны никакие регалии и должности. Только лишь осознание страстей делает его величайшим исполнителем во Вселенной – не умерщвляющим других, нет, но превращающим их колебания вокруг себя в волшебные.

И тут же Виталий подумал, что означает для него понятие «социум». На что они заряжены, его соплеменники? На какую такую радость, благополучие, на какие свершения, если уровень жизни их определяется не абсолютно, а только по отношению к многим другим? Они действительно не мыслят себя оторванными от общества, от вещей. Им не представить себя одних в глухом лесу, они умрут там наконец в несчастье и отчаянии. Людям постоянно нужны какие-то игрушки: сначала планшетник, потом автомобиль, потом жена или муж, дети, внуки, просто животные. Они не могут жить не играя, им нужны предметы обладания, и если таковых по каким-либо причинам нет, жизнь считается неудавшейся, вплоть до того, что прожитой зря.

Какие мелкости бытия, оказывается, определяют людское сознание! Как катастрофически убог наш человек! Он тошнотворен, как извивающийся глист. Ему нипочём величие чужой души – ведь это только модно, признавать в другом поэта, но примером тот послужить не сможет. Поскольку все живут в огромной стае, намного проще следовать за толпой, принять общие правила, и люди делают из себя приверженцев стратегии, мятущихся как мухи, опережающих, вырывающихся вперёд, липнущих к ведомому, но от многих обязательно отстающих.

Они толкутся возле дверей, чтобы в них пройти: раз есть проём, значит, туда нужно протиснуться. Миллионы дверей, но людей во много раз больше. И хождение через них, иногда в давке, с трудом, есть главная их отличительная особенность – перемещение по плану, по контрольным пунктам, где ставятся отметки, через маленькие дверки, калитки, деревянные, через парадные, железные двери, с массивными ручками, через ворота наконец. Людям кажется, что за дверью что-то новое, а там другая дверь, или их даже несколько. А воюющая толпа берёт очередную приступом. Кто-то хочет не участвовать, но не получается, в замкнутом объёме есть только одно настроение, которое науськивает, пропускает через вас один и тот же тренд. И вам становится муторно и тошно, однако приходится сносить неудобства, затем лишь только, чтобы хоть что-то отрицать. Но всё равно втягиваешься в поток, с напором рвущийся на приступ. Вы вместе с ними, потому что стоять нельзя – на место этих из других дверей сюда уже лезут следующие. Они такие же, но со своим как бы мнением, своими нравами, посылами, правилами, со своим нытьём, своим оружием.

И вот вы в другой обстановке, давка теперь по углам и всё сильнее. Теперь не воскликнуть: «Отойдите!» – поскольку только придурок не поймёт, что отходить особо некуда. Наоборот, прижмут к вам оппонента с силой, пыхтящего то ли от досады, то ли в отработке собственного направления, и разбирайся с ним, назойливым, как самый близкий. Вокруг всё размыто, чересчур естественно – и цвет, и запах становятся общими, от благих намерений остались лишь одни воспоминания. Впрочем, некоторых ещё хватает на благородство, а быть совсем безучастным теперь не выходит. Если оступился, есть возможность схватить соседа за ворот, чем многие бесцеремонно пользуются, и не поймёшь, оберегает он вас от давления со стороны или сам толкает. Уже и смеются вам в глаза, чтобы разнообразить времяпровождение, а вы мечтаете только об одном: как бы уж напёрло теперь так, чтобы выскочить всем разом в какой-нибудь зал попросторней, чтоб и музыка, и смех там слышались подальше, а безвкусные обои не маячили в глазах картинкой-ребусом. Вот так и мечешься постоянно из помещения в помещение. И впитываешь дух времени, и живёшь.

В другой раз хождение становится забавой. Люди вышагивают, как павлины, то есть теперь, если по-нашему, как крутые парни. У них и двери другие, особенные, с секретными замками и охранниками, не теми, что берегут покой начальника, нет, которые охраняют проём. Для них важна иерархия лестниц, субординация дверей. Как и для тех, кто за ними сидит, главенство папок, посылов сверху, намёков, кулуарных сплетен, сигналов. Любой знает, что перед ним не все ещё двери открыты. Он может маршировать, шаркать или болеть настроением отчизны, как это всегда модно: тихо так, легонько, по-умному приоткрывать калитку и громко хлопать ею как можно более вызывающе. И, не дай бог, просунется к вам удивлённая голова в это время – так со всего маху и прищемить её в эмоциях, извиняясь, хотя тому всё равно обидно. Страна стерпит, а нижний забинтуется. И не такое случалось в века прогресса-разрушений. Багровыми реками растекались кармы человеческие, чего уж мелочиться на страданиях одиночек. Здесь важно видеть всё в нужном ракурсе, сказать про фундамент своей нации, обрисовать момент политико-сгущающими красками, добавить колких аргументов, и можно снимать у ворот охрану. Подданные сорганизуются сами, заведут дружину, а если надо, вырежут пилами кабинет вместе с основателем и понесут на руках назад, в прошлое…

Тягостным вдруг показался вечер одиночества. Как-то неожиданно наплыли тучи и закрыли собою небо. Враз похмурнело, ветерок жёсткими набегами, теперь уже не бархатным ласканием, а дерзкой отмашью, пробовал характер раздолья. Всё быстро попряталось неизвестно куда: птицы, люди, – да и преданные красоты парка вдруг вывернулись наизнанку, показавшись скучной саржей в миленьком покрое своего богатого одеяния. Надвигалось ненастье. Виталий заспешил к машине, сообразив, что ушёл от неё слишком далеко.

Сочные струи ливня ударили сверху, когда он ещё был на полпути. Пришлось немного пробежаться. Он забрался в салон автомобиля и, несмотря на то, что уже промок до нитки, испытал наслаждение.

Вокруг почернело, сплошной стеной лил дождь. На фоне приятного шума отдельными щелчками доносилось хлестанье воды по асфальту, капоту, по листьям деревьев, особенно широко выставивших ветви. Потекли ручьи, реки, и рьяный автотранспорт, пробивая себе в густой водянистой пелене дорогу, проплывал мимо, словно метеоры, летящие вдаль через космические просторы.

Потрясающе поэтично. Свежо. Виталий смотрел во мглу, видя в стихии продолжение своих глубоких мыслей. Его вдохновляла и сырость тоже, кто бы мог подумать! Обескураженные, все рвутся в помещение – вот когда, сидя дома, не нарадуешься, – а ему так даже лучше, и он приоткрыл дверку автомобиля.

«Нет уж, хватит баловства». – Он хлопнул ею, почувствовав водяной шлейф, ворвавшийся внутрь салона с порывом ветра. Лицо обдало холодными брызгами, пришлось отвернуться и скорчить гримасу. Он достал салфетки и обтёрся. «Так, пожалуй, и домой будет не добраться. Надо ехать», – решил он, включая двигатель.

Мостовая стремительно наполнялась широкими потоками воды, сплошная пелена закрывала обзор, двигаться приходилось медленно. Пробивая фарами ближний коридор, он свернул на свою улицу и въехал наконец на откос перед домом.

Сзади творилось что-то невероятное. Переулок превратился в реку, которая резво несла воды в ещё более полное русло. Сверкнула молния и тут же с оглушительным треском рванул гром, так что задрожали мелкие предметы, а сердце под грохот завибрировало в груди. Такой стихии он давно уже не припоминал.

Дома было спокойно и уютно. После горячего душа его тело разнежилось, как никогда. В халате и мягких тапочках он проследовал сначала на кухню и, сварив себе чашку крепкого кофе, завалился потом в холле на диван. Посматривая на вспышки молнии за окном, словно в фильме ужасов, он и здесь наслаждался – теперь уже спокойствием, несмотря на приступ очарования непогодой, которые испытал полчаса назад. Наверное, препятствия с неудобствами и прельщают только тогда, когда заранее знаешь, что тебя ждёт уют. Где бы ты ни был, как бы ни страдал физически, этому обязательно наступит конец, близость которого вовсе не зависит от твоей силы воли. Этим эрзацем стойкости мы любим себя дурманить постоянно.

Комната освещалась только горящим в углу торшером. Он специально не включал больше ламп, чтобы лучше ощущать природный катаклизм снаружи. Впрочем, дождь уже стих, появилась даже надежда на просветление, возвращая то благостное расположение мягких летних вечеров, которое питает романтичные натуры.

Кленовая аллея, где стоял его небольшой одноэтажный домик, всегда была тихой и малолюдной. Когда он искал себе жильё, ему сразу приглянулось это место, определяемое широтой и малоподвижностью вокруг, остро необходимых при его образе жизни. Нетиповое, можно даже сказать, невзрачное строение при этом его нисколько не обескуражило, и теперь, по прошествии нескольких лет, он неоднократно хвалил себя за правильно сделанный выбор. Он не любил быть в гуще событий, разделять чьи-то мнения и навязывать свои, поэтому всячески сторонился суеты. С соседями ему здесь тоже повезло – он про них ничего не знал. Так только: лица, автомобили, улыбки, кивки при встрече – этого хватало. Никаких лишних вопросов, никакого участия, требующего заострять внимание на чужих проблемах, – только свои нужды. Маленький эгоистичный набор интересов, позволяющих сосредоточиться на главном, но, что принципиальнее всего, и выбирать это главное самому и всегда, изо дня в день, из года в год, по мере развития собственного мировоззрения. Он не боялся одиночества (как Канетелин, кстати), наоборот, если ничего не помешает, мечтал именно здесь, в этом спокойном уголке города, встретить старость.

По телевизору опять показывали забеги с препятствиями, хождение по каким-то клеткам, неслабо, видно, увлекающие участников соревнований.

«Сплошные игры кругом», – подумал Виталий. Он переключил несколько каналов, пытаясь найти что-нибудь интересное. В новостях о террористической угрозе уже ничего не говорили. За две недели информационный тренд успел поменять направление несколько раз, поэтому, даже если бы и начали вспоминать подробности тех событий, народ вряд ли понял бы телевизионщиков в их стремлении зациклиться на одном событии. Его и не утруждали описанием волокиты. Меньше приходилось врать, что было всем на руку.

Сцены из жизни диких зверей Виталия увлекли больше. Вот где царили правда и естественность. Никто никого не осуждал, не презирал, они не мстили друг другу – просто делали своё дело и жили, невзирая на опасность расстаться однажды с этим миром и умереть. Он опять вспомнил физика. Культ сознания, поставивший на пьедестал планеты личность, сделал всех людей опасными конкурентами, а конкуренция в злобе ведёт цивилизацию к вырождению.

На экране крупный самец по праву вожака смачно вырывал куски мяса задранной газели. С клыков стекала кровь, в самой позе льва, возлежащего над убиенной тушей, читались величавость и непреклонность сильного перед заботами о мелких. Рядом вертелось голодное семейство, поминутно пытаясь оторвать для себя какой-нибудь ближний кусочек. Однако даже не рык, а только нахмуренный взгляд зверя заставлял слабаков отступать и, не мешая обедать главному, терпеливо выжидать своей очереди. Самка при гривастой голове вожака стояла пока в сторонке. Она также участвовала в охоте и на равных могла бы претендовать на первый кусок, но здесь было не собрание профсоюзов. Её права были следующими. Послабление в пользу одной, всего лишь родившей от него детёнышей, означало бы гибель репутации, а в диком мире животных репутация есть не расположение и хорошие отзывы трудящихся или ничего не значащее их презрение, а напрямую жизнь или смерть. Поэтому он не подпускал к столу никого, пока не отхватил от туши нужного количества мяса и не заглотил его, душераздирающе чавкая перед мятущимися, испуганными взглядами молодняка. И только потом уже по мало заметным, только одним членам прайда известным признакам пришло соизволение приблизиться к туше остальным.

Самка уже нацелилась на нужное место. Глубоко смакуя мякоть, не удосуживаясь даже грызть своими крепкими зубами кости, она, по причине неудовлетворённости, невзирая на потомство, лихо уподобилась королю степей, отшвыривая от себя мелюзгу как неугодное на пути препятствие. Тем оставалось разбираться со своим аппетитом в соответствии с царившими в их семье общими правилами: кто первый встал, того и тапки. Наверняка забыв о своём материнском чувстве, серьёзная и статная с виду львица элегантно кромсала клыками замечательное филе. Муженёк теперь посматривал на её голодную нервозность свысока. Рядом с вытаращенными глазами разбирались с мёртвым телом детёныши. Иной из них, бывало, на полужёве встречался взглядом с отцом семейства, замирал на мгновение, что-то рисуя в голове неспокойное, но, не обнаружив в глазах папаши ни одобрения, ни упрёка, плевал на его надменную ухмылку, отворачивался и продолжал наслаждаться пиршеством. Тем более что во время заминки близко подобрался коварный братец и как будто даже начал оттеснять.

Добрались до сухожилий и костей. Мимо бегали шакалы да пытались подлететь ястребиные. Этих, со складными крыльями, отпугивать было проще всего. Пока они размахивали ими, чтобы сорваться с места, любой такой дуре запросто можно было откусить голову. Сложнее приходилось с земными падальщиками. Шакалы и гиены по одному не ходили, и если упустишь внимание папки, насытившегося и отправившегося вразвалочку на покой, можно было при натиске голодных запросто потерять позицию. Поэтому приходилось и есть, и глазеть по сторонам, и охранять свой кусок от братьев-сестёр по родству, и подмигивать, как самому умному, папаше, дабы тот, недоумевая по поводу игривости отпрыска, не сходил пока с места, охраняя общий покой в столовой.

Всё это, умело снятое натуралистом, Виталий рассматривал, лёжа на диване и открыв для удовольствия бутылочку пива. Сюжеты людской жизни были для него даже более предсказуемыми, оттого он давно уже не обращал внимания на художественное кино. В этом смысле он был не менее диким, чем животные.

Убавив звук телевизора, он, как договорились, позвонил Захарову. Довольно продолжительное время тот не отвечал. Потом в трубке послышался его растерянный голос:

– Виталий, здравствуйте. Наверное, мне стоило позвонить вам раньше, но я сейчас совершенно не в себе. У меня в клинике трагическое происшествие.

– Что случилось? – Виталий непроизвольно напрягся.

– Погиб Канетелин.

– Погиб?

– Я совершенно не понимаю, как такое могло произойти. В моей клинике это первый случай. Его ударил стулом сосед по палате, да так точно, что перебил ему шейные позвонки. Мгновенная смерть, а сосед ничего не понял. Он теперь изолирован в специальной комнате.

Виталий никак не ожидал услышать такую новость. Он что-то спрашивал у академика, и тот давал необходимые пояснения, но в голове его сразу зародились и никак не отпускали из своих объятий какие-то пугающие подозрения.

Ещё не закончив разговор, он подошёл к окну и стал вглядываться в вечерние сумерки.

«Они где-то здесь наверняка, – думал он. – Значит, это неспроста. А я, дурак, ещё вздумал играть с Глебом Борисовичем».

Расклад получался довольно мрачным и явно не в его пользу.

**12**

Плохо позавтракав, не выспавшись, постоянно думая о нескончаемой череде случайностей, в девять утра Виталий уже был в клинике. Его встретили мрачная тишина и пустота в коридорах, будто на сумасшедших давила нагрузка от произошедшего у них убийства.

Захаров испытывал явное неудовольствие от необходимости объясняться с журналистом. Для него весть о случившемся также явилась полной неожиданностью, но в отличие от Виталия он меньше склонялся к тому, что смерть Канетелина есть результат чьего-то злого умысла. Однако припадочная выходка соседа по палате, к чему не было никаких предпосылок, представлялась ему совершенно непонятной. Помимо переживаний трагического инцидента, косвенно обвиняющего его в халатности и бросающего тень на репутацию его клиники, академик чувствовал уязвлённость самолюбия опытного врача, не умеющего объяснить, что происходит с его пациентами. Само происшествие расставленные повсюду камеры не зафиксировали. Оно произошло в «мёртвой зоне», которая не просматривалась аппаратурой, что также выглядело странной случайностью.

– Зачем вы поместили их в одну палату? – обратился к академику Виталий.

– То же самое меня спрашивал следователь, который проводит дознание.

– То же самое спросил бы любой человек, не изучающий поведение шизофреников.

– Но у меня таких пар несколько, – парировал доктор. – Если их ничто не раздражает, то подобное соседство идёт им даже на пользу. Кандидатуры тщательно отбираются по индивидуальным показателям, и в этом отношении Канетелин был даже более нестабилен, чем его сосед.

– Настолько, что сумел реально настроить его против себя.

Виталий почувствовал, что предъявлять претензии Захарову бессмысленно. Наверное, тот знал, что делал, а от ошибок никто не застрахован. Однако смерть физика выглядела слишком нелепой. Как-то не вовремя два соседа поссорились, и почему-то сразу дело дошло до трагической развязки. И, как на зло, никого рядом не было, чтобы их разнять, а физик ко всему прочему собирался поделиться с ним важной информацией. Если сложить все вопросы, получается не бытовая разборка психов, а некое вполне себе спровоцированное извне столкновение или даже срежиссированная кем-то постановка.

– Для меня этот человек был единственной зацепкой в объяснении известных вам событий, – удручённо заявил Виталий. – Он что-то недоговаривал, и я надеялся его слегка расшевелить… А может, наоборот, он уже всё сказал, что оказалось достаточным, чтобы его больше не было?

– Вы о чём?

– Момент убийства ведь никто не видел?

– Да. Но на шум сразу же прибежала дежурная сестра по этажу. Кроме двоих больных, в палате никого не было.

– Как быстро она явилась?

– Практически тут же. Она проходила мимо по коридору.

– Окно было закрыто?

– Окна в палатах всегда надёжно закрыты. Открываются только верхние фрамуги, а вообще у нас везде стоят кондиционеры. К тому же наружный фасад здания просматривается через камеры наблюдения.

– А если это кто-то из своих?

– Персонал ещё проверяют, но вряд ли это возможно. – Доктор устало откинулся на спинку кресла, как бы давая понять, что на все подобные вопросы он давно уже дал исчерпывающие ответы.

Виталию оставалось только поверить Захарову. Намеренные действия часто соседствуют с нелепой случайностью, что только запутывает ход расследований, тем более там, где прояснение роли отдельных участников событий является первейшей необходимостью.

Виталий будто уже не имел к собеседнику никаких вопросов, он неожиданно обратился к нему с просьбой:

– Я могу увидеть того, кто это сделал?

Академик выдержал паузу. Похоже, он не приветствовал встречу журналиста с пациентом, по крайней мере так показалось, однако, не став возражать, решил удовлетворить его желание, чтобы у того не было лишнего повода ему не доверять. Они тут же направились к больному.

Возле дверей Виталий задержался:

– А у вас есть фотография Канетелина?

– Есть, конечно.

– Давайте возьмём её с собой.

Доктор едва заметно ухмыльнулся, качнув головой. Подойдя к архиву, он достал ключи и выдвинул ящик с материалами по Канетелину. С самого верха в папке лежала хорошая фотография, сделанная совсем недавно: в углу была напечатана дата снимка. Он протянул её журналисту:

– Вот, пожалуйста.

Со снимка на Виталия смотрело мягкое добродушное лицо физика, каким он его ни разу не видел. Наверное, Канетелин находился тогда в хорошем настроении. Вся его злоба с раздражением представились теперь как нечто напускное. Невольно журналист испытал грусть: совсем не пустыми явились для него разговоры с учёным, в котором он так и не успел рассмотреть признаки великодушия.

Они прошли в дальнее крыло здания, в ту комнату, где Виталий уже недавно был. Пока шли, он всё думал, зачем ему понадобилось теперь видеть другого несчастного. Он попросил об этом скорее из привычки доводить все дела до конца, цепляясь за любую возможность разжиться информацией, чем из желания узнать что-нибудь об очередном шизофренике. Похоже, его связь с данным заведением становилась устойчивой, что невольно начинало пугать. Что ещё выявится по ходу увлечения его тайнами человеческих судеб? «Ну, Глеб Борисович, удружил, – подумал он. – Подсунул мне родственничка, в идеях которого полно чертовщины. Который оказался кому-то неугоден».

Войдя в помещение первым, доктор обернулся:

– Вы его видели до этого?

Виталий вернулся к действительности:

– Нет.

– Понятно. Тогда я должен вас предупредить, что он живёт в несколько ином мире, поглубже того, в котором жил Канетелин. По нему это будет заметно.

Доктор больше ничего не стал пояснять. Через минуту санитары ввели в комнату жалкого субъекта, с трудом демонстрирующего позывы к самостоятельности.

С первого взгляда на него Виталий понял, что Захаров просто решил показать посетителю, с какими тяжёлыми иногда случаями он имеет дело и сколько терпения и выдержки на самом деле требуют наблюдение, уход и налаживание контактов с подобными пациентами. Тот был слишком удалён от реалий, о чём свидетельствовал его более чем убогий вид.

Его тело было перекошено в плечах и бёдрах, так что он представлял собой какую-то высохшую корягу. Голова откинута набок, губы безобразно сомкнуты, из углов рта стекала неконтролируемая слюна. Позеленевшие глаза даже не смотрели, они содержали в себе какую-то застывшую тоску, и ни капли живых эмоций, наверное, сквозь эти окна не проникало. Похоже, направление его взгляда могло быть задано только поворотом головы, хотя и менять ракурс обзора для него не имело никакого смысла. Руки также застыли в полупозиции, пальцы растопырены. Складывалось впечатление, что его заморозили в каком-то экзотическом шоу во время кривляния, однако и тот жуткий образ, что он представлял тогда зрителям, скорее всего мало походил на искусство перевоплощения. Зрелище было не для слабонервных. Даже не испытывая к нему родственных чувств, наблюдать за ним было крайне тяжело. У Виталия неприятно сдавило в груди, во рту пересохло. Он застыл на месте, думая о том, какой безжалостною стервой может быть судьба, представляя жизнь в таком вот устрашающем виде. Старик подёргивался, рефлексивно тараня памятью задействованные по принуждению мышцы, те произвольно сокращались, а крепкие парни по бокам не давали ему упасть. И мозг опять прятался от яви, не в состоянии упорядочить даже эти элементарные сигналы.

Некоторое время Виталий смотрел на пациента ошарашенно. Но следующей реакцией его был немой вопрос, обращённый в сторону Захарова: «И этот затерявшийся в небытие тип мог причинить кому-то зло?»

Захаров понял, о чём подумал журналист.

– До недавнего времени он выглядел лучше, – объяснил доктор. – Иногда даже пытался показать, что ему нужно. Ну и в целом был гораздо подвижнее.

– Я смотрю, в вашей клинике мгновенно лишиться рассудка и столь же быстро его обрести – вещи вполне обыденные. Если бы вы не имели дело с человеческой психикой, я бы подумал, что вы изрядный шарлатан.

Захаров ничего не ответил на саркастическое замечание журналиста, только чуть заметно шевельнул уголками рта, как бы давая понять, что либо оценил шутку гостя, либо умышленно не заметил сказанную им глупость, – но что конкретно, определить по его виду не представлялось возможным.

Хотя, собственно, мнение психиатра Виталия интересовало сейчас меньше всего. Уж коль пришлось сюда однажды приехать и познакомиться с неким примитивом здешних обитателей, ему теперь, словно классику жанра, не терпелось самому поизучать его форму: не кроется ли в ней загадка организма, искусственный манёвр, к которому принуждают не сведущих о том люди знающие? Некоторые несложные тесты, о которых он уже успел прочитать в соответствующей литературе, наверняка навели бы на мысль о том, намеренно или ненамеренно притупилась глубокая память больного, причём за довольно короткий промежуток времени. Общение наедине с испытуемым могло бы в этом помочь, но доктор, понятное дело, уходить никуда не собирался. В конце концов его профессиональной обязанностью было наблюдать за пациентами, особенно при встрече их с незнакомыми людьми, то есть во время контакта их с потенциально опасными раздражителями. Вместе с тем Виталий не хотел пока выказывать главврачу свои подозрения. Потерять союзника в данном деле проще простого. И пока он не дал понять хозяину клиники о своей принадлежности какой-либо стороне, он оставался для него простым обывателем, интересующимся состоянием больного исходя из чисто человеческих побуждений. Те искренние эмоции, которые Виталий испытывал перед несчастным стариком в моменты его страстного желания высказаться, но бессмысленно мычащего при этом, трясущегося, даже роняющего от бессилия слёзы, – только они всецело овладели Виталием в данную минуту, отзываясь в нём сильной нотой сочувствия.

В присутствии доктора он задавал больному какие-то вопросы, менял интонацию, пытался жестами показать, что от него хочет, двигал бровями, губами, казалось, ушами и ещё чем придётся, но добиться какой-либо ответной реакции, не то что его понимания, естественно, так и не смог. Старик только вперился стекляшками глаз в пустое пространство, прямо сквозь живое воплощение снов, и не подавал никаких признаков просветления. Нет, он шевелился, вздрагивал порой, как укушенный, произвольно махал рукой, будто отталкивая от себя невидимых призраков, надоедающих ему постоянным присутствием. Или кивал вдруг в ответ на вопрос, но, как оказывалось позже, только потому, что у него зачесалось плечо и таким образом он давал понять, что ему правильно подсказали о раздражении. Потом отворачивался и долго стоял с перекошенным лицом, словно застывшая в полупозиции окаменелость.

Но вдруг его пробивало. Он оживал, разглядев перед собой людей, то есть тех, что были способны его понять, и тогда с приливом желания, совершенно отчётливо тянулся в их сторону за помощью. Губы дрожали и кривились ещё сильнее, немыслимым порывом он извергал конвульсии, пробегавшие по телу снизу до верху. Он словно сожалел, что так долго не мог их увидеть. Они сейчас уйдут, и он не успеет сказать что-то важное или хоть толком излить им своё горе. Казалось, вот-вот, и он заговорит, но язык был не свой, онемели мышцы, и конечности, изувеченные судорогами, только мешали выполнять нужные действия. Он трясся всем телом, страдальчески ноя от бессилия, дёргался в припадке, вызывая бесконечную жалость, и только испробовав на рациональность все доступные ему степени свободы, опять глубоко уходил в себя, увлажнёнными глазами взирая напротив, как бы принимая с горечью безысходность своего положения. Санитары иногда придерживали его, иногда спокойно отпускали. Получив инструкции, они не мешали ему в разумных пределах проявлять себя – в этом заключалось главное правило любого здешнего работника.

Виталий был убит, опустошён, ему хотелось стонать. Первый раз он видел столь явное стремление к жизни, к сознанию и невозможность прорвать тугую пелену сна, искажающего явь и не дающего человеку правильных ориентиров. Ещё немного, и он бы, наверное, убежал отсюда, но в который уже раз ему показалось, что миг удачи совсем рядом – надо лишь чуть-чуть подождать, приложив совсем уже небольшие усилия.

– Мне кажется, он хочет что-то сказать, – без надежды в голосе произнёс Виталий.

Захаров бросил на него косой взгляд:

– Это всего лишь рефлексы. Он ведёт себя так с регулярной периодичностью, даже среди голых стен.

В это было трудно поверить, однако тщетность попыток понять больного, затерявшегося где-то в недрах бессознательного, говорили о том, что доктор скорее всего прав.

– Он хоть что-нибудь понимает? – поинтересовался Виталий.

Захаров отрицательно покачал головой.

Наверное, доктор спокойнее реагировал на происходящее в силу того, что видел таких несчастных каждый день. И нелепые мысленные апелляции к его знаниям и опыту со стороны журналиста, желающего, чтобы он как-то помог старику, были, вероятнее всего, безосновательными. Но если только в голове академика в те минуты имелись какие-нибудь низкие соображения, это способно было вызвать к нему самую глубокую неприязнь, гораздо более сильную, чем к коварному врагу.

Лишь спустя некоторое время Виталий вспомнил про фотографию Канетелина, вытащил её из кармана и показал старику. Тот на мгновение замер. Потом отшвырнул её с силой, замычав как раненый, с обеспокоенным видом дёргаясь и размахивая кулаками.

– Что это? Тревога, гнев, сожаление? – спросил журналист. – Значит, он его узнал?

– Да, похоже, что так. Скорее тот ему не нравится, чем наоборот… Смотрите.

Старик наконец определился с необходимыми жестами. Он прикладывал ладони к плечам, а затем быстро выбрасывал руки вверх и показательно шевелил при этом пальцами. Так он повторил несколько раз, что указывало на некую системность его действий, отображавшую, пусть и неосознанно, какое-то вполне определённое его чувство. Хотя взгляд его всё так же был тупым и направленным куда-то в сторону.

– Что он пытается сказать? Будто над ним что-то шевелится, и это было связано с Канетелиным. Может, от физика исходила какая-то угроза? – гадал Виталий.

Захаров задумчиво наблюдал происходящее, прокомментировав увиденное как истинный специалист:

– Не знаю.

Во всяком случае и здесь Виталий почувствовал, что ему что-то недоговаривают.

Он возвращался из клиники уставшим и совсем опустошённым. В глазах так и стояло обезображенное гримасой лицо старика. То ли он жалел его, то ли увидел в нём очередное знамение катастрофического будущего, словно тот один ассоциировался с уготованной всем людям участью.

Неприятный осадок оставило подозрение: а вдруг Захаров пичкает пациента специальными психотропными препаратами? Виталий представил себе его мучения. Как тяжело воспринимать реальность искажённой и лишь отдалёнными уголками своего «я» пытаться зацепить ту правильную жизнь, которая ещё осталась где-то в глубокой памяти.

С законом у доктора обошлось без видимых проблем. Опросив свидетелей, увидев состояние обвиняемого и составив картину происшествия, следствие квалифицировало последнее как несчастный случай. Уголовное дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Через несколько дней в клинике уже забыли неприятный эпизод, по крайней мере, он не стал для кого-то из ряда вон выходящим. Тех, кого надо, оповестили о смерти физика, произнесли слова соболезнования, по факту скорректировали правила ухода за больными и продолжили с непоколебимым осознанием значимости своей миссии каждодневный, в общем-то, не лёгкий труд. Следить за пациентами стали лучше, но для многих они мало отличались друг от друга. Поэтому ни врачи, ни сёстры не питали к какому-то конкретному лицу особого душевного расположения.

Не считая главврача, Виталий оказался последним, кто активно общался с физиком (по крайней мере, он так думал). Критически воспринимая его мысли, погружаясь в суть его мировоззрения, журналист так и не понял до конца причин его социопатии. Он по инерции всегда воспринимал собеседника как дружественное лицо, не тая в себе преднамеренных чувств отторжения оппонента. Скорее воспринимал его как спорщика, уверовавшего в крайне одиозные, претенциозные взгляды, которого вполне реально было переубедить. Однако в силу возрастного опыта и гуманитарной подкованности оппонента сделать это в случае с Канетелиным было бы непросто. Для этого необходимо было играть ровно на его поле, выискивая изъяны в его философии, иначе бы он не сподобился воспринимать вас ни как соперника, ни как мыслящее существо вообще. Теперь же, после его гибели, вспоминая о разговоре с физиком, Виталий пришёл к выводу, что между настроениями учёного и практическими научными достижениями лаборатории действительно имелась прямая связь. Когда мрачные идеи опираются на конкретные способы их воплощения в жизнь, они становятся катастрофически опасными, а способный реально осуществить задуманное специалист, как фанатик, выдаёт себя по всему спектру контактов с людьми.

И Виталий теперь чувствовал себя крайне неуютно. События развивались так, что по мере того как обрубались концы, его внутреннее напряжение нарастало. Это был самый худший из сценариев, которые он мог предположить. Ничего не выяснив, он ещё и оказался элементом чьей-то игры, а в том, что по факту трагедий в городе вырисовывалась серьёзная партия, он уже практически не сомневался. До Глеба Борисовича было не дозвониться, в физическом центре про Канетелина перестали говорить даже то, что было очевидно. А Захаров слишком хитрил, забивая голову отвлечёнными темами любому, кто проявлял к его деятельности обоснованный интерес. Использовать знания академика могли запросто, ему не пришлось бы даже переосмысливать себя, чтобы обусловить свою карьеру ещё и служением в меру компетентным государственным органам.

«Если Канетелина попросту убрали, – размышлял Виталий, – убрали руками его несчастного соседа, тогда без Захарова было никак не обойтись. Он, скорее всего, не главный злодей и только выполнял указания. В этом случае мы с ним фигуры равного значения, однако для него теперь знать что-то лишнее опасней, чем для меня».

И Глеб Борисович, и Захаров, и он, Виталий, и ещё некоторые персонажи по делу – все находились на одной шахматной доске, участвуя в одной партии. Другой вопрос, кто ими всеми двигал? И если Канетелин говорил о некой бомбе в наших головах, то к этой бомбе ещё имеется хороший, дистанционно управляемый взрыватель. Рвануть может в любой момент. И там, наверное, где этого меньше всего ожидаешь.

Виталий определённо знал, что в таких случаях необходимо делать – ничего. Его не подпустят теперь и на километр к информации, определяющей узкокорпоративные интересы влиятельных лиц. И он не получит больше никаких – ни полезных, ни ложных – наводок. Видно, привлечение его в качестве наживки на Канетелина явилось для кого-то ошибкой. Его по тихому вытеснили из темы, и сейчас, где бы он ни задавал вопросы, в ответ будет глухая броня сопротивления. Крутые ребята оберегают его от опасных сведений, и, наверное, это к лучшему. Следует на всё наплевать. Логика событий подсказывает ему выбрать самый надёжный из всех известных видов поведения, предписывающий закрыть глаза, заткнуть уши, повесить на рот замок и не совать нос, куда не следует.

В тот же день, обуреваемый нелёгкими чувствами, чтобы немного отвлечься, он съездил к родителям. Они жили недалеко, но навещал он их не очень часто. Очевидно, как бы не тянулось старшее поколение к своим детям и внукам, разрыв в интересах, в мировоззрениях, а стало быть, и в потребностях общения между ними неизбежен.

Мать осунулась, заметно постарев за последнее время. Отец ещё держался молодцом, хотя его постоянно изводили головные боли. Он ещё и нервничал, оказавшись не у дел после многих лет активной жизни. Привыкший с детства оказывать другим поддержку, когда дух коллективизма витал в воздухе и жизнь сама говорила о совместных с народом трудностях и совместном счастье, он постепенно внял себе в обязанность и нравственно наставлять всех окружающих. Когда ему перевалило за шестьдесят, наставлять вдруг стало некого. Страна резко изменилась до неузнаваемости, идеологии не стало, а рядовых рабочих-активистов втоптали в грязь. Из заводских его давно никто не навещал, он жил, дивясь переменам, не столько техническим, сколько нравственным – «загогулинам в людских умах», как он выражался. Даже нечастые споры с женой, тоже имевшей своё мнение, отзывались в нём глубоким разочарованием, с которым он до сих пор никак не мог смириться.

Мать тоже любила поговорить о политике, но, в отличие от мужа, была более домашней, приземлённой, оттого во всяких масштабных идеях, устремлённых в перспективу, не видела проку. Новости по телевизору она давно уже не смотрела – они её раздражали.

– Врут они там всё. Готовое мнение нам втюхивают, – отмахивалась она по поводу любых сюжетов.

– Ну, может, и не всё. Может, там и правда есть, – саркастически отмечал муж.

– А кто её будет выискивать с таким подходом к делу? Уж больно навязчиво у них получается.

В связи с этим Виталий почти каждый раз привозил ей пачку распечаток с переводами известных зарубежных изданий, публикующих статьи о её стране. Он брал их в Интернете, и мать их с удовольствием читала, приобщаясь к критическому взгляду на их общество со стороны.

– Опять ересь привёз, – ворчал отец, видя, как он достаёт из портфеля очередную порцию пасквильных заметок.

Но занятиям жены не мешал. Та с вытаращенными глазами по три-четыре часа кряду перерабатывала мнения об их действительности далёких заграничных интеллектов, в основном перед сном, а потом крепко засыпала, не мучаясь болями в суставах и прочими возрастными недугами. Именно поэтому отец снисходительно относился к её увлечению, видя, что чисто в житейском плане оно идёт ей на пользу. Она спала как сурок, тихо посапывая, что доставляло ему огромное удовольствие. Правда, после этого ей снились всякие дохлые собаки, но, приняв во внимание абсолютную иррациональность ночных видений, он уговаривал её не придавать своим снам большого значения.

Приезд Виталия всегда приводил её в сильное волнение. Возможно, потому, что он почти никогда не извещал об этом заранее, а появлялся в родительском доме спонтанно и часто так же неожиданно уезжал, когда возникало какое-нибудь срочное дело. Мать неосознанно переживала за эти скорые минуты их свиданий, не зная, как ими толком распорядиться. Она вспоминала, как он когда-то лежал возле неё несмышлёной крохой, тянулся к ней ручонками, и ей постоянно хотелось вернуть это очарование прошлых лет. Но теперь, когда он стал взрослым человеком, со своим характером и настроением, получить от него порцию тепла стало делом очень нелёгким, тем более когда его визиты были такими краткосрочными. Она его постоянно ждала, а увидев, как-то терялась, чувствуя рядом с ним свою сентиментальность неуместной. «Ну ладно, в другой раз, – успокаивала она себя. – Потом мы посидим и поговорим обо всём по душам. И я его буду гладить».

В другой раз он звонил и целовал её нежно в щёку, интересуясь по ходу настроением. Или забегал вечером, явно не в духе, думая о чём-то своём, так что не хотелось ему понапрасну мешать, и так продолжалось безумно долго. Какое у неё было настроение? Почти всегда одно и то же. Она видела его ребёнком, подростком, юношей, всецело погружаясь в его сложный мир становления как личности, но теперь, когда он превратился в величину собственную, в человека, способного справляться с проблемами самостоятельно, ей стало его сильно не хватать.

Виталий ел на кухне, по-походному быстро, без всяких церемоний. Он предполагал, что его привычка не затягивать с процессом приёма пищи по-своему огорчает мать, но ничего не мог с собой поделать. Он много думал, а думать и жевать одновременно не любил. Поэтому старался отделаться от обедов и ужинов побыстрее.

– Поешь грибочков, Виталик. Нюша дала, – суетилась мать возле стола. – Знала бы, сварила борщ твой любимый. Уж больно редко ты приезжаешь. Соскучилась очень.

Её признания всегда были трогательными. Мягкий бархатный голос будил в нём самые добрые чувства. Приезд сына был для неё больше, чем событием, и она старалась посвятить ему любую минуту, дарованную ей судьбой. Она успевала и посмотреть на него внимательно, не упуская деталей, и подать ещё чего-нибудь на стол, оставленное в стороне по забывчивости.

«Ничего, я сыт», – хотел он сказать, но вовремя осёкся. Разве можно ей такое говорить? К пожилой матери надо приезжать голодным, чтобы не лишать её дополнительного удовольствия вкусно накормить любимого сына.

Как всегда, скоро управившись с домашними блюдами, он дежурно её поблагодарил, встал из-за стола и вдруг увидел её испуганный взгляд: она решила, что он уже уходит. Чёрные пуговки глаз застыли в тоске, выражая неимоверно трогательную растерянность.

Сердце сжалось, он почувствовал вину за столь быстрые свои действия и совсем скупые комментарии по поводу их встречи.

– Мама…

Он распахнул перед ней объятия, и она с готовностью прижалась к его груди.

Перед носом вздыбились её мягкие седые волосы, пахнущие старинной добротой, он погладил её по голове и поцеловал в макушку.

– У меня сейчас много свободного времени, я останусь у вас ночевать. Мы будем много разговаривать. И потом мы будем видеться чаще.

Она взглянула на него снизу вверх, словно не веря своему счастью, прижав его к себе настолько сильно, насколько могла. Тонкие ручки задрожали у него на талии, и он почувствовал, как у него набухли влагой глаза.

– Сокровище моё… Ты самая хорошая мама на свете.

– Это все сыновья говорят.

Да, конечно. Но он хотел, чтобы его слова звучали весомее, убедительнее, чем у других.

– Всё равно ты самая лучшая. Я тебя очень люблю.

Она заулыбалась. Первый признак хорошего настроения, её душевного спокойствия, сохранить которое с каждым годом было всё сложнее и сложнее.

Он вполне отдавал себе отчёт, что является единственно важной её жизненной вехой. В нём одном с высоты всех приобретений и утрат она видела меру своей значимости, простого человеческого счастья, овеществлённого в достойном, умном и харáктерном, продолжателе их с мужем жизни. Поэтому к тому, что определяло её главные внутренние резервы, её здоровье, он по мере возможности непременно старался добавить собственных положительных эмоций. Не всегда это удавалось, но зато и на фоне его усталости и задумчивости любовь к матери выражалась более чем трогательным образом.

Он поцеловал её ещё раз в лоб и подмигнул:

– Пойдём?

Она довольно кивнула, и они пошли в гостиную комнату.

Сначала Виталий поговорил с отцом, который пригласил его к себе в кабинет, где они общались на протяжении получаса. После рождения сына отец лелеял только одну мечту: заиметь свой собственный кабинет, с дубовым столом, министерской лампой и кожаными креслами, где бы он проводил бóльшую часть своего свободного времени. Поначалу досуга было не слишком много, ну а впоследствии мечтания только усилились. Он не скрывал ни от кого своих аристократических замашек. Чтение газет на кухне или на диване в присутствии жены было для него слишком буднично и убого. Другое дело, когда он мог предаваться размышлениям – очевидно, это у них было потомственное – в собственном уютном уголке. Виталий сам помогал отцу выбирать для кабинета мебель и практически полностью оплатил её стоимость. Впрочем, и квартиру с просторными комнатами он устроил для родителей по своей инициативе.

После в меру делового общения с отцом, он долго просидел рядом с матерью, которая, устроившись в кресле у торшера, всё ждала, когда он закончит этот заурядный визит вежливости.

«Где этот склочник набрался такого шарму? – думала она про мужа. – Всю жизнь от станка не отходил, а теперь рассуждает категориями, прямо как потомственный аристократ».

Сын у неё был не такой: степенный, покладистый и только слегка напыщенный. Но зато совсем не злой, душевный. Именно таким она и хотела его видеть, казалось, ещё в то время, когда он не выпускал изо рта соску. Таким он и получился. И теперь бы только любоваться им, но уже не хватает времени – его времени, – поскольку распорядитель теперь он, а она только под него подстраивается. Он был поздним ребёнком, она родила его в сорок два года, и теперь ей казалось, что она слишком рано состарилась.

Виталий сидел перед ней, держа её ладонь в руках, в упор разглядывая её милое доброе лицо. Оно всё было испещрено мелкими паутинками морщин и более крупными линиями складок, но кожа была такой мягкой и нежной, что он всегда с огромным наслаждением трогал её и прикасался к ней губами. Никогда в жизни не пользуясь косметикой, мать сохранилась в первозданно-бархатном виде, отражая природную естественность своих кожных тканей. «Моя булочка», – часто называл её Виталий, что не звучало простой лаской по случаю их встречи.

– Как твои дела, Виталик? Никогда ничего не расскажешь.

Но ему хватало и такого вот простого сидения возле неё, да и ей, наверное, тоже. Что бы он стал рассказывать, пытаться объяснять какие-то малопонятные ей вещи? Ему хотелось только любоваться ею и чувствовать её рядом с собой.

– Всё нормально, мам. – Он ласково её погладил. – Всё нормально.

– Беспокоюсь за тебя. В городе творится что-то страшное. Наши бабки напуганы, говорят, времена Антихриста пришли. Ты уж будь там осторожней. Где не надо, не высовывайся.

– Я постараюсь. Я ведь тоже о тебе всё время думаю.

Мать переживала за него с того момента, как он встал на ноги, и не напрасно. Ещё в дошкольном возрасте в компании таких же шалопаев он бегал по всем соседним дворам в округе, так что его частенько и подолгу приходилось искать. Они постоянно придумывали какие-то дурацкие игры, о которых он теперь вспоминал с неохотой. Ему всегда попадало от родителей. Кроме того, он был заносчивым и из-за этого нередко битым всякими развязными козлами, да и с приятелями отношения у него были неровными – то так, то этак.

Раз они заперли в подвале большого дома соседского мальчишку. Сказали, что там валяется труп. Тот не поверил, они поспорили, он пошёл, чтобы посмотреть, и они закрыли дверь. Остальные двери подвала были все наглухо заперты, так что тот оказался в западне. Хотели напугать, но когда решили его выпустить, то там никого не оказалось. Мальчишка бродил и лазил по подвалу больше часа, перенервничал, весь измазался, и, конечно, после этого был на приятелей в обиде.

И в другой раз – наверное, в отместку – тот разыграл для Виталия целую комбинацию. Когда компания весело обсуждала дворовый люд, он намеренно спровоцировал такого отменного ловеласа, каким себя выказывал Виталий, шлёпнуть со всего маху по заднице Принцессу. Это была самая красивая девица в округе, которая свысока смотрела на всех близких по возрасту парней, будто они являлись для неё незримыми букашками. Виталия с приятелями она была старше лет на семь. У неё был только один ухажёр, некий Граф, довольно резкий и прямолинейный тип, которого она просто держала при себе. По случаю тот был заранее предупреждён зачинщиком спора, будто Виталий собирается говорить с Принцессой о любви, и с интересом наблюдал сцену со стороны. Когда Виталий проделал свой отменный трюк, слегка обескуражив таким нахальством девицу, выскочивший из ниоткуда Граф с такой силой маханул его в скулу, что он со свистом улетел в кусты и некоторое время вообще не шевелился. Все перепугались. О его самочувствии первым справился тот самый коварный приятель. Выигранное мороженое Виталий есть уже не мог чисто физически: у него долго потом болела челюсть.

Тогда он впервые почувствовал, какая изощрённая может быть человеческая месть. Сначала он дивился, но уже чуть позже до конца осознал коварство некоторых людей, понял, что водившиеся с ним ребята могут его и втайне ненавидеть. Могут болтать с ним ни о чём, но при случае неслабо насолить, просто даже шутки ради, неосознанно. И он перестал всем верить. Настоящих друзей, кроме Олега, у него так и не появилось.

А уже несколько лет спустя, с более окрепшим, но ещё не установившимся до конца мировоззрением, он затеял с этим вечным тогдашним своим оппонентом спор. Они говорили о талантах и поклонниках, о поносителях и жертвах, которые все кувыркаются в одной большой кубышке, где к ним липнут произвольно положительные и отрицательные качества, кубышке, которая в просторечии именуется страстями. Об этом говорил тогда его приятель. Люди выпадают из неё, как кости на игровое поле, а жизнь без их участия определяет – чёт или нечёт.

Они брели ранней осенью по обрывистому берегу реки, незаметно подобравшись к самому его краю. Обозревая окрестности с высоты и одновременно манкируя дельными словечками, Виталий наконец добрался в бессильной своей злобе до главного, обвинив приятеля в известной практичности и в том, что с таким подходом к жизни, как у него, он никогда не испытает истинных чувств.

– Пусть передо мной будут жертвы, – горячился Виталий, – но я принимаю их как равных себе, способный в любую минуту повиниться, способный понять их и больше не причинять им боль!

Он видел, что крайне неубедителен перед оппонентом, что напрасно взялся ему что-то доказывать, тем более приписывать ему кажущиеся отрицательные качества. Парень, кстати, был из приличной семьи, с хорошим, предсказуемым будущим, и просто над ним смеялся.

– Ты ведь уже теперь смотришь на людей как на просвирки, которые лепят только по случаю, чтобы их надкусить, – не унимался Виталий. – Разве способен ты чувствами взлететь за кем-то?! Да хотя бы над собой?

– А ты способен? – надменно бросил он. – Что ж, если ты такой правильный, можешь заранее искупить вину перед будущими жертвами. Лети. – Он указал ему рукой на реку.

И Виталий сиганул с разбега в холодную воду, пролетев вниз добрый десяток метров и больно ударившись плечом о дно. Как он не сломал себе шею, можно только удивляться, поскольку речка в том месте была довольно мелководной. Приятель вызвал «скорую», сопроводил его в больницу, но после этого случая они больше не разговаривали. А Виталий стал сомневаться в том, о чём тогда думал.

Этот случай почему-то вспоминался в семье чаще других.

– Господи, как ты нас тогда напугал, – сокрушалась мать, крепко схватив его за руку. – Виталик, скажи хоть теперь, зачем ты прыгнул в реку?

Она видела, что он многое держит в себе, и искала для случившегося простое объяснение.

Виталий грустно улыбнулся:

– Глупый был. Ты же знаешь.

Порой мать сама заводила разговор о Виталином детстве и юности. Она знала его только со своей стороны, многое в его поведении казалось непонятным, и в моменты таких вот домашних бесед она всё пыталась вызвать его на откровенность. Не то чтобы он был слишком замкнутым, но вдаваться в воспоминания не любил. Для объяснения своих прошлых поступков пришлось бы долго подбирать слова, но с годами и понятия об окружающем его мире, и собственный склад ума претерпели уже такие изменения, что выискивать рациональное зерно в каждом конкретном, пусть и запомнившемся, случае стало бы непомерной нагрузкой на её здоровье. Он бы её просто запутал и расстроил. Поэтому он не углублялся в своё прошлое, и она больше рассказывала, чем спрашивала, больше предполагала, чем домогалась его ответов. А потом незаметно переходила на собственную жизнь, в которой было всё гораздо проще и сложнее одновременно.

Они долго болтали в этот вечер. Попили чаю, а потом мать забралась в постель, и он сидел рядом с ней, слушая её рассказ о том, как она нянчилась с ним, вспоминал свои детские рисунки, удивлялся историям о различных её подругах и соседках. Она говорила всегда очень образно, картинно передавая чувства и настроение. Во всяком случае, у неё всегда получалось яркое повествование, с изумительной мимикой на лице, в которой присутствовали вся её душевность и красота.

На следующий день они гуляли, и он уехал от них только к вечеру, отец с матерью были очень довольны. Он порадовался за них, почувствовав прилив сил и бодрости, ощутив, что за своими проблемами совсем забыл о простом, элементарном способе сделать родителям приятное. Теперь, конечно же, он станет навещать их чаще.

У него и дома стало как-то веселее, настроение сразу улучшилось. Он понимал, что там, вдали, тебя всё равно ждут, и для взаимной радости надо быть всего лишь благодарным отпрыском. Одно дело знать – но он вдруг ощутил незримую связь с родителями на другом, каком-то особом уровне. Доброта и верность людей, которые заботились о тебе с пелёнок и знают тебя, как никто другой, отзываются в сердце совсем не обычным душевным теплом, и физик, безусловно, неправ, говоря, что мы не нужны никому на свете. Родители будут нужны нам ещё долго после своей смерти.

Вечернее солнце играло бликами, он выпил вина, уловив в себе приятную истому вдохновения. В таком состоянии его мысли приобретали особо изысканные формы, однако сейчас, как никогда, захотелось посвятить себя абсолютному ничегонеделанию. Хотя работа ждала своего часа, в электронной почте наверняка уже висела куча непрочитанных сообщений и по крайней мере один деловой звонок надо было сделать ещё вчера.

Косые лучи, проникая в комнату, падали сбоку на книжный шкаф. Проходя мимо, Виталий вдруг заметил на стекле на фоне подсвеченного налёта пыли совершенно отчётливую свежую полоску.

Он сразу замер от неприятных ощущений.

Очевидно, удачно освещённая стеклянная задвижка оставила на себе след чьего-то случайного прикосновения. Виталий осмотрел любопытное место с наиболее удобного ракурса. Да, полоска действительно была свежей. Однако он совершенно точно мог сказать, что даже не подходил к книжному шкафу по крайней мере две последние недели.

Тут же бросившись к письменному столу, он стал внимательно осматривать лежащий с правого края блокнот, применив в процедуре обследования большую лупу, специально приобретённую им для этих целей. Он изучил предмет со всех сторон, как классный сыщик из старых детективных сериалов, имея для того, однако, более чем веские основания. В блокноте имелось несколько ничего не значащих записей и только на первых двух страницах, далее он был абсолютно чистым. Несколько произвольных чисел и слов, составленных друг за другом в столбик, и больше ничего. Однако между седьмым и восьмым листами в него была вставлена маленькая волосинка, торчащая наружу и держащаяся в толще листов за самый кончик, так что, если бы блокнот взяли в руки и стали его перелистывать, она бы неминуемо из него выпала.

Этот блокнот являлся приманкой, на всякий случай. С некоторых пор Виталий стал пользоваться и такими специфическими методами контроля. Он ожидал, что волосинка могла быть вставлена обратно, но не так, как она лежала первоначально, или куда-то в другое место, а не между именно седьмым и восьмым листами. Однако её в блокноте вообще не было. Всегда была, а теперь не было. Сдуло ветром, разыгравшемся в комнате в его отсутствие.

Проверив ещё пару контрольных точек, он пришёл к совершенно отчётливому, однозначному выводу: пока он ездил к родителям, в его доме кто-то был. И данное обстоятельство его неприятно насторожило.

«Чёрт возьми, что они ищут? – думал он. – Хотя бы знать. Но ведь оттолкнуться совершенно не от чего. Они, наверное, полагают, что я теперь тщательно шифруюсь, раз им непонятно, известно мне что-нибудь или нет».

Рукопись физика на месте, она в полном порядке. По её поводу он не делал никаких заметок, она вообще для него малоинтересна. Бред сивой кобылы. Смесь «торжества» непознанного гения с витиеватостью напыщенного литературного языка. Похоже, тот решил посоревноваться в суждениях с великими философами, но, кроме путаных формулировок, ничего другого выдать не смог. Канетелин, конечно же, не гений. В душе мы все художники, кто-то больше, кто-то меньше, однако гений потому и называется гением, что он умеет представить свои переживания так, что они понятны всем. Гений всегда конкретен, а не расплывчато-туманен, тем более когда его деятельность касается научных изысканий.

Если Виталий может наткнуться на важный посыл учёного и не придать ему сперва никакого значения, то, вероятнее всего, такой ход событий и вызывает у них опасения. Но в таком случае пока он сам не поймёт, в чём смысл отдельных фраз, слов или действий Канетелина, пытаться раскрыть его тайну дело совершенно безнадёжное.

«Значит, они меня проверяют, а причина, возможно, кроется в одном знаке или в одной надписи, которая всего важнее. Возможно, там есть какой-то ключ… Ещё и “жучков” наверняка понаставили». – Он недоверчиво осмотрелся по сторонам.

Вспоминая последовательность разговора с учёным, он понял, что всё-таки были тогда отдельные моменты, которые со стороны можно было трактовать неоднозначно. Некоторые слова, например, физик произносил тихо, почти шёпотом, и вид у него при этом был загадочный. Если поднапрячь воображение, то увидеть в них скрытые намёки вполне допустимо, тем более для людей, собирающих в совокупность все нюансы, даже самые незначительные. В таком случае ему бы очень не хотелось оказаться в лабиринте чьих-то глобальных интересов. Выбраться из него без проблем будет сложно, но самое главное, ничего не подозревая, можно запросто оказаться некой жертвенной овцой, приносящей обычно удовлетворение именно своей бессмысленной погибелью, поскольку, даже если ты ничего не знал, просто уже никогда не сможешь открыть рта – во успокоение одних и подстрекая к излишней активности других. Сказать бы прямо: «Мне ничего не известно», – но кто теперь верит словам?

В событиях есть люди, которые только отвлекают внимание, такие всегда должны быть, их большинство. Кого-то из них потомки проклинают, кого-то вспоминают с благодарностью. Но роль их пустая и нигде не прописана, и нынешние персонажи, возможно, даже не подозревают о том, какая о них в будущем сложится память.

Он долго ещё сидел в раздумьях, катая по столу карандаш. За окном наметились сумерки. Он лёг на диван и незаметно уснул. Казалось, он продолжал думать даже во сне.

**13**

Гражданская панихида, посвящённая памяти Лария Канетелина, проходила в Доме учёных. Гроб с покойным был выставлен на сцене зала заседаний, оформленного в бардовых тонах, с приспущенными шторами и мрачной подсветкой люстр, придававших помещению вид общественной молельни. Траурная мелодия играла весь день. Множество венков с лентами от различных организаций, искренние речи, почётный караул – всё говорило о том, что Канетелин являлся довольно известной личностью, ценимой не только государством, но и широкими слоями научной общественности. Зал был забит до отказа, Виталий даже не ожидал увидеть здесь столько народу. Люди выходили из дальних рядов, поднимались на сцену и, проходя мимо, бросали взгляд на жёлтое, безумно худое лицо покойного. Многие ещё помнили его молодым, и тот разительный контраст, который составлял лик усопшего с милым, энергичным человеком, каким он был раньше, вероятно, вносило в церемонию прощания ещё более печальные мотивы.

Во время траурного митинга соратники и почитатели таланта учёного много говорили о его весомых достижениях. Выступавшие подчёркивали незаурядные качества Канетелина как физика, его гениальный ум, новаторство и прозорливость, однако ни словом не обмолвились о его человечности и свойствах его натуры. Может, со стороны сей факт показался несущественным, но Виталий обратил на это внимание сразу. В такие минуты люди обычно не скупятся на добрые слова, но в качестве соратника или учителя его упоминали очень немногие.

Среди родственников присутствовали только две почётного возраста дамы, каких-то дальних кровей, как успел выяснить журналист. Они с недоверием поглядывали на окружающих; трудно было отделаться от мысли, что они впервые узнали о наличии в их родовом колене столь почитаемого лица. Наверное, им досталась нелёгкая роль – на старости лет любые испытания являются шоком, – однако, несмотря на возраст, они стоически выдерживали прощальные речи, водружаемые на голову покойного один за другим лавровые венки, воспринимая его миссию как нечто сверхзначительное и почти уже им близкое. Этот странный их родственник – вероятно, проказник в детстве – добился таких серьёзных успехов. Пока они, ни сном ни духом не ведая о его занятиях, боролись с судьбой, он сумел открыть какие-то там вещества, и теперь уже, сформировав о себе устойчивое мнение, заставляет думать о сильной и жилистой, оказывается, их династической ветви, гордиться им и отмечать уже по совокупности несколько поколений, которые питали соками его чудо-ум и к которым принадлежат, безусловно, и их дражайшие персоны. Ощущать быстрое зарождение союза, пусть и косвенного, с тем духом и традициями, что несут в себе представители одного поколения, было для них сродни счастью. Оно пересиливало теперь горечь утраты, хотя, что они потеряли и что приобрели в данном случае, они начинали путать, отчего происходящее в зале давило непомерной тяжестью, и хотелось уже, чтобы поскорее всё закончилось.

Всё это время Виталий искал глазами Глеба Борисовича. Если физик являлся его родственником, в котором он принимал непосредственное участие, он обязательно здесь должен быть.

Мимо сновали разные люди, элегантно одетые или совсем не бритые, но полковника среди них заметить пока не удалось. Виталий устроился в дальнем углу, чтобы обозревать весь зал, не вращая головой. Тут же находился второй вход, который вёл на лестницу.

Этажом выше располагался буфет, где научная элита – те, кто не собирался на кладбище и кому позволяло здоровье, – выпивала по пятьдесят граммов в память об усопшем, не забывая при этом пообщаться на важные темы текущего дня. Хотя через некоторое время, очевидно, под впечатлением от бренности собственных тел, водки выпивали и те, кому здоровье не позволяло. Собираясь в кучки по интересам, обязательно при этом раскланиваясь по сторонам – чтобы обозначить в иных умах ареал своего влияния, – представители величайших мозгов страны переводили на трудно воспринимаемый учёный язык простенькие задачи и, наоборот, о широчайших, заоблачных проблемах науки изъяснялись с такой лёгкостью, отчеканивая формулировки как по учебнику, что складывалось впечатление, будто проблем перед ними никаких нет, а вопрос только в средствах, наличии времени и, что обязательно, в прекрасном самочувствии членов всего их коллектива. Впрочем, непосвящённым в тайны этой словесной эквилибристики истинное значение высоких оценок или ироничных пассажей сиих доблестных мужей отечества было не понять. Иногда они замолкали в напряжённой задумчивости, и возникал вопрос: что это их повело так скорбью одновременно всех? Как будто тема сама собой ушла, и вновь печальною личиной встала перед ними смерть соратника, хоть и не друга, но как ни как единомышленника. Однако выяснялось неожиданно, что всё это время один из них, стоящий к вам как раз спиной, тихонечко бормочет что-то слаженным речитативом, а остальные внимательно, отвадив взгляд на дальние предметы или в пол, его слушают. И становилась ясной задумчивость гениев, взгрустнувших, возможно, от ревности, когда один из сотрапезников нашёл (тоже) время рассказать компании о своих последних достижениях. Им уже не хотелось скорби – хотелось в свои великие лаборатории, огромные кабинеты с грудой оборудования, часть из которого, причём наверняка бóльшая её часть, давно уже просто забыта, и вот теперь только, по ходу выслушанного рассказа неожиданного приятеля-физика, появилась острая необходимость сдуть с неё пыль. Порой смерть соратника, одного из некоторых, оказывается переломным моментом, чтобы вернуть к жизни давно заброшенные, но, безусловно, ещё не утратившие актуальность темы.

По этому поводу можно выпить ещё рюмашку. Завтра появятся новые мысли. Слова, убеждающие руководство в поддержке, уже готовы, главное – уверенность в правильности выбранного пути, и она есть. Дорога открыта, широкий проспект, а обозначившие свои притязания отдельные личности будут рыться наверняка не там. И даже с учётом того, что этот стоящий рядом говорливый прохиндей явно пудрит всем мозги, стараясь со своей привычной хитрожопостью направить соратников на ложный след, зёрна от плевел отделять мы умеем, не об таких ещё зубы точили. Были времена, когда таких искусников глотали целиком, пока они блеяли о недостатках методов да упрощённости способов анализа. Жаль, те времена закончились и наступила эпоха релаксации, теперь не повоюешь с шашкой наголо, теперь и кислятина в науке имеет свою цену. И живчиков ничем не прошибёшь – так и лезут, умники, впереди идей, прикрывая тупость взглядов дорогими пиджаками. Ну ничего, у нас ещё остался базис, есть на что при случае опереться.

Только что соратники, они уже разворачивались, глядя в разные стороны, временами лишь поднимая вместе третью-пятую рюмаху, окунаясь в свои монады, с тревогой соображая, что с разговором этим давно уже пора покончить. Некоторые уже стали забывать, по какому поводу сюда явились. Страшно длинная церемония всех достала, но уйти без повода, не показавшись всем без исключения, было нельзя. Седьмое чувство, или правило системного конкурента, говорило о том, что на таких вот всеобщих мероприятиях рождаются или распространяются самые верные слухи, не узнать о которых первым практически означало проиграть.

Тем временем в зале продолжалась церемония. Говорить больше было некому, телевизионные съёмки прекратили, поскольку важные лица государства уже отметили прощальный ритуал своим присутствием и удалились. Люди ожидали торжественного шествия.

Только теперь Виталий заметил Глеба Борисовича, тот тихо переговаривался с каким-то высоким господином. На лице полковника застыла скорее озабоченность, чем скорбь. Очевидно, он появился тут совсем недавно, отдавая дань уважения знаменитому родственнику, однако складывалось впечатление, что его визит носил больше деловой характер. Виталий давно привык к суровой холодности и невозмутимости полковника и решил, что не помешает его чувствам даже в такой непростой для него момент. Он уже собрался было подойти к нему, но не успел. Полковник встретился с ним взглядом и, никак не дав понять, что заметил его, в чём Виталий не сомневался, тут же обратился куда-то в сторону. Затем к нему подошёл какой-то службист, шепнув несколько слов ему на ухо, после чего они быстро удалились.

Больше он полковника не видел, тот, скорее всего, уехал. Заглянув в соседние с залом помещения, поднявшись в буфет, Виталий вернулся к гробу, чтобы в последний раз посмотреть на великого учёного, потрясшего его однажды своими дикими представлениями. Унёс ли он с собой этот опасный вирус ненависти или успел заразить им другие умы? Изменившееся до неузнаваемости лицо, как после инсульта, принадлежало другому человеку. Однако неприятная оскомина, которую держала память, вновь возникла в голове журналиста, отражая в себе всю извращённость представлений этого цивилизованного злодея. Животные не могут ненавидеть себе подобных, на это способен только человек. Но в отличие от представителей прочей живности возможность уничтожить всё вокруг у него имеется самая практическая. И уже появились люди, вынашивающие подобные мысли. После нас хоть потоп – одно из популярнейших представлений о будущем, но что, если и настоящее кто-то видит возможным залить водой? Истоки гибели цивилизации заложены в неумении задуматься о следующих поколениях. Их хочется заранее проучить, предоставив им бóльшие трудности, чем они заслуживают.

Размышляя позже, когда Виталий уже покинул место прощания с учёным, он вспомнил, что не увидел сегодня руководителя исследовательского центра, где работал Канетелин. По долгу службы Антон Егорович просто обязан был прийти туда, поскольку Канетелин являлся знаковой фигурой в их институте. Да и среди специалистов в стране был хорошо известен своими работами. От директората присутствовало несколько человек, но самый главный администратор по какой-то причине приехать не смог. Виталий в данный момент задавался только одним вопросом: связано ли его отсутствие с продолжавшимся по делу расследованием или для этого есть другое, более простое объяснение? Антон Егорович был последним, кто ещё мог что-то прояснить, хотя в силу его должностного положения получить от него какие-либо сведения представлялось делом совершенно невозможным. Виталий уже почувствовал, что вся информация по терактам собралась в плотный комок, к которому никакой вообще твари доступа не было. В СМИ в таких случаях распространяли всякую чушь, распространяли только с той целью, чтобы что-то говорить. В результате тема замусоливалась, и через какое-то время она надоедала. О ней забывали, и чем больше от исходной точки проходило дней, тем неохотнее о фактах вспоминали те люди, которые ещё могли что-то рассказать.

А руководитель центра в этот день улетал на научный симпозиум в Мюнхен. Он хотел было заехать с утра на церемонию прощания, но пришлось появиться по важному делу на рабочем месте, а после уже времени не оставалось. Самолёт улетал в час тридцать, и в полдвенадцатого они отправились в аэропорт.

Делегация состояла из трёх человек. Директор взял с собой двух докторов наук, из тех, что поухватистей, надеясь уловить с их помощью новые тенденции в близких к их тематике мировых исследованиях. Сам он для развития научных идей, не говоря уже об их генерации, был туговат на мысли, в чём, правда, признавался только себе, да и не являлся на самом деле глубокий научный анализ его работой. Для этого есть молодые-перспективные, а его задача создавать им условия. Ну и по мере возможности снимать понемногу сливки, чего он тоже в общем-то достоин. Поэтому данная поездка, с утверждением даже персоналий, была запланирована заранее, поскольку пропустить обсуждаемые на симпозиуме вопросы было бы неразумно. Помешать могла только возникшая вокруг их центра возня в связи со странной гибелью команды Канетелина. Но в последние дни всё неожиданным образом разрешилось, в соответствующих структурах дали зелёный свет, и билеты на самолёт сдавать не пришлось.

Никаких докладов они делать не собирались. Были запланированы несколько встреч с известными учёными и участие в дискуссиях по двум наиболее важным проблемам.

Антон Егорович понимал, что в течение всей поездки, начиная с текущего момента, их будут пасти люди из органов, фиксируя каждое их слово и действие. Наверняка уже кто-то летел вместе с ними, и данное обстоятельство почему-то доставляло ему дополнительное беспокойство. Вообще в последнее время он стал больше нервничать. Что-то творилось необъяснимое в их учреждении, поэтому постоянно приходилось быть начеку. Ни в коем случае нельзя было терять бдительность, а тем более допускать ситуации, подобные той, в которой оказался физический центр в последние месяцы.

То, что в своих исследованиях они широким шагом выскочили на грядку военных специалистов, ему было сказано сразу и недвусмысленно. Те занимались проблемой пятнадцать лет, а Канетелин со своими мóлодцами получил эффект, как оказалось, намного проще и качественней. Работу пришлось прекратить, но только формально; они, безусловно, не бросили свои исследования и после беседы в органах стали только, как им казалось, хитрее. Собственно, тема работ и до их открытия звучала совершенно отвлечённо от того направления, к которому всеми мыслимыми и немыслимыми связями прикрутила их живая творческая мысль. Однако, увидев реальный итог экспериментов, теоретически никак не обоснованный, остановиться уже было невозможно. Продвигаться приходилось скорее на ощупь, осторожно беседовать с маститыми фундаменталистами, но навалиться всем миром на изучение явления не давали. И когда пошёл каскад результатов, само собой разумеется, начались проблемы. Первой оказался случай с Канетелиным.

Что с ним произошло в один прекрасный день, никто так и не понял. Но через некоторое время ведущим специалистам лаборатории тихо намекнули, что возвращаться к исследованиям по закрытой теме ни в коем случае не нужно, если они не хотят всей компанией вылететь с работы и навсегда распрощаться с карьерой учёных. Тут-то, наверное, Белевский и заподозрил неладное. Он терпеть не мог своего шефа, нередко ругался с ним, но от одной мысли, что руководителя их лаборатории таким изуверским способом нейтрализовали, его бросало в яростную дрожь. Ещё работая с Канетелиным, Белевский пугался его мыслей, с опаской воспринимая его высказывания, что на их экспериментальном участке, похоже, смонтировано никому не ведомое настоящее оружие. Однако после случая с завлабом он сам готов был выступить судьёй и навести где надо шороху. Уж он-то сделает всё правильно: сначала даст кое-кому просраться, а потом уничтожит весь их грёбаный экспериментальный участок вместе с трубой и двумя агрегатами. Дело в том, что установленное ими явление при его вызове искусственным образом неминуемо приводило к взрыву. Сначала маленькому, но они быстро поняли, как увеличить его мощность. А уж после того, как Канетелин попал в клинику, Белевский вдруг увидел, как предугадать время и место такого эффекта, поскольку тот наступал со сдвигом фазы пространственно-временного континуума относительно положения самой установки.

От осознания последствий простого замысла бросало в пот. Под видом безобидных научных изысканий, никем не заподозренным во вселенском коварстве, можно было запросто устроить настоящую катастрофу. Неважно, что ты не сумасшедший и не собираешься никого убивать. Но в твоём сознании – идея, подкреплённая мощным стимулом, и когда другие поймут, что сила твоя вовсе не в том, что ты можешь сделать, а в том, что разум всегда выше твоих чувств, число твоих сторонников многократно увеличится, и это одно будет означать безоговорочную победу. Главное, не дать управлять собою злобе, иначе сам не заметишь, как превратишься в чудовище.

Но долго отгораживаться от назойливых мыслей ему не пришлось. Решение было и спонтанным и обдуманным одновременно. Видно, ему очень хотелось кого-то напугать, так чтобы этот внешний страх пересилил его собственный, и тогда бы он почувствовал себя полноправным хозяином положения, а не дешёвой профурсеткой, только и мечтающей, что о дополнительной прибыли и душевном спокойствии.

Он спровоцировал разрушение мачты, находящейся на территории военной части и видневшейся с акватории залива на вершине одного из холмов. Взрыв пришёлся у самого её основания, она упала как подкошенная. Похоже, эффект это произвело сильный, и он сразу понял, какую сотворил глупость. Никто ни в какие переговоры с ним не вступал. А через несколько часов трое ведущих специалистов лаборатории попали в жуткие трагические происшествия.

Историю о запутавшемся в научных открытиях и собственных мыслях Белевском Антону Егоровичу в нечётких, но удобоваримых формулировках была рассказана курирующим их центр представителем спецорганов. Это была их версия событий, которую он принял безоговорочно, несмотря на имеющееся у него собственное мнение. Впрочем, никаких мнений касаемо государственных интересов у него не должно было быть. В своём деле он являлся лишь мелким исполнителем, несмотря на научное звание, регалии, должность и доход. Нарушать порядки не полагалось, здесь стирали в порошок и не таких. Стирали известных, одномоментно становившихся никем, поэтому всякие прозаические факторы типа принципов и моральных норм следовало держать в самом нижнем ящике стола, хорошо бы ещё и запертом на сложный замок, чтобы долгое отпирание его уже в самом процессе отбивало бы всякую охоту возвращаться к этим принципам до самой старости…

Пассажиры ожидали посадки в самолёт, уже пройдя предполётный досмотр. По громкой связи объявили какого-то мужчину с их рейса, попросив его подойти в комнату проверки багажа. Никто в зале не двинулся с места, и минут через десять объявление повторили.

В соседнем помещении в мягких кожаных диванах расположились пассажиры бизнес-класса, тихо продолжая свою деловую жизнь с многочисленными планшетами и лэптопами в руках. Антон Егорович не стал к ним присоединяться. Он решил не нарушать принципов корпоративного единства, оставаясь вместе с своими сотрудниками, хотя в разговор двух своих спутников за всё это время ни разу не вмешался. На душе было как-то тревожно. С нужными людьми была полная договорённость и согласованность действий, однако он полагал, что не всё происходящее находится под контролем, а стало быть, причины для беспокойства у него всё же имеются.

Вспоминая о последних неделях на работе, он всё старался понять, где допустил ошибку, вовремя не доложив о подозрительных вещах, творящихся в лаборатории Канетелина. Ничего страшного, если бы он рассказал несколько больше, чем требовалось, но плохо, если он упустил что-либо важное. Разобраться в проблеме самому он никогда не представлял себе возможным, поскольку, доверяясь собственной интуиции, далеко не уедешь, рано или поздно споткнёшься. Говори и пиши талантливо, но решают пусть другие – в этом состояло его жизненное кредо, позволяющее вовремя припасть телом к нужному направлению. И он даже не находил непристойным делиться с заинтересованными лицами мелкостями из жизни своих сотрудников, не говоря уже об их теоретических вывихах. В конце концов, если дело касается многих, он просто обязан был донести на отдельные неуправляемые личности, амбиции которых уже вышли из сферы их профессиональных интересов. Опасных людей всегда нужно держать под контролем. За остальными следить, а опасных просто бить по рукам всякий раз, когда им только взбредёт в голову показать людям фигу. Тогда мы проживём намного дольше. И честь и хвала государству, умеющему отслеживать телодвижения разных типов, пусть даже их больше количеством, чем всех подотчётных ему граждан в стране.

Народ зашевелился, объявили посадку. У последнего пропускного пункта пассажирам по очереди отрывали от билетов посадочный талон и приглашали загрузиться в автобус. Тех, кто летел первым классом, уже отвезли к трапу самолёта. Они поднялись на борт, практически не застав мелкий дождичек, начинавший накрапывать перед самым отлётом.

Ввалившись в первый салон слегка запыхавшимся, Антон Егорович обнаружил торжественную неспешность, воцарившуюся на местах, что невольно заставляло его двигаться медленнее и тише. На соседнем месте никого не было. Он поставил рядом свой героический по сроку службы кейс и вальяжно развалился в кресле. Вытянув вперёд ноги, удалось принять такой же сосредоточенно-тупой вид, как у большинства окружавших его бизнес-пассажиров.

Его спутники сидели в другом салоне, почти в самом хвосте самолёта. Теперь ничьи перемещения уже не смущали. Он подумал с какой-то даже глубокой удовлетворённостью в душе, что здесь его и место. Не кресло с номером, которое он занимал, а именно эта среда, особая аура тишины и занятости, сопровождавших его деловую поездку, уголок сосредоточенного величия, которое излучала каждая устроившаяся в салоне личность. Суета и административные заботы ему изрядно надоели, и теперь он с наслаждением представил себе несколько дней спокойного делового общения, где никто не будет отвлекать его финансово-бытовыми и прочими проблемами. Самолёт уже набрал высоту, уже разносили по ходу напитки, а он, поглощённый созерцанием небес, наверное, оттого, что за последние дни немного устал, упрямо нежил себя тупой отрешённостью вплоть до дремоты.

Перекинув взгляд от иллюминатора на противоположный борт, он беззаботно уставился на седовласого мужчину в фиолетовом пиджаке и с платком на шее. Тот сосредоточенно думал, смотря в планшетник, часто потирая и теребя пальцем нижнюю губу. Наверное, читал какую-нибудь статью. Может, выбирал варианты эскизов или дорабатывал собственную речь. Во всяком случае, пленяла его тугая сосредоточенность в попытке во что бы то ни стало решить задачу до того, как надоест бесконечно разглядывать экран устройства. Сосед почувствовал, что за ним наблюдают, быстро повернув голову и так же моментально вернувшись к своему занятию. Однако в следующий раз, уверенный, что наблюдатель всё так же на него смотрит, неожиданно обратился к Антону Егоровичу, словно они были знакомы уже сто лет:

– Физическая и нервно-психическая слабость, которая проявляется повышенной утомляемостью, истощённостью или частой сменой настроений.

– Простите?.. Не понял. – Антон Егорович вернулся из туманных далей в реальность.

– Слово больно заковыристое попалось, – объяснил пассажир и показал ему экран устройства, на котором обнаружились пересекающиеся ряды клеток.

О, господи. Мужчина, оказывается, разгадывал на планшетнике кроссворд. Антон Егорович отрицательно мотнул головой и отвернулся.

Вновь появилась приятненькая стюардесса, словно отобранная на работу по всем важнейшим параметрам. Она мило улыбалась всякий раз, когда проходила мимо сидящего впереди тучного господина в мятом костюме. (Впрочем, мятость была, скорее всего, искусственная, что-то типа брендовой мешковины, бросающейся в глаза нарочито изысканной неопрятностью.) Тот много двигался, отчего невероятно качалась спинка его кресла. Слышно было, как он пыхтел и шутил, и этим всем, видно, умилялась славненькая Юлия (имя стюардессы значилось на беджике), гуляя из-за него по рядам и уделяя пассажирам заметно больше внимания, чем требовали инструкции. Наверное, они были знакомы. Такая мысль невольно отзывалась в Антоне Егоровиче неприятным чувством ревности, связанным не то с пугливостью иных женщин, старающихся не связывать себя по жизни с интеллектуалами, не то с неумением его самого забананить какую-нибудь классную тёлку. Он сам зачем-то попытался ей улыбнуться, на что она, поняв, что ему ничего не нужно, ответила так же мягко-лучезарно, однако после этого ни разу не взглянула на него без надобности.

Если рассматривать женщин как заботливость, как стремление выгодно представить своих спутников жизни, то с учётом того, что даже их лик есть немаловажная часть данной функции, они, безусловно, очень преуспели в том за тысячелетия развития. Явно опережая мужиков в наличии яркого фантика, эта наша половина сделалась чрезвычайно специфическим функциональным типом, пытающимся подчинить своим замыслам самые душевные и самые жёсткие характеры. Отчего и заботливость их превратилась в некую форму потребности, ибо, участвуя в потакании слабостям, гораздо легче утвердить право на господство. Они и в науку идут как в нераспаханное поле торжества, убивая своими чарами, мечтая осветить собою не предмет исследований, а тех, кто к этому предмету имеет отношение. Чтобы они ушли с головой в познание, в это он не верил. Для них наука – это сборище мужиков, а мужик – изверг по определению. Они и относятся к ним как к извергам, которых только можно приручить.

За что он так набросился на милую девушку, готовую безукоризненно выполнять свои служебные обязанности, он не знал. Влечение и досада в нём явно смешались в какой-то гремучий коктейль. В салоне опять воцарилось божественное спокойствие, но ему всё никак не удавалось совладать с собой – видно, не даром Провидение дёргает струны нервных отростков в самых уязвимых наших местах. Дома остались жена и дети, он летел на научный симпозиум, но думал он не о доме и не о работе, а совсем о другом. Ему казалось, что, достигнув в жизни определённого положения, являясь научным руководителем крупного исследовательского центра, он всё равно остаётся под чьим-то контролем, вынужденный не самостоятельно принимать решения, а под кого-то подстраиваться. Его и женитьбу в своё время одобрили в отдельных инстанциях, подчеркнув, что он сделал правильный выбор. Одной фразой тогда убили его счастье. С того момента он стал думать, что, может, и знакомство его с Полиной было кем-то специально инициировано…

Внезапно у него перехватило дыхание. Тело обмякло и сердце сжалось от боли, словно они стали резко проваливаться вниз. Антон Егорович испуганно посмотрел по сторонам: может, самолёт быстро снижается? Но нет, их бы, наверное, предупредили. Во всяком случае, люди спокойно передвигались по проходам и, судя по всему, ничего похожего не испытывали. Двигатели работали так же ровно, стюардесса улыбалась, мужик по-прежнему разгадывал свой кроссворд.

После некоторой паузы ощущения повторились с новой силой, во рту появился металлический привкус. Он расстегнул ворот рубашки, нервно шаря глазами по салону. Но, не зная, что спросить, только натыкался на затылки и тяжёлые профили пассажиров.

– Вам плохо?

К нему наконец подошла стюардесса. Наверное, вид у него был неважный, раз она заметила это издали, хотя теперь уже снова отлегло, и он засомневался, стоит ли просить помощь.

– Нет, ничего, спасибо. Очевидно, это от переутомления. Сейчас пройдёт.

Однако спустя мгновение он испугался испытанных ощущений, решив попросить на всякий случай какую-нибудь таблетку.

– Я бы только хотел… – Он наконец сообразил, что нужно: – У вас есть нашатырь?

– Да, конечно. Сейчас принесу.

Стюардесса теперь живо принимала в нём участие. Она дала ему пару подушек, чтобы он устроился поудобнее, и не раз интересовалась у него, всё ли в порядке. Следующие двадцать минут полёта прошли спокойно.

Откуда-то из глубины надвигалась тревога. Её дальние позывы растянулись во времени, действуя по нарастающей, и теперь уже отчётливо ощущались им, будто злобные недруги обложили его со всех сторон. Он понял, что пережитый полчаса назад приступ лишь предвестник рецидива – такого же по силе или более серьёзного, – и никто из окружавших его ничего не чувствует, не сможет представить его состояние, не сможет ему помочь. Он снова начал куда-то проваливаться, голова кружилась, а иногда и наливалась безумной тяжестью, точно мозг его готов был вылезти наружу. Несмотря на то что он сидел не шевелясь, его болтало из стороны в сторону. Послышался нарастающий гул, явно выделяясь на фоне работающих двигателей самолёта. Он обернулся в надежде увидеть в чьих-нибудь глазах волнение, однако они всё так же летели – никого ничто не беспокоило.

Новый приступ резкого падения заставил его вжаться в кресло. Сердце уже ныло постоянно. Пальцы вцепились в подлокотники, а никакой стюардессы рядом давно не было.

Он попытался оторваться от сиденья, привстал, вылез из рядов и, к собственному удивлению, вполне легко, спокойно задвигался. Его качало про себя, но тело, повинуясь условным командам, вроде бы перемещалось ровно, выдерживая направление опять же неестественной, какой-то потусторонней волей.

Проплывая мимо стюардов и стюардесс, болтающих в выгородке между салонами, он криво улыбнулся, не удостоив себя, однако, никакого их внимания. Словно во сне, он медленно направлялся в хвост самолёта. Увидев по дороге своих научных сотрудников, перемалывающих, вероятно, новые порции резонных доводов, Антон Егорович успел подивиться их увлечённости делом. Им тоже ничего не казалось, наоборот, всем своим видом они говорили о том, что самое время накинуться умом на решение главных задач, от чего не могут отвлечь никакие собрания и симпозиумы. Похоже, они даже не заметили своего директора, курсирующего мимо них по нуждам, как и прочие другие пассажиры.

Оказавшись у туалетных кабинок, он облокотился о выгородку ладонью. Теперь уже явно подступила тошнота. Полёт проходил ненормально, и некому было об этом сказать, те сидели как ни в чём не бывало, упиваясь ласками высотного дрейфа, не испытывая ни крупицы страха по поводу своих жизней.

Тело снова с бешеной скоростью стало проваливаться вниз, колени подогнулись. Хотелось выть. Ничего не соображая, он с силой дёрнул ручку ближайшей кабинки, ввалился внутрь и долго скрёб пальцами по торчащей железяке, пытаясь запереть за собой дверь. Сильная дрожь заставила дёргаться перед ним плафоны и потолок, висящие на выгородке зеркала, сушилки и множество коробок с бумагой. Всё смешалось, как во сне, после тяжёлого похмелья, после мощного залпа наркоты.

Повернувшись спиной к двери, он вдруг вытаращил глаза, не то обнаружив перед собой нечто ужасное, не то просто поняв, что это конец…

Раздался сильный взрыв. От возникшего внутри тысячекратного давления самолёт разорвало на куски. Никто из пассажиров ничего не успел понять. Разлетевшиеся в стороны крупные фрагменты машины падали на землю уже с трупами.

Вечером Виталий, как обычно, ужинал перед включённым телевизором. В новостях рассказывали о страшной трагедии с самолётом, следовавшим мюнхенским рейсом и взорванном террористами на высоте десять тысяч метров. По всем мировым каналам ужасная трагедия шла главной строкой.

До боли знакомый сюжет мгновенно привлёк к себе внимание, он уставился на экран, бросив ужин стыть на тарелке. Теперь об этом говорили во всех концах планеты, сопоставляя со взрывами в их городе и выстраивая по данному поводу самые нелепые умозаключения. Обломки самолёта раскидало в горах Южной Саксонии в радиусе двадцати километров. На поиски снарядили несколько отрядов, но ориентиром для них могли служить только два фрагмента, замеченные с воздуха по указке местных жителей, которые видели их в момент падения. По почерку, способу осуществления акция сильно напоминала произошедшее несколькими днями раньше, однако другой момент, связанный с последней катастрофой, заставил Виталия замереть с куском мяса во рту, заметно упразднив его жевательный рефлекс. В новостях сказали, что самолёт исчез с экранов радара в пятнадцать двадцать пять по местному времени.

«Второго августа в пятнадцать двадцать пять где-то в воздухе над Западной Европой», – отчётливо вспомнил он слова Канетелина. Его пророчество тогда показалось даже неуместным, но, видимо, физик знал, что говорил, если предсказал катастрофу с такой точностью.

«Значит, всё-таки Канетелин, – подумал Виталий. – Каким-то образом, но он был причастен ко всем этим событиям. И Глеб Борисович это знает. И он знает, что я это знаю».

Виталий почувствовал себя неуютно. Он представил себя героем-одиночкой, которые в отличие от голливудских боевиков всегда кончают плохо. Перспектива всё время ходить у кого-то под прицелом его не радовала.

«Но, чёрт возьми, что я знаю? – испугался он. – Однако, если им хоть только покажется, что я проявляю излишнюю озабоченность темой, можно запросто сыграть в ящик. И никто даже не подумает о недостоверности несчастного случая».

Свиная отбивная уже не шла в горло, он перестал жевать и больше к ней не притронулся.

«Надо обязательно поговорить с Глебом Борисовичем. Вот только будет ли от этого толк? Скорее можно поверить гадалке, предсказывающей судьбу по руке, чем ему».

Испытывая лёгкий мандраж, он тупо уставился в стол. Зачем его втянули в это дело? Если бы не было Белевского, не было бы и Канетелина. А не познакомившись с главным фигурантом событий, он вообще не имел бы никакой дополнительной информации и думал бы сейчас то, что думают остальные, читая газеты, слушая новости, смотря бесконечные репортажи по телевизору. Всё дело в Канетелине, но теперь тот уже ничего не скажет. Стало быть, и он, Виталий, вне игры. Если только не осталось от физика каких-нибудь записей или упоминаний, о которых никто не знает, где они.

Наверное, так. Теперь они боятся, что он будет что-то искать, но искать он ничего не собирается. Нет, с сегодняшнего дня про Канетелина нужно просто забыть.

И про Олега тоже? Он тут же почувствовал всю нелепость подобных допущений.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Нет, я ещё ничего не сказал или сказал только книжное… и в конце концов следовало бы бросить, и я бросил бы, ежели трудился для кого-либо сейчас существующего, но так как нет в мире ни одного человека, говорящего на моём языке; или короче: ни одного человека говорящего; или ещё короче: ни одного человека, – то заботиться мне приходится только о себе, о той силе, которая нудит высказаться.

Владимир Набоков, «Приглашение на казнь»

**1**

Светловолосая ясноглазая немка была явно смущена множеством наставленных на неё камер. Она не привыкла к такому вниманию и тяготилась обществом журналистов, слетевшихся к месту событий в большом количестве, как только появилась новость о первых очевидцах катастрофы. Она пыталась описать увиденное, но связного рассказа не получалось. Наслоение чувств, вызванных зрелищем падающих с неба обломков и обнаруженного прямо у дороги изувеченного трупа, мешали говорить. Согласившись поделиться о случившемся на камеру, она уже жалела об этом. Рой бесстрастных исполнителей словно назойливые насекомые, облепивших её со всех сторон, с педантичной скрупулёзностью фиксировал её жесты, мимику лица, движение губ, слепя ярким светом и, казалось, по своему усмотрению выжимая из неё те эмоции, которые были необходимы.

Сначала было потрясение. Ужас момента, когда прямо на неё с гулом летел кусок растерзанного фюзеляжа, до сих пор стоял в её глазах. Он упал на склоне холма буквально в ста метрах от грунтовой дороги. Её охватила оторопь; пока он летел, она смотрела наверх широко раскрытыми глазами, не зная, куда бежать, и уже после того, как на землю рухнули какие-то металлоконструкции и её обдало перемешанным с пылью потоком воздуха, она инстинктивно сжалась, закрыв голову руками, словно ожидая нового, не менее опасного обломка.

А потом пришёл страх, настоящий страх, который она давно не испытывала, живя в тишине и покое маленького отдалённого городка. Обернувшись, она увидела лицо человека. Обезображенное, вздувшееся, обращённое куда-то в сторону, даже теперь выражавшее, казалось, крайнюю степень страдания. Тело находилось в такой неестественной позе, в которой может лежать только сломанный манекен. Из него сочилась кровь. Оно пугало, портило пейзаж; ещё несколько минут назад вокруг простиралась красивая холмистая местность, а теперь все красоты исчезли, их затмила трагедия, жуткая картина катастрофы, которая унесла с собой, наверное, не одну жизнь.

Она убежала с того места, не в силах перенести страшное зрелище, и ещё долгое время после этого чувствовала, как её колотило дрожью. Страшную смерть она видела только в кино, представляя её несколько надуманной, излишне бутафорской, какой её и стараются, очевидно, делать, чтобы максимально отодвинуть от реальности, создавая отдельно существующую, особую эстетику развлечений. Но такая смерть, оказывается, вполне буднична. Она может настичь по дороге, прийти неожиданно, в любой момент, захватить врасплох, изувечить, оторвать руки и ноги и заставить мучиться самыми страшными в мире страданиями – за муки близких вам людей. Её одолевали мысли о доме, куда она сразу же принялась звонить, по нескольку раз кряду вызывая родных. Она всё никак не могла с кем-нибудь соединиться, чтобы услышать их голос, понять, что с ними всё в порядке и никого не пристукнуло сверху какой-нибудь железякой. И даже через несколько часов, когда их город оккупировали неимоверные по нынешним временам медийные силы, разговаривающие на множестве иностранных языков, пытающиеся выудить эксклюзивные куски информации, она ещё не могла прийти в себя, наоборот, только растревожилась, услышав версию о проведённой террористической атаке. Её прямо передёрнуло от мысли, что ни одно правительство в мире не сможет защитить её родных от действий кучки маньяков, воюющих на чужой территории. Представление о том, что даже здесь, вдали от суеты, в горной тишине, можно стать жертвой цивилизации, с безотчётной ясностью отобразилось в её сознании, показав, как навязчиво жёстко противные ей люди распространяют свои проблемы по всем уголкам планеты. Она волновалась не оттого, что была на волосок от гибели, но ощущение этого общества, падкого на сенсации, представители которого набросились на неё, как на приманку, ощущение их деланости, пустой суеты, в то время как она озабочена другим, не в силах выразить свои чувства словами, придавали её рассказу путаность и неоднозначность, превращая простое повествование в сбивчивый ответ школьницы перед учителем. Она уже и сердилась на саму себя, речь выдавала её косноязычие, но бросить всё и уйти тоже не хотела. Всё свое негодование она пыталась вложить в простое описание событий и, отвечая на вопросы, елё сдерживалась, чтобы не накричать на окружающих её остолопов, спрашивающих не по существу по нескольку раз кряду.

Да, она видела этот обломок корпуса, он не горел, а только дымился, наверное, тлел, она не заметила открытого пламени. Но оттуда постоянно доносился какой-то гул и треск – уже после того, как он рухнул на землю. Да, продолжительный. С чем она это связывает? Господи, да откуда она знает? Наверное, там ещё работали какие-то механизмы, хотя по виду это была всего лишь груда обломков с сиденьями. Жертв она больше не видела, но ей достаточно и того, что она обнаружила возле себя, – до сих пор мурашки по телу.

После журналистов её расспрашивали следователи, пытаясь прояснить для себя ситуацию, и, насколько она поняла, повод для столь продолжительной беседы она дала сама, поскольку их всерьёз обеспокоили именно те звуки, о которых она вскользь упомянула в своём рассказе. Наверное, если бы она об этом промолчала, её не мучили бы просьбами вспомнить и попытаться подробнейшим образом, посекундно, описать всё, что она видела и слышала в тот момент. Дело это было не из лёгких, потому что в первую очередь в памяти всплывало лицо покойника. Скрежет и треск служили лишь фоном, превращая реальность в жуткий сон, но теперь она наравне с другими готова задаться тем же вопросом: откуда могли взяться те странные звуки среди груды поломанных и обгоревших конструкций? Нет, там не наблюдалось никакого шевеления, насколько она могла заметить. Хотя мелькнувший среди обломков яркий отблеск света запал ей в голову, но в тот момент она не придала этому никакого значения, подумав, что это сверкнул солнечный блик на стекле иллюминатора. Впрочем, солнце тогда, она точно припоминает, было скрыто за плотной пеленой облаков.

Короче, находящаяся в стрессовом возбуждении молодая немка, теперь чувствующая, что столкнулась с чем-то необычным, немало озадачила своим рассказом видавших виды людей. Спрашивающие её следователи и их помощники записывали показания на диктофон, а после, отойдя в сторону, названивали своим коллегам в других местах, узнавая о том, что услышанное заставляет удивляться не их одних. События развивались странным образом, неуклонно подталкивая собирать все факты воедино. Кто-то вспоминал об уже мелькавших в прессе неоднозначных сведениях, кто-то ссылался на наметившиеся сдвижки в сотрудничестве по их линии с другими странами. Серьёзные, озабоченные лица озарял луч целенаправленной деятельности, они записывали в своих блокнотах цифры и данные, которыми могли поделиться со своими зарубежными коллегами, надеясь получить в ответ обнадёживающую информацию. Однако очевидным представлялось то, что разбираться с загадочными явлениями, пока они не классифицированы как артефакт, придётся, опираясь только на собственные силы и знания. Такие данные обычно строго законспирированы, и каждое государство имеет свою базу, которая сверке не подлежит. Поэтому по результатам обследования места, где упали обломки, у представителей компетентных органов изначально возникли сложности. Никто не понимал, как относиться к словам очевидцев, но все очевидцы говорили одно и то же. Известное правило: не знающий проблему сталкивается с удвоенным по тяжести её следствием – то единственное, что можно было констатировать в данном случае определённо.

Тем временем в стране, где происходили основные события, помимо потока информации о крушении самолёта, который лился безостановочно из всех источников вещания, кое-где в связи с произошедшим встречались и другие, совсем не тривиальные комментарии, явно не предназначенные для широкой публики. Если бы имелась возможность отследить абсолютно все разговоры по поводу очередной катастрофы, наверняка можно было бы выделить весьма специфические аспекты обсуждения данной темы. Обсуждения, которое происходило в каком-нибудь спокойном и необязательно далеко запрятанном от людской суеты месте.

Красивый особняк в элитном районе лесопарковой зоны выделялся строгой кирпичной кладкой и немного старомодной, но безупречной архитектурой. В уютном кабинете, затемнённом шторами и охлаждаемом системой кондиционирования, находились двое. Среди тиши и больших шкафов с книгами, закрывавших почти все стены помещения, они вели неспешный разговор, никак внешне не обозначавший какую-либо важность затронутой темы.

Один был в старых роговых очках, криво сидящих на переносице, наглядно подчёркивающих несимметричность его физиономии. Другой обладал тяжёлым шершавым голосом, отчего его дикция была далека от совершенства, и, когда он намеренно понижал тон, разобрать, что он говорит, мог только хорошо знающий его человек. Оба частенько прибегали к намёкам, видимо, находя в недосказанности какую-то особую прелесть. Или относились к разговору с гораздо большей серьёзностью, чем мог бы подумать любой случайно подслушивающий их гражданин.

– Самое неприятное из того, что может возникнуть, это начало паники, а мы, похоже, её наблюдаем, – заявил человек в очках, предъявив собеседнику озадаченность выпученных глаз, которая сквозь безумные диоптрии стёкол превратилась в тоску. – Паника никому не нужна. Она смертельно опасна, для всех. И последствия её непредсказуемы именно потому, что вернуть стабильность – задача неимоверно сложная. Если бы всё было так просто, я даже подразумевал бы наличие нескольких дней хаоса для очищения и встряски, чтобы сбросить проблемы и ненужный балласт, а затем двигаться дальше от новых исходных. Но весь вопрос в том, на каких исходных мы потом окажемся.

– А может, и не надо возвращаться? – пробурчал другой. – Я имею в виду к стабильности. Как насчёт стабильной паники?

Видно было, что сидящий напротив не совсем его понял. Но тяжёлый голос, сообразив, что высказал не очень удачную мысль, тем не менее не спешил оправдываться, заставив визави подумать о скрытом в его словах тайном смысле. И только после того, как в голове собеседника замаячил лабиринт неизвестных ходов, отвлекающих его на подозрения о том, что он чего-то не знает, пошёл на попятную:

– Я просто позволяю себе анализировать вслух. Когда выражаешь мысли вслух, наименее удачные не западают в голову и отсеиваются сразу же.

– Вы думаете, этому способствует реакция собеседника?

– О нет, что вы. Я прекрасно понимаю, что сознание и поведение людей так же далеки друг от друга, как Европа от Азии.

– И тогда вы разговариваете наедине с собой?

Неожиданный поворот в диалоге вызвал у вопрошаемого заминку. Затем его лицо озарила улыбка, и он глухо отрывисто засмеялся, подыгрывая себе всем телом. «Очки» тоже поддержали его хорошее настроение.

– Отчего мне приятно с вами разговаривать: вы всегда умеете красиво пошутить, – заметил «голос». – При этом мы ведь хорошо друг друга понимаем?

– Разумеется.

Хотя оба не были уверены в том, что постоянно имеют в виду одно и то же.

– Так вот насчёт общей ситуации… Мировые элиты лихорадит, и им для принятия решений нужно послать сигнал. Кто-то должен взять на себя эту миссию. Это будем мы. Все и подозревают нас, поэтому когда мы обнаружим теперь свои возможности, все сочтут это за чистую монету… Важно вовремя и правильно встроиться в информационное поле, заявить о своих претензиях, иначе нам потом ни за что не поверят. Не стоит до конца раскрываться, но и дать понять прочим о нашем заделе, я считаю, не помешает. Но это отдельная тема. Сейчас мне хотелось бы согласовать общую тактику на ближайшее время.

– Решение нашей стороны я выскажу чуть позже. Давайте, как договорились, сначала методы и следствия, которые просчитаны вами, я надеюсь, с высочайшей скрупулёзностью. Вы готовы предъявить нам результаты своего анализа?

– В данный момент нет.

– А когда?

– Со дня на день.

Собеседник скабрезно, полагая, что это выглядит располагающе, улыбнулся, расставив в стороны руки, словно в драматическом представлении, как бы заявляя: «О чём тогда речь, если даже нет точной даты?» – но готовясь принять любое на сей счёт объяснение.

– Вам всё перешлют курьером, и очень скоро. И, уверяю вас, вам будет над чем подумать, потому что из сделанных выводов никак не вытекает, по-моему, однозначное решение.

– Вот как?

– Я бы даже предупредил вас, что решение будет трудным. Но мне бы очень хотелось, чтобы оно совпало с моими пожеланиями.

«Очки» посмотрели на собеседника пронзительно, отчего вся притворная любезность их обладателя в момент испарилась. Сам он, как стратег перед картами территорий, восседал в широком кресле в позе надменности.

Ни деловые отношения, ни общие пристрастия, ни дружелюбие – ничто не могло охарактеризовать общность интересов двух немолодых людей, говорящих в данную минуту о вещах, которые вряд ли могли бы заинтересовать предметно любого случайного слушателя. Собственно, в том и состояла их выработанная годами особая манера общения, что, говоря о параметрах процессов, они никогда и ни перед кем не раскрывали самой формулы. У них и темы обсуждений начинались всегда ничего не значащими приветствиями, репликами, которые в устах обычных обывателей несли в себе хотя бы тот самый приветственный смысл, однако в их устах, в устах таких отвердевших со временем созданий, могли означать только какой-то потаённый шифр. Они должны были задушить подслушивающего логикой непонятного на корню. Привычка и правило слились в их поведении воедино; пожалуй, только в этом они имели общие точки соприкосновения. Однако тема обсуждения уже задолго до этой встречи превзошла саму себя. Она превзошла и их понимание о мире, о порядке и созидании, открыв перед самими затейниками политтехнологий могущество и мощь процессов, не управляемых из единого центра, а развивающихся по неким не предвиденным их школами законам, в которых сумма углов треугольника не равнялась ста восьмидесяти градусам. Они удивились сначала бестактности, с которой природа предложила людям проход к своим дальним чертогам, но, увидев перспективы, принялись с присущей всему человеческому роду дерзостью отвоёвывать позиции – для задела, первенства, для броска. И ладно бы, их интересовали тайны познаний, глубокий смысл которых сокрыт за семью печатями даже для гениев науки. Но они не были в таких делах дилетантами. Как прагматичные люди, они всего лишь пытались приспособить полученные знания (не добытые трудом и пóтом, а полученные от кого-то) к своей среде, в своих целях, и в этом им не было равных, за что они друг друга безмерно уважали.

– Я вижу некоторые для нас проблемы, – снова заговорил человек в очках, – и поэтому хотел бы вас предупредить на сей счёт.

– В чём именно вы видите проблемы?

– Во-первых, есть слабое звено. Это Глеб Борисович со своим журналистом, который, как я понимаю, сам по себе. Через него может уйти любая информация, когда он её получит, а он может получить её в любой момент.

– В этом плане можете не беспокоиться. Мы контролируем ситуацию.

– Хорошо. Но мы не знаем карты носителей. Сколько их точно? В какой степени мы можем им доверять? Та стратегия, которую мы вырабатываем, подразумевает чёткое разграничение функций. Люди не должны о ней знать, иначе они полезут не в свои сани, что чревато непредсказуемыми последствиями…

Собеседник сделал нетерпеливый жест рукой:

– Но вся ваша стратегия пока только на словах. Вы хотя бы изложите её на бумаге, в чётких и понятных выражениях, тогда будет о чём предметно говорить. Пока мы только сообщники. Единомышленниками мы станем тогда, когда я подпишусь под вашими словами в самом прямом смысле.

– Рад бы предоставить вам такую возможность, – отреагировал другой, – но время ещё не пришло, сами знаете. В истории до бумаги всё доходит в самую последнюю очередь, когда становится очевидным общий результат. А пока те, кто не с нами, те против нас – вот и всё.

Сама любезность просияла на его лице, будто он пропускал какого-нибудь несчастного вперёд себя.

«Шершавый голос» обременился таким же весомым, как тембр его звучания, выражением глаз, слегка поёрзав в кресле и начиная чувствовать, что от него скрывают немного больше, чем он полагал ранее. Недоверие друг к другу, вообще-то, было у них в крови, на этом и держались упругие связи их взаимодействий. С приятелем в обнимку, а на врага с открытым забралом – такого в их среде даже представить себе никто не мог. Слишком коллегиальны были их интересы и слишком индивидуальны способы получения прибылей. Однако теперь, почувствовав озабоченность визави, он представил себе, что тот хочет сыграть на его страхах, намеренно призывая его в союзники не по уму, а по самому что ни на есть настроению.

Человек в очках медленно отошёл к барному столику, плеснув себе в стакан алкоголя.

– Хотите ещё виски?

– Нет, спасибо… Вы не закончили о проблемах и, я так понял, не высказали главного.

Хозяин дома будто не слышал его, продолжая возиться с бутылками и доставая с нижней полки миндаль. Потом обернулся:

– Если всё будет продолжаться так, как теперь, ничего хорошего из этого не выйдет. Нас никто не поймёт, и в конце концов нас представят бандой уголовников, когда инициативу перехватят другие. Можете не сомневаться, ярлыки на любой вкус у них заготовлены заранее. Стоит только подставить лоб, и вам прилепят надпись суровым скотчем на всю оставшуюся жизнь. Поэтому выпускать из своих рук инициативу нельзя ни в коем случае. Я думаю, надо выходить на международный уровень. Тогда здесь нам точно ничто не будет угрожать.

Его собеседник распрямился в кресле, оценивая всю серьёзность сказанного и понимая, что сейчас уже не до шуток. Ситуация принуждала его высказать своё мнение, и идти на попятный он не мог, да и не хотел. Однако столь радикальные замыслы, которые только подкрепляли неуёмные амбиции, вне зависимости от сути, считал авантюрными.

– Я бы хотел вам возразить.

– Пожалуйста. – «Очки» опять просияли доброжелательностью, указывая ладонью на широту свободы мнений.

– Мы не должны забывать одну важную вещь, – попытался обособиться его оппонент. – Умная политика – это не та, которая работает на экономические интересы государства и элит, а такая, которая работает на экономические интересы государства и элит, заставляя при этом противника не выходить из зоны рационального. Как вы мыслите себе главенство среди хаоса, о котором только что предупреждали? Разве мало было отрицательных примеров? Да и по логике вещей, представляя себе страх в открытом виде, обуявший многих грамотных и образованных людей, можете ли вы поручиться за то, что сумеете направлять их, если они станут несущимся табуном? Теперь не Средневековье и даже не прошлый век.

Собеседник мгновенно покраснел, выказывая раздражение.

– Вот эти бляди с их демократией не смогли, – он указал пальцем куда-то вдаль, – а мы сумеем! Мы не станем разбираться с позами индивидуалистов, хватит уже этих игр! Муравейник есть муравейник! Если народы чувствуют, что перед ними неведомая сила, они теряются. Но если они знают, что этой силой можно управлять и именно вы способны это делать, их союзничество с вами будет самым надёжным из всех, обусловленных политическими стратегиями и всякой международной фальшью, служащей лишь для того, чтобы обеспечивать сглаживание менталитетов.

Второй вдруг испугался радикального настроя говорившего, представляя, что теперь вряд ли дело ограничится одной риторикой. Обычно эффективность подобных сговоров выражалась лишь несколькими процентами реального результата. В стратегические замыслы вмешивались такие факторы, которые по общей человеческой безалаберности даже не брались в расчёт. Однако теперь ситуация была в корне другой и достаточно опасной. Невозмутимый вид человека в очках, то ли основанный на многолетнем опыте закулисного кукловодства, то ли продиктованный ролью ведущего дело, тем не менее, не мог ввести в заблуждение.

– А вдруг они что-то узнают? – Собеседник указал на лежащие на столе свежие номера «Die Welt» и «The Washington Post». – Это может стоить нам головы.

– Ничего они не узнают, – спокойно ответил другой. Спустя несколько секунд он добавил: – Самое приятное во всей этой истории то, что мы практически неуязвимы. Где искать командный пункт, когда все поймут, что он существует, никто не будет знать ещё долгое время. Мы успеем десять раз продумать и наше поведение, и как замести потом следы.

Последние слова колко отдались в сознании второго участника разговора, невольно заставив его подумать о своём благополучии.

– Мало людей могут оценить вашу хватку и сообразительность… – заявил он. – Это ведь вы разобрались с первоисточником?

Тот отвернулся в лёгкой задумчивости и произнёс, не отпуская взглядом чей-то невидимый облик, в своей привычной манере отвечать на неудобные вопросы:

– Надо уметь со всеми договариваться. Обычно люди переоценивают себя, оттого и терпят фиаско. И даже вынуждены идти на непредвиденные жертвы.

– А вы сами к этому готовы?

– Вряд ли к этому можно подготовиться. Однако оценить, насколько ты силён, может каждый. Насколько умеешь противостоять злу, способен ли на предательство. – Его глаза сурово просверлили лицо напротив. – Мы склонны винить себя за то, что по сути есть логическое следствие нашей собственной натуры. Но при этом борьбу с собой подменяем борьбой с окружением. И поскольку остальные делают то же самое, не прочь иногда их за это наказать.

– Ну что ж… – пробурчал «шершавый голос», поёрзав в кресле. – Главное, чтобы у нас была одна цель. Лично я совершенно чётко представляю себе, что круг партнёров в нынешней ситуации резко ограничен. И даже если ваши выводы окажутся в чём-либо неубедительными, можете не сомневаться, я целиком на вашей стороне.

Такое признание теперь означало полную поддержку оппонента и фактически скрепляло наметившийся ранее союз самой совершенной у них формой лояльности – личным доверием.

Стоит отметить, что на самом деле они друг друга совсем не опасались. Самая верхняя каста неприкасаемых, лежащая выше слоя правящих элит, включала в себя совсем малое количество особо важных персон, и эти два пережитка прошлого, имеющие неважное образование, зато хорошо понимающие своё место в строю, полновесное движение своих капиталов, лихо командовали жизнью, то есть теми, кто принимал их небожительство в расчёт. Свои интересы у них были опечатаны и запрятаны в глубоких сейфах уже давно. Теперь они наслаждались теневой ролью влиятельности, а с некоторых пор, когда неожиданно выпала возможность обтрясти и мировой уровень воздействий, решили рисковать по-крупному, вовремя узнав о высоких достижениях науки и сделав всё возможное, чтобы об этом не узнал никто другой. Их было мало, поэтому инстинктивно они держались друг друга крепко, обходя стороной взаимные обвинения и даже боясь быть источником невольных друг для друга обид.

– Никакого шантажа, они должны понять всё сами. Это намного эффективней, – рассуждал хозяин дома о мировом влиянии. – Это как в жизни: когда доходишь до истин своим умом, невольно проникаешься уважением к тем, кто знал их раньше. А когда начинаешь догадываться, что вокруг существуют некие особые законы управления, среди которых ты можешь только рыпаться, то нужно пройти огромный путь, где ты должен эти законы сначала изучить и уж потом только пробовать им сопротивляться. За это время всё будет заново поделено. Никто не сможет как-либо вмешаться в процесс, для этого придётся снова всё поломать, а ломать бесконечно люди устанут. Вы поняли? Мы сыграем на усталости, которая есть залог столетнего сохранения конфигурации. Причём качественным изменениям будут подвержены и западные и восточные сектора, стоит им только узнать, что наше влияние на них вдруг стало иметь под собой прочное основание. Вы ещё не видели, как современные элиты набиваются к вам в друзья? Скоро увидите.

– Я полагаю, надо все шаги хорошенько обдумать. Ответной реакции на самом деле не знаете ни вы, ни я. Мать-стратегия, в чём действительно не хотелось бы иметь заблуждений, есть наиважнейшая составляющая успеха, хотя у нас он обычно как снег на голову, оттого и счастье. Ни вход, ни выход мы не обсуждаем, только движение внутри. Оттого мне и нужны ваши предварительные данные как можно скорее. Без них предусмотреть развитие ситуации будет крайне сложно.

– Отлично, договорились. В следующий раз обсудим детали проекта, и, надеюсь, вы не отнесётесь к моему радикализму слишком критично.

**2**

В одни и те же мгновения разных людей посещают самые разные мысли. Большое количество поводов обеспечивают постоянной работой наш мыслительный аппарат. Кто-то прилаживает в качестве столешницы доску, кто-то озабочен болезнью родных, другие решают экономические проблемы предприятия. Интенсивность процесса обдумывания зависит от предрасположенности человека к анализу и от эмоциональной составляющей его темперамента. Некоторые специально тратят на размышления время, а другие лишь занимают себя всевозможными накрутками, рефлексивно заменяя мыслью действия и даже гордясь про себя своей находчивостью.

Не многие готовы поспорить с тем, что обретение и закрепление знаний есть не что иное как отображение информации в виде электрохимических импульсов, в огромном множестве пронизывающих головной мозг человека. Но если предположить, что всеобщий разум – не божественный, а суммарный человеческий – есть нечто объективно существующее, создающее единое поле в ближайшем пространстве, перманентно перетекающее из поколения в поколение, из столетия в столетие, то неизбежно возникает вопрос: можно ли черпать оттуда энергию, не обременяя себя необходимостью специальных познаний, упорства, труда и этического воспитания? Почему эта всеобщая кладовая открывается не сразу и лишь отдельным людям в определённые моменты их жизненной деятельности? И почему те задачи, что каждый решает для себя сам, не имеют заранее предписанного ответа, а лишь с помощью неких указующих векторов проводят в дебри ещё более запутанных понятий и смыслов? Как хотелось бы только нажимать на клавиши – чем старше возрастом, тем на более отдалённые. И какой-нибудь мягкий голос возвещал бы в ответ о твоей нынешней степени духовной и научной просвещённости. А ты бы с ним не соглашался и тянулся к следующей кнопке ещё ретивее. И вот в этом незатейливом придумывании приспособлений, чтобы добраться до удалённого предмета, как у обезьян, и заключалась бы формула познания. И умнее был бы тот, у кого длиннее руки, а наиболее одарённые тогда тянулись бы ростом к солнцу, превосходя партнёров и формой черепа с открытым теменем для получения достаточного количества тепла, и типом своего скользкого, вертлявого мышления. Однако если отбросить подобные упрощённости, можно представить себе чрезвычайно тяжёлый труд, предписывающий человеку постоянно поспевать за своим развитием. Испытывать разочарования от неудач, из-за несогласованности скоростей, взваливать на себя бремя нескончаемых забот и видеть в перспективе мрачную картину торжества необузданной глупости повсеместно. Какой-то отдельной вехой, счастливым всплеском предстаёт тогда каждая преодолеваемая в жизни ступень познаний, заставляя задуматься, несёт ли оно действительно личное удовлетворение. О да, о вкладе в общую, общечеловеческую, копилку думают все. Но жизнь на самом деле коротка, и стоит ли утяжелять её набором лишних сведений, чтобы увлекаться потом не игральными картами, а Лавуазье? Ведь множество вопросов, на которые дают ответы не отдельно взятые личности, а совокупность разбросанных во времени мнений, никогда не уменьшится хотя бы на одно простейшее, найденное вами решение.

И в науке, и в житейском смысле – всё одно и то же, Виталий прекрасно это понимал. Уж он-то не был обделён способностью к получению знаний, хорошо представляя себе, что польза от них лежит несколько глубже и вовсе не заключается в их примитивном применении на практике. У хорошо образованного человека всегда иное мировоззрение. У такого и душа откликается по-другому – шире, ярче, многообразнее, – предполагает значительно больший спектр нюансов, которые обогащают его мотивацию и поведение. И чем уже у человека круг мировоззрения, тем более скучная у него на самом деле старость.

Но всё это касается тебя лично, а если требуется понять другого? Что толку от твоей всеохватности и такой же широкости и глубокости натур остальных, если не найти точек соприкосновения? Если не понять их экзистенции, которая расширяется постоянно, как Вселенная? Люди развиваются душой и сознанием, но постоянно и уходят друг от друга всё дальше. Теперь уже речь не просто о странностях характеров – уже впору элементарно хвататься за руки, чтобы не разлететься в разные стороны навсегда.

Но ведь должны же быть простые вещи, пусть даже не передаваемые словами, которые до сих пор роднят и физиков, и лириков, и прачек с поварами, и даже во гневе их всех присутствуют какой-то разной по величине, но одной по сути долей?

Виталий стоял над рукописью Канетелина, как перед решающим сражением, задумавшись о необходимости потратить какую-то часть своего времени на ознакомление с мыслями учёного. Теперь он вознамерился прочесть её обязательно, полностью, от начала до конца. Тогда, может быть, удастся понять, о чём тот думал, чем жил, или даже найти ключ к его тайне, чтобы предотвратить творящиеся по его вине злодеяния, которые унесли уже столько жизней. Раз его идеи не лежат на поверхности, что не составило бы труда обнаружить любому специалисту, знакомому с квантовой физикой, значит, копать надо глубже. Великие умы склонны порой к туманностям. Они и мыслят так, и говорят далеко не просто, словно специально призывая других поднатужиться умом, а коли не хватает знаний, то и нечего соваться тогда не в своё дело.

«Я бы действовал точно так же, – подумал Виталий. – На кой чёрт, спрашивается, я должен разжёвывать истины не сведущему в том ни в какой степени обывателю? Кто должен куда стремиться: я к нему или он ко мне? Вот в чём вопрос. Не “быть или не быть?”, а “знать или не знать?”! И если какой-нибудь простак ничего уже в этой жизни, кроме любви и сладких пряников, не хочет, то это его проблемы, а не мои. Пусть он желает своего, но рано или поздно и его коснутся приоритеты просвещённого человечества. Конечно, не больше, чем вопросы мироздания, однако вполне ощутимо по воздействию, если сравнивать с потоком той вульгарной однообразчины, которую предлагает государство и политика».

Теперь предстояло убедиться в том, что Виталий что-то понимает в людях. Какая-то малость настроения, почти не связанная с драмой, всколыхнула его чувства так, что он надолго готов был отдаться изучению рукописи, и, слава богу, у него был в руках тот фонарь, тот факел побуждений, который освещал ему заветный путь к неведомым высотам. Когда желание возникает в результате мыслительного процесса, оно сродни любви, подчиняющей себе всю волю и настроение вне зависимости от мотивов ваших действий.

Итак, «СЛЕДЫ ГРЯДУЩЕГО».

Буквы заголовка были отпечатаны нечётко, словно картридж, которым пользовались, уже пережил срок годности, однако последующий текст выделялся безупречной аккуратностью. Он был строго выровнен по правому и левому краям, и создавалось впечатление, что с ним плотно и усердно поработали, прежде чем вывести на печать в окончательном виде.

В самом начале был помещён эпиграф:

*Да погибнет мир, да будет философия,*

*да будет философ, да буду я!*

*Фридрих Ницше, «К генеалогии морали»*

Будто читатель должен был сразу поверить в убедительность предъявляемых мыслей, воспринимая слова великого философа как доказательство исключительности автора именно в той степени, о которой философ говорил.

Далее следовало «ВВЕДЕНИЕ», в котором закладывались, очевидно, общие предпосылки, побуждающие автора к данному исследованию. Оно было внушительным по размерам и многообещающим по содержанию, с тезисами, сгруппированными в темы и выделенными в статьи нумерацией.

Обратившись к тому месту, где введение заканчивалось, чтобы составить для себя первое о нём впечатление, Виталий вернулся к первой странице рукописи и начал читать.

*1. Сегодня, в день святого Валентина, под знаком будущей победы, в день любви и дружбы, исхода не растраченной ещё до конца энергии и созерцания грядущего, которое всегда в наших душах и с нами, я начинаю доблестный прорыв в тридцатый век, к своему Юпитеру, к заветному полюсу своей мечты, не обеспеченной никакими богатствами зримого мира. Будучи молодым и в силе, в пику светлым явлениям жизни увлекаясь её сумрачной и невидимой стороной, я приступаю к сотворению собственной ауры — энергии глубокого внутреннего противостояния всему насущному, присоединяя к торжествам земным наслаждение чувством удалённого величия, в какой-то мере обобщая с трудом раздобытые, уяснённые мной позы и позиции своих соплеменников, отвергая их нравы и наклонности, подвергая сомнению их искренность, сугубо в тон в такой момент эгоистично уклоняясь от их участия. Я отметаю теперь все склоки человеческого разума, оставляя место только чистым домыслам и, как следствие, чистому искусству, упражняясь в мысли сверхтенденциозной, чёткой, соразмерной истинным потребностям духовного, для которого любая фальшь безмерно отвратительна. Я лишь воспроизвожу ту музыку души, что непрестанно теребит мои ответственные центры, смыкая воедино всегда ценимое прекрасное из глубины с овеществлённым в деятельности практической, и обозначает скорее не какие-то странности, а неразрывную связь, которой опутаны плоть, душа, сознание и нервы. Эта музыка великолепна и многозвучна, гармонизирована сладостными переливами и громогласным ритмом, спесивым чванством и беззаботным порханием, кичливой ветреностью и убедительною твердью. Теперь она наиболее уместна, теперь она подскочила в цене, ибо человечество наконец достигло того апогея, когда оно в силу развития и запредельности желаний открыто для восприятия любого бреда и вместе с тем особенно ранимо мыслью глубоко научной. Оно изучает, скрупулёзно осматривает самоё себя и всё, что находится вокруг него. Оно залезает во все складки собственного тела и радостно поднимает на свет прилипшую к ногтю козявку, разрезая её затем на много тысяч тонких пластиков, слой за слоем просматривая их под микроскопом, составляя подробнейшие карты и выясняя наконец досконально, что куда движется. Или, озабоченное необъятной бесконечностью, натужно втягивает в себя воздух бытия, разражаясь в результате таким дуновением из распухшей головы, что не только запредельные миры, но и собственные лаборатории представляет в многократно искажённом виде пространства-времени. Оно как ревностный ценитель уловит моё слабое звучание, поддержит и распишет его затем по нотам, увлечётся длинными молекулами и развернёт его до масштабов вселенной. В пределах своей занятости человечество проглотит эту данность, находящуюся на любой стадии её понимания, а там уж волей-неволей ему придётся её переваривать. Если принимать в расчёт слепую веру, воодушевлённость как отправную точку познания истины, то неизбежно когда-то оформится вопрос о распространении познавательных возможностей мышления, его «механицизма» в сравнительном сопоставлении предметов и явлений — на сферы интуиции, на чувство, инстинкт и в обобщающем итоге на внутреннее бытие человека, его экзистенцию, недопустимо малое внимание которой уделяют все материалисты.*

*2. С некоторых пор я испытываю неукротимую потребность изобразить иррациональное как одну из возможностей разумного, логического познания действительности. Я вижу этот срез всегда надуманного, непонятного простому взгляду вещества, источающего по прихоти заурядных фантазёров яркий свет и разноцветную палитру красок, в приличествующем виде, доступном и описанию, и осмыслению, и корректировке. Я не забираюсь при этом на кручи анализа, подразумевающего самостоятельное изучение отдельных составляющих, поскольку большей частью они представляются сложнее целого. Хотя и пытаюсь анализировать, исходя из того, что видится почти бесспорным, ибо любая философия, не основанная на цепочке последовательных, соответствующих друг другу, логически грамотных умозаключений (даже там, где последовательность и логика отвергаются в принципе), превращается в заурядную болтовню. Поэтому здесь и вообще я склонен применять понятие «философия» в широком смысле этого слова, не выдвигая оригинальность моих взглядов на окружающий мир и конфликтность социальной среды в ряд общепризнанных и даже не слишком широко известных постулатов. Я не вижу необходимости (и не имею пока полномочий) рассуждать на сколь-нибудь значительной основе и из-за этого, в частности, склонен оперировать упрощёнными понятиями, много более доступными, однако, и позволяющими в чём-то даже опережать твёрдые устои классики, зажатые узкими рамками терминологии и провозглашённых авторитетами принципов, зажатые для того, чтобы было ясно именно авторитетам. Здесь нет правил, но много светского изыска. Это отображение длительности чувств больше художественное, чем философское, и в этом, может быть, по моему разумению, его главное (если оно не единственное) достоинство перед массой похожих трактатов и прочих творений на подобную тему. Это лишь описание живых ощущений, средь бела дня копошащихся где-то внутри моих пустот, при воспроизведении которых мне бы только хотелось, чтобы за пробегающим строка за строкой взглядом оставался хоть какой-то след, незримый шлейф направленных вовнутрь эмоций, чтобы из плоскости каждого листа выпучивался хоть маленький фрагмент того сознания, что безраздельно мною управляло, и чтобы в конце концов на одном дыхании, в едином ритме можно было донестись до последнего приведённого здесь слова. Тогда наверняка родилось бы ощущение целостности, предметности и стрелки начатого разговора.*

*3. Когда разъяснены последствия, мотивы удесятеряются в значении. Но суть и состоит в том, чтобы лавировать в лесу мотивов, подходить к ним избирательно, отрицать, огибать и подавлять их силой воли, относясь к ним не в совокупности, а вычленяя каждый по своим законам, потому что о последствиях никто не задумывался и никогда задумываться не будет. В лучшем случае мы имеем в голове слепок ситуации, пройденный этап, где ожидали чего-то другого, испытали неприятные ощущения или явным образом ошиблись, — слепок, который мы называем опытом. Опыт даёт возможность предугадывать поступки и события, устраняя заранее ненужные или менее удобные из них, подчёркивать умение и отождествлять с собой причину лучшего исхода действий. Но опыт в данном случае всегда индивидуален. В его научном понимании он совпадает с практикой, однако в таком всеобъемлющем и широком вопросе, как познание неосознанного, насколько мне представляется, он не может быть обобщён до конкретных выводов и понятий. Отвлечённость знаний от конкретики вообще низводит их до уровня никчёмных рассуждений, в лучшем случае служащих предметом разговора для психоаналитиков, распространяющих свои заклятые формулы на то, что большей частью они переварить не в состоянии, а сказать о том, что действительно хочется знать, они не умеют. Вообще обозначить область взаимопонимания, услышать вопрос, не относясь при этом придирчиво к словам, поддаться «логике» мышления другого и обязательно за этим увидеть, как мы привыкли, то, что можно представить в собственной интерпретации, дело почти безнадёжное. То есть любая собственная интерпретация для другого ложна. Каждый из нас есть отдельный образ из бесконечного множества неподобных, неоднозначных подматериальных (или сверхматериальных) субъектов, законы взаимодействия в котором так же отличны от понятий естественного поведения, как законы классической механики от характера физических явлений в бесконечности и при большúх скоростях движения. Этот образ постоянно изменяется и, в свою очередь, качественно изменяется в недоступных ещё для наших знаний условиях. Ни одна наука не может зародиться без систематизации наблюдений. Но когда, обобщая данные, мы получаем некое аморфное истолкование, где реакция не повторяется, закономерность отсутствует, любой последующий момент может быть причиной предыдущего, объединить их отдельными зависимостями, следуя уставу современной логики, не представляется никакой возможности. Эти данные разнятся не только по причине глобальной несхожести их компонентов, но и по существу главного вопроса, в формуле которого заключены наши общие представления об их природе. Поэтому можно только надеяться, что любой индивидуализм будет подтверждён когда-то общественной практикой и всё-таки оформится как результат взаимодействия именно общества с объективным миром. Пока же единственно доступное поле для осмысления — это мотивировка поиска, мотивировка мысли и в конечном счёте, как это ни звучит в какой-то мере отвлечённо, мотивировка чувств.*

*4. Законы диалектики объясняют почти всё, если принять, что в основе материального мира лежит некая «глобальная» случайность, которая в результате бесконечного числа выборок привела к тому, что мы имеем теперь. И поскольку случайность и необходимость друг без друга существовать не могут, остаётся допустить явление до этого случайности «надглобальной» и соответствующей её уровню необходимости и так далее. Согласитесь, если долго думаешь про обустройство мира исходя из последовательности и правил диалектической логики, то в конечном счете начинаешь сомневаться в широте поля ее применения. Сначала кое-что абстрактное всё настойчивее подменяет конкретику обсуждаемого. Далее отгораживаешь отдельные области мышления доступными и недоступными клише, как бы выясняя степень собственной готовности к восприятию того, о чём говорил уже несколько лет подряд. И в конечном счёте в голове зарождается противоречие, которое не ведёт к известной схватке и движению, — с людьми такое не проходит, пока не ясно с их верой. Это противоречие в идеях, поисках и смыслах, оно выявляет новую позицию — временами вы почти идеалист. Ни один закон не может учесть всех нюансов его действия: иногда они оказываются столь существенными, что вылезают за рамки предписанных свобод, сам закон становится некоторым нюансом более общего закона, однако закономерность это или случайность – определить ещё только предстоит.*

*5. Вопрос вопросов, начиная с представлений древних, до сих пор остаётся неизменным. Одни утверждают, что сознание — это продукт жизнедеятельности организма, словно желудочный сок, выделяемый строго по часам и в ограниченных дозах. Другие придают ему такое значение, что остальная жизнь, и окружение, и плоть наша являются для них совершенно придуманными. Истина, как всегда, находится где-то посередине. Однако меньше всего хотелось бы верить в своеобразный дуализм, допускающий мирное сосуществование двух взаимоисключающих реалий, потому что с точки зрения философской, как было отмечено однажды, это очень слабая позиция или даже не позиция вообще. По сути можно сказать, что либо сознание абсолютно идеально, как и всё вокруг, никакой объективности не существует и вполне заблуждаются те, кто считает самую стройную и согласованную теорию в мире (диалектический материализм) безусловно верной, либо всякое духовное бессильно перед материальностью и сознание никогда не перейдёт её границ. Но если оно присутствует у такой малости Вселенной, как человек (объективно или необъективно отражая окружающую его действительность, познавая её и связывая с его практической деятельностью), то почему не предположить, что свойства сознания не настолько ограничены. Кто может поручиться за то, что природа не создаёт на более серьёзном уровне подобие такой же высокоорганизованной материи, какой является человеческий мозг (не братьев по разуму, а более высокий разум), и тогда вполне резонным выглядит вопрос: а какова вообще тут роль природы? Может быть, она действительно не является первичной, а вокруг нас только постоянно изменяется форма надобъективного глобального мышления, корпускулярной сущностью которого являемся все мы с нашими домами, улицами, планетами и нашим маленьким внутренним мирком? (Религиозных исполнителей могу разочаровать: до каждого из нас в отдельности этому огромному разуму нет никакого дела, мы неразличимы для него, как сами не различаем отдельные клетки собственного головного мозга.) Но как это ни странно звучит, такой мир также можно считать объективно существующим: если в нём уживаются хотя бы два независимых сознания, то это уже свойство материи, а в каком виде она изволит доходить до человеческого разума, мы, возможно, даже не подозреваем. Если бы кто-то наглядно и убедительно смог представить решаемость основного вопроса философии, то это, безусловно, уже давно было бы сделано — образованнее с веками мы, может быть, и стали, но мыслим ничуть не лучше древних философов. Однако любая неясность в её расплывчатом и обтекаемом и, наверное, не застывшем окончательно виде только укрепляет одно из двух главных положений в философии и никак не сможет послужить доказательством для другого из них. Противопоставление материального идеальному, духовному не только происходит в нашем сознании, но и свойственно всей природе в целом, это один из основополагающих факторов её существования, её борьбы, и борьбы, скорее всего, диалектической. Идея обусловлена противостоянием, но и противостояние постоянно порождается идеей — в этом проблема неразрешимости вопроса. Её суть в том, что знание о первичности чего-то на самом деле никаких реальных знаний для нас не даёт. Поэтому оно недостижимо, поэтому мы в состоянии только обозначить свои трудности. Наше сознание представляет собой всего лишь некую буферную зону. Оно склонно считать себя высокомерно идеальным, а это как раз и означает, что над ним может быть ещё более идеальная, та самая верховная мысль, и тогда ни о какой независимости речи быть не может. И в то же время оно объясняет всё какими-то правильными закономерностями, в которые также вписывается, представляя в натуре кусочек всеобщей материи в её бесконечном движении и преобразовании. Оно строго индивидуально, по крайней мере на первый взгляд — никто ещё не смог показать, что может читать наши мысли и состояние души как с листа, — однако явно стремится за границы обыденности, потому что «чувствует» предположительную дальнюю связь явлений, чему свидетельство состояния экзотического транса («ясновидение»), повышенная возбудимость и даже обычный человеческий сон. Любые видимые вариации природы как будто не связаны с каждым из нас по отдельности, и мы поодиночке как будто не способны повлиять ни на одну существенную деталь всеобщих перемен. Многое говорит о том, что мы со всем своим набором причиндалов действительно существа преходящие. Но каков бы ни был этот мир, человек может приблизиться к его истинам скорее через собственную духовность (куда входят и его познавательные способности), в этом его уникальный шанс в отличие от прочего живья, которое в неведении о себе, хотя кто знает, что есть неведение и не забавляемся ли мы со своими устремлениями к тайнам мироздания в самом дальнем углу обустроенного дома.*

*6. Единственное, что выглядит пока абсолютно бесспорным, это фиксирование в нас какой-то действительности, которое и является основой разногласий, и на рубеже этой бесконечной борьбы взглядов находится, пожалуй, самый главный момент в рассуждениях: как в нас отражаются причинно-следственные связи. Именно во взаимодействии этих двух категорий, не сводящихся только к побудительному действию одной и обязательному проявлению как отклика другой, видится начало всякого эффективного движения вглубь, а стало быть, и какого бы то ни было развития.*

*Причина как данность, элемент жизни, хуже или лучше обозначенный, дающий представление о движении в физической и в социальной среде с его количественными и качественными изменениями, — так к ней относятся, если только выделяют из общей последовательности многообразных символов бытия. Но связи, в которых все живут, неразличимы. Нельзя абсолютно точно определить, как происходит взаимодействие двух каких-нибудь вполне реальных и на первый взгляд влияющих одно на другое явлений. И уж тем более невозможно ответить на вопрос, сколько промежуточных звеньев — явлений, может быть, даже другой природы — задействовано в том или ином потоке событий нашего мира и каков безусловный вклад в данную связь каждого из них. Бытие трансформируется в сознании, и на законы бытия накладываются существующие законы трансформации, поэтому в общем виде неопределима ни одна последовательность изменений. То, что явилось следствием, может оказаться и причиной того же самого. В действительности они пока никак не обозначены — различаем их конкретику мы сами. Это всего лишь сложившиеся общие традиции понимания, где фраза «стало светло, оттого что включили свет» звучит естественно, потому что она вполне закончена и логически обоснована. Однако отнюдь не лишено справедливости обратное утверждение: «Включили свет, оттого что стало светло» (имея в виду, что других источников света нет); главное только осознавать, что поле восприятий классических последовательностей может быть так же искажено, как физическое поле пространства-времени. Факты включения источника света и освещённости с его помощью определённого места не говорят ещё о том, что данные события не претерпели за свою историю целый спектр изменений и мы их расставили необходимо точным образом. Это был всего лишь достаточный для нашего восприятия ход вещей. И поскольку критерием оценки причинности и следствия для нас служит только абсолютная величина времени свершения события, мы вполне могли бы «перепутать» их последовательность, произойди они со столь коротким его интервалом, различить который мы не в состоянии. Уж здесь-то вдоволь нарезвилось бы наше воображение, вдруг изначально возведя в ранг традиции манеру тянуться к выключателю всякий раз, когда должен появиться свет, и нажимать на него именно в тот момент, когда обязательно освещаются к нашему удовлетворению ближайшие предметы обстановки. Таким образом, если без стеснения отбросить в сторону устоявшиеся представления и взгляды, вполне можно увидеть даже самые несотворимые на нынешний момент последовательности. В самом деле, почему не предположить, например, что причиной боли является отдергивание руки от горячей кастрюли, а не сама кастрюля, и тогда жар её будет восприниматься нами как следствие именно отдергивания, хотя по времени эти события будут происходить в «правильном» порядке.*

*7. Если говорить о чувственно-созерцательной человеческой природе (и следовательно, о природе вообще), то в ней понятия причины и следствия должны быть интерпретированы существенно обширней традиционных — они уже сами по себе обладают степенью взаимодействия выше, чем мы можем увидеть сквозь отверстия известных нам форм и представлений. Это системообразующие категории, неразрывно связанные с каждым из нас и позволяющие в каждом принять определённое участие. Они реализуют наши устремления и готовят горечь поражений, они наделяют нас неимоверно сильной проницательностью, которой нипочём внешние факторы воздействия, но чрезвычайно важны духовно-личностные мотивы переживаний. Это большое бескомпромиссное поле заготовок, не поддающихся пока классификации, незримо присутствующее в нас самих и делающее нашу жизнь богаче, которое, словно кружевница, плетет характеры и судьбы, не позволяя различать их среди таких же прочих, но в какой-то мере овеществляя разнообразие своей палитры в самых ничтожных оттенках поведения. Мы постоянно готовы к этим переживаниям. Мы видим, будто лёгкие прикосновения неуклонно вызывают в нас заботу и участие, замечаем, будто грубое вмешательство неожиданно склоняет нас к чёрствости души. Нас будоражат резонансы вечных устремлений, наделённых глазами и ушами энергетического бытия — направленной глубинной основы всего сущего, в котором рождены и млеют странные призраки Вселенной, в котором сосредоточены все факторы бушующего мира, в котором как в зеркале отражается наше неотъемлемое прошлое, в котором отчётливо проявляются следы будущих событий.*

Виталий сразу же обратил внимание на слова в самом начале текста: «Будучи молодым и в силе».

«Интересно, когда он это начал писать?» – подумал журналист. Считать себя молодым даже в пятидесятилетнем возрасте по меньшей мере наивно, а Канетелин погиб в семьдесят два. Скорее всего, он говорит о начале своей карьеры. Выходит, это труд всей его жизни, где нашли отражение и первые его жизненные открытия, и разочарования, и переосмысление событий, и, возможно, те личные истины, которые приходят в юности иррационально, но являются главным путеводителем в течение всех этапов осмысленного существования. Или, может, он намеренно вводит в заблуждение, указывая не на возраст, а на здоровый дух? Этакая художественная неправда, придающая бодрости его философии от самого её зачаточного состояния до глубин основных, определяющих её положений.

Так или иначе, заявка на серьёзность анализа была более чем весомой. С одной стороны, Виталия удивила та смелость, с которой физик взялся корректировать некоторые известные постулаты; с другой – выдвигаемые им положения выглядели весьма продуманными и трезвыми. В принципе сильная позиция и рождается всегда как альтернатива самым устоявшимся, неповоротливым догмам. Если не пытаться ломать их, то в чём вообще тогда можно видеть прогресс? Прогресс и во взглядах, и в методах, и в оценках носителей высочайшего разума планеты, умеющего позиционировать свои достижения по-прежнему высоко, значительно выше цветной мимикрии хамелеонов или сжирающих всё на своём пути рыжих муравьёв.

Теперь уже погрузиться в пучину чужеродных мыслей хотелось неимоверно. Этот физик, пожалуй, умел увлечь своими идеями. Виталия вдруг обуяло печалью, оттого что больше не удастся поговорить с таким необычным человеком. Уже сейчас проглядывались некоторые к нему вопросы, и казалось, что учёный мог бы дать по ним вполне исчерпывающие разъяснения. Какая-то простая формула, незыблемая суть чувствовалась в основе его тугих для восприятия суждений, и то, что за ними стояла весьма болезненная натура, нисколько журналиста не смущало. Если речь идёт хотя бы о малейшем совпадении теории и практики, на что хотелось бы надеяться, то, чем бы учёный ни облекал свою жажду представить открытие в наиболее развёрнутом виде, он не мог уйти в описании процесса слишком далеко. И пусть этому мешали собственные комплексы – разродиться простым переводом чувств на человеческий язык он обязательно где-то должен.

Но может, разгадка разбросана по всему тексту отдельными фразами? Виталий читал когда-то про такие странности сознания. Туман в речах таких субъектов заметен постоянно. В них нет ни логики, ни привязки к конкретному месту и времени – нечто бессмысленное, а окружающие большей частью этого не слышат и никогда в слова такого человека не вникают.

Люди, когда теряют нить рассуждений, сразу отворачиваются от вас, даже убегают. Им не нужен несносный объект подражания, нет. Они путаются даже в собственной логике, что уж говорить о попытках другого развёрнуто представить свою точку зрения. Занимает ведь не точка зрения, а вопрос, достойны ли вы друг друга или нет. Ведь даже если вы заговорили с кем-то просто так, перед вами неминуемо возник объект подражания, ибо, руководствуясь именно своей гордостью, величиной своего «я», представить, что вы снизошли до абсолютной никчёмности, разве что только для поучения, очень трудно. И дружбу, и союз ищут для собственной выгоды. Их подразумевают лишь в плоскости собственных забот, а когда последних нет, и дружбу, и союз представить как нечто важное вообще невозможно. Ах да, бескорыстие… Но об этом он подумает в другой раз. И вовсе не стоит надеяться, что данное понятие, фаворит нравственных устоев, не будет разбито его предубеждениями в пух и прах.

Он запрокинул голову наверх, уставившись в потолок, будто обнаружил там нечто важное, особенное, помогающее средоточию мыслей. Сидеть так было тяжело, думать ещё сложнее, но он знал, что, как только вернётся взглядом к тексту, фразы и предложения начнут бойко укладываться в его сознании, где и всплывёт потом, кто знает, та основная, главная идея, к которой он отчаянно стремится эти последние несколько дней.

Страница, с которой начиналась первая часть сочинения, озаглавленная «ИСХОДЫ МЫСЛИ. ПОВЕДЕНИЕ», была перед глазами. Обратившись к напечатанному, он уже готов был к нагромождению слов, несносно тяжёлому языку учёного. Оставалось только убедиться, что он получит именно тот заряд энергии, обусловленный знакомством с добросовестным анализом, к чему давно уже испытывал определённую слабость, тот заряд, который ожидал.

*1. Солнце, свет, тепло. Уют, широта, комфорт, блаженство... Мерное покачивание в гамаке наслаждений. Яркий призрак волшебства отдельных гласных, непрестанно танцующих прямо у меня перед глазами. Небесное па, выдаваемое в сто крат увеличенном виде, немые фрагменты которого, как грандиозных размеров цветки, распускаются ежесекундно и поглощают видения в средоточии своих завязей. Миг ощущения величия мира, до того как не стало растапливать обострённые чувства, простота соприкосновения с ним, ласковый трепет кротких воздействий, превращающихся внутри меня в ещё более нежную и мягкую трель душевного покоя, или в недостойные думы извращений, или в грозовые раскаты активного натиска – уже бурю, нагнетаемую повсеместно, в любом её смысле и качестве, продуктивном или не очень, громоздком или тут же упорхающем, как только какая-нибудь старая скрипящая телега не наедет мне колесом прямо на лёгкие.*

*От масштабности замысла начинает вздрагивать сердце. Его вальсирующий ком отождествляется во мне с источником благих намерений; любое дело, исходящее изнутри, несёт в себе заряд блаженства, почестей, воспринимаемых моей натурой в порядке вещей, но и влекущих за собой достойный им, не ниже соответствия, позыв.*

*Большая толстая книга бесшумно переворачивает свои страницы, которые искрятся белизной отражённого света. Многочисленные блики играют пятнами в глазах, придуриваясь, исцеляясь, топоча и шаркая от веселья в какой-то бессмысленной детской пляске или юношеском вальсе, впрочем, до самой старости оставляя неразрешимые в их движениях загадки. Она большая и только светится. Она огромная как мир – весь мир в ней, он в ней описан и присутствует, он силён, свеж, самоуверен, блажен, зол, открыт, сноровист как немыслимое виляние зайца на трассе и беспокоен как гора иголок в лесу под сосной. Старая запыленная книга со следами жирных пятен на пожелтевшем глянце толстых листов – при виде такого кладезя знаний мысли замирают. Замирают от почтения к перу, её питавшему, от затрат времени и сил, необходимых для оформления литературно столь богатого, красивого и мудрого речитатива. Это как бы так, но после дюжины страниц я непременно раздражаюсь: слишком легки её тексты, слишком пресновата она всё же по содержанию, слишком далека от насущных вопросов бытия, иногда в ней только обозначенных. Она набита фразами без разбору, как журнал наблюдений, где эмоции превращены в рефлексы, а в массе крупиц и генов великого мелкотворного века усматривается только материал для конфетти.*

*2. Ни в одной книге, которые я брал в руки, я не мог увидеть того, что хотел (за исключением, пожалуй, Достоевского и Набокова). В них не было главного – убедительной заносчивости, характеризующей полупредельное, а значит, наиболее приближённое к правде неистовство автора. В них присутствовало всегда одно и то же. Масса бессознательных уведомлений, или коротко рубленых, как бы надёрганных из общей кучи правильных формулировок, или замусоленных, чуть ли не из прошлых веков, сентенций (к чему и я, признаться, имею слабость). А то и стойкое принципиальное новшество – отрезвление в виде лекции, нашпигованной почтенными ультрафразеровками, столь длинными и безыскусными, что сродни словам-палиндромам, с одинаковым успехом читаемым в ту и в другую сторону. Совершенно неважно, идёт ли речь о литературе художественной, или научной, или какой-либо ещё, – любая проза, чтобы быть богатой, должна быть сотворена на основе чувств. Но так как не существует языка, способного донести до глубин души самые подробные и точные нюансы внутреннего состояния, мы можем только приблизиться к ощущению исходных вибраций автора. Посредством обдумывания сказанного, но ещё и визуальной оценки текста (на восприятие содержания влияют и расстановка знаков препинания, и вид материала, включающего необходимые диалоги и пояснения, чёткость печати, и даже частота абзацев, пропусков, количество колонок, размер и стиль шрифта, то есть художественное оформление текста), – посредством отображения в себе этого мы можем только угадать, насколько ясно представляем то, о чём нам рассказывают. Но художник при этом уподобляться читателю не должен, он должен работать в автономном режиме, независимо от стремления быть понятным. Главное его оружие не домыслы и не логичность, он использует их только для того, чтобы донести некую идею через оболочку содержания. Основная же масса флюидов накапливается на внутренней стороне повествования – именно там сосредоточены сила и дух поэта, которые познаются в тишине и замкнутости, в свету ночной лампы у дивана. Там содержится то, ради чего и плетутся сети насыщенных образов, громоздких описаний и полных вульгарного величия сцен, и что нуждается хотя бы в поверхностном собственном представлении того, о чём пишешь.*

*3. При этом картина перевода текста выглядит элементарно просто. Всё читаемое мгновенно воспроизводится в сознании: слова, как трафареты, каждому слову подбирается соответствующий образ или ассоциация (об этом позже); если они пришлись по ходу повествования более или менее точно, то отпечатываются в памяти как значимые, и бывает, что довольно основательно. Группы слов рождают в голове картины, вступает в действие стиль изложения. Когда речь грамотная и живая, эмоциональный фон достигает наилучшего соответствия излагаемому и описанная сцена или явление, лирическое отступление, монолог предстают перед нами в том виде, когда мы уже слов не замечаем, когда они нужны только для того, чтобы определять детали... Паузы, пробежки, интонация. Если теперь ещё и грамотный читатель, воспроизводящий текст почти так, как он написан: с учётом знаков препинания, посредством внутреннего артистизма в подборе невидимых своих партнёров по взаимодействию, – то можно говорить о редкостном слиянии порыва творчества с порывом потребителя, выражаясь языком рыночных отношений, или слиянии высоких эстетических запросов читателя с внутренней обособленностью автора, говоря языком наук обществоведения. По сути это и есть тот главный механизм, который преобразует в нас на клеточном уровне мировую жанровую литературу.*

*4. Бывает, что этот автор горд и самовлюблён, у него нет необходимости познавать окружающую его действительность, идти с ней в ногу и смотреть по сторонам. Тогда начинаются проблемы с отражением темы, вернее, даже с самой темой: появляется масса искусственного и слишком надуманного. Вскоре это уже изначально закладывается во все мыслимые и немыслимые проекты, многое остаётся нереализованным не потому, что не хватило времени, а из-за явного несоответствия идеи её конкретному наполнению, что иногда обнаруживается на трезвую голову. И наконец, после пары-тройки неудачно обозначенных попыток открывается прямая дорога к самодурству. Человек окончательно утрачивает связь с обычной жизнью, его интересуют намеренно искажённые формы. Он может досконально описывать свои «галлюцинации», не подвергая сомнению их правдоподобность, он уподобляется бродячему музыканту, заученно повторяющему полюбившуюся мелодию, забыв при этом ноты. Никто не верит в искренность его намерений, все безразлично-вежливо поддакивают. Не правы те, кто утверждает, что творчеством является буквально всё, что только сделано руками мастера. Искусство всегда должно быть аккуратно простроченным, между строк должны быть непременно вшиты крупицы души.*

*5. Можно быть в тридцать лет талантливым, а в пятьдесят – уже нет. Любой практически человек может сделать в жизни хотя бы одну потрясающую вещь. Но талант – это не умение сделать что-либо красивое и для всех интересное, это в первую очередь способность к постоянному воспроизводству такого умения, к продуктивной и качественной самоотдаче. В пассиве очень многих неординарных людей, названных знаменитыми, убогая возня и глупая безвкусица; они слишком быстро перестают быть настоящими художниками, перестают видеть и слышать, перестают творить, перестают думать.*

*6. Я не стремлюсь делать то, что поймёт и переварит другой. Это попутчина, какой-то блеф, разве этим обретают уважение? На все вкусы не угодить, и на вкусы большинства не угодить тоже. В этой массе, конечно же, найдётся благородный оппонент, с мнением которого ты считаешься. Однако достичь понимания многих, чтобы выяснить, что ты всё-таки что-то значишь в этом мире, является стимулом любого творческого процесса, что бы ни говорили об этом его непосредственные исполнители (если, конечно, рассматриваемый субъект не есть психически не состоявшаяся личность).*

*Я намереваюсь излагать всё от первого лица и, что самое главное, – для себя же, в основном для себя. В этой книжной речи не должна присутствовать излишняя суета, бесцельное мелькание, она должна сводиться к постепенному раскрытию моей правды, которая и может предстать перед кем-то правдой, если к ней двигаться постепенно. Я и сейчас тревожусь голым замыслом моих потенций, никак не ведая, сильно ли будет морщиться при чтении всего этого случайный бдительный просветитель, на отзыв которого мне, честно говоря, совершенно наплевать. И только краешком сознания опохмеляясь тем, что такого наплевательства в чистом виде в принципе быть не может, что воображение моё не представляется заранее обкусанным и однобоким, что как бы я ни укутывался в накидки своей чуждой прагматизму индивидуальности, всё равно тружусь, грущу и улыбаюсь в надежде, что рано или поздно, но на меня кто-то обратит внимание – я всё же вполне естественным образом погружён в тот блёклый мир, до которого остальным с их скромным багажом нет ровным счётом никакого дела.*

*7. Та разница, которая возникла между отдельными людьми с тех пор, как они всем скопом перестали бегать за мамонтом, во мне есть форма непреодолимой пропасти. В этом нет какого-либо сильного преувеличения: достаточно понять, что человек всегда живёт лишь для себя – создаёт себе комфортные условия существования, общается с другими, чтобы развеять скуку, создаёт семьи, рожает для удовлетворения собственного самолюбия детей (которых по большому счёту следовало бы выращивать в инкубаторах, и мир потихоньку движется в этом направлении); достаточно это понять, и число приверженцев моих идей значительно увеличится. Никогда интересы людей до конца не совпадают. Друзья и враги определяются только на данный момент. Любое сообщество есть лишь простая арифметическая сумма его членов. Раз мы обозначаем себя личностью, раз мы ощущаем собственное индивидуальное сознание во всём многообразии нюансов и оттенков своего нрава, то, стало быть, ни за что не захотим хоть в чём-то связывать себя даже с самым милым и любимым человеком (а вдруг он пойдёт против ваших убеждений, а вы не сможете ему противостоять?), не говоря уже о представителях всяких прочих социальных групп, к которым вы изначально относитесь предвзято. Любовь есть жертва. В прямом смысле вы жертвуете собственной индивидуальностью – вспомните хотя бы, насколько вам было начхать на мнение о вас окружающих, когда вы истинно и очень сильно кого-то любили. Индивидуальность всегда приценивается к окружению (она может быть индивидуальностью только на её фоне), но вам было важно только мнение объекта вашей любви, а остальные, само собой, думали не так, как надо. В этот момент вы выпадали из стройного сообщества, вы готовы были на любые неблаговидные поступки, а некоторые, слабые духом, даже на преступления. Да, любовь окрыляет, вы испытываете счастье, напитаны оптимизмом, но в той же степени и теряете равновесие, уязвимы для зла, если что-либо начинает идти не по вашему отложенному в подсознании сценарию. О любви слагают песни, пишут стихи и романы, подбирая для неё вершину повыше, но относиться к ней стоило бы метафизически. Любовь – единственное чувство, которое сближает друг с другом отдельно взятых людей, а такой любви, которая сближала бы всех вообще, единообразно, или хотя бы многих, такой любви не существует. Отсюда различия в людях, хотим мы того или нет, всегда остаются. Имеется в виду, они остаются проблемой. Стало быть, чувствовать неприязнь к иным, ко всем сразу, вовсе не означает, что вы заряжены внутри себя мировой ненавистью. Стоит ещё разобраться, кому она присуща больше и тем ли словом мы данное чувство обозначаем.*

*8. Одно время я был склонен всё упрощать, доводить до логически цельного, точного и краткого объяснения. Мне представлялось, что всякие нюансы годятся лишь для душевно вымученных, пространных россказней. Когда определение чёткое, никакими оттенками его усилить не удастся, и если оперировать простыми категориями, то, мысленно пройдя по нескольким уровням, можно, например, довольно точно сказать, что означает для вас тот или иной человек.*

*По уровню развития люди делятся на умных и глупых. Разумеется, это деление условное. Какой-либо чёткой границы здесь нет, поскольку в каждом конкретном случае подход к данному вопросу чисто субъективный. Иной, бывает, сам себе кажется умным, но в глазах других выглядит идиот идиотом. Проблема как раз в том, чтó именно большинство вкладывает в эти понятия, чтó оно находит умным, чтó смешным. И с самокритикой в таких вещах люди инстинктивно крайне осторожны. Если представляешь себя умным, найдётся ещё немало людей, готовых в этом усомниться. Если же сам себя считаешь глупцом, никто и никогда уже опровергнуть это не сможет.*

*С точки зрения человеческих отношений люди делятся на активных и пассивных. Актив – это тот, кто постоянно предлагает, при этом форма предложения может быть любая, робкая и даже на первый взгляд не совсем активная. Пассив – это тот, кто всегда ищет, как откупиться. Эти характерные свойства, в моём представлении, почти не зависят от темперамента человека – в какие-то моменты его темперамент только усиливает или ослабляет основной вектор поведения. Его поведение может определяться успехом, горем или болезнью, которые просто воздействуют на некоторые черты характера физиологически. Иногда люди намеренно прибегают к тактике противоположного типа личности, но всё равно их родная внутренняя стихия очень быстро подлаживается под обстоятельства. Как только устраняется пик душевного дискомфорта, объясняемый каким-либо переломным моментом в жизни или стрессовой ситуацией, в нас неизбежно начинают доминировать привычные устоявшиеся манеры. Мы выдаём себя с головой, какими бы выдающимися актёрами при этом ни были.*

*А вообще все люди делятся на нормальных и тех, кому хочется дать в морду. Это деление также условное, однако в основе своей имеет принцип необъяснимого внутреннего приятия или неприятия, что и является в конечном счёте для нас главным по отношению к другим.*

*9. Любое существо, появляясь на свет, подвержено ограничениям, которые прежде всего на него накладывает заботливость матери. Без этого оно вряд ли смогло бы выжить, но первые эмоции, которые он испытывает, связаны со страхом. Страхом перед непонятным и опасным миром, с каждым днём открывающимся перед ним со всё новой из множества своих неприглядных сторон. И его соплеменники, такие же, как оно, существа, вовсе не выглядят при этом безобидными ангелами или теми, у кого стоит просить помощи. Лишь особое свойство человека, в отличие от животных позволяющее ему по ходу взросления воспитываться, развивая в себе такие важные нравственные качества, как доброта, отзывчивость и в конечном счёте совесть, формирует из него в целом то, что мы и называем человеком с большой буквы «Ч», но при этом и переносит на него тяготы всего сообщества, связанные с осуществлением функций последнего. То, что вы родились, не означает автоматически, что вы пришлись кому-то по душе, но зато точно известно, что вам просто необходимо будет понравиться всей массе людей в целом, чтобы бесконфликтно вписаться в модель их сосуществования, принятую сообразно эпохе достижений. То есть на вас изначально, пока вы ещё только находились в утробе матери, некий конгломерат тварей (вы ещё даже не знаете каких) заранее наложил рамки запретов и вписал в свои правила поведения, пусть те, которые принимает большинство (чаще от недопонимания), однако способные радикально обкорнать ваш светлый путь развития как личности. И в связи с этим встаёт вопрос: обязательно ли волеизъявление какого-нибудь Маугли, выросшего в дикой среде по волчьим законам, будет направлено на причинение зла другому, поощрять всё самое убогое и безвкусное, воспринимать жестокость как норму? Будет ли он выглядеть человеком в нашем понимании этого слова или мы так же изолируем его в особом заведении, как преступника или умалишённого? А если освободить общество от нравственных запретов и моральных норм, обязательно ли мы поубиваем друг друга до окончательного самоистребления? Эти вопросы возникли не потому, что есть сомнения в необходимости каких-либо общих правил поведения, какой-либо морали, а из стремления понять, насколько осознанно человек готов ограничивать себя как индивидуальность и до какой степени контроля со стороны. Как это соотносится с уровнем его развития? Хороший человек – это по глупости или по уму? В моём представлении тот, кто выдюжил в этом безраздельном хаосе давлений и сохранил к своему совершеннолетию доброе сердце, тот герой.*

Однако дальше героизмом и не пахло. Канетелин всё отчётливее скатывался к метаморфозам жизни, описанию пороков и лжи, находя разного рода гнусности людей вполне допустимыми, и к фактическому оправданию зла как необходимого регулятора общественных отношений. Где берёт верх зло, там вырабатываются новые принципы взаимодействия, люди изобретают своеобразный антидопинг, подавляя активность недружественной стороны, развивая также и необходимые карательные меры. Отсюда и ненависть отдельных людей – как противоядие для социума. Она позволяет сообществу всё время быть начеку, не даёт захватить его врасплох неизвестным, губительным вирусом.

Вскоре чистая душа, о которой физик упомянул между прочим, затерялась в этих странных домыслах вообще, и стало понятно, что её он прославлять, во всяком случае в ближайшем будущем, не собирается. Почему-то главное внимание было сосредоточено на том, что в приличной аудитории вопросов не вызывает, что вполне резонно принято осуждать. Наверное, Канетелин считал наличие положительных качеств у людей как нечто само собой разумеющееся. А необходимость борьбы с презренными свойствами натуры требовали их распознания, чёткой идентификации вне зависимости от различных нюансов их проявлений. Возможно. Не хотелось бы думать, что пришлось неожиданно для себя окунуться в теорию зла, однако пока что это выглядело именно так.

Где-то с двадцатой страницы Канетелин ввёл в свой трактат героя и на его примере стал описывать завихрения человеческой психики. Увлекаясь мнимыми с ним диалогами, он пытался, наверное, изобразить припадки бешеного нрава, повелевающего мыслями и в споре и в ночной тиши, но и в собственном душевном спокойствии уже с первых глав изложения заставил сильно засомневаться. Дискуссия получалась славной.

«Что же всё-таки побудило его взяться за написание этой книги? – думал Виталий. – Совершенно не свойственный для физика труд. Во всяком случае, выглядит как не свойственный. Представителю точных наук не резон копаться в извивах человеческой души. Если, конечно, не предположить, что в своей области ему открывать больше нечего, но это представляется нелепым».

Возможно, он поэтапно, шаг за шагом отображал свои сложные отношения с коллегами по работе и только потом уже разразился некими обобщениями касаемо людских нравов в целом. Но всё равно тогда для него, считавшего себя сильным руководителем, затевать только из удовлетворения философских или писательских амбиций новый проект, неизвестно зачем, в изначально не зафиксированном виде, есть странная прихоть, сравнимая с последними потугами пережившего себя творческого маразматика. Неужели ему больше не о чем было думать?

Однако какие-то источники их конфликта обязательно здесь должны присутствовать. Не может быть, чтобы он говорил в целом, не подразумевая примеры из своей собственной практики. Это уже совсем не по-научному.

Что же всё-таки у них произошло?

**3**

– Ты, главное, не нервничай. К аппаратуре надо относиться с любовью, как к женщине, тогда она будет отображать нужные результаты, – поглаживая ящик прибора, говорил Семён Савелов. – Проверено практикой.

– Практика твои выводы давно не подтверждает.

– Но первым странный выброс обнаружил я.

– Когда это было! Скоро об этом можно будет забыть: гипотезу на таком багаже не выдвинешь. Нужны хотя бы повторные данные, а их нет, и те, что мы получили, просто не к чему прислонить.

Двое учёных сидели в лаборатории и наблюдали на мониторе ход эксперимента, который транслировался в зал из нижнего бункера. Повторяющиеся изо дня в день неудачи поубавили энтузиазм, они сидели просто так, болтая ни о чём, не задаваясь только вопросом, когда следует прекратить попытки, поскольку безысходность положения начинала уже утомлять. Упускать возможность для развития новых идей было жаль, но материалов не хватало, а внеплановая работа грозила сорвать все обязательства лаборатории по действующему договору. Поэтому их нынешняя расслабленность неизбежно предшествовала моменту, когда последует указание начальника оставить всё как есть и двигаться дальше. Внутренне они уже готовились расстаться с мнимой удачей, поскольку она тогда лишь имела смысл, когда вела к другой.

– Канетелин говорит, наука не тётка, она не накормит. В неё можно только верить.

– Он много странного говорит. И странно действует. Казалось бы, на непонятные всплески стоит обратить самое пристальное внимание, а он от них отмахивается. Выходит, сам он в науку не верит.

– Великие люди часто противоречивы. – Оба улыбнулись. – Они тем и знамениты, что умеют рассуждать обо всём одновременно.

– Пусть рассуждает о чём угодно, лишь бы от этого была польза делу.

– Не забывай, что любое дело – это квинтэссенция устремлений к чьему-то персональному удовлетворению. А творческое начало подчинённых выступает лишь как вспомогательный инструмент. Наш руководитель слишком хорошо чувствует, когда не нужно напрягаться. Впустую тратить время он нам не даст.

– Но позволяет Олегу.

Напарник отвернулся, лицо его отразило неопределённость:

– Трудно понять. Может, и так.

В комнату вошёл Олег Белевский. Мельком взглянув в сторону коллег, он направился к своему рабочему столу.

– Тебя срочно просил зайти Канетелин.

Ответом был кивок головы. Озабоченный вид его заметно диссонировал с общей расслабленностью, которая царила в лаборатории в последние дни. Он будто не понимал затянувшейся в плановых исследованиях паузы, однако сам постоянно задерживал их возобновление. С неослабевающей энергией он генерировал идеи, позволяющие им предпринимать всё новые попытки для подтверждения неожиданных результатов.

– Очередной разбор полётов, – глядя на закрывшуюся за Белевским дверь, заметил Савелов.

– В отличие от нас, Олегу есть что предъявить. То, что он сумел сплести из этих цифр, достойно награды.

– Идея смелая, но слишком обособленная. Там тоже туман.

– Не завидуй.

– Я не завидую. Если бы у него что-то получилось, я бы первый за него порадовался. На самом деле кто больше всех из нас заслуживает успеха, так это он.

Они принялись обсуждать проблему научного подвига, который совершается часто вопреки здравому смыслу, а не благодаря ему. В среде таких вдумчивых учёных динозавров, каким являлся их завлаб, подобным поискам, казалось, было не место. Однако не щадя себя, они с удовольствием бы поучаствовали в процессе, требующем много часов обычной рутинной работы. Инстинктивно улавливая нить предложений, они просто заражались идеей исследований, причинно находя в них и свою составляющую, отчего общая болезнь коллектива становилась настолько понятной, прозрачной изнутри, насколько её хотят видеть самые отъявленные практики на свете.

Между тем разговор в кабинете заведующего лабораторией шёл по другому сценарию. Белевский тупо следил за мыслью Канетелина, а тот направленно пытался давить на него своим авторитетом.

– Мне всегда было приятно с вами работать. Я ценю вас как хорошего специалиста и поэтому прошу вас отнестись к моим словам с пониманием. Здесь нет никаких личных проблем с моей стороны, есть лишь некая обеспокоенность по поводу точности и правильности предъявляемых нами результатов. Я прошу вас убрать из отчёта последние данные ваших исследований.

– Как убрать?

– Очень просто: не упоминать о них вообще.

Белевский понял, к чему клонит Канетелин, и слегка озаботился его достаточно прямым предложением.

– Но как это возможно? А Савелов и Кашвили? Они же захотят на эти данные ссылаться.

– Я объясню им всё позже. Главное, чтобы поняли вы.

– Но зачем вам это нужно?

Канетелин поднялся со своего места, церемонно пройдя мимо Белевского и взглянув на дверную ручку, будто в ней в данную минуту содержался главный источник беспокойства. Затем обошёл своего сотрудника с другой стороны, придав себе такой вид, что знает значительно больше, чем можно о нём подумать.

– Нужно не мне. Это наша общая проблема… Возможно, мы начинаем делать выводы тогда, когда ещё к этому не готовы. Сейчас мы имеем тот случай, – подчёркнуто заявил он, – когда коллективный разум только вредит делу.

– Вредит делу или кому-то мешает?

Канетелин обратил взор куда-то в угол, словно посоветовался с невидимым своим партнёром. Затем сказал:

– Не буду разуверять вас в том, что в некоторых аспектах нашей деятельности я иду наперекор своим принципам. – («Есть ли они у тебя вообще?» – подумал Белевский.) – Настал момент, когда необходимо оценивать каждый шаг. Поверьте, любой из них может оказаться судьбоносным.

Белевский слегка напрягся, чувствуя приближение развязки, того главного, что может кардинально изменить его жизнь.

– Я всё понял. Вам не нужны дальнейшие исследования, поскольку они распыляют эффект на составляющие, которые среди людей трудно контролировать. Но чтобы делать мне такое предложение, у вас должны быть веские основания.

– Они есть.

– И вы готовы их предъявить?

– Да, разумеется. Завтра после работы, когда выключим установку.

Сухонький и мрачный, он снова уселся в своё кресло, явно выжидая решения учёного, слегка обескураженного таким поворотом дел. Идти на конфронтацию с ним Белевскому не хотелось. Да и намёки на какие-то дополнительные факты немало подогрели его интерес как учёного. Судя по поведению его начальника, проблема вырисовывается нешуточная, однако, зачем понадобилось отсекать от неё остальных, Олег Белевский мог только догадываться.

– Я так понял, что если я не соглашаюсь на ваше предложение, разговор можно считать законченным?

– Совершенно верно. Но мне бы хотелось, чтобы именно вы приняли участие в проработке одной важной идеи. Так, чтобы об этом никто не знал. Мне нужен помощник, а человека с вашим опытом и знаниями найти непросто.

Здесь закрутилось что-то необычное, несколько секунд Олег пребывал в нерешительности. Бывают в жизни моменты, когда выбор необходимо делать по наитию, и тут якобы не важно, на какие нравственные устои вы ориентируетесь – в конце концов, на единственную в жизни ошибку имеет право каждый. Или на две. А может быть, больше? Превратить ошибку в заблуждение, поддаться искусу, в чём человек особенно недальновиден, объяснить свои слабости чьим-то беспрецедентным давлением – в таких дельностях в наш разумный век он научился разбираться особо творчески. Можно описать страхи и волнения, обосновать трусость, показать глубинный зов к предательству. Или заручиться лишь ссылкой на несдержанность какого-нибудь тщедушного завлаба, представляющего для науки, да и человечества в целом, необъяснимый феномен соцветия гормонов – яркого воплощения той упорядоченности идей, о которой с крутым математическим ожиданием гласит нам теория вероятностей. Да, человек слаб. Да, он возвышен над собой. И трусость спускает его с небес и даёт понять, что равноценное суете или замыслу противопоставление существовать не может. Ранимый с детства вряд ли кого-то покоробит, но какова на самом деле должна быть ваша реакция? И действительно ли трусость представляется в таком неприглядном свете, в каком мы привыкли отмечать всякие выверты человеческой души? В ней есть особенные тонкости, на которые реагирует лишь знание характеров, долгое неугомонное общение с себе подобными. Трусость во многом спонтанна, ею управляют инстинкты, а предательство есть явление обдуманное. Потому и презираемо настолько, поскольку человек всегда предаёт осознанно. Он знает, на что идёт, хотя в его распоряжении всегда есть пара-тройка спасительных вех, ориентируясь на которые ещё можно предотвратить своё падение. Надолго, ненадолго – вопрос отдельный. Главное в его мыслях и убеждениях, но никак не в стойкости духа, поскольку это вещь важная, но, как представляется, всё же производная.

– Хорошо, я согласен. Текст отчёта будет по-тихому откорректирован, но я уже слышу недоумённые возгласы своих коллег по работе, поскольку, как потом объяснить свой поступок, совершенно не представляю.

– Скоро представите, – подозрительно оценил его взглядом Канетелин, словно не до конца ещё веря в сговорчивость своего сотрудника.

Однако потом заметно смягчил выражение лица, и Белевский знал, что подобные изменения настроений есть далеко не театральная поза его руководителя.

– Я рад, что вы готовы к сотрудничеству, – продолжил заведующий лабораторией. – С Савеловым и Кашвили я чуть позже разберусь, вас это не должно беспокоить. Главное, с сегодняшнего дня по поводу всех полученных вами выкладок вы будете советоваться только со мной. А чтобы вам в ближайшие дни спокойно работалось, могу организовать для вас больничный.

– Моя работа совсем не будет подразумевать практических исследований?

– Нет. – Канетелин будто удивился, что его партнёр не до конца понял свою задачу. – Пока нет. Вам ни на что не надо будет отвлекаться. У вас дома есть условия для работы?

– Есть.

– Вот и прекрасно. Детали обсудим позже. – Он оживился, словно обтяпал только что важное дельце. – Откровенно говоря, я думал, вы начнёте сейчас приводить доводы морального плана. За вами замечена некая блажь – порассуждать о недостатках человеческой натуры. Но теперь не тот случай. Когда на повестке дня серьёзные победы, обходными путями идут только идиоты. Я убеждён, вы достойны важных достижений, и они у вас будут, осталось только приложить совсем немного усилий.

Белевского вдруг зацепили последние слова завлаба, в которых он уловил главную суть канетелинских каверз.

– Как вы определяете, кто чего достоин?

Это был вопрос в точку, поскольку его начальник сразу же обнаружил в себе привычное раздражение.

Его мышцы как-то беспричинно задвигались, преодолевая, очевидно, некие побудительные реакции. Он встал. Видно было, что его бесят не только люди, но и всякие расспросы, нелепости вокруг.

– Я терпеть не могу посредственность, – заявил он. – Ни в чём. Наверное, это моя главная беда, потому что мириться с ней я не намерен. Посредственность всегда доминирует.

– Ну, наверное, не всегда…

– Почти всегда. И повсеместно. Дураков на свете больше, чем людей. Вы это знаете?

– То есть оказанным мне доверием вы исключаете меня из их числа.

– Можно сказать и так. – Его колючие глазки застряли на подчинённом, отчего тому стало как-то не по себе. – Я на вас очень рассчитываю и потому не хочу, чтобы между нами остались какие-то недомолвки.

Однако, чем больше он пытался заручиться пониманием Белевского, тем отчётливее эти недомолвки пронизывали суть их отношений. Бывают ситуации, когда люди пояснениями только запутывают оппонента, не стремясь найти точные слова, а отвлекаясь на образные сравнения. От недостатка ли прямоты – из-за трусости, намерений скрыть истинные мысли – или из-за раздрая в собственной системе понятий, но их попытки объясниться превращаются в жалкое вещание на отвлечённую тему, мало чем связанную с предметом разговора. В случае же с Канетелиным, обладающим крутым лбом и развитым мышлением, заподозрить его в неумении чёткого налаживания контактов с союзником было бы просто нелепо. Однако далее последовала беседа, напоминающая скорее диалог на завалинке, чем договор двух учёных о дальнейшем сотрудничестве. Как-то странно они обменивались ничего не значащими соображениями, хотя Канетелин сумел увлечь своего партнёра новыми идеями, которые скудно просачивались сквозь метафористичность его словесных пассажей. Через некоторое время можно было смело отметить гипнотические свойства его натуры, словно дурман в голову, бьющие по одному из главных элементов сознательной деятельности человека – по его воле. Каждой фразой он будто говорил о том, что за этим стоят ещё более значимые вещи. И весь этот бесконечный словесный триллер в конце концов настроил Белевского на волну полного подчинения своему непосредственному руководителю, предписывая действовать по его указке и вопреки всяким нормам деловых отношений в коллективе.

На следующий день вечером они остались в бункере, когда весь персонал лаборатории уже давно надел мягкие тапочки и думал о приятном домашнем ужине.

Канетелин увлёк Белевского за собой. Они пошли зачем-то рабочим тоннелем в противоположный конец подземного агрегата. Время от времени в воздухе раздавались сухие щелчки, и Белевский подумал, что напрасно поддался на авантюрную идею начальника, еще не заставившего поверить в его сенсационные выводы окончательно. Их поход явно нарушал правила техники безопасности и мог более чем отрицательно сказаться на здоровье. Белевского заботило его здоровье, но и намёки Канетелина на нечто сверхъестественное подогревали интерес необычайно.

Уже несколько минут Канетелин ему что-то увлечённо рассказывал, но Белевский его не слушал. Наконец он обратил внимание на слова провожатого.

– Вы изучали философию, вы должны знать, что, скажем, утверждение «два и два дают четыре» мы считаем истинным, но подразумеваем применимость его только по отношению к неким физическим объектам, но не к явлениям, характеристикам, чувствам и так далее. Поскольку если взять, например, пару эмоций, допустим, испуг и негодование, и добавить к ним ещё пару, предположим, обиду и злость, то нельзя утверждать, что, испытывая их одновременно, мы будем чувствовать всё по отдельности и вместе, а не какое-нибудь новое, неизведанное ещё чувство, включающее и, возможно, поглощающее в себе исходные составляющие. Стало быть, на утверждение «два и два дают четыре» мы уже накладываем некие ограничения, описывая область применимости счёта, общие о нём представления, единообразие правил, а может, даже и временной интервал, в котором все эти условия действуют. Ведь если допустить, что природа человека в будущем как-то изменится, то, вполне возможно, изменятся и его понятия, так что будет истиной «два и два дают пять». Всё это говорит о том, что утверждение «два и два дают четыре» вовсе не является абсолютным, а лишь характеризует способы познания и состояние самого субъекта в пространстве и во времени. Оно является одной из множества доктрин, с помощью которых мы описываем мир, вдолбив себе в головы на данный момент постулат об их универсальности. Бертран Рассел в своё время обозначил мир «универсалий», но дал понять, что сами «универсалии» не являются универсальными, извините за тавтологию.

«Всё это прекрасно, но каким образом соотносится с нашими исследованиями?» – думал Белевский. Спросить об этом напрямую он пока не решался, ибо никогда не торопил события, если чего-то не понимал.

Канетелина он всегда считал ненормальным, хотя до некоторых пор его уважал. По крайней мере, до того момента, пока тот проявлял в себе, в своих взглядах некую цельность, не противоречащую интересам сотрудников лаборатории. Но потом его как-то разом все невзлюбили, включая даже младший научный персонал, которому он с назойливостью зануды начал досаждать всякими мелкими придирками, в чём и проявлялась особенно чётко его дурацкая натура.

– С точки зрения философии мир состоит из фактов, – продолжал Канетелин. – При этом отсутствие факта, по Бертрану Расселу, само по себе является отрицательным фактом. То есть мир состоит из фактов и антифактов, иными словами, фактов несвершения каждого конкретного факта. Таким образом, Вселенную можно полностью описать набором положительных и отрицательных фактов, которых, разумеется, бесконечное множество. То есть мы имеем по крайней мере ещё один подход к пониманию мироустройства помимо проведения и описания физических опытов. Метафизические проблемы философии сбрасывать со счетов рано, их надо изучать. А в конечном счёте, в идеале, их стоило бы связать воедино с естествознанием, и тогда многие научные задачи решались бы намного проще. Сейчас вы кое-что почувствуете, и мы поговорим о наших делах конкретнее.

В этот момент за спиной Белевского что-то мягко зашуршало и с отчётливым шипением унеслось вдаль, так что он невольно вздрогнул, не успев обернуться на шум. Он сжался всем телом и вопросительно уставился на профессора.

– Остаточные явления процесса, – пояснил тот. – Не пугайтесь. Когда надо будет испугаться, я вам скажу.

Белевский ему не поверил.

– Они от вас убегают, – сообщил Канетелин.

– Кто?

– Что-то вроде разрядов. Пока точно не знаю, но для нас они не опасны. Там есть проводник с гораздо меньшим сопротивлением, чем человеческое тело. – Он указал куда-то в глубь тоннеля. – Туда они и стремятся.

– А если они проскочат через нас?

– Через меня уже проскакивали.

– И что? – Белевский любопытствующее на него уставился, но тот лишь довольный развёл руками:

– Ничего, как видите.

Они молча продолжили движение, хотя теперь, казалось, и Канетелин шёл не так смело, как поначалу. Длинные тени в тусклом свете ламп стелились по стенам и полу коридора. Демонические картины налезали одна на другую, описывая лишь две следующие через тоннель фигуры учёных, впрочем, не отражающие ничего коварного по отношению друг к другу.

Внезапно, как вспоминал потом Белевский, он весь напрягся, непонимающе уставившись в потолок, поскольку осматривать вокруг было нечего. Какая-то упругая волна неоднократно коснулась его тела, заставив неприятно завибрировать его конечности и сердце. Однако буквально через несколько шагов ощущения резко пропали, чему соответствовала канетелинская отметка, оставленная заранее мелом на стене. Он попробовал вернуться назад и снова чуть не умер от страха перед необычным воздействием.

– Чувствуете?

– Да. Странное место. С чем это связано?

– Вот в этом нам и предстоит разобраться. Кое-какие задумки есть, о чём я вам расскажу наверху, и мне, разумеется, потребуется потом ваша помощь.

У него вдруг схватило спазмом горло, а мышцы пронзило мелкой дрожью, он с изумлением посмотрел на Канетелина, похоже, ничего подобного не испытывающего. Кажется, он на несколько секунд потерял сознание, чем испугал своего руководителя. После этого они постарались выбраться из тоннеля как можно быстрее.

Изрядно напугавшись, Олег почти сразу принял объяснения Канетелина, поверив в его гипотезу о мнимой сингулярности, её устойчивости и отображении в обычном трёхмерном пространстве. Впрочем, как раз по условиям существования такого парадоксального объекта и возникали основные вопросы. Оставив пока за скобками физику явления, Канетелин напирал на математическую интерпретацию новых измерений, доступную в нынешней теории пространств. Если бы удалось представить приемлемую связь с заданной Канетелиным функцией, можно было бы предположить, какими реальными параметрами описываются неизбежные точки разрыва. И Олег взялся поработать над такой связью. Подобным разрывам, кстати, должны предшествовать значительные искажения полей. Там, где остановились в тоннеле Олег с Канетелиным, как раз и находилась переходная зона, сгенерированная в наших условиях, можно сказать, в нашем мире, работающей экспериментальной установкой.

Итак, ему предстояло создать математическую модель явления, достаточно интересного способа преобразований материи, которое до этого ещё никто не описывал. Насколько он понимал, заняться этим стоило, поскольку задача представлялась вполне предметной. Главное, имелись уже фактические данные экспериментов, которые можно было обоснованно интерпретировать. И в этой связи всё более отчётливо стало вырисовываться истинное лицо Канетелина.

Белевский сразу понял, почему его руководитель так тщательно ограждал свои догадки от прикосновения всяких сторонних умов, которые он видел буквально в любом, даже самом заурядном сотруднике института. Открытие представлялось потрясающим и чудовищным одновременно. Оно могло быть реализовано в конкретную затею в самые ближайшие сроки, а полученный результат пока что абсолютно точно не распознавался бы никакими современными средствами наблюдения, анализом и способами технической разведки. Пожалуй, он смог бы быть творцом самых чудовищных на земле злодеяний, и никто бы не догадался, откуда они исходят. Серьёзный ли это соблазн, предстояло ещё только начать осмысливать.

С того момента, когда Белевский осознал, какие ставки стоят на кону, он в разных формах пытался уяснить для себя, правильно ли пользоваться дарами природы, не обременяя остальных хоть сколько-нибудь внятным объяснением своей позиции. И вообще не есть ли преступление сама мысль, что ты отягощён присутствием вокруг всякого сброда? В отдельные моменты он несколько раз пробовал завести разговор с Канетелиным, который не принимал его опасений, чуть ли ни открыто признавая их трусостью, и всё время натыкался на его амбициозную отповедь. Тот не знал сомнений и не слышал аргументов, как всегда задавливая оппонента шумом своего самодурства, успешно интегрированного, однако, в собственную научную деятельность. Но и силу его доводов порой бить было нечем. То, что он знал жизнь с её всемирными, злыми и коварными, выкрутасами, казалось бесспорным.

– Вам не кажется неправильным, – говорил Белевский, – наделять себя высокой степенью ответственности, не обладая при этом достаточной полнотой информации? По-моему, аморально выносить вердикт в отношении кого бы то ни было, когда вы не имеете необходимых полномочий. Любые решения, даже судебные, могут оказаться ошибочными.

– А кто на земле обладает необходимыми полномочиями?

– Допустим, глава государства.

– С чего вы это взяли?

– Хотя бы с того, что ему многие доверяют. У него высокий рейтинг.

– Рейтинг? – Канетелин недоумённо нахмурился. – Какой рейтинг, о чём вы говорите? Если по телевизору каждый день показывать одну и ту же лошадь, у неё тоже будет высокий рейтинг. Рейтинг – это способ навязывания того, о чём вы не собирались думать. Это инструмент, а не критерий. – Он уставился на него с видом человека, который всегда прав. – Что же касается максимальной информированности главы государства, гораздо большей, чем кого бы то ни было, то это действительно так. С этим я согласен. Но только хотел бы отметить следующее.

Его глаза лукаво блеснули. Это означало, что он основательно сел на своего конька и переубедить его можно было даже не пытаться.

– Вы не замечали, что власти во всём мире ведут себя как обычный человек? Комплексуют, обижаются, страдают излишней доверчивостью, инфантилизмом. Они недальновидны, если хотите, убоги, и с этих позиций я выступаю с ними на равных. Скажите мне, пожалуйста, в чём их мудрость? Они оболванивают народ пустозвонством, только и всего, не в силах признать, что любая государственная стратегия обязательно включает в себя убийство и люди, действующие от имени государства, изначально убийцы, как ни крути. – Он заводился на пустом месте, накручивая себя собственными мыслями. – Жизнь вокруг – это поток информаций. Не прогрессирующая система ценностей, заметьте, а всего лишь куча навоза, которую периодически необходимо разгребать. Государство уже утонуло в этой информации, но чего оно достигло? Где он, этот паритет интересов с гражданами? Где сдерживающая стратегия властей, если периодически возникают войны? Они что, во благо каких-то народов? Я умоляю, дайте рассмеяться. Там нет системы, – указывал он пальцем куда-то вдаль, – там сборище хапуг. Они уйдут в небытиё, когда на их методы найдутся ещё более действенные методы укрощения, но порочная практика-то останется… Сейчас программа угнетения действует на межгосударственном и даже на межконтинентальном уровне, и есть три способа сломать такую конструкцию…

То, что следовало далее, пугало своей изощрённостью. Он действительно описывал эти три способа, ничуть не сообразуясь с тем, как выглядит со стороны. Какое впечатление о себе формирует у тех, с кем ему предстоит ещё немало потрудиться для реализации более созидательных идей. Белевский принимал в его речах что-то наносное, неестественное, но вместе с тем видел, как тут же, на его глазах, формируется этот жуткий идеал Канетелина, утверждающий право абсолютной силы и той идеологии, которой уже в принципе невозможно мирно противостоять. Необходимо только быть первым, и Канетелина страшно возбуждало то, что он первый, не признающий суррогата, и только Белевский, в силу его посвящённости в тайну, оставался камнем преткновения, ещё сопротивляющимся, неопытным, недоверчивым созданием, чующим в своём начальнике потенциального врага.

– Вы как блёклый интеллигент, – заявил однажды Канетелин по ходу очередной их приватной беседы. – Вас пугает действительность, но шагнуть как следует вперёд не хватает духу. Нашей кровной интеллигенции свойственно только одно – плакать. Ныть, выть, кричать, но ничего не делать. Это такая дармовая позиция: внушать людям уважение к себе посредством указания на своё превеликое недовольство, которое в перспективе представляется недовольством жизнью целого народа. Человек как бы страдает, но поди разберись, какое место у него чешется по-настоящему. Ох, как их много развелось. До сих пор живут их отпрыски. Эти киношные и литературные размышлялы, кого они хотят удивить своим словом?! В чём их слово?! В указании на истину? В обозначении каких-то «ценностей»? Это всё пýкалки несвершившиеся! Поэтому к ним и отношение такое – как к ползучей гвардии шершавых тараканов, не имеющих про запас ни одной сильной идеи. Может быть, у них не хватает умения, вполне допускаю. Но не постыдно ли закладывать в принцип свою осторожность и лезть с нею во все дыры, пытаться заткнуть их велеречивым жестом якобы благоразумия, а на самом деле повсеместной лености и спеси? Вот почитайте «Жизнь Клима Самгина», там все персонажи мужского пола сплошь бородатые и с усами, – сделал он неожиданный поворот. – Горький их всех поголовно так описывает. Это что, единственный признак принадлежности к мужскому роду? Или он решил их всех пометить зрелостью как разумную критическую массу? Вам не кажется чудны́м противопоставление либеральных идей облику каких-то недозревших мальчуганов, с чёрными клинышком бородками, лет этак под тридцать? Такие идеи не достойны оппонирования со стороны действительно серьёзных личностей? Дело в том, что мы этих идей стеснялись и стесняемся до сих пор. Сам главный герой активных протестов не принимает, он их боится, и это символично. Наша интеллигенция может кричать только о величии всевышнего и петь осанну только состоявшимся героям, поскольку это не требует внутренней работы, никакой работы вообще. Но проявить себя на ниве хотя бы трезвого анализа прошлого, не заложившего, оказывается, ни одной формулы благополучия – одни метания между ненавистью и звуком, – здесь типично интеллигентское «благоразумие» не оставляет ни одного шанса здравому рассудку показать чутьё среди бедствующих. Здесь коллективный ум всегда на стрёме. Он не позволит просочиться в массы мелочным припадкам несущественного. И самих «припадочных» всё-таки держит в стороне от власти. Может, так и правильно, но обязательно рано или поздно приведёт к действенным протестам несогласных… А что, если пренебречь общенародным мандатом доверия? Плюнуть на всякие правительства, не обращать на них внимания, как они не обращают внимание на целые народы, и сильно испортить настроение тем, кто лично вам противен.

Уже нельзя было отмахнуться от таких слов. Белевский давно сообразил, что Канетелин что-то затевает.

– Тогда вы превращаетесь в обыкновенного преступника. И мне с вами не по пути.

– Не спешите… Я понимаю, что в любой момент вы можете нарушить наши договорённости, рассказав руководству института то, над чем сейчас работаете. Я не в силах вам помешать, я не глава спецорганов и не шантажист. – Они встретились взглядами, но Белевский тут же отвёл глаза в сторону. – Я лишь предлагаю вам воспользоваться правом первооткрывателя. По своему усмотрению. Но когда вы увидите плоды своего труда в действии, я уверен, вас будут одолевать совсем другие мысли.

Канетелин не прогадал, поставив на амбициозность и самоотдачу молодого учёного. Ради серьёзного результата тот мог подавлять свою принципиальность сколь угодно долго. В конце концов, это продукт не прибыльный, он хорош только для пустозвонов и неэффективен для созидания. Олег Белевский был не такой. По его реакции Канетелин понял, что тот готов работать без оглядки на коллег, невзирая на издержки принятых правил поведения и на рост недоверия среди других сотрудников лаборатории.

– Вы знаете, как ускоряется поток? – спросил Белевский.

– Знаю.

– И в какие моменты происходят выбросы?

– Знаю, и мы можем спрогнозировать их появление. Поток ускоряется настолько, что разрывает пространство, а рвётся всегда там, где тонко. Где это «тонко», вы скоро поймёте сами.

Белевский решил, что главные его поступки впереди, тогда он и подумает как следует, а пока надо держать нить удачи в своих руках. Тем более он был не самым сильным математиком в их лаборатории, Савелов, пожалуй, посильнее. Он почуял, что Канетелин чего-то недоговаривает, то есть ключевые повороты в проводимом исследовании держит при себе, вполне возможно, не имея намерений рассказать о них вообще. Может, Канетелин просто использует его навыки по необходимости, чтобы потом наполнить созданную модель содержанием самостоятельно. Однако вставать в позу и выходить из игры Белевский не собирался. Необходимо было ждать момента и пытаться узнать неизвестное, прибегнув, может быть, и к краже – он уже подумал и об этом.

События стали развиваться довольно странным образом. Савелов и Кашвили про отчёт даже не вспоминали. Говорил с ними Канетелин или нет, неизвестно – наверное, говорил, – но те аномальные явления, которые были зафиксированы по ходу экспериментов, будто бы их уже не интересовали. Расспрашивать их он ни о чём не хотел, тем более сделать это, не упоминая уговор с Канетелиным, до сих пор не знал как.

Где-то через неделю, сидя на своём рабочем месте, он вдруг обнаружил, что лежащие в столе старые материалы находятся в удивительном беспорядке, который он никогда себе не позволял. Записи и графики были перепутаны, лежали не в своих папках и так, словно их наспех распихали как попало. Сами папки находились не в тех ящиках, в которых должны были находиться, о чём он помнил однозначно, так как привык собирать материалы строго по темам. Некоторые были перевёрнуты лицевой стороной вниз, из них торчали отдельные листы, кое-что помято или, как ненужный хлам, бесхозно брошено.

Он удивлённо взирал на всё это несколько минут, разложив материалы на столе, потом обратился в зал в надежде зацепиться за первый встреченный им взгляд:

– Что за чёрт! Кто-то рылся в моих бумагах.

– Кому нужны эти реликтовые письмена? – попытался отшутиться Кашвили. – Чтобы разобраться в них, нужно ещё пройти курс изучения твоего корявого почерка.

Но озабоченность Олега всё-таки подействовала на остальных.

– В ближайшие дни пару раз вечером оставался Канетелин, – сказал Савелов. – Больше никто. Может, ему срочно понадобились какие-нибудь цифры? Он тебе ничего не говорил?

Белевский молча мотнул головой. Собственно, его, как и других сотрудников лаборатории, в первую очередь ошарашила бесцеремонность возни в его столе, без извещения о необходимости подобных действий. И только позже возникли подозрения насчёт копирования отдельных листов – каких конкретно, он даже не мог предположить.

«Что ему вдруг понадобилось? – думал он. – Я и так информирую его каждый день во всех подробностях, передаю ему все свои наработки. Значит ещё до нашего уговора в процессе исследований были зафиксированы вещи, который представляют для него несомненный интерес, но что это за вещи?»

Он ещё раз перебрал все листы по одному, но так и не обнаружил ничего достойного внимания. На прямой вопрос Канетелин ответил, что никогда даже не заглядывал в его стол, и подозрения теперь возникли в отношении каждого из сотрудников лаборатории.

Однако он быстро об этом забыл, дело наконец двинулось с мёртвой точки. Все выходные он просидел дома за расчётами. Жена вроде была недовольна, пришлось отвлечься на ужин, откупорив по какому-то поводу бутылку вина. Но выпил он за подвижность гауссова пространства, наткнулся на её обиженное выражение лица и, что она говорила далее, почти не слышал.

У них не было размолвок. В такие моменты Марина оставляла его в покое, пока он сам к ней, соскучившись, не возвращался. Она любила его таким, какой он есть, а Олег даже не сомневался в том, что его платоническая страсть непосредственно вытекает из тройной разбивки дифференциалов, превращаясь в живое сладостное чувство, и, наоборот, мягкое душистое тело супруги после изнуряющей гонки плавно переходит в систему уравнений, тензоры четвёртого порядка, описывающие колебания в броуновском хаосе, столь понятные ему уже во время их любовных наслаждений.

В понедельник он уже готов был представить первые выкладки. Канетелин находился на совещании у руководства, и Олег всё утро провёл внизу, в операторском отсеке бункера. Простое фиксирование данных во время исследований не требовало его присутствия. Скучая, он слонялся по помещениям, заводя отвлечённые разговоры с коллегами, а в обед, когда за пультом установки остался только дежурный оператор, засел в подсобке, уйдя в раздумья по поводу разных научных проблем. Как всегда в таких случаях, к решению чисто технических вопросов стали примешиваться попутные мысли. Не давала покоя его роль в наметившемся тандеме. Канетелин пугал своими идеями, и Белевский до сих пор не понимал, сможет ли быть его союзником, и если не сможет, что тогда будет. Станет ли он и дальше работать под его началом? Что означают пространные заявления Канетелина, по сути намеревающегося держать в своих руках пульт дистанционного управления серьёзным оружием?

«Странно, что об этом никто не знает, – думал Олег. – В других странах, может быть, и знают, но у нас почему-то по данному направлению полная тишина. И вообще, возможно ли такое на самом деле? Может, он заблуждается? Или умышленно вводит в заблуждение меня? Но зачем?»

Последние мысли посетили его уже на ходу: он решительно двинулся ещё не зная куда и только спустя некоторое время сообразил, зачем без колебаний сорвался с места. Толстая железная дверь, ведущая в зал установки, была закрыта, но у него имелась карта, позволявшая беспрепятственно проникать во все закоулки обширного подземелья. Преодолев несколько массивных заграждений, где, открывая замки, пришлось изрядно потрудиться вручную, он очутился у цели своего рывка раньше, чем подумал об обоснованности такого опасного мероприятия, задавшись главным вопросом только теперь.

Заходить в рабочую зону во время активной фазы исследований категорически запрещалось. Он почувствовал лёгкое покалывание по всему телу, на голове зашевелились волосы. Преодолев первый страх, Олег всё же двинулся в малый тоннель, в то место, где они были с Канетелиным несколько дней назад, причём зашагал быстрее и увереннее. «Если надо, дойду до того конца. В том зале уже давно никто не бывал. Хотя в тоннеле, наверное, безопаснее», – думал он, внимательно всматриваясь вдаль, где за изгибом терялся свет дежурных ламп. Тоннель был проложен по большой дуге, отдаляясь на максимальное расстояние от «энергетического стержня» в середине. По сравнению с прошлым разом здесь оказалось намного спокойнее: никаких странных щелчков и метаний светящихся объектов, непрерывно только давил гул, доносящийся из залов, где работали мощнейшие агрегаты. И даже первые неприятные ощущения, связанные с блуждающими электромагнитными полями, прошли. Однако по мере того как он приближался к черте, возле которой чуть не отдал богу душу, напряжение нарастало. Последние шаги давались с трудом. Он намеревался только ещё раз убедиться в наличии аномальной зоны и потом быстро отступить, надеясь, что она-то уж преследовать его не будет.

Но упорно подбираясь к цели своего визита, он так и не почувствовал ничего необычного, не говоря уже о том приступе болезненных ощущений, который недавно испытал. Несколько раз пройдясь возле отметки Канетелина, задержавшись в разных по удалённости и направлению точках по отношению к нарисованному знаку, он оставил бесплодные попытки и двинулся дальше, как и задумал, в направлении противоположного конца прохода…

Его проникновение в опасную зону осталось незамеченным. Никто за ней не наблюдал, в чём, собственно, и не было необходимости. Белевский вернулся в рабочий отсек бункера, когда там царило послеобеденное оживление, словно после скучной дрёмы, заряжавшее организмы бодростью на оставшиеся до конца рабочего дня часы.

Он решил подняться наверх, обнаружив в себе необычную мозговую активность. Его посетили даже несколько интересных идей, и он тут же намеревался начать их отрабатывать – так они его сильно возбудили. В последний момент, войдя в лифт, Белевский увидел в одном из коридоров Канетелина, который скрылся за углом, беседуя на ходу с одним из сотрудников научного центра.

Но, к своему великому изумлению, через несколько секунд столкнулся со своим начальником лицом к лицу, открыв дверь лаборатории и обнаружив его как ни в чём не бывало стоящим напротив – видимо, намеревавшимся в тот же момент пройти навстречу.

Если бы он не видел его лица внизу только что, он, скорее всего, не придал бы сему факту никакого значения, за исключением резонно возникающего вопроса: что это за тип, похожий на их начальника, бродит по лаборатории? Однако ошибки быть не могло. Или он сошёл с ума. Канетелин удивлённо уставился на него, улыбнувшись, как-то по-своему, очевидно, объяснив его замешательство, прошёл вперёд, по привычке шумно закрыв за собою дверь. И вопрос остался вместе с Белевским. До такой степени несуразный, что не возникло никакого желания тут же его разрешить.

Голова как-то сразу опустела. Кого спросить, с кем поделиться видением, сообразить долго не удавалось: он не очень представлял себе, насколько будет выглядеть идиотом, если не удастся обратить своё любопытство в шутку. Такое случилось с ним первый раз. Он был удивлён, поражён и подавлен одновременно – и сильно пожалел потом, что не бросился выяснять истинное положение вещей сразу.

Расспросы коллег ничего не дали. Одни говорили, что в этот момент Канетелин находился внизу, в бункере, другие уверяли, что видели его проходящим в свой кабинет. Но только один человек, сам Белевский, видел его в двух местах одновременно, больше никто. Коллеги отшутились, не придав сему парадоксу никакого значения, и он не стал больше настаивать на своём, потому что и Канетелин заявил, что был и внизу и наверху, но в разные моменты времени, которые, естественно, никто не засекал.

Иными словами, событие прошло, а сомнения остались. Он думал об этом постоянно, потом урывками, по мере того как всё более увлекался своей внеплановой работой. В ней наметился определённый прогресс, завораживающий чистотой и смелостью выводов. В лаборатории считали, что он тешит своё самолюбие, поскольку при анализе некоторые необычные тенденции оставались без объяснений, но те мысли, которые он вбрасывал порой по ходу текущих исследований, если бы можно было всё проверить, удивительным образом соотносились с его активностью на дальнем плане, о котором мало кто догадывался. Однако и тупиков, а также блужданий в непаханом поле интерпретаций хватало с избытком. Теория могла быть более или менее пригодной к применению, если не включала в себя явные противоречия. Канетелин помогал, но незначительно, оставаясь как-то в стороне, предлагая ему одному справляться со своими трудностями. Казалось, если работа закончится ничем, это тоже его вполне устроит.

Как-то днём, оставшись внизу вдвоём с дежурным оператором, он размышлял у приборной панели в обеденный перерыв. Если они провели опыт, который описывается вполне законченно некими параметрами, почему, задав те же условия, его не удаётся повторить? В чём причина несоответствия результатов ожидаемым? Значит условия были соблюдены неточно, в процессе присутствует некий «блуждающий» параметр, и, вполне возможно, для него уже зарезервировано место, которое ждёт своего явного первооткрывателя. Не простого труженика Белевского, а их завлаба, главного теоретика во Вселенной, задумавшего устроить на лаврах гениальности кострище. Канетелин. Он действительно что-то знает. Но откуда, каким образом из рядовых наблюдений ему удалось получить то, что не замечают другие? Или кто мог его до такой степени просветить? Да, он лучше всех знает установку, отдал ей значительную часть своей жизни, однако, чтобы она давала результаты, понятные только одному, такого не может быть. Канетелин проводит здесь время больше всех. Но у приборов можно торчать сколько угодно – результат всегда один на всех. А это странное его удовлетворение, когда Олегу вдруг стало не по себе. Что это место показывает? Ничего необычного, человеку бывает плохо в разных условиях, а в том тоннеле, куда он его завлёк, просто опасно находиться… Однако отметка расположена достаточно далеко от зоны реакции. К тому же и «стержень» уже затухает.

Последние мысли посетили его уже на ходу: он решительно двинулся по коридорам, только спустя некоторое время сообразив, зачем без колебаний сорвался с места. Толстая железная дверь, ведущая в зал установки, была закрыта, но у него имелась карта, позволявшая беспрепятственно проникать во все закоулки обширного подземелья. Преодолев несколько массивных заграждений, где, открывая замки, пришлось изрядно потрудиться вручную, он очутился у цели своего рывка раньше, чем подумал об обоснованности такого опасного мероприятия, задавшись главным вопросом только теперь.

Заходить в рабочую зону во время активной фазы исследований категорически запрещалось. Он почувствовал лёгкое покалывание по всему телу, на голове зашевелились волосы. Преодолев первый страх, он всё же двинулся в малый тоннель, причём зашагал быстрее и увереннее. «Если надо, дойду до того конца. В том зале уже давно никто не бывал. Хотя в тоннеле, наверное, безопаснее», – думал он, внимательно всматриваясь вдаль, где за изгибом терялся свет дежурных ламп. Никаких странных щелчков и метаний светящихся объектов он не обнаружил, непрерывно только давил гул, доносящийся из залов, где работали мощнейшие агрегаты. И даже первые неприятные ощущения, связанные с блуждающими электромагнитными полями, прошли. Однако по мере того как он приближался к черте, возле которой чуть не отдал богу душу, напряжение нарастало. Последние шаги давались с трудом. Он намеревался только ещё раз убедиться в наличии аномальной зоны и потом быстро отступить, надеясь, что она-то уж преследовать его не будет…

Стоп! Что за чертовщина! У него возникло явное ощущение того, что это уже недавно было. Не то, что он в очередной раз решился посетить опасное место в изгибе тоннеля, а именно совпадение деталей, своих действий, визуальных отметок, их последовательность и точность воспроизведения, словно его попросили когда-то запомнить их подробно, и сейчас он убеждался, что отменно выучил урок. Чувство было такое странное, что он опешил, прикоснувшись рукой к стенке прохода и абсолютно так же отдёрнув её, поскольку ощутил пальцем какой-то острый выступ. Вот она, оставшаяся с прошлого раза ранка.

Он запутался в прошлом и настоящем: они не могут абсолютно совпадать. Если продвигаться вперёд, как и раньше, последовательно фиксируя детали происходящего, то непременно найдутся отличия от нюансов того, последнего посещения.

Столь досконально он свой путь не помнил, но ждал, вернее, не надеялся, что встретит явное подтверждение чему-то, что по ходу могла чётко зафиксировать его память. До цели было ещё далеко, но он думал уже не о ней. Он ведь тогда не останавливался, стало быть, нынешние сомнения выводят его из равновесия искусственно, он не сможет повторить прошлый ход событий абсолютно точно. Вот, например, если он остановится и не пойдёт сейчас дальше.

Наступив при этом на коварный выступ в полу и подвернув ногу, он нервно вздрогнул, потому что вспомнил о такой же неудаче в прошлый раз.

В прошлый? Это случилось однажды? Олег уже сомневался, что не бегает сюда ежедневно – два или три раза это было точно. И почему-то никто ему об этом ни разу не сказал. Как удаётся всё время пройти незамеченным? Они что, никогда не смотрят в монитор?

Повторять опыт не имело смысла. Он повернул назад, чуть ли не бегом вернувшись в рабочий отсек, на безопасную территорию.

Лица сотрудников казались неодушевлёнными. Никто его не спросил о самочувствии, не поинтересовался делами. Какой-то один из эпизодов постоянно транслировался у него в голове. Такое было, да, но не на всю же жизнь осталось неразрешимой проблемой? Он и чувствовал себя мерзко и вступал в разговоры так же. Какая-то маленькая идейка носилась в голове, и так хотелось теперь за неё ухватиться, но он не помнил, ни эпизодически, ни в целом, что, собственно, побудило его составить представление, встряхнувшее его так сильно, бешено, до основания – одна короткая мысль, уместившаяся в две строки, стоившая, наверное, значительного куска всех его магических раздумий. И ведь он записал её где-то, оставил про запас. А теперь неожиданно понял – в ней ключ к тому, куда он стремился всю жизнь («Поиски абсолюта»), из-за чего убийственно метался, распихивая мелочь по углам и вообще пытаясь отгородиться от неё внутренним забором отчуждённости. Он нашёл однажды, дурак, это чудо мироздания! Но просто не сумел удержать его в голове, в руках, в своих мягких, безыдейных, уступчивых варежках. Он вставал в позу и держал фигу в кармане, а не боролся за свою правду, и потому, встретив однажды истину – лицом к лицу, – не узнал её, упустил, поддавшись мелочным претензиям души, проигнорировал. А она ведь есть, и ему по силам вытащить её на свет, только бы отыскать этот маленький карандашный набросок, корявым почерком, с недописанным словом – будто перед глазами – и проткнутой дыркой от нажима в середине листа.

Куда он мог его засунуть? Он принялся разбирать свой стол папка за папкой, вспоминая попутные темы, которые могли как-то коснуться данной работы невзначай. Было непросто, он всегда много чего записывал. Мысли роились массами, в них не было проку, скорее неудобства, а потерять дельное в такой громаде несусветного проще некуда. Поэтому стоило заняться лишь элементарным перебором, но ему не хватало терпения. Папки ронялись, листы отшвыривались в сторону. Несколько раз он что-то с хрустом сломал и не бросил, а бабахнул данной вещью об стол, словно пытаясь выместить на невинных идеях молодости нынешнюю злобу. Потом, впрочем, расправив, разгладив скомканные листы, засунул их на вечное хранение обратно, именно в ту злополучную папку красноречия, которую мечтал когда-то приобщить к делу своей жизни. Жизнь, правда, ушла, дело осталось, память поблёкла, лаская душу ветреными порывами прошлого, печального, но в какой-то мере (боже мой!) несущего в себе яркие всполохи трудолюбия.

Отчего он думает про себя, будто ему восемьдесят лет? Что за чушь? Он вдруг ясно представил себе, как перенёсся сюда из какого-то будущего, где совершенно отчётливо видел себя за работой, всё так же корпеющего над бумагами молодости и всё так же возлагающего надежды на свои способности. В них уже не было проку, но он всё равно надеялся, придавленный к месту поговоркой «надежда уходит последней». Он тосковал и глядел куда-то вдаль. А потом опять в свой стол, как и сейчас, разворошённый поиском дельных записей, будто ждущих, непременно ждущих своего места в какой-нибудь истории.

Олег вдруг замер, оторопело глядя на рукотворный беспорядок на своём рабочем месте. Так значит, это он сам рылся у себя недавно? А после обнаружил следы собственных действий, ничего об этом не помня? Неужели не остаётся других, более правдоподобных объяснений?

Странный случай озадачил его ещё сильнее. С памятью у него вроде бы всё в порядке, но тогда каким образом такое могло произойти? Он же не лунатик. Случившееся наталкивало его на самые неприятные в отношении себя мысли. Ничего подобного он раньше за собой не замечал и поэтому связывал последние события только с посещением тоннеля и довольно ощутимого влияния обнаруженного эффекта на свою психику. Ему бы не хотелось теряться в реальности, путаться в фактах, тем более что проводимые им изыскания требовали ясного ума и чёткости представлений. От этого напрямую зависели промежуточные выводы, а также пути решения главных задач.

Интересно, что в таком случае чувствует Канетелин? Он допускал некую творческую увлечённость, когда процессы взаимодействуют с игрой, когда некие заметные фишки, в том числе и характеров, превалируют над разумностью, придавая рутине привкус достойного действа, вмещающего в себя всё многообразие человеческих страстей. Однако всему есть предел. Он никогда не заигрывался. Сомневаться в себе, в своих чувствах, в своём высоком, честолюбивом «Я» он не мог. Такое было бы выше его сил. На взлёте карьеры, в свете прекрасного будущего и любви… Нет, об этом лучше не думать. Смог бы ему сейчас кто-нибудь помочь, неизвестно. Впрочем, всем сумасшедшим поначалу кажется, что сходит с ума весь мир, а не они сами. Марине он всё расскажет, само собой, а здесь пока необходимо выяснить подробности.

Но вопреки ожиданиям, всё ещё больше запуталось. Канетелин ничего не прояснил, посмотрев на него, как на идиота. Сразу отпало желание продолжать с ним разговор, поскольку одной реакцией своей тот дал понять, что не собирается обсуждать личные проблемы своих сотрудников. Впрочем, спустя несколько минут он смилостивился и вселил некое подобие доброты в безотчётную глубину своих глаз.

– Вы просто устали, вам необходимо отдохнуть. Берите на неделю отпуск, съездите куда-нибудь на природу.

Он воспользовался предложением Канетелина, проведя десять дней в доме тестя, вдали от шума, на берегу тихого озера, с прекрасной рыбалкой, сочными закатами и прогулками по сухому сосновому лесу. Тесть, правда, слегка надоедал, но Марина брала его на себя, поэтому незатейливые мужицкие пересуды часто оборачивались игрой слов, весёлой болтовнёй, в которой принимали участие все члены семейства.

Они уходили на лодке на дальние острова, посещали какое-то малое старообрядное поселение, слушали местное пение и пили необычный оздоровляющий напиток, после которого весь мир становился живее и прекрасней. Вкупе с лесным воздухом, наполненном ароматом хвои, прогулки подействовали успокаивающе. Причины рабочей гонки остались позади, Олег о них забыл, удивляясь странным побуждениям, заставляющим его жертвовать порой семейным укладом и близкими ради поиска безвестной формулы какого-то отвлечённого процесса. Жизнь вокруг казалась уже другой, по крайней мере более насыщенной цветами, более разнообразной. Не хотелось мчаться за призраками, хотелось любить и наслаждаться покоем. И если сама его возня с преобразованием матриц казалась только прерванной, то уходы в теоретические изыскания не раз за последние дни претерпели в его глазах серьёзную трансформацию. Всего в жизни всё равно не успеть. Нужно довольствоваться не результатом, а умением. А превращать умение в результат можно разными путями, не обязательно связанными с непременной личной выгодой. Бог прав: любовь дана сама собой, и сердце у людей изначально одинаковое.

Когда он вернулся в город, то ещё до выхода на работу встретился с Виталиком. Тот подействовал на него отрезвляюще.

Вокруг друга всегда вертелись какие-то снобистские видения, он был непокорным слугой, даже надменностью. Он уводил его в мир словесных игр, оценок, чем радовал и огорчал одновременно, поскольку они во многом сходились, но идентичность поверхностей их соприкосновения иногда утомляла.

Они стояли возле большого торгового центра у стены, и их приятно обогревали лучи неяркого осеннего солнца.

Беседуя с другом, Олег всё думал, стоит или не стоит поделиться с ним своими сомнениями. Он боялся, что придётся рассказать тогда и о Канетелине, и о необычных фантомных явлениях по ходу экспериментов, и о доле своего участия в исследуемом процессе, и вообще обо всём том, о чём постороннему человеку не положено было знать в свете крайней секретности всех их работ. Виталий, безусловно, мог бы помочь ему определиться с выбором, с оценкой взглядов Канетелина на жизнь, возможно, даже с попыткой предугадать некоторые его действия, которые наверняка ещё скажутся, он чувствовал это, на всех сотрудниках лаборатории и не только на них. Но Олег решил всё же не впутывать в эту историю друга. Критической ситуацию пока не назовёшь, а что последует дальше, одному богу известно. Поэтому чем меньше посвящённых в его сложности, тем спокойнее за других. По ходу дела он сам сориентируется, как поступить, и, пожалуй, не следует ничего рассказывать Марине тоже.

Разговор всё время шёл вокруг да около. Ничего не подозревающий Виталий неприятно теребил душу, но оставался тактично ненавязчивым, что дополнительно действовало на нервы. В конце концов Олег не выдержал и не на шутку завёлся.

– Трудиться из-под палки проще, поскольку часть энергии уходит на сопротивление работодателю, – заявил он. – Подумай, куда её девать вольному человеку? Он неминуемо будет деградировать. По большому счёту к свободному труду мы просто не готовы.

– Ты хорошо знаешь людей?

– Вполне могу этим похвастаться. И мне твои рассуждения просто непонятны. Если ты веришь в людей вообще, то это слепая вера. Посмотри вокруг: ты живёшь среди неандертальцев. Когда один говорит о любви и доброте, остальные только и ждут момента, когда он сгинет, чтобы вдоволь насладиться падалью. Это и в политике, и в учёбе, и в работе. Мы всё это прячем, но чем мы прикрываемся? Своим прочным дореволюционным укладом? Нас, видите ли, заботят какие-то облупленные ценности. Что в них по-настоящему ценное: основа или поза?

С тревогой он стал замечать, что говорит так же, как Канетелин. И говорит быстрее, чем думает. Неужели это его настоящие мысли? Остановиться он не мог.

– Я бы верил в близких, но они недальновидны; верил бы в друзей, но они, как правило, себе на уме.

– А как же я?

Олег на секунду осёкся.

– Ты скорее близкий, чем друг. Не обессудь, но в тебе тоже много порочного, все мы порочны по необходимости. Я полагаю, в жизни просто не на что опереться. Честность давно уже не в почёте. Доброта – это только возможность увидеть жизнь в лучшем свете. Любовь исчерпывает себя половыми актами: всё, что следует за ними, есть простое нагромождение правил. И получается, цинизм – самое адекватное восприятие действительности. Ты не подвержен никаким веяниям и стилям, ты сам по себе, как нечто необычное. Согласись, в этом есть какая-то прелесть. Во всяком случае, гораздо бóльшая свобода для принятия решений, чем написано в конституциях.

Виталию впервые стало неприятно его слушать.

– Ты об этом думал во время отпуска?

Олег не заметил в вопросе скрытой иронии:

– Во время отпуска я отдыхал…– Он будто говорил неизвестно с кем. – Наверное, пессимизм и любовь несовместимы. Как представишь, что твои трудности не исчерпываются настоящим, становится как-то тоскливо, оттого что придётся предпринимать ещё массу усилий с совершенно непредсказуемым результатом.

Виталий задумался о настроении друга, но не стал его ни о чём спрашивать: надо будет, сам расскажет. Хотя то, что он что-то недоговаривает, было очевидным.

Они двинулись по дорожке сквера. «Но, может, его надо подтолкнуть к откровенности?» – подумал Виталий, поддав носком валявшийся под ногами жёлудь. Он уже хотел спросить Олега про Марину и дела на работе, но тот отвернулся, разглядывая деревья, и, поскольку молчание слегка затянулось, Виталий решил пока не лезть к другу с расспросами.

Над городом ползли кучевые облака. Праздничный осенний парк радовал глаз яркими цветами. Он привлекал взор добротными кафтанами, лёгкими накидками, мягким опахалом хвойных, вносящим в разноголосицу крикливых пород чопорную уверенность быта, основы доминирующей касты здешних растительных образований. Листья кружились и медленно опускались на землю. Прозрачный воздух, напитанный духом сладкой прелости, ублажал мозг, заставлял дышать глубже, смакуя нежность редких переживаний, совпавших по времени с созерцанием такой волшебной красоты. И, приводя мысли в соответствие с потребностью сердца, казалось, каждый прохожий старался быть мягче и шире, спокойней и уверенней, прагматичней как хозяин и веселей как средней руки открытый человек. Здесь не могло быть иначе. Дети носились по скверу, мимо проезжали заведённые встречным потоком воздуха велосипедисты, сновали задетые обидой рабочие и облагороженные почётной ношей домохозяйки. Но все они, проносясь, мельтеша и шаркая, наслаждались вкусом бытия и дополняли собой неповторимое впечатление от вечных красот природы. Тут можно было затевать пение, отчитывать нерадивого или кружиться в вальсе – буквально всё выглядело бы естественно и цельно. Никакой броскости, попытки убедить встречных в несуществующем. Только тонкая сомнамбулическая грань, отделяющая правду от показухи. Только лёгкая встревоженность на уровне половых гормонов, которая приводит в действие самые стойкие, глубинные человеческие механизмы.

В последнее время нередко возникали моменты, когда Виталий переставал понимать друга. Видимо, уровень доверия между ними стал настолько высок, что Олег уже не считал нужным скрывать свои внутренние реакции в его присутствии. Но говорил он отвлечённо, и это настораживало обоих, поскольку и Виталий обращал в шутку то, за чем таился повод для обстоятельного разговора. Все мы такие: только усложняем себе и другим жизнь. Впрочем, странное, по словам Марины, поведение Олега вкупе с собственными наблюдениями Виталия говорили о том, что у Белевского есть какие-то серьёзные проблемы на работе.

– Хотелось бы быть спокойным, – заговорил Олег, – но как строить будущее, если кругом только и норовят тебя обмануть?

– В мире полно лжи…

– В мире не просто полно лжи, он вообще состоит из одной лжи. Правда в нём как некий экзотический продукт, который вкусен в небольших порциях по случаю, в другие моменты её не замечают.

– Выходит, правда всё-таки есть.

– Есть, конечно, и её нужно отстаивать. Только тогда придётся прибегать к другой лжи. К этому надо быть готовым.

Виталий посмотрел на него пристально:

– По-моему, с тобой что-то творится.

Олег криво усмехнулся, будто вывод друга напрашивался сам собой:

– Со мной всё в порядке.

– Ты уверен?

– Да… – Он не привык выглядеть удручённым, поэтому решил поставить точку в разговоре убедительно. – В какой-то момент сложности, о появлении которых ты давно догадывался, вдруг выходят на передний план. Наверное, их преодоление является определяющим. Но это не должно тянуть на подвиг, иначе ты от них никогда не избавишься. Меня не пугает мир вообще. Я самодостаточен, потому что могу думать. Я могу разумно действовать… И светиться в темноте. Это принцип.

Так он обозначил себя в окружении. И не только по отношению к посторонним, но и к другу, к человеку, который готов был понять и принять его таким, какой он есть.

Они остановились на пересечении дорожек. Рядом прошёл подросток в стильных джинсах, обтягивающих его голени и одновременно висящих мешком между колен. Парень был в шлёпанцах на босу ногу, из-под закатанных штанин выглядывали его острые щиколотки. Казалось, особый покрой штанов приводит к некой вульгарности движений, заставляя его идти вразвалку, отчего походка парня выглядела вызывающе забавной.

– А если будешь меня раздражать, я подарю тебе вот такие же штаны, – тихо сказал Олег, не отрывая взгляд от парня.

Оба улыбнулись.

– Может, пойдём по пивку? – предложил Виталий.

– Нет, что-то не хочется.

Олег слегка повеселел. Проблемы остались проблемами, но надо было забыть о них хотя бы на время. С кем, как не с Виталиком, можно было найти общий язык, не вдаваясь в глупые подробности. Пожалуй, данным качеством он в первую очередь и был для него ценен, да и сам с удовлетворением отмечал, что является приоритетным в глазах приятеля вариантом в случае необходимости как-то отвлечься.

Ласковый ветер наполнял грудь добротой. Один из нечастых моментов, когда прогулка напитана живым интересом, сменил собой усталость, долгую напряжённость от груза нерешённых проблем. Они шагали по дорожкам, хорошо чувствуя друг друга, прекрасно дополняя собой значительное молчание другого.

Чуть поодаль показался пьяный в хлам мужик, который еле стоял на ногах, но тем не менее ещё пытался ориентироваться в пространстве. Его покачивало из стороны в сторону, отчего держать направление приходилось с большим трудом.

– Немного штормит.

– Вижу.

Друзья невольно обратили на беднягу внимание, поскольку зрелище того стоило. Туманный взор мужика всё время был направлен не в ту сторону, куда его несло. На секунду он замер, затем ускорился на полусогнутых, потому что его бросило вперёд. Но даже в таком состоянии ему ещё удавалось целенаправленно двигаться.

– Старается, приятель.

– Молодец.

– Тут главное правильно поставить цель.

– Главное вовремя поставить. По-моему, он уже на автопилоте.

Мужик не упал, ни обо что не ударился. Описав ещё пару кренделей, он потихоньку отдалился, остатками чувств определяя курс на свой дом и упорно продвигаясь по намеченному маршруту.

Погода изменилась, стал накрапывать дождь. Виталий всё же уговорил Олега зайти в какой-то бар, они приятно провели время и больше потом ни разу не заводили разговор о делах на работе. Виталий сразу же забыл об этой довольно странной их беседе.

**4**

Дело застопорилось. Нужны были новые вводные, но Канетелин их не давал. Он вообще как-то умолк, хмуро поглотив в себя результаты работ Белевского и приказав молчать о них до поры до времени. Олег не понимал, как дальше быть, поскольку ничего обнадёживающего в сотрудничестве с начальником не видел. Появились какие-то смутные догадки, однако до решающего прорыва, по его представлениям, было далеко, и стоило ли тратить время на ковыряние бездны, пока ещё виделось сомнительным. Или он не там ищет.

Нечто похожее на обман он почувствовал через неделю, когда, в очередной раз задав вопрос Канетелину, услышал от него отрезвляющее резюме:

– Вы хорошо поработали, но, честно говоря, я не знаю, что дальше делать. Возможно, мы просто зашли в тупик. Извините, если я вас излишне обнадёжил.

Олег не ожидал такого ответа. До сих пор он чувствовал рядом с завлабом скрытый оптимизм. Несмотря на все недостатки последнего, с ним интересно было работать. Данное же заявление он расценил как предательство. В недальновидность столь сильного физика, каким являлся Канетелин, он не верил, тут дело в чём-то другом. И столь открытое, ничуть не деликатное заявление о бесперспективности их изысканий просто било наотмашь. Не хватало ещё того, чтобы он взыскал с Олега издержки за потерянную надежду, так красиво светившуюся у него во лбу всеми цветами радуги. Люди склонны винить в неудачах своё окружение, хотя для всех очевидно, что причины кроятся в другом.

– Может, нам следует привлечь к проекту ещё кого-нибудь? – невразумительно спросил Олег. – Может, недостаточно широты охвата?

Как всегда, Канетелин был непреклонен, он решил всё заранее:

– Думаю, вам не стоит распространяться о том, чем вы занимались последнее время. Поверьте, это в ваших же интересах… Возможно, мы ещё не закончили.

И он вышел из кабинета, оставив Олега в недоумении по поводу собственной роли в этой странной игре физики, лирики и пространственных измерений.

«Врёт ли он или действительно в тупике? – думал Олег. – Почему не хочет задействовать дополнительные силы? Дело, конечно, стоящее, если найти к эффекту реальные подходы. И ведь не хватает, возможно, самой малости. Провентилировать бы явление как следует на установке, и дело в шляпе – получи готовую бомбу без боеголовки. Такую штуку и собственному государству можно было бы предлагать втридорога, не зазорно было бы и поторговаться. Исполнителей, правда, много, но ведь в подобных вопросах на гонорары не скупятся. Когда речь идёт о мировом первенстве, любая, даже самая захудалая власть найдёт способ отблагодарить своих холуев мягким пряником».

«Значит, надо действовать самостоятельно», – решил Олег. Попробовать провести пару экспериментов на полигоне, там у него хватит полномочий. Проблема только в том, каким образом выпросить у Канетелина командировку. В ближайшее время поводов вроде бы не предвидится, да и шеф сразу же поймёт, в чём дело. Теперь от него скрыть что-либо будет крайне сложно: нюх у него собачий, любой расчёт всегда чует издалека. Придётся пока затаиться и несколько месяцев обождать – если не будет никаких прорывов, данная тема сама собой завянет, тогда у него, наверное, появится возможность по-тихому вставить в какие-нибудь плановые исследования свою часть, и никто ничего не поймёт. Савелов с Кашвили, например, уже и забыли о тех первых необычных результатах, которые были получены месяц назад. Если он их правильно понимает. Во всяком случае, с той поры разговоров на эту тему они не начинали, а любая идея без практики годится только для трахнутых философов, к числу которых он своих коллег никогда не относил.

А что если Канетелин преспокойно работает сейчас по дублирующему направлению? Олега он отодвинул за ненадобностью, более того, использует его выкладки и задействовал какое-нибудь другое лицо, даже группу лиц на стороне. С него станется, жук ещё тот. Преимущество такой схемы заключается в том, что подобные лица не знают на самом деле, о чём речь, и до самого конца, возможно, будут находиться в неведении относительно истинных целей своей деятельности. Получат бабло – и в сторону. Канетелин точно так же заявит им, что ничего не вышло, и они останутся при своих, потратив только неизвестно на что неизвестно сколько времени. Но в таком случае Канетелину всё равно понадобятся дополнительные экспериментальные данные. Где и когда он их намерен получить? Нет, выходит, Олег всё-таки самый удобный партнёр в данном деле. Он в курсе всего, обладает необходимыми знаниями, надёжен и всегда на подхвате. Кроме того, связываться с посторонними лицами Канетелину не дадут: слишком засекреченный он человек. Поэтому за разработку данной темы – собственно канетелинским умом либо с помощью его, Белевского, – можно быть спокойным: здесь лишь борьба один на один, если только за дело не взялись специальные органы, но его начальник скорее удавится, чем отдаст идею чужим, пусть и государственным, людям.

Пару дней прошли в раздумьях. Лаборатория спокойно работала, сотрудники увлечённо крутили ручки приборов, установка гудела, уборщики мыли полы и выгребали из корзин мусор. Олег даже старался не думать о прошлом, как бы отвлечённо глядя на шефа. Тот отвечал ему ещё большей индифферентностью. Казалось, взаимные интересы их были во сне, но сейчас опять вернулась рутина, и всякие красочные проблемы, заботливо ублажая фантазию в тёмное время суток, схлынули, как отлив, в часы обычных будничных забот.

И всё-таки так хорошо занявшееся дело, возбудив мозг, затронув чувства, не могло исчезнуть бесследно. Сама его сущность учёного требовала продолжения. Если перед ними техническая проблема, она должна быть преодолена, если возникли какие-либо иные трудности, он должен о них знать, а если вдруг появились препятствия ненаучного, личностного характера, то ему тем более не следует останавливаться перед чьим-то мнением, не убедившись до конца в знании и точности всех фактов.

Первым делом он ещё раз тщательно перепроверил собственные выкладки на предмет ошибок и логических нестыковок. Насколько он понимал задачу, там было всё чисто. Явных упущений или многообразия принимаемых условий расписанные им уравнения не несли. Решив на компьютере численную задачу с конкретными данными, он получил вполне ожидаемые результаты (как и хороший инженер, который всегда должен примерно знать, что он получит) и остался собой доволен. Программу можно было расширять в массивах до третьего, четвёртого, пятого и так далее порядков вплоть до задействования максимальных возможностей вычислительных мощностей.

Далее, вспоминая отдельные реплики, намёки Канетелина, он всё пытался определиться, каким конкретным содержанием должны быть наполнены эти теоретические хламиды, дабы привести их к вполне частному решению, описывающему один из наблюдавшихся ими процессов. Здесь роль интуиции учёного являлась первостепенной, и Белевский признавал, что по части тонкого понимания сути, безусловного научного предвидения по крайней мере у них в центре равных Канетелину не было. Только он мог направить на истинный (или ложный) путь теоретика, загрузив того весомой проблемой, уже видя в отдалённой перспективе и горы попутной шелухи, и лавровый венок для себя одновременно. Подобные мысли, безусловно, охлаждали пыл Олега, но он всё же пытался найти верное направление своих поисков, рассматривал разные варианты допущений, а в некоторых интерпретациях выводов пробовал мыслить нелогически. В то, что всё закончилось ничем, он не верил. Ещё меньше он верил в потерю интереса к проблеме у своего начальника. Где-то снаружи должно было отражаться кипение его мыслей – вот только где?

Олег невольно начал следить за обстановкой, вернее за другими сотрудниками лаборатории, подозревая их в негласных деловых контактах с шефом, но ничего необычного в этом плане не обнаружил. Пока не оказался однажды свидетелем странного эпизода, обозначившего для него вполне реальное беспокойство.

Он возвращался вечером домой и проезжал район, где недалеко жил Семён Савелов. Олег увидел его на тротуаре, когда тот садился в лихо притормозивший у поребрика джип. Самое интересное было то, что Савелов сел в машину Канетелина.

Они быстро уехали, и для Олега данный случай не показался просто необычным – он был знаковым. Он означал серьёзное движение сред помимо его участия, его таланта и мыслей, широкий охват пространства, о чём он говорил недавно, однако не подразумевающий согласование умов, а отражающий совсем иную тактику – тактику расчленения сил и вовлечения их в совсем ненужную борьбу между собой.

Ну что ж, он сразу принял вызов, как только понял истинные намерения Канетелина взвалить на себя весь груз первооткрывателя, а, стало быть, и возможность попользоваться плодами сиюминутной выгоды от масштабных достижений. Олег с таким положением вещей был не согласен. Он был готов бороться, не хватало главного: оружия и поля действий. В области тонкой, но отнюдь не безобидной материи, с которой они работали, владение миллионными долями тех или иных значений параметров являлось настолько определяющим, что влияло на ход практических исследований на годы вперёд – в такой степени сфера представлений о природе была непрощупываема и сложна для описаний. Что мог знать Савелов? Пожалуй, ничего такого, о чём не было известно самому Олегу. Савелов всегда работал под непосредственным его началом и все результаты в первую очередь согласовывал с ним. Мимо Олега ничего значимого просто не могло бы проскочить. Стало быть, какими-то данными Савелова вооружил Канетелин, и теперь эти двое, если Олег правильно понял, работают в связке, не вынося наружу плоды своих творческих изысканий по вполне понятным причинам.

Нет, не обида завладела им, то, что им пренебрегли и не посчитали нужным привлечь его к решающему циклу работ. Савелова ждала та же участь, в чём Олег не сомневался, их просто используют. Но тема, в которую он углубился, говорила сама за себя: значение их находок бесценно, в них глубоко вцепился Ларий Капитонович, а сила его хватки зависит в том числе и от степени сопротивления попутчика, пытающегося на равных бороться за научные приоритеты. Правда, последнее Олег выделил в скобки, не особенно думая о нравственных проблемах отношений, если о таковых вообще стоит говорить. Но всё же попутно о них подумал. Почему бы не подумать? Человек же он всё-таки, а не бездушная тварь.

На следующий день он затеял с Савеловым разговор.

– Тебя не удивило, что из отчёта были изъяты все упоминания об аномальных выбросах энергии?

Тот ответил ему с обычной лёгкостью:

– Канетелин сказал, что ты сам попросил его об этом, предупредив, что в скором времени всё объяснишь. Поэтому мы до сих пор ждём объяснений.

Разговор происходил в туалете. Стоя над писсуаром – лучшего момента Олег не нашёл – и услышав ответ, он чуть было не повернулся к коллеге в негодовании, забыв о важном деле, однако тут же спохватился, может быть, даже правильно поступив, что задал вопрос как бы между прочим.

– И тебе не показалось странным его поведение?

– Нет… В конце концов он сам измерения не проводил. Мало ли что могли зафиксировать приборы? В первый раз, что ли?

Олег, закончив дела, открыто на него уставился:

– Ты же знаешь, что в первый.

Что было большим плюсом Савелова, он не умел нервничать, поэтому врать мог безупречно.

Несколько мгновений, словно по команде «брейк», они замерли на месте, изучая степень уникальности глазниц друг друга, тормоша подсознание пригодностью понятий «друг – враг», и затем окончательно разошлись по разным углам.

– Не понимаю тебя. – Савелов насухо вытер полотенцем руки. – Я думал, у тебя есть идеи, а ты просто злишься… Наверное, надо было…

Олег вышел, не дослушав его. Впереди был длинный коридор, поэтому времени оценить ситуацию хватало с лихвой.

«Канетелин ему что-то пообещал, а мне нет, – пронеслась догадка. – Правильно. Я могу работать просто так. С такими, как я, договариваются лишь по факту».

Несколько дней к этой теме они не возвращались. Поначалу Савелов как-то неприятно его избегал, или Олегу так показалось, но потом общение наладилось. Очевидно, каждый решил не усложнять ситуацию, не считая нужным возобновлять последний разговор по собственной инициативе. Ясно, что рано или поздно всё разъяснится, а пока искомые истины не носили принципиальный характер. Работа строилась без них. Но ощущение закулисного сговора осталось, тем более Олег сам в таком недавно участвовал, и мысль о том, что без него теперь делается что-то важное и глобальное – каждодневно, в сей момент, – не оставляла его в покое ни на минуту, понуждая искать подходы к оппонентам с самых разных сторон.

Поиски успехом не увенчались. Канетелин и Савелов будто заперлись в своём мирке интересов, каждый на своём уровне. Ничего подозрительного в лаборатории не происходило, а от того странного эпизода, когда Канетелин куда-то подвозил Савелова, тот спокойно отмахнулся, не посчитав нужным даже отделаться шуткой. Вопрос просто повис в воздухе, превратив любопытство Олега в глупость, не стоящую серьёзного внимания.

Напрямую он Савелова спросить не мог, поскольку пришлось бы раскалываться самому. Стало быть, надо искать обходные пути, ждать его оплошности или момента, когда тот поймёт, что поставил не на ту карту. Олег всегда должен быть рядом с коллегой, в нужную минуту он его поддержит.

Несколько раз его так и подмывало вытрясти из парня все его глупые секреты, рассказав, что в его услугах на самом деле никто не нуждается, всё это блеф, игра воображения, а настоящим является то, какой опасной идеей заразился их шеф, посчитав лишним отдать должное науке, стране, тем соотечественникам в конце концов, которые бок о бок с ним несли все тяготы борьбы за достойную жизнь. Однако он понимал, что подобные доводы являются неубедительными, правда жизни заключается в другом. В любом деле важнее всего приоритеты, а рассуждения – прерогатива слабых. Поэтому мира на земле никогда не будет, и ситуацией владеет тот, кто больше может, а не больше знает.

Испытывая негативный зуд подозрительности, Олег решился на странную затею. Он организовал дома небольшие посиделки по поводу своего дня рождения и пригласил к себе Савелова и Кашвили с жёнами, чего никогда раньше не делал. Вечер получился слегка напряжённым, гости вели себя натянуто, поскольку одного уважения к коллегам было явно недостаточно, чтобы расслабиться с ними в неформальной обстановке. Скорее оба приняли приглашение нехотя. Прикинув, что Белевский может что-то иметь в виду, оба сочли отказ в такой момент нерациональным: доверие между ними с некоторых пор ослабло.

Пока дамы ворковали на кухне о своём, Олег развлекал гостей рассказами о поездках в разные страны, которые он осуществил, будучи молодым, ещё до того, как пришёл работать в их исследовательский центр. Он умел делать красивые снимки, и ему было что показать. Прекрасные городские виды в разное время суток, невзначай выделенные детали экстерьеров создавали особый характер места пребывания, подчёркивая малозаметные и как бы несущественные элементы среды, в то же время гармонирующие с общим представлением о местных особенностях. Люди и здания, движение и камень были вплетены в ясную концепцию пространства, будто не застывшего во времени, а живущего на экране монитора полноценной жизнью, со своей лирикой, драмами и праздниками. Простая набережная или элементы готики занимали чувства свежим, понятным вдохновением. И их удалённость в данную минуту представлялась в той степени незначительной, в которой мы знаем, как близок всегда и надёжен для нас собственный дом.

Ещё поразительней получились пейзажи и горные ландшафты. Олег несколько раз путешествовал своим ходом, о чём составил ёмкий и качественный фотоотчёт.

О работе не было сказано ни слова. Собственно, пока в его планы и не входило напрягать коллег вопросами о делах. Немного расслабившись аперитивом, они, словно хорошие друзья, попытались забыть об интригах в лаборатории, начальниках и экспериментах, посвятив себя лишь поддержанию текущего состояния дел за столом.

Женщины, как всегда, добавили свежести, выворачивая разговор в непредсказуемых плоскостях. Прекрасная трескотня об искусстве, моде и политике одновременно занимала сознание до последней минуты ужина, доносясь до ушей даже через закрытые двери балкона во время перекуров. Три импозантные, амбициозные дамы, жёны своих мужей, уже подружились на всю жизнь. Качественные изменения вокруг были затронуты вскользь, для завязки отношений. Теперь обсуждались детали, коих у каждой накопилось по тысяче, и вот наконец-то представилась возможность кое-что у знающих людей выяснить. Неимоверным образом в круг чисто женских вопросов были вовлечены Белевский – Савелов – Кашвили мужского рода. Спрашивая что-то у Савелова-супруга, дамы обязательно сталкивались, пока он прожёвывал мясо и открывал рот, с ответом жены, та, в свою очередь, вспоминала отличную шутку на близко лежащую тему, и все веселились. Потом обсуждали новый фильм и известного режиссёра: не всем этот фильм, оказывается, понравился. Таким образом, перекличка шла без остановок, и настроение, заданное встречей, оставалось праздничным.

В общем Олег был доволен – дамы выручили. Ещё приглашая сослуживцев, он не до конца представлял себе, какие неприятные последствия могла иметь такая затея. Он мог всё испортить, и в следующий раз вызвать их на откровенность было бы значительно сложнее. Однако, улучшив момент, он всё же заявил обоим, что несколько дней работал по специальному заданию начальника в поисках механизма разрешения теоретических противоречий при описании известного им явления. Создать безупречную модель не удалось, но Канетелин не подтвердил даже правильность направления мысли, и такая индифферентность его к собственной инициативе вызывает у Олега недоумение. Вслед за которой совершенно логично приходит на ум подозрение, не затеял ли их пресловутый гений какую-то свою, опасную игру.

Савелов и Кашвили отнеслись к его словам настороженно. Они не раскрыли своего участия в теме и были явно не готовы к откровенности Олега, по-прежнему выискивая выгоды из кооперации с хитрым Канетелиным.

«Теперь Савелов либо окончательно закроется, либо выложит всё, о чём договорился с Канетелиным, – подумал Олег. – Любой из двух вариантов мне на руку. Скоро всё прояснится».

Как и следовало ожидать, оба гостя ушли в себя, почувствовав в словах Белевского подвох, скрытно оценивая свои знания и перспективы в необычном деле, по-разному касающемся каждого из них. Только прощаясь, уже у порога, Савелов позволил себе заметить, что всегда ценил сотрудничество с таким хорошим специалистом, как Олег. Он просто удивляется, почему до сих пор они не устраивали таких приятных во всех отношениях встреч. Его жена тут же успокоила, что не позволит не состояться такому славному содружеству, и уже сразу захотелось закрыть за ней дверь.

Сомнение в них он всё-таки заронил. Это было заметно, Олег только ждал момента, когда всё выльется наружу, Канетелину просто так обтяпать дело не удастся. Мы тоже не лыком шиты, и обойти нас на прямой – слишком самонадеянно даже для такого маститого режиссёра-физика, каким являлся их непосредственный руководитель. Мало того что Олег был категорически не согласен с тем, что не принимались в расчёт мнения исполнителей, но с некоторых пор он почувствовал, что вступил в состояние прямого противоборства с шефом, а значит, они действительно накопали что-то стоящее. И поскольку Канетелин резко свернул сотрудничество, ключ к пониманию процесса находится у него. Или, по крайней мере, тот близок к решению задачи, близок к реальной перспективе воспроизводства того физического явления, отголоски которого они наблюдали.

Далее последовали события, ещё более укрепившие подозрения Белевского насчёт их шефа. Видимо, Канетелин почувствовал неладное и срочно отправил Савелова в командировку на полигон. Повод для поездки выглядел слишком надуманным, хотя что они обсуждали больше часа, запершись в кабинете завлаба, неизвестно. Савелов только отшутился, не сказав ничего по существу, и быстро исчез. Олег почувствовал себя командиром, которого перед важной схваткой лишили всех резервов.

Будто в наказание за излишнюю строптивость, Канетелин тут же поручил ему закончить работу Савелова, это помимо собственной, никак не отреагировав на ссылки Олега на сильную загруженность, на сложность ведения сразу двух дел и время, необходимое, чтобы успешно войти в курс нового. Руководитель воспринял их как аргументы ребёнка, пытающегося оправдаться из-за нерадивости. Как всегда, спокойно и недружелюбно, он выслушал подчинённого, не то с издёвкой, не то с увещеванием сказав: «Нужно справиться», – и в словах его, совсем незаметно, но вполне различимо для слушающего, будто даже промелькнули нотки угрозы. Они уже всё сказали друг другу, но не расходились. Молча сверля глазами оппонента, оба стояли в позе путешественника, застывшего перед опасным существом и не в состоянии повернуться к объекту пристального внимания спиной. Олег вдруг понял, что безапелляционность Канетелина носит не природный, а безумно-спорадический характер. В этом облике с обидными нападками скрываются его дальние, надуманные реакции, к которым он обращается точно во сне, не оправдывая их и даже не считая нужным оценить их адекватность. Собственно, руководителей себе не выбирают, но сейчас Олег увидел, что именно случай, предначертавший ему в начальники столь странное и вздорное существо, оказался решающим в возможности осуществления главного дела его жизни, слегка соприкоснувшегося только с интересами самого Канетелина. Пусть это будет их общее дело, он не против, только Канетелин должен уступить первым.

Едва отведя глаза, они снова встретились взглядами, пауза неестественно затянулась. Она стала возможной потому, что в кабинете, кроме них, никого не было. Те безжалостные, уничижающие мысли, что угадывались, но не читались в глазах шефа, превращали Олега в пепел, однако горя он только вдохновлялся. Он сам был пламень, но по-настоящему схлестнуться им ещё не доводилось. И не хотелось бы, иначе всё вообще затухнет.

Канетелин наконец повернулся и вышел. Олег заметил, что облегчённо при этом выдохнул.

Последовали дни дурацкого напряжения сил. Канетелин, надо отдать ему должное, умел как вдохнуть идею в сотрудников, так и убить интерес на корню. Своим умением он пользовался по ситуации неоднократно. Олег погряз с головой в рутинной работе, сначала отложив свои замыслы на попозже, а потом и вовсе потеряв суть своих претензий на открытие, которые постепенно замылились до неузнаваемости. Восстановление подвижки идей с прежней целеустремлённостью требовало времени. Он с негодованием оценивал тишину на фронте, улавливал вести с полигона, отслеживал данные по исследованиям на местной установке, однако ощущал, как неуклонно теряет вкус к событиям, когда погода измерений формировалась без его участия.

Канетелин принял славный облик, призывая всех дружелюбно на него реагировать. Он шутил и начальственно балагурил время от времени, представляясь сотрудникам душкой, каких не видывал свет. Точно никто не знал его с этой привлекательной стороны и боялся оценить его главные качества по достоинству. Что самое смешное (или по случаю мерзкое), он и к Олегу подъезжал пару раз как невинное дитя, с какой-то лёгкой самоиронией, будто рисовался, хотя, наверное, в принципе не знал к врагу пощады и отвлекаться на всякие попутные безделушки не считал нужным. Оттого эквивалент терпимости в его исполнении выглядел не просто фальшивым, но бесконечно гадким. Принять его таким, какой он есть, было невозможно. Его лик терялся за множеством неосознанных масок, а истина, с пренебрежением к существу, с тяжёлым, исковерканным взглядом на будничность, блуждала где-то между коварством и самолюбованием. Олег Белевский точно знал, что далеко не все мировые достижения достойны своих первооткрывателей. А в отношении Канетелина он был убеждён в этом абсолютно. И дело заключалось не в личной приязни или неприязни к нему как к человеку, не в его повадках, взглядах или несносной тяге давить вокруг на все мозоли сразу. Олег знал, что продолжением любого хорошего сперва дела могут стать – и обязательно становятся – те поступки, которые заложены в нас изначально. Но тот момент, когда они формируются, определить сложно. Определяется лишь момент истины, когда со всей очевидностью наружу вылезают добро или зло, предательство или благородство. А Канетелин уже не раз показывал своё истинное лицо, и сии факты, похоже, остались для него незамеченными.

Спустя некоторое время пришло неприятное известие с полигона. Покалечился один из сотрудников института, хотя каким образом это произошло, если тот не выполнял физических работ, толком никто не объяснил. Ходили слухи, что он попал в зону жёсткого электромагнитного излучения и у него частично были нарушены функции головного мозга, что и привело к несчастному случаю. Почему-то событие оказалось окутано тайной, достоверной информации, кроме руководства центра, никто не имел.

Олег испытал неприятные ощущения, вспоминая собственный печальный опыт подобного экспериментаторства. Он и здесь почувствовал руку Канетелина: у того есть доверенные лица на полигоне, которые негласно выполняют для него отдельные работы. Но каким образом этот малообщительный чёрт их завербовал? Если это действительно так, то он может далеко продвинуться. И он пойдёт на любой риск, не считаясь ни с кем и ни с чем, лишь бы довести задуманное до конца. «Я бы, может, тоже пошёл, – мелькнуло в голове. – Или не пошёл бы? Не знаю. Сейчас речь не о том».

К данным последних исследований на полигоне он доступа не имел, с его темой они никак не соприкасались. Возможно, он обошёлся бы без подсказки, но ему не хватало практических знаний, в чём Канетелин его, безусловно, превосходил. Несколько выходных он посвятил корпению в научной библиотеке, пытаясь найти сведения о похожих исследованиях в открытых зарубежных источниках. С некоторым удовлетворением он отметил, что самые свежие упоминания оказались слегка запоздалыми, данную стадию они давно уже прошли. Впрочем, что могло скрываться за ходом дальнейших работ, нигде ни одним намёком обозначено не было. Всё зависело, в каком направлении двигались учёные, хватило ли им интуиции или случая, чтобы натолкнуться на тот же эффект, что наблюдался в лаборатории Канетелина, и каким образом они на него отреагировали. Олег просмотрел целую кучу файлов ведущих научных изданий в мире, упорно трудился над переводом статей, но даже по тем картинкам и формулам, которые были представлены, понял, что искать там нечего. И вообще вряд ли подобные сведения просочились бы в публикации, будь они хоть отчасти зафиксированы в любом месте земного шара.

Ему стало грустно. Оторванность от текущего процесса била по самолюбию. Он знал, что в данном случае есть что исследовать и что практический результат не так далёк, как можно было бы предположить. Этот результат опасен, страшен, но оттого ещё более важен для людей – подобная мысль почему-то стала посещать его всё чаще и чаще. С течением времени беспокойство Олега только усилилось. Дело их вряд ли стояло на месте, а он отнюдь не хотел считать себя выпавшим из обоймы.

Савелов вернулся неожиданно, появившись в лаборатории в один из прекрасных солнечных вечеров, когда настроение само собой диктовалось ласковым светом за окном. Они с начальником снова закрылись в кабинете Канетелина и до конца рабочего дня что-то вдвоём обсуждали. Олег решил больше не тянуть время. Пора было поговорить с Савеловым начистоту. Он почувствовал, что теперь уже сможет привести нужные аргументы, чтобы заставить того выложить всё, чем он занимался с завлабом втайне от других, в том числе и от руководства института.

Сидя вечером в своём автомобиле, он дожидался коллегу с работы. Машина Савелова была припаркована рядом, и, проходя к ней, тот неминуемо должен был встретиться с Олегом, от разговора ему уже было бы не отвертеться.

Прошло двадцать минут, центр покидали ведущие специалисты, руководители среднего звена, молодёжь уже свинтила в полном составе, а Савелов до сих пор не появлялся. Наконец он вышел из здания, но направился куда-то в сторону, вдоль боковых строений, Олег даже не знал, что там находится.

Покинув свой автомобиль, Олег направился за ним. Савелов шёл не спеша, закурив, прибавил ходу. Обогнул боковую пристройку главного корпуса и углубился во двор.

«Куда это он? Что он там забыл?»

Исследовательский центр включал в себя десятка полтора строений (те, что на поверхности), это был целый городок. Олег пересёк парковку и невольно ускорил шаг, чтобы настичь Савелова быстрее, поскольку тот уже свернул за угол, направившись по дорожке вглубь территории комплекса. Пока тот находился вне зоны видимости, Олег испытывал лёгкое беспокойство. Ему вдруг показалось, что сейчас наступает главный момент, чтобы вклиниться в чужие планы и не остаться в стороне – другого может не представиться. «Канетелин, безусловно, привозил его в тот раз сюда, – размышлял по ходу Олег. – Но сейчас-то зачем он вышел? Чтобы отметиться на проходной, будто его в центре уже нет? Странно».

Свернув в том же месте, он увидел Савелова в конце дорожки. До него оставалось совсем немного, когда тот зашёл в маленький проулок между строениями, где его гарантированно можно было настичь, и непонятным образом исчез.

Когда Олег буквально через несколько секунд, максимум полминуты, повернул туда, в обозримой дали никого не оказалось. Длинный коридор меж высоких стен двух лабораторных корпусов тянулся по направлению к окраине территории. Стены были без дверей, а чтобы дойти до другого конца коридора, потребовалось бы значительное время. При необходимости такое расстояние можно, конечно, быстро пробежать, но Олег ещё не готов был предположить, что Савелов использует такие странные уловки.

«Что за чёрт. Куда он мог деться?» – остановился в недоумении Олег. В углу одного из строений он всё же заметил дверь, Савелов, скорее всего, скрылся именно за ней. Олег подошёл к ней и подёргал ручку: дверь, разумеется, была заперта. Постояв недолго в нерешительности, он повернул обратно.

Странно. Всё странно. Теперь любые действия сотрудников вызывали недоумение. То, что он раньше оставил бы без внимания, сейчас заставляло думать о самых нелепых и неправдоподобных вещах. Но ведь они возможны! Савелов и Кашвили из партнёров вдруг превратились в конкурентов, не говоря уже о Канетелине, который по одиночке запрягает всех в свою повозку, отводя каждому незначительную роль. Если все его шаги продуманы, имеют определённый смысл, то комбинация им затеяна нешуточная. Игра стоит свеч. Олег только прикоснулся к физике неизвестного явления, а Канетелину, возможно, уже понятен его механизм.

Олег возвращался назад удручённый. В данный момент было ощущение, что его как-то провели. Когда он лучше всего подготовился к разговору, случился облом, а в такие моменты он неминуемо начинал нервничать. Он не терпел обмана, и все его отрицательные эмоции обязательно трансформировались в раздражение.

На парковке его ждал сюрприз: автомобиля Савелова на месте не оказалось. Тот уехал домой, пока он гонялся за призраком, за каким-то посторонним, поскольку всё разъяснилось тут же, когда он проходил через стояночную площадку и, бросив взгляд в сторону, увидел совсем рядом с собой человека, которого чуть ранее принял за своего сослуживца.

«Тьфу ты, дьявол! Надо же так совпасть, – подумал он. – Похож неимоверно, и по одежде и по походке».

Домой он приехал в одиннадцатом часу. Марина встретила его со всей своей женской предупредительностью:

– Что-нибудь случилось?

– Ничего не случилось. Я же звонил.

С некоторых пор её проницательные взгляды стали утомлять.

– Привет тебе от Виталика, – сказал он.

Она ему не поверила, обвив его шею руками, защекотав его подбородок шелковинками своих волос. Раньше её ласки всегда действовали обезоруживающе.

– Всё у нас будет хорошо… – убаюкивающе прошептала она. – Есть будешь?

– Нет, спасибо. Я поел у Виталия.

Теперь его притуплённость, усталость, недовольство рассматривались через многократно увеличивающую лупу любопытства. Поводов для беспокойства обладающая тонким природным чутьём Марина не имела, однако и перепады его настроений в последнее время понять не могла. Он безапелляционно отстранился, бросив в передней куртку и уйдя к себе в кабинет.

«Сейчас обидится и будет дуться», – подумал он, зная, что она не раз ещё к нему придёт.

– Звонила мама…

Он вздрогнул, потому что не слышал, как она вошла вслед за ним.

– Завтра собирается приехать. Хорошо, если бы ты посидел вечером с нами.

– Пусть приезжает. Посижу. – Он попытался быть естественным, но вышло не очень убедительно.

Марина посмотрела на него умоляюще:

– Ты же знаешь, мама тебя любит. Очень важно, чтобы она была спокойной.

– Да, хорошо.

– Она, конечно, расстроилась после разговора с тобой по телефону. Будет лучше, если мы…

– Марина, я всё понял. Завтра я приду с работы, и мы будем весело пить чай.

Она хотела что-то сказать, но не стала, улыбнувшись и оставив его на время одного.

Однако вскоре снова пришла, будто знала, что он ничего не делает, поскольку удивительным образом угадывала, когда ему действительно не следует мешать. Присела рядом, мягкая и нежная, словно кошка. Он обнял её, вспомнились первые дни их знакомства – тот момент, когда они поняли, что не могут друг без друга жить. Тогда поразительным образом заколдованный мир ожил вдруг множеством оттенков переживаний, простая близость оказалась самым ценным приобретением в жизни, таким, которое не описать словами, не воспроизвести на сцене, не увидеть со стороны у изобилующих ласками влюблённых.

Они поцеловались, и это был окончательный знак согласия, подтверждающий на сегодня их приверженность горячей любви. Всякие проблемы отменялись. Он окинул отсутствующим взглядом своё рабочее место, и в хорошем настроении, увлечённые игрой, они проследовали в спальню.

Ночь явилась продолжением пылкой страсти. Ему снились бесконечные битвы на любовном фронте, какие-то необычные соперники, безусловная победа над ними, которая перемежалась с борьбой так, что запутывала ход событий. Он неизменно брал верх, но тут оказывалось, что это подстава и схватка ещё только предстоит, а праздничные ликования вокруг оборачивались подбадривающим воем почитателей. Силы не ослабевали, что являлось главным лейтмотивом фантазий. Гора отработанных инструментов возвышалась в поле за его жилищем. В сверкании молний или под лучами испепеляющего солнца один и тот же образ возникал и как защитник интересов соплеменников, и как бесшабашный баловень судьбы.

Чашка кофе за столом тоже оказалась эпизодом ночных видений. Ему так же явилась Марина, хитро подмигнув, точно призывая вернуться в очаровательную действительность.

Элегантно крутанувшись, она быстро сообразила завтрак на двоих, довольная добрым утром, лохматостью и небритостью мужа, его запоминающимся пыхтеним накануне, очаровательным видом из окна и мягким напутствием ласковых солнечных бликов на кухне. Разговор заменяли утренние новости по телевизору. Хруст при откусывании тоста дополнял события, имевшие место на противоположном полушарии планеты, поскольку на этой стороне за ночь ничего существенного не произошло. Он сосредоточивался, отмыкая ящики сознания. Чувство было такое, будто он после тяжёлого похмелья. Марина жевала бутерброд, смеясь глазами, живо вдохновляясь пройденным, а ему, как обычно, стало не до удовольствий. Борьба за выгодное место превратилась в борьбу с собой, сотни мелких неудобств и пакостей предстояло пережить и воплотить пережитое в твёрдые намерения, удовлетворяющие его по всем статьям. Главное, ещё уметь не ошибиться. Кругом столько прохвостов, столько любопытствующих тварей, намеренно сующих палки в колёса, что обозначенные цели никогда в конце концов не являются личным достижением. Они являются ещё и личным предательством, личным прогибом под кого-то, личным проявлением грубой надменности и требуют после долгого периода расходования собственных сил благодарить потом и поддерживать кого-то совсем не достойного благодарности. Так сложилось, что к девальвации убеждений в собственных глазах необходимо готовиться. Понимать некого. Многие как были мразями, так ими и останутся. Вопрос в том, каким быть тебе? Вернее насколько трансформировать в себе понятия о тех облачных райских благостях, которые не запятнаны чьим-то мерзким прикосновением? Как оставаться наивным и простым? Как не поддаться на хитрость века ускорений?

Десятки лет уходят на формирование простейших принципов. Человек умирает быстрее, чем осознаёт своё предназначение. По недосмотру ли природы или по чьему-либо масштабному «великодушию» он посещает мир как дикое животное, не вдохновляясь и радуясь по-настоящему, а только выставляя напоказ красный зоб для привлечения известного внимания. И реагируют на это все, не только самки. Он делает упражнения, соотнося их со смыслом, и ему невдомёк, что главная его память находится вне масштабов существования, что как бы ни силился он уразуметь перспективы развития мира, эти попытки окажутся тщетными, поскольку не просчитываются умом, а классная проповедь с церковного амвона лишь вводит в заблуждение. Тысячи тонн полезных изысканий, если перевести мысли в меру массы, оказываются нерентабельными. Они годятся лишь для построения дома до нового разрушительного урагана, и даже здесь житейский опыт подсказывает тратиться меньше, чтобы частое восстановление жилья не било по карману.

Лучше всего нам удаётся хитрить и предрассудствовать. Избитые наши истины быстро забываются, они есть элемент общения, а не элемент жизни. Уже в недалёком будущем самый сильный из нас видит снисходительное пренебрежение своими заслугами. Что же остаётся другим? Остаётся только уповать на интуицию, которая подсказывает быть бережным по отношению к себе и к окружению.

Так он думал и над умывальником, и под душем, и во время завтрака, и сидя уже в автомобиле, набирая ход по направлению к главному пока месту своих творческих изысканий.

Утро восхищало новыми красками, постепенно он начал ориентироваться на обстоятельства, умеренно реагируя на тупых автомобилистов и пешеходов. Задержки в движении даже радовали. Какой-то беззаботный дух естества насытил его органы, придавая бодрости, повышая тонус до необходимой в его работе планки. Он знал, что делать, на что надеяться, чему не придавать значение. В последние дни он научился пренебрегать несущественным, и главное, уже различал его, как бы оно ни камуфлировалось под соблазны века.

В кармане завибрировал телефон. Звонил Савелов. Ничего не объяснив, он предложил срочно где-нибудь встретиться. Нет, лучше не на работе, это важно. Олег сразу развернулся, направившись к месту, о котором говорил сослуживец. Жизнь снова завертелась по своему, известному только ей графику.

– Ты был прав, – с ходу заявил Савелов, – Канетелин меня просто использует. Я не догадывался раньше, пока не обнаружил с его стороны явный подлог. Он дал неверные вводные и на основе результатов изменил план дальнейших исследований. Потом его электронное письмо странным образом исчезло, осталось только старое задание. Теперь получается, что я самовольно действовал в течение всей командировки. Но главное не это. Я выполнял по его указанию отдельные тесты.

– Эксперимент в эксперименте?

– Да. Ты знаешь, как это можно осуществить. Я посылал ему подробнейший отчёт, который никто больше не видел. Мне не всё понятно, но о чём речь, я думаю, ты имеешь представление.

– Имею.

– Он запретил с кем-либо разговаривать на эту тему, дав понять, что искусственно воспроизвести тот эффект вполне реально. Я подразумеваю, что успешные испытания он уже провёл.

– Откуда ты знаешь?

– Старый дом в Соборном.

– Не может быть.

– Разрушен непонятным образом. Только по счастливой случайности никто не пострадал… Его нельзя оставлять наедине с такими возможностями, по крайней мере нужен противовес, – Савелов был вроде бы озабочен, но говорил спокойно.

– Да, от такого человека можно ожидать чего угодно.

– Поэтому возьми вот это. – Он вытащил из кармана руку и передал Олегу флэшку. – Здесь всё, что я делал в последние дни, все цифры и раскладка по времени. А также фамилии двух человек, которых я подозреваю в непосредственном участии в канетелинском проекте.

Олег хотел сразу же поехать домой, но Савелов попросил его всё же появиться на работе, чтобы не навлечь на обоих лишние подозрения.

Весь день они по-дурацки переглядывались, неизбежно встречаясь глазами в кабинетах и в столовой, однако возобновлять разговор о Канетелине не решались. Они даже не подходили друг к другу по делам. Олег с трудом сдерживал нетерпение, чтобы не броситься тут же просматривать файлы Савелова. Он уже видел, каким образом можно «освобождать» в координатах пространства сумасшедшей величины энергию, чувствовал решимость, чтобы диктовать Канетелину свои условия. В нём прямо-таки бесилась его роль, спасибо Савелову, воскресшая из судорог серой обыденности. Какой величественной оказалась судьба, возложившая на него огромную ответственность! Потрясти мир великим открытием и урезонить одновременно взбесившегося собрата-учёного, узнавшего лишь способ отяготить мир сильнее, чем отягощён он сам. В хитросплетении дорог всегда есть нужная тропинка. Её бы только найти, ступить на твердь – и уже не увязнешь в болоте, потому что с каждым новым шагом приходит научение: запоминание, анализ, правильный вывод, разумный ход.

Он с трудом дождался окончания рабочего дня и, ни с кем не попрощавшись, помчался домой. На удивление дорога далась быстро и спокойно. Только войдя в квартиру, услышав знакомый голос, он вспомнил, что у них в гостях должна быть тёща.

Марина вышла навстречу, но Олег предупредил её улыбку:

– У меня срочное дело. Минут пятнадцать – двадцать. Может, полчаса. Подожди немного.

Она ничего не спросила, ей оставалось только уйти. Олег заперся в своём кабинете, загадочно посмотрел на флэшку, повертел её в руках и вставил в разъём компьютера.

В открывшихся на экране файлах даже не надо было разбираться: графики и таблицы были представлены в удобном формате с чёткой хронологией и упорядочением по видам измерений. Следующие под ними пояснения давали полную картину исследований и, судя по всему, вполне исчерпывающую, если, конечно, здесь представлены все копии того, что за последнее время делалось на полигоне. Несколько видеороликов дополняли отчёт, заостряя внимание на деталях исследований, ну и фиксируя для порядка место проведения работ.

Материалы были, безусловно, ценные, однако с первых страниц Олег понял, что это не то. На этот крючок его не поймать. С явным разочарованием он пролистал все файлы до конца и нервно откинулся на спинку кресла.

Он готовился к прорыву, поэтому не мог быстро успокоиться. В голову лезли всякие небылицы, высветилась физиономия Савелова, и пошли чередой вопросы, ни на один из которых не было ответа.

Что же происходит? Представленные Савеловым материалы выглядят совершенно неубедительно. Во всяком случае, Олег точно знает, что здесь рыть нечего. Или Канетелин ещё хитрее, чем он думал, или Савелов до сих пор с ним заодно. Но тогда зачем разыгрывать этот спектакль с украденными копиями отчёта? Как они таким образом хотели его запутать? Канетелин прекрасно понимает, какого рода данные могут Олега заинтересовать, на какой стадии решения задачи Олег находится. Поэтому, подсовывая ему туфту в виде результатов типовых исследований с небольшими изменениями, он пытается косвенно проинформировать его, что сам движется совсем в другом направлении, а оно, пожалуй, совсем бесперспективное. Но не думает же он, будто Олег поверит, что его непосредственный начальник настолько наивен и близорук.

Но скорее Савелов искренен и действует от своего имени. А вся затея с его командировкой, возможной, даже предсказуемой утечкой с полигона некой информации может иметь только одно объяснение. Канетелин просто выигрывает время. Он знает, что Олег крайне заинтересуется новой ролью Савелова и вместо того, чтобы заниматься реальным делом, начнёт искать подходы к коллеге, увязнет в своих попытках заполучить готовое решение и рано или поздно какую-то информацию от него получит, но та окажется липовой, абсолютно ничего не значащей. С точки зрения эстетики затеянной Канетелиным операции последняя оказалась безупречной. Ему можно было аплодировать. Олег засомневался даже, не закончил ли Канетелин раньше какие-нибудь специальные шпионские курсы. Или всё это плод буйно развитой Олеговой фантазии, приписывающей людям свойства, которыми те вовсе не обладают? Может, и так, но на кону большие ставки, и лучше ошибаться в переоценке соперника, чем не замечать его незримых козней.

Однако заново ничего делать не придётся, ничего не потеряно, борьба всего лишь продолжается. Просто надо быть более тонким, более осторожным с людьми, более осмотрительным. Канетелин не Мефистофель. Кто знает, может ему ещё и понадобится помощь Олега. Надо только сделать так, чтобы такая помощь оказалась неизбежной – вот над чем необходимо всерьёз подумать.

Олег закрыл файлы, спрятал флэшку и уже через несколько минут, раскрепощённый, влился в компанию дам, чтобы добавить к чаепитию, как он и обещал, аромат тонкого вкуса своего присутствия…

**5**

Уже неделю Виталий читал по вечерам рукопись Канетелина, волей-неволей углубившись в его образ мыслей. Они наслаивались одна на другую, предписывая держать в голове всё сразу. Мерный тон изложения быстро испарился, и в основу всего в дальнейшем был положен полный сумбур.

Общего связующего стержня, объединяющего все фрагменты сочинения в единое целое, пока найти не удалось. Если таковой был вообще. Бойко начав, застолбив интересными размышлениями право на анализ, физик скатился в грузное, тягучее описание ощущений с неясной перспективой и устойчиво возникающим почти на каждой странице вопросом: «Зачем всё это?» Текст был явно не художественный, однако в чём состояла его пояснительная сущность, похоже, глухим покрывалом было укрыто и от самого автора. Какие-то бессистемные обрывки жизненных коллизий, внутренних передряг мнимого персонажа составляли подавляющую основу повествования, повествования потому, что порой неминуемо возникало чувство, что это рассказ. Может, учёный и видел неубедительность данного сочинения, отчего заранее не возлагал на него больших надежд, но и понять, что двигало им в то время, какое такое уязвлённое самолюбие, тоже не удавалось.

Он словно заманивал куда-то, что становилось очевидным с каждым новым разделом рукописи. Яркие высказывания, отдельные тезисы как бы подразумевали их постепенное раскрытие, но всякий раз безнадёжно оставались на исходных рубежах, а речь вдруг заходила совершенно о другом. После ещё о чём-нибудь, отвлекая заново и опять лишь отмечая нечто походя. Каков был его герой, совершенно не хотелось знать, поскольку присутствующий на страницах рукописи тип явно служил отвлекающим манёвром. Он отождествлялся с автором, но ожидать «движения мысли» приходилось долго, а Канетелин зарылся в своих потенциях окончательно. То ли ему было невдомёк, что испытывать терпение читателя бесконечно нельзя, то ли он задумал всё это специально. Ответ на данный вопрос, пожалуй, и оставался до сих пор той единственной целью, которая не давала засунуть его папку в самый нижний ящик стола и больше никогда к ней не притрагиваться.

И тем не менее Виталий обнаружил пару раз нечто подобное описанию физических исследований, вернее, участия в них человека: его внутренние подсказки, корректировки, способствующие как бы составлению картины мыслей, которые возникают у экспериментатора. Журналист внимательно прошёлся по тексту, задумываясь в этих местах над каждой фразой, каждым словом. Временами ему казалось, что он сам принимает участие в описываемом событии – настолько правдиво и тонко были переданы нюансы состояния человека, увлечённого идеей, учтены направленность или аморфность движений его души. Но до конкретики дело так и не дошло. Все обнаруженные совпадения лишь яркими мазками легли поверх общих эмоций. Однако мысли могут совпадать сколько угодно часто, но если они не ведут к весомым выводам по жизни, от них не остаётся никакого следа.

С не меньшим рвением он брался за новый кусок текста, подогреваемый интересом зарождавшейся интриги, но вскоре обязательно попадал в тупик. Никаких мыслей о науке данный труд практически не содержал. Они мелькали лишь лёгким дуновением в атмосфере насыщенного бреда, не давая точного представления ровно ни о чём. С каждой новой главой накапливалось раздражение, и Виталий начинал подозревать, уж не оно ли и являлось главной целью сочинителя, умеющего вводить в заблуждение, чтобы безотносительно потом вызывать эмоции нужной направленности. Возможно, это вообще есть главная составляющая любого творческого процесса. Трудно представить себе бездушного робота, ведающего мыслительными функциями в сфере тех философских начал, которые не исходят из обычных математических действий. Такие процессы разложить по полочкам мы сами ещё не умеем. Но, наверное, они тоже подвластны определённым законам существования, и Канетелин лишь воспроизвёл их невольно в своём трактате, обходясь привередливо с тем, что подавляющее большинство из нас просто не замечает. Даже не упоминает о том, словно отмахиваясь по привычке от какого-то сновидения. Виталий смутно предчувствовал момент развязки, как будто потерпеть осталось совсем немного, однако заставить себя читать становилось всё труднее. Он с вдохновением ожидал теперь возможных «открытий», которых так и не было, он лихорадочно возвращался иногда к потерянным, казалось, важным мыслям, и, находя их, понимал, что не упустил, оказывается, ничего существенного. Они ведь и не тронули поначалу никак, просто остались в голове туманом, легковесной дымкой, которую всё время хочется подтвердить чем-то из прошлого, тем более когда о похожем упоминает постороннее лицо.

После многостраничной «артподготовки» он был заряжен уже настолько, что, наверное, достаточно было одной обычной идеи, простого, доступного пониманию высказывания, обозначающего нечто новое в философии, чтобы принять этот постулат безоговорочно. Надо признать, Канетелин внушил ему, что совсем не далёк в своих бдениях от науки. Он оказался чертовски неприятен, но велик. И осталось найти что-либо подтверждающее его величие окончательно, что-либо несущественное, пусть даже гипотетическое, за что только цеплялось бы сознание, что только подбивало бы к стремлению думать и творить.

Неожиданно тема рукописи приобрела новое, не совсем логичное направление. Связь с предыдущими разделами отсутствовала, Виталий даже не понял, каким образом «выскочил» на свежую главу. В данном куске встретились уже слышанные однажды, очень узнаваемые речи автора, приведённые им от третьего лица. Далее журналист прочитал следующее:

*«Пока он жил среди сумасшедших, он был добрее и спокойнее; великая сила людского братства, испытываемого одинаковыми для всех трудностями, постепенно заживила нанесённые ему прежним окружением раны. Но, оказавшись вне стен этого мрачного серого дома, он вдруг обнаружил, что терзавшие его когда-то метастазы злобы и ненависти ожили в нём вновь».*

Странно. Описание психбольницы и ощущений героя, присутствовавшего на страницах канетелинской рукописи, удивительным образом походили на реальность, связанную с самим учёным. Виталий отмечал уже такие совпадения неоднократно. Но сей «трактат» был написан до того, как Канетелин попал в клинику. Значит, он всё это придумал раньше и оформил потом в немного странное, не совсем цельное по композиции повествование. Однако в столь энергичной манере, обнажая нервы, наседая напором язвительной брани, можно описывать только себя, себя самого, застрявшего в стае презренных тварей и не знающего, как найти выход из создавшегося положения.

*«Необычайной мощи раздражение, словно и не покидая его, накатило изнутри волной и жёсткой хваткой удерживало все мелкие и значительные порывы добродушия. Он чувствовал, как любое соприкосновение его со средой колобродных, мечущихся болванов, сосредоточенно напирающих воротил и плавающих эгоцентричных созданий, средой, бушующей возле него в бесконечном перемешивании толпы, вызывает у него тошноту и отвращение, желание жёсткого противодействия этому натиску – симптомы, казалось бы, забытые им навсегда, но проступающие теперь со свежестью коварных, больно досаждающих рецидивов. Он шёл по улице в какой-то растерянности, не зная, как реагировать на ощутимую толкотню, время от времени задевающих его своими сумками граждан, но не реагировать на всё это он не мог. Его бесил не их темперамент, пренебрежение многочисленных субъектов его правом занимать в пространстве определённое место. Если бы даже он стоял в стороне и не замечал происходящее вокруг – пять, десять минут, час или целый день, – это не спасло бы его от ощущения разъедающей живую ткань атмосферы грубого батрацкого довольства. Неважно было, что они вели себя относительно тихо, просто разговаривали или, сосредоточенные и молчаливые, спешили по своим делам: нелепость их действий, его уязвимая оголённость в контакте с чужими эмоциями, чужими лицами, таким кичливым, разнузданным миром дерзких персоналий спазматическими приступами сжимало внутри органы и подстрекало буквально к каждому применить силу своей ненависти. Если бы только ему случилось сейчас ввязаться в какую-нибудь переделку, задевающую их уже не локтем, а предупредительно требующую от них жареного мясца, вряд ли бы он оставил равнодушной к себе эту толпу. Она беззаботна, но и настолько же пуглива. Лишь поначалу она проявляет заинтересованность к разгорячённым или юродствующим безумцам, но стоит только, обдав её паническим холодком вседосягаемости, задать внутри её критическую массу, как вся эта разношёрстная публика, как завороженная, будет единолико следить за каждым вашим действием, противными кругляшками глаз вцепившись в реальную для себя угрозу, забыв про свой разбросанный под ногами помёт и даже готовая убрать его по вашей прихоти. Ей будет уже не до кантат, не до святых писаний и не до семечек, она сохранит в невозмутимой позе свою гордость, но всею внутренностью уподобится жалкому отбросу Вселенной, перемежающему с минутами благопристойного на вид поведения, – то ли от нервных спазмов, то ли вообще не в состоянии забыть своё истинное лицо, – исходы жуткой громоподобной отрыжки. Она будет грезить быстрой безболезненной возможностью избавиться от вас, хитря унизительным подчинением злобе, будто бы неким пониманием отчаявшихся. Её утроба заколготится ненавистью к вам, и лишь в бреду безволия, от долгого и нудного для неё выжидания развязки, она, может быть, выскажет кому-то, но не себе, мысль о безусловном подобии вам буквально каждого индивида из застигнутого врасплох чинного благопристойного общества. Но, пережив испуг, вздохнув легко, она приободрится мыслью, и все её составляющие мгновенно приобретут всё ту же пресловутую знаковость, словно домены неизвестного магниточеловеческого сплава, построившие для себя только одну дорогу, упрямо толкущиеся на ней, ориентированные на самую большую и вонючую помойку в мире».*

Ему стало противно. С какого-то момента он уже не стремился понять Канетелина, но полагать, что это писал больной человек, всё ещё не хотел.

Жуткий мыслительный аппарат! Эмоции, связанные с сознанием! Не разум и чувства по отдельности, а совокупность всех способов отражения реальности, превращающая их обладателя в живую машину для исполнения никем не предписанных функций. У каждого своего «я» есть внутреннее желание исправить мир, подогнать его под свои лекала, поскольку материя человека гуттаперчева, как резина, сжимается без конца, и кажется, что достаточно одного рывка, чтобы запихнуть её в праздничную коробку, сделать надпись и отправить в будущее по одному тебе известному адресу. Мы здесь для того, чтобы противодействовать. В этом и есть истинный смысл жизни: не самому для себя найти счастье, а указать будущим поколениям, что оно возможно, невзирая на многочисленные варианты его представлений. Денно и нощно мы трудимся не покладая рук, даже те из нас, которые ничего не делают. Мы мучаемся и страдаем, любим и наслаждаемся, злобствуем и презираем тех, кто не даёт нам права ненавидеть. В нас рождается энергия противодействия, и это есть работа. Мы все хотим похожести, хотя никто и никогда не способен окончательно понравиться другому. Более того, это есть признак плохого тона: холуйство никогда не было в чести. И тем не менее если разумом мы понимаем, что счастливы, то только потому, что и иные когда-либо смогут испытать нечто подобное.

Но парадокс в том, что то, что разумеет ум, не приемлет сердце. Пафосные речи противны, чёрствость характера отталкивает. Дружба – это прямая выгода для вас, кто бы что ни говорил на данную тему, а величие души радует только её обладателя. Ненавидеть всегда проще, чем любить. Но можно ли сказать, что ненависть есть самый примитив, самое низменное ощущение соседства, в котором воплощены грубое стяжательство и неразвитость человека в целом? Ненависть других заставляет с ней бороться. Невозможно представить себе, чтобы кому-то была безразлична реакция людей на его речи, манеры, поведение, на его взгляды, на его благосостояние в конце концов. Одного-двух или десяток ненавистников можно проигнорировать, придумав для них отговорку, но от устойчивого презрения целых масс особей, имеющих по две руки и ноги и точно так же ходящих по земле, уже не отмахнуться. Волей-неволей они заставляют думать о том, как они вас понимают, и подозревать, что, может, действительно вы являетесь воплощением какого-то изъяна, хитрой неизвестностью которого наградила вас природа. Что в самой сущности пребывания вас на планете заключён какой-то недостаток, который не покрывает ни ощущение вашей необычности, ни радость, ни деяния, направленные во благо этих самых масс, а не только на пользу себе и близким. Почему так остро неприемлемы для окружения ваши мысли и тем более ваша особая поза, подразумевающая собственную жизнь и собственные способы получения доходов? Наверное, оттого, что всё это, помноженное друг на друга много раз, несёт в себе некий разрушительный смысл, не понимаемый по отдельности, но инстинктивно чувствуемый роем, в котором хаотичность – только кажущееся явление. И стало быть, ваша задача в глобальном смысле лишь в том, чтобы не выделяться из толпы, не казаться выскочкой, делать то, что делают все. Живите и радуйтесь, соблюдайте некие установки и верьте в бога! Но кто же с этим согласится?! Вас возмущает некое надругательство толпы над личностью, и поэтому, естественно, вы будете находиться в состоянии войны с необоснованными нападками в свой адрес по любому поводу. Вы будете постоянно противиться их правилам, их мнению, а они – вашим. А когда те уразумеют, что целым скопом проигрывают вам по ряду определений, тогда они и возненавидят вас как самое ужасное существо на свете.

Но такое давление имеет ответную реакцию, и не факт, что противодействие со стороны одиночек будет менее эффективным, чем «разумное» действие общества. Чувства вообще способны творить чудеса, а уж те примитивные залежи эмоций, о которых с пренебрежением вещают просвещённые слои человечества, иногда впрягаются в такой непосильный воз и с таким усердием тянут его в гору, что диву даёшься, каким образом на одном дыхании, без дозаправки в пути, люди преодолевают тяжёлый, безответственный путь, приходя в себя порой только оказавшись запертыми в тюремной камере.

Они оказываются один на один со своей совестью, и именно о ней, о совести, и стоит вести речь. Ибо данная категория есть на самом деле то, о чём только разумеет высокоразвитое существо, о чём оно постоянно упоминает, но в свои жизненные ориентиры никогда не вписывает. Безумная вражда и отвращение, что есть ненависть, напрямую связана с совестью человека. Ненавидеть может только безнравственная, в высшей степени безответственная личность. И когда такое лицо или группа лиц прикрывается словами о моральном падении, бесчеловечности кого-то, оно даже не подозревает, что находится с ним по одну сторону забора и вкушает с ним одинаковую пищу, не сдобренную только перцем и пряным запашком. Народы пугают зверства, но они не знают причин их проявлений. Давних и дальних причин, а не объясняемых нашими славными психоаналитиками как частое шлёпанье кого-то в раннем возрасте по попе или постоянное надругательство над ним в детстве родителя. Люди не вооружены пониманием происходящего, и потому их реакция повсеместно отдана на откуп совести. Однако мы совершенно не думаем о ней, когда нами управляет «благородное» желание отомстить.

«Боже мой, неужели главные в мире – дегенераты! – думал Виталий. – Те, которым всегда чужды сторонние веяния, которые вообще не способны воспринимать жизнь во всех её ярких, необычных проявлениях. Они упускают своё и комплектуют, и дуются на «растратчиков времени попусту», хотя в собственной лирике, если удосужится им такая возможность, не способны выразить наяву никаких самых простых чувств. И таких не один и не другой, их тысячи, миллионы, злящихся, страдающих манией державности, однако на поверку мечтающих только о понятном им единообразии, о том, чтобы примкнуть к какому-нибудь проходящему мимо стаду. Скорее всего, Канетелин и встретил одного такого в клинике».

Возникшие относительно Канетелина подозрения практически вылились в абсолютную уверенность. Виталий отыскал и ещё раз перечитал показавшиеся ему странными куски текста, и вскоре уже не сомневался, что заложенная в сочинение история имеет давние мотивы, связанные с событиями из неизвестной биографии учёного.

Не теряя времени, он тут же позвонил Захарову.

– Скажите, раньше Канетелин уже лежал в вашей клинике?

Похоже, он отвлёк академика от дел, поскольку тот с трудом въехал в тему разговора. Ответ последовал не сразу.

– Видите ли, по поводу своих пациентов я должен хранить врачебную тайну.

– О его психическом расстройстве знают все. Но до сих пор неясно, насколько он связан с последними терактами, и я сомневаюсь, что вам это неинтересно. Возможно, и у вас ещё будут вопросы, но посоветоваться вам будет не с кем.

Захаров будто внял его словам:

– Дело, похоже, тёмное.

– Да, перспектив немного.

– Могу лишь сказать, что он действительно лежал в нашей клинике до этого, года три назад. Правда, симптомы его расстройства проявлялись тогда очень незначительно. Он прошёл лёгкий курс лечения, и мы его вскоре выписали.

– Как долго он у вас находился?

– Около месяца.

– Его палата была на этом же этаже или в другом месте?

– В другом даже крыле здания. Там у нас что-то вроде санатория для невротиков. Вход отдельный, а соединительный коридор предназначен только для служебного пользования.

– И никто из тех пациентов, кто был с ним по соседству, не помещён теперь на четвёртом этаже, где Канетелин находился в последний раз?

– Мм… кажется, нет. А почему это вас интересует?

– Пока не знаю… Интуитивные догадки.

Виталий не очень поверил академику. Что-то здесь было не так.

– Судя по тем записям, что оставил Канетелин, – продолжал он, – его уже тогда сильно раздражало окружение. Он был конфликтным человеком, и если он второй раз потом встретил в вашей клинике ненавистное ему лицо, предугадать его реакцию можно было без труда.

– Виталий Евгеньевич… – Захаров устало вздохнул. – Разумеется, мы за этим следим. Однако его литературные упражнения я бы не брал в расчёт. Вернее в них содержится информация, способная заинтересовать только специалистов моего плана и вряд ли вас. Мы ещё тогда, три года назад, просили его описывать свои ощущения, вести своеобразный дневник, что ли, и он с удовольствием стал этим заниматься. Обычная терапия: когда человек пробует письменно отобразить свои чувства, а потом перечитывает это, находясь в здравом уме и трезвой памяти, ему по большей части становится стыдно перед самим собой за те глупости, о которых он раньше воображал. Поскольку когда пишешь, ты хоть мало-мальски, но всё равно свои мысли обдумываешь. А потом оказывается вдруг, что думал не о том, и чувствовал не то. Это полезно. Вырабатывается своеобразный заслон перед подобными эмоциями в будущем. Сильный урок, если им правильно пользоваться.

– И вы ему кое-что надиктовывали?

Захаров ни на секунду не замешкался:

– Да ну что вы. Тогда это бессмысленное занятие. Он должен был сам пытаться выразить свой гнев, но только в цивилизованной форме.

«Они пичкали его наркотой и заставляли писать, – тут же пришло на ум журналисту. – Немыслимо! Хотя, если подумать, вполне “гуманный” способ поковыряться в голове отчаянного физика на предмет содержимого её дальних тайников. Если так, то эта история длится уже не один год».

– Я как раз читаю сейчас одну из его рукописей, – заявил Виталий. («Одну из?» Он даже почувствовал напряжение собеседника. По крайней мере, если тот в игре, то слова Виталия станут известны кому нужно, и с ним обязательно по данному поводу войдут в контакт. Здесь главное только не переборщить, иначе начнут действовать грубо). – Его мысли местами очень сильные. Вы не находите, что Канетелин был необычайно художественным человеком?

Виталий интуитивно ощущал, что академику данная тема близка.

– Да, пожалуй. Он обладал широким кругозором, хотя чувственные восприятия прикреплял к своим пояснениям искусственно. Это беда всех технарей, которым всегда что-то мешает быть лириками. Вы говорите о той рукописи, которая называется «Следы грядущего»?

«Так, пошли уточнения, – обрадовался Виталий. – Ему тоже интересно, что я накопал».

– О ней самой. Занимательная вещь.

– Вы серьёзно?

– А вы её читали?

– Отчасти. Честно признаюсь, меня интересовали только его словесные упражнения, то есть сама форма, а не содержание, поскольку о том, что он написал, я уже где-то слышал.

– Может быть. Но язык у него хороший.

– Согласен.

– Он настолько хорош, что перекрывает недостатки сочинения. По крайней мере там явно не хватает стройности изложения. Мысли по большей части спонтанные, несистематизированные, хотя претензии на серьёзность анализа прослеживаются с самого начала.

Наверное, Захаров был бы не против услышать от журналиста свежую информацию.

– Вам не приходило в голову, что физик, взявшись за перо, вполне мог и не преследовать никаких целей? – спросил академик.

Теперь он явно ждал от Виталия, что тот расскажет о своих находках. Если их нет, то можно было смело закругляться: в этот раз он ничего не потерял.

Виталий как опытный игрок, не имея достоверной информации, всё время давал понять, что знает больше, чем говорит. Конечно, в нужный момент он умел подкреплять слова необходимыми фактами – таковые имелись в некоторых случаях в заготовке; когда же их не было, он пользовался фактами старыми или другими способами расшевелить оппонента. Иначе, поговорив раз-другой, его вполне могли посчитать пустышкой, а с подобной репутацией серьёзной работы уже не получится. И сейчас он понял, что зашёл в тупик. Доктор не станет делиться с ним дополнительными сведениями, даже если те не являются секретными, пока не увидит, что журналист ему чем-либо полезен. Виталию могло помочь только откровенное враньё, но серьёзные люди враньё не прощают, лгать тоже нужно уметь. Хотя Виталий заметил однажды, что солгав интуитивно, помогая подтолкнуть развитие ситуации, оказался не настолько уж далёким от истины, чтобы горько сожалеть потом о своём поступке. И всё же идти на подобный эксперимент с академиком он не решался. Данный сюжет должен быть чистым, пусть даже от него и скрывают многие вещи. Сам он ни в коей мере не должен впутываться в события, которые неизвестно что потом от него потребуют. И если академик не задаёт ему прямых вопросов, а у того наверняка есть, чем поинтересоваться, то так тому и быть. Возможно, время для раскрытия правды придёт ещё не скоро, и не в его власти ускорять процесс.

– Мне кажется, вы не до конца поняли этого человека, попавшего к вам по воле случая, – заключил журналист. – И сейчас не хотите признаться себе в том, что самое главное упустили. Впрочем, вы правы, я всего не знаю.

– Всего знать не дано никому.

– Однако если мне станет что-нибудь известно, вы разрешите связаться с вами и сверить наши данные?

– Пожалуйста…

Захаров отключился от Виталия, испытывая странные чувства. Чего хотел этот журналист? Ничего не узнал и ничего в общем-то не сказал. То, что Канетелин уже лежал в его клинике однажды, не могло представлять для кого-то особый интерес, если не усугублять свою жизнь проблемами, предназначенными для решения соответствующими государственными органами. Данные, относящиеся к безопасности государства, не могут находиться в свободном доступе, а измышлениям нравственного толка в политике придаётся значение не больше, чем случайному чиху. Что он, в сущности, может знать, этот дешёвый борзописец? Глеб Борисович его не опасается, а на опасных людей у того нюх редчайший. Было сказано, что сочинение физика, если сей уникальный экземпляр вольнодумства можно отнести к сочинениям (Захаров ухмыльнулся уголком рта), не представляет для компетентных органов никакого интереса, и заострять на нём внимание можно было теперь сколь угодно много. Академик сам пытался было извлечь из труда бывшего своего подопечного какой-нибудь смысл, но быстро притупил о него извилины, испытав досаду оттого, что не умел наслаждаться руладами философов, доступными представителям точных наук. Ущипнув самолюбие, он успокоился, и возня вокруг смерти учёного отошла на дальний план. Всё идёт своим чередом: кому выгодно, те своё поимели, кому не положено – ничего не добились. В первый ли раз такое происходит? Конечно, если ты достиг определённых успехов, но вынужден довольствоваться малым, это обидно. Но ему-то грех жаловаться. Его услугами пользовались не раз и не два, он уважаемая личность, не задаёт лишних вопросов, а за ответы всегда платит. Он знает много интересного из жизни некоторых сильных мира сего, однако все его знания касаются его личной компетенции, о чём сообщается заранее и подстраховано извне: утечек информации он никогда не допускал. Он просто не доверяет никому, а это в наше время самое ценное качество. Все препараты, принимаемые внутрь или предназначенные для близких, он всегда досконально проверяет. При малейших подозрениях относительно важных пациентов он подключает следящих, таким образом перекладывая ответственность на плечи «акционеров». А сам только записывает наблюдения и пополняет багаж своих знаний, не привязывая их к конкретным именам. Вернее, он эти имена изменяет, когда требуются примеры, изменяет иногда эпизоды жизни, и, пожалуй, это единственное, что роднит его с пройдохой-журналистом.

У него есть только одна большая тайна – его секретная комната, в которой он не может проводить много времени, поскольку о ней никто не знает, но там и автоматизировано всё по высшему разряду. Можно даже управлять процессом записи и наблюдения находясь вне здания. Ему лично подобная слежка за пациентами уже не раз приносила ощутимые дивиденды. Кто бы мог подумать, что академическая наука в сущности переросла на современном этапе в теорию подглядывания и подслушивания. Революционность знаний всегда отличалась умением добыть, отнять их у природы. Он же, фактически внедрив у себя тотальный контроль, не просто оценивает методы лечения, но и позволяет себе в некоторых случаях лёгкую импровизацию, благо у него есть такая возможность, хоть он и испытывает определённую ответственность за находящиеся у него на попечении человеческие души.

Через несколько дней он уже забыл о тех треволнениях, которые пережил в истории с физиком, и сейчас откровенно недоумевал устойчивому интересу журналиста, продолжавшего ковыряться в биографии его бывшего пациента. Ему казалось, что дело, если таковое и было, благополучно закрыто. Никаких осложнений у него не возникло. Можно было сожалеть только о внезапном прекращении эксперимента со свихнувшимся учёным. Столь удачный пример его врачебной практики, безусловно, служил весомой поддержкой репутации, и в глазах коллег, в том числе зарубежных, его рейтинг теперь вырос существенно.

Впрочем, в последние дни он об этом не думал. Сейчас он находился в прекрасном расположении духа, и странный звонок журналиста не мог испортить его хорошее настроение.

В столовую спустился Димка, которого он уже устал ждать. Можно было поесть одному, но он намеренно не садился за стол без сына. Они и так редко виделись. Теми немногочисленными моментами общения, которые удавалось выкроить в течение недели, он уже начинал дорожить.

– Ты меня ждал? Извини. Засиделся на форуме, никак не оторваться.

– Не понимаю, что интересного ты находишь в таком общении.

Димка намазал маслом хлеб и принялся накладывать себе в тарелку салат.

– Там есть умные люди. Их мнение необычно. Спорить с такими оппонентами доставляет удовольствие, представь себе.

– Но ведь этот спор нескончаемый и оттого он бессмысленный. Не разговаривая с человеком вживую, ты никогда не поверишь в силу его аргументов, поскольку ты не чувствуешь его интонаций, не улавливаешь его темперамент. В конце концов обмануть человека в заочной беседе намного проще. Если бы ты знал, что это машина, генерирующая вопросы и ответы, ты бы стал ей верить?

– Не усложняй, – с привычной лёгкостью отмахнулся юноша. – Там люди, и я вряд ли когда-нибудь смогу с ними встретиться. Я понимаю, поверить сначала, что перед тобой человек, и только потом начать с ним разговаривать – это твоя специальность, но я устроен немножко по-другому, и твои методы мне не подходят.

Иногда Захаров начинал чувствовать, что слова сына его задевают. Развитый ребёнок, ничего не скажешь. Пора уже считаться с его взглядами.

– Однако, ты дерзок. Ты не находишь это неприличным?

Димка, похоже, смутился. Или сделал вид, что смутился. Заметно было, что нелёгкие мысли мгновенно пронеслись в его голове, отчего горячая котлета, лежащая у него перед носом, оставалась несколько секунд нетронутой.

– Прости, я не хотел тебя обидеть. – Он состроил невинное лицо. Извиняться у него получалось лучше всего. – У тебя неприятности на работе?

Захаров некоторое время что-то соображал и потом вдруг рассмеялся.

– Ты чего?

– Я каждый день слышу этот вопрос от твоей матери, теперь ещё и ты… Или она попросила тебя быть со мной поласковей?

Димка тоже повеселел. Сегодня отец выглядел непринуждённым и не докучал своими назидательными речами, которые изрядно надоели, хотя авторитет его в семье сомнению не подвергался. Тем не менее в чём-то юноша видел себя уже более правым, чем учёный родитель, особенно в вопросах его отношений с людьми: с друзьями, врагами и преподавателями, – и именно потому, что отец был известным в стране психиатром. Порой он противоречил отцу из принципа, однако проблески собственной убеждённости всё чаще позволяли ему чувствовать в себе единицу, вполне не очерчиваемую лекалами отцовских формул.

– Как твоя статья? – поинтересовался Захаров.

– Ещё не готова.

– Ты говоришь это третью неделю. – Он посмотрел на него пристально. – Ты вообще ею занимаешься?

– Сдам вовремя. – Димка чопорно отрезал кусочек бифштекса и положил его в рот. – Я стараюсь жить параллельно, а не строго последовательно.

– Что значит параллельно?

Юноша сделал вид, будто говорил об этом уже не один раз.

– Нельзя уделять внимание чему-то одному настолько, чтобы это шло в ущерб всему остальному, – беззаботно пояснил он. – Надо работать по всем направлениям одновременно. А вот тебе не мешало бы наконец побриться. Как писал Чехов, в человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и душа... и одежда… и зарплата. Чем больше таких прекрасных людей, тем качественнее и комфортнее вокруг жизнь. Это уже я добавляю.

– Ешь давай, умник, – улыбнулся Захаров.

Димка иногда наигранно паясничал, и Захарову, безусловно, такие моменты нравились. У сына это получалось довольно изысканно.

– Почему, когда тебе убирать со стола, я всегда должен торопиться? – игриво возмутился студент. – Я люблю кушать со смыслом, медленно пережёвывая пищу за обсуждением важных животрепещущих проблем. – Он положил вилку и сделал поэтичный жест рукой. – Мне нравится бифштекс, представь себе! – Его брови выразительно взметнулись вверх. – Подумай, как можно ощутить вкус, заглотив котлету за одну минуту да ещё запив её стаканом минералки? – Он указал на пустую тарелку отца. – Это же средневековье, тебе не кажется?

Пока ещё «наезды» сына были вполне безобидными. «Но во что это со временем может вылиться?» – подумал Захаров, задаваясь вопросом чисто для профилактики и не испытывая ни капли озабоченности, что отражало его профессиональный подход к любой бытовой проблеме.

– Ты медленно ешь, потому что постоянно отвлекаешься. А бифштексы я купил в магазине, так что можешь не изгаляться по поводу моих кулинарных способностей.

– Да-а? Чем же ты здесь занимался целый час? Я думал, ты готовишь.

Захарова действительно отвлекла одна статья в журнале, и ужин отошёл на второй план.

– Что-то ты сегодня говорливый очень. Не иначе как сломался плеер.

– Ты прав. Я уронил его в воду, когда он был включён, и теперь он не работает.

Захаров вздохнул:

– Это трагедия. – Он положил руку на плечо сына. – Я понимаю, как тебе сейчас тяжело.

– Да ладно издеваться-то. У всех есть свои слабости, и у меня они не самые слабейшие. Ты ещё не знаешь, с какими кадрами я общаюсь. Славик Хворостов, например, программирует даже на ходу: идёт и печатает. У него специальная приспособа есть, чтобы крепить планшет у себя на животе.

– Оригинально.

– Ему надо только, чтобы дорога была ровной. Но он всё равно постоянно спотыкается.

В этот раз, в отличие от многих других, наконец-то удалось обсудить с Димкой некоторые вещи, связанные с его учёбой. Так что можно было отметить день как удачный. Хотя в период, пока матери не было дома (жену всё-таки пришлось положить ненадолго в больницу), сын не замыкался в себе, как раньше, и был сама любезность. Они жили дружно, будто их поступки не находились на разных полюсах понимания друг для друга, а общение не ограничивалось, как это обычно происходит, формальностями.

Для Димки же удовлетворить любопытство отца только с некоторых пор стало задачей, не вызывающей изжогу и внутреннее отторжение. Собственно, с того момента, как он поступил в университет, отец узнавал о его делах только от жены. Исключением стал лишь последний месяц, когда произошёл кардинальный сдвиг в Димкином сознании по части ощущения себя полноценным членом семьи.

С матерью Димке разговаривать было проще, поскольку она в своих вопросах касалась в основном бытовых вещей: стирка одежды, покупка продуктов, помощь по дому, – и меньше затрагивала его личную жизнь. Скрепя сердце он отдавал ей немного своего времени, всё-таки чувствуя за собой некоторую обязанность быть частью дома и частью её любви. Её стремление облагородить среду их обитания иногда встречало в нём благодарный отклик. Он видел, что это делается не просто в угоду какому-то женскому капризу, а действительно из желания сотворить уютное семейное гнёздышко, которым он с трудом представлял себе их «замок», создать уголок тепла, любви и общих интересов. Но вот с общими интересами как раз и возникала загвоздка. В его столкновениях с попытками дотошного копания матери, а особенно с назидательной, неприступной учёной логикой отца копилось то юношеское зло отчуждения, которое многим свойственно отождествлять с целыми поколениями. Во многих случаях он чувствовал и понимал правоту родителей, но с малых лет уже не имел желания поддаваться на их провокации, в которые превратились для него любые доверительные обращения в свой адрес. Нет, он не шёл на прямой конфликт, боже упаси. С виду всё было пристойно, без нервов. Он смеялся, когда они шутили, хотя большей частью не понимал их шуток. Как будто они веселились о чём-то своём и он их просто поддерживал: ха-ха-ха – вот так вот, никак не более. Он делал им приятное исподволь, ведь это нетрудно, угадать то, что им было бы приятно – они такие деликатно-однообразные. Фу, а как неинтересно было потакать их слабостям и особым сентиментальным закидонам по случаю. «Ты смотри, Пол (мать звала отца Пол, или реже Полик – это как бы особо ласково), смотри, Пол, насколько выразителен закат и как тут чудно показан просвет среди чащи! Ведь это надо было найти место, чтобы пропихнуть тут лучик солнца, который удивительной интригой заиграл вдруг в нижнем углу. Я просто поражена таким умением воздействовать на чувства!» Это она восхищалась одной из трёх картин, которые были куплены для дома и повешены в самых «выразительных» его местах (опять же по определению матери), где на них натыкаешься взглядом всякий раз, когда необходимо пройти в столовую или туалет.

Она не была глупой, его мать, иначе бы он свихнулся в этом доме значительно раньше, чем мог предугадать его папаша. Она была своеобразной. Впрочем, как и все мы, понемногу припадающие с годами к исходным наклонностям, всё меньше пытаясь их скрыть от других, тем более от ближних, а, наоборот, выпячивая их напоказ со всею обнажающею, деликатно-вычурною силой. В своей роскошной душевности, в своих игриво-светских манерах поведения мать была всё же предсказуемой, приятно-доброй, уступчивой, даже мягкой, какой ей и положено по-настоящему быть. Димка любил её по-своему. Как мать, это понятно. Но он любил её и как друга, с которым всё же можно было иногда пооткровенничать и подготовиться к беседе с отцом, и в этом было очень важное её предназначение. Всею сущностью своей он начинал понимать, что без матери вряд ли смог бы выработать в себе тот характер, ту не безразлично-тупую, а самую нужную форму поведения, которая обеспечивала ему теперь важный задел, величину умной упёртости в отношениях с главным своим домашним оппонентом.

В отношениях с отцом было далеко не всё в порядке. Всякий раз, когда приходилось ему что-то объяснять или, не дай бог, оправдываться перед ним, Димка весь кипел изнутри. Он чувствовал негодование, а позже бешеную ярость, с которой мог бы обрушиться на своего пристойного родителя, не видя только для этого конкретных причин. Его раздражало в нём всё: и дурацкие замечания, высказываемые дурацким же тоном, и его выводы, разумеется, неправильные, и поза, и жесты, и манеры, и даже неумение по-настоящему психануть. Отец был чётким и собранным во всех отношениях, себе на уме, что пытался скрыть от домочадцев, отчего казался не просто странным, а каким-то ни близким, ни чужим.

С малых лет Димка помнил его величавую суровость. Отец всегда давил словом, строго смотрел ему в глаза: этакий демон в манерном обличье, бубнящий жене об искусстве промокания соплей, пока та вытирала малышке платком нос. Он ни разу не тронул его пальцем, шлепки по попе Димке доставались только от матери. И оттого особенно болезненным вышло однажды распекание, когда Димка, будучи уже в младшем школьном возрасте, с ног до головы вымазался во дворе в саже, а отец, взбешенный испорченной одёжкой, в порыве гнева одним рывком спустил с него и штаны и трусы, чуть ли ни приказав вынести их на помойку, и он стоял, плачущий, посередине холодной комнаты, в короткой рубашке, с обидно выставленными всем напоказ ягодицами и передним местом. Это было похлеще ремня, Димка запомнил тот эпизод надолго. Он не раз потом недоверчиво косился на отца по поводу его замечаний, всё-таки поняв, что злость того очерчена определёнными рамками и бить его он ни за что не будет. Однако тайная суровость его, скользкая, не внушающая страх, а больше напоминающая предсказания гадалки, зародила в нём особую форму психоза, давящую на нервы непредсказуемыми импульсами и спазмами, рождая резко регрессивные формы поведения. А поскольку он им изо всех сил сопротивлялся, то и причины искал в самом понятном выражении своих чувств – в неприятии и злобе и, в конце концов, в ненависти к родному отцу.

Но вот как определиться, как уяснить для себя то, что он до какого-то момента ненавидит его или, может, сильно недопонимает его, а в чём-то согласен с ним полностью, но уже не в силах этого признать? Подобные задачи он ещё решать не умел. Да и вряд ли кто-нибудь смог бы разъяснить ему суть проблемы, в которой каждая из сторон не терпела помощи извне. Димка хорошо учился, но всё меньше связывал свои достижения с отцом. Он пренебрегал его гордостью, его самым главным в жизни благополучием. Ему даже доставляло удовольствие обнаружить публично свою якобы тупость, неприспособленность в каких-то вещах, например, во время школьных состязаний, когда родитель на него особенно надеялся, и видеть потом, как он скверно себя чувствует, переживает за неожиданный провал своего отпрыска. Сколько тайного удовольствия, сродни оргазму, доставляло это «будущему гению», когда он на глазах у многих обсерал обоснованные надежды папаши. И все домашние это хорошо понимали, и отец, удручённый, пытался потом провести с ним сеансы своих бесед, и Димка что-то объяснял, делал вид, что напрасно свалял дурака, а сам хихикал про себя по поводу надменного величия этого бога призраков, владеющего чем угодно, но только не умом и сердцем своего сына. Как только Димка стал понимать, какой профессией владеет его отец, так все особые воспитательные меры, предпринимаемые со стороны главы семьи, нивелировались в его глазах в полнейшее ничто.

Дух борьбы, непритворного соперничества, изысканной (но не доброй) доброжелательности, мягкого, накрахмаленного счастья воцарился для Димки в их обители с тех пор, как он уже начал ощущать своё мужское достоинство, в прямом и переносном смысле, а именно, где-то с тринадцати-четырнадцати лет. Отныне все отношения с родителями просвечивались им сквозь призму своих вёртких, но принципиальных оценок. С точки зрения действительно воспитательного процесса время было упущено. Он теперь сформировался в полноценную личность, со своим мировоззрением, своим отношением к происходящему вокруг, и переубедить его теперь могла только зрелая, умная аргументация. Однако то, чем бравировал Захаров тогда, когда сын был маленьким, теперь уже требовало личного примера, личного участия, а не просто слов, к чему новоиспечённый академик оказался не готов, да и выдохся с годами неустанных экспериментов с психами. Димка научился хитрить, делая вид, что вникает в суждения отца, а позже стал и более-менее чётко оспаривать их, возведя в принцип подвергать сомнению любое его высказывание. Как ни странно, хорошую помощь в том ему оказал Интернет. Он постоянно торчал на разных форумах, общаясь и с умными, и с дураками, и постепенно выработал в себе умение по-разному реагировать на известные типы людей. Его речь насытилась примерами, стала лёгкой, концентрированной, и видно стало, что он многих раздражал. Это приносило ему удовлетворение. В открытую схватку с отцом он ещё не вступал, но уже чувствовал, что в недалёком будущем сможет по-взрослому увесисто отвечать на его «наезды» и аргументов у того больше не останется. Ещё пока он огрызался иногда, срываясь на грубость, но и понимал, когда следует остановиться, признав свою вину, задобрить в конце концов предков, чтобы не настраивать их лишний раз против себя. Особенно мать – она бы не успокоилась точно, приставая ещё сильнее и донимая его своей мнительностью, поскольку настроение домашних «читала как с листа», по её же утверждению. Хотя кто и мог у них по-настоящему читать, так это только отец, поэтому Димка и сторонился его всё больше и больше, не доверяя тому ни своих мыслей, ни своих эмоций, ни тем более тайн. Подозревал ли тот, что в недрах его сына зреет яростный нарыв, или считал, что его собственную семью подобные проблемы заарканить неспособны, но те несколько попыток, которые он предпринял, чтобы вызвать Димку на откровение, успехом не увенчались – Димка не верил в его высокий разум вкупе с подобием чувств, которые просматривались в нём только по случаю. «Ты думаешь, все люди куклы? – как-то бросил он ему в сердцах. – И для всех можно составить расписание?» Однако, когда отец попытался зацепиться за его фразу и поговорить с ним о его чувствах, он ничего не ответил и убежал.

Больше всего его злила необходимость изъясняться в том, что отец и так должен был понимать, просто не мог не понимать в силу его учёности. И тогда всякие откровенные разговоры выглядели беспредметным фарсом, разыгрываемым в угоду амбициям папаши, желанием контролировать в их доме каждый чих. Показывать всем свою душевную зажиточность, базирующуюся на самом деле на его искусной трепотне. Если бы Димка не видел этого с раннего детства, возможно, их семья и представлялась бы для него как полноценный, добротный оазис тепла и душевности, базовая ячейка, из которой бы истекали все его жизненные устремления.

Он пробовал в разговорах «прощупывать» мать: чувствует ли она что-либо подобное, испытывает ли без притворства какой-нибудь негатив от мужа или только полна бесконечной любви к нему и сыну, закрывая глаза на всякие мелочи и шероховатости в их отношениях? Несколько раз у них образовывался довольно длинный, хотя и не очень продуктивный диалог. Мать всеми силами старалась поддержать Димку, но у неё это не очень получалось. В последнее время он даже не понимал её, хотя она целовала и прижимала его к себе, как всегда, воспевая его ненаглядность.

Если вы подумали, что его мать была вздорным и поверхностным человеком, то это не так. Те слова, что она нашёптывала ему на ушко, когда он был маленьким, запомнились ему навсегда и представлялись теперь самыми ценным даром, когда-либо принятым от людей. Её хватке и деликатности одновременно мог бы позавидовать каждый. Она вносила в атмосферу дома по-настоящему живой интерес: вовсе не вульгарный, а какой-то приятный, насыщенный ароматами торжества, высокого чувства наслаждения, присущего истинно тонким натурам. А уж то, что у неё имелся свой волшебный, пусть не слишком академический, но истинно женский взгляд на жизненные проблемы сына, не вызывало сомнений однозначно. Она и не думала, наверное, подозревать его в нелюбви к своим родителям, но как мать старалась представить себе причины его недуга, чтобы найти от него нужное лекарство. И лишь в последний раз, отчаявшись увидеть просвет в тягучей замеси его презрения, она долго не сводила с него глаз, выслушивая речь, полную вздорных претензий (и, наверное, юношеского жлобства), а потом бросила в его сторону опустошающую фразу: «Иногда мне кажется, что я зачала тебя в неведении, от какого-то космического существа», – не удосужившись ни объяснить сказанное, ни дать ему опомниться, встав с места и уйдя прочь, как от негодного мальчишки после наказания.

Ему эта фраза не понравилась. Десять минут он переживал случившееся, и, как истинный виновник события, переживал за себя глубоко искренне. Но по прошествии малого времени уже думал о том, что единственный его стратегический союзник по жизни, неоднократно до этого принимавший его сторону и потакавший его мыслям и поступкам, теперь отворачивается от него, давая понять, что детство давно кончилось: за лишние раздумья и всякое ребячество теперь придётся платить, поэтому не стоит вставать в позу перед взрослыми и более опытными людьми. Мать больше не поднимала тему его странного отношения к отцу, все разговоры с ней отныне происходили только по Димкиной инициативе. Она ни о чём его больше не просила. Всякие взаимные интересы членов семьи, казалось, перестали существовать. Какое-то время он чувствовал, что живёт сам по себе, как будто все вокруг были чужими, и это его полностью устраивало. Тем более что отец глубоко погрузился в свои проблемы по работе, приходя домой только на ночь, да и тогда практически не выходил из своего кабинета. У него были отдельная душевая и туалет, ужин ему часто носили наверх, и, бывало, Димка не видел его по нескольку дней кряду, притом что они жили и питались под одной крышей. Димка только передавал ему через мать приветы, находя в том какой-то своеобразный шик, словно подчёркивая, что не он сам, а именно отец является причиной их разногласий и теперь скрывается ото всех в своей рабочей келье.

Они встретились однажды лоб в лоб, когда Димка шёл по коридору и не видел за углом двигающегося ему навстречу отца. Встреча получилась неожиданной, и оба остановились, молча глядя друг другу в глаза. Димку поразило его лицо, мрачное, буквально за месяц состарившееся на несколько лет. Он понял, что дело вовсе не в нём – у отца были проблемы гораздо серьёзнее. Он хотел было сказать ему что-нибудь, но теперь уже не знал что. Даже просто поздороваться не хватило сил. Постояв несколько секунд, они так и разошлись, не сказав ни слова, озадаченные тем, что внутренние разборки дошли уже до стадии «лучше бы не видеться». Однако обычное столкновение с отцом будто сбросило до нуля коварную накипь его понятий, заставив задуматься о людях, с которыми он жил, именно как о родителях, в отличие от него, имеющих перед кем-то определённые обязанности.

И тогда в нём что-то перевернулось. Враз он почувствовал и близость к отцу, и нелепость своих юношеских переживаний, ему стало даже неловко за все те глупости, которые роились у него в голове и до сей поры представлялись несчастьем. Он понял, что изменить в мире можно не всё, наверное, даже далеко не всё, и есть вещи, с которыми нужно просто уметь уживаться. С того момента он включил реверс, обратный ход, стараясь теперь как можно чаще быть у родителей на виду и, не навязываясь, обсуждать с обоими свои дела (правда, когда было на то настроение).

Он сразу отметил, что ему готовы отвечать взаимностью. Он не представлял теперь, для чего необходимо было создавать напряжённость, если всё равно он скоро сам будет хозяином своей судьбы, а лёгкие недоразумения в виде окружающих его характеров, привычек, манер, лжи, попутного зубоскальства, игривой тонкости дебиловатых форм можно перетерпеть какое-то время как навязчивость соседа по купе. Всё, что его раздражало, он теперь как зрелый человек старался не замечать, отделываясь односложным ответом или просто шуткой…

Поев, Димка ушёл к себе, и Захаров, после того как убрал посуду, отправился к нему с желанием закончить начатый разговор. Такой вечер, как сегодня, явно имел для обоих большое значение. Захаров почувствовал, что теперь самое подходящее время, чтобы расставить все точки над «i»: сын не будет скоропалительным в суждениях, пусть выскажется до конца, на свежую голову, без злобы, – тогда он раскроется в самом главном, давно накипевшем и сварившемся, не цепляясь к мелочам.

Длинная дугообразная лестница заканчивалась небольшим залом на втором этаже, от которого отходили два коридора. Один через галерею вёл в свободные спальни и кабинет Захарова, второй – в отдельный флигель, в помещения для работников по дому и комнату сына. Он уже забыл, когда последний раз заходил к нему. Поесть вместе они договаривались заранее, ещё внизу, в остальном их пути пересекались во времени и пространстве редко. Он чаще видел повара-экономку или уборщицу, чем сына, однако сегодня, кроме их двоих, в доме никого не было.

Дверь в Димкину комнату была открыта, что никак не стыковалось с его привычкой основательно уединяться. Даже когда он выходил ненадолго, дверь обязательно закрывал, будто оберегая своё жизненное пространство от любых посторонних глаз и ушей. Захаров сразу почувствовал неладное, если только привычки сына не изменились вдруг кардинальным образом. У него было время что-то почувствовать, и даже подумать немного по пути, поскольку переходы из одного помещения в другое в их огромном доме превращались в целое событие. Он приближался к этой открытой двери, испытывая только в малой степени любопытство, но больше ощущая странное беспокойство за Димку, будто он узнает сейчас что-то важное, способное подорвать их семейные устои окончательно. Оттуда не доносилось ни звука. Ровный свет, отбрасываемый изнутри лампами, не вскрывал никаких нюансов происходящего, и Захаров, сосредоточенный, уже двигался по направлению к комнате сына с осторожностью.

Последние метры заставили его напрячься, что давно с ним не происходило даже на работе. Подойдя к двери, он медленно обогнул косяк и вошёл внутрь комнаты.

Димка стоял посередине с испуганным видом и молча кивнул головой в сторону ближнего от себя угла. Только теперь Захаров заметил висящий там на уровне груди мерцающий жёлтый шарик. Тот двигался, паря на месте, «включался» и «выключался» постоянно, что на фоне рисунка обоев создавало впечатление подмигивающего глаза какого-то невидимого, но оттого не менее жуткого существа.

– Не шевелись, прошу тебя, – тихо предупредил Захаров, хотя Димка и так стоял как вкопанный. – Давно это здесь?

– Не знаю. Я был в библиотеке и только что пришёл.

Они оба замерли на своих местах, будто наткнулись на ядовитую змею, инстинктивно полагая лучше не раздражать «явление» резкими рывками и поворотами.

– Что это? Шаровая молния? – беспокойно спросил Димка.

– Понятия не имею. Сейчас ясная погода. Откуда она могла взяться?

Шар немного подвигался вправо и влево, как бы давая понять, что в перемещениях он не ограничен. Но на игру это похоже не было. Впервые столкнувшись с необычным природным явлением, они вдруг почувствовали, что эта штука находится здесь не просто так и явно реагирует на их присутствие, что заставляло учащённо биться их сердца.

Захаров попытался двинуться на пару шагов в сторону, и шар заметно сместился в его направлении. Стало ясно: связь существует. Ни кошки, ни кипящий чайник не являются предметами взаимодействия с ним, но люди, существа разумные, что первое пришло в голову в поисках отличий, словно захваченные в перекрестье прицела, теперь неотступно преследуемы загадочным образованием, отделаться от которого не представлялось никакой возможности.

Где-то между отцом и сыном неожиданно раздалось странное шипение. Оба увидели, как прямо из стенной розетки, отверстия которой были закрыты блокировщиком, на двух качающихся «ножках» стало выдуваться некое жёлтое облачко, схлопнувшись в конце и превратившись в такой же шар, начавший своё странствие по комнате. И ещё один тихо выплыл из-под кровати, повиснув недалеко от Димки, явно предвосхищая его ужас.

– Пап, – испуганно обратился он к отцу.

Димка оказался отрезанным в дальней половине комнаты. Теперь, даже если рвануться с места к двери, пришлось бы пробежать совсем рядом с непонятными объектами, и те вряд ли оставят его прыть без внимания. Пока никаких других своих свойств они не обнаруживали, но одно то, что они способны были различать обстановку и выделять в ней интересующие их живые существа, заставляло опасаться их сильнее, чем врага.

Если бы Захаров знал, что делать, он, безусловно, употребил бы сейчас все силы, чтобы обезопасить сына от навязчивости непрошеных гостей. Однако на что они реагируют, несут ли в себе смерть, можно ли избежать прямого с ними контакта или тот абсолютно неизбежен, учитывая явное их стремление преследовать движущиеся тела, он понятия не имел. Вопрос о том, что могло послужить спасением, напрямую относился к области его человеческой интуиции. Он полагался на неё не раз, но только теперь по-настоящему ощутил её живую необходимость, и, слава богу, ему хватало сил не паниковать. Ему вспомнился сейчас Канетелин, словно демон, испускающий волнами тревогу, или злобу, или обращаясь таким образом куда-то вдаль. Этот его призрачный лик, как ничто другое, нёс в себе ужасные черты современной жизни, способной исподтишка исковеркать безоблачное счастье любому не приглянувшемуся ему созданию. Его лик постоянно возникал теперь из ниоткуда. Он насмехался над умением академика помогать людям чувствовать себя людьми. Его лик и стал теперь символом неизвестных природных сил, породивших в его доме вполне конкретное явление.

– Пап, не надо.

– Подожди, не дёргайся.

Захаров медленно протянул в сторону окна руку и сделал пробный шаг. Он неотступно следил за шарами, моргающими невпопад, но ещё не проявляющими опасную активность. Пробраться куда-то под их присмотром оказалось делом неимоверно трудным. Следующий шаг получился чуть менее осторожным, и шары завибрировали. Можно было подумать, что их покой нарушило одно желание человека изменить своё положение в пространстве. Однако с какой лёгкостью вдруг один из них облетел вокруг Захарова, будто изучая странно реагирующий на их присутствие объект, заставило его сердце опуститься в пятки.

Теперь они плавали в воздухе бесшабашно, случайным образом ныряя и описывая круги с петлями, однако всё в том же неспешном темпе. Захаров стал перемещаться чуть быстрее. Он явно привлёк к себе их внимание. Болтаясь в воздухе, они всё ближе подлетали к нему, давя на психику, словно это и было их главным предназначением. И в какой-то момент вся троица, как в решающий миг, собралась ярым треугольником у него перед носом, сходясь к мнимому центру, усиленно трясясь, будто в судорогах, угрожая, испуская только ужас и ничего кроме ужаса.

– Дима, уходи. Беги, я тебя умоляю!

Но сын стоял не шелохнувшись. Он вцепился взглядом в бешеный треугольник у головы отца и ничего не хотел понимать. Вроде бы даже послышалось гудение. Будто концентрируя усилия в один мощный кулак, три объекта равномерно сближались в одну точку, грозясь слиться воедино, и тогда определённо произошло бы что-то ужасное. Но Димка не дал тому случиться.

Скорее инстинктивно, чем думая о спасении, он резко рванул с места, в один миг оказавшись у открытой двери, и, прежде чем выскочить в коридор, быстро оглянулся назад, увидев, как «святая троица» одномоментно распалась, стремглав юркнув в его сторону.

Они перемещались, конечно, быстрее его. Он только успел выбежать из комнаты, как один из шаров, с треском прошив насквозь стену, оказался на его пути, светясь при этом ярче солнца. Другой был уже сзади, отрезая путь к отступлению. А третий, вальяжно покачиваясь из стороны в сторону, медленно вплывал через дверной проём, словно говоря о том, что свидание с ними ещё не закончено. С трудом осознавая происходящее, он только заметил круглое, оплавленное по краям отверстие в перегородке. Материал не успел даже загореться, испуская белый дымок, откликаясь на жар только теперь, когда событие уже произошло и история давно умчалась вперёд галопом. Он даже не понял, как рядом с ним оказался отец, обхватив его руками и, казалось, всеми силами углубив его в своё тело. То желание было искренним, Димке самому захотелось укрыться в нём от напастей, чтобы не видеть вокруг никаких страхов, не ощущать ничего, кроме любящего тебя родного человека, чтобы никакие силы извне не смогли влиять на эту любовь. Очевидно, оба они желали одного и того же. Перед лицом неминуемой смерти они также слились воедино, и всякие прошлые коллизии представились теперь несусветной глупостью, которой не стоило придавать никакого значения.

Однако шары куда-то исчезли. Захаров даже не заметил куда и как. Когда он поднял голову, чтобы, очевидно, встретить угрозу лицом к лицу, вокруг была тишина, ничто не нарушало их покой и прежняя мирная обстановка безмерно одаривала их своей жизненной теплотой. Ещё прижавшись друг к другу, они покрутили по сторонам головами, но ничего необычного вокруг больше не обнаружили.

– Куда они делись? Ты не заметил?

– Нет. Что это было?

– Это за гранью моего понимания.

Захаров опасливо заглянул в Димкину комнату.

«Может, они где-то затаились? Но какой в этом смысл?» Его покоробила нелепость собственных мыслей, однако о нелепостях думать только и оставалось. Можно было бы списать всё на оптический обман, чью-нибудь злую шутку. Но вот это.

Он посмотрел на аккуратное круглое отверстие в стене, до сих пор слегка дымившееся по краям. Такую дыру горелкой не прожжёшь, разве что только лазером. Обернувшись, он сопоставил мнимую ось отверстия и положение окна. Окно как раз напротив. Но возможно ли, не тронув раму и стёкла, продырявить лучом стену, да ещё так ловко, чтобы не попортить обои на стене в коридоре за ней?

– Сейчас я позвоню знающим людям. Может, они хоть что-то объяснят.

Они внимательно осмотрели Димкину комнату, отодвигая мебель и открывая дверки шкафа, потом прошлись по всем помещениям в доме. Заглядывали вдвоём в подвал, в кладовые, на чердак. Никаких следов загадочных объектов обнаружено не было.

После по команде Глеба Борисовича к ним наведалась специальная бригада, которая шустрила по дому ещё часа два. Несколько сумрачного вида типов включали какие-то пищащие приборы, внимательно изучили дыру в стене, выслушали рассказ очевидцев, зафиксировали на видео все странные и необычные с их точки зрения детали, ракурсы помещений, и, сказав, что можно спокойно ложиться спать, ушли, нисколько не заинтересовавшись мнением о «разумности» действий этих летающих объектов. Единственным обнадёживающим фактором, было сказано, является то, что по теории вероятности дважды в одном месте такая хрень возникнуть не может.

Закрывая за ними дверь, Захаров чувствовал тревогу. Никогда он не думал, что его дом, семья могут оказаться целью для угроз, которых он старался всячески по жизни избегать. И если данная угроза была не случайной, значит у него образовалась где-то проблема, и немалая проблема. Только где?

«Это уже серьёзно», – подумал он. Как относиться к сегодняшнему событию? Глеб Борисович ничего определённого не сказал, но, что самое главное, его, похоже, и не удивило то, что они наблюдали. Хотя Захаров несколько раз пытался донести до него, что безусловная логичность в перемещениях этих объектов определённо выносит их за рамки природных явлений. Логика – это свойство организмов, а не блуждающих молний.

Неужели он был свидетелем необычных свойств материи и кто-то научился их использовать? Но с какой целью? Он готов был в это верить, держа в голове уникальные ночные записи Канетелина. Теперь к невыясненным способностям человека добавлялись и совершенно необъяснимые, чрезвычайно опасные формы преобразования вещества. И если таким процессом можно управлять, значит, вполне вероятна новая встреча с неведомым, которая может иметь весьма плачевный для него исход. Однако сейчас он даже желал, чтобы это была угроза от конкретных людей, тогда, по крайней мере, они скажут, что от него хотят.

Он остановился у дверей Димкиной комнаты, ещё раз посмотрев на дыру в стене. В поведении людей его давно уже ничем невозможно было удивить, однако в области физических явлений о подобных вещах он читал только в книгах. Наверное, стоит рассказать всё журналисту, может, он что-нибудь посоветует. Но только сделать так, чтобы об этом не узнал Глеб Борисович.

Решение возникло, пока он шёл в свой кабинет, среди слабо освещённой вечерней галереи, по которой гулко разносились его шаги. Хуже не будет, думал он. Что-то у них задвигалось, хотя Захаров рассчитывал, что главные события уже позади.

С Димкой они договорились, что он временно переселится в пустую спальную рядом с кабинетом отца. Захаров постучался и заглянул к нему, свет уже был погашен. Он зашёл и присел на край кровати возле сына. Тот лежал лицом к стене, но ещё не спал, это было видно. Оба молчали.

Димка повернулся, и в отсвете коридорных ночников, проникающем через открытую дверь, блеснули его ясные понимающие глаза. Захаров провёл рукой по его волосам, совсем как в его детстве. Как давно это было последний раз.

– Я испугался за тебя… Ты для меня очень дорог. Дороже всех на свете.

Наверное, что-то дёрнулось внутри юноши, Димка потупил взор. Всего лишь несколько слов, готовых сорваться с его уст, застряли в горле. Вся его прошлая вражда теперь ничего не значила. Он приподнялся на постели, будто стремясь напрямую встретить взгляд отца, не гордый и независимый, а вполне домашний, в чём-то даже растерянный и крайне озабоченный. Его руки сами потянулись к нему, и они крепко обнялись. Эти объятия за последние несколько лет стали для обоих самыми дорогими на свете.

**6**

На следующий день после описанных событий роскошный «майбах» Глеба Борисовича медленно подъезжал к ограде загородных владений, которые, судя по протяжённому каменному забору, занимали территорию никак не меньше двух десятков гектаров.

Его заметили издалека, охранник вышел наружу и осмотрел предъявленное удостоверение, хотя владельца автомобиля знал в лицо. Ворота плавно распахнулись. Глеб Борисович проехал по асфальтированной дорожке через поляну, обсаженную аккуратно подстриженными кустами, небольшую лиственную рощу и сад с клумбами, разбитый перед фасадом особняка. Проезд плавно огибал все эти красоты, дабы взыскательный глаз успел насладиться прекрасным ландшафтом. Посетитель должен был сразу составить впечатление о хозяине и в зависимости от темы предстоящего разговора понять, с кем имеет дело. Сюда на дешёвом автомобиле было бы просто неприлично подъезжать: Глеб Борисович бросил взгляд на стоявшие недалеко от входа лимузин и «бэнтли» и невольно остался удовлетворённым собственным недавним приобретением. Автомобиль определённо позволял ему чувствовать себя увереннее, а внешний антураж никогда не должен иметь изъянов, в чём он был абсолютно убеждён.

Дом выглядел богато: из новостроев, но умело отделанный в стиле дворцового искусства – и тянул не ниже чем на резиденцию главы крупной корпорации. Ступая по мраморным плитам пола, он вошёл в переднюю залу, где его встретил хозяин особняка, дружелюбно расставив руки и улыбаясь гостю.

– Здравствуйте, Глеб Борисович. Спасибо, что осчастливили нас своим присутствием, – с трудно уловимой иронией в голосе приветствовал гостя встречающий.

– К сожалению, не мог выбраться раньше. Много дел. Сейчас такая суматоха, вы понимаете.

– Да, знаю. Оттого и накопились к вам вопросы. – Он предложил полковнику пройти в кабинет, пропуская его вперёд себя.

Они прошли через огромную гостиную, ещё одну комнату и очутились в рабочем кабинете. Хозяин сразу же закрыл за ними массивные дубовые двери.

Глеб Борисович прибыл на совещание «большой тройки», как они себя называли, куда он приглашался нечасто и по сугубо неотложным делам. В основном же общался с каждым из них по отдельности. С двумя из них мы уже знакомы: это человек в роговых очках и обладатель шершавого голоса, на территории которого и проходило сегодня собрание. Третий со стаканом виски в руках сидел на диване напротив камина и, судя по всему, вынужден был прервать речь, когда вошёл полковник, недовольно обернувшись в его сторону – видно, не успел донести важную мысль до собеседника. На вид ему было чуть больше пятидесяти. Выглядел он намного более строгим и респектабельным, чем два его союзника, как и Глеб Борисович, был прекрасно одет, отличался хорошей выправкой и манерами. Известно было, что его мнение здесь имело не менее важное значение, чем мнение двух его старших компаньонов, и в то, что по многим вопросам его голос являлся решающим, верилось легко. Отличительной особенностью его был тяжёлый, неприятный взгляд, которым он прибивал визави к месту даже в тот момент, когда рассказывал ему весёлую историю.

Все трое тут же обратились в сторону Глеба Борисовича, как к званому гостю, опоздавшему на банкет, и все три особенности, собравшиеся в одной комнате, мгновенно начали испытывать его терпение. Ничего хорошего от визита в логово этих мрачных затейников он не ждал.

– С чего это ваш шеф стал проявлять такую активность?

Полковник ещё не успел протянуть ни одному из них руку, как вынужден был с ходу держать ответ.

– Его деятельность смешала нам все карты. Зачем он полез туда, куда не следует? Ограничился бы, как обычно, рутинной вознёй и тогда гарантированно не затронул бы ничьих интересов. Кому нужно его расследование?

Возмущались «роговые очки». Третий же, подлив себе виски и пересев напротив Глеба Борисовича, молча изучал его лицо.

– Его действий я не контролирую.

– Да, но вы должны нас вовремя информировать. Мы должны всё время быть на шаг впереди, иначе эффект нашего предприятия будет незначительным. Внезапность намного ускорит достижение цели. Ведь цели, я надеюсь, у нас общие?

Глеб Борисович вынужден был как-то кивнуть на столь риторический вопрос, иначе данные люди могли неправильно истолковать его молчание.

– В следующий раз звоните немедленно…

– Вот этого как раз делать не следует, – перебил говорившего третий. – Полковник прав. Забывая об осторожности, мы вполне можем попасть в поле зрения отдельных энтузиастов, а далее информация может уйти в непредсказуемом направлении, такое уже было. Лучше запоздалая, но анонимная реакция, чем возможное вскрытие фигур и долгое заметание потом следов. Лично я в открытую никогда не играю.

Глеб Борисович поблагодарил про себя своего защитника, избавившего его от необходимости объяснять двум другим правила современной конспирации. На секунду ему показалось, что тот стал чуть добродушней. Однако третий тут же отгородился от всех своей непроницаемой оболочкой, поражая, как и раньше, суровой одиозностью. Тет-а-тет Глеб Борисович с ним почти не разговаривал и знал его хуже других.

– Хорошо, – успокоились «очки». – Что вы можете сказать о перспективах расследования?

– Они туманны. Ввиду сложности теоретических обоснований эффекта никто не заметил параллельных действий. Вернее все объясняют их несанкционированным вмешательством Канетелина и его группы. Так что фактически он нам помог.

– Нам не придётся обрубать концы?

– Пока я не вижу в этом необходимости.

– Лаборатория в институте работает?

– Ещё нет.

– Я думаю, надо напустить вокруг неё побольше тумана, – вмешался в разговор «голос». – Но это в том случае, если вы гарантируете, что Канетелин ничего не обнаружил. Если же он был на правильном пути и его выводы можно подтвердить, сами понимаете, допустить этого ни в коем случае нельзя. Нам могут не просто помешать, нас уничтожат.

– Полагаю, полковник прекрасно ориентируется в ситуации, – вновь вмешался третий. – Не нужно объяснять ему чреватость какой-нибудь случайной оплошности. Он грамотный человек и всё прекрасно понимает. Тем более назад пути уже нет, и ваши предостережения насчёт ошибок, которые вы адресовали полковнику, на самом деле касаются каждого из нас.

Теперь вид его был настолько суровым, что все сидящие невольно замолчали, пытаясь расшифровать смысл последних слов. Но мелькнувшая на его лице бутафорская улыбка как бы говорила, что они означали именно то, что было сказано.

– Однако прежде чем мы перейдём к основной теме, хотелось бы выяснить состояние дел с вашим журналистом. – Он обратился к полковнику, окончательно взяв инициативу в свои руки. – Будем ли мы чего-то ждать или гарантированно обезопасим себя в данном направлении.

– Журналист проблемой не является. Он ничего не знает и узнать ему неоткуда.

– Вы уверены в этом?

– Абсолютно.

– Ну что ж…

«Респектабельный», как бы смакуя напиток, глотнул виски.

– Замечу, это была ваша идея привлечь к делу журналиста, – продолжал он, когда, казалось, вопрос был уже исчерпан, – поэтому вам с ним и разбираться. А вы данную уязвимость до сих пор не отработали… – Его тон и манера разговора заставляли думать вместе с ним. – Так вот. Чтобы и мы были уверены, что ваш приятель ничего не знает, я предлагаю вам ещё раз с ним встретиться и как следует его прощупать. Сделайте вид, что полностью доверяете ему, сочините какую-нибудь историю – вы это умеете делать, – запустите немного дезы, пусть он раскроется. Он обязательно должен раскрыться. Если он ухватится за то, что вы ему скажете, тогда и со своими тайнами будет менее осторожен. Разговор запишите, и потом мы решим, что дальше делать.

Фактически он предлагал Глебу Борисовичу ликвидировать журналиста. Поскольку придётся слить ему часть данных, и тогда Виталий либо сразу выложит всё, что знает, либо начнёт копать глубже и в конце концов станет опасным свидетелем. Полковник пожалел, что обратился в своё время к журналисту, но в тот момент сам до конца не понимал, что задумали в действительности сидящие перед ним люди. Их планы стали известны ему совсем недавно.

– Хорошо, я с ним поговорю, – отступать было некуда. – Только мне нужно некоторое время, чтобы подготовиться.

– Как долго вы собираетесь готовиться?

– Два дня мне хватит.

– Договорились. Через три дня представьте нам результаты, – по-военному чётко поставил задачу «респектабельный», хотя никаких командно-подчинённых зависимостей в их кругу никто никогда не устанавливал.

Глебу Борисовичу не нравилось, что с проявлением сущности их группы касаемо последних катастрофических событий его роль в ней неожиданно видоизменилась, но он ничего не мог с этим поделать. Амбиций своих высоких покровителей он не разделял, хотя хорошо понимал их гнев и брезгливость, когда речь заходила о вороватой с низу до верху государственной власти и населении как безответственной её содержанки. До сих пор они дёргали за невидимые нити, упиваясь ролью кукловодов, с удовлетворением отмечая подвижки в рядах истеблишмента, которые происходили в соответствии с их задуманными планами, и подсчитывая конкретные прибыли, которые должны были принести им те или иные проведённые в жизнь решения. Сейчас же сложилась ситуация, когда им эти нити вообще могли уже не понадобиться. Они видели перспективу прямого диктата, начиная бредить даже не прибылями, а функцией непосредственных устроителей жизни, благодетелей высшей пробы, но и суровых, под стать новой системе судей.

– Теперь о главном. К вам, я полагаю, ещё будут вопросы, но пока мы переключимся с вашего позволения на подведение промежуточных итогов. Прошу вас. – Он обратился рукой к «шершавому голосу», предлагая тому дать разъяснения по своей части.

«Голос» с готовностью откликнулся, будто ожидая своего часа с нетерпением. Или, возможно, чёткой последовательностью поднимаемых вопросов «респектабельный» просто настроил всех на сугубо деловой тон, превращающий беседу в заседание техсовета.

– Итак, по результатам текущего зондирования, обеспокоенность наших «денежных мешков» встающими перед властью проблемами вошла в критическую фазу. Дано понять, что наблюдаемые всеми катастрофы контролируемы и в скором времени каждый будет сам за себя. Для деловой среды это самый страшный сигнал, поскольку в таких условиях их деловитость заканчивается. Они сейчас упорно ищут точку опоры, прощупывают старые, совсем неприемлемые для них связи. Причём то же самое наблюдается и в азиатском секторе мировой экономики, и за океаном, и в нашей старой своеобразной Европе. Про политиков я пока не говорю, те пребывают в ступоре. Поэтому первейшей в сложившейся ситуации задачей становится подать умный сигнал туда, в мировые элиты. А наши потом сразу же примут их позицию безоговорочно и полезут к нам сами по всем мыслимым и немыслимым каналам, организовать которые не составит особого труда. Уже сейчас роение среди воротил бизнеса наблюдается довольно сильное. И в такой особой атмосфере неопределённости... – он сделал выдающуюся, увесистую паузу, – выявляются чуждые нам в будущем элементы, не готовые в дальнейшем к сотрудничеству, несущие в себе высокий потенциал предательства. Первый из них объект пятнадцать, о котором я говорил уже в прошлый раз.

Вообще на подобных сборах никаких реальных имён никогда не звучало. Даже друг к другу они научились обращаться в обезличенной форме.

– Предложенная ему картина не вызвала никакого интереса. Более того, он высказался о ней как о безвкусице.

Это был условный сигнал в их сообществе. Далее разговор на всякий случай предлагалось вести на эзоповом языке.

– Но вы сбросили цену? Вы торговались?

– Безусловно.

– То есть его такое направление совершенно не вдохновляет.

– Я ведь видел нечто подобное в его коллекции. И для меня показалось странным, что схожие по стилю и времени написания полотна вполне в духе представленного произведения, а он даже не задумался о его цене. Я высказался перед ним по этому поводу, на что получил ответ, исключающий любые уступки с моей стороны. Таким образом, ни продать, ни приобрести у него что-нибудь взамен не удалось.

– Это печально, – совсем не печальным тоном констатировали «очки». – Думаю, его нужно исключить из списка наших потенциальных клиентов, чтобы он не отпугивал своим примером других.

– Просто исключить? – уточнил «голос».

– Просто исключить. Таким образом мы покажем всем нашу принципиальность и решимость. Пусть не думают, что смогут играть на рынке вне поля нашей деятельности.

– Поддерживаю, – уныло заявил «респектабельный», будто речь шла о начале чаепития.

Надо сказать, что стены особняка действительно были увешаны дорогими и редкими подлинниками известных мастеров живописи семнадцатого и более поздних веков.

– Но в списке, помимо его самого, есть его принципиальные сторонники, которых мы таким образом никак не сможем привлечь на свою сторону, – засомневался полковник.

– Мы не можем тратить время на уговоры каждого из них, пусть сами решаются по ходу дела, – отрезал «респектабельный».

– Если бы знать, что решать… Я о том, что многих из них мы просто лишаем права выбора, – он упёрся взглядом в колючие глаза «респектабельного», благодаря чему тот по-настоящему его услышал.

На секунду в кабинете воцарилась тишина. Со стороны могло показаться, что между ними идёт незримая борьба. Видно было, что сидящий напротив полковника человек ни в коей мере не готов терпеть чьё-либо мнение в тот момент, когда, казалось, сами небеса благоволят его желаниям. Поддакивающие и участвующие в его плане, даже кто-то со стороны, вполне могли оказаться с ним рядом, за одним столом переговоров. Но так смело возражающие ему, в лице полковника, который до этого представлялся ему простым подручным, помощником во время покорения очередного Олимпа, – такое выглядело для него почти что оскорбительным.

Однако суть заминки заключалась в столкновении двух совершенно одинаковых характеров. «Респектабельный» чувствовал в душе полковника сопротивление. Одна цель, одно стремление, он понимал, должны были лепить из них в любых вариациях союзников. И до сих пор он знал представителя спецслужб хоть и не так досконально, как надо было, но с самой лучшей, наивыгоднейшей для себя стороны. В том плане, что любая грязная работа воспринималась тем не как обязанность, а как личное участие, собственное движение к цели, лишь совпадающее по вектору с направлением примкнувших к его принципам сил. Даже эти оголтелые сторонники, эти двое тухлых помидоров, трактующих метаморфозы бытия с позиции шарлатана, и те не были для «респектабельного» до конца своими, поскольку неизбежно подумывали одной половиной своих мозгов о мягкой постели, душистом чае и грелке под бок. Разве могли они составить ему конкуренцию в стремлении к завоеваниям? Могли ли они удивить его неожиданностью и изысканностью ходов? Он примерял их шкуру на себе, но так и не сподобился углубиться в стиль их фасонов. Они, слава богу, не смердели ещё (обоим было чуть за семьдесят), и пик освоения философских принципов был ими пройден совсем недавно. Однако он воспринимал их только как сидящие на туловище головы, творящие не для потомства, не для будущего, а вообще неизвестно зачем, лишь для простой человеческой утехи. И в данном плане полковник был ему даже понятней, охотней для сближения, чему, впрочем, постоянно мешала его особая позиция, гадкое чувство неоднозначности его слов, подразумевающих стойкое недружелюбие к присутствующим.

– Мы предоставим вам возможность обсудить степень риска с любым, с кем вы захотите, – сказал он полковнику. – Если вы успеете это сделать и сможете заручиться нужной поддержкой, честь вам и хвала, – «респектабельный» решительно закрыл вопрос, давая понять, что возвращаться к нему больше не намерен. – Когда будет закончен ваш список? – обратился он к «голосу».

– Он уже составлен.

– Отлично. В вашем распоряжении пять-семь дней, – гнусно улыбаясь, уставился он на полковника, указывая при этом рукой на «голос». – Мою позицию вы знаете. Теперь их принципиальность зависит только от вас.

– Я буду знать заранее о предпринимаемых шагах?

– Не обо всех, полковник. Не забывайтесь.

Глеб Борисович не мог более ничего ответить. Шутить в их компании имело смысл, когда было настроение. Не понимать здесь можно было только в меру. В остальных случаях правильнее всего было держать умеренную дистанцию, выражая готовность осуществлять любые их замыслы без сопутствующих сильному уму проволочек. Именно так он и снискал уважение в данной компании, не смея признаться себе в том, что им служит. Нет, для себя он служил иным интересам, а эти трое просто оказались в нужный момент на нужных позициях. Он ещё верил, что когда-то сможет от них отвязаться.

– Во всяком случае, полковник, – решил сгладить ситуацию «голос», – вы знаете, что в своих действиях мы всегда учитывали будущее простого населения, в чём, если хотите, и заключается смысл наших усилий.

Иногда они беззастенчиво лгали, особенно когда требовалось оправдаться перед самим собой. И иногда они его сильно раздражали.

Он придирчиво обвёл кабинет глазами, оценивая обстановку как солидный риэлтор:

– Трудно поверить, что, живя в таких роскошных апартаментах, хочется обустроить жизнь к лучшему.

Пожалуй, они его не поняли. Даже «очки», относившиеся к нему с наибольшим уважением, слегка поправили фокус указательным пальцем, озадачившись необязательной заминкой в коллективе вроде бы единомышленников. Пропустив сквозь мозг серию блистательных выходов из положения, их обладатель как истинный дипломат постарался удержать разногласия в приемлемых рамках:

– Личный достаток – это только стимул. Вы полагаете, мы не способны думать о судьбах государства?

Глеб Борисович вряд ли стал бы отвечать на поставленный вопрос, который, повиснув в воздухе, вполне мог оказаться для него роковым. Но разговор опять продолжил «респектабельный», переведя его в русло убийственной конкретики, касающейся осуществления их плана по нескольким возможным направлениям. Он явно подчеркнул, что не придаёт значения мелким недомолвкам, глупым недодумкам собравшихся, а вся энергетика, исходящая в данном случае от него, свидетельствует только об одном: о полном идейном соответствии их замыслов с его решимостью. Он наконец раскрылся, предлагая свои взгляды в той изумительно-радикальной форме, которую вынашивал, очевидно, долгие месяцы желания. И на своём пути он не терпел противодействия. Он громил оппонентов с ходу: жестами, взглядом, угрозами, матом, а теперь ещё и возможностью элементарно стереть любого в порошок. Под напором изливаемой из его уст тактики невольно вжимались в кресла самые стойкие, понимая, что рано или поздно придётся сказать «да» и та философская база, которая вроде бы давала им повод только к мысли, в свете тезисов их шакалоподобного вдохновителя обретёт вполне конкретную, неизвестно насколько губительную, но уж точно не дружелюбную по отношению к многим поступь.

Глеб Борисович осторожно задумался. Он впервые за себя испугался, не предполагая, какой ответственностью пренебрегает хотя бы за некоторые конкретные жизни. Если абстрагироваться от амбиций и болезней соревнующихся, до каких же пределов может испоганить разум человеческая суть? Как относиться к идее устранения несогласных, вполне спокойно приравнивающей их к гнойному нарыву? Забубнивающей до умопомрачения их гнойность, от которой якобы становится невыносимо жить – это для простолюдинов, – и оправдывающей хирургическое вмешательство по живому для интеллектуалов, заучившихся до радикальной степени избавления от прыщей? Видеть или не видеть страшные вылазки эмоций на общую поляну? Стереть их с лица земли или позволить им схватить тебя двумя пальцами за горло? Ему неприятны были и тема, и люди, обсуждавшие подобные вопросы. Если бы ему сказали раньше, что он обретёт здесь такую задумчивость, он ни за что бы в это не поверил. Однако те длительные минуты, в течение которых до его ушей доносилось противное воркование их лидера, только выработанное им с годами правило не идти на принцип сгоряча позволило ему отклонить радикализм говорящего в самой бесчувственной, на какую он был способен в данный момент, форме.

Но, наконец выдохшись и уловив, что сподвижникам необходимо ещё время, чтобы впитать в себя чужое мнение, «респектабельный» окинул компанию светлым взглядом и бросил невзначай для их успокоения:

– Я предлагаю слегка перекусить. Наверное, мы слишком многое решили обсудить сразу, поэтому и лица у вас такие напряжённые. Сделаем перерыв.

– Да, там всё готово. – Хозяин дома указал рукой в сторону соседнего помещения.

– Отлично. Перекурим, – поддержал идею человек в очках.

Все устало поднялись.

За закрытой дверью их ждал «шведский стол», где было выставлено блюдо с куском сырокопчёного окорока, овощи и салаты, коньяк в графине и прохладительные напитки. «Голос» с «очками» не без удовольствия принялись наполнять свои тарелки. Напор более молодого сподвижника, действующий на органы пищеварения через уши, ввёл их в состояние анабиоза. Он говорил всё правильно, но, чтобы начать думать о деле, требовалась реальная подпитка, и сейчас оба, нагруженные неожиданными заботами, принялись избавляться от них за едой.

«Респектабельный» тем временем увёл Глеба Борисовича в сторону. Они вышли на балкон, и он прикрыл за ними дверь. Он явно намеревался поговорить с ним наедине, придавая беседе подчёркнуто конфиденциальный в их и так не многолюдной сходке характер.

Сделав вид, что любуется красотами парка, он всё время держал своего спутника на привязи, насколько ему позволяло это делать его положение.

– Вы знаете, за что мы вас ценим, – учтиво отметил он, однако в его устах данная фраза звучала как «вы знаете, почему мы вас терпим». – До сих пор мне казалось, что у нас общее мировоззрение. Поверьте, мне не хотелось бы обнаружить вдруг в вашем лице позу недоверия. Однако я ни разу не сталкивался с вашими сомнениями, отчего не имел возможности более-менее откровенно с вами объясниться. Отдайте себе отчёт, понимаете ли вы наши цели? Готовы ли идти по головам, которые в избытке, поверьте, в избытке, будут торчать на вашем пути?

– На моём?

– На вашем… Сейчас можете не отвечать, потому что я знаю, у вас всегда заготовлен на такой случай ответ. Но мне хотелось бы, чтобы вы были с нами искренни. Хотя бы в тот момент, когда ваши навыки действительно имеют для нас важное значение. Оставьте философствования на потом. Поверьте, ваша позиция изменится ещё не раз, и если вы почувствуете себя монстром, то и тогда найдёте оправдание своему непростому выбору. Вы же не слабак. Для кого предназначены ваши сомнения? Для собственной души? Для памяти о вас? Память настолько же аморфна, насколько и душа. Можете ли вы поручиться, что недобрая память о тиранах не видоизменится через десятки лет на прямо противоположную? Всё это пустота, трепыхание чувств, ничтожность по сравнению с текущими завоеваниями. Превыше всего амбиции и умение воплотить их в жизнь. А вся остальная толпа только вам завидует. Она только печётся о своём низком, владея лишь благостным переливанием слов. Ей больше не о чем заботиться, кроме как об их благостном переливании.

Его иссиня-голубые глаза сверлили стену напротив. Он только раз посмотрел на полковника в упор, и от его взгляда у видавшего виды офицера спину обдало холодком. Он излучал неукротимую волю, злобу, коварство, обходительность и понимание одновременно. Оттого замыслы этого человека укрывались от любого за семью печатями, в то же время отражаясь на тех, с кем он имел дело, натуральным ужасом.

– Доведённый до вашего сведения план не пустая болтовня, – заключил он. – Всё уже решено. Мы сделаем это, с вами или без вас. Поэтому не рискуйте оказаться в другой лодке. – Уходя в комнату, он обернулся: – Которая к тому же может оказаться дырявой.

Это был заговор, протяжённость идей которого Глеб Борисович не мог предугадать. Он вспомнил одноимённый фильм Фрэнка Пирсона с Кеннетом Брэнна в главной роли, с которым возникли прямые ассоциации. Безусловно, они обговаривали свои замыслы без него не один раз. Оттого и реакция на слова «респектабельного» двух других из его комитета была нулевой, словно речь шла о распорядке дня больного, обязательно включающего в себя предписания врача, которые тот должен соблюдать. Выздоровление нации подразумевалось. О ней говорили, используя метафоры и афоризмы, словно облекая свой план привлекательностью для выступления в сенате. Но звёздный час этих закулисных воротил оказался сконцентрированным в одном кабинете и предназначен был для собственного потребления, а никак не в угоду общественным интересам, подразумевающим глубокую оценку и принятие программы большим собранием. Их замыслы были преступными. Они хотели изменить жизнь не умножением, а вычитанием и дележом, и не добиваться славы – зачем она им нужна, если они всех вокруг презирают? – а настырно, мерзопакостно участвовать в войне.

Когда он вернулся к месту заседания, члены совета уже откушали, рассевшись по разным углам кабинета.

– Прекрасный сегодня день, не правда ли, – сказал человек в очках. Он пыхтел сигарой, наслаждаясь «Квинтетом Си Мажор» Шуберта, тихо доносящимся из динамиков музыкальной системы. – Природа и музыка неразделимы, у них одинаковая материальная составляющая. В звуке столько же красок, сколько мелодий в картине за окном.

– В этом я с вами полностью согласен, – отреагировал полковник.

Подойдя к столу с закусками, он налил себе кофе и откусил бутерброд.

«Респектабельный» рассматривал художественный альбом, казалось, увлёкшись занятием до такой степени, что забыл о цели своего визита. Впрочем, он несколько раз отвлёкся, метнув острый взгляд по направлению своего главного на сегодня оппонента, видимо, не удовлетворившись до конца своей откровенностью и поджидая того на фронте новых словесных баталий. Именно от того, что Глеб Борисович не позволил себе явно выразить своё отношение к его словам, а по характеру он считал его равным себе, он предвидел дополнительные сложности в уговорах, зная, что того можно уговорить, иначе он не тратил бы попусту время на объяснение собственной позиции в их кругу.

В какой-то момент – полковник даже не заметил этого – «респектабельный» подошёл сзади с альбомом в руках и обратился к нему как ценитель искусства к знатоку:

– Смотрите, какой изысканной может быть человеческая фантазия. Обычно мы не позволяем себе столь скрупулёзно выведенного чувства. Прекрасное – это некий фантом, сон, до которого не дотянуться ни рукой ни мыслью.

Он показывал ему сборник гравюр Пиранези с видами фантасмагорических городов и замков средневековья.

– Даже в восемнадцатом веке я бы побоялся жить среди подобных загадок архитектуры, – сказал полковник. – Неизвестно чего здесь больше: тяжести или прекрасного. Всё это давит на психику. Очевидно, таким же трагиком души и создавалось.

– Не согласен с вами. Произведение искусства говорит не о настроении художника, а всего лишь о его мастерстве. В какой-то момент человек начинает понимать, чтó именно у него получается лучше всего, и вот тогда-то его настроение полностью, или почти полностью, подчиняется идее. Иначе он элементарно может остаться без куска хлеба.

– То есть, по-вашему, всё мировое искусство – это лишь способ выживания конкретных людей?

– Совершенно верно.

На лице Глеба Борисовича отразилось сомнение.

– Скучная у вас философия.

– Она такая и есть. Пиранези был архитектором, но за всю жизнь построил только один дом. Однако я ни за что не поверю, что он рисовал эти сооружения для души.

– Даже те, которые на его гравюрах полуразрушенные?

Он заставил-таки его задуматься. Вместо ответа «респектабельный» улыбнулся – прекрасный выход из положения. Безусловно, тот не мог теперь повернуться и уйти. Такая малая его заминка, но и она уже выглядела в глазах полковника значительным успехом. Или уступкой со стороны оппонента?

– В развалинах тоже есть своя прелесть, – с неизменным чувством превосходства заявил «респектабельный». – Это хорошо продаётся.

«Да, конечно. Как точно сказано, но как бы невзначай, – подумал Глеб Борисович. – Вы и созданы для того, чтобы продавать развалины. Сначала превращать жизнь в суровые испытания, а потом выставлять на продажу что осталось. И кто-то вынужден покупать остатки, потому что в придачу к ним обязательно идёт небольшой кусочек благополучия».

Они снова уселись в узком кругу, чтобы обсудить вопросы, потенциально грозящие перерасти в проблемы. Ключевым моментом для сохранения тайны являлись перестраховка и сведение рисков к минимуму.

Во второй части делового разговора Глебу Борисовичу пришлось уже давать кое-какие обещания, поскольку его отношения с тремя описанными субъектами были не просто идеологическими, а несли в себе определённые обязательства. Свою часть работы он выполнял чётко в срок и до конца, в данном аспекте претензий к нему не было. Но поскольку в их стратегии он являлся не первым, а может, даже и не вторым звеном, присущая им подозрительность относительно любого инородного тела отражалась в их мыслях в полной мере.

Нынешние явки решено было на время законспирировать. Связь держать по схеме «Б», в высшей степени запутанной, но надёжной, предназначенной на случай слежки, а также вмешательства в планы весомых обстоятельств. Через полчаса Глеб Борисович был нашпигован таким количеством информации, что почувствовал себя уставшим, словно после ночной смены на заводе. Все вводные и контрольные позиции приходилось запоминать, и вместе с пояснениями (полковник не любил оставлять в делах белых пятен неопределённости) в этот день на него обрушилась целая лавина забот, правда, в основном касающихся поддержки главных сил и обеспечения тылов. Он осознавал, что реализация хотя бы трети задуманного его союзниками приведёт к существенной подвижке мировых балансов и, возможно, надолго дестабилизирует экономическую и политическую обстановку по крайней мере в их стране. Но боялся он не этого. Если всё рухнет, то ничего страшного на самом деле не случится. Никакой мировой катастрофы не произойдёт, о чём только пугают обывателей в средствах массовой информации. Его не устраивала собственная роль в будущих событиях. Элитное ворьё, осуществляющее подобные планы, как всегда, обезопасило свои великие задумки системой неподконтрольного впрыска данных – та действовала только в одном направлении, в обратном ничего не поступало. И с такой функциональной принадлежностью даже он, сидящий на клапане, управляющий им по своему разумению, мог быть запросто проигнорирован как потравленная вошь. Он жал им руки, этим вершителям судеб, но о реальном черве, копошащемся в их некультивированных мозгах, ничего не знал. Для полноценного функционирования системы это, конечно, правильно – сидеть на своём месте, не вмешиваясь в работу главных агрегатов. Единственное, что бередило сферу его амбиций, это ощущение завоевателя, не умеющего проникнуть в чужую вотчину. Их тайна останется их собственностью навсегда, а его удел – строить свою ферму на откосе и выискивать для еды рыбёшку помельче. Это как раз его и не устраивало.

Он вышел от них под грузом первоочередных задач. Автомобиль сверкал в лучах полуденного солнца, погода была чудесной. Однако отъезжая от особняка, он уже не испытывал той бодрости духа и наплыва наслаждений, с которыми приехал сюда двумя часами ранее.

Великая троица осталась обсуждать свои планы дальше, у них на это было времени более чем достаточно. И кто знает, к каким неблагоприятным для него выводам могло склонить их любое высказанное в этой компании измышление.

«Если бы кто знал, как легко изменить ход истории, – подумал Глеб Борисович, оглядывая ухоженную парковую зону вокруг. – Для этого не нужно открывать новые частицы, придумывать прорывные технологии. Достаточно всего три выстрела, по одному в лоб каждому из этих ублюдков, и жизнь пойдёт совсем другими направлениями. Хороший стрелок сделал бы это за две секунды, не помешали бы, конечно, и скучные истуканы на воротах, приписанные к охране. Если бы только кто-то знал…»

Он показал удостоверение тем, на чьё вмешательство в своих мыслях не рассчитывал, и по лесной дороге поехал в сторону шоссе.

«Однако тогда я лишился бы своего нынешнего статуса и тех хороших отчислений, которые пойдут на развитие моего рода. Идея нравственности обычно исходит из неспособности побеждать. Поэтому всё должно остаться так, как есть, а про остальных не надо думать. В этой жизни я не жертва, а охотник».

Впереди с интервалом в километр находились ещё две видеокамеры, которые отслеживали любые движущиеся по дороге объекты. Задержка в проезде ближайших отрезков хотя бы на минуту вызовет на пункте охраны подозрение, тогда к наблюдению за объектом могут быть подключены иные силы, и как долго это будет продолжаться, неизвестно никому. Поэтому он механически освободился от мыслей об особняке, только когда выехал на оживлённую трассу.

В движении он был спокойнее. Вообще чем быстрее он ехал, тем чувствовал себя спокойнее. Мимо проносились деревья, луга, леса. Приятно мелькало солнце, шоссе то изгибалось в сторону, то открывалось длинными пологими спусками и подъёмами. Рельеф местности будто отражал череду странных изменений, всегда напичкивающих путь к выбранной цели.

Никогда дорога не была прямолинейной. Более того, движущиеся по ней автомобили, постоянно норовили создать помехи, без всякого умысла, просто исходя из обстоятельств совместного перемещения по одному маршруту. Безусловно, и он являлся для них помехой. Он был лицом, дестабилизирующим обстановку желанием просвистеть мимо на дорогущей машине. И в этом реактивном потоке стремительных особей, постоянно виляющих среди неодушевлённых тел, не было времени на банальную учтивость.

Он выдавал более двухсот, стремительно несясь в город, где его ждала сегодня куча дел. Он так привык, таков его стиль, решать по быстрому вопросы, которые прояснились окончательно, да и период в его жизни, он чувствовал, наступает переломный. Кто медлит, тот теряет. Поэтому сама природа его быстрой езды заключалась в тех жизненных вызовах, которые поставили перед ним сложившиеся обстоятельства. Здесь не было случайностей, вернее, определённую долю невезения он признавал, однако глубоко верил, что, безусловно, каждый сам творец своей судьбы и уж по крайней мере способен отобрать для себя те моменты, которые могут повлиять на него с лучшей стороны. А дальше надо не стоять на месте, и эти моменты жизнь будет выкидывать вам в постоянно возрастающем темпе. Чем увереннее движение, тем больше поводов для изменений. Пока не кончатся силы – по-другому живут только кретины и неудачники.

По поводу кретинизма он хотел было уйти в долгие размышления, но вовремя вернулся к действительности, почти физически ощутив необходимость связаться с академиком.

Снизив скорость, он перестроился в другой ряд и позвонил Захарову:

– Скажите, после вчерашнего случая в вашем доме вы не звонили на эту тему известному нам обоим журналисту?

– Нет. А почему вы об этом спрашиваете?

– Мне показалось, что вы обязательно захотите с ним пообщаться… Не делайте этого. Он много выдумывает и может вас ненароком подставить. Я не уверен, что у вас есть с ним общие интересы.

Захаров хотел было что-то сказать, но так, похоже, и не решился.

– Хорошо. – Он невольно понизил голос. – Я учту ваши пожелания.

Академик, который в этот момент как раз раздумывал, стоит ли звать к себе Виталия, не удивился предостережению Глеба Борисовича. Он полагался на информированность сильной фигуры в спецслужбах больше, чем на возможности какого-то журналиста, и со звонком полковника у него появился повод надеяться, что тот всё-таки объяснит, что вокруг происходит, или по крайней мере подскажет, как по возможности оградить свою семью от столкновений с реальной угрозой. С журналистом не следовало общаться потому, что тот был в курсе проблем и мог реально узнать что-то лишнее. В этом плане полковник явно поместил указанный персонаж в группу риска, практически выдав резюме открытым текстом. Однако странным выглядело не то, с какой лёгкостью он готов был жертвовать людьми. Понять можно что угодно, если человек объясняет свои поступки. Когда же он выше объяснений, остаётся полагать, что либо он сам отчаянно далёк от вас, либо вы непременно кажетесь ему таковым.

«Он наверняка ведёт двойную игру, – думал Захаров. – Зачем ему меня предупреждать, если, собственно, о деятельности полковника я знаю даже больше, чем этот журналист? Тут что-то не сходится. Выглядит так, что ему крайне невыгодно, чтобы мы обменялись имеющимися у нас данными».

Но в таком случае своим заявлением полковник не предостерегает его, Захарова, а, наоборот, подстёгивает к встрече с журналистом. Значит, ему это нужно. Он реально даёт понять о наличии сведений, носителем которых не следует становиться ни при каких обстоятельствах, и в то же время говорит о том, что с данной минуты академик в огромной степени уже сам ответственен за свою судьбу и судьбу своих близких.

И Захаров его почти разгадал. Необходимость разобраться со своими людьми в угоду главным работодателям, на которых полковник делал ставку, заставила Глеба Борисовича действовать более активно. Ему не простят ошибок, каким бы незаменимым он ни казался. Он хорошо знал, как легко найти преданного и послушного исполнителя на его место, потому что его собственные подчинённые были точно такими же. Весь мир состоит из таких людей, просто часть из них о своих действительных слабостях не подозревает.

Следовало окончательно убедиться в «чистоте» Виталия. В том, что он ничего не разузнал и даже невольно не смог бы передать что-либо важное третьим лицам.

Полковник действительно решил его использовать по собственной инициативе, пытаясь определить с его помощью возможные формы утечки информации. Канетелин, конечно, задал всем задачу. Неожиданный научный прорыв, осуществлённый его дальним родственником, грозил превратиться в сенсацию, притягивающую к себе внимание болтунов со всего света. Тем более когда к ней были причастны такие своенравные и непоследовательные личности, как члены канетелинской научной группы. Сигналы об их ненадёжности поступали давно, но когда стало ясно, что в коллективе назрела конфликтная ситуация, радикальных мер было не избежать. После чего оставался только один, самый главный источник разбазаривания научного прорыва, а именно, сам руководитель лаборатории, по всей видимости, успевший где-то отложить яйца прогресса и грезивший мечтой по-своему поучаствовать в освоении новых горизонтов науки. Именно из-за его социальной уязвимости, из-за его болезненного неприятия других точек зрения и нравов к нему и был направлен Виталий, который славился дотошным копанием и умением выудить у клиентов самое главное.

Однако с ходу определить, в чём тайна Канетелина, не удалось. Гениальный физик был далеко не так прост, как представляют себе гениев другие простаки. Он сумел сыграть такую роль, которая неподвластна и сотне общепризнанных мастеров сцены. Во всяком случае все старания академика Захарова оказались напрасными, и у полковника даже сложилось впечатление, что Канетелин того в чём-то обдурил. Вместо прояснения того, как управлять процессом, ситуация серьёзным образом запуталась. Образовались три независимые связи фигурантов: Захаров – Канетелин, Канетелин – Виталий и Виталий – Захаров, которые предстояло контролировать постоянно, по разным векторам развития, поскольку каждый из действующих лиц имел свои особенности и преследовал отличные от других цели. Захаров в последние дни довольно много времени проводил за компьютером, думая, что о его секретной комнате никто не знает, но он лишь наблюдал за пациентами, а о его контактах с Канетелиным полковник и так знал достаточно много. Сам Канетелин ни во сне ни наяву ни разу не упомянул о хранившейся у него в голове ценной информации, выдав сотрудникам спецорганов лишь то, что было уже известно. Виталий же в лице своих оппонентов действительно столкнулся с двумя столпами независимости и самодостаточности. По большому счёту ему было не по силам их расколоть, если он не собирался прибегнуть к запугиванию и шантажу, в чём, похоже, вряд ли преуспел бы в данном случае. Возможно, наметившееся между ним и Канетелиным противостояние и привело бы к нужному результату, физик в конце концов доверил бы Виталию, или передал бы через него, сделанные им научные выводы, но ждать уже времени не было.

Похоронить открытие вместе с его носителем, с идеей, которая через некоторое время придёт в голову другому – это было не решение. Глеб Борисович ему противился всем своим нутром. Идею нужно было добывать и как можно скорее, поскольку нынче приоритет важнее всего. Кто опоздал, тот бит без правил. Сначала распределяются роли, а потом уже устанавливаются законы – так всегда, во всём мире, да и во всей вселенной тоже.

Итак, предстояло тем или иным способом поговорить с Виталием начистоту, и такой разговор совсем необязательно должен быть инициирован им, Глебом Борисовичем. Эта идея пришла ему в голову сразу же, как только от него потребовали разобраться со своими клиентами-попутчиками, чтобы двигаться потом дальше не останавливаясь. Захаров непременно ещё будет нужен. Такого уровня специалиста днём с огнём не сыщешь, его он будет защищать. С Виталием же, не сыгравшем, в общем-то, никакой роли, вопрос стоял иначе. Если бы он мешал явно, то его можно было безболезненно вывести из-под удара, отправив жить куда-нибудь подальше, дав кучу денег и запретив высовываться в мировые информационные пространства на долгие месяцы вперёд. Так он снял бы с себя ответственность за его судьбу и оставил бы спокойной по данному поводу какую-никакую свою совесть. Однако что-то подсказывало ему, что журналист ещё способен торговаться, что он не отдаст себя просто так и ещё выставит собственную цену, чтобы ахнули при этом все желающие. Полковник привык относиться к людям с пренебрежением, но в лице своего давнего знакомого обрёл недвусмысленное напоминание о себе самом в молодые годы и невольно проникся к Виталию симпатией.

В общем-то, и Захаров был не совсем в курсе дела. Они оба были посвящены в незначительный и разомкнутый круг вопросов. Собственно, того требовали и таковыми и являлись на самом деле общие правила работы, которыми он никогда не пренебрегал. Иначе он вряд ли смог бы построить столь успешную в своей области карьеру, о ступени которой спотыкалось не мало ещё более достойных, чем он, людей. Таким образом, расчёт его основывался на том, что, заглотив наживку, два разнополюсных субъекта, обладающих одинаковыми вводными, неминуемо сойдутся, стремясь восполнить пробелы своей информированности, и в таком случае просто вынуждены будут предельно откровенно рассказать друг другу о том, что знают. Откровенность Захарова при этом его мало беспокоила, там всё более-менее было ясно. Но вот лишние знания Виталия слегка напрягали. В каком направлении он способен двигаться, не мог предугадать даже полковник, относящийся к намерениям своих сообщников крайне щепетильно и постоянно изучающий подноготную тех людей, с которыми имел дело.

По совокупности потенциалов Виталий был не сложен, вряд ли он хотел многого от жизни. Но и не являлся романтиком, удовлетворяющим себя одной перспективой видения прекрасного. Ему не чужд был тонкий расчёт, характеризующий его как аналитика-аккуратиста, и в среде малоперспективных ходов он вполне способен был отыскать незаметную лазейку, обеспечивающую ему по выходу из трудностей явное преимущество. Такие способности были сродни таланту, который, впрочем, не многие бы распознали и тем более оценили по достоинству. Глеб Борисович оценил. Он потому и согласился с ним работать когда-то, что почувствовал, как ловко втирается этот парень в доверие, почувствовал тогда, когда уже невольно выведал для него то, что тот хотел.

Собственно, в любом коридоре полезно иметь своего прохиндея, главное только не поменяться с ним ненароком ролями. Виталий оказался ему полезным не один раз. Полковник не прогадал, выделив его в среде своих знакомых, а позже уже стал относиться к нему как к единомышленнику, имеющему вполне похожие и даже одинаковые с ним внутренние побуждения. Однако, в то время как полковник, наверное, перевалил уже пик своего развития, Виталий в силу своего возраста ещё развивался, причём шёл вперёд семимильными шагами. Опыт самого Глеба Борисовича он, пожалуй, перекрыл. Хотя опыт опыту рознь, их сложно сравнивать, а в разных сферах они вообще несопоставимы. Но в плане разборчивости в людях, житейской смекалки, способности выдерживать давление, давая результат, он был силён не менее, чем представитель спецорганов, постоянно доказывая это, когда отрабатывал очередную тему в своей деятельности. Начальный посыл для сбора материала довольно часто исходил от Глеба Борисовича, который, бывало, даже удивлялся, когда, предлагая Виталию скупые данные, видел в окончательном анализе раздобытое им самостоятельно весомое подкрепление в виде фактов, цифр, отчётных строк, завуалированных туманом отвлекающей трескотни. Разумеется, все контакты журналиста отрабатывались. И выяснялось порой, что к утечке информации причастны такие милые и приятные с виду люди, с которыми вот только вчера выпивал по кружке пива, что порочность окружения сама собой навязывалась душе как норма общественного уклада жизни. Сам полковник лишь подсовывал журналисту специально подобранные для такого случая сведения с целью отработки, как уже говорилось, слабых мест в деле хранения государственных секретов. В некотором роде это была его работа. И только изредка он сливал ему нечто важное ради живого интереса, чаще чтобы посмотреть, как его тайный помощник намерен вертеться.

И вот теперь требовалось знать точно, каков в данный момент его информационный багаж. Если журналист слишком в теме, то хлопот будет много. Полковник привык быть нечестным, однако отстаивать корпоративные интересы, вступающие в противоречие с жизненным кредо хороших знакомых, ему ещё не приходилось.

**7**

Улица кишела людьми, и они определённо влияли на настроение: то, на что не обращал раньше внимания, со временем обрело форму группового воздействия, заставляющего следить, отвлекаться, умело уворачиваться от встречных. Виталий понял вдруг, что устал от постоянного присутствия в его жизни странных лиц и характеров, неизменно поворачивающихся к нему какой-то неприятной, даже отвратительной своей стороной. Раньше он к толпе относился спокойно, теперь уже начал её ненавидеть.

Ему вдруг захотелось страстно влюбиться, однако и с женщинами он знакомился преимущественно по поводу недоверия к ним. Этого требовали дела, которые занимали практически целиком всё его свободное время. Было несколько увлечений, в разных темпах перетекающих одно в другое, интересные встречи, принёсшие порывы волнительных минут. Но всё это вытеснила его, в общем-то, эгоистичная натура, дающая возможность только анализу, борьбе, риску, и никак не останавливающаяся на каких-то жизненных основах. Да и обзаводиться семьёй, потомством, откровенно говоря, он совсем не спешил. Ему почему-то казалось, что кругозор обременённого семьёй человека резко сокращается, усыхает на корню, и никакие сладости тёплых домашних отношений не компенсируют потери широты взглядов, а он к ней уже сильно привык.

В кои-то веки раз он побывал на вечеринке в шумной компании приятеля, и теперь, слегка захмелевший, возвращался пешком домой. Наверное, правильно было пройтись немного по городским улицам. Будто царившее вокруг оживление давало почувствовать многообразие форм и образов, наполняющих жизнь смыслом. Но эти образы рано или поздно его утомляли, отчего он, собственно, и сбежал сегодня со встречи друзей, дождавшись для приличия удобного момента. Получил ли он от ужина удовольствие? Сложно сказать. Он не считал себя нелюдимым, полагая, что вряд ли и со стороны выглядит таковым. Новое, неизведанное его, конечно, привлекало, хоть таковое найти становилось всё сложнее. С теми людьми, которые ему подходили, он раскрывался, и тогда общение с ними становилось интересным. То есть по отдельности всегда можно было найти, с кем поговорить и даже провести приятно время, но в компании людей он чувствовал себя неуютно. Тогда приходилось либо сливаться с остальными, что ему в принципе претило, либо уходить в себя, что он обычно и выбирал и оттого прослыл среди знакомых сложным человеком. Единственным другом, которому он всецело доверял, был Олег, и больше он ни с кем сойтись поближе так и не смог.

Панорамный свет раскрывал улицу с иной стороны. Выделенные изнутри ниши, подсвеченные пилястры зданий были покрыты дымкой рассеянных тонов, превращая город в сказочную обитель мягких и отзывчивых существ. Они несли вокруг свои радости, приятно копошились, входя и выходя из домиков, кричали, визжали тормозами, что также привносило в праздничную суету оттенки сладкой грусти – единственно точного показателя глубокого душевного успокоения.

Отдельные башни городского пейзажа, устремлённые в серую высь, словно возвеличивались строгим нравом среди мелких забот. Они пронзали небо, как вечные странники, сотворяя мнимые картины вкупе только с облаками. Жители же суетились здесь, внизу, и эти улицы, впитавшие в себя их душевный склад, особую череду приятий-неприятий, расходились в разные стороны под разными углами, приглашая до конца окунуться в атмосферу представлений – их тревожной и скорой, то слишком деловой, то лишённой всяких притязаний, жизни.

В чём-то он находил прелестным такое существование, наблюдая со стороны не занимающую его никак суету. Какая-нибудь весёлость или мрак будто заранее были отделены от него некой прозрачной ширмой. Даже возникая совсем рядом с ним, за соседним столиком в кафе или вплотную в толкучке, будничность не заедала его целиком, а лишь касалась отдельными своими, в разные моменты какими-то особо отличительными составляющими: звуком, видом, глупостью, вызывающим поведением, неприятным запахом в конце концов. В совокупности он их старался не воспринимать и уходил прочь, в общем-то, возвращаясь всегда к тихому, небесному настроению, которое по-своему очень любил. В этом плане запоминать негатив его душа настроена не была. Можно было спокойно пережить и происходящую на его глазах драму, и бесшабашный праздник, в котором его участники почему-то думают, что он касается всех посторонних. И общую беду, которая требовала от него совсем не тех примитивных переживаний, по которым оценивается обычно чёрствость или нечёрствость характеров, а работу ума, представляющего помощь как неотъемлемую функцию сознания, устремлённого к выживанию и самостоятельно, и в большом могучем коллективе. Сам он не считал себя приятным человеком, но во всех других сомневался ещё больше. Поэтому ему не было до них никакого дела. Окружение создавало только фон, каталось на карусели – или развлекая, или вызывая неприятие. В целом оно было милым, но иногда всё же заставляло Виталия почувствовать нечто близкое глубокому устойчивому раздражению.

Первым поводом для возникновения подобных эмоций стала вульгарная молодая дама, очевидно, полагающая, что ей удаётся удивить встречных неким особым своим шармом. В одной руке она держала сигарету, с которой ветер сдувал пепел и разносил по тротуару, в другой – сумочку, болтая ей из стороны в сторону в такт походке. Собственно, он не обратил бы на неё внимание, если бы, проходя мимо, она не задела его своей сумкой по ногам, не придав сему факту никакого значения. Мало ли какие придурки попадаются на пути, это вышло случайно, но она идёт, как хочет.

Виталий вообще терпеть не мог курящих людей, а уж курящих женщин тем более. Эту даму он с ходу возненавидел. Она проследовала мимо, наверное, куда-то спеша, и, глядя на это потустороннее создание, он мысленно пожелал ей ворох неудач. Может, она не в себе, может, ей плевать на других в принципе, но когда пренебрежение непосредственно соприкасается с вашим телом, это уже вызов, побуждающий к ответной реакции. Он за мирное пренебрежение, он за то, чтобы ему не мешали. Совсем немного надо, чтобы сконцентрировать на себе неприязнь остальных, однако люди думают, что чувства других не являются их проблемой, и нередко в этом горько ошибаются.

Дама ушла, возник парень. Какой-то бестолковый увалень остановился в узком проходе между дверей, размышляя о чём-то своём, с недоумением восприняв надвигающегося на него человека.

– Ну и что? – с раздражением в голосе спросил Виталий.

– Что?

– Двигаться-то будем? Или будем ворон считать?

Виталий резко прошёл вперёд, не дожидаясь, когда тот сообразит, что мешает, слегка оттолкнув парня плечом. Тот, наверное, озадачился маленьким конфликтом без причин, однако оставить его со своими ощущениями уже требовала ситуация. Хорошо, что тот ещё не был вооружён: кто знает, на что способен потревоженный инфант, у которого из всех представлений в башке сидит только месть как высшая категория рассудительности. Сознательно перечить таким опасно – реакция следует непредсказуемой. Впрочем, и тогда она не будет исключать затаившуюся на время злобу, которая выльется потом в извращённость нереализованных желаний.

Не успел он забыть бедолагу, как сверху прямо у него перед носом упала скомканная пачка от сигарет. Кто-то швырнул её в окно, и то, что для мусора есть ведро, очевидно, доходило до ума жильца столь же долго, как и тот факт, что внизу ходят люди. Виталий посмотрел наверх, опасаясь ещё какого-нибудь сюрприза на голову.

Ну и жизнь, кругом одни уроды! Он уже кипел негодованием. Бесило непонимание ими своих отвратных и странных поступков, в некоторых случаях просто бестолковость, но по совокупности – жутко раздражающее дикое, необузданное своенравие, открыто выдающее на публику: «Ничего не знаю, отстаньте». Как они умеют отравлять друг другу существование! Что это за способ жизни такой: ни о чём не думать, гадить на ходу, чуть ли не под себя, чтить свой эгоизм в пику мнениям проходимцев, пренебрегая всякими наивными назиданиями о человеческом достоинстве? Конечно, если постараться, то в любом можно найти неприятные для вас стороны. Здесь, понятно, вырисовывается проблема самого наблюдателя. Но ведь есть же какие-то нейтральные нормы поведения, порождающие отрицательные эмоции ближних в самой малой, совсем незначительной степени. Наверное, в том и заключается суть мирного сосуществования: как можно меньше беспокоить своими дурными манерами других, даже если на их мысли вам глубоко наплевать.

Нет, этого здесь никогда не будет. Представляя себе свору ненормальных, он понимал, что простым внушением в данном случае никак не обойтись. Не обойтись и законами, поскольку их соблюдение никто не контролирует. Они бесполезны, как бесполезен бульдозер при уборке помещения. Нужен общественный договор, однако по своей природе эти люди не способны договариваться. Они тяготятся правилами и будут продолжать плеваться на панель, пачкать без разбору, потому что и так есть возможность прожить долгую, насыщенную какими-то плясами, какими-то вычурными событиями жизнь.

Он шёл по освещённым мостовым, невольно сопоставляя встречных пешеходов со своими мыслями. Уже не такими милыми представлялись мелькающие лица, и он оценивал их с обратной стороны, основываясь на рефлексах возбуждения, поглощённый лишь собственным пристрастным взглядом. Найти что-либо положительное в облике первостатейных кретинов представлялось делом почти безнадёжным.

Потянуло свежестью, лёгкий ветерок напомнил о приятном. Стоило бы сменить декорации, и теперь он просто боялся в очередной раз наткнуться на несуразность, грязь или какого-нибудь дегенерата, стряхивающего пепел вам на обувь.

Впереди обозначился бар. Виталий зашёл туда: пора было добавить и успокоиться.

Его обворожила мягкая лиричная музыка, какую в подобных заведениях услышишь нечасто. Бармен улыбчиво продефилировал за стойкой, загадочно приняв заказ и отливая в стаканчик нужное количество водки. Сыра «Пармезан» не оказалось, но он тут же предложил сёмгу, копчёности или сухари с икрой на выбор. Виталий попросил всё сразу. Попутно добавив к заказу бокал пива, он уселся за дальний столик, примкнув ухом к душевному разговору, происходящему рядом между двумя интеллигентного вида людьми.

– Если бы не эта падла, – заявил, видимо, более подвыпивший мужчина, – я бы уже давно двигался своим курсом. А пока вынужден только обслуживать чужие интересы.

Виталий сидел к ним спиной, заняв такую позицию, чтобы не привлекать к себе внимание.

– Такова «се ля ви», ничего не попишешь, – ответил его собеседник. – Если твои интересы мельче, приходится обслуживать чужие. Ты с ним конфликтуешь?

– Нисколько.

– Боишься?

– Не в этом дело… Мне с ним нечего делить, и зацепиться-то в общем не за что.

– За что же ты его так не любишь?

– Не знаю. – Послышалось наливание по рюмкам напитка. – Трудно объяснить… Я там никто, я трачу своё время впустую, а он усугубляет мою ненависть. Нелюбовь к себе, к жизни и гадкой обстановке. Но у меня не срыв, не простой каприз. Я бы мог пересидеть какое-то время на месте, подготовив себя к новым свершениям…

– Усугубив свою лень.

– Неправда. Ты же ничего не знаешь.

– По-моему, у всех всегда одно и то же.

– Ты мне не веришь?

– Извини, нет.

Настаивающий на разочаровании интеллигент издал какой-то непонятный звук, похожий на стон измученного тяжёлым недугом больного.

– Ладно, не обижайся, – успокоили его. – Всё будет хорошо.

На несколько секунд стало тревожно тихо. Потом оба зашевелились.

– Ну что ж. Давай тогда выпьем за тебя. За твой говно-характер.

Они добродушно рассмеялись, и далее всё пошло по накатанной колее.

Ненадолго он от них отвлёкся, а потом они ушли. Тихая музыка вскоре сменилась оживлением. Вечер продолжился в компании личностей с виду мало чем примечательных, но вносящих в атмосферу заведения свой особый колорит.

Бар посетили троица по интересам, быстро выбравшая свою норму, группа каких-то рокеров, молодая парочка, глубокий интеллектуал, погрузившийся в углу в ноутбук, но не забывающий за просмотром материалов периодически отхлёбывать из бокала вино. Были ещё стильные курящие пижоны, нашедшие очередное место для посиделок, и две женщины уже не бальзаковского возраста, отдыхающие, вероятно, от мужей, которых накопившиеся новости, да и некоторые деликатные подробности от знакомых вряд ли смогли бы заинтересовать.

Странно, но вся эта разношёрстная публика занимала его больше, чем рассказы и смачные истории сослуживцев. Наверное, потому, что к идиотской болтовне в офисе он так и не привык, а то, что казалось ему мелким, не воспринимал на дух. Его мало привлекало пустословие. Постоянно видеться с кем-то на работе и провести потом время в компании тех же обалдуев? Боже упаси. Это хуже пытки. Да простят его коллеги по труду, но он создан не для того, чтобы всю жизнь смотреть в одни и те же лица и слушать чьё-то забавное чириканье. Если бы его спросили вдруг, уважает ли он кого-нибудь из них по-настоящему, ему пришлось бы применить недюжие способности, чтобы убедительно соврать.

А здесь он мог просто, беззаботно фантазировать. Молодые поцеловались, математик допил вино. «Если закажет себе ещё, останусь посмотреть», – загадал Виталий. Математику принесли десерт, но Виталий всё равно остался. Он с живостью дорисовывал недостающий антураж, так что блёклые эпизоды повседневности превращались в его голове в насыщенные настроением полотна: люди вздыхали и улыбались уже не сами по себе, а под воздействием его магических чар. И не важно было, что они говорили друг другу, важно было их присутствие в данный момент в данном месте, загадочное освоение куска пространства и времени, непостижимыми нитями связанных с его насыщенным вибрациями воображением.

Математик затосковал, поскольку вызванная им по скайпу подружка не приходила. Он откинулся на спинку кресла и уже не знал, что делать, пару раз даже взглянув тоскливо в сторону Виталия, но Виталий это явно обнаружил, и тот перестал им интересоваться.

Две дамочки не-Бальзак уже перемывали кости, наверное, десятому знакомому, знакомому обеим в разной степени тяжести, отчего и разговор между ними происходил довольно захватывающий. Одна искурилась при этом, вторая ещё не начинала. Они выпили чего-то, но не успели закусить. А как же можно? Ведь негодник выступил соблазнительной натурой и обманул! Соблазнил – и бросил! И ладно если бы он был экзальтированным юношей, но ведь все они уже далеко не молодые люди, и такая странность со стороны гламурного самца непостижима ни глазами, ни ушами, ни, чего уж там говорить, душой.

Пижон из компании напротив, будто им в ответ, пускал кольца из дыма. Покуривая, он, как и Виталий, разглядывал всех по очереди, успевая ещё поддерживать разговор за столиком и даже обмениваться отдельными потаёнными репликами со своей подругой, всё время держащей его палец, будто он мог ненароком встать и упорхнуть в окошко. А ржание среди рокеров изображало на данный момент, в пику всем, крайнюю стадию весёлости, нацеленной и друг на друга, и на всех посетителей вместе. Очевидно, от одного их вида люди должны были получить внушительный заряд бодрости, заменявший впечатления от телевизионной передачи «А ну-ка посмеёмся», идущей ежедневно на центральном канале в прайм-тайм. Хоть типажи были и новые, но вполне узнаваемые, привлекающие к себе внимание всеми элементами своих экстравагантных натур – артисты отдыхают. В ход шли и вытаращенные глаза, и распалённые лошадиные глотки, и метущиеся сплетённые в косы патлы, и активная жестикуляция – что-то среднее между яркими сценическими пассами и угрозой разорвать противника на части. А уж речь-то, реченька такая (не матерная, но до безумия глупая), что воспроизводить её здесь, пожалуй, не следует, чтобы пожалеть того читателя, который не умеет отсекать от свежих баек типичный холуйский трёп. И вот этот дикий табун троглодитов, которых будто заперли в стойле, выдав месячную норму «конской радости» и приказав им ржать до отупения – потом не будет возможности, – ничтоже сумняшеся исполнял наказ неизвестного, забивая своими звуками и музыку, и работающий телевизор, и ненароком возникшее у милой парочки признание в любви от самого порога заведения до, очевидно, часа его закрытия.

Они ему тоже надоели, причём довольно быстро. Виталий вздохнул удручённо, поняв, что хорошему отдыху пришёл конец, и мирно ретировался. На своих местах остались молодые, умилительно хлопающие глазками, что она, что он, которым, наверное, было всё нипочём. И дамы, взявшие наконец вилки с ножами, но, не в состоянии остановиться, продолжавшие обсуждать тему уже с инструментами в руках. Дерзкий математик, упёршийся в экран с таким видом, словно вместо вина выпил яд. Ошалевший от безделья бармен, упражнявший силу воли за изучением меню. И тихая девочка, до сих пор ощущавшая в руке палец друга, вопрошавшая в пустоту харчевни с нетерпением: поймёт ли пижон её счастье или опять оставит мелкий трепет без внимания?

Сколько несыгранных драм можно было найти в обычном городском баре на окраине. Он удивлялся, как полна жизнь и как наивны люди в представлениях об интриге. Им нужны лишь взрывы: жертвы, мифы, покаяния, – а тягостная лирика совсем не вдохновляет, поскольку в ней слишком мало бальзама для мелкой потребительской души.

Он намеренно оглянулся уходя, чтобы составить впечатление о парне: рука, державшая его палец, уже усохла. Наверное, он думал, что та будет пристёгнута к нему вечно.

Снаружи оказалось спокойнее, хотя людей шныряло туда-сюда значительно больше. Но и пространства было немерено. Глядя вслед прохожим, он представлял, что в точности угадывает, куда они идут, что думают, как намереваются в той или иной ситуации действовать.

Уже в который раз он задавался вопросом: что ему нужно? Дитя цивилизации, выросшее в городе и мечтающее об уединении. Странно, но он не мог обходиться без дикой сутолоки вокруг, без шума и неприятного воздействия среды, в которой вырос. Она будто питала его, и, набравшись отрицательных эмоций, он с ещё большим упоением погружался потом в камерную обстановку своего жилища, блаженствуя в тёплости и мягкости домашнего уюта, свысока взирая на убогую возню вокруг, предпочитая ей лёгонькую собственную. Неимоверное очарование охватывало его при виде нежности со стороны. Он был открыт для ярких эмоций, для переживаний за других. Но во сто крат сильнее предпочитал им душевный покой, глухую безмятежность, допускающую только воспоминания о приятных эпизодах жизни, разумеется, имевших место в череде самых разнообразных событий. Он часто погружался в раздумья, рассматривая прошлое как кино. Конечно, подправлял в нём кое-что, удовлетворяясь мыслью, что в действительности повторить так невозможно. И в общем-то, та интересная, реальная повседневность, которой он отнюдь не был лишён, не являясь на самом деле мечтателем-отшельником, представляла для него отдельную стихию, функционально необходимую, важную, но нисколько в нём не доминирующую. Он чувствовал, что при случае действительно мог всё бросить и кардинально изменить свой образ жизни.

Экскурс в отдалённые уголки сознания привёл его на пешеходный переулок, выложенный брусчаткой и имеющий по средней линии симпатичные сидячие места. Наступало время влюблённых. Глядя на яркие витрины напротив, можно было разговаривать бесконечно долго, как возле горящего камина. Или просто проводить досуг в кругу друзей, что и делала вечерняя молодёжь, оккупировавшая все скамейки на улице. Мирно кучкуясь возле диванных мест, приятели и приятельницы обсуждали собственную жизнь, иногда небрежно посматривая в сторону прохожих. Наверное, и у них были какие-то заботы, но всё равно прекрасная пора желаний, чудачеств, необоснованных надежд зримо возникла у него перед глазами, напомнив не такое уж отдалённое его собственное прошлое. Всё то же самое. И такие же посиделки по вечерам, хулиганистые отморозки из соседней школы, повседневные хи-хи, первая тоска, первые разочарования…

Почему ему вдруг стало грустно? Не было с кем по душам поговорить? Но он вообще не знал, о чём говорить в такие минуты. Как противодействовать дурному настроению, к какому богу обращаться, чтобы усмирить свой гордый нрав. Если бы знать, чтó настолько сильно сближает людей, что позволяет им навсегда оставаться самими собой, можно было бы удариться в настоящие поиски. А так сиюминутные радости не компенсируют постоянного недовольства, борьбы индивидуальностей, и всякое участие в вас – скорее напускное. Пожалуй, ощущать в такие минуты чьё-либо присутствие, это только в тягость.

Мимо прошёл Дима Захаров. Они не были знакомы, поэтому он не обратил на него внимание.

Через пару кварталов свет стал менее ярким, праздник сменился будничностью. Потянуло волшебной музыкой окраин – как он их любил! – и если бы не странный эпизод, заставивший его прийти в себя, этот вечер, пожалуй, остался бы в его истории как очередной сон, ласкающий душу волшебной отрадой забытья.

Малолюдный переулок не отличался ничем необычным. Простые ветшающие дома, краска с которых слезала через год после обновления. Лёгкие запахи сырости вперемежку с прелью стоячего воздуха, которые потчевали нюх при прохождении тёмных подворотен. Экстравагантные предчувствия случайности, доходящие до разума по ходу углубления в диковатые пустующие кварталы. И благородный приступ старины, пропитавший здесь каждую ступеньку, каждую балясину ограждений, тронувший каждый булыжник мостовой, который умилял его всякий раз, когда он, отскочив от коллективных праздников, решал вдохнуть вечности этих мрачных уголков вселенной. Он считал себя здесь почти своим. Его не испугали бы ни стоны призраков, ни прочие ночные ужасы, потому и замеченную странность он сразу приписал к интересным природным явлениям, соображая только, как получше распознать его истинную суть.

Внезапно впереди замигал яркий огонёк, причину появления которого он никак не мог определить, поскольку тот располагался на фоне голой стены и не подходил по виду ни к каким светящимся предметам.

Сначала он подумал, что это какая-нибудь лампочка, прикреплённая на фасаде дома, загорающаяся и гаснущая сама по себе, по подобию испорченных уличных светильников. Однако по размерам она была мелковата, да и никакого устройства рядом, похожего на фонарь, не наблюдалось. Он уже подошёл на достаточное расстояние, чтобы заметить: свет появлялся и исчезал абсолютно на пустом месте. Одинокий прохожий проследовал совсем рядом от огонька, удивлённо обернувшись и скрывшись потом в подъезде без задержки. Это придало Виталию уверенности. Он направился прямо к тому месту, чтобы удовлетворить любопытство и выяснить причину непонятного свечения. Но когда до огонька оставалось буквально три-четыре метра, тот закачался вдруг и полетел в сторону от Виталия. Видно было, что это определённо какой-то светящийся объект в форме шарика.

Виталий остановился. Это было более чем необычно. Странный предмет зажигался и гас теперь чаще. «Может, кто-то со мной играет?» – подумал Виталий. Но огонёк вдруг улетел за угол в подворотню и углубился в пространство, словно скрываясь от преследования случайных прохожих. Слегка ошеломлённый, Виталий последовал за ним. Сюда уже направлять луч было совершенно неоткуда. Нет, это что-то другое, необъяснимое и редкое. Он достал мобильник и включил режим видеосъёмки, машинально стараясь подойти к объекту как можно ближе. Шарик, как живой, «пятился» назад. Затем залетел в щель между мусорными бачками. От него явно шло сияние, хоть и слабое, но теперь совершенно отчётливо видное из-за освещения в узкости тесного пространства. Виталий с неимоверной осторожностью приблизился к щели, продолжая снимать, и именно в тот момент, когда осталось только заглянуть туда, сияние исчезло. Он осветил телефоном пространство между бачками: там было пусто. Можно было представить, что непонятный объект «выключился» и затаился в какой-нибудь шхере, но это было уже слишком.

Виталий вышел в переулок, только теперь испытав страх от увиденного. Зачем его понесло преследовать неизвестное? Мало в этом городе тайн, жутких катастроф, уносящих жизни с повторяющейся лёгкостью, будто в один момент сложились воедино все безумства человечества?

Он, конечно, понимал, что был не в состоянии противостоять любопытству. Что-то осталось в нём от юношеской пытливости ума, заставляющей подолгу гадать, объясняя необычные явления вокруг как вполне обыденные. Нет-нет да и встречалось раньше нечто необычное, поражая воображение, и тогда он с увлечением делился фактами с друзьями и близкими.

Он вспомнил, как однажды в деревне увидел вечером мерцающую звезду. Все остальные в небе светились ярко и непрерывно, а эта гасла и загоралась одна, практически с равными промежутками времени, никак не давая ему покоя своим периодическим сиянием. Погода была тихой, ни ветринки. Он даже измучился весь, уставившись в небо, недоумевая про себя, что же это за НЛО такое наблюдает, никак не в состоянии понять причин происходящего. И только чуть позже, возвращаясь домой, сообразил наконец, почему звезда мерцала. Оказывается, её периодически закрывала проплывающая высоко в небе и невидимая пелена облаков: закроет – откроет, закроет – откроет, – и так получилось, что вполне равномерно в течение приличного по длительности промежутка времени. У него словно отлегло от сердца, потому что необычные явления, ставящие его в тупик, он в первую очередь относил к своей бестолковости. Люди в большинстве своём глупы, что следовало признать, и он не хотел быть таковым, равняясь не на них, а на своих вымышленных кумиров из книг и фильмов.

В отдалённых районах он чувствовал себя как дома. Побольше бы случайностей, побольше схожих с лабиринтом закоулков. Потише бы фон, чтобы были слышны собственные шаги и шарканье о панель своей обуви. Он любил тут бродить и открывать неожиданное в самых простых и неприметных с первого взгляда вещах.

Он брёл без направлений, никого не видел, да и не встречал тоже, мысли возвращались постепенно к настоящему: к академикам, физикам, спецслужбам, бандитам и любви. Случай в переулке вновь всколыхнул в нём неприятные предчувствия, заставив думать о связанности последних событий.

Что же такое происходит? Ведь что-то происходит, это очевидно, это понятно любому идиоту. Держат ли они ситуацию под контролем? И если держат, что тогда означает нагнетание такого масштабного со времён войны страха?

Странное дело, академик отменил сегодня встречу, сославшись на занятость, хотя до этого сам предлагал поговорить о событиях вокруг Канетелина. Захаров зависим от кого-то или чего-то, это точно. Но раз начинает дёргаться, значит и у него не всё в порядке. По-настоящему прояснить ситуацию может только Глеб Борисович, однако с таким же успехом можно заговорить с каменной глыбой у дороги – та расскажет вам примерно столько же.

Ком событий нарастал, а объяснений никаких не было. Хотя многие вокруг не испытывали беспокойств, и Виталий им по-своему завидовал. В утробе душного города он по нескольку раз в день встречался с шумной кичливой толпой, живущей сплошными развлечениями.

**8**

В больнице было тихо и пустынно, как в дорогом отеле. Непохоже было, чтобы здесь кого-то лечили. Впрочем, то, что всевозможные атрибуты клиники не попадались на глаза, наверное, говорило о высоком качестве обслуживания. «Тут, наверное, такие цены, что легче умереть, чем поправить здоровье», – подумал Димка.

Он проследовал кривыми коридорами и вошёл в палату матери. Она, сидя в кровати, смотрела телевизор. Обрадовавшись приходу сына, мягко улыбнулась, разглядывая его, словно они не виделись сто лет.

– Здравствуй, мам. Ну как ты?

– Всё хорошо. Наверное, в пятницу уже выпишусь.

– Ты нам нужна. – Он присел рядом и положил ладонь на её руку. – Без тебя сложно.

На столике в стороне стояли медицинские бутылочки для капельниц.

Он бросил на них мимолётный взгляд:

– Это всё тебе?

– Да. Надо пройти курс до конца, чтобы избежать рецидивов.

Они поговорили немного о будничных мелочах, и потом она не утерпела:

– Как у тебя с отцом?

– Нормально, не переживай. Мы теперь дружим. Он помогал мне со статьёй, вчера мы долго занимались вместе.

В выражении её глаз мелькнуло недоверие. Более, чем когда-либо, сейчас её могли обманывать. Но она всё же надеялась на сына, не столько понимая его скрытность в такой момент, сколько действительно полагая, что трудные времена позади.

– Почему он не пришёл с тобой?

– Он занят.

– Он дома?

– Нет.

Димка почувствовал, что нужно сказать теперь главное.

– Извини, последнее время я вёл себя по-дурацки.

– Ошибки молодости, понятно, – полушутя бросила она. – Обычно люди осознают их в зрелые годы или уже к старости, когда вспоминают о былом. А ты у меня всегда был склонен много думать. – Она прикоснулась к его волосам, но так получилось, что потрогала ухо. – Весь в отца.

Сравнение с отцом неприятно его кольнуло.

– Только знаешь, – продолжала она, будто уловив его настроение, – как бы ты ни понимал, что поступал и думал неправильно, твои чувства к нам всё равно ведь не изменятся.

– Почему?

– Потому что мы под тебя подстраиваться точно не будем. – Её слова отдавали жёсткостью. – Всё останется, как прежде… Ты уже взрослый человек, у тебя свой характер и своё мнение. Ты уже не сможешь измениться, а мы с отцом тем более.

Он промолчал. Потом, подумав, сказал:

– Да, ты, наверное, права.

– Я думаю, ты будешь теперь ещё более скрытным.

– А ты?

Это был вызов. Он, не раздумывая, готов был броситься в бой, встав и отойдя в сторону, словно полагая, что минуты душевных разговоров закончились.

– Я – нет, – спокойно заявила мать. – Никогда не занималась подобными глупостями.

Димка почувствовал, что снова закипает. Но сейчас он точно знал, что в этом не его вина. Она сама начала не о том.

– Удивительное дело. Я извинился за своё поведение, а ты заявляешь мне, что я виноват теперь буду всегда, как бы ни складывались наши отношения. Ты вообще-то меня любишь?

– Дима, перестань. Не нервничай. Конечно же, я тебя люблю. Иди сюда.

Он подошёл.

– Сядь со мной рядом. – Она похлопала ладонью по кровати, и он нехотя ей уступил.

В ней было что-то неимоверно лёгкое и серьёзное одновременно, поражающее порой гораздо большей мудростью, чем слова учёного старца. Он дивился не раз, как мог забыть напитанные вековыми знаниями наставления матери, но их перебивала та самая простота, можно сказать, даже взбалмошность (хотя это слово применительно к ней он даже про себя старался не употреблять), которая составляла суть её натуры.

– Ты знаешь, я была влюблена в твоего отца до безумия. Так сильно, что смогла убедить его в том, что и он от меня без ума. Мы тогда грезили друг другом, потому что я потакала его слабостям, искренне полагая: так будет лучше и для меня и для него. Я взвалила его судьбу на себя. Это я сотворила наш брак, хотя по большому счёту понимала, что я ему не пара.

– Зачем ты мне это говоришь?...

– Слушай. Если говорю, значит надо… – Она уселась на кровати поудобней и продолжала: – Поначалу он сильно храпел. И на боку, и на спине, и под подушкой, в любом положении, как только закроет глаза, а спал он всегда очень крепко: из пушки не разбудишь. Я не могла с ним спать. Это был какой-то кошмар. Только он заснёт, и моим сладким сновидениям наступал конец. Я ворочалась и толкала его, а ему всё равно: утихнет на минуту, и дальше по новой.

– Я в курсе.

– Ты в курсе, а я мучилась. Что мы только не предпринимали. Я говорю: «Ты же знаешь психологию. Попроси, чтобы тебе внушили, что ты не должен храпеть». Он соглашался, целовал меня, но толку не было никакого. Он сам, видите ли, может внушать, а ему – нет. На следующее утро подходит ко мне: «Ну как спала, хорошо?» – «Хорошо, говорю, потому что ночевала в другой комнате». И так несколько лет. – Она вздохнула, продолжив так же мягко, словно рассказывала сказку: – Это было время прозрения, потому что я не думала, что такая мелочь может повлиять на взаимоотношения двух людей. Мы прекрасно жили днём. Даже тебя, похоже, сделали днём. А ночами я часто недосыпала, нервничала. Потом появился ты: распашонки, соски, гуляния. Ты заставил меня отвлечься, и о большой вселенской любви, о которой я тогда мечтала, пришлось на время забыть.

Она засмотрелась в телевизор. Она всегда отвлекалась, когда не знала, как продолжить, и Димка давно изучил эту её манеру, воспринимая по молодости как слабость, хотя нередко продолжения были сильными, значительно сильнее, чем он ожидал.

– А потом?

– Что потом?

– Что случилось потом? Ты же к чему-то вела.

Она сделала вид, будто он ничего не понял, хотя он и представления не имел, о чём следовало догадаться.

– Потом я ему изменила. И сразу же в этом призналась. Причём изменила с о-очень импозантным мужчиной. Пол его знал.

– Зачем?.. Зачем призналась-то? И он тебя простил?

– Не только простил, но и сразу перестал храпеть. Напрочь. Как будто и не начинал никогда.

Димка непонимающе на неё уставился. Потом засмеялся:

– Ну ты, мам, даёшь.

Эта история, однако, ничуть ему не понравилась.

– Я смотрю, ты многому от него научилась.

– Как и ты. Конечно, когда долго живёшь с человеком, потихоньку начинаешь перенимать что-то от его поведения и даже от способов его мышления. Если только они не противоречат твоему собственному нраву. Иначе – конфликт.

– Ты-то храпеть по ночам не стала?

Она улыбнулась:

– Нет.

– Странно. Неужели на степень привязанности к человеку могут влиять такие пустяки, как ночной храп?

Судя по всему, она давно уже привыкла к некому подобию недоверия с его стороны, поэтому встретила его взгляд дружелюбно:

– Пустяки – если они повторяются один раз, два, ну пять в конце концов. А когда происходят постоянно, это уже проблема. Но никто, кроме человека, от которого она исходит, с ней не справится.

– Ты же с проблемой отца справилась.

– Хорошо, что не нажила при этом другую.

Уставившись в кровать, Димка некоторое время сомневался, стоит ли ей рассказывать о случившемся, предугадывая её беспокойство, но, поддавшись мыслям, которые шли в тему, уже не мог остановиться в полупозиции.

– Ты не переживай, но у нас в доме кое-что произошло.

– Я знаю. Пол мне рассказал вчера. Я испугалась, но он успокоил меня, сказав, что предпринял кое-какие шаги.

– Шаги… – саркастически вырвалось у Димки.

Вот как. Значит она упрекала его в скверности характера, неуважении своих родителей, уже зная, что они с отцом подружились, зная о том стрессе, который они испытали вдвоём, будучи на волосок от смерти. И она настолько трезва в своих оценках, что способна перебороть чувство нежности к нему, даже не спросив, как он пережил явную угрозу. Ну и семейка у них. Все они друг друга стоят, включая и его тоже.

Однако ему вдруг стало больно, оттого что все его переживания останутся ей неизвестными. Он, безусловно, имел право на сочувствие со стороны родной матери.

– Он рассказал тебе, как это противно, когда не знаешь, что предпринять? Я видел его лицо, и мне самому захотелось что-нибудь сделать, потому что в этом положении бессилия ты остаёшься уже со своими недугами навсегда. И понимаешь, как мало ты сделал, как был неправ, когда имелось время, чтобы всё исправить… Когда он обнял меня потом, я подумал, что встретил его после долгой разлуки… Скорее всего, он меня спас, и себя тоже. Он спас нас обоих, предприняв то, что в его положении сделал бы не всякий.

Мать прикоснулась к нему, заставив Димку преодолеть свою юношескую гордость, полную потерянности между сыновними чувствами и негодованием. Её ласка пришлась как нельзя кстати. Он был готов к ней, ему осталось только с благодарностью посмотреть в её глаза.

– Я тебя понимаю. Тяжело вернуть то, что, казалось бы, и не терял, чего как будто бы и не было. Дима, твой отец тяжёлый человек, но он любит тебя, чего бы ты себе ни представлял. Уж я-то знаю, поверь мне.

– Не надо. Не говори об этом.

Сонная тишина клиники проступила со всей своей очевидной отчётливостью.

Она выключила звук телевизора, который уже надоел. Он сидел рядом, умный, странный, неразборчивый, с которым необходимо было держать связь, который ломал себя, пытался сломить, выглядев теперь опустошённым, не успевшим ещё впитать в себя и сотой доли человеческого благоразумия. Ему бы не тревожиться, а он бесится, пытаясь одолеть свою вину на фоне битвы, чтобы ему простили всё сразу и те застенчивости обожания взрослого, которые ещё приемлемы отчасти к сыну, проявились бы к нему снова по всем аспектам – от милых пальчиков, от невнятного детского лепетания до грубой, тревожной стати совершеннолетия.

Он сидел отвернувшись. Блестевшие в свете ламп глаза выдавали в нём горечь одиночества. Она не стала к нему приставать, даже трогать его: как хорошо она его понимала! Она сама имела случай разубедиться однажды в своих восторгах относительно мужа. И в больших надеждах, которые по глупости наслаивала на собственную жизнь как яркий блестящий глянец на содержание. А потом возвращала всё это обратно – с трудом, по крупицам, – и испытывала тогда точно такие же чувства. Она бы с удовольствием расцеловала сына, если бы не его коварный нрав, словно дающий возможность откликнуться, а потом ненавидящий тебя за проявленную слабость. Он по-прежнему останавливал её в проявлениях трепетных чувств. Она знала ещё потайные тропы к его душе, но, как опытная женщина, не спешила пока ими воспользоваться.

Где-то по коридору раздались шаги. Одинокий голос сестры и звук каких-то склянок снаружи будто заставили её встрепенуться. Будто невидимая сила всё время толкала её и теперь уже точно приблизила к сыну.

Она протянула в сторону его лица руку. Мягкого, гладкого лица. Пальцы скользнули по румяной щеке, ощутив теплоту его кожи. Он не отпрянул назад и не препятствовал её движению. Он по-прежнему тупо смотрел в угол комнаты, как будто там крылась какая-то великая тайна их родственной связи. Проведя фалангой по коже, она повернула ладонь тыльной стороной и нежно погладила его, точно вспоминая прелесть давно забытых прикосновений. И весь этот милый комок напряжения враз затрепетал возле её многозначительной ласки, окатив пальцы горячим потоком признательности, который исходил из его сладеньких ноздрей.

Он ничего не сказал в ответ на её действия, оставаясь стоиком. Только посмотрел на неё подозрительно, чем отбил её чувственность, секундную слабость к собственному сыну. Она чуть отвела руку и, казалось, уже готова была прикоснуться к нему губами, но это было только в её воображении. Не в его, это точно. Он нашёл, наверное, повод рассердиться на неё, чего она испугалась. И опять долгая канитель налаживания их отношений приснилась ей наяву, заставив ненавидеть мир с его глупыми невостребованными нормами, невнятной правильностью поведения, в которой счастье могут найти лишь богобоязненные трахнутые идиоты.

В палату вошла сестра, что-то спросив, но не получив ответа, быстро удалилась.

Дима поразил её своим видом. Сейчас он удивил бы взглядом кого угодно. «Что это? – думал он про мать. – Я для неё кто?» Не успел он сделать ей приятное, как его готовы принять на грудь, но не как родное существо, а прижать к себе в полном смысле вожделения. И обласкать в тех странных попытках ублажения именно его мужской плоти, какие уже случались как-то, когда она отчасти придавала своим чувствам слишком широкую открытость. Но, может, он неправильно осознаёт её любовь? Тогда его нахождение рядом с ней не должно вызывать столь странных эмоций, которые он теперь испытывает, заставляя отвергать так необходимую ему материнскую теплоту.

«Если я ей нравлюсь как юноша, то это совсем другое, – проносились в его голове мысли. – Сколько тревог и душевного трепета касались меня, возможно, ради простого обожания тела! Она не могла притворяться, но и воспринимать её чувства как родственные теперь будет крайне сложно. Теперь уже нужны доказательства этого… Или доказательства от противного».

Он взял её руку и приложил к своей груди, которая неестественно в этом случае напряглась. Заволновались соски, изменилось дыхание, сам собой втянулся живот, будто вбирая в себя прелести чужой страсти. Но при этом столь предательски заколотилось сердце, которое могло стучать либо от сильного возбуждения, либо под действием намеренного обмана, что он заранее увидел тщетность своих попыток раскусить её, узнать хоть долю правды, превращающей тупик в небесный раструб созерцания. А смог бы он обожать её как женщину? Подобная нелепость злила его, потому что он знал, что не способен видеть в этом классическом образе любви ничего, кроме матери, того простого доброго существа, которое тянется к нему, как к жизненной радости, и оттого приносит исключительно мягкое, лёгкое, сладкое, волшебное, то, что не участвует в битве за судьбу, а только заживляет.

Она не поддалась на его уловку – видимо, заранее уже определив в его действиях лукавство. Уж его-то она знала досконально, и казалось, все его чёрточки характера, отвечающие за неправду, намеренно светились перед ней красным огоньком, предупреждая о некой намеренной выходке. Её сын всё время мучился, но не от любви к кому бы то ни было, а в бесплодных пока попытках найти себя, определить свою истинную сущность, характер своего окружения, свою главную цель, о которой не многие задумываются, и только потом он готов был любить. Она точно знала ту громадную разницу между мужчиной и женщиной, которая разделяет эти два сословия по принципиальной значимости (как бы тому ни противились феминистически настроенные конструкции). Её отношение к этому мальчику – не к сыну – вполне могло бы обозначить парадокс в каких-то праведных мозгах. Однако по молодости он был, конечно, не настолько тонок, сообразителен и, главное, не настолько чувственен в своих самцовых инстинктах, чтобы с ходу покорить опытную в амурных делах даму. Она, во-первых, отклонила его попытки удивить её плоть такой внезапной открытостью. А во-вторых уже, подвергла критическому остракизму нежную чувственность отпрыска по отношению к матери, совершенно логически подобрав сему факту такое объяснение, которое и не карало бы его, и не уличало его взрослость в излишней, пагубной сентиментальности. Но всё это только про себя…

Она, конечно, зафиксировала биение его сердца в своей ладони, и в этом была ему бесконечно благодарна. Сколько бы ещё таких минут она пережила с огромной радостью! Те тонкие вибрации юношеского тела, о которых он дал ей понять, навсегда вонзились в её память драгоценным слепком осязаемости своего девятнадцатилетнего сына. Однако контекст, в котором он теперь действовал, с которым пытался играть с ней в неравных условиях, настраивал её на волну трезвости, исключавшей в её отклике эгоистичные начала.

Плавно устранившись от его мыслей, она незаметно отняла свою руку от его груди, так что он даже почувствовал, наверное, её сожаление. Милый сердцу ребёнок изучал её глазами, и она ужасно хотела поддаться его смятению, но это было бы в высшей степени неразумно. Увы, и она, как её муж, вынуждена была соблюдать в отношении Димы определённую дистанцию. Только разница была в том, что правильный во всём Полуэкт видел в их жизни, даже в своём сыне, законспирированную реальность, а она самую малость их чувственной природы боялась превратить в завалы сексуальной человеческой трагедии.

– Налей мне воды.

Он налил из пластиковой бутылки свежей воды и протянул ей стакан. Она немного отпила из него, вернув стакан сыну, хотя могла сама поставить его на столик рядом.

Опустившись в постели, она улеглась поудобнее, накрывшись одеялом, будто собралась уснуть. Голова утонула в мягкой подушке; казалось, она испытывала блаженство и от комфортных условий в клинике, и от внимания сидящего рядом Димки, который уже не знал, о чём думать, нервно теребя ноготь на пальце. Он осмотрелся, словно никогда здесь раньше не был, и, пока вертел головой, она всё ловила взглядом его тонкий профиль, сладострастные губы, выразительные глаза, в последний раз сегодня, как она решила, волнуясь от него как от мнимого своего партнёра. И вот их взгляды снова встретились...

То смятение, которое он испытал при этом, Димка запомнил навсегда. «Здесь что-то не то», – стучало в голове. Ему захотелось уйти, и он никак не мог понять, почему всё ещё сидит на её кровати. Будто что-то удерживало его на месте, а он непременно должен был разобраться теперь что именно, не вдаваясь в подробности об очевидном: он посетил заболевшую мать, он испытывал чувство признательности к ней за её заботу и доброту, за её красивые улыбки и вытирание когда-то его детских слёз, он испытывал на себе её влияние, не в пример отцу действующее на уровне самых тонких душевных рецепторов, там где логика и убеждения бессильны. Он с пелёнок впитал в себя её запах, звуки, её принципы, которые у него самого теперь стучались изнутри. И сейчас, однако, повзрослевший, вроде понявший родных как самых естественных своих поклонников, он открыл для себя новую тайну, где его собственную роль ему никто не прописывал. И не собирался прописывать. Они собирались только действовать ему на нервы, что он понял давно, не испытывая только необычной плотской уязвимости по отношению к той, которая когда-то знала его всего как свои пять пальцев. Какие у неё права? Что он значит для неё? Правильно ли будет ей не сопротивляться?

Он наконец встал с кровати, окинув выздоравливающую таким тупым взором, от которого сам ужаснулся внутри. Начитавшись в школьные годы романов, он подбирал похожие ситуации и не мог вспомнить ничего подобного. Идиотизм полнейший. В результате, засунув руки в карманы, он прошёлся до окна и обратно и ещё раз туда-сюда, не зная, что сказать: мать, как назло, молчала, наверное, даже специально. Она закрыла глаза, живя своей жизнью, что заставило его остановиться и уставиться на неё, мёртвую царевну, до момента осветления его лика в собственных очах.

– Однажды я видел отца с его секретаршей. На улице, совсем недалеко от нашего дома… Скорее всего, он вызвался её подвезти, но, как бывает в таких случаях, пригласил ненадолго к себе. Это было днём, ты ездила к бабушке, а я должен был задержаться на семинаре, о чём, конечно же, вас всех проинформировал, но сам, к несчастью, оказался в тот момент у окна в галерее. Они вошли в дом через заднюю дверь и прямиком проследовали в его опочивальню.

Весомость взгляда, который смерил Димку от носков обуви до самой макушки, заставила его слегка возгордиться собой.

– У него нет молодой секретарши, – скорее по инерции усомнилась она.

– У него там полно молодых секретарш.

Почему-то ему захотелось сделать ей больно. Он нутром ощутил, что вытащить на свет данный эпизод самое время.

– Я видел ничтожную малость. Как он лапал, например, на лестнице её груди, те были мягкими и сочными, и это выглядело очевидным даже издали. Но то, что происходило потом в его кабинете, думаю, не стоит твоих угрызений совести о какой-то там одной случайной измене. Твой муж-психолог может совратить не просто лягушку – любую царевну. И время на это у него всегда предостаточно…

– Замолчи. – Она приподнялась в постели, откинув одеяло. – Ты несёшь околесицу. Во всяком случае не тебе судить о поведении родителей, следи лучше за собой.

– Я такой же, как все…

– То, что мне надо знать, я узнаю рано или поздно без тебя! Или не узнаю вовсе, и тогда это будет правильным! И если ты вздумал ранить меня своими говняными домыслами, то глубоко ошибаешься в этом, потому что и во мне, и в твоём отце сидит нечто большее, чем банальный разврат. Наберись сначала опыта со своими шлюхами! Они у тебя есть?

Вот и она о том же.

Он выскочил из палаты как ужаленный. Только услышал вслед: «Дима» – и дальше не помнил ничего, метеором проскакав по лестнице, сбив стоявшую совсем не на проходе урну, умчавшись проулками куда-то совсем не в том направлении. Зубы стучали дробью, а щёки пылали как огненная печь.

Вот и люби их, правильных, попеременно: то одного, то другого. Какие они все жестокие! Они только думают о некой ауре душевности, а сами врут на каждом шагу, и попробуй скажи им об этом – родная мать заклюёт как приблудившегося чужака. В какой-то мере они только и делали, что пытались найти в нём какую-нибудь ущербность – всё время, сколько он себя помнил. Они угнетали его, каждый по-своему окуная мордой в корыто, и это в их понятии называлось воспитанием. Каким бы он ни был, его всё равно надо воспитывать. Теперь довоспитывались уже, что он ненавидит их. Обоих.

И как же тогда позывы сыновней сентиментальности, которые он испытывал в отдельные трогательные минуты? Как с ними быть? Забыть об этом, как, например, о сегодняшнем эпизоде в палате?

Тоже хорош, благодарный отпрыск. Разоткровенничался по случаю, люди этого никогда не понимали. Нет, грустить можно лишь наедине с собой, а уж признаваться в любви и вовсе никогда не стоит, иначе наступит время, когда будешь жалеть о сказанном. Будто ты кого-то предал. А кого предавать, если вся жизнь устроена так, что сошлись-разбежались и забыли об этом? Испытали удовольствие – и начали строить новые планы. Вырастили чадо – и пинком его под зад. Да он, Димка, и сам уйдёт, поскольку ощущать дух прошлых поколений слишком утомительно, а тем более терпеть чужое мнение, когда на всё имеешь собственное. Нет, сентиментальность не годная характеристика. Это может быть только своим, личным, но никак не предметом для обсуждений. Если все поголовно врут, то чуткость и отзывчивость уже не помогут: либо ты пропал, либо чувствуешь себя счастливым идиотом, что равносильно глубокому к тебе равнодушию, ибо счастье общим не бывает.

Димка шёл не останавливаясь, на автомате преодолевая перекрёстки, благо движение по улицам было уже не столь интенсивным. Первое потрясение прошло, теперь он почему-то остро невзлюбил самого себя. Какая маленькая тварь, которая ничего не может сделать! Ни понять близких, ни переустроить мир, ни увидеть интересное вокруг. И с его взрослением ничего ведь не изменится. Не появится у людей новых чувств, не станет краше закат. Всё может быть только хуже. Он где-то в тёмной дыре, планета в виде большой задницы. Ему бы в руки такую бомбу, которой испугалась бы любая живность, тогда бы по крайней мере она очнулась сама и его бы вытолкнула наружу. И как здорово было бы увидеть свет и заметить, что его яркости все радуются! И пришло бы новое рождение Вселенной, и возникло бы из хаоса нечто поэтичное, тонкое и возвышенное, что и составляло бы сущность бытия, формировало теории, заново пробивало бы дорогу к знаниям.

Огромного масштаба фантазии захватили его, отмеряя пространство парсеками. Пока он делал мелкие шаги, оно уносилось вдаль стремительным рывком, хоть и понятие «даль» в нём, собственно, никак не было обозначено. Оно отвоёвывало пустоты своим существованием, а человек, малая песчинка от момента, способная только «разуметь», совсем не встраивался в перспективы её гипотезы. Ему суждено только мерить шагами свою камеру, вперёд-назад или вправо-влево в пределах ощущения собственной выносливости, и обозначать чудом бытия прочую вокруг гадость, наделённую всевозможными аппаратами перемещения да и впрыскивания в атмосферу всеобщей сладостной реальности яд своей жизни.

Он шёл, и все эти бесформенные мысли, что отличают простого миросозерцателя от учёного, наслаивались в его голове сами собой.

**9**

Приходилось осторожничать, Виталий давно уже чувствовал, что происходит что-то неладное. Дома и на работе, он постоянно помнил о присутствии скрытых глаз, что напрягало, поскольку он сомневался, сможет ли в нужный момент от них избавиться.

Виталий раздражённо поглядывал на прохожих, хотя понимал, что никому из них нет до него никакого дела и в толпе не прячутся теперь никакие соглядатаи. Люди просто стесняли его. Какая-то бесформенная масса потусторонних существ, представляющих из себя врагов и завистников, от которых на самом деле нигде не скрыться. Им несть числа, и все их физиономии в свою очередь фиксируются многочисленными камерами, расставленными на улицах и просеивающими через электронные системы миллионы лиц в день, чтобы найти по необходимости одно единственное – его лицо. Найти и проследить его перемещения в пространстве, словно муравья в сообществе, утаивающего под пальто какую-нибудь бяку. Толпа не поможет – не спрячет, не сжалится, она может только раздавить, и поэтому он её ненавидел.

Предстояла архиважная встреча, без неё он не мог обойтись, на неё возлагал основные свои надежды. Однако условием его главного источника, с которым журналист выходил на прямой контакт крайне редко, была его абсолютная анонимность. То, что Виталий не мог упоминать его имя, это само собой. Однако, чтобы обеспечить алиби источника, встречаться с ним приходилось в определённые часы, он искусно камуфлировал своё присутствие, а вскрытие слежки за Виталием воспринималось как безоговорочный и безвозвратный разрыв связей. С условием анонимности источника была скреплена и личная заинтересованность Виталия, отнюдь не безопасного характера. Раскрытие имени информатора автоматически влекло за собой разрушение карьеры и, возможно, жизни журналиста, его просто превратили бы в ничто. Поэтому, прежде чем связываться с главным поставщиком секретов государства, приходилось семь раз подумать о необходимости данного шага, тщательно подготовиться к встрече и только после этого подавать сигнал о контакте. И ещё не факт, что в ответ последует «зелёный свет». В данном случае он ни о чём не мог просить, в их правилах такой возможности не предусматривалось.

Но эта встреча была ему нужна. Виталий понимал, что без выяснения ключевых позиций и мотивов оппонентов ему в нынешней ситуации не разобраться. А если не знать, кто куда движется, кто чем обладает, то его, несомненно, рано или поздно «проигнорируют». Слишком глубоко он влез в расследование того, чего не должен знать. С ним теперь играют, а это неприятный признак: если не заручиться серьёзной поддержкой, его могут просто ликвидировать.

Таким образом он оказался зажатым между двух опасностей, преодолевая одну из которых, неминуемо заходишь в зону действия другой. И стоять на месте нельзя – раздавят в лепёшку, крикнуть не успеешь.

Виталий уже проработал план своего выдвижения, который, как предписывалось, для каждой новой встречи был уникальным. Для этого он воспользовался материалами осведомителя: тот в целях конспирации, оберегая собственное спокойствие, снабжал его методиками скрытных связей. Работа их была взаимовыгодной, что отнюдь не означало, будто с журналистом он предельно откровенен. Хотя его откровенность иногда даже не требовала подтверждений. До сих пор его сведения были куцыми, но их было достаточно, чтобы понять: ради такого стоит иметь дело с одним из самых двуличных персонажей их политического истеблишмента, стоит рисковать своим будущим и карьерой.

С вечера изучив варианты ходов и отступлений, он долго не мог уснуть. Ему казалось, будто учтены не все нюансы, будто его нарочно заманивают в ловушку и сам он, безусловно, представляет для кого-то живой интерес. Мерещились люди, знакомые, какая-то сутолока, возня, система кодов, которую ему вдалбливали на занятиях, так чтобы она беспокоила его даже в припадке возбуждения, а он постоянно двигался, роняя честь и достоинство, поднимал с полу карандаши и говорил невпопад. Его били по лбу, а он раскланивался. Тяжёлый грудной бас давил сверху, не голосом отца, но государственной речью, пробирая насквозь дрожью-вибрацией. Лица вокруг хмурились, чванливо кривились губы, предвкушая его больное падение. И настырная девочка из молодой плеяды карьеристок выходила на трибуну, раскрывала большой журнал, весело слюнявя палец, и тут же с вдохновением зачитывала перечень его недоработок и промахов, на каждом из которых делала такой вид, будто это ещё не всё, то ли ещё будет. Она била его словом, смысл которого понимали, очевидно, все сидящие, очерняла память о его самых усердных минутах обучения. Он сгорал со стыда, взывая к их благосклонности, и они будто жалели его. Но вздёрнутые брови накрывала маска усмешек, сдержанные прыски хихиканий, потом открытого смеха, потом гогота, ржания и даже лая. Собрание веселилось само собой – он присутствовал на спектакле. Он не был личностью, а только ролью. Его доверчивость им нравилась, они ещё больше вживались в свои образы, гогоча уже не от веселья, а для других, и он в центре этой вакханалии смеха обозначился как нельзя кстати.

И вот, пинаемый и презираемый как нечисть, он уходил за кулисы сутулясь, но его уже не воспринимали как живого человека. Он сыграл свою роль до конца и в ней и остался посмертно. Все забыли, какой он был на самом деле – они, похоже, и не знали того вообще. Девочка захлопнула журнал, прочитав заключительный абзац, когда истёрлась о нём уже последняя память. Записей оказалось настолько много, что они забили разум, затуманили сознание, заслонили собой лики, образы, предлагая искусственные, наделяя их массовым воображением, вселяя в них бутафорский дух, заставляя прыгать, и вертеться, и шипеть змеёй над раскалённой чашей сего варева.

Он проснулся в семь часов, не понимая, что произошло. На улице пели птицы, весело сияло солнце. Обрывки сновидений ещё беспокоили его, неизбежно заставляя вспоминать какую-то глупость, поскольку каждый склонен видеть в своих снах определённый смысл. Однако найти в туманном представлении крупицы рационального становилось всё труднее. К ощущениям нового дня подселялся мерзкий осадок недосказанности. Картинки растворялись, содержание, и без того малопонятное, быстро ускользало, как песок сквозь пальцы, и через несколько минут от нагрузивших разум фантасмагорий осталась только тяжесть в голове да неприятное ощущение чего-то упущенного.

Шумы прекрасного летнего утра радовали сердце, он распахнул окно и сладко вдохнул всей грудью. Воздух был насыщен ароматами зелени. Лёгкий ветерок дарил ощущение приподнятости, богатства разнообразий нового дня. Сырая прохладная осень, наверное, может нравиться только сугубо меланхоличным натурам, таким как Канетелин, у которого и радость сопряжена с раздражением. А он вдохновлён светом, теплом, порханием пернатых. Он не такой, он любит движение. Лишь бы ему по дороге не мешали

Что-то возбуждало, что-то играло стрекотанием. Смешанные радости голубого и жёлтого давали изумрудную прелесть листвы, оживляли картину насыщенным цветом пейзажа. Яркие блёстки эмоций, так решительно отражающие сферы подсознательного, активно врывались внутрь помещения. Он дышал полной грудью, неожиданно представив себе летнее взморье. Почему-то именно морские дали, эти волнующие пространственные перспективы, ассоциировались в нём и с глубокой успокоенностью, и с вечным ожиданием прекрасного.

Под музыку душевного подъёма Виталий помылся, но, готовя себе завтрак, стал отвлекаться от действий, что неизменно являлось признаком новых забот. По привычке включив телевизор, он посмотрел утренние новости. Кое-что привлекло его внимание, хотя общая канва сообщений практически полностью повторяла вечернюю. Все эпизоды уже были известны, мусолились только подробности.

Он убрал постель, поковырялся в своих записях, вспоминая по заметкам то, что следовало отработать в ближайшие дни. Затем почистил зубы и оделся, взглянув на часы: пора было выдвигаться.

Важность сегодняшней встречи трудно переоценить, поэтому необходимо было предпринять все меры предосторожности. Если бы за Виталием велась слежка, он должен был гарантированно от неё избавиться, прежде чем войти в контакт с объектом, соответственно не предпринимая никаких действий к сближению в случае малейших подозрений о наблюдении или своей оплошности. С этим человеком Виталий встречался всего четыре раза, однако полученные от него данные, можно сказать, явились для журналиста судьбоносными. И теперь, словно перед решающей схваткой, он испытывал лёгкое волнение, заметно мешающее ему некой скованностью мышц.

Он оставил дома мобильный телефон и свои электронные часы, надев на руку старые механические. Автомобиль также остался в гараже. Сев в пригородный автобус, Виталий направился в центр, восстанавливая в голове косвенные признаки неблагоприятного хода операции. Необходимо быть предельно внимательным, но главное – отточенность деталей и неукоснительное следование инструкциям, в процессе чего не должно возникать никаких заминок. Его отвлекла пышногрудая дамочка, будто специально усевшаяся к нему боком и долго искавшая в сумке проездной билет, но, обратив на неё внимание, он быстро про неё забыл, ловя себя на мысли о пустой подозрительности. Проезжая оживлённые магистрали, автобус постепенно наполнился пассажирами, начиналась обычная городская толкотня, будни встречали его обычной деловой напряжённостью. Не доехав двух остановок до указанного места, проезд до которого был оплачен, он вышел, направившись по безлюдной улице к симпатичному высотному зданию, расположенному в самом её конце.

Это была гостиница, довольно милая и уютная, в которой вчера на его имя был забронирован номер. Отметившись внизу у распорядителя, Виталий поднялся на третий этаж и заперся в своей комнате.

Номер был расположен с солнечной стороны, он сразу же закрыл на окне жалюзи, не вызывая данным действием никаких вопросов, если бы за ним наблюдали. В гардеробном шкафчике висела одежда: она предназначалась ему. Оценив взглядом аккуратно развешенные спортивную куртку, футболку и новые джинсы, он пощупал их, будто пытался уловить несхожесть конспиративной материи с обычной. От них веяло тревогой, которую он всегда испытывал в моменты своих шпионских приключений. Однако серьёзность предстоящего мероприятия, покуда обстановка вокруг постоянно усложнялась, присовокупляла к уже привычной осторожности дополнительную порцию страха, оттого что он незримо теперь перешёл границу мелких расследований и тронул беспокойством когорту настоящих устроителей жизни. Инстинктивно осмотревшись, боясь уловить хоть маленький намёк на подозрительность, он позвонил вниз, заказав себе в номер завтрак, хотя есть не собирался, а спустя минуту отменил заказ. Это был условный сигнал, что всё в порядке и он готов стартовать в заранее оговоренное время. Сигнал передадут непосредственно информатору, чтобы тот в свою очередь начал предпринимать нужные действия для их встречи.

Виталий тщательно помылся в душе. Затем полностью, вплоть до трусов и обуви, переоделся во всё новое. В кармане куртки лежал брелок и ключи от автомобиля, который он заметил во дворе недалеко от гостиницы. Несколько секунд он постоял у двери, собираясь с духом. Теперь предстояло работать быстро и чётко, поскольку любые промедления могли выбить его из графика, что поставило бы под угрозу всю затеваемую комбинацию. Взявшись за ручку, он помедлил ещё несколько секунд и потом решительно открыл дверь номера.

В коридоре никого не было. Захлопнув дверь и сразу же двинувшись направо, он быстро преодолел несколько метров до запасной лестницы, спустился вниз и стремглав направился в сторону замеченного во дворе автомобиля. Серебристый «опель» с номером «У972РО» ждал его на своём месте. На ходу нажав кнопку электронного ключа, он уверенно уселся в автомобиль, как в свой собственный. Направление движения было учтено при его парковке, так что оставалось только нажать педаль газа, чтобы без задержек рвануть с места, помчавшись по утренним улицам, не выезжая на большие проспекты и бесконечно сворачивая в разные стороны. Словно петляющий заяц, он бессистемно мотался по мостовым, так что понять, куда он направляется, было затруднительно. На самом деле он только убивал в поездке лишнее время. Так он ездил несколько минут, постепенно забравшись в центр города. Кое-где ему мешали, тогда он объезжал помеху, возвращаясь на то же место, отчего создавалось впечатление, будто он кружит в неизвестном ему городе, пытаясь что-то найти.

«Надеюсь, ко мне ничего не прилипло, – думал по ходу Виталий, – иначе дело дрянь. Если узнали заранее, хотя бы за полчаса, могли и свежую одежду нашпиговать «жучками». Им только дай, куда воткнуть».

Он остановился на перекрёстке у светофора.

В принципе как ещё можно его «пометить»? Каким-нибудь изотопом. Через пищу, например. Но чтобы уловить излучение, пришлось бы его серьёзно отравить, а это очень грубо. Вряд ли они пошли на такое.

В центре домá стояли плотными вереницами, а улицы соединялись многочисленными проходными дворами. Он заехал в один из таких дворов, углубившись внутрь – на счастье, проезд в данную минуту был свободным. Огромное здание, возвышавшееся над кварталом фигурным монолитом, имело посередине большую арку. Он быстро припарковался в углу двора и нырнул в неё, якобы намереваясь перейти на другую сторону дома, где дворы соединялись с соседней улицей. Однако под аркой находился дополнительный подъезд с «чёрной» лестницей и входом в несколько старых квартир. Чуть задумавшись, вспоминая контрольный код на дверях, он нажал нужные цифры и зашёл внутрь подъезда, бросив взгляд на часы: всё нормально, пока он идёт по графику.

Внутри пахнуло сырой штукатуркой – дом пропитался влагой. До ремонта в этом забытом богом захолустье дойдёт, очевидно, не скоро. Виталий знал этот дом, изучив его по плану, предоставленному ему человеком, на свидание с которым он направлялся. Бывшее здание городского управления имело сложную архитектуру. Угловатое и аляповатое на вид, оно включало в себя несколько длиннющих внутренних галерей, связывающих между собой все лестницы. Позже дом временно переделали под жилой, но проходы разделять не стали. Потом было не до этого, потом появились другие планы, осуществиться которым помешали обстоятельства. Так что уже более ста лет жильцы его находились в условиях огромной коммуны, разделяющей удобства и радости этажами или целыми флигелями, некоторые из которых располагались друг напротив друга.

Спешно проследовав заученным маршрутом, Виталий встретил в конце галереи пожилую женщину и студента, спускавшихся вниз по лестнице. Вполне могло сойти за случайную встречу. Однако, отойдя на несколько шагов, он всё же оглянулся: входная дверь с протяжным гулом уже захлопнулась и никого в поле зрения не оказалось.

Дом имел семь выходов в разных местах и направлениях, пять из которых располагались во внутренних дворах. Виталий не собирался выходить ни через один из них. Несколько раз свернув в лабиринте мрачных переходов, он оказался перед дверью, ведущей в служебные помещения большого ресторана, расположенного в самом дальнем крыле здания, выходящего на проспект. Известным ему способом он открыл эту дверь. Там было светлее и суше. Кругом были расставлены коробки и баки, нашедшие временное место дислокации вдоль стен, но, как всегда, забытые после этого на долгие месяцы. Под ноги попадались куски упаковки, какие-то железяки, будто он находился на складе скобяных изделий. Лёгкое движение в столь ранний для ресторанов час обозначилось только у внутреннего портала, где под разгрузкой стояли три автомобиля. Один при появлении Виталия сразу же отъехал. Он разгрузил мясо, которое убрали в холодильник. Два других фургончика тоже были уже пустыми, раскрытые дверки демонстрировали их порожние внутренности, в то время как водители, очевидно, делали отметки в накладных.

Виталий задержался за углом, стараясь оставаться незамеченным. С того момента, как он остановился, пошёл отсчёт секунд, многократно усиливающих к нему возможное внимание со стороны с резонно возникающим вопросом: что он здесь делает? Этот этап плана должен был оказаться самым скоротечным, и именно под данную временную отметку подгонялись все предыдущие перемещения журналиста. Но по прошествии малого периода времени, показавшегося ему безмерно затянувшимся, он почувствовал дополнительное беспокойство, столь отчаянно обычно возвещающее о крушении надежд. Дурацкие мысли и подозрения лезли в голову. Он два раза оглянулся, фиксируя вокруг безлюдье, и оно только усиливало неприятные предчувствия, поскольку неясно было, встретит ли он нужного ему человека или нет.

Водитель появился неожиданно у него за спиной. Виталий даже не успел толком успокоиться, моментально предъявив ему в качестве условного знака сторублёвую купюру с оттиском нужной печати, и тот молча указал ему на ближайший фургон. Прошмыгнув внутрь кузова, он увидел захлопнувшиеся за ним двери, оказавшись в темноте, после чего автомобиль тотчас же отъехал от приёмного пункта ресторана, а буквально через мгновение, судя по шуму снаружи, влился в поток большой улицы. Вслед за ним двинулся по своему маршруту и третий фургон.

Пробираясь в машину, Виталий перемещался так, чтобы не попасть в единственную камеру наружного наблюдения, установленную возле ворот заднего двора ресторана, поэтому если и можно было предположить, что он улизнул из здания в одном из отъехавших фургонов, то дополнительные проблемы своим недругам он наверняка уже создал. И по плану не собирался останавливаться на достигнутом. Ровно через шесть минут фургон, проезжая под широким мостом, притормозил, водитель стукнул в стенку, и Виталий выскочил наружу – дверка была не заперта, – пересев в остановившееся рядом такси. Потом, умчавшись за несколько кварталов и оказавшись в тени густых насаждений одного из старых городских дворов, он повторил манёвр, быстро пересев в другой соседний автомобиль. Все водители со своими машинами ждали его в условленное время в заранее оговоренных местах. Таким образом, уже через несколько минут после того, как он вошёл в большое здание в центре города, местоположение его не могла знать ни одна живая душа среди заинтересованных лиц в спецорганах, за исключением только одной, принимавшей непосредственное участие в организации этой зашифрованной для всего мира встрече.

Выскочив по ходу в одной из подворотен он подождал некоторое время под аркой, пока автомобиль не уехал на достаточное от него расстояние, и, пройдя во двор, вошёл в подъезд старого дома, доживающего, наверное, последние дни в своём нынешнем состоянии, так явно отражающем в себе дикие упущения нынешних городских властей.

Блёклые фасады никак не характеризовали внутренности строения. Тут всё было гораздо убожестей, примитивней, грязней и вонючей. Какая-то липкость стен бросалась в глаза с первого взгляда, неважно, каким слоем краски они были замазаны поверх основания. Тут было всё слишком вещественным: душное – душным, а мрачное – невыносимым. На каждом квадратном метре присутствовала плебейская метка, которую не удавалось скрыть быстрыми переделками. Прошлое величие парадных превратилось в триумф безликости подъездов. Вокруг царило запустение, пахло мочой и сыростью. И впредь и отныне, казалось, более мрачной прихожей уже вряд ли можно сыскать в самом захолустном городке вселенной.

Похоже, его высокий покровитель отнюдь не брезговал в использовании в своих целях современных натуробъектов. Виталий виделся с ним только в таких вот местах, разумеется, всё время разных. Определённые ресурсы, наверное, уходили на их подготовку, но безопасность в таком деле превыше всего, а экономить на главном этот человек, видимо, не привык. По той информации, которую он предоставлял, было ясно, что для Виталия все нити сходились именно на нём. И даже те реликтовые его словесные пассажи, обдумыванию которых Виталий посвящал некоторую часть своего досуга, свидетельствовали о том, что его «верховный главнокомандующий» не просто знает, о чём говорит, но и не бросает слов на ветер, как это привыкли делать отменные болтуны, подвергающие себя риску находясь на слишком ответственной должности. Он был главным его Макиавелли. Именно он свёл Виталия с Глебом Борисовичем, с которым, однако, как он утверждал, у него не было никаких деловых отношений.

Виталий быстро поднялся на третий этаж, остановившись напротив двери с номером «12». По привычке оглянувшись, он сунул ключ в глубокий и грузный замок, со скрежетом повернув его на пол-оборота, после чего надавил на дверь рукой и вошёл в пустующую, приготовленную для ожидания квартиру. До встречи оставалось ещё двадцать минут.

Вокруг расстилалась пыль уныния. Неприятно было находиться в заброшенном жилье, судя по всему, даже в лучшие времена не отличавшемся какой-либо домашней теплотой и уютом. Трухлявые полы и осыпающаяся со стен штукатурка вместе с тонким слоем выцветших обоев говорили о том, что данное помещение не знало рук отделочника чуть ли не с момента постройки самого дома. Неудивительно, что признаки запустения проявились тут сразу же, как только любое мало-мальски живое существо перестало осенять сие помещение своим дыханием. В один миг омертвела обстановка, улетучился запах и цвет жизни, редкие всполохи чьей-либо радости оскудели до неприличия. Тут и там виднелся сор, обросший дополнительным слоем пыли, превратившись в жуткие наросты безобразий в углах и коридорах. Из мебели не было почти ничего, если не считать средневекового шкафа, не тронутого с места, скорее всего, из-за боязни, что он развалится при переноске, и двух приготовленных навынос и забытых кривых стульев, стоящих рядом посередине одной из комнат. Видимо, бывшие хозяева имевшуюся рухлядь выбросили. Или решили дать ей новую жизнь, захламив ею какое-нибудь другое доставшееся им наудачу жильё.

Пол скрипел неимоверно, точнее сказать даже музыкально, издавая при нажатии на половицы целую гамму звуков от «си бемоль» до минорного трогательного надрыва. В этом чудилось некое изречение, подвластное однако стилю поступи и размерам обуви, как известно, отпечатывающей силу по своему контуру неравномерно. Там, где давление нажатия было ощутимее, отзвук получался более ноющим, так что одна и та же половица могла взвизгнуть остро или издать протяжный всхлип, если попадал на неё самый носок, а не толстая пятка. Виталий с тревогой (после первой настороженности) обратился под ноги, почувствовав в этом шуме дополнительную для себя опасность. Ему показалось, что только по одному скрипу можно было в точности, вплоть до миллиметра, определить его местоположение внутри квартиры, хотя теперь уже это представлялось очевидно надуманным. Тем не менее заставляло нервничать. Он прошёлся по комнатам, посмотрел в окно и потом замер на месте, настороженно вслушиваясь в тишину. Опустевший дом всё равно жил какой-то жизнью, однако теперь, в полном безлюдье, чудились признаки присутствия совсем не обычных существ. Где-то едва слышно щёлкнуло, словно кто-то переломил сухую щепку, и в первую очередь представилось, что этот шум вряд ли мог прийти снаружи. В тот же миг будто стены вокруг зашевелились, под обоями посыпалась высохшая извёстка, а в коридоре неожиданно мелькнула чья-то тень, заставив боязливо сжаться его сердце.

Уж в квартире-то он точно один. Он всё осмотрел, тут просто негде спрятаться. Преодолев первое оцепенение, он выглянул в коридор: на полу играли тени деревьев, пропускающих сквозь густую листву солнечные лучи.

И тут же он понял, что боялся не каких-то мнимых недоброжелателей, будто подкарауливающих его рядом за углом. Окружающая обстановка была только поводом для страхов. Истинной причиной боязни являлся этот переломный момент в его жизни, возможность узнать что-то решающее, когда не останется выбора и придётся идти до конца, поскольку, как он подозревал, он попал в череду последних событий не случайно.

Не доставляло удовольствия бродить здесь, но и сидеть на месте было невыносимо. Попеременно он задерживался в каждой комнате, вспоминая очередной момент в странной истории, причастных к ней лиц, думая, что ещё нового сможет узнать о них, и незаметно пропустил назначенное время.

Он стремительно двинулся к выходу и покинул квартиру спустя три минуты после того, как должен был находиться в нужном месте. Шумно заперев за собой дверь, он оказался всё в той же дешёвой инсталляции, подобие которой демонстрируют порой не знающие вкуса современные художники.

Четыре пролёта наверх, пока лестница многократно отражала его шаги, дались без утайки живо. Он перешёл по дивному внутреннему навесу с балюстрадой на другую сторону, где обозначились два входа в отдельные апартаменты. Нащупывая в кармане главный ключ, он позвонил прерывисто в нужную дверь и после этого очутился внутри бывшего коммунального общежития, одни соседи которого не знали когда-то, живы ли в дальнем конце другие. Звонок служил итоговым сигналом, в этот момент с противоположной стороны на встречу с ним вышел сам «человек».

Длинный коридор имел два поворота, многочисленные комнаты попадались справа и слева. Виталий искал ручку с фигурным набалдашником, таковой не было, и он принялся открывать двери одну за другой. Добравшись до кухни, вспомнил, что кухня была в прошлый раз, обозвал себя идиотом и пошёл назад.

Большая гостиная, единственная, очевидно, во всём массиве комнат, находилась недалеко от прихожей. Войдя в неё, Виталий сразу же почувствовал шевеление за стеной и проследовал в открытый проём, очутившись в неком подобии чулана, без окон, довольно вместительном и имеющем, однако, вполне конкретный, запирающийся железными дверями дополнительный вход. То, что он увидел перед собой, заставило его слегка оторопеть.

За небольшим столом сидел ряженый субъект, похожий на куклу, круглыми неморгающими глазами, выражающими то ли лукавство, то ли доброту, вцепившийся в посетителя и искусственно-безлико, будто дорогой манекен, показывая своё расположение к гостю. Куда он смотрел, можно было определить только по повороту головы. На лице у него была маска, впрочем, глухо закрывавшая и затылок. Стыкового шва отдельных частей её видно не было, поэтому создавалось впечатление, что этот лысый череп есть истинная принадлежность данного существа. Небольшие отверстия по центру глубоко посаженных глаз выдавали единственный блеск, присущий живому организму, в остальном использованный камуфляж полностью отгораживал человека от внешней среды, достигая цели максимальной от неё изоляции.

На руках его были перчатки, а вокруг разливался едва уловимый, но устойчивый запах какого-то химиката.

– Вы опоздали. Возникли какие-то сложности?

Глухой металлический голос неприятно резанул по ушам. Хозяин использовал устройство, искажающее тембр звучания, так что и в этом компоненте маскировка оказалась на высоте.

– Ничего серьёзного, просто слегка потерялся.

Было трудно понять, воспринял ли он слова Виталия как шутку либо зациклился на своих правилах и намеревался отчитать журналиста, нарушившего условия их контактов. Он сидел неподвижно, уставившись прямо перед собой: ни мимики, ни жестов, ни какого-либо шевеления.

«Вот это конспирация, – подумал Виталий. – Никаких следов конкретного присутствия. Полная скрытность от чужих глаз, ушей и даже носа. Никакая запись или обследование данного места не смогут однозначно показать, что тут находился именно он. Наверняка он ещё и фильтрует своё дыхание, очень похоже».

Однако тот ли это человек, с которым Виталий имел дело? Чёрт его знает. Определить это по косвенным признакам, хотя бы примерно, совершенно не представлялось возможным.

– Я бы мог сказать, что опоздания неприемлемы и впредь такого не должно повторяться, – прогудел собеседник. – Однако вынужден сообщить вам, что наши контакты на неопределённое время должны быть прекращены. Это последняя наша встреча.

– С чем это связано?

– С усилением розыскной деятельности в структурах, которые я представляю. Имейте в виду, мы очень рискуем теперь. В наших службах по ситуации много вопросов, есть некоторые неопределённости. Поэтому не стоит привлекать к себе лишнего внимания. Советую вам использовать полученную информацию только для подстраховки.

– Я бы хотел знать, хотя бы в общих чертах, что происходит?

– Могу сообщить вам только отдельные факты. Выводы можете делать сами, и правильность их, как мы договаривались, я оценивать не буду.

Застывшая ухмылка на лице давала ощущение того, что здесь разыгрывается какой-то дурной спектакль. Однако персонаж из театра масок с утробным голосом меньше всего походил на актёра, и только исходя из обстоятельств встречи можно было заключить, что перед журналистом находится живое существо.

– А вам не кажется, – сказал Виталий, – что настало время предать гласности некоторые вещи, которые касаются непосредственно многих тысяч людей? Вполне можно было бы найти способ безопасного вброса информации. Каким-нибудь случайным образом через десятые руки на стороне.

– Что это даст?

Несколько мгновений Виталий решал, стоило ли заявлять о себе с сугубо человеческих позиций, но в конечном счёте понял, что последнюю возможность расспросить столь важного информатора нужно использовать до конца.

– Борьба со злом всем миром намного эффективней, – ответил Виталий. – А пока вы ищете тех, от кого оно исходит, может статься так, что мир вообще окажется на грани выживания.

– С чего вы взяли, что это зло?

– Ну не добро же. На повестке дня массовые убийства.

– Я не про убийства. В конечном счёте виновных всегда можно найти и наказать. Я про то, чем они владеют: про идею, способ, механизм. То, что не имеет собственной окраски и не пачкается. Оно приобретает разрушительную силу, когда им овладевают многие, вот тогда оно опасно, и этого нужно избегать. А пока оно есть собственность отдельных, пусть и убогих, индивидов, бояться нечего. Монстры мировых масштабов бывают только в кино. В жизни они боязливы и вполне досягаемы.

– Но пока у вас проблемы.

– Пока есть.

– Какие?

«Маска» замерла окончательно. Потом повернулась наконец всем телом, но лишь для того, чтобы сунуть левую руку во внутренний карман. Зажатый между пальцами в перчатке, к Виталию приблизился небольшой лист бумаги с отпечатанным на нём текстом, и, по настоятельной просьбе, присутствующей в движении, журналист понял, что его необходимо взять.

– Это номер счёта и место, куда необходимо перевести деньги. Надеюсь, не нужно говорить, что листок затем должен быть уничтожен.

– Разумеется.

Человек сел к Виталию вполоборота, и теперь странно-лукавое выражение пластиковой физиономии как нельзя точно соответствовало моменту истины, во всяком случае тому периоду времени, с которым Виталий её соотносил.

Во дворе гуляла молодая мама с карапузом. Тот усердно приседал, поднимая с земли ветку, а потом счастливо побежал по дорожке, смеясь и размахивая руками, радуясь находке своей детской радостью. В песочнице играли другие малыши. Они обратили внимание на ликующего товарища, разом замерев со своими лопатками. Наверное, и им передалось приятное возбуждение ребёнка: они заулыбались, закопошились в игре, придав занятиям новую крутизну, особый смысл. Задёргались ведёрки, засеменили с места на место будущие конструкторы и хлебопёки, а в напряжённой работе стали прорываться их ликующие возгласы – самое приятное доказательство хорошего настроения ребёнка.

При желании можно было отметить даже некий коллективизм, слаженность движений малышей, как бы вдохновлённых примером соседа, открыто и приветливо заглядывающего им в глаза. Стремление приспособиться к сноровке ближних, а не отдельно ковыряться в углу, возобладало в данную минуту над чувствами. Весёлая компания активно равнялась друг на друга, время от времени кто-то останавливался, быстро оценивая, что бы ещё предпринять, и усердно продолжал работать на своём участке ради общего дела.

Уже час после встречи с информатором Виталий бродил по дворам и улицам. Разговор с ним окончательно расстроил журналиста. Он полагал, что контакт со столь важной фигурой прояснит кое-какие вещи и позволит зондировать почву дальше. Однако молчание человека о главном говорило о том, что Виталия всерьёз не воспринимают, а стало быть, в данном раскладе надеяться больше не на что. Было сказано, чтобы в ключевые моменты он держался Глеба Борисовича, но тот не выходил на связь, заставляя предполагать самое неприятное. Если бы Виталий обладал какой-то важной информацией, с ним бы, наверное, говорили… во всяком случае, начали бы говорить. Но по их поведению можно было понять, что в отношении его они абсолютно спокойны, и это его удручало. Хотелось бы их прищучить, но выложить было нечего. Хотелось бы ничего не замечать, но память не давала покоя.

Сидя на скамейке, он с умилением наблюдал игру малышей, хотя глаза его выражали грусть. Радостная возня вокруг, если не возбуждала, то не способна была изменить его настроение. Он не верил в удачу, являясь по отношению к ней большим скептиком, поэтому праздник жизни всегда старался устроить себе сам – в чужие не окунался. А что касалось его профессиональной карьеры, то вера в успех своего дела давно уже слилась в нём с обязанностью, так что он мог сетовать только на собственные упущения и недостатки, а не сокрушаться по поводу неудачно сложившихся обстоятельств. В силу последнего Виталий в пятый раз уже пытался понять, все ли возможности он использовал. И предполагая, видя даже, что далеко не все, он думал теперь о том, какие предпринять следующие шаги, в каком направлении действовать дальше. Как и все, пробуя сначала двигаться по пути наименьшего сопротивления, он пришёл к выводу, что начинать надо как раз с обратного, только тогда есть вероятность пройти всю последовательность мер до конца.

Он встал и, гуляя по скверу, медленно углубился в тень развесистых старых кустов сирени.

– Простите, вы меня не узнали?

Его остановила проходившая мимо дама в элегантной накидке через плечо и с блестящей сумочкой в руках.

– Виталий? Виталий Сукристов, правильно?

Только теперь в памяти промелькнули знакомые черты лица. Он улыбнулся:

– Анфиса.

– А я тут живу рядом. Иду и думаю: он или не он? Наверняка он. В тебе много узнаваемого.

– Что же это?

– Не знаю, как сказать. Какая-то особая мимика лица.

– Дурацкая?

Она засмеялась:

– Нет. Особая.

Это была его одноклассница по школе Анфиса Королёва. В старших классах она вроде бы на него заглядывалась, но он не замечал. А потом, когда призналась ему в любви, он никак не отреагировал, и она сильно на него обиделась.

– Ну, как ты поживаешь?

Он состроил безразличную гримасу:

– Обыкновенно.

– Женат?

– Нет. Не удалось ещё.

– Я помню, ты в школе был такой неприступный.

Она тут же стала рассказывать о себе, будто их судьбы неизбежно являлись продолжением одной истории и сейчас необходимо было выявить определённые взаимосвязи. За пять минут она изложила летопись семьи, упомянув ещё и несколько подруг, друзей, даже каких-то родственников, которым неимоверно обязана, подведя монолог к важной ситуационной развязке. Ребёнок находится у бабушки за городом, муж сейчас в командировке. Она пригласила его к себе на чашку чая.

Без особой надежды, поскольку в его глазах, очевидно, маячил отказ изначально. Но он вдруг почувствовал, что она действительно рада их встрече, и согласился.

Они зашли в новый дом, аккуратно встроенный в старые кварталы.

Проведя его в шикарную гостиную, она тут же отлучилась на кухню, заставив его обозревать апартаменты, ненавязчиво сочетающие в себе богатство обстановки и современный дизайн.

– Жарко, я включу кондиционер. А ты раздевайся, – уходя сказала она.

– Совсем?

На её устах появилась натянутая улыбка, впрочем, он и без того понял, что пошутил глупо.

– Как тебе комфортнее.

Виталий бросил ветровку в одно из кресел, засмотревшись на оригинальную подсветку на потолке и стенах, создающих иллюзию огромного праздничного зала. Комната была не маленькой, лёгкие сиреневые шторы, собранные в нескольких местах, занимали всю стену с окнами. На противоположной были развешены картины с многочисленными цветными фигурами, отражающими модернистское беспокойство. Большая оригинальной конструкции люстра висела не по центру комнаты, а чуть в стороне, над гостевыми диванами и столиком. Другая часть помещения была совершенно свободной, напоминая дворцовый холл для аудиенций, с расставленными вдоль стен деловыми банкетками и сверхсовременным, из двадцать второго века, бюро. Несколько каменных тумб с вазами ошеломляли новаторством, завершая интерьер гостиной в стиле претенциозного новодела. Однако можно было смело сказать, что обстановка несла в себе дух уникальности и интеллекта, столь редко сочетаемых в наши дни во всех сферах деятельности.

Он пошёл помыть руки, а когда вернулся, Анфиса одновременно с ним вкатила в комнату тележку с чайным приборами.

Она замерла перед ним, будто немедленно хотела сообщить ему что-то важное.

– У тебя хороший вкус, – сказал он, окидывая взглядом апартаменты.

– Муж хорошо зарабатывает, – ответила она так, словно это был первый признак хорошего вкуса.

Виталий тут же почувствовал, что сейчас последует вопрос, кем работает он, но Анфиса дружелюбно покатила тележку дальше.

Они уселись за разговорами, и он диву давался, почему ему вдруг стало так легко и приятно. Разговор полился сам собой, она не давила глупостью воспоминаний, но вместе с тем очень оживляла его собственные представления о детстве и юности, в чём он давно, наверное, хотел найти себе достойного собеседника.

– Раньше я видела всё по-другому, – говорила Анфиса. – Девочкой я думала, что любовь – это нечто воздушное и сладкое, и никто не сможет уклониться, чтобы не попробовать такой изысканный деликатес. Мне казалось, что все мечтают об одном и том же. Помнишь Гришу Осипова?

– Помню.

– Впервые я поцеловалась именно с ним.

– Да ты что?

– Да-да. Для меня это тоже было неожиданным. Но я вдруг представила, как этот щуплый мальчик тянется ко мне, и мне стало интересно, на что он способен.

– Ты коварна.

– Отчего же? Мы все тогда только начинали в себе разбираться. По-моему, я его ничем не обидела, и он до конца школы питал ко мне самые добрые чувства.

Виталий уловил в её голосе ностальгические нотки и почти не сомневался, для чего они ей понадобились. Трогательные сцены отрочества – хотя он не любил вспоминать те времена, тогда он казался себе каким-то убогим, – вдруг всплыли перед ним с подачи вполне самодостаточной, устроившейся в жизни одноклассницы, хранившей однако память о своих ярких молодых пристрастиях.

Тогда всё виделось иначе – более дерзким, однозначным, возвышенным. Тогда и отношения строились по-другому, поле компромиссов было ещё нераспаханным. Совсем не требовалось много времени, чтобы осудить, казнить или расплакаться, поскольку не имеющий знаний жизни восполняет их обычной дуростью, а полнота оценок – вещь сугубо индивидуальная, не связанная с понятиями необходимости и достаточности. Сколько лет уже прошло, и на её примере он увидел, как меняются люди. Остаются только незримые начала, в её случае те непонятные глубинные симпатии, которые она мечтала превратить в себе в нечто осязаемое.

Она узнала его при встрече, потому что они уже сталкивались однажды точно таким же образом, когда он был студентом, и их разговор так же не оказался для него важным. В тот момент он тем более был занят мыслями о другом, он только начинал устраивать своё будущее. Но не успевшая ещё растаять в нём глупая младая ревность, ощущение того, что кто-то менее достойный и творчески активный под знаком милейшей простоты всего лишь оказался более шустрым, заставило его, наверное, заронить в ней некую надежду, когда он дал почувствовать бедняжке, что полностью свободен во всех отношениях. Тогда он ей соврал из принципа и чувствовал себя победителем, а она, видать, не забыла. И поэтому стоило только замаячить на горизонте контурам знакомого лица, кинулась в его сторону, чтобы наверстать упущенное.

– Я ведь тогда была влюблена в тебя до безумия, – сказала она, опустив глаза. – Любила и молчала, боялась к тебе подступиться. А ты меня не видел.

– Я многих тогда не видел.

– Вот именно. Но мне бы хотелось понять: если тогда ты не думал и не реагировал, как другие, что же такое ты есть теперь? Во что это может превратиться с годами? В какую такую особенность?

– Тебя интересует, насколько ты меня привлекаешь как женщина?

– И это тоже. – Она окатила его блеском своего чарующего взгляда. – Главное, что мне безумно интересно: могу ли я бояться тебя так же, как тогда?

Ну нет, платонически реагировать на первую встречную, пусть и древнюю свою одноклассницу, он не собирался.

– Мне бы хотелось знать для начала, – холодно спросил он, – ты счастлива?

Это было дерзко, но необходимо.

Анфиса инстинктивно отпрянула от него, поняв, что это была умышленная бестактность, не в состоянии сдержать обиду на своего кумира юности. Губы её надулись, выражение лица приняло обычный толерантный вид. Но ответила она более чем достойно:

– Скажу прямо: не знаю.

Она хлебнула чайку, совсем не по-английски, настырно вперившись в него взглядом, будто в одном этом взгляде выражалась вся её претенциозная сущность. Будущая светская львица не утратила ещё шарма и привлекательности. Её вид говорил о том, что она готова прощать гостю любые выходки.

– В браке ведь чувства стираются, – заявила она.

– Разве?

– Конечно. Заботы и любовь к близким – это другое. В них больше ответственности, но исчезает возможность ярких впечатлений.

– Понятно. Не хватает авантюризма.

– А в тебе его уже нет?

Тем не менее он не дал раскрутить себя на легкомысленные поступки. В его планы это не входило, да и не было теперь настроения.

Вскоре он распрощался и ушёл, разбередив в душе одноклассницы какие-то старые чувства, давно забытые, но возникшие, наверное, вновь. Сам он, и тогда и сейчас, не мог признаться себе в особой предрасположенности к этому человеку: Анфиса была явно не в его вкусе, и на всякие двусмысленные намёки с её стороны он только отмалчивался. Однако, столкнувшись лицом к лицу с прошлым, он совершенно отчётливо почувствовал в нём дыхание настоящего.

Идя по улице, поглощённый мыслями о своей беспокойной юности, он машинально потрогал нагрудный карман куртки и сразу же почувствовал что-то неладное, не в силах сообразить поначалу что. Только спустя несколько мгновений он понял, что именно его насторожило в данный момент. Бумажник лежал застёгивающей кнопкой вниз, хотя Виталий всегда носил его иначе. Он подумал сначала, что сам сунул его так, но совершенно чётко вспомнил, как проверил карманы, когда снимал куртку у Анфисы. Он даже остановился, потрясённый странным разоблачением, не зная, что по этому поводу думать.

«Вот это номер. Чёрт возьми, никому нельзя верить. Выходит, и встреча с ней специально была подстроена».

Он достал бумажник и быстро просмотрел его внутренности: всё было на месте.

Хорошо, что листок с банковскими реквизитами информатора лежит в кармане джинсов и всё время находился при нём. Иначе случилась бы катастрофа.

Виталий вспомнил, что выходил из гостиной буквально на пару минут, больше возможности незаметно слазить в его карманы у неё не было. Значит она следила за ним, выбирая момент. Неужели она ему лгала? Так запросто испоганить память о прошлом, какое убожество. Или её заставили это сделать?

Успокаивает лишь то, что в ход не идут пока грубые методы, стало быть, всё не так серьёзно, но от листка нужно быстрее избавиться.

Озираясь по сторонам, он решил не идти домой, а прямиком направился в офис. Нужная сумма будет перечислена на указанный счёт несколько позже, он постарается замаскировать свои действия. А пока он спрятал бумажку и, пробив по базе адрес, по которому ходил в гости, узнал, что там действительно живёт Анфиса Королёва, очевидно, со своим мужем, неким Константином Риманом, и это его немного успокоило.

**10**

Подул сильный ветер. В отдельные моменты завывая, он ударял в грудь, отворачивая полы одежды, будто вознамерившись любого, кто оказался вне дома, лишить теплоты и уюта. Он насмехался над тонкостью органики, надавливая лихо и свежо, не зная совсем милосердия. Он гнул ветви, взъерошив деревья, натужно гудел в проводах, гонял по улицам сорванную листву и всё время пытался сменить направление. Небо почернело. В который раз за месяц собиралась гроза.

Внезапные порывы пробивались в узкости между домами, перехватывая дыхание, однако совсем рядом, внутри двора, в ту же секунду было намного спокойнее. Молодые кроны лишь слегка шелестели листьями, чуть-чуть обдавало их свежими потоками воздуха. Такое несоответствие картин вызывало удивление. Будто можно было приспособиться к самым суровым условиям в природе и жить себе где-то припеваючи. Казалось, и птицы там сидели на ветвях как в раю, в то время как рядом же буйство стихии сгибало растения до низшей точки упругости, едва не переламывая их у самого основания. Однако и в тихом омуте вдруг завывало бурей. Мягкий шелест превращался в перебранку, потом в гул негодования, а там, где только что наблюдалось безумие, наоборот, воцарялось временное спокойствие – капризы насмешника, затеявшего всю эту природную чехарду.

Гуляя по дорожкам, потоки воздуха собирались с силами. Они скручивали в вихри пыль, выплёвывая её ненароком на прохожих или разбивая о стенки как брызги вселенной. И тут же неумолимые законы физики освещали новую возню где-то в кустах. Там, заламывая ветки, упражняясь в энергичности, действовал другой источник возмущения. Подбрасывая по пути мелочь от земли, он ликовал в потугах умалишённости, вихрем возносил вверх какие-то бумажки и ветки, словно они являлись его игровым реквизитом, и, внося дисбаланс настроений, пытался покруче устроиться на месте ведущего, дабы представить себе ненаглядную картину тщеславия, на которую и претендовала пьяность его мыслей.

Классическое давление оказывали воздушные массы в открытых, не занятых строениями местах. Равномерное перемещение потока, не встречающего на своём пути явных преград, почти терялось и блёкло в игре. Его было не видно, какой бы изначальной рьяностью он ни обладал. Проскакивая мимо, летя вхолостую, движение без помех годилось только для бескрайних просторов Юпитеров, но никак не для Земли. Здесь необходимы были столкновения, огибания углов и выступов в высочайшей степени турбулентности. Тогда только законы природы могли заинтересовать её милых обитателей, заинтересовать в такой степени, чтобы они могли постепенно видоизменять свои органы и либо с помощью липучек, либо разумением своим задержаться где-то в узкостях гор на эпоху-другую, наплодиться родом, увековечиться (промелькнуть на самом деле) в истории Вселенной и оставить какой-нибудь слабый отпечаток в анналах непредвиденных видоизменений жизни.

Но жизнь – ничто. Она есть что-то для органики. А вечный ветер, блуждающий там, где есть хоть малый перепад насыщенности среды, будет всегда существовать по своим правилам, и вплести в них наш разум если и удастся, то очень нескоро. Пока что его нужно слушать, этот ветер, его нужно ловить душой. Не парировать его наскоки, а любить как женщину, ждать, надеяться, мечтать о нём и рисовать в себе с настырностью болельщика, видящего такой потенциал в своих кумирах. Его нужно оживить для себя. Представить маленьким ребёнком, или упрямым пахарем, или крутым горцем, застенчивой красоткой, брезгливым снобом, редким для всяких образованных тупицей. Внести его бестактность в лёгкие кружева своих внутренних перипетий. Остановиться для контроля времени. Понять, когда ещё можно будет ощутить поток вещества, так бесстрашно несущегося над просторами планеты. Очнуться от спячки, решительно стряхнув с себя пыль веков, и обрести наконец страсть свободолюбия, ибо ходящие под гипнозом никогда не увидят вокруг себя ничего нового, забегая за угол только для того, для чего вы и сами прекрасно понимаете.

И вот этот праздничный ветрюга, обнажающий в нас чувство незащищённости, заставляющий кого-то думать о заоблачных высотах, а кого-то не думать ни о чём, затеял своё представление в один из моментов, когда его никто не ожидал. Он вертел пространством, не давая опомниться, и тут же уступал, отвергая злой умысел, лишь подчёркивая, что властность его естественная и сила несоразмерна чьему-либо сопротивлению. Вся живность исчезла, в поле зрения попадала только гнущаяся зелень. В миг раскидав плохо лежащие обёртки, он взялся за деревья и кусты, взъерошив их так, что они изменили свою цветность, форму и даже предстали теперь какими-то дикими, малоизученными зарослями далёких небесных тел, прижившихся в местных условиях как странная экзотика. Насаждения размахивали ветками, кидались вперёд и назад, шумно, вперемешку со свистом, откликаясь на напор. Трепыхания вдруг превращались в грохот, и только спустя секунды становилось ясно, что это злится наверху Перун, – или смеётся, кто его знает, – насаждая канитель в качестве своего сладкого деликатеса.

Ветер давил попеременно, то тут, то там. Человек, привыкший к прелестям непогоды, никак не связал бы его резвость с неудобствами. Его бы, наоборот, вдохновила такая мелочь на тихой в общем-то планете. Обласканный солнцем, подсохший в печах тропиков, он на минутку ожил бы мыслью в самый искренний момент созерцания, соответствующий вечному буйству и расширению границ. Такова его суть. Такова суть всего, что есть на свете. И милые поэтические строчки, приходящие на ум сладкозвучным лирикам, наверное, не верх блаженства-упоения, а отблеск всего бешеного в натуре в надежде взорвать мир своей упругою струной, втянуть его в конфликт с моралью и насладиться, если получится, трескотнёй и шумом вокруг, будто сам он, лирик, выше всех, чутче и правильней, разумистей своих предшественников и уж подавно весит в пространстве больше вещества, из которого состоит.

Физик же, наоборот, меру своего веса знает. Чтобы разбудить в нём художника (обладающего талантливостью понятного представления цифр), необходимо громыхание покруче нынешних, и на мякине пустоверия его не проведёшь. Чтобы обыграть такого оппонента, надобно для начала внедриться в его шкуру, отчего подобные перспективы простым политикам покажутся неосуществимыми. Не только покажутся – они на самом деле нулевые. Если бы политики хоть чуть-чуть разбирались в физике, им бы не было цены. А так – приходится ублажать чернь, и злиться на себя, неугомонных, и втюхивать в массы враньё собственного сочинения, предписывающего не понимать их, а просто жить по их законам.

В итоге получается ни лирики, ни политики правил жизни не знают. Знают только физики, которым до нас с вами, художников, слишком далеко.

А ветки уже стучали по стёклам. Странным казалось то, что ещё не было дождя. Все просветы исчезли, суровым покрывалом нависли над головой тучи, и люди инстинктивно искали место понадёжней, ожидая сильный ливень с минуты на минуту.

Взбесившаяся природа решила тряхануть как следует заспанный город. Она будто готовилась залить его по уши водой, как уже было недавно, наломав перед этим сучьев, повалив неустойчивые конструкции, замусорив улицы из открытых всем ветрам урн.

Морщась и пряча лица от резких порывов, одинокие пешеходы разбегались по укрытиям. Подъезжая к дому, академик Захаров невольно забеспокоился, оценивая разгул стихии.

Он въехал в гараж, который находился в пристройке, вместе с верхними этажами вписываясь в архитектуру дома отдельным флигелем, опустил створки ворот и оказался отрезанным от гулкого шума, настоящего светопреставления, глухими и прочными перегородками. В доме было приятно тихо. Только доносившееся снаружи шуршание и протяжный вой напоминали о разыгравшейся буре.

Забрав с заднего сиденья портфель, Захаров запер автомобиль, погасил свет и вошёл в дом через боковую дверь.

С первых коридоров его встретил запах торжественного обиталища, к которому он привыкал несколько лет и теперь мог выделить его из тысячи запахов всяких музейных и жилых помещений. Это был особый запах, смесь кожи, камня и ценных пород дерева, дозированных в разных пропорциях в зависимости от отделки разных комнат. Он мог узнавать комнаты в темноте с завязанными глазами в зависимости от того, в каком конце дома находился. Каждый зал, кабинет, проход были чем-то примечательны. Он гордился этим, досадуя на отсутствие умения чувствовать столь тонкие различия у других членов семьи и домашних работников, не способных, по его мнению, оценить уют и истинную красоту. Даже жена с её выставочными картинами не обладала особым даром наслаждения. Она воспринимала и атмосферу вокруг, и те же живописные холсты как атрибуты, то есть некую предметность, пусть и художественную, но лишь вставленную в пространство жилища, а он ценил его внутренние, гораздо более важные составляющие: гармонию форм, господствующие взгляды и даже некие правила поведения хозяев по отношению друг к другу. Поэтому собственный дом был ему не просто понятен и близок, он словно являлся продолжением его чувственных восприятий. Покидая его, Захаров словно лишался одного из своих важных органов.

Сейчас он, несмотря на пробивавший сквозь вентиляцию сквознячок, с удовлетворением отметил знакомые ароматы, отличавшие нижний коридор и просторную прихожую в середине здания.

Проходя через переднюю комнату, он услышал доносившиеся из гостиной голоса, заставившие его насторожиться. Один из говоривших был его сын, а вот второй голос неприятно кольнул его знакомым тембром, посекундно убивая надежду на то, что он ещё может ошибаться. Однако подходя к неплотно закрытой двери, он уже не сомневался в своей догадке.

В комнате сидели Димка и Виталий, этот чёртов журналист, оказавшийся у него в доме незваным гостем. Захарову казалось, что в последний раз он чётко дал понять, что больше не желает с ним встречаться. Его присутствие здесь не могло вызвать в поведении академика ничего, кроме недовольства, что Захаров и не пытался скрыть, но Виталия, видимо, внешнее проявление настроений хозяина ничуть не обескуражило.

Они сухо поздоровались. Виталий сделал было движение, чтобы привстать, но тут же ещё глубже уселся в кресло. Димка непонимающе переводил взгляд с одного на другого.

– Пап, Виталий Евгеньевич хочет поговорить с тобой, – сказал он, – и, зная, что ты вот-вот должен приехать, я предложил ему подождать тебя у нас.

– Давно вы меня ждёте? – спросил Захаров, обращаясь к Виталию. Он поставил портфель возле дивана и сел, закинув ногу на ногу.

– Минут пятнадцать, сущие пустяки. Извините, что я пришёл без приглашения, тем более когда вас не было дома. Но я не мог не воспользоваться гостеприимством вашего сына.

Фраза выглядела дежурной. Виталий нередко использовал подобные ничего не значащие реверансы.

– Я не заметил вашего автомобиля.

– Он припаркован на другой стороне улицы, чуть дальше.

За окном сверкнула молния и почти сразу же громыхнуло мощным раскатом грома. Выпроваживать гостя на улицу в такую непогоду было бы просто неприлично. Впрочем, они не настолько хорошо знакомы, чтобы с ним церемониться. Похоже, оба подумали об одном и том же, и Виталий глянул в окно, прикидывая, что там сейчас творится.

– Странное в этом году лето. Сплошные бури, – по-светски ни о чём попытался завести разговор Захаров. Сейчас он видел свою задачу в том, чтобы потянуть время, а потом он что-нибудь придумает. Тем более пока Димка находился рядом, вряд ли журналист, будучи умным человеком, станет пренебрегать рамками конфиденциальности.

– Да, погода необычная, – кивнул в ответ Виталий.

– Это сказывается на самочувствии, особенно у людей с расстроенной психикой. Я это давно заметил.

– Вы полагаете, есть зависимость сознания от природных факторов?

– Обязательно. Большей частью она неразличима, но в моменты аномальных всплесков нарушается равновесие взаимодействий и начинают превалировать те особенности, которые скрыты в самых дальних уголках высшей нервной деятельности человека. Например, изменение настроения есть самая простая реакция организма на погодные условия. Далее следует нарушение отдельных его функций. Я недавно опубликовал статью на эту тему. Не хотите почитать?

– С удовольствием почитал бы.

– Я пришлю её на ваш электронный адрес. Думаю, она вас заинтересует. По крайней мере если вы увлеклись сочинением Канетелина, то мои труды вам понравятся тем более, поскольку у меня описываются вещи более определённые.

– Я сварю вам кофе. Хотите? – Димка посмотрел на гостя.

– Да, спасибо, не откажусь.

– Попроси Ларису, – бросил сыну Захаров.

– Её нет. Я сам.

Димка ушёл на кухню, полагая, что скорее всего мешает деловому разговору, хотя теперь уже как никогда хотел бы слышать, о чём они будут договариваться, поскольку чувствовал странное напряжение с обеих сторон.

В гостиной воцарилась тишина. Как в первые секунды, которые не обязывают уже скрываться за отвлечёнными фразами, но и заговорить о деле пока ещё не дают. Придя сюда, Виталий, конечно, не знал, что из этого получится, но теперь, сидя напротив хитрого и скрытного Захарова, осознал, что сопротивляться он будет до конца и его при необходимости придётся уламывать.

– Дмитрий рассказал мне, что у вас произошло.

– Вы видели отверстие в стене?

– Да. Аккуратное, словно вырезанное инструментом.

– Я уже давно ничему не удивляюсь. Поверьте, в моей клинике попадаются иногда такие экземпляры…

– Такие люди, – невольно поправил Виталий.

Академик будто не заметил уточнения журналиста:

– …Что кажется, будто они прибыли с другой планеты. Тот же Канетелин был убитой личностью, но за счёт чего-то выкарабкался, и я не знаю, за счёт чего. Для меня это загадка. К сожалению, разгадать её уже вряд ли теперь удастся. Его случай показал, что возможность вернуться к нормальной жизни при таких отклонениях есть, но как это ему удалось, какими способностями он обладал, так и останется теперь неизученным. А такие, как он, имеют уникальные способности. Если кто-то может двигать мыслью предметы, то почему бы не предположить, что сами мысли их могут быть предметными. Они могут оформиться в реальные явления, в реальные процессы.

– Вы полагаете, что такое возможно?

– Вполне.

– И это научно объяснимо?

– Пока нет, но со временем, думаю, даже в моей клинике наберётся достаточно материала, чтобы это научно обосновать.

Что-то Виталий не очень понял, к чему клонит академик. Он не ожидал от него такого поворота мысли и, как всегда, задался вопросом о причинах данной метаморфозы. Захаров – шулер по натуре, это было ясно с самого начала. Однако чтобы он опустился до элементарного вранья в сфере своей профессиональной деятельности, такого Виталий мог ожидать от него в самый последний момент. Или он враньём прикрывается, или пытается Виталия заговорить.

«Пусть он ищет там, где ещё конь не валялся, – думал меж тем Захаров. – Надо его красиво запутать. Этот тип слишком впечатлительный, чтобы здраво рассуждать в вопросах психологии и физики, вместе взятых».

– Чтобы вы поняли, о чём речь, – продолжал Захаров, – могу вам рассказать только об одном случае, который произошёл ещё на заре моей практической деятельности и которым я был элементарно шокирован… Мы иногда проводим психофизиологические исследования тех пациентов, которые выделяются среди остальных чем-то необычным. Началось это лет двадцать назад. Один из больных так сильно возбуждался, что зашкаливало все приборы, фиксирующие его дыхание, артериальное давление и пульс, а сам он весь трясся, словно продрог до костей на холоде. И вот однажды во время исследований он резко дёрнулся, и стоящий в нескольких метрах от него стул с грохотом отлетел в сторону. Мы сначала не поняли, что произошло, но затем невольно все задались одним и тем же вопросом: как ему удалось это сделать? Вы знаете, жутко захотелось оказаться в тот момент на пути его мощного волнового воздействия, это я вам как исследователь говорю. Некоторые лица из нашего персонала до сих пор убеждены, что столкнулись тогда с проявлением сильно концентрированного биополя, а я от людей что-то скрываю. Он успокоился тогда, как бы освободившись от переполнявших его физически эмоций, давление и пульс нормализовались, а мы по сей день остаёмся в недоумении. Во всяком случае, существует видеозапись того наблюдения, факт остаётся фактом, и никто до сих пор не смог доказать какого-либо мошенничества.

– И что это по-вашему было?

– Не могу объяснить. Слишком мало по пациенту имелось информации. Его, кстати, у меня потом забрали.

– Кто?

– Какие-то исследователи паранормальных явлений. Могу дать вам их координаты, если это вас интересует. С ними тесно контактируют известные нам обоим службы.

Журналист не проявил заинтересованности по поводу упомянутого заведения и только грустно ухмыльнулся в ответ на предложение академика:

– Любопытно. Я подумал было, что вы рассказываете про Канетелина.

Захаров ответил, глядя Виталию прямо в глаза, насколько возможно предъявляя тем самым правдивость своих слов:

– С Канетелиным я встретился значительно позже, и его случай в данном вопросе не показательный.

Виталий почувствовал, как умело опять, бросив наживку, академик завёл разговор в тупик, не оставив ни одной лазейки для проникновения в его вотчину посторонних. Но ведь был же момент, когда инициатива исходила от него. Не зря же он до этого хотел встретиться. Значит, что-то ему помешало.

«Он направляет меня в сторону секретных служб, чтобы я ковырялся там и либо успокоился, либо сломал себе хребет. С точки зрения собственной безопасности это разумно. Но если он боится Глеба Борисовича, то у него самого рыльце в пушку».

– И вы за столько лет ни на шаг не продвинулись в изучении данного феномена? Что-то не верится.

– А кто вам сказал, что я это изучал? Я занимаюсь психическими заболеваниями, а не псевдонаучной деятельностью.

– Ну а для чего вы тогда привлекаете к исследованиям парапсихологов?

Захаров впервые теперь не ответил сразу. Он как бы давал подумать, что испытывает некие трудности, подбирая для объяснений нужные слова.

– Существуют методики, которые ориентированы на результаты таких исследований. Я их проверяю.

– Но в таком случае вы наверняка ведь сравниваете эти результаты до и после определённого курса лечения? Хотя бы чисто из любопытства.

«Зря я затеял этот разговор, – прикинул Захаров. – Наверное, нужно потихоньку закругляться».

– «Любопытство», конечно, не совсем то слово, которое характеризует нашу деятельность, – заметил он. – Я имею в виду деятельность мою и моих коллег.

– Я понимаю. Выражение спонтанное.

– Хотя вы правильно рассудили. Мы действительно фиксируем одни и те же психофизиологические данные у некоторых пациентов в течение длительного периода их пребывания в клинике. И могу вам сказать, что до сих пор реакция каждого конкретного лица на конкретные раздражители оставалась неизменной. А постоянство характеристик говорит очень о малом. Жизнь – это движение, во всех смыслах. Так что здесь мне похвастать нечем.

– И у Канетелина такие записи ничем не отличались?

– У Канетелина мы их не вели.

– Почему?

– Нам не разрешил Глеб Борисович.

– Он имел возможность влиять на ход лечения?

– Видите ли, обо всех подобных вещах, имеющих признаки клинических экспериментов, всегда предупреждаются родственники или опекуны.

– Запись физической активности мозга считается экспериментом?

Вопрос остался без ответа.

В комнату вошёл Димка с подносом в руках. Он поставил на столик две чашки, кофейник, сахарницу и молоко. Потянуло ароматом свежезаваренного кофе.

Виталий поблагодарил парня за услужливость. В действиях Димки прослеживалось уважение, которое он привык проявлять к любому гостю отца.

После этого молодой человек повернулся к двери:

– Я поднимусь к себе.

Отец кивнул.

За кофеем немного помолчали. Журналист намеревался задать академику прямой вопрос, он затем и пришёл сюда, но пока ещё решил не форсировать события. Довольно часто собеседники наталкивали его на попутные мысли, и разговор заходил о таких вещах, которые он заранее обсуждать не предполагал. Иногда это помогало.

Захаров, безусловно, был серьёзным игроком, голыми руками его было не взять. В деловых беседах он говорил всегда то, о чём имел реальное представление, на уловки не поддавался, а с сильными оппонентами до поры до времени старался соглашаться. Пока не приходил черёд его хода, и тогда он сразу брал вожжи в свои руки, что в реальных измерениях давало солидное преимущество. В делах покойного физика он и теперь оставался ездовым, по крайней мере по отношению к Виталию.

Он вдруг сам решил поскорее отделаться от гостя. В его словах появилось какое-то пренебрежение.

– Вы наверняка пришли по делу. Теперь уже можете спокойно говорить. – И он с наслаждением сделал маленький глоток из чашки, будто напиток занимал его сейчас сильнее всего.

– Возможно, я повременил бы с этим визитом, если бы не ваш звонок и просьба о встрече, которую вы потом неожиданно отменили. В нынешних обстоятельствах это весьма серьёзный повод для размышлений.

– Ну и что же вы наразмышляли?

Захаров будто издевался над ним, оставаясь спокойным, даже не меняя интонации, точно разговаривал с пациентом, от которого изрядно устал.

Виталий поставил чашку на стол. Он сделал усилие над собой, чтобы излишне не заводиться, хотя академик уже не слабо его раздражал, так же как и учёный физик когда-то.

– Я знаю, что Канетелин со своей группой был частью военной программы, что он элементарно кинул заказчика, за что и поплатился. Мало того, погибли невинные люди и все участники того проекта. Я знаю, что вы давно знакомы с Глебом Борисовичем и выполняли его прямые указания. Был или не был физик умышленно нейтрализован, мне пока неизвестно, но то, что вы принимали активное участие в его судьбе, вещь очевидная.

– Я его лечил.

– Да, но странным образом пересекались с ним намного раньше, ещё до того, как он попал к вам в первый раз.

– Откуда вы это взяли?

– Из записей самого Канетелина.

Захаров обременился недоверием.

– В них ничего нет, – убеждённо заявил он.

– Есть. Вы не всё читали.

«Блефует, что ли? – подумал академик. – В любом случае Канетелин не мог даже заподозрить что-то неладное».

– Я полагаю, вы понимаете, – сказал он, – что любые заявления, сделанные когда-либо Канетелиным, требуют тщательной проверки. Он был психически нездоровой личностью и мог придумать что угодно.

– Понимаю. Поэтому я не намерен вас ни в чём обвинять. Я пришёл не за этим.

Виталий допил кофе, акцентировав тем самым внимание визави на последующих словах.

– Я видел примерно то же самое, что и вы в своём доме. Это случилось на улице вечером: странный объект необъяснимого происхождения. Если бы я знал, что он так опасен, я бы не стал за ним гоняться… Мне кажется, именно после того, как эти штуки напугали вас, вы и решили со мной поговорить, но затем почему-то передумали. – Он сосредоточенно замер, будто решаясь на важный шаг. – Я думаю, эти явления не случайные. Кто-то затеял опасную игру, которая грозит серьёзными политико-социальными изменениями. Трагедия может случиться не только со мной или с вами – если вы не поняли, катастрофа грозит всей стране.

– А может быть, всему миру?

– Может, и всему миру. Вы зря иронизируете. Я кое-что выведал насчёт проводимых физиком работ и сопоставил это с известными фактами.

Академик взглянул на него будто даже с сожалением. Внутренне он просто приказал себе не верить его словам.

– Канетелин здесь важное, но не главное звено, – продолжал Виталий. – Он выпал из процесса, поэтому и оказался в поле зрения, однако то, что творилось за его спиной, до сих пор остаётся тайной. И ладно бы речь шла о каких-то политических интригах. Но в руках людей отнюдь не государственного значения, то есть не озабоченных какой-либо ответственностью, вполне возможно, уже сейчас находится оружие, способное снести головы всем без исключения. Нам об этом явно дают понять... Люди заигрались, политики набили оскомину амбициями. Вы же достаточно информированный человек, вас это не пугает? То, что кругом безумцы, даже в сфере управления надо мной с вами? Они пускают в ход не руки, а свои мысли, свои идеи, направленные на запрещение и уничтожение всего недостойного с их точки зрения. У них есть такая возможность. Это их новая стезя, самая жизненная, самая правильная, самая утверждающая... – Он сосредоточился, глядя в какую-то точку перед собой. – Если только удалось связать мысль с физическим процессом, о чём вы говорили со мной во время нашей первой встречи, связать метафизику с банальным электрическим разрядом, неудержимости страстей предела не будет. Подконтрольными станут не только ваши действия, но и ваше сознание, вы будете думать не от своего имени, не от себя, а от дяди, вы опять станете обезьяной. И это не за горами. Канетелин утверждал, что человеческому развитию есть предел, и, пожалуй, он был прав. Как только мы шагнём в сферу надругательства над мыслью, манипуляций ею и прививания её черенками, так наше сознание откажет нам поголовно и цивилизация придёт в упадок, что на протяжении истории человечества случалось неоднократно. Сейчас происходит всё быстрее, и вас должно заботить ваше ближайшее будущее, будущее ваших детей. Чужих детей, очень многих. От вашей позиции многое зависит. Сравните риски, выберите приоритеты, ответьте на главные вопросы. Готовы ли вы предоставить себя в качестве заслонки, в качестве преграды распространению этого процесса? Это не пустые слова, потому что всё начинается с малого. Вы, я, может, ещё кто найдётся, но потом обязательно появится сила, которая не даст уничтожить нажитого веками, не даст очутиться у разбитого корыта. Я понимаю, вам есть что терять, но жизнь не такая вещь, в которой человек выбирает себе роль. Он даже не в состоянии предусмотреть, насколько она окажется удачной вне зависимости от того, есть ли у него талант, деньги, почитатели или любовь. Поэтому в любом случае поступать надо только в соответствии со своим внутренним мерилом, своей совестью, и тогда ни за что не прогадаешь.

Виталий перевёл дух, испытав удовлетворение от собственной речи. Только так он ещё мог надеяться на то, чтобы обрести в лице Захарова истинного союзника.

– Вы могли бы помочь мне в главном, – заключил он, – если бы рассказали всё, что вам известно про Канетелина и Глеба Борисовича.

«Ему бы политиком быть, цены бы ему не было, – подумал Захаров. – Прёт напролом, мать твою, не зная слабости. Пожалуй, только в политике такие качества человека являются востребованными в первую очередь».

– Я понимаю вашу встревоженность, – произнёс он вслух. – Наверное, она основана на сведениях, о которых я не знаю. Однако помочь вам ничем не могу. Мне нечего вам сказать более того, что вам известно, и в свете того, что вы мне сейчас сообщили, мне тем более не хочется быть информированным относительно подробностей какого-то заговора, или что вы там подразумеваете? Поверьте, не каждый испытывает желание разоблачать преступников, если только это не его работа. Я не хочу подвергать опасности себя и свою семью. У меня другие приоритеты.

– Понятно. – Виталий, наверное, выглядел разочарованным, однако на самом деле лишь подумал, что академик наверняка играет в этом деле не последнюю роль. – Я, разумеется, не стану делиться с вами добытой информацией, если вы этого не хотите. Но если то, что я предполагаю, правда, вряд ли вам удастся отсидеться где-нибудь в тихом уголке. Вам всё равно понадобятся люди, которым можно доверять. Главное не дожить до катастрофы – тогда уж точно каждый сам за себя. Но тогда от вашего статуса и средств может ничего не остаться.

Дождь так и не начался, пройдя стороной. Наломав веток, стихия потихоньку отступала, и Захаров, бросив взгляд в окно, что не ускользнуло от внимания Виталия, с удовлетворением отметил про себя, что может завершить беседу с гостем в любой момент.

– Я не знаю, как относиться к вашим словам, честное слово. – Захаров встал и прошёлся по комнате. – По-моему, вы фантазируете. В мире много неизученного, но человеку до бога слишком далеко, что вы и сами прекрасно понимаете. – Он развел руки. – Способности людей, о которых я говорил, проявлялись спонтанно и неосознанно. Они – лишь выбросы в статистике, с помощью которых горы не свернёшь. А к тому, что кто-то, возможно, реализует сейчас свои преступные замыслы, я не имею ни малейшего отношения. Канетелин был для меня всего лишь пациентом, ни больше ни меньше.

– Да, наверное, до поры до времени вы к нему так и относились. Пока он не рассказал вам о сути своего открытия.

Академик безучастно задержал взгляд на какой-то отдалённой перспективе. Будто он вообще не слушал собеседника.

– Под гипнозом или под воздействием соответствующих препаратов, я не знаю, – продолжил Виталий. – Но именно с того момента вы включились в борьбу за его знания, которые всегда можно выгодно использовать. Смертельную борьбу, надо отметить. Потому что как бы вы ни старались представить трагедию в вашей клинике случайностью, я вам ни за что не поверю.

Они расстались, не прощаясь. Захаров открыл перед журналистом дверь, словно выпроваживал наружу уличное животное, и чуть было не захлопнул её в сердцах, ибо Виталий действительно привёл его в смятение, с которым он после разговора с журналистом не знал, что делать. Пожалуй, он и включил бы журналиста, как тот хотел, в число своих партнёров, но он не верил в его возможности, он считал его попутчиком, а таким довериться могут лишь люди несистемные, пустые скоморохи в преддверии балагана, но никак не солидные игроки, коим он себя считал. И свой настрой, потревоженный необъявленным визитом, опять пришлось подвергнуть изменениям. Замаялась душа, заколготились неприятными предчувствиями нервы. Последние ходы, казалось бы, уложенные в русло его понятий, выглядели теперь не совсем правильными. Он старался, вообще-то, не для себя, но те ошибки, которые совершались на работе и дома, представлялись ему теперь просто чудовищными.

Он с шумом проследовал прямо в Димкину комнату и, едва постучав, тут же бесцеремонно к нему ворвался:

– Зачем ты его впустил? Я же говорил тебе быть осторожными со всякими типами!

Димка, инстинктивно напрягшись, почувствовал злость.

– Он что, бандит?

– Не знаю! Но тебе пора бы уже усвоить, что безобидных людей не бывает. Этот человек опасен одним своим появлением в нашем доме.

– Мне не показалось…

– Что он тебе сказал?

Димка не предполагал держать ответ в такой невинной ситуации. Беспочвенный наезд отца всколыхнул в нём прежнюю волну негодования. Однако он смирился с недовольством родителя, решив, что, наверное, чего-то не знает.

– Сказал, что встречался с тобой несколько раз и ему очень нужно теперь с тобой поговорить. Я подумал, что это важно.

– Когда надо, я людей приглашаю к себе сам. Вспомни, было когда-нибудь иначе?

– Пожалуй, нет. – Димка вспомнил о той молодой посетительнице, о которой рассказал в больнице матери. – Хорошо, я теперь буду всех твоих знакомых посылать подальше.

Уже давно что-то изменилось. Захаров чувствовал, что не может ни влиять на сына, ни спрашивать с него за мелкие или крупные огрехи, о которых мнения их кардинально различались. Только любить, если любовь ещё возможна. Димка возмужал не только внешне. Образ мыслей его стал намного основательней и убедительней, так что былые забавы при крепких спорах можно было отставить в сторону – при случае аргументация юноши ставила его в тупик. С одной стороны, он радовался сильному началу, которое явно присутствовало в характере, облике, во всём существе сына и должно было свидетельствовать о наличии в этом человеке его собственных генов. С другой – намеренный уход Димки в сторону, его пренебрежение, неуважение и даже его насмехательство над домашним лидерством Захарова не просто возвещали о начале периода его взросления, но явно говорили о том, что они совсем разные люди и у них мало чего общего. Кем бы Захаров ни был, Димка вряд ли стал бы продолжателем его дела.

– Пойми, я всегда думаю о тебе с матерью, о нас всех. – Захаров попытался сгладить вновь наметившееся между ними напряжение, его тон заметно изменился. – И уж если я о чём-то прошу, то, поверь, это важно. Особенно сейчас.

Он почувствовал, что сын не намерен конфликтовать. В такие минуты Димка ещё поддавался на уговоры, лишь унося в себе никому не известные обиды.

– Чем опасен этот журналист?

– Он расследует одно серьёзное дело, но я не хочу, чтобы он нас в это впутывал.

– А зачем он к тебе приходил?

– Думал, что я смогу ему чем-нибудь помочь.

Ещё не хватало, чтобы сын заподозрил его в каких-нибудь преступных действиях, тогда он будет потерян для него окончательно. Подтверждения, ложащиеся на зыбкое основание конфликта, имеют эффект бомбы, грозящей превратить человеческие отношения в пыль, разносимую в стороны любым ветром. «Ты в чём-то виноват?» – читалось в Димкиных глазах, но тот, похоже, сам боялся этого вопроса, уже наслушавшись вранья в их доме сверх всякой меры.

Димка уселся в углу, словно наблюдая сцену со стороны. Всем своим видом он будто заявлял: «Ну, что ещё скажешь?», и Захаров впервые ощутил себя в положении, когда нужно оправдываться.

С чем он пришёл сюда, и с чем приходится уходить. Парень не верил ему, уловив в его поведении растерянность, прикрытую красивой миной на лице, а объяснял эту растерянность, скорее всего, какими-нибудь неблаговидными его делишками, на которые намекал журналист во время их разговора тет-а-тет. Наверное, Димка кое-что услышал, простояв некоторое время у дверей, попросту подслушав часть их разговора. И Виталий до этого успел его чем-то насторожить. С того станет.

«Нет, но каков мерзавец, – думал он про Виталия, – действует без оглядки по всем фронтам. Стало быть, и он почувствовал, что запахло жареным, а раз припёрся сюда, следовательно, ничего толком не знает». Нет, журналист не помощник, это ясно.

Уходя из комнаты сына, Захаров уже думал о другом. Очевидно, его черёд выдвигать условия так и не наступит. Всё слишком запуталось, и теперь необходимо найти надёжное прикрытие, чтобы не оказаться крайним. Хорошо, что он не успел обратиться к Виталию первым – он бы только выдал себя, а из сегодняшнего разговора он понял, что журналист в этом деле совершенное ничто.

Дневной город накрыли сумерки, хотя основная масса туч ушла на восток. С неба брызгало что-то невнятное, дул сильный ветер, не давая отвлечься, но сейчас важность момента не смогло бы затмить даже землетрясение. Виталий, не замечая непогоды, вынашивал собственные идеи.

Окрестности изрядно потрепало, тут и там виднелись результаты шквалистых атак. Возле автомобиля лежало поваленное дерево, распластав в стороны сучья, мешающие открыть дверку, так что пришлось немного покрутиться, чтобы пролезть на своё место со стороны кресла пассажира. Машина не пострадала, повезло.

Забравшись внутрь автомобиля, он некоторое время не двигался, сосредоточившись на выводах из состоявшейся беседы. Она не выглядела для него бесполезной.

«Теперь уже всё, – думал Виталий. – Сейчас Захаров обязательно свяжется с Глебом Борисовичем, и они решат, что я что-то знаю. Но прежде чем разобраться со мной, им нужно будет выяснить, где источник утечки информации. Глеб Борисович обязательно должен будет на меня выйти. Если он выйдет на меня в ближайшие часы, это и будет доказательством их вины».

Сведений пока маловато, но как действовать дальше, он уже представлял. По крайней мере, в ближайшие несколько суток у него будет время тщательно продумать свою стратегию, а до тех пор, пока не состоится этот важный разговор с Глебом Борисовичем, его вообще никто не тронет. Насколько он знал этих ребят, а их правила он знал довольно хорошо, они никогда не предпринимают крайних мер, пока есть возможность использовать объект в своих целях. И в данном аспекте он ещё не был отработанным материалом. Он обладал определённой самостоятельностью, возможно, имел с их точки зрения неподконтрольные связи, не до конца выявленные, а стало быть, с его устранением могут образоваться непредвиденные проблемы, что в подобных структурах даже гипотетически допускать не должны. Конечно, Виталий затеял опасную игру, но чутьё ему подсказывало, что в его случае пережить подобные опасности – это гораздо более правильный путь, чем сидеть и ждать, когда тебе устроят автокатастрофу и виновных потом никто не сможет найти. Раз он оказался втянутым в конфликт глобальных интересов, надо действовать, хотя бы пытаться действовать. Иначе сотрут в порошок – не одни, так другие. А так, может, удастся что-нибудь для себя и для своих близких выторговать.

Его автомобиль медленно отъехал и, объезжая завалы на дороге, свернул на пригородный проспект, двинувшись к центру города.

В тот момент, когда Виталий завёл двигатель, можно было заметить, как в ближайшем доме за закрытой шторой возникла тень человека, очевидно, подошедшего к окну либо занимающегося какими-то делами возле окна. Впрочем, разглядеть её можно было только при внимательном рассмотрении нужного места. Более хозяева ничем не выдавали своего присутствия в помещении, хотя Захаров даже не подозревал, что одна из комнат соседнего дома напротив уже несколько недель сдаётся странному и нелюдимому жильцу, а сама она превращена в наблюдательный пункт, откуда фиксируются все разговоры, встречи и действия академика. Человек за шторой куда-то сообщил об отъезде Виталия, и по реакции на другом конце соединения можно было понять, что покинувший Захарова журналист перешёл к другому наблюдателю, а задача работавшей на месте группы осталась прежней – не оставлять без внимания свой объект.

Как разворачивались события, не мог себе представить ни один обыватель, чувствующий в себе горделивые замашки умника, прикоснувшегося по случаю к неким тайнам влиятельных людей. Даже будучи серьёзным аналитиком в сфере военной экономики, Виталий сильно заблуждался по поводу возможностей и способов ведения слежки за людьми, применяемых ныне в самых закрытых структурах государства. До таких данных он бы не добрался, даже если бы имел в качестве информаторов главных исполнителей проекта, потому что этого по большому счёту просто не могло случиться.

За ним действительно следили, но для этого вовсе не обязательно было, как думал Виталий, ставить на него «жучки» или ещё как-либо его «помечать». Современные технологии позволяли отслеживать местоположение объектов, уже только зафиксировав их впервые на расстоянии. Достаточно было ввести их координаты в определённый момент времени, и программа точно отображала текущую обстановку, после чего любые изменения нужного объекта отслеживала автоматически. Ведь каждое тело, любой предмет не только занимает какое-то место в пространстве, но и создает возмущения его временных координат. В непрерывной картине хода времени любое тело создаёт за собой некий шлейф, по которому можно чётко отследить его местоположение в пространстве-времени. Поэтому настоящие профессионалы ведут объект, не помечая его явно, а чуть сдвигая по фазе его временную составляющую, и он становится виден в пространстве, наряду с обстановкой, как на ладони.

На экране монитора в оперативном центре слежения, упрятанного вместе с огромным массивом оборудования далеко в тайге под землёй, чётко отражался автомобиль Виталия, движущийся по улицам города. Контуры были отрисованы схематично, сам объект тоже задавался приблизительно, в виде некой абстрактной фигуры. Хотя при необходимости можно было выделять его подробнее и отслеживать его жесты, телодвижения и даже мимику лица, задействовав, правда, для этого дополнительную память гиперкомпьютера, то есть отнимая её от решения других задач. Уже строился второй подобный этому центр. Проблема слежки, фиксации связей отдельных граждан между собой решалась кардинальным образом. В сферах влияния и воздействия на сообщества государство выходило на мировой уровень. Теперь не только перехваты сообщений и разговоров, но и точное местоположение, отдельные действия объектов становились предметом анализа многочисленных специальных служб. Подконтрольными становились вкусы, желания, эмоции людей. Не секретом выглядела частота посещения ими уборной. Всё шло к тому, что любому выбранному из списка практически ничего из своей жизни не возможно было утаить. И при этом далеко не все федеральные агенты и даже компетентные лица в госуправлении знали о существовании в разведструктурах подобной системы навигации, позволяющей вести поголовный мониторинг любых граждан планеты, не обладающих только специальной защитой.

Дежурный оператор налил себе чашку кофе, не оставляя без внимания нужный движущийся объект. Виталий ехал по шоссе, потом, свернув налево, направился на юго-восток, обгоняя параллельно движущийся транспорт. Оператор доложил по инстанции полученные на последнюю минуту данные, и наблюдателям возле дома Захарова дали новую вводную. За всеми вместе смотрели также и другие: верхнее, более закрытое звено.

Автомобиль с Виталием подъехал к перекрёстку. Картинка на экране вдруг завибрировала, изображение исказилось и «поплыло» волнами. Оператор испуганно уставился на экран, подкручивая джойстиком и подправляя клавишами характеристики фильтров. С него спрашивали результат, а не хорошую или плохую работу установки, поэтому в случае чего взбучки было не избежать. Никакие оправдания у них не принимались – наказывали всех одинаково.

На несколько секунд изображение на экране восстановилось, затем задёргалось снова, исказилось в сущую гримасу и исчезло совсем. Оператор судорожно пощёлкал на пульте кнопками, но уже понял, что восстановить картинку не удастся – такое уже случалось несколько раз. Объект на какое-то время был потерян. Главное, насколько быстро теперь удастся его найти, чтобы сбой никто не заметил.

А причиной сбоя было наложение волн от работы похожей на эту установки. «Частоты» временнóго диапазона, подобно радиочастотам, между потенциальными владельцами аппаратуры поделены не были. В данную минуту за Виталием следил кто-то ещё.

**11**

Истории взаимоотношений мальчиков и девочек мало чем отличаются друг от друга, но, наверное, в каждой из них найдётся какой-нибудь особый поворот, имеющий решающее значение для обоих её участников. С того момента как встретились Дима Захаров и Лида, таких поворотов было несколько. Всякий раз, когда судьба намеревалась сыграть злую шутку с одним из них, рядом обязательно оказывался другой.

Лида появилась во дворе, когда Димке было лет пять. Они жили тогда в большом многоквартирном доме, где была куча детворы, но девочка долго не могла найти себе подружек и несколько дней водилась с их мальчишеской компанией. Она с удовольствием принимала участие в их играх, нередко даже задавая тон, отчего со стороны своих юных приятелей рождала к себе самые разные чувства: от злости и зависти до детского почитания – какие угодно, только не равнодушие. Некоторые были рады видеть её в своих рядах, в этом проглядывался даже какой-то шик, некоторые открыто её не любили. Однако в целом баланс интересов всегда соблюдался, никто по малости лет особо не выступал, всё сглаживала радость общения и их каждодневные бесшабашные забавы.

Однажды они играли в бандитов. Чтобы «разговорить» пленницу, было решено отрезать ей палец. Димка за неё испугался и спас ей жизнь, причём проявил в этом деле излишнее усердие, которое сам от себя не ожидал. Главный бандит получил в нос и расплакался. Другому он порвал рубаху, рассадив его руку до крови какой-то палкой, остальные разбежались. А через полчаса Димкины родители принимали у себя несколько делегаций в составе мам и пап напуганных мальчиков с бранью на устах и пожеланиями всяческих неприятностей им самим и их коварному отпрыску. Разумеется, пришлось выслушать и гневную отповедь отца, которому он, естественно, не смог объяснить то, что творилось у него в душе, когда вся группировка во дворе восстала против его героини.

Так они подружились. Этот случай, безусловно, остался в их памяти навсегда, являясь предметом приятных и добрых воспоминаний. Вместе их водили в садик, и они ходили в один класс в школу. Димка рано начал проявлять свой странный норов, однако в любых сложностях, возникавших у него со сверстниками и учителями, он в первую очередь обращал внимание на реакцию Лиды, будто её мнение было для него превыше всего. Возможно, он искал тогда точку опоры, не видя в своей среде и дома лучшего авторитета. Он не задавался вопросом о её значении для себя, хотя на посторонние темы уже начал интенсивно размышлять, но и во время, и после школьных конфликтов, возникавших, разумеется, по вине его несуразного окружения, он всегда искал взглядом её глаза и, бог знает, что находил в них, ничего, в общем-то, не выражавших, однако обладавших для него таким магическим свойством успокоения. А в приватных разговорах с ней не упоминал о своих ощущениях ни разу, словно ничего особенного не происходило.

И для неё это также выглядело странным. Как и все, чуть-чуть считая его не от мира сего, она, тем не менее, с удовольствием компенсировала бы это его мальчишеской предрасположенностью к себе, замечая, будто он неспокойно по её поводу дышит, и широко проецируя сии факты в своём девчоночьем сознании. Сколько раз он уже давал повод подумать о своей слабости по отношению к ней. Она гасила его нервные срывы, когда он таял и забывал обо всём, казалось, от одного случайного её прикосновения. Они гуляли вместе, делясь друг с другом такими жизненными подробностями, которые не всякая, пожалуй, девочка смогла бы запросто выложить в кругу своих подруг. Родители Лиды его не любили, вовсю пытаясь внушить свои чувства дочери и тем самым ещё больше укрепляя её в противоположном мнении. Со стороны Лиды вопрос развития их дружбы в более серьёзные в будущем отношения представлялся вполне определённым.

Но он ещё не знал, чего хочет. Да, Лида ценила его качества, он это видел. Она открыла в нём человека так рано, когда детство не позволяет ещё смотреть на мальчиков как на предмет вожделения и даже на скрытый объект другого пола, носящий в себе признаки какого-то отличия. Но его стремления выговориться были растительными. Он точно так же общался бы с огромным дубом в лесу, только не позволял бы себе при этом шевелить губами. И в том, что славная девочка оказалась на время спутником его жизни, он ощущал лишь зависимость от мнения сильного авторитета, признавая в ней своего главного помощника, отдавая ей в том числе определённую дань уважения. Только и всего. Поэтому она и не могла никак понять его поведение, в котором разглядывала, как это делают другие девочки и даже взрослые женщины, какие-то особые чувства.

Нередко он заставлял её испытывать разочарование, но всё же был настолько неординарным, что она забывала о них на следующий же день. В нём жил бесёнок глубоко внутри и жуткая машина наяву. Обиды случались вскользь, но сильно ранили её. И понимание им того, что он наносит своей приятельнице обиду, многократно усиливало бы её последствия, если бы всегда после этого он не находил к Лиде совершенно нестандартный подход. И она всегда прощала его, надеясь, что это в последний раз. Такие эмоции уже властвовали ими в их подростковом возрасте. Без преувеличения можно сказать, что она его порой ненавидела, однако тем сильнее тянулась к нему, поскольку Димка умел привязать к себе любого, кто хоть раз проникся его волшебной дружбой.

Однако время шло неумолимо, а отношения Лиды с Димкой не становились яснее. Они всё так же возвращались после школы вместе, но после этого он сразу же усаживался дома за римские иды, выискивая в древности событий их последствия, либо корпел над решением какой-нибудь сложной задачи, готовясь к областной олимпиаде по математике. Многочисленные сообщения, которые она посылала ему на телефон, иногда оставались не прочитанными до утра, поскольку он настолько глубоко погружался в свои занятия, что про средства коммуникации просто забывал, о чём и говорил ей при встрече. Такая забывчивость также не способствовала сохранению её терпения.

В восьмом классе она увлеклась другим парнем. Ей просто надоело возлагать надежды на Димку, видя, как со временем он ничуть не становится к ней ближе, хотя пора бы уже, и начиная с завистью поглядывать в сторону подруг, давно уже испытывающих к своим ухажёрам приятные чувства послевкусия. Её ничуть не задевали постоянные подколы и шутки сверстников насчёт их дружбы. Она не обращала на них внимание, тем более что имела в классе репутацию сильной ученицы, серьёзной и последовательной распорядительницы своей судьбы. И даже глубоко внутри где-то просачивалось в ней чувство того, что она завела эти отношения с парнем именно в пику ему, Димке. Но он не ревновал, он вообще никак не изменился. Никакого урона их дружбе в его глазах нанесено не было. Совершенно спокойно он терпел бы её близость с новым приятелем, готовый выискивать для общения свободные минуты, когда она не была занята с другим ублажением своих юных потребностей. Это уже по-настоящему её бесило. Она готова была расстаться с Димкой, окончательно и бесповоротно, и как раз в тот момент Димкины родители купили дом, и он переехал жить в другой район.

В последнюю, как она думала, их встречу она умоляла его предпринять всё, чтобы остаться в их школе, даже пустив при этом, кажется, милую слезу. Он обещал доучиться на старом месте и сдержал обещание. Был разговор с отцом и матерью, приготовивших ему заранее элитное заведение, но он настоял на своём и последние два года до выпуска каждый день ездил через весь город на старое место учёбы. И почти каждый день встречался с Лидой до или после уроков. А со своим новым парнем, не успев как следует сойтись, Лида рассталась. Тот, узнав о Лидином с Димкой разговоре, не стал вникать в тонкости их необычной связи и в естественной манере высказал ей свои претензии. Они поссорились, разругались, а потом с лёгкостью послали друг друга в не слишком отдалённые места, искать которые вдруг стало сейчас их главной заботой.

Димка не воспринимал её присутствие как нечто для себя волнующее. Даже когда они однажды поцеловались, ощущение её сладких губ, нежной кожи, пылающей мягкости её тела, естественно, подняло его на несколько минут в воздух, но потом и бережно опустило на место, оставив лишь впечатление некоего потустороннего волшебства, не связанного сильно с общей реальностью вокруг. Он не питался сказками, он их изучал.

Разумеется, ему хватало сообразительности не впутывать свои мысли в канву чистейших ощущений его подруги. Не напрягать её нервы, мозг и не тратить силы на пустые исследования чувств в пока ещё совсем не критичный для обоих момент. Признаться в любви он бы ей не смог, но она и не настаивала. Он, разумеется, ценил её близость, чувствовал, что она ему категорически приятна, по-своему рад был усилить минуты интимного общения, словно заманивая милое существо в потенциально пламенные объятия, в чертоги высшего сознания, которое обвивало её всё новыми изощрёнными высказываниями, так что она после встреч с ним, словно пьяная, долго жила его ликом и его необычной страстью. Но потом он неожиданно остывал на неделю. На две, на три. То есть они виделись, но, вместо того чтобы наживать себе счастье, он кормил её какими-то мифами или нагружал проблемами отношений с родителями, делаясь холодным и задумчивым и полагая, что его образ без всего этого внутреннего содержания есть полнейшая неправда и он не может скрывать от неё свою истинную сущность. Его вполне устраивало и одиночество. Лида была удачей, чудом на мгновение, чем-то таким сверхвизуальным и сверхчувственным, что сравнимо лишь с нирваной, которой достичь, как известно, невозможно. Нирвана – это стремление, а понять, увековечить себя в этой высокой фантасмагории, в которой не остаётся сил для прелести любви, никак нельзя. Либо нужно отказаться от всего мира, но тогда упругою отдачей встаёт вопрос: к чему шёл?

Последние два года его столкновений с родными Лида вообще была для него на третьем или четвёртом месте. Она это ощущала, скрывая досаду и всё так же пытаясь его понять. Та нелюдимость, в которую он играл, била по её сердцу наотмашь. Но он так сильно и неподдельно нервничал, пару раз даже заставляя её принимать участие в их семейных разборках, что у неё непременно закладывалось впечатление, будто ему не к кому больше обратиться, не с кем по душам поговорить, будто ему нужно сейчас чувствовать верное, надёжное плечо друга, чтобы не скатиться в пропасть отчаяния и не натворить каких-нибудь безумных дел. Она часто недоумевала, как в кругу таких умных образованных людей могут существовать истинно враждебные по отношению друг к другу отношения. Как-то она разговаривала с Димкиным отцом, разумеется, по инициативе самого Захарова, и, заранее принимая Димкину сторону, действительно почувствовала в академике какую-то снобистскую возвышенность, излишнюю предвзятость в соприкосновении с домашними, да и вообще с людьми. На какое-то время она вроде начинала понимать Димку, но всё равно удивлялась тому, что обычная жизнь в обычной семье может принимать такие критические формы.

Что касалось Димкиного отношения к девочкам, то он никогда не выделял их в среде своих знакомых как-то особо. Он даже не смотрел порнуху, вернее, не смотрел её увлечённо, чем занимались, судя по всему, многие парни из их школы. Он всегда боялся обнаружить там явное посягательство на свою индивидуальность, сравнивая себя с другими и критически относясь к тому, что люди запросто открывают перед посторонними свои последние тайны. Может быть, эти тайны как раз и не главные, однако самой природой предначертанная для сознательного существа стыдливость не зря же убеждала людей во все века прикрывать детородные органы накидками, а упражнения в открытии их представляла как различного рода и не всегда правильные изящества: искусство, извращения, сношения. Димка не становился ханжой, но своего ещё не нашёл, и в таком случае его какая бы то ни было тяга к Лидии постоянно претерпевала качественные видоизменения. То он видел в ней своего искреннего друга, то тяготился её обществом, представляя, какой занудой он выглядит перед ней со своими проблемами.

Как-то он испортил ей вечер, и после этого они долго никуда не ходили. Однако при случае она, будто специально, распаляла его оригинальность неуместными суждениями, и он погружал её в среду своих скрытых форм сознания, воспевая и осуждая увиденное в кино или в театре с таких необычных сторон, о которых она вообще бы никогда не подумала. Она неизменно благодарила судьбу за их дружбу. Она и удивлялась ему, и любила его по-своему, всё ещё надеясь, что когда-нибудь он и к ней самой станет относиться как к одной из своих тайн.

Прозрение пришло неожиданно. Димка вдруг понял, что хочет чего-то большего – не от Лиды, а в целом по возрасту, по ситуации, по сути своего пребывания на этом свете. И с потрясающей очевидностью в какой-то момент он осознал, что именно она должна сыграть решающую роль, чтобы ему окончательно не остаться на периферии жизни. Он встречался с умными приятелями, начал активно включаться в научную работу университета, но с появлением новых интересов стал острее ощущать свою личную неудовлетворённость. И те позывы влюблённости, которые он угадывал когда-то со стороны девочки-школьницы, в полной мере отразились теперь в душе юноши-студента. Она никуда не делась, она была отменным другом. Казалось, она готова была терпеть любые его выходки, которые он себе, конечно же, не позволял, или старался не позволять, и если существовало в мире понятие преданности, то в её лице оно было представлено в исчерпывающей мере.

Он вызвал её на откровенность, как умел это делать, и увидел, как мгновенно засияли счастьем её глаза, как вмиг улетучились из неё хранимые с малых лет подозрения. Наверное, в первый раз они целовались от радости – долго, без всякого волнения. Они были на седьмом небе от ощущения отброшенных наконец в сторону всех недомолвок и околичностей. Точно детская удача, посетившая с лёгкостью два открытых сердца, оперила их надежды несказанной лаской будущего, придав силы для выполнения той серьёзной задачи, которую они сразу перед собой поставили. В тот же вечер они решили, что непременно сделают «это» в первый же удобный для обоих момент.

И вот теперь Лидия Табунчик появилась в его доме не просто так, а с вполне определённой целью, которая была и Димкиной тоже, которую каждый до поры до времени скрывал от другого, но которая неизменно доминировала в их подсознании в качестве главного в этот день события. Они не волновались пока – с чего бы, собственно? – но исполнить задуманное с ходу ни тот ни другой не могли. Да и слишком много всего предшествовало в настроениях, наслаиваясь сложной гаммой чувств, расстраивать которую простой неуклюжестью по отношению к партнёру не хотелось.

В доме никого не было. Димка специально выбрал время, когда им не смогли бы помешать даже отдалённые шумы работающей уборщицы или экономки. Тишина теперь не просто убаюкивала, она невольно действовала на нервы. Отстукивающие по паркету шаги освещали какое-то великое таинство душ, не позволяющее думать о чём-то малозначительном.

Проходя мимо, они зашли сначала в библиотеку. Лида задержала взгляд на полках, выказывая некое удивление солидным содержанием шкафов:

– Столько книг… Никогда не понимала массивности частных библиотек. Неужели всё это можно прочитать?

Димка ухмыльнулся, то ли поддерживая её сарказм, то ли пряча недоумение по поводу явного заблуждения подруги.

– Эти тома начали собирать ещё мои прадеды. Многим из них нет цены.

– В смысле раритетности изданий?

– В смысле информации, которая в них содержится.

Она опять его не поняла, и Димка уловил неловкость положения. Он всегда недоговаривал, отчего страдали их мыслительные функции, но пояснить сразу, что он имеет в виду, мешал его завзятый эгоизм, из-за чего возникающая по ходу пауза выглядела для неё мучительной, а для него всецело убаюкивающей.

– Всё знать, конечно, невозможно, но, по крайней мере, мой отец может в любой момент найти нужную книгу, в которой будут пояснения по интересующему его вопросу. Библиотека постоянно пополняется.

– Впечатляет. А для чего тогда нужен Интернет?

– Не смеши меня. В Интернете специальных знаний не найти. Там только общие сведения, к тому же не всегда точные.

– Ты говоришь так, потому что являешься сторонником бумажных книг. Было бы странным услышать от тебя иное, когда с малых лет тебя окружает такое количество сочинений и справочников. Но признайся, что в скором времени всё это, – она обвела шкафы рукой, – станет анахронизмом.

Димка счёл её слова наивными, но никак не показал, о чём думает.

– Далеко не все книги оцифрованы. И потом, с бумажными изданиями, с моей точки зрения, учиться и работать удобнее, когда всё интересующее по теме одновременно находится у тебя перед глазами. Есть определённые привычки, которые не стоит сбрасывать со счетов.

– Время их неизбежно сотрёт, и от старых привычек ничего не останется. Появятся новые.

Она умела настаивать на своём. Кое-чему она всё-таки научилась у Димки и гордилась этим. И он заметил, что иногда собственные его манеры поведения, как в зеркале, отражаются в ней по ходу их мягких дебатов, вызывая в нём чувство удовлетворения и радости, даже если он не мог ей достойно ответить. Именно за это он был всецело к ней расположен, а она, как истая уже женщина, пользовалась данным инструментом вдоль и поперёк, наращивая преимущество даже там, где первенство, казалось бы, напрочь потеряно.

– Есть привычки неискоренимые, они живут веками. – Он подошёл к ней вплотную.

– Однозначно. Когда забываешь только о дифференциальной геометрии и семимерной сфере, которыми ты нагружал меня в прошлый раз.

– Мне тебя не с чем было сравнить. – Он перешёл почти на шёпот. – Я думаю, это самое изысканное блюдо в высшей математике.

Он смотрел на неё возбуждающе. Если и была в Лиде какая-либо строптивость, то теперь от неё не осталось и следа.

Димка осторожно, безумно нежно потрогал её щёку. Затем бережно к себе прижал, и им ничего не оставалось, как соединиться губами. Лёгкая безмятежность пустого разговора вмиг улетучилась в безвестные дали.

Боже, какая же сладкая она была на вкус! И упругая, пышущая прелестью страстного дерзания, мечтающая о том бескомпромиссном даре его молодого темперамента, о котором она думала, наверное, во время любой их встречи! И зрелая, как персик, выхваченный из сада в момент его сочного благоухания! Её груди так любезно промялись под его порывистым натиском, что у него перехватило дыхание. Он забыл про ум и интонацию, всегда подспудно преследующих его любовь, разразившись только скорой, божественною правдой. Ему не хватало этих секунд, их сдержанности, их чуда, редкой, волшебной крутизны, дающей почувствовать всю гамму заоблачного счастья сразу. Он уже не соображал, что делает, мягко, но уверенно положил руки на её зад и с усилием притянул её к себе.

Лида не удивилась, а просто внимательно посмотрела в его бездонные глаза. Она ждала его таким.

Но, будто в последний раз, с отрезвляющей стойкостью он замер, собираясь с мыслями, успокоился и выдал, видимо, хорошо до этого обдуманное решение:

– Если мы поженимся, я возьму твою фамилию.

Опять метаморфозы. Она с трудом уловила суть сказанного, не представляя, о чём он сейчас может думать.

– Я смотрю, у тебя далекоидущие планы.

– Насчёт тебя?

– Да.

– Время ещё есть…

Он больше ничего не стал объяснять, снова отдалившись, и она с ужасом почувствовала, что теряет с ним контакт. Только не это. Только не сейчас.

Любовь беззастенчиво подсказывала выходы, голова без остатка была занята им, его настроением, самочувствием. Она знала его таким с дошкольного возраста и не желала отпускать.

– Не хочешь быть Захаровым?

Он посмотрел на неё вызывающе, как бы говоря: что она во всём этом понимает? Но, будто во сне, всё так же отрешённо выдавил из себя, отвечая неизвестно кому:

– Не хочу.

Мелкие вибрации вожделения потерялись в пустоте библиотеки, наполненной изданиями двухвековой давности и совсем свежими фолиантами. Дух знаний напитывал тело, теребя сознание мыслями: чего тут вообще ещё можно желать? Лида хотела уйти отсюда, но боялась предложить: как он ответит, она уже не знала. В смысле того, что ей слишком хорошо были известны эти перепады настроений, определяющие специфику его милой застенчивости и взрывного, потустороннего натиска, с которым он не завоёвывал, но отстаивал свои позиции. Он сминал все стандарты, его ни к чему невозможно было подтолкнуть. Но зато какая блаженная нечисть, бывало, исходила изнутри этого волшебного парня, заставляя торопеть от одного генерируемого им искуса, затуманивая голову и чувства, унося в даль совершенно не ведомых ей высот, она имела счастье знать не понаслышке. Она всегда его ждала. Даже в самые предсказуемые моменты существовала вероятность, что он повернётся к ней всем своим бушующим сознанием, откроется как ангел или устроит ей бесцеремонный разнос. И та забава, в чём она видела его периодическое надевание на себя непроницаемого панциря, давно приучила её терпеть любую его удалённость и не донимать его в такие моменты глупыми вопросами.

Димка словно ожил, взяв её за руку и активно увлекая за собой:

– Пойдём.

Они пришли в его комнату, светлую, будто открытую духу свершений. Лида чуть дрогнула, ощущая момент приближения события.

– Ты снова перебрался к себе? Не боишься? – Она указала на отверстие в стене.

– Нам сказали, вероятность того, что это снова здесь произойдёт, очень мала. Иначе впору не верить теориям и заниматься всяким оккультизмом.

Он без тени замешательства задёрнул на окнах шторы и выложил на стол кучу «резинок». Чуть задержался перед ней, уловив типично девичью настороженность, отдающую фокусами трезвого взгляда на события. Затем резво снял футболку, оголив торс, и бросил её на стул.

Едва заметная шаловливость блеснула в его глазах, и этого было достаточно. Лида была его полностью – и душой и телом, и любовью, и тем не признанным ещё очарованием, которое он вознамерился постичь, окутывая её своей плотью, ощупывая, обласкивая, наслаждаясь сочностью её губ, прерывистым её дыханием, горячими струями, вырывающимися из ноздрей и обдающими его щёки, подбородок, шею и рот. И оттого все его повелительные движения теперь воспринимались ею как нечто должное. Он беззастенчиво снял с неё блузку и то, что под ней находилось. Потом легко расстегнул молнию, сбросив вниз юбку, и с особым трепетом, засунув пальцы под резинку, спустил до самого пола её трусики. Лида перешагнула через одежду, словно освободившись наконец от ненужного барахла, и предстала перед очами знаменитого юноши во всей своей неописуемой девичьей красе.

Она стояла перед ним голая, а он не мог ею налюбоваться. Совершенно значимая, осязаемая, к которой можно было явно прикоснуться, представленная яркой плотью, а не просто умозрительным эффектом слюнявого обожателя, она затмила воображение цельным видом своего штатного пышущего благоухания, игриво-розовыми сосками и тёмной ворсистостью промежности, так что он оторопело, в туманной неге разглядывал перед собой её тело и словно забыл начисто, к чему следует приступить. Она его пьянила и душила этим видом. Он мог бы впасть в отчаяние, если бы машинально не предпринял действия, которые можно было трактовать как слишком смелые. Но вот теперь, сделав шаг, устранив преграды ложной скромности, он обязан был предстать перед своим божеством порочным фавном, а как выступить в данной роли, как будто совсем не знал. И словно подтрунивая над его нерешительностью, Лида прямиком указала пальцем на его штаны, вернее туда, куда якобы были устремлены её мысли, не столько спрашивая, сколько донимая его игрой воображения:

– А сам?

Сам он был готов в пять секунд. Впервые протянув к ней руки и ощутив приятную нежность её кожи в контексте целенаправленного сближения, он заключил её в объятия, страстно желая этого тела, искренне удивляясь тому, почему боялся думать об этом раньше. А когда сквозь поцелуи она уверенно потрогала его там, где на данный момент было сосредоточено всё его мужское достоинство, его восторгу не было границ, потому что он понял, что именно теперь он ни с кем другим не был бы так счастлив, как с Лидой.

Квинтэссенция сексуальных отношений заключается в обожании партнёра до такой высокой степени, что она уже не сможет нарастать ни при каких других условиях. Плотская страсть возносит любовь до необычайных высот, и, наоборот, без любви не может служить началом искреннего сближения, являться главной вехой на пути прогресса отношений. Если взаимопонимания до этого не было, то яркие переживания секса окажутся и последними, и далее, вероятнее всего, последует спад настроений, поскольку секс сам по себе ничего не значит: это процесс психологический, а не телесный. Стоит упомянуть, что в большой концентрации половых гормонов в крови повинны наши представления, а для здорового человека представления – это наиболее важная жизненная форма вообще. Общие принципы, тонкие вибрации души, нрав, системность получения информации делают из нас личности. Успехи и поражения, крупные и мелкие неурядицы лишь закрепляют то, в чём уязвим каждый конкретный индивид. Однако так устроена человеческая психика, что именно на последнюю группу критериев ориентируется наше сознание, именно с их помощью определяет качество своего пребывания в этом мире, и, следовательно, во главу угла ставит возможность воздействия на других, а не формирование самого себя. Если кажется, что вы сильны в умении доставлять людям неприятности, то уж обуздать самого себя якобы способны и подавно. На это не надо тратить никакого уважения, потому что вы всецело во власти самоуверенности. Однако известно, что авторитет выше у того человека, который лучше владеет собой, а не манипулирует чувствами других. Простое отношение к окружающим в сопоставлении с вашим характером говорит само за себя: богатый вы внутренне или обычный неврозный спекулянт. Есть в ком-то недоработки или вы намеренно пытаетесь обидеть его, применяя навыки опасного животного, чувствующего жертву по запаху. Потому секс, заключающий в себе функции владения и трепетания перед избранной (избранным) одновременно, столь однозначно трактует умение как силу слабости, что замыслы ваши становятся понятными с первых же действий. В сексе всегда хочется усилить воздействие. Устранить недосказанность (чтобы обозначить другую), возвысить лирику души, либо ударить по жертве наотмашь. Притягательность данного акта с тех пор как человек превратился в сознательное существо всегда оставалась одинаковой – вовсе не той, что ведёт к обычному деторождению.

Наверное, Димка полагал, что настало время главных для него испытаний, тем более что результат их зависел от меры сексуального удовлетворения обоих, а не кого-то из них в отдельности. Удовлетворения, понятное дело, принципиального: получилось – не получилось. Пока что так. Но поскольку они с Лидой были знакомы с малых лет, его нынешняя решительность приобрела для него очень важное значение, будто такое, ради которого они, собственно, и терпели друг друга, находясь всё время под гипнозом странного взаимодействия. Бывает так, что отмеряешь срок нелогичной протяжённостью, а главные вехи отмечаешь там, где со стороны не обнаруживается ни одного сколь-нибудь серьёзного события. Концерт индивидуальности очень своеобразен. При необходимости даже объяснить его себе удаётся не каждому, не то что выстроить на его основе схему собственных представлений о мире и населяющих его существах. Но теперь Димка точно знал, что наступил момент определяющий, который окажется знаковым в их последующей жизни, и дело заключалось не в том, насколько успешно они почувствуют в себе мужчину и женщину. Дело заключалось в реальности или нереальности вновь приобретаемых желаний, силы веры, задающей ориентиры на будущее, в существовании или не существовании, наконец, сильного влечения, способного затмить последствия самых суровых бед на земле. Насколько точно они будут совпадать уже и в этом, настолько продолжительной и окажется их любовь.

Что-то пошло не так. Не успев насладиться игрой страсти, намеренно оттягивая тот важный момент, к которому они оба стремились, он вдруг быстро сдулся, и никакие лобызания, никакое пыхтение возле неё не помогало почувствовать в себе необходимую на данный момент силу. Он старательно тёрся об неё, пуская в ход руки, пытаясь возродить промелькнувшее было желание похоти, но ничего похожего на то, что он ожидал, не происходило. Теперь, когда сама жизнь свела их устремления в единый порыв, Лида вдруг перестала выглядеть наслаждением. Он почувствовал, что всё равно был занят чем-то другим, а обнаружив свою унизительную беспомощность, испугался и ещё сильнее стал зависим от дурных мыслей.

Явное несоответствие настроя и возможностей больно ранило его, и от стремительно надвигавшегося краха уже не могло спасти никакое очарование её губ, бархатной кожи, упругости её грудей. Мысли заняли всю его плоть. Они посетили самые отдалённые её уголки, аннулировав команды и расстроив так хорошо налаженный, казалось бы, механизм. Он уже теперь анализировал, не в состоянии понять, что не так, почему не складывается стих, каким образом самое желанное, душистое тело на земле отстранено от его примитивного, в общем-то, участия. Он никогда не видел её такой, но вот сейчас вдруг потерялся, не найдя для себя, оказывается, ничего уникального. Сладкие мечты остались мечтами, явь затуманилась обыденностью, порок не стал волшебной сказкой бытия.

Ещё ярясь превысить свои полномочия, он с какой-то грустью в глазах отдавал дань её наготе, но сам уже осознавал, что ничего не будет. И только в мучительной тишине с перехватывающим искусственно жарким дыханием соображал, как бы от всего этого половчее отвязаться.

Наконец терпение его иссякло. Он соскочил с кровати и, ничего не говоря, ушёл в ванную комнату.

Он был ошарашен, убит, растерян. Сердце стучало на грани отчаяния, норовя превратить неудачу в катастрофу. Казалось, и стены, и зеркало, в которое он тупо уставился, оценивая себя с ног до головы, смеялись над ним, указывая на него пальцем, обременяя его унизительной процедурой самобичевания. Он знал, что Лида не придаст этой осечке никакого значения. Вернее, она сама будет за него переживать. Однако горькое осознание того, что он уязвим больше, чем думал, что даже в таких простых вещах ему отныне требуется помощь: особый настрой, особая аура сексуальных переживаний, какие-нибудь таблетки, наконец, – ущемляло его гордость до уровня простого страждущего.

Он вспомнил слова матери про его шлюх и возненавидел её сейчас до мельчайших крупиц сознания. Эти слова отбивали с пульсом каким-то странным упрёком, который он не понимал и не принимал от неё, хотя, разумеется, она ни в чём подобном и не думала его упрекать. Но слова были произнесены. Она не пыталась его унизить, однако едкое замечание о его неумении завоёвывать сердца, поскольку она, безусловно, знала о нём больше, чем он сам о себе, роняло его в собственных глазах ниже всякого плинтуса. Теперь он уже понял окончательно: всем откровениям с матерью пришёл конец. Откровениям вообще с кем бы то ни было. И с Лидой теперь неясно, до какой степени открытости признавать в себе её участие. Ему совсем не хотелось преодолевать себя за счёт других. Вдруг вообще ничего не получится! А излишние подробности осядут в чужой памяти таким дурацким его видом.

Лида проскреблась в ванную тише дуновения. Он увидел в зеркале, как она подошла сзади, обняв его за талию и став горячее, чем он мог себе представить.

– Дим, ты чего?.. Не переживай, это же такие пустяки.

Всё-таки она была удивительным человеком. Он не раз ощущал, как она успокаивает его. Даже не словами, а таким необычным поведением, которое предназначалось только ему одному, которое только на него одного бы и подействовало. Её дар в таком случае невозможно было переоценить: такая вот незримая ласка, выражаемая по-особенному и проникающая под кожу лёгким прикосновением пальцев, души, голоса, чуткости, сознания – мелким воздействием нейронов, испускающих пучочки плюсовых усилий, влияющих на чувства как магическое заклинание. Она дорожила любым его вниманием, потому что знала, что была ему небезразлична.

– Что-то во мне не так…

– Да, конечно. – Она нежно повела ладонью по его бёдрам. – Скажи мне – что?

Он посмотрел в отражение её глаз. Лида по-прежнему томилась желанием. Совсем не рядовой случай не давал ей в очередной раз оставить его при своих мыслях.

– Не знаю... Я не могу объяснить, почему оказался не в форме. Наверное, это не совсем то, что мне сейчас нужно.

Он испугался своих слов, но Лида как будто ни капли не обиделась.

– Тебе только так кажется, – прошептала она ему на ухо.

Затем развернула его к себе лицом, провела пальцем по его губам, подчеркнула дуги бровей, насладилась мягкостью его щёк и ласково, как ребёнка, погладила по голове.

Душа опять завибрировала. Они утонули в поцелуе, тревожась ощущением любимой плоти. Казалось, и ценность её стала совершенно другой: не просто опьяняя, но вселяя дух терпкой, основательной надёжности. Лида снова отдалась во власть Димкиных эмоций, теперь уже и руки её весело возились с его телом, ублажая своим присутствием там, где в других условиях не позволяли правила приличия. Их шальная игра растянулась на минуты. Глаза загорелись суетой, но Лида и тут предусмотрела усиление впечатлений. Она включила душ, затащив его под струи тёплой воды, которые, будто летним дождём, омывали голову, плечи, ладони и губы. Новые условия раскрыли её с необычной стороны: дерзкую, увлекающуюся, жаждущую приключений, в стремлении принять его таким, какой он есть, в стремлении познать наконец-то его реальную трепетность, его любовь, силу, его величие и напор.

Сердца стучали в унисон. Поднимаясь паром, улетали вверх устали, недоразумения. Лёгкость бытия отшучивалась натиском страсти. Стройная Елена купалась в объятиях Париса, сводя с ума его молодость, желанность, добавляя к неописуемым чувствам единения свой особый, волнующий изыск.

Она мягко отстранилась, замерев с лукавым взглядом, потеребив ноготками и ласково ущипнув его соски. И потом, скользя ладонями по его телу, вызывающе опустилась перед ним на колени, решительно переводя догадку в область реальных ощущений, то ли смиряясь с нравами лёгкого поведения, то ли возводя их взаимность до невиданного уровня чудес.

Он чувствовал тёплую влагу её губ и языка, словно погружаясь в вязкий водоворот надменной похоти. Он чувствовал обожание, такое понятное и тревожное одновременно, что не отреагировать на него не мог по определению. Он стоял, расставив ноги и устремившись взглядом куда-то в потолок, вздымаясь грудью, глубоко дыша, как перед битвой, готовясь к прыжку и норовя не испортить для неё такой чарующий момент вдохновения. И тут же наблюдая, как не какая-то потусторонность, а именно она внизу, ловко орудуя его причиндалами, добивается теперь его величия, момента истины в их отношениях, одновременно с усилием вцепившись пальцами и проверяя на упругость его ягодицы. Он снова напрягся в полную силу, и главное, не только ликуя, но испытывая настоящее желание провести этот сеанс дружбы в полном соответствии с их замыслом.

Лида довела его таки до точки кипения. Он поднял её на ноги, вцепившись языком ей в рот. Он целовал её шею, груди. Её пышущее девственностью тело не знало страха, и он любил его со всею силой своего истинного предназначения.

Всё произошло само собой. В порыве возбуждения он не слышал, как она стонала, и не заметил, как капали кровинки на омываемый водой пол. Димка прижал её к стене, она обвила его трос ногами, усевшись на нём, как на дереве, и он в прохладе умывальни красиво и качественно сделал с ней то, что получасом ранее пытался предпринять в тёплой торжественной постели.

Они лежали голые на кровати поверх одеяла. В блаженной устали рассматривая стены и потолок, ощущая теплоту тел друг друга, они уже не полагались на правдивость слов – слова были не нужны. Сладкий покой, избавление от какой-то тяжкой загруженности, обременявшей до сих пор души, приятной истомой наполняли грудь и конечности. Мягкие его поглаживания были не игрой, а благодарностью; она его понимала, поглядывая сбоку на его образцовый профиль, и Димка, не утерпев, повернул к ней голову и улыбнулся. Он знал, что захочет её ещё, будет хотеть её всегда, потому что такого вот изумительного синтеза тела и характера вряд ли ещё сможет когда-нибудь найти. Все горемычные его предубеждения способна понять только Лида, а в её искреннем стремлении к нему растворятся любые несуразности поведения и всякая глупая его неуживчивость.

В доме по-прежнему было тихо, но казалось, будто эта тишина после концерта, тронувшего сердца особой выразительностью музыки. Он повернулся на живот, положив руку на её груди: её тело-загадка так же мерно дышало любовью. Спокойствием светились её глаза. Отведав ясного, в упор, их очарования, он наконец понял, что хотел сказать:

– Я безумно рад, что мы вместе. Спасибо тебе.

– И тебе тоже.

Он сжал её ладони. Прижавшись к ней грудью и потеревшись щекой о её щёку, он впервые ощутил прелесть обычных, не подразумевающих сексуальные ласки поцелуев. Нежно-нежно, едва касаясь губами её губ, носика и глаз, он ощутил небесную радость тихих чмоков, которыми одариваешь родное существо, видя в нём своё счастье, богатство, вдохновение, сопереживая его расстройствам и потакая его слабостям. Она была его реальным очарованием, мягким и пушистым на ощупь, не каким-то метафизическим, а вполне предметным, подвижным, познаваемым. Наверное, ему действительно не хватало чистого солнца, проткнувшегося сквозь густую завесь облаков, просиявшего столь выразительным, захватывающим образом. То, что он воображал себе, глядя на её привлекательные формы, но обязательно примешивая к сладострастным слюням свои снобистские оценки, вполне ожидаемо оказалось вершиной удовольствия. Однако только сейчас, испытывая огромное облегчение и оправданный оптимизм, он готов был признаться себе, что до сих пор боялся своих чувств. Настолько сильно боялся серьёзных отношений с женщинами, что ещё в школьные годы, инстинктивно угадывая свою уязвлённость, выстроил перед собой высокий забор непонимания. Он прятал неуверенность в с воём отменном индивидуализме, противопоставляя себя всякому, кто только пытался тронуть его особый нрав. И вот теперь, после такой важной, так нужной ему победы, победы над собой, готов был признать это открыто. Когда в игре фартит по-крупному, вы, безусловно, можете позволить себе немного откровенности.

Он отдавал себе отчёт, что именно Лида помогла ему укрепиться в самосознании. Она умница, она и дальше ему поможет. По крайней мере он наконец сможет почувствовать себя человеком, его ждёт прекрасное будущее.

Надо будет только разобраться с родителями. Родители – это теперь главное.

Он не отпускал её, но Лида и не думала противиться. Так они пролежали почти час, и не было их любви конца и края.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Я склонен думать, воздавая должное добрым намерениям наших властителей, что не достигнув желаемого, они сделали вид, будто желали достигнутого.

Мишель Монтень, «Опыты»

**1**

Приятное ощущение свежести, как обычно, ворвалось в комнату началом дня. В конце августа утренняя прохлада уже чувствовалась отрезвляюще. Ещё не тянуло с улицы той осенней зябкостью, принуждающей думать о комфортном домашнем очаге и возвращаться к внутреннему уюту с его неминуемо мягким вчерашним настроением. Но позывы встряхнуться от летаргического сна так или иначе давали о себе знать, как только по-военному чётко он вскакивал с постели и распахивал окно, принуждая супругу, безрадостно или с удовольствием, испытывать одинаковую с ним гамму чувств.

Впрочем, жена уже встала и готовила завтрак на кухне – было слышно, как она брякает там посудой. Дети гостили у родственников. Глеб Борисович по привычке уверенно встретил новый день, надев халат и засунув ноги в тапочки, уже прикидывая план действий, которые, отражая его рутинную занятость, требовали постоянной корректировки. Он находился в великолепной форме, что само по себе наполовину обеспечивало ему успех в любых предприятиях. Профессиональные навыки, которыми он обладал, давали отдачу в полной мере. Неудивительно, что и дома он давно чувствовал себя победителем, высоко подняв планку отношений с близкими, что, впрочем, принималось остальными без напряжения, по-деловому сдержанно, как в офисе: все соглашались жить в этом доме как по расписанию. Жена его была высокообразованной, интеллигентной особой; наверное, это обстоятельство накладывало на их близость дополнительные ограничения. Всё своё они давно уже отговорили, и теперь только заботились о покое: о супружеском и личном, в котором пытались, будто психологи, узреть скрытые мотивы.

Горячий душ восстановил его тонус окончательно. Каждое утро было похоже на предыдущее не только по обычаю, но и по ощущениям, хотя к ним за прошедшие годы можно было привыкнуть до оскомины. Никаких занавесок – он сделал себе просторную душевую с холодного цвета кафелем, так что в шуме воды создавалось впечатление, что он стоит над обрывом, омываемый струями сказочного водопада. Зримое пространство вдали с меняющейся периодически подсветкой возвышало его внутреннее «я», как у моногамно зрелого субъекта, отвечающего за свои поступки, действующего отнюдь не с позиции сорванца. Когда-то он был подкуплен игрой воображения и теперь нисколько не жалел о потраченных на это сооружение денег. Эти стены с необычными эффектами буквально впитали в себя часть его воодушевления и угнетённости.

Когда он вышел завтракать, жена уже сидела за столом, церемонно управляясь вилкой и ножом, похоже, придавая своим действиям больше смысла, чем в данном случае требовалось. Она только взглянула на него, решив не нарушать покой ненужными словами. Вернее, она ничего не решила, и если бы возникла необходимость спросить его о чём-либо, вот тогда и пришлось бы подумать о целесообразности прервать молчание. Но сейчас она не пожелала с ним разговаривать, и данным обстоятельством оба были всецело удовлетворены. «С добрым утром» они уже сказали друг другу до этого. И ещё она предупредила мужа, что убрала его ванное полотенце в короб для стирки и чтобы он взял новое. Более никаких существенных бытовых моментов затрагивать не требовалось, а болтать о пустяках они не любили. Как-то неожиданно они заметили однажды, что вызывают этим недовольство друг у друга, и, как по команде, перестали без надобности открывать рот. Странным образом их любовь – или что-то похожее на любовь – долгое время обходилась без слов.

Размеренный аристократичный быт семьи не нарушался в его присутствии и детьми, подсознательно считающими отца носителем каких-то особых привилегий и привыкшим к его блажи и манерам с малых лет.

Глеб Борисович прошёл на своё место, чинно уселся за стол напротив супруги и, будто готовясь к нелёгким объяснениям, позволил себе изучить её продолжительным взглядом. Жена не смутилась, такое поведение мужа также входило в их утренний обряд. Она просто ничего не заметила, как всегда позволив ему по-своему наслаждаться жизнью и сколько угодно получать удовольствие от своих придирчивых оценок, в каких угодно количествах, только чтобы он оставлял их при себе. Собственно, таким же правом ничего не слышать обладал и он, отчего и недовольство, но и радость большей частью оставались у них скрытыми. Хотя глупая радость давно считалась в их доме неуместной. Поэтому признаки эмоций лишь пытались отражаться на лицах этих героев, сами же всполохи чувств, пустые рассказы и объяснения, случались здесь чрезвычайно редко. Они затихали не возникнув, не вырываясь наружу, не ожидая реакции близких, просто откладывались на более удобный случай, однако потом неизбежно забывались. Всем своим видом Глеб Борисович показывал, кто у них дома хозяин. Он старомодно возвышался над остальными, подавляя суету своей матёрой образованностью. Он сам излучал здоровье и боролся за чистые души, но мало что пояснял, и нечастые его разговоры с родными никак не способствовали их сближению.

Взяв в руки приборы, он не спеша принялся за завтрак, и оба погрузились в собственные мысли.

Он обожал кушать в своей огромной, отделанной мрамором столовой, наслаждаясь духом патрицианства, привнося в простую потребность утолить голод элементы некоего странного церемониала. Стол был удлинённой формы, они садились по торцам, поэтому моменты, когда возникало бы желание что-то передать друг другу, предложить, как бы начисто исключались: для этого необходимо было бы часто вставать. Приятной беседе за обедом или ужином такое расположение за столом также не способствовало. Когда обедали всей семьёй, дети садились вместе в середине, чтобы хотя бы в своей среде чувствовать рядом чьё-то присутствие, не устремляя взгляд вдаль, словно в иной мир. Создавалось впечатление, что такую традицию, одну из ряда подобных, на которых настоял в своё время Глеб Борисович и ему никто не стал перечить, он придумал специально, однако никто из близких не понимал его вкусов, из-за чего относился к нему сдержанно, если не сказать настороженно.

Питались всегда в полной тишине, так что эхом вокруг разносились бряцание по фарфору приборов и хруст откусываемых свежих овощей. Никакого радио и телевизора здесь никогда не было и не планировалось, ничто не должно было нарушать покой во время приёма пищи. На столе обязательно присутствовал бокал с чистой ледяной водой: ею он создавал экстрим во рту, перебивая вкусы, чтобы ощутить их вновь и вновь.

Обстановка дворцового величия вносила в простой обед или ужин какой-то драматический эффект. В такой строжайшей атмосфере неуместным казалось даже лишнее шевеление, а случайный кашель или чихание рисовались в голове как событие, способное отрицательно повлиять на все происходящие в зале процессы. Неудивительно поэтому, что отсутствие дома отца дети воспринимали с удовольствием, а жена, Глеб Борисович, безусловно, чувствовал это, просто играла по его правилам, не трогая его восприятий и не внося в домашнюю обстановку лишнее напряжение. Где-то они друг друга терпели, где-то и не пытались понять, но жить душа в душу было бы для них слишком утомительно. Да и вряд ли подобный брак мог состояться, предъяви кто-нибудь из них претензии на ограничение чужих свобод. Они давали друг другу только то, что было необходимо, в остальном старались не мешать, и по крайней мере сам Глеб Борисович был убеждён, что это правильно. Поэтому и теперь, и в любой другой день он испытывал глубокое удовлетворение от того, что две простые вещи – приём пищи и тишина, по его желанию, совмещены воедино и никто не собирается это правило нарушать. Пусть Вероника немного и рисовалась, невольно напуская на томные губы строгость, причуды женской натуры его не заботили, он был спокоен. И пока её мнение не касалось его напрямую, он мог видеть перед собой лишь то, что хотел, и думать за столом о чём угодно, не только о своих делах.

Ему мечталось в такой обстановке чрезвычайно широко. Свойства туманных образов, отражающих грани настроений, не поддаваться словесным описаниям очень способствовали проявлению подобных странностей в молчании, поскольку если бы потребовалось поведать о них присутствующим, его рассказ превратился бы в сбивчивое нагромождение символов, от которого стало бы скучно ему самому. И хотя Вероника даже не догадывалась, какого рода фантазии посещают её мужа за столом, ему нисколько не было досадно за себя. Наоборот, тот легкомысленный бред, которым увлекались некоторые подруги жены, да, наверное, и сама Вероника, к его великому счастью, не являлись потребностью его натуры и, таким образом, оказывались скрытыми от чужих ушей. Он допускал отклонения именно в такие вот минуты тихого созерцания, когда и пища и любовь растворялись в формальностях домашней жизни, а он наконец-то мог чувствовать себя некоторое время спокойно. Тогда он погружался в некий сон, выполняя наружные действия и анализируя их автоматически. Он видел то, что не мог видеть раньше, и его видения неизбежно обрастали некой художественностью. Он словно дразнил свой разум отвлечёнными мыслями, ощущая, как внутренне необыкновенно похож и на этого журналиста Виталия, и на сына Захарова, судя по рассказам академика, и на одержимого безумными идеями своего родственника Канетелина, чему удивлялся иногда в том смысле, что для удовлетворения таких схожих желаний всем им требуются совершенно разные, даже не сопоставимые одно с другим средства. Только здесь, в домашнем уединении, поскольку жена в данный момент лишь дополняла детали обстановки, мысленно благодаря её за молчание, он, не теряя связь с действительностью, отправлялся в какое-то странное путешествие, отвлекаясь на вкусы, запахи и цвет и составляя при этом картины сторонних миров, питаясь мифами подсознания, где нестерпимая возня отсутствовала напрочь. Это было мягкое добавочное наслаждение, которым жил не ребёнок, но радовался зрелый и вполне состоятельный человек. Он знал ему цену, этому наслаждению, он не боялся быть ему проводником. Он вычленял свою радость из какого-то скучного сиюминутного участия, заполненного всегда неисчислимыми проблемами других, и поэтому быстро от них отворачивался, завязав своё спокойствие строго на себя и увидев сразу же, что жена его не настолько глупа, чтобы гневно порывать с ним по таким пустякам. Он был прав: даже редкая любовь стоит больше, чем частое угодничество.

Сейчас он думал о мягко разливавшемся по залу свете, об удивительной гармонии оттенков, которыми играли плиты пола и стен, и неприятно хрустнувшем у него в ванной суставе, боль от которого отдавала в руке до сих пор. Болезненные ощущения нарушали его покой, но всё же медленное поглощение омлета с ветчиной в состоянии возвышенного упоения любимой обстановкой формировали тот серьёзный задел на день, который и обеспечивал ему нужный тонус. Вероника блистательно тупо уставилась в свою тарелку, кушая также не торопясь, и это было самое лучшее, что она могла ему сейчас предложить.

Однако идиллически начавшееся утро имело сегодня не вполне предсказуемое продолжение.

Он вдруг ощутил во рту резкий привкус соли, замерев от неожиданности. Жена тоже перестала есть, уловив его заминку и окатив его спокойным, строго лиричным взором, без тени смущения на лице. Супруги, как два цезаря, уставились друг на друга через стол, и обоим стало ясно, что уж теперь-то им точно будет о чём поговорить.

– Ты очень сильно пересолила овощи, – без всякого акцента на недовольство констатировал он.

– Разве? Извини. – Она отрезала кусочек варёной спаржи и положила себе в рот. – Наверное, задумалась о чём-нибудь и посолила дважды.

Естественно, он ей не поверил, отнеся на счёт её женского характера то обстоятельство, как глупо она пытается его задеть.

– Когда готовишь, пожалуйста, не спи.

Как он ни старался, в его голосе всё же промелькнули нотки раздражения, и по тому, как она ответила, стало ясно, что сцена эта затевалась заранее.

– То же самое я хотела сказать тебе, когда ты ешь.

Теперь он уже не мог спокойно пережёвывать. Теперь она его не глядя наблюдала, изничтожая своим высмеивающим эго его правила, весь этот божественный уклад, который он тут годами организовывал. Каждый лист салата – в назидание, каждый кусочек колбаски – как упрёк. Он повозил вилкой по тарелке, не понимая, чем вызывает недовольство супруги. Потом оставил завтрак, подошёл к ней и, усевшись рядом, заявил ей в упор:

– Хорошо, давай поговорим. Скажи мне, тебя что-то не устраивает?

Она словно ждала, что он именно так и поступит. Сделала глоток воды и, когда он уже приготовился её выслушать, как ни в чём не бывало продолжила есть омлет.

Он решил, что это поза, что ей есть что сказать, но она намеренно медлит, набирая очки, играя, как может, на его крепких нервах. Кажется, ей даже нравилось, как он рассматривает её, придирчиво изучая каждый жест, красоту осанки, манеры, медленное пожёвывание – всё то, что так идеально согласуется с интерьерами их обширных помещений.

– Тебе не нравится, что я мало с тобой общаюсь? Но я действительно люблю тишину и покой. Мне нужен полноценный отдых.

Они никогда не ругались, для этого просто не было повода. А подобные сегодняшнему недоразумения всегда улаживались спокойным тоном в несколько минут. По крайней мере ему казалось, что они оба принимают убедительные доводы другого, поэтому в их семье никакие недомолвки копиться не могли.

– Давай обсудим что-нибудь, если тебе нужно.

Она наконец резко взглянула на него, выбрав момент, чтобы отрезать:

– Перестань, пожалуйста. Я давно уже не знаю, о чём нам разговаривать. Это требует усилий, что неправильно. Если ты заботишься о нас, будь немного податливей.

Пока он переваривал её слова, она быстро допила чай и, поднявшись из-за стола, сказала:

– Пожалуйста, доедай завтрак. Мне пора уже ехать, а нужно ещё убрать со стола.

Сегодня она умчалась на работу раньше его, оставив его в недоумении по поводу наметившихся трений. Или они давно уже не в ладах, просто он этого не замечал? Не хотел замечать. Впрочем, и Вероника, наверное, знала, как придать мелочам свойственную женщинам форму проблемы. Они всегда всё преувеличивают, эти женщины, поэтому и думают не о том, разбрасываясь и на предметы, и на людей, и на своё окружение, и везде, естественно, видят противоречия. Иначе и не может быть. Он же людей никогда не идеализировал, он их вообще по-настоящему не замечал. Если рассматривать людей как предметы, становится намного проще жить. Ты пользуешься только их полезными функциями, они – твоими: взаимовыгодный процесс, включающий в себя и удовольствие с радостью, и надежду, и даже любовь, описанную Захаровым как подсознательный уход от реальности для подключения к функциям организма сфер иррационального.

Когда всё это началось? Он даже не мог определить. Для него утро и вечер всегда были одинаково прелестными, только иногда прерываемыми некоторыми семейными делами. Бóльшую часть забот по дому несла жена, ей помогала экономка. Обеим он был в нужной степени благодарен, в той, в которой позволяла ему его мужская щепетильность. Поэтому никакого недовольства рядом с собой он до сих пор не замечал. Его заведение существовало как элитный клуб – высшая, по его мнению, форма семейного благополучия. Жена питала нежность к детям, уважение к нему, и этого было вполне достаточно, чтобы считать свои тылы надёжными, подразумевающими исполнение всех желаний, какие может иметь не искушённый в жизни человек. Любые гости неизменно отмечали красоту их дома и отношений, которые сразу же бросались в глаза, причём не могли не выглядеть взаимосвязанными. Вероника, следует отдать ей должное, умела поддерживать в себе образ благородной деловой дамы. Она неизменно пленяла статью и умными замечаниями всяких лысоватых толстячков с масляными глазками, заезжающих к Глебу Борисовичу вечерами, чтобы обсудить неслужебные вопросы. Ей, с рождения знавшей комфорт, нетрудно было изображать светскую диву, испытывающую по жизни конкуренцию со своим ещё не достигшим пика карьеры мужем. Но он освободил ей нишу полностью. Не задавая тон, она, тем не менее, не могла не чувствовать, что обладает в доме влиянием и большой свободой действий, поэтому её претензии по поводу ущербности и зажатости её жизни здесь выглядели настолько необоснованными, что высказывать их она просто не решалась. Таким, какой он есть, она знала его давно, и в одночасье рвать нажитые годами связи ей было не с руки. Всё-таки он был для неё полезен, что подтверждало его мужские взгляды в ответ на её женские метания в вопросах счастья.

Он прошёл в спальную, невольно задержав взгляд на их кровати. Она была убрана сиреневым шёлковым покрывалом, неся в себе отблески их блаженного настроения. А он ведь когда-то млел от удовольствий, жил предвкушением сладких вечерних игр. Тогда ему не надо было напрягаться на работе, и тот светский образ жизни, который постоянно сидел у него в голове, он ещё умел совмещать с простыми радостями семейного быта. Наверное, тогда было больше досады и нетерпения, но вместе с тем отчаянные надежды, питавшие его изнутри, словно разглаживали неровности двух несносных характеров, и такая нестойкая их любовная конструкция казалась вполне обычной. Он мечтал о карьере и многого добился, а Вероника просто не глупила, что, по его мнению, и являлось залогом их семейного благополучия.

Усевшись на кровать, он, будто впервые, ощутил её приятную мягкость, погладив покрывало и вспомнив себя и Веронику, когда они только поженились. Столько лет прошло, обстановка уже поменялась несколько раз, чувства, наверное, тоже. С возрастом чувства тоже становятся зрелыми. И тоже потом стареют. То однообразие привязанностей, которые многие связывают с душевной близостью людей, неизбежно трансформируется в более закрытые формы переживаний. С Вероникой ему ещё повезло, она не пыталась превратить их жизнь в подмостки своих личных неудач или достижений.

На столике стояла их фотография в рамке, сделанная во время их первого совместного отдыха.

«Бывают женщины-сподвижницы, женщины-политики, – неожиданно подумал он. – Не дай бог пришлось бы делить её надвое: на её воззрения и плоть. Тогда была бы не любовь, а катастрофа. Она решила бы, что имеет право на собственную карьеру, но от меня неминуемо ждала бы, когда я стану подкаблучником».

Тягучие мысли в такое приятное утро изменили его настрой. Он увидел сопротивление, которое совсем некстати грозилось прорваться наружу, и, как опытный человек, почувствовал, что этому способствуют вполне конкретные причины.

«Что это вдруг на неё нашло?» – подумал Глеб Борисович. Домашние разборки не входили в его планы, забот хватало и без того. Он только надеялся, что повод к столь неудачной эскападе жены такой же мелкий и незначительный, отражающийся на подготовленном скукой настроении самым несерьёзным образом.

Найдя экономку, он дал ей несколько поручений по дому. Затем как бы вскользь поинтересовался, не заметила ли она в ближайшие дни что-нибудь необычное в поведении его супруги, на что ожидаемо получил отрицательный ответ. Решив не торопить события, поскольку к серьёзным обвинениям в свой адрес всё равно подготовиться невозможно, он переключился на текущие задачи и выехал в город.

События тем временем развивались совершенно непредсказуемо, наложив тень сомнений даже на такого корифея секретных операций, каким являлся Глеб Борисович. В какой-то момент он понял, что выполняет со своими подёнщиками лишь незначительную часть проекта, а истинные цели последнего остаются для него неясными, и самое главное, ему было неизвестно, кто дёргает за все нити сразу. Есть ли такое лицо или группа лиц вообще? Известная ему троица заговорщиков, сходки которых он изредка посещал, по его данным, также не обладала всей информацией. Они планировали одно, но происходило иногда совсем другое. Или таких групп несколько, или ребята ведут настолько тонкую игру, что ему в конечном счёте не окажется в ней места, и это удручало, заставляя в отношении и без того омерзительных личностей испытывать осторожную ненависть. Всё, что делалось ими, отдавало махновщиной, но и те смерти, о которых он был осведомлён заранее, были настолько дикими и нелогичными, что побуждали его вновь и вновь задумываться о тайных замыслах недругов – тайных вдвойне, – выискивать в них скрытый код, безвестные мотивы, накладывающие отпечаток на их реальные устремления.

Начались политические убийства. Неожиданно погиб видный общественный деятель. Без видимых причин покончил с собой известный юрист-правовед. В расцвете сил умер член верхней палаты парламента, от чего невозможно уже было отбрехаться, поскольку это был вызов власти, её дееспособности, эффективности, умению реагировать на немые угрозы из-за пределов её компетенции. Как обычно, власть показала себя не слишком убедительно. Она старательно пыталась запутать следы, что-то объясняя по ходу, но лучше бы этого не делала. Она всё била битую карту. И, не в состоянии напрямую воздействовать на противника, терзалась мыслью, что у неё нет такой возможности. А надо было бы её иметь. Ибо противник вполне мог действовать извне, преспокойно надавливая всякий раз на самые нежные точки сопротивления.

Данные случаи уже не выглядели не связанными между собой уголовными преступлениями, а будто намеренно выстраивались в продуманную цепь событий. И сигнал был сразу принят, среди элит началась паника, а паника среди элит суровей и опасней безумствующей толпы. Все хотели бы обезопасить себя, но никто не знал, что необходимо предпринять. Всерьёз забеспокоился обыватель. Информацию препарировали, но она всё равно просачивалась в массы в невыгодном свете, представляясь устрашающей, поскольку лица врага никто не видел. О нём вообще ничего не было известно: ни единой чёрточки, никаких примет, ни малейшего намёка на его возраст, веру и политические воззрения.

Кто-то вышел на антитеррористические структуры, предложив силовым органам встречу на старом складе и лицо для переговоров. Операцию разработали с великой тщательностью, продумав всё до мелочей. Территорию окружили два полка штурмовиков. Но когда внутри раздались выстрелы и туда бросилась бригада спецназа, склад с умопомрачительным грохотом взлетел на воздух, вместе со всем его содержимым, раскидав и покорёжив вокруг себя все металлоконструкции. Про людей, находившихся внутри, можно даже не спрашивать: стрелять больше было некуда.

Взрыв был слышен далеко, о нём без конца говорили по всем новостным каналам, наваливаясь на обывателя неким подобием анализа, то есть стремлением делать выводы там, где ничего неясно. Телевидение ошеломляло разбором событий. На самом деле пугая, поскольку всплывающая наружу бессистемная возня слишком очевидно показывала желание забить людям головы, чтобы они не могли самостоятельно мыслить. Однако последней чертой, за которой угадывался переполох в умах, стала очередная, не самая крупная, но знаковая авария, повлёкшая за собой гибель горожан.

Происшествие произошло в метро, с рельсов сошло несколько вагонов поезда. Опять заговорили про человеческий фактор, будто данная причина проще всего объясняла случившееся и не закладывала в сознание людей крамольных мыслей.

«У нас вся страна – один сплошной человеческий фактор», – неожиданно подумал Глеб Борисович, узнав новость о трагедии в подземке. Ему ещё не были известны причины смерти машиниста и технического сбоя в управлении движением.

Население, до поры до времени воспринимавшее происходящее как сторонние разборки, касавшиеся его лишь отчасти, вдруг осознало масштаб трагедии, уяснив в ней окончательно свою роль. Очень важен момент понимания истины, и если надвигающаяся катастрофа вдруг совпадает с выявлением критической импотенции защитников, у которых слова расходятся с делом, такое явление способно надломить хребет целому конгломерату сообществ, элементарно не оставив людям времени для самоорганизации. И подобной опасностью уже веяло повсюду. Поскольку и городские, и сельские жители учуяли рядом с собой нечто ужасающее, на что власти не имели никакого влияния. И ладно, если бы на Землю свалилось инопланетное зло, от которого невозможно было бы уберечься. Но никто не сомневался в здешнем, рукотворном происхождении напасти, а коварство своих пугает сильнее, ведь собственные враги нас прекрасно знают. Они разбираются в человеческих слабостях, но и ведают нашими сильными сторонами. Они истребляют людей целенаправленно, а здесь их убивали будто по спонтанно возникающей прихоти.

Безнаказанность питает самые отчаянные инстинкты, ибо даже в спокойные времена люди мирятся по необходимости. Это о склоках, однако что мешает их перерастанию в самые чудовищные формы противостояний, когда бывшие друзья становятся врагами? Неужели доброта и человеколюбие?

В такой обстановке всеобщего смятения и страха Глеб Борисович начал задумываться, а смог бы он лично себя представить врагом народа, всего человечества, доведись ему самостоятельно принимать судьбоносные решения, регулирующие повороты истории, руководствуясь не нормами общечеловеческой морали, а правилами политической целесообразности, по которым действуют все более или менее обременённые ответственностью руководители? Мог бы он смириться с вынужденными потерями? На такой случай всегда есть дежурные слова, позволяющие поддерживать на публике нужный образ. Но грань между отдельной выгодой и глобальной необходимостью весьма условная, и нужным словообразованием легко заменить одно на другое. Такое понятие как «смерть» со стороны масштабных процессов предстаёт в виде сопутствующей неизбежности, за которую не нужно нести ответственность. Если подстроить свои цели под фабулу всеобщих изменений: катастроф, кризисов, революций, – можно не обременять себя размышлениями о других, сочувствием к ним, лишь озаботиться участием в некоторых конкретных судьбах, и этого будет более чем достаточно, чтобы чувствовать себя достойной личностью, не чуждой чаяниям простого люда. Конечно, все эти массы, жучки и тараканы, помогающие претворению идей в жизнь, наиболее уязвимы и подвержены страданиям в первую очередь. И чтобы оправдать свои страдания, им обязательно нужен враг, некий образ, скорее даже неконкретный, поскольку такому и невозможно задать конкретные вопросы, которых у них нет. Им нужен символ врага, а символ легко придумывается. Тогда события укладываются в их головах в общую логическую последовательность, где огорожен свой, добрососедский мир и существуют некие противоречащие их принципам силы, предстающие иногда весьма жёсткими.

Однако если враг появляется рядом, в их собственной среде, чаще, разумеется, мнимый, то вся накопленная беспредметная ненависть с двойным усердием выплёскивается на него. Ибо он выращен здесь, живёт, как они, и поэтому не может думать иначе, представляясь только предателем. Тут уже не стоит ждать разумного подхода – милосердие побоку. Его обвинят во всех грехах сразу, имеет он к ним отношение или нет, это никого не касается. Выхлоп срабатывает. Враг со свистом летит в сторону якобы своих единомышленников или вообще в тартарары, а публике невдомёк, что именно в данный момент в результате своих же действий они рождают в собственных рядах нового «врага» – одного, другого, третьего, в конечном счёте весомое их количество.

Глеб Борисович хорошо понимал, как не выглядеть здесь изгоем и тем самым отвести от себя бóльшую часть подозрений. Следствию необходимы факты, а окружению – видимость благонадёжности. И он над этой видимостью всегда старательно работал. Даже жена до некоторых пор не смогла обнаружить в нём ничего, кроме сухого, скрупулёзного педанта, отвечающего за свои слова, с трудом переваривающего бардак и ветреные натуры. Он ценил в других правильность, из-за чего ему якобы тяжело было понравиться. Поэтому большинство из его окружения плевало на это и пыталось в его присутствии чувствовать себя свободнее, не потакать его нраву и, может, даже действовать назло. Их реакция его не бесила, она часто входила в его планы. До того естественно, что он уже и не помнил, намеренно или нет у него возникали сложные отношения с тем или иным лицом. Его или любили или не любили, но ни в чём не подозревали и не боялись, а значит, в минуты особого расположения, которые рано или поздно могут возникнуть с любым человеком, он имел все шансы рассчитывать на помощь со стороны, что в его случае чаще означало использование данного субъекта в своих целях. Такой неравноправной зависимостью были обложены все его знакомые и друзья, все родственники, а также дети, впрочем никогда не питавшие к нему особых чувств. Благородных кровей мужчина на самом деле олицетворял собой высшую степень цинизма, когда тот не бросается явно в глаза, но его ядом пропитаны все помыслы и взгляды как бы толерантной личности.

Единственный человек, который вряд ли мог попасться на его удочку, был академик Захаров. Он сам по себе являлся монстром, выслушивая его просьбы всегда с некой осторожностью, умея просчитывать их последствия и наверняка имея ходы про запас. С ним мог сложиться только временный союз. Он был знаком с многими влиятельными людьми, поэтому совершенно не нуждался в покровительстве Глеба Борисовича. Возможно, он был вовлечён в другую игру и тогда из союзника превращался в конкурента, а при определённых раскладах и во врага. Непосредственной угрозы он вроде бы не представлял, однако по ходу быстро меняющихся событий Глеб Борисович всё же задумывался иногда о надёжном и безопасном способе его нейтрализации и, самое главное, о выборе для этого подходящего момента, чтобы сильно не затягивать с решением, поскольку чутьё у Захарова было также отменное.

Он приехал на службу, испытывая противоречивые чувства. Похоже, он немного потерялся в понимании того, когда может наступить «день икс», после которого необходимо решительно заниматься только собой и близкими ему людьми.

По коридорам управления шастали какие-то странные люди, которых он никогда здесь не видел. В таком количестве это перебор. У рядовых сотрудников, которые были не в курсе происходящего, это вызывало, скорее всего, напряжение, заставляя их думать о чём угодно, только не о делах. Все вопросы оставались без ответов. Заведение работало в штатном режиме, но внутренняя обстановка словно говорила о том, что необходимо к чему-то готовиться.

Зримое беспокойство проникло и в святая святых государственных служб, где ковалась надёжная защита всей политики и экономики страны. Все эти достойные чины вместе со своими подручными выражали собой трудно скрываемую обескураженность, постоянно переговариваясь, советуясь между собой, чтобы выяснить, что творится вокруг, в чём заговор и кто заговорщик. Тусклые лица, и без того отмеченные печатью весомых забот, кривила гримаса неопределённости. Тяжело было осознавать, что с тобой не считаются, тебя обманывают или, того хуже, играют с тобой в чьих-то дальних интересах. Ты протопал по жизни маршем и так и не понял, кто друг и кто враг. Функция подносчика снарядов в моменты кризиса сознания оказалась малопригодной, потому что в ситуации, когда каждый сам за себя, массовые навыки ничего не значат, а утеря великого стержня братства и взаимовыручки просто ломает судьбы пополам. Пока ещё не маячили на горизонте войны, крахи, всеобщая поголовная ненависть, бесчинства политиков и остервенелая пляска захватчиков на костях. Пока осторожными были комментарии к событиям, держа в рамках степенности пугливый народ. Но в командных пунктах повеяло душком противоречий, тонкая слизь рукотворного единства начала разлагаться. Генералы засуетились, а вслед за ними забегало и мелкое звено, выискивая места следующего пристанища, более надёжного, может быть, более отвечающего требованиям современного лизоблюда. Нельзя сказать, что подавляющее большинство людей готово запросто продать своё человеческое достоинство, однако чтобы не поотламывать от него периодически кусочки, об этом вряд ли кто-то серьёзно задумывается.

Мимо прошествовал хорошо известный ему серьёзный чин. Лицо навыкат, взгляд устремлён выше макушки встречного. Полковник нехотя приветствовал его, не затрудняясь в формах выражения субординации, что в другие времена могло выйти ему боком. Однако теперь никто не видел толку в нюансах.

После того, как они разошлись, последовало всего три стука каблуков за спиной. Далее тот остановился:

– Глеб Борисович.

Пришлось обернуться.

Его изучала плоская физиономия сатрапа, надевшего погоны на голые плечи и оттого ещё сильнее пропитанного государственной важностью. Однако тут же раздобревшие глаза, мягко указывающие на его генеральское расположение, заявили о самой благожелательной форме предстоящего разговора. Впрочем, генерал не являлся его непосредственным начальником, поэтому на его милости Глебу Борисовичу было ровным счётом наплевать.

– Очень кстати, что мы встретились. Я бы хотел поделиться с вами некоторыми своими соображениями. Вы не против, если мы пройдём в мой кабинет? Буквально на несколько минут.

Глеб Борисович молча согласился.

Не произнося ни слова, он следовал рядом, вынужденный подстраиваться под неторопливый шаг высокого чина, и уже в этом чувствовалась некая унизительная необходимость, противная его нраву, неизбежно подчёркивающая, кто тут главный, кто играет более важную роль. Вошедшие в привычку, манеры генерала, принуждающие в любой мелочи видеть в нём сильную фигуру, были теперь донельзя неприятны. Глеб Борисович знал, как в критические моменты большинство из таких престолодержащих по-детски теряются, обнаруживая вдруг фальшивость своих виз. Но не многие из них уходят в тень. Кормушка засасывает, а стремление любыми путями усидеть в лучших каютах корабля вырождается у них в такое странное для управленца свойство, как личная преданность вышестоящим.

Открыв дверь, генерал вежливо пропустил гостя в свой кабинет, проследовал к дивану и указал рукой на три места на выбор, где полковник мог расположиться. Когда тот сел, сухим, безапелляционным тоном, видимо решив озадачить полковника своей прямотой, он заявил:

– Вы курируете вопрос по «Мегалокатору». Тема очень перспективная, в наши времена данный проект есть то немногое, что ещё является для врага сдерживающим фактором. Однако не думаете ли вы, что, являясь куратором проекта, можете сами избежать слежки?

«Он что-то знает или вынюхивает?»

Глеб Борисович, давно привыкший к недоверию со стороны руководства, частенько испытывая на себе его последствия, спокойно констатировал:

– Именно так я и думаю.

Его невозмутимость, похоже, заронила в голове генерала крупицы сомнения. Недоверчиво осклабясь, как бы показывая, что цену словам он знает, генерал выдержал паузу, будто мастер эпизода, рассмотрел ближайшие предметы и внушительно, как он думал, уставился на собеседника:

– На любого из нас можно найти компрометирующие материалы, а если таковых нет, то их можно изготовить. Это тоже товар. Впрочем, что я вам рассказываю… Речь о некой группе лиц, стараниями которой ситуация вышла из-под контроля, а то, что надвигающийся хаос рукотворного происхождения, здесь никто не сомневается. И если вы что-то утаиваете от комиссии по расследованию, то сами понимаете, чем это может для вас закончиться.

– У вас есть основания полагать, что я что-то утаиваю?

– Есть.

«Врёт. Ничего у него нет. Иначе я бы уже разговаривал не с ним».

– В таком случае назначьте цену, и мы будем иметь друг друга в виду.

Наверное, генерал не ожидал такой наглости, теряясь в догадках, блефует полковник или действительно совсем его не боится. Он понял, что надо было подготовиться к такой встрече, поскольку этого хитрожопого полковника, имевшего в их ведомстве несоразмерно сильные позиции, просто так не напугать. А стало быть, и цели, поставленной генералом в момент их встречи, достичь теперь не удастся.

– Мне нравится ваша самоуверенность, – чуть менее убедительно продолжил генерал. – Однако не стоит уповать на ваших покровителей. На них рано или поздно выйдут, и тогда вам конец.

– Как вы красиво выразились: «уповать». Слишком литературно… – Глеб Борисович хотел сказать «для вас», но не стал этого делать. Впрочем, оппонент, наверное, сам докончил фразу. – Собственно, чего вы хотите?

Генерал быстро соображал, что для него было несвойственно. Поэтому мелкие признаки системного сбоя стали проступать на его лице всё более отчётливо. Он думал о том, стоит ли сразу предлагать полковнику своё содействие, что без примеров, разоблачающих двойную, даже тройную игру последнего, выглядело бы, конечно, глупо, или ограничиться пока намёками, давая понять, что дверь в его убежище для полковника всегда открыта. То, что полковник примет его предложение, было пока под вопросом. Он вдруг сам испугался неизбежности выдать своих осведомителей, на которых наведут те факты, которые он намеревался озвучить. А вместе с осведомителями могут всплыть и совсем ненужные подробности из жизни самого шантажирующего. Полковник может повести себя по-разному. Пока не было уверенности, что он станет его союзником.

Блестящая лысина генерала, освобождённая от фуражки, мелко зашевелилась. Это было заметно по изменению бликов на его неподвижном черепе, и выглядело весьма забавно. Глаза забегали, щёки опустились. Он мучительно выбирал варианты из одного единственного, который и предложил наконец полковнику, когда почувствовал, что хитрая с его стороны затяжка диалога начинает отдавать неуверенностью.

– Я готов вам помочь, – сказал он.

– Помочь?

– Именно.

– В чём?

Генерал постарался соответствовать силе нижестоящего, хотя этому его никто не учил.

– Бросьте, полковник. Изображать невинность при той сфере вашей деятельности, о которой знает всё управление, по меньшей мере наивно. И мне лично непонятно, почему вы старательно отмежёвываетесь от потенциальных партнёров, в то время как остальные их неустанно ищут. Неужели вы вообразили, что сможете постоять за себя в одиночку? Или со своими уголовниками, кто они там по жизни, не знаю. Имейте в виду, есть эпизоды, достойные вашего внимания, и я бы на вашем месте не стал от них отмахиваться, потому что степень вашего касательства к ним может быть значительно изменена в любую сторону. Взять, например, странную смерть Лескена. Там имеются несколько моментов, которые не были известны следствию, но которые существенно могли бы помочь в продвижении дела.

«Значит какая-то сволочь всё-таки на него работает. Ну что ж, разберёмся со всеми. Не впервой».

– Поймите, я не пытаюсь вас шантажировать, – продолжал генерал. – Просто сложившиеся обстоятельства вынуждают меня более активно определяться с кругом своих друзей. Я, безусловно, смогу быть вам полезным. Мне от вас тоже кое-что понадобится, поэтому я предлагаю вам сотрудничество…

– Спасибо, я отклоняю ваше предложение.

Глеб Борисович неожиданно поднялся, и по физиономии генерала было видно, что тот испытал глубокое разочарование. Кожа на лысой голове сморщилась и разгладилась. Сморщилась и разгладилась ещё раз. Глаза вопросительно уставились в одну точку: эта точка находилась где-то далеко за спиной полковника. Наверное, она осталась на месте и после того, как Глеб Борисович отошёл в сторону, ещё не давая понять, что разговор окончен.

– Вы мне угрожаете? – будто искренне удивляясь, обернулся к генералу полковник.

– Нет, я просто предупреждаю…

– Вы хотите партнёрских отношений со мной, – снова перебил его Глеб Борисович, – но ведёте себя крайне глупо. После такого разговора они вряд ли возможны. Я не терплю давления, и я ему сопротивляюсь. Потому что под давлением целесообразные решения принимать трудно, а моя работа, как вы знаете, подразумевает высшую степень государственной целесообразности.

Похоже, слова полковника огорчили собеседника слишком сильно. Генерал не ожидал такой развязки, чудовищно не зная, как исправить положение. В который раз он констатировал для себя, что опять перебрал с тактикой. Он подумал, что в ответе Глеба Борисовича, вероятно, присутствовали и некие эмоции, что они имеют право на существование и их необходимо было учитывать. Даже самые практичные натуры, собранные в их ведомстве, не способны были реагировать на обстоятельства, опираясь только на доводы и соображения. У кого-то не хватало терпения, а некоторые патологически не могли выжить в кризисные времена, начиная бесконтрольно следовать крикливой указке. В жуткой неразберихе слова оказывали на таких решающее воздействие. Люди оживляли в закоулках сознания свои предубеждения и, полные впечатлений, начинали густо сплачиваться. Их дорожная карта выглядела огромным размытым бесцветным пятном. Полковник был не такой, но сила его обособленности теперь несоразмерно увеличивала своё значение. А способного на дерзость умного противника тормошить сейчас было опасно.

Хозяин кабинета вдруг почувствовал, как лысина его медленно покрывается испариной, и в такие напряжённые минуты, стыдясь неестественной реакции организма, боялся пошевелиться, превратив покой в тугую задумчивость. Платок был в кармане, но он не решался им воспользоваться.

– Вы неправильно поняли мои намерения, – как-то грустно отреагировал он. – Возможно, мне не стоило упоминать о трудностях в расследовании происшествия с Лескеным. Таких дел немало, и круг подозреваемых чрезвычайно обширный. Но я как раз и имел в виду найти в вас поддержку, если какое-либо из таких дел коснётся меня.

Глеб Борисович подумал, что генерал специально навлекает на себя подозрения, поскольку других способов найти с ним взаимопонимание не видит.

«Хитрый, лис. Сдаваться не привык. Ну что ж, будешь тогда играть по моим правилам, а не лезть ко мне с какими-то дурацкими угрозами».

– Мне почему-то кажется, – обратился Глеб Борисович к генералу, – что вы начали с самого сильного своего аргумента. Но, затевая этот разговор, вы, наверное, не предполагали, что придётся отвечать на собственные вопросы. Упомянутое вами дело обросло уже массой причуд, одна из них стоит перед вами. То, что было на самом деле, вряд ли в ближайшее время разъяснится, а вот ваша позиция становится для меня чрезвычайно важной. Если вы рассчитываете иметь во мне союзника, то, конечно, хотите быть со мной предельно откровенным.

Фраза прозвучала как предложение, и Глеб Борисович, присев, участливо подался при этом вперёд.

Важный чин понял, что угодил в собственную ловушку. У него вспотели даже губы, поскольку он тут же представил себе, как необходимо будет выдать этому ублюдку своих настоящих друзей, рассказать всю подноготную своей служебной деятельности, которая имела, разумеется, особую специфику, прежде чем тот соблаговолит принять его присягу и воспользоваться его отдельными услугами.

«В конце концов, главное влезть в их дела, – подумал генерал, – Мы их сломаем».

– Вы должны сказать сейчас, – упёрся в него взглядом полковник, – кто предоставил вам информацию о моём участии в судьбе Лескена.

Жирная черта, разделяющая нападение и защиту, которую генерал рисовал для себя ещё несколько минут назад, куда-то безвозвратно исчезла. Он обитал теперь в странном пространстве, не упомянутом в уставах, и не знал, куда двигаться. Его план с мягким шантажом не сработал, однако положение поменялось кардинальным образом. Необходимо было решительно завершать беседу либо, не допуская лукавства, проявляя менее уважаемые свои качества, всё же выдать противнику отдельные кадры, и генерал не понимал, на какой решительности следует остановиться. Он пожевал губами, а потом криво улыбнулся, инстинктивно почувствовав, что похож сейчас на идиота.

Устало поднявшись и подойдя к своему столу, он высказался так:

– Я не хочу и не имею права перед вами отчитываться. Своим любопытством вы невольно затрагиваете интересы многих людей, поступаться ими в угоду только вашего благополучия несправедливо. Поэтому ничего по данному вопросу я вам сказать не могу.

Одновременно он вытащил из папки чистый лист бумаги, сложил его вчетверо и, согнувшись над столом, написал на нём несколько слов.

– Имейте в виду, – вернулся он к полковнику, – мои подозрения насчёт вас – лишь малая часть того огромного айсберга, который может навалиться на ваше утлое судёнышко.

«По поводу судёнышка он прав», – пронеслось в голове полковника.

Меж тем генерал показал своему гостю листок с фамилиями и после спрятал его себе в карман, придирчиво изучая при этом лицо оппонента, в выражении которого надеялся узреть положительные для себя сигналы.

Глеб Борисович остался доволен. Он машинально отметил профессиональную выучку генерала, не растерявшего с годами навыки делового общения. Угроз извне никаких не было: эти кабинеты по всему периметру оборудовались активной защитой, подавляющей речевые частоты до «белого шума». Шторы задёрнуты. Опасаться можно было только внутренних врагов, и та осторожность, к которой прибегнул в данном случае генерал, совсем не показалась Глебу Борисовичу излишней. Он будто бы даже проникся симпатией к несчастному администратору, вынужденному юлить в рамках своих свобод, соразмеряя совесть с какими-то нелепыми сиюминутными задачами. И то, с какой решимостью он принял его сторону, пренебрегая своим званием и должностью, стало для Глеба Борисовича серьёзным стимулом для того, чтобы обратить на данную, осунувшуюся под тяжестью забот физиономию особое внимание.

Он молча прочитал бумажку и направился к выходу, как всегда, по-деловому быстро и легко, ничего не ощущая, будто посетил только что какую-то деревенскую овощную лавку. Лишь у дверей, притормозив, обернулся:

– Жаль, что вы не хотите понять, насколько в данном деле зависимы от обстоятельств.

– Да, – генерал смиренно хлопнул ресницами, – я этого не понимаю.

Дверь закрылась.

Только после этого генерал пространно подумал о личности Глеба Борисовича: «Какая жёсткая надменная походка… Что бы он себе ни воображал, но, скорее всего, он просто сукин сын, исполняющий поручения дьявола. Ни власти, ни голоса. Просто холоп с пультом дистанционного управления. И ведь оказался же нужным в нескольких случаях, заимев у серых кардиналов репутацию незаменимого помощника. Ну что ж, и его когда-нибудь выведем на чистую воду».

При этом он всё время ощущал скомканный в руке компрометирующий его листок бумаги с именами.

**2**

Какой-то рьяный отчаянно пытался вырваться из толпы, но, зажатый со всех сторон, лишь понапрасну тратил силы. Волна разворачивала и бросала его то вправо, то влево, он устремился было в другую сторону, однако, дёрнувшись, вынужден был повиноваться стихии, давая тащить себя туда, куда не хотел, где обозначилась самая гуща событий. И так до следующего рывка, пока он не понял, что сопротивляться бесполезно.

Народ заполонил все коридоры. Большая масса, у которой сдали нервы, вдруг запустила ход, не выявляя какое-либо направленное движение, а только грозясь отжать у людей соки. Крики женщин, плачь детей никого не останавливали, наоборот, возвещали о приближении апокалипсиса, и от спокойствия граждан, до упора забивших подземные залы, очень быстро ничего не осталось.

Авария в метро в час пик привела к серьёзному затору. По случайности или злому умыслу оказались затронуты системы связи и оповещения. Службы были дезориентированы, народу ничего не сообщили, вернее, сообщили очень тихо. А когда по направлению к выходу раздался выразительный хлопок, началась паника. Масса рванула назад, подумав о террористической атаке, сзади ничего не поняли, объяснять не было времени, но оттуда тоже давили, спасаясь от огня и дыма. В толкучке занимали все проходы, рвались в запертые двери, людей прижимали к стенам, и они там мирно теряли сознание.

Бедная мама в отчаянии пыталась отвоевать пространство для своего ребёнка. Она крутилась и вертелась как могла, отжимая ближних, из последних сил орудуя ослабевшими руками. Девочку прижали к ней с неимоверной силой, пытались оттереть, расплющить мягкое тельце о её бёдра, та визжала, и сердце матери, уповая на действие проклятий, посылаемых на головы этих страшных извергов, сжималось от бессилия и злобы, впервые готовое разорвать всю эту нечисть в клочья. Руки упирались в чужие пояса, плечи в спины. Приходилось разворачиваться, она прямо чувствовала хрупкие кости дочери, скребущие где-то внизу. Порой казалось, что им нет уже места, что они сломаны от усилий, заставляющих воспринимать чудовищную нагрузку, и их хруст затерян в шуме грубых голосов. Но лёгкое шевеление жизни, милого, родного существа, заставляло вновь и вновь переживать умопомрачительные срывы, тянуться к нему, ощупывая, прятать вглубь, под кожу, только не оставлять на растерзание безумствующей толпе, потерявшей ориентиры из-за глупой вакханалической растерянности.

Их кидало в разные стороны, и пальцы цеплялись за одежду, как в последнем жутком противостоянии. На секунду показалось, что уже всё: готовый вырваться из глотки отчаянный крик уже назрел, мышцы онемели, руки не встречали никакого сопротивления. Однако выпавшее на секунду уменьшение давки застало их в момент крепких объятий, и они наконец встретились глазами. Девочка мило простонала, сказав, что всё в порядке, отчего матери действительно стало легче.

Мятущаяся толпа не давала поблажки никому. Какого-то бедолагу стремились разлучить с его портфелем, их разносили в разные стороны. Портфель, зажатый между тел и удерживаемый хозяином за ручку, отдалился от него на расстояние вытянутой руки. Возможно, стоило его отпустить, иначе могли сломать и конечности. Но мужик с превалирующим негодованием в характере сам заразился бешенством, отстаивая свои материальные ценности до конца. Он усиленно пихался и грубил, сделавшись красным от гнева, и поскольку никто не входил в его положение, в огромной серии силовых приёмов пытался применить свои.

Несколько раз поток останавливался, пасуя перед встречным напором, и в зале раздавался гул вперемешку с визгами и стонами. Кто-то в давке потерял стыд, его гневно ударили по голове. Бабка кричала что есть мочи, по-своему громко, воздействуя на сердца ближних; ближние страдали от бессилия ей помочь или морщили лица от несдержанности крикуньи. Им не хотелось слышать этот вселенский плач в её исполнении, впору было самим разразиться матом: причины нервно реагировать на суматошные тычки и ходьбу по ногам возникали постоянно.

За всем этим отдельно, с высоты второго этажа, как-то удивлённо и непосредственно, наблюдали крупные детские глазки, не моргая, ласково и нежно устремившись взглядом в жуткий крикливый рой горожан, улавливая охваченное страхом людское скопление, в котором личности угадывались только по определению. Мальчик сидел на плечах взрослого человека, очевидно, папы. Тот давно уже прижался спиной к колонне, не предпринимая попыток следовать на выход. В этом было их спасение – ребёнок инстинктивно обхватил голову родителя, надёжно расположившись на его шее, как в седле. Ему было удобно и спокойно. Он с недоумением только изучал пространство, наивно сканируя глазами широту охвата и видя, как вокруг дёргаются чьи-то странные тела. Его пока ещё не одолевал страх. Отец подбадривал малыша, поглаживая его ручки, а всё это шумное беспокойство представлялось как спектакль, в котором выученные актёрами роли дополнялись излишне рьяной импровизацией. Часто толкались, и ребёнок чувствовал спиной холодный камень колонны. До него, наверное, доходило паническое смятение масс, но вместе с тем приятные отголоски сообразительности, сигнализирующие об их с папой правильном поведении, давали повод стойко держаться сидя на его плечах, не реагировать на всплески безумства, быть убедительным и крепким, несмотря на периодически возникающее желание заплакать.

Их попытались подвинуть, папа внизу качнулся, и мальчик с тревогой устремил взгляд на источник возмущений – ближайшие судорожные физиономии, будто это их обладатели оказались виновными в порождении давки. Кто-то звучно гаркнул, ребёнок испугался, сильнее прижавшись к затылку родителя. Снизу его держали крепкие руки, но спокойствие куда-то улетучилось. Вряд ли им удастся сохранить себя в неприкосновенности, если давление нисколько не уменьшается. Очевидно, им намеренно пытаются причинить зло. Со всех сторон одно и то же: напор и сопротивление, отчаянная решимость на фоне бестолково толпящихся людей, в каждом из которых назревает собственная экстравагантность.

Неизвестно, как долго он смог бы сдерживать боязнь, но давление наконец стало ослабевать. Толпа двинулась в одном направлении, и первые признаки спасительной упорядоченности в момент привели растревоженный улей в себя. Впереди обозначился выход, ещё не видя его, мысленно все устремились туда.

Пережить такое было непросто, отголоски давки ещё долго будоражили сознание, Виталий чувствовал себя довольно скверно. В кой веки раз пришлось воспользоваться общественным транспортом, и именно в данный момент случилось происшествие. Хорошо ещё, что он не оказался в сошедшем с рельсов поезде, однако и испытанных им тревог хватило с лихвой. В знаки судьбы Виталий не верил, а вынужденное соприкосновение, довольно плотное соприкосновение, с исходящей в истерике людской массой переживал болезненно.

Испуга почти не было. Была досада и раздражение от неизбежности того, чего он всю свою сознательную жизнь намеренно сторонился. Избегая любого скопления людей, он не мог не отмечать, что Провидение настойчиво преподносит сюрпризы именно там, где ты особенно чувствителен в восприятиях. Такая изощрённая избирательность часто его угнетала, заставляя терпеть невыносимое, думать о каком-то собственном недомогании. Может, это особая форма невроза и память подчёркивает только разные аспекты недовольства? Он охотно поверил бы в свою болезнь, но уже сомневался, существует ли вообще покой, если мир состоит лишь из сотен, тысяч, миллионов бегающих по планете особей. И в регуляторы, как индивидуальные, так и масштабные, тоже верилось с трудом. Поэтому и не хотелось видеть себя частью группы, а уж тем более какого-либо глупого сообщества, наивно полагающего, что силой и терпением можно добиться приемлемых для всех результатов.

С тех пор, как он дочитал до конца канетелинскую рукопись, в нём будто всё перевернулось. Он поверил ему почти безоговорочно. Критерии его стали проще и однозначней, а приведённые там тезисы будто волшебным пером были списаны с его удалённых дум. Только поначалу казалось, что тон рассуждений Канетелина враждебный и отталкивающий, намеренно искажающий присущее разуму человеколюбие. Однако позже стало ясно, что фиксируемые им наблюдения не стоят особняком, что презрение и месть – вполне оправданные чувства, а лицемерием охвачены гораздо большие пространства, чем можно себе представить. Вырожденная в потребность злоба витает повсеместно. Это не болезнь, но лишь форма выживания, которая отнюдь не противоречит законам всеобщего развития. Побеждает более злой. И значительней всегда он, слюнтяям достаются лишь лавры обожаемых. А насколько неадекватна человеческая память, можно видеть уже на нынешних примерах. Она существует как мифология, влияющая на общественное сознание, которое, как выясняется, само по себе вторично, ибо никакое общее предубеждение не стоит выше личностного чуда, а для организации масс можно предложить и другие, не господствующие над частным мнением способы.

Выйдя из метро, Виталий с наслаждением вдохнул свежего воздуха. Вокруг брели обмякшие на свободе пассажиры, грустные или сосредоточенные, слегка потрёпанные внешне, неся в себе груз испытаний и явные отголоски испуга. Распахнув двери, рядом стояли несколько «скорых»; бригады врачей помогали пассажирам прийти в себя, кареты постоянно забирали раненых в поезде.

Его попросила помочь пожилая женщина, она еле держалась на ногах, грозясь вот-вот рухнуть на землю, схватившись за его руку ещё до того, как он что-то ответил. Да, конечно. Он готов был оказать любую помощь, на что не влияли в данном случае его мысли. Вполне естественным было обнаружить в себе доброту и отзывчивость, и конкретная жизнь, повернувшись к нему лицом, заставляла ценить её, представ перед ним в самом трогательном своём воплощении. Он проводил женщину до ближайшей «скорой», отдав на попечение санитарам, проследил, как они приводят её в чувство, точно сам оказался братом милосердия. А когда покинул место действия, некоторое время ещё представлял, как она возвращается к жизни, в которой столько света, тепла и спокойствия.

«Признание личности и неприятие их кучи – нет ли в этом какого-либо противоречия? – рассуждал по ходу Виталий. – Кто определит во мне степень добра и зла? Кто определит в каждом степень их соотношения? Ведь это такие важные, системообразующие понятия. Коллективный разум, возможно, и существует для того, чтобы в первую очередь решать подобные задачи, но где же его поразительная сила, если его легко обмануть и он повсеместно поддаётся на провокации?»

Через два квартала угнетающая атмосфера несчастья уже не чувствовалась, народ сбивался в потоки. Даже во взглядах их не улавливалось какого-либо обаяния: лживыми казались и их разговоры, и улыбки, и их добродушие.

Поначалу он вместе со всеми не мог надышаться, испытывая радость спасения, облегчение от благополучного конца, поскольку происшествие могло иметь и более печальные последствия. Люди разбредались по разным направлениям. Кто-то звонил, кто-то шёл, кто-то шёл и звонил, и выглядели они симпатичнее, мозговитее, одухотворённее тех, которые не испытали сейчас потрясений. Потом Виталий почувствовал, что они невольно ускоряют шаг. Они растворялись в массе других, терялись их лица; уже невозможно было поинтересоваться, что там случилось, поскольку с большой долей вероятности вы наткнулись бы на человека, который не был в курсе событий. Всё смешалось, обретя прежний вид. Пережив стрессовую ситуацию, постепенно опомнившись, приняв привычный облик, поток опять набрал скорость. Виталий снова попал в густоту. Его обгоняли, трещали ему в уши, задевали своими дурацкими сумками. Казалось, те же сгустки молекул, которые жалобно скрипели недавно, зажатые в ограниченном пространстве, неслись теперь в своём естественном порыве, сметая на своём пути все другие формы существования.

«Куда они бегут? В чём смысл их жизни? – невольно возникали в голове вопросы. – Чем-то довольные, суетливые, огибающие препятствия, как фишки на игровом поле».

Он специально не спешил, но по мере удаления от места происшествия, слушая противные голоса, только раздражался.

Вконец испорченное настроение разродилось чёрными мыслями. Виноваты были все вокруг и не столько тем, что он потратил нервы и время, сколько напоминанием ему того, в каком ужасном муравейнике он живёт.

Чуть позже, найдя наконец тихое пристанище, он попытался было отвлечься, однако успокоиться никак не удавалось. Видимо, болезнь сидела глубоко. Частые её рецидивы давали знать всё настойчивее, а мысли, словно бесстрашные рыцари, атаковали его с громким бряцанием своих мечей.

Как удивительно устроен мир. Некоторые имеют возможность лёгкой жизни и маются от безделья. Кто-то, как он, всё время стремится к уединению, но вынужден подвергать свой покой испытаниям. Большинство же вообще, наверное, довольствуются малым, умилённо укладывая свои достижения в то, чем можно похвалиться, и подсчитывая убытки лишь тогда, когда уже нет сил подойти к горшку. Оттого они и привязаны к символам настолько крепко, что не видят чужих радостей, не понимают мироустройства, не склонны изменять этот быт никогда. Для них чужая радость – это забота. Лишь оттенками просвечивающая сквозь их фильтры, за которыми видится только один цвет. А как может быть иначе, если каждый не стремится порвать с ульем, а настойчиво клеится к нему всеми частями своего тела, в чём не находит признаков пагубной привычки? Он весь – в нём, его сладость идёт в общую копилку, но помимо ароматных выделений неплохо бы подумать и о душе. Впрочем, и здесь, как всегда, главным аргументом для них выступает смысл. За забором спокойнее, по крайней мере охраняется только одинаковость происходящего. Они и не скрывают всеобщего единообразия и даже готовы встать за него горой, лишь бы не маячили на горизонте какие-нибудь опасные новшества. Им кажется, что они ответственны за свой выбор, но на самом деле выбора-то нет. Надобно сильно постараться, чтобы заявить о себе правдиво, однако это и есть, очевидно, непременное условие изменений, способных распоясать жёсткий круг и не заморить в «традициях» ростки будущего созидания. Скорее всего, новые формы и зарождаются, когда пять, десять, тысячи особей уходят в сторону от матки, подыскивают новое пристанище, вырабатывают собственные правила и немым укором, а потом альтернативой встают в глазах ветшающего дома.

Однако почему в нём самом стремление к свободе и нежелание предпринимать по этому поводу реальных действий никогда не выходили из фазы глубокого противоречия? Почему он только накапливает в себе отрицательные эмоции? Виталий догадывался, в чём причина, только искал к ней дополнительные смягчающие обстоятельства. Он улавливал свою уязвимость, как Клим Самгин, попавший не в то место не в тот исторический момент и вынужденный смиряться с эпохой, с теми людьми, которые его окружали. Нередко Виталий себя успокаивал, оценивая собственные претензии с весьма умеренных позиций.

«Человек, напитанный презрением, больше молчит, – размышлял он о Самгине, – потому что не находит слов выразить его предметно. Предметно презирать невозможно, безоглядно ругаются лишь глупцы. Оттого и высказывания презирающего короткие, нелепые, рубленными фразами. Действительно, как можно выразить своё настроение развёрнуто, если постоянно кем-то недоволен, если невыносима сама природа отношений с теми, в ком видишь сходство только по очень отдалённым признакам?»

И после некоторой паузы, подразумевающей вдумчивое отношение к словам, заключил: «Я не такой».

За окном кафе мельтешили прохожие, которые в разные фазы настроения казались то шествием посторонних, то приятной беззаботностью горожан, наполняющих собой солнечные улицы.

«И ведь нельзя сказать, что они глупы: векторы сопротивления они определяют правильно. Попробуй задеть общественное самолюбие – сразу увидишь, насколько эта толпа сплочённая повсеместно. Но тогда откуда такая безбашенность, если они не боятся угробить себя и запросто пренебрегают правами других, точно рядом с ними бесконечный расходный материал жизни? В такой среде авантюризм процветает в первую очередь».

Глядя на мелькание самых разнообразных лиц, он поминутно убеждался в правильности своих выводов.

«Они и сплочённость свою склонны доверять другим. Государства порочны и точно так же сжигают в своих топках сплочённых людей. Нет, мир ещё не придумал достойных народов форм сосуществования, а о соседях говорить не приходится: они хороши только тогда, когда незаметны».

Жажда тишины и пространства казалась присущей здесь ему одному. Мир, такой сложный и разнообразный, никогда не представал перед ним в столь мрачных тонах.

Он вышел на улицу, продолжая физически ощущать давление толпы. Странное дело, там, в помещении, оно нисколько не уменьшалось. Можно сказать, что и ночью, насыщенной парами интима, извращённой, домашней уже сутолоки чувств, большой город растворял в себе и мотивы, и личности, и серьёзные побуждения. Ну а теперь Виталию особенно тяжело было вариться в его соку, поскольку каждой клеткой своей он непроизвольно генерировал сопротивление и понимал, что не может преодолеть высокой концентрации чужих вкусов.

«Пожалуй, стоит куда-нибудь уехать. Хотя бы на время. Может, и здесь потихоньку всё рассосётся, а то последние новости уже похожи на сводки с полей сражений».

Виталий подумал о родителях, решив, что для них нет никакой опасности. В конце концов, они почти всегда дома и попасть в какую-нибудь переделку вряд ли могут.

День покатился неправильно. События в метро чёрной меткой отпечатались на его ближайших планах, не лучшим образом отразившись на настроении. Он посетил приятеля, но сбежал от него, лишь услышав разносившуюся по стенам гулким долбежом какую-то клубную музыку. Напротив дома на ветках деревьев висели тряпка и полиэтиленовый пакет, видимо, сброшенные с верхних этажей и надёжно застрявшие довольно высоко от земли. Панель у дома была сплошь усыпана мусором. Картина представлялась удручающей.

«Ну и народ. Живут как в Средневековье».

Отмечаемое кругом свинство вызывало такую реакцию, которая уже просто не вмещалась в палитру его чувств: тихий гнев и раздражительность, с одной стороны, и понимание того, что не любить всех в целом очень странно, – с другой. Когда он пытался определить, что это такое, память, как всегда, давала сбой, борясь с абстракцией, а простые вроде бы чувства мешались в кучу.

Уже в зрелом возрасте претерпевшее в нём трансформацию сознание перестало быть с ним безупречно откровенным, не выделяя главного и будто намеренно путая его своими сложностями. Скажем, человека, плюющего на панель, он осуждал комплексно, поскольку вызывало неприязнь не только его безобразное поведение, но и сама среда, позволяющая это делать безнаказанно, стало быть, почти поголовно состоящая из подобных типов. Их потакание дурным привычкам посторонних, возможно, не носило бы столь массовый характер, если бы действия возмущения считались здесь целесообразными. Но безнаказанность одних порождает трусость по отношению к ним других. Таким образом, он приходил к выводу, что презирать за это нужно прежде всего себя, презирать за трусость, а равнять себя с плюющим вовсе не хотелось. Молчаливое игнорирование хамства не давало ему оснований считать кого-то хуже себя, и он терялся теперь в отличиях презрения к себе и к тому, кто обезобразил его прекрасный мир гнусным поступком.

Накопленный негатив прорывался иногда бесконтрольной яростью. Он тихо психовал, пытаясь не уделять столько внимания мелочам, надеясь, что всё же есть способ отгородиться от дикого своенравия, мировоззрения толпы. Однако, вдоволь набесившись, рассуждая с позиций диалектики, тут же представлял мерзости одних столь же естественными, как и любование красотой других. Он рассуждал критически, находя в своих выводах особую прелесть.

Скрытые смыслы не подвластны эстетическому наслаждению, поэтому верх безобразия видится всегда однобоко. Нам не знакомы антимиры и их закономерности, и всё, что просачивается оттуда через ширпотреб людских сознаний, заливается чрезмерным восхвалением той части божественного света, которая наиболее ровна, гладка и обтекаема. Сколько мы, возможно, теряем, подвергая гонениям кривизну души, ничуть не менее научную, чем кривизна пространства. И в какие дебри нам порой приходится высаживаться, чтобы только прикоснуться к тайнам неоткрытых островов, отвергаемых чванливым салфеточным обществом высокоразвитых интеллектуалов, насаждающих свои вкусы, взятые с потолка.

Видимо, оттого и кажется, что дерьмо остаётся дерьмом, а мир устроен так, как написано в книгах. И злиться нужно на себя, и выискивать, в чём именно твоя недостача, а не кичливая неприглядность толпы, от которой всё время хочется отгородиться.

Что-то мешало ему жить в собственной системе координат, потому что мир вокруг представлялся слишком логичным. Противопоставляя себя другим, он всё думал, каким образом из ненавистной ему массы существ выделить своих друзей и близких, любимые родственные души, не подвергая их гонениям сердца, придумывая для них исключения, вынося их за скобки своего отчаянного неприятия панибратства. Вспоминая Олега, с которым он совсем ещё недавно вместе веселился, Виталий не мог понять, при чём тут его друг. Как, например, быть с его непосредственностью, занудной иногда, но такой жизненной лёгкостью в общении, как можно было видеть в нём такое же двуногое существо, что шляются кругом днём и ночью, навязчиво выставляя самые неприятные стороны своих натур? Он не мог отказать ему в богатстве фантазии, наличии творческих начал. С ним было по-настоящему интересно, и то, что Олег был разносторонне подкован, отвечая высшим требованиям одержимости учёного, говорило не о том, что Виталию повезло с другом, а о том, что множество людей вокруг живут такими же крепкими дружескими отношениями. Очерчивая круг своих знакомых, он непонятным образом ограничивал чувства рамками своего общения или, наоборот, распространял их вне зоны своей компетенции. Он понимал, что руководствоваться принципом нравится – не нравится неправильно, тогда вы захламляете себя ненужным мусором, однако не мог испытывать к подавляющему большинству граждан хоть малой доли уважения.

Как давно всё это началось? Опять приходила в голову мысль, что до прочтения канетелинской рукописи он будто бы не отмечал в себе никаких подобных ощущений. Сказать, что рукопись открыла ему глаза на мир, можно было с натяжкой, однако если и было своего рода прозрение, то похожие чувства неосознанно копились в нём годами.

Он сразу ощутил, каким откровением для него явился мир этого странного, но такого понятного во всём человека. Ещё слушая его вздорные высказывания во время тех встреч в клинике, Виталию показалось, что сам он возражал ему скорее по инерции, исходя из подспудного желания поддержать разговор. Заданная тема из вполне естественного любопытства узнать что-нибудь об открытии физиков очень быстро преобразилась в форму исповеди больного, и рассуждения Канетелина сами собой приобрели ту притягательную силу, что движет влечением к столь своеобразным, неординарным личностям. Поэтому, ухватившись после за его труд, Виталий погрузился в него с головой, не выискивая интересные для себя мысли, а словно напитываясь атмосферой мрачного противостояния учёного с обществом, противостояния, в котором он находил всё больше резонов.

В сочинении отсутствовали как таковые объекты критики, сама тема не позволяла выявить их однозначно. Противопоставлять себя огромному людскому сообществу показалось несерьёзным даже параноику со столь болезненным самолюбием. Нет, эти записи рассказывали скорее о проблемах Канетелина, точнее, они и велись для того, чтобы объяснить что-то себе, чтобы сгладить впечатление от катастрофической своей враждебности окружению. В собственном сочинении он и выглядел самим собой, поскольку, наверное, и не старался спрятаться за наполняющими его голову фантазиями. Однако навязчивость, с которой Канетелин предполагал расквитаться с ближним миром, проскакивала в его описаниях настолько часто, что нравственная деградация людей представлялась уже свершившимся фактом, на фоне чего намеренные убийства выглядели ничуть не большей трагедией, чем, скажем, автомобильная катастрофа с жертвами.

Тем не менее речь шла не об этом. Виталий только теперь начал понимать истинный смысл проблемы Канетелина. Интеллектуальное развитие в любом случае подразумевает какое-то взаимодействие, а взаимодействие в конечном счёте – это творческий процесс. Поскольку невозможно обособиться от толпы по причинам своего характера, обстоятельств или недостатка серого вещества в голове, перед вами неизбежно встаёт вопрос: как творить в мире, который ты ненавидишь? Мало того что в нём нет справедливости, никто даже не пытается сглаживать противоречия. Всем читают мантры, возникает массовый психоз, который называется какой-либо ценностью, и в результате вас вставляют в обглоданный, обкромсанный кусок реалий, где индивидуальность играет исключительно отрицательную роль. Только – массовое сознание, только – навязанные мнения, и даже восхищаться предписано сугубо традиционным или сугубо нетрадиционным в зависимости от того, какая доминирует политика. Достоевский считал, что красота спасёт мир. Красота ли? Если вы не хотите ублажаться вместе со всеми, находя источник удовольствий в другом, то какой такой мир спасает их красота, развенчавшая сотни, тысячи «оппортунистов», превратившая радость в потуги, слово в кирпич, счастье в безделицу и собственно настроение – в лишённое всяких привилегий заболевание наций, остро необходимое лишь в случае принятия судьбоносных решений?

Виталий теперь чаще думал об одиночестве, но видимо сама суть непереносимости нравов противоречит сближению с кем-нибудь из похожих по мировоззрению людей. До сих пор неясно было, как таких канетелиных распознать, как найти с ними хоть в чём-то точки соприкосновения. Не один же он такой на свете? Сам Виталий никогда подобных разговоров не затевал, всё больше прятался за фон словообразования. Стало очевидным, что общие интересы тут ни при чём. Теперь он отчётливо осознавал, что до сих пор только выгодно демонстрировал себя и будет продолжать это делать бесконечно долго. Истинное своё лицо, спрятанное за маской великодушия, упёртости и понятной всем любви, так и останется в его запасниках, поскольку труд сделал из обезьяны человека, но его же и научил ещё терпеть, не выплёскивая без конца эмоции на одушевлённые предметы. Видимо, так и таятся в некоторых неосознанные формы протеста, в тех, кто в бессильной злобе принимает действительность за наказание и в каждом встречном видит серое мурло.

Он вспоминал, как с готовностью когда-то хотел связать себя с какой-нибудь идеологией. Вернее он рано дорос до возможности доминирования в себе какой-нибудь рьяной всеохватывающей мысли, уничижающей безделье, делающей жизнь наполненной самым что ни на есть настоящим содержанием. Заменить им свои потребности удалось не сразу. Зато моментально потом появился повод недолюбливать оппонентов, отворачиваться от их назойливого копания в мелочах, от их всезнайства, заслоняя факты верой и текущей целесообразностью, из которых он составил собственную шкалу оценок и параллельно потом ею пользовался. Важным он считал личный настрой, целеустремлённость, отчего прощал других не из великодушия, а по наитию, предполагая, что это не вредит общему делу, наоборот, станет ему подспорьем. Он полагал, что целое – это как бы состоящее из миллионов личного и что движение каждого в результате складывается в общую силу как в материальном, так и в духовном плане. Что-то общее он из себя ещё выдавливал. Противоречия им пока не управляли, а приторность знаний ещё не выглядела такой ошеломляющей. Удивительной казалась идея справедливости, ведь она означала для него то же самое, что справедливое распределение характеров, то есть почти утопию. Но он ещё чувствовал себя в когорте славных движителей эпохи, его это вдохновляло, доставляло удовольствие противопоставлением одного образа мыслей другому, поиском хоть и мифического, но будто бы обоснованного, более правильного пути развития наций, сулящего выгоды не только каждому карману, но и каждому уму.

Наверное, он обладал какой-то энергетикой, каким-то особым даром влияния, поскольку заметил, как тянул почти весь свой круг общения за собой. Его уважали, ему доверялись, можно сказать, в некоторых случаях его даже любили. Его мнение учитывали, и данное обстоятельство заставляло его быть более ответственным перед людьми, заставляло учиться думать, преодолевая собственную расхлябанность как некий пережиток прошлых поколений. Поистине его ожидала хорошая карьера. Он не мог сетовать и на время – все звёзды, казалось, сходились в одном: более благоприятного случая проявить свой талант, когда имелись и запросы и возможности, найти было трудно. И скорее всего, он уже сейчас гордился бы собой, принимал ответственные решения, а не сетовал на неврастению да плохую переносимость местного климата, если бы не понял однажды, что спасти его не может ничто.

Осознание реалий поначалу пришло как запрос на более комфортную жизнь. Вполне естественный, обычный, будничный запрос, представляющий будущее в свете личных достижений, радостного переживания надежд, которые были из разряда вполне обоснованных. Половину задуманного ему потом удалось осуществить, и такая высокая продуктивность жизни могла послужить подспорьем для любых дальнейших начинаний. Его личные мотивы представлялись звеном огромного социального строительства, ни много ни мало он видел себя в контексте сильного поколения, а то, что его постоянное стремление уединиться как бы не соответствовало внешним признакам дружелюбия, можно было списать на его закрытый характер, требующий особого душевного настроя в каждом конкретном случае.

Но настраиваться хотелось всё меньше. Он вдруг стал осознавать, что развитие государств, процветание народов всегда представляют собой обычные бизнес-проекты, в которых есть те, кто получает дивиденды, и есть лузеры, за счёт которых такие проекты осуществляются. Лузеры – это большинство, составляющее население и внутри и вне конкретных государств. Оно наивное и недалёкое, получающее компенсацию за свою обиженность в виде развлечений. Всё чаще приходилось отгонять от себя мысли, в которых позитив, идущий от простого обывателя, выглядел убогим и бессмысленным. Их победы его не радовали, их устремления перестали вдохновлять. Точно так же и собственные переживания он стал представлять своей очередной глупостью в глазах любого встречного и видеть ценными только в собственных глазах, а в лицемерии людей убеждался почти каждый день. Поэтому комфорт в его понимании как-то незаметно стал ассоциироваться не с удобной и уютной обстановкой, а в первую очередь с удалением, как можно более значительным удалением, от любых человеческих особей с их беспокойной вознёй. Да, единый порыв огромных масс всегда впечатляет. Но как подумаешь, что это часть общего плана, умело расписанного и претворённого в жизнь – ведь управлять можно даже чужой фантазией, – так сразу становится грустно от уверенности служения чьим-то узкокорпоративным интересам, за века «преобразований» превратившимся в уродливую систему.

Однако его бы не устроило и милое коротание лет на стороне. Иметь состояние, живя уединённо где-нибудь на берегу моря с пурпурными закатами, только на первый взгляд выглядело достойным его идеалом благополучия, открывающим путь к бесконечным творческим познаниям. Восхваление мирского покоя совсем не одно и то же, что испытание этим покоем, враз обескровливающим цельность духа и мысли и превращающим будни в бесконечное мерцание пошлостей. Допустим, он писал бы там книги, наслаждаясь шумом прибоя, вдыхая чистый воздух морских далей. Увековечивал бы грусть в форме терпких игривых иносказаний, и пусть рядом с ним находились бы его друзья и близкие. Но кто бы понял тогда фигуры его дальнейших устремлений? Какова была бы природа его унылых на первый взгляд, скучных опытов, отвечающих действительности, словно «игра в бисер» для аристократов в пятом поколении? Пришлось бы оставить творчество либо видеть себя в контексте будущего, что равнозначно наивности и сумасшествию, ведь предугадать развитие мировоззрений невозможно. Смог бы он испытывать удовлетворение, оказавшись наедине со своими амбициями? Поскольку он чувствовал, что бушующее в нём негодование беспочвенно, то тихая жизнь где-нибудь вдали от сутолок являлась скорее всего лишь частью условий, при которых он был бы действительно счастлив, и его истинная позиция размазывалась на множество эпизодов, где противоречиво главную роль играли факторы, побуждающие его либо к ярости, либо к милосердию.

Теперь он уже больше винил общество, не каких-то конкретных придурков, а пресловутую людскую глупость, кое-где вызывающую снисхождение, позволяющую управлять некими сгустками интеллектов без вожжей. Ему неприятны были безвкусица и ложь, откровенное надувательство людей и их безграничное желание всё это воспринимать. Среди такого поголовного жлобства не могло быть и системообразующих элит. Каким уважением может пользоваться верхний слой граждан, когда уважение отсутствует вообще? И если Виталий не видел себя ни внутри сообщества, ни вдали от него, то резонно было бы стремиться к положению над ним, разглядывая простонародье с высоты. Если не хочешь чувствовать себя частицей толпы, надо её возглавить, и тогда твои вкусы окажутся значительнее чужих. Как отмечал горьковский Клим Самгин, «демос – чернь, власть её греки называли охлократией. Служить народу – значит руководить народом. Не иначе». Но для него растрата сил на управление означало форменное самоубийство, в подобной роли он себя никак не представлял. Это лишь усугубило бы положение вещей, при котором его отдаление от коллег превратилось бы в насущную потребность. Скажем, был бы он олигархом эпохи. Какой для него от этого прок? Наращивать капиталы, сумма которых уже ровным счётом ничего не меняет? Испытывать удовлетворение от развития отрасли? Его личный менталитет, его характер не позволяли ему считать всё это достойной сферой деятельности. Пусть этим занимаются предприимчивые люди, он выше этого, ему необходимо движение в иных направлениях, которые, правда, он до сих пор не мог для себя сформулировать, но точно знал, какого рода счастье ни за что не сделало бы его счастливым.

Без интереса он наблюдал вершины изворотливости некоторых известных ему личностей, отмечая их железную хватку, недюжие таланты в преодолении преград. Видел красоту и мощь искусства, а вместе с ними и неувядающий лик приспособленчества. Он отмечал, насколько изящней, судя по характеру задумок, могла быть форма произведений, если бы не владело авторами массовое сознание, этот капризный капитал сообществ, который мы привыкли только тратить, а не преумножать. Об этом он как раз и спорил частенько с Олегом Белевским, имевшим на сей счёт собственное мнение, во многом основанное на его опыте учёного. Тот доказывал, что искусство скорее служит человечеству, являя собой практические примеры людских возможностей, Виталий же полагал, что оно только развлекает.

Однако все прекрасные сюжеты выходного дня полностью утопали в наивной серости потребителя, казавшегося недостойным и шевеления пальца в его честь. Бросались в глаза его особая поза, гадливость, смех без радости. Кругом царила скука, для Виталия всё массовое казалось скучным, при этом любые начинания скорее отражали балаган, в последнюю очередь претендуя на качество. Глупость, лень и непомерная гордыня – более гремучей смеси, выплавляющей сонмы безответственных характеров, трудно себе представить. А он всё чаще задумывался именно об этих вещах. Люди, не осознающие, что они состоят из пороков, раздражали его больше всего, и таких было очень много, настолько много, что искать промеж них удачные расклады просто не хотелось. Поэтому он инстинктивно сторонился того, что могло испортить ему настроение. Словно избегая опасности, он, как правило, игнорировал коллективные мероприятия, не заводил непонятных знакомств, не говоря уже об исключении контактов со случайными встречными, в которых тут же подмечал неприятные для себя стороны натур и не мог отделаться от мысли, что это как бы не должно его нервировать. Всё неприглядное, и даже мерзкое в людях казалось вершиной айсберга. Какова же глубина такой вселенной, её структура, то болото, которое генетически выводит полные банальностей нравы, предлагающие устраивать друг друга по определению? Христианская мораль предлагает любить друг друга без оглядки, то есть относиться к людям с добром и отзывчивостью. Видимо из него получился плохой христианин, раз он не пытается учиться верить, оспаривая в себе религиозные постулаты и ненавидя лицемеров, которые, пряча свои мерзости, остаются верующими…

По пути маячили лица, и только одно из них заставило Виталия подумать по-другому. В течение короткого промежутка времени, пока он сближался и не разошёлся с какой-то строго-миловидной девицей, пришло осознание чего-то прекрасного.

Город пыхтел испарениями. Улицы гулко шумели, наполняя пространства между домами устойчивой децибельной взвесью. Виталий свернул в малолюдный переулок, и стало похоже, что мир затаился. В ожидании чего-то яркого, необычного, он глухо переживал, готовый взорваться громом потрясений в любой момент.

Виталий не заметил, как почти уже дошёл до работы. Задумавшись, он не сразу понял, что последние несколько минут ему что-то мешает.

Рядом вышагивал какой-то гусь, звонко цокая каблуками по асфальту, с плоской задницей, которая являлась продолжением его спины, и с таким же бесформенным лицом. Главное, что он шёл с одинаковой с Виталием скоростью. Виталий не любил, когда кто-то идёт с одинаковой с ним скоростью. Чтобы обогнать прохожего, пришлось бы значительно ускориться, и это дополнительно раздражало, а замедлив ход, он увидел, что придётся слишком долго ждать, пока субъект отойдёт на значительное от него расстояние.

В конце концов он плюнул и свернул ещё раз, не вынося, когда его отвлекают всякие придурковатого вида типы, вольно или невольно заставляющие обращать внимание на странности своего облика и поведения.

«Прекрасные люди всегда незаметны, – решил он, – а чем человек страшнее и вульгарнее, тем больше шумит, больше привлекает к себе внимание. Таким как раз и хочется посоветовать, чтобы они зарылись в свои норы и не высовывались».

Потратив некоторое время на манёвры, он наконец оказался у дверей редакции, но войти внутрь не успел.

Позвонил Глеб Борисович. Справившись о делах, он предложил срочно встретиться, и Виталий решил вообще не появляться сейчас на работе. Даже хорошо, что возник повод не подниматься наверх. Лучше отложить беседу с шефом, поскольку в данный момент он не был готов сказать что-то определённое, а все разумные сроки по заданию давно прошли.

Неожиданное пробуждение его главного поставщика новостей вызвало тревогу. Теперь, он чуял, возникнут дополнительные сложности вне зависимости от того, прояснится вопрос с делом физика или будет закрыт для него окончательно.

«Что бы это значило? – подумал Виталий. – Глеб Борисович решил раскрыть карты? Или он надеется, что это сделаю я?»

Завибрировали чувства. Виталий боялся ошибиться, оказавшись пешкой в чьей-то странной, непонятной ему игре. Если бы не последние события, говорящие о том, что теперь запросто могут свернуть шею кому угодно, он бы не был так сильно обеспокоен за своё будущее.

**3**

Уже через час он сидел рядом с Глебом Борисовичем. Как обычно, они встретились в парке на окраине города, расположившись на скамейке возле пруда, где сама природа с мягким шелестом листьев и щебетанием птиц располагала к торжественной сосредоточенности.

До сих пор их встречи были относительно короткими, неся в себе печать осторожности и не подразумевая долгих обменов мнениями, поскольку проблемы друг друга их не интересовали. Контакты были исключительно деловыми. Теперь же Глеб Борисович будто намеренно не спешил переходить к главному, отвлекаясь на текущие события и рассуждая о политике и экономике будущего. Он вёл себя так, словно беседовали два члена элитного клуба, которых события интересуют лишь в свете пустых, ничего не значащих рассуждений. Виталий обнаружил, что и Глеб Борисович владеет умением запудривать мозги, но в данную минуту его рассудительность наводила на мысли о том, что она понадобилась ему неспроста.

Виталий прервал собеседника на полуслове, сообщив, что в его отсутствие кто-то шарил в его квартире, видимо что-то искал, причём пытался это сделать незаметно для хозяина. Это вызывает нехорошие предчувствия, навевая мысли о том, что его используют втёмную. Хотя вроде бы они с Глебом Борисовичем обо всём договорились.

Договорились, конечно, не обо всём – Виталий прикинулся наивным, ожидая реакции полковника. Вдруг его задачи изменились? Неспроста же он вытащил Виталия на разговор, хотя журналист ему вряд ли уж так нужен.

– Мне об этом ничего неизвестно, – легко парировал полковник.

Скосив в его сторону глаза, он вернул себе непринуждённый вид, будто известие не произвело на него никакого впечатления.

– Возможно, вас проверяют по поводу вашего взаимодействия с Канетелиным. Хочу ещё раз извиниться за то, что я втянул вас в это дело, но я не предполагал, каким оно окажется сложным и запутанным.

– И нет никакой ясности в происходящем?

Он мотнул головой:

– Нет.

Одно из двух: либо полковник пытается выведать его секреты, либо хочет аккуратно ему кое-что слить. И здесь цели могут быть самые разные. Возможно, их интересуют каналы распространения информации, те, которые вне поля их зрения, и они надеются таким образом на отклик на «дезу», чтобы предотвратить несанкционированные утечки. Нужно быть настороже, ничего не выдавая, но соглашаясь на всё, что будет предложено.

– Я его практически не знал, – вдруг заявил Глеб Борисович, – он был странным человеком, этот Канетелин. Жил одиноко, сторонился близких. Меня он сразу заподозрил в неблаговидных целях, поскольку первый раз я с ним серьёзно заговорил, когда уже прошла информация по поводу его тайных исследований. Он почти год скрывал от всех свои наработки и, судя по всему, что-то затевал. Удивительно, почему природа наделяет огромным талантом столь неблагонадёжных людей?

– Неблагонадёжных?

– Да. В этом всё дело. – Полковник выглядел слегка отстранённым. – Человек вне системы неподотчётен даже сам себе. Он не вольнодумец, как многие полагают, он просто грешен. Идёт борьба систем, борьба государств и транснациональных корпораций. Только находясь внутри системы, можно понять, прав ты или нет. И как это ни прискорбно звучит, «винтик» в системе гораздо важнее свободолюбивой кувалды.

– Потому что она путает планы?

Глеб Борисович не ответил. Виталий почувствовал, что полковник теперь не такой, как всегда. Похоже, он намерен вызвать его на откровенность, но для этого всё-таки должен что-то предложить.

– А Захаров – человек системы? – спросил Виталий.

Полковник вернулся в настоящее, сделав вид, что ни на мгновение не терял контроля над собеседником. Наверное, он умело применил хитрость.

– Захаров нам помогает, но его работа с Канетелиным лежала исключительно в рамках его профессиональной компетенции. Никаких отдельных заданий по поводу Канетелина он не получал. Во всяком случае мне об это ничего неизвестно.

– Странно. Захаров был к тайнам Канетелина ближе всех. С его-то набором инструментов. Зачем же вам понадобилась моя помощь?

Видимо, это и было отправным моментом их разговора. Едва заметные изменения в поведении полковника дали понять, что к следующей части рандеву он готовился.

– Возможно, вы знаете что-то такое, чего не знаю я. Вы, наверное, понимаете, что обладая подобного рода информацией, торговаться бессмысленно. Идёт большая игра, в которой вы и я мелкие сошки. На вас точно никто не будет обращать внимания. Кроме меня. И гарантом вашей безопасности в особых обстоятельствах могу быть только я. Поэтому в ваших же интересах поделиться со мною всем, что мне неизвестно. Изначально, по-моему, мы так и договаривались.

Виталий будто обдумывал слова полковника, на самом деле ждал, что он ещё скажет.

– Даже если вы намерены попридержать информацию до лучших времён, – добавил полковник, – когда всё устаканится и прояснится, когда вы соберёте факты, чтобы найти правильное им применение, вам не дадут раздумывать о судьбах мира. Отдельные личности монополией не обладают. Поверьте моему опыту: в одиночку вам тайну не сохранить.

– А если я не собираюсь её сохранять. Предпочту обнародовать всё, что знаю. Возможно, это спасёт многие жизни.

– Глупо. Никого вы не спасёте. Вы только ввергните страну в хаос. Не забывайте, в мире существуют социальные, межэтнические, религиозные, расовые и бог знает какие ещё противоречия, а вы только поспособствуете их накалу. Народы чувствуют несправедливость так же, как отдельно взятый человек, а озлобленность наций – опасная штука. Она рождает комплексы покруче фрейдовских. Поэтому о той силе, против которой следовало бы озлобиться, никто не должен знать ничего конкретного.

– Как раз наоборот. Раскрытые карты, по-моему, всегда показывают, кто есть кто.

Глеб Борисович обратился в его сторону, будто обнаружив в собеседнике нечто для себя странное:

– В вас не хватает государственного мышления, – с лёгким недоумением констатировал он. – И всё потому, что вы мало читаете книг по философии. Оттого и заблуждения, и непонимание происходящего. Впрочем, я работаю с типами, некоторые из которых вообще мыслят на уровне подростков. – Он закинул ногу на ногу, предваряя последующую речь удобной позой. – Попробую сказать по-другому… Любая сила, с которой сталкивается человеческое противодействие, не должна быть бесконечно большой, ей обязательно нужно иметь стратегическую податливость, а незнание о ней – это и есть её податливость. Тогда её можно терпеть, борясь с ней идеологически, с ней можно рядом жить. Иначе единственным, и естественным, кстати, желанием объекта её воздействия будет только одно – так или иначе её уничтожить. Ну а пути решения такой задачи могут быть самыми разными. Терроризм, как мне кажется, вытекает не из ненависти и злобы, а как раз из желания уравнять чаши весов противоборствующих сил.

– А вы бы хотели предоставить возможность террора кому-то по выбору?

– Да, это намного умнее и безопасней. И это напрямую зависит от того, насколько широко в обществе распространится канетелинское открытие.

Редкий смех и радостные возгласы детишек доносились из глубины парка. В основном стояла тишина, та безумно чарующая безмолвность, в которой растворялись мягкие шорохи и запахи природы. И ещё птичий пересвист, насыщающий атмосферу райским благозвучием, всегда несущий радость доброго отдохновения, ярким цветом отвлекающий от нелёгких дум.

«Неужели я с ним согласен? – размышлял Виталий. – С ним, знающим всему цену, без тени сомнения определяющим выгоды целых народов. С таким и разговаривать тошно, но он, как всегда, логичен».

Виталий нащупал носком ботинка камешек, раскачал его, образовав в земле лунку, и вдавил его так, чтобы тот не выступал над поверхностью, притоптав землю малозаметными движениями ноги.

«За словами всегда скрывается нечто, и его не угадать, – продолжал он думать. – Красивые и правильные рассуждения порой принадлежат преступнику, но верят ему больше, чем чистейшей душе, запутавшейся в показаниях. И наоборот, бывает, дерзко говорит человек, не способный обидеть и муху. Полковника я по сути не знаю, доверять ему следовало бы в последнюю очередь. С другой стороны, из значимых людей доверять больше некому».

Глеб Борисович не мешал ему, любуясь прекрасным видом на пруд. Хотя временами казалось, что и на воду он смотрит оценивающе.

Неожиданно он встал, очевидно, для того, чтобы они встретились глазами.

– Прогуляемся вокруг? – кивнул он в сторону воды.

Несколько секунд Виталий был в нерешительности. Но, поднявшись, уже знал, что скажет своему деловому партнёру, пока ещё не утратившему этот ранг в столь непростой для всех период. Они медленно побрели по дорожке, огибающей пруд.

– По поводу тайн Канетелина мне сказать вам нечего. Хотя не скрою, я питал некоторые надежды на то, что он оставил какие-нибудь ключи к их разгадке. Чтобы научное достижение кануло в лету без следов для его воспроизводства, такое просто немыслимо. Но в жизни бывает всякое, люди выкидывают самые разные штуки.

– Однако вы достаточно были с ним наедине, и он вам что-то незаметно шепнул.

– Когда?

– Во время вашей первой встречи.

Виталий отчётливо вспомнил тот момент, выражение лица, с каким смотрел на него физик.

– Он предсказал время и место следующей катастрофы, которые совпали абсолютно точно.

– И как он потом это прокомментировал?

– Никак. Сказал, что не помнит, о чём говорил.

– Интересно, – полковник вышагивал, сложив руки за спиной. – И больше ничего?

– Нет.

«Он мне не верит, однозначно, – отчётливо прозвучала в голове Виталия мысль. – Ему везде чудятся противники, мечтающие его обыграть».

Непонятно, кто из них остановился первым, но они притормозили, молча рассматривая противоположный берег. Потом снова двинулись, ощущая присутствие недосказанности. Оба поняли, насколько эфемерными оказываются любые отношения, кроме дружеских. Виталий подумал, что после Олега ему некому доверить даже мелкие свои сомнения: мать не поймёт, отец наверняка осудит. Глеб Борисович же в очередной раз констатировал, что у него таких друзей никогда и не было. Жену в данном случае он в расчёт не принимал: у той наверняка имеются свои планы.

– Я уже говорил, Канетелин не один занимался исследованиями в данной области, – нарушил молчание полковник. – Но с его гибелью возникли сложности. Ясно, что именно через него возникла утечка информации, поскольку похожие результаты экспериментов до сих пор не получены.

«Может, Глеб Борисович и не должен ничего знать? – промелькнуло в голове Виталия. – Тогда он сам мелкая фигура, и мне тем более не резон перед ним отчитываться».

Вслух же он сказал:

– Нелегко вам придётся в расследовании, если вы до сих пор отрабатываете самые нелепые версии.

– Для меня сроки не играют особого значения, – отреагировал Глеб Борисович. – Я этим занимаюсь параллельно и исключительно в интересах своего ведомства. На меня никто не давит. А в отношении вас я испытываю скорее озабоченность вашим положением. В деле действительно есть непонятные повороты, но с чего вы взяли, что мой интерес к вам первостепенный?

– Потому что за мной следят службы с более явными полномочиями, не чета вашей. А вам, безусловно, надо узнать обо всём первому. Иначе вы просчёт в таком выгодном дельце никогда себе не простите.

Глеб Борисович только улыбнулся. Он вдруг закурил, и Виталий снова увидел бугорок на ногте его большого пальца, который он замечал всегда в самый неподходящий момент. Он его раздражал, будто незначительный нарост тканей как-то характеризовал оппонента, а неправильной формы ноготь влиял на его суждения.

– Я знаю, почему вы ко мне обратились по делу физика, – продолжил Виталий, словно не замечая снисходительной ухмылки собеседника. – Не из-за Олега Белевского, который был мне хорошим другом, не из-за моей прямой заинтересованности всё выяснить, нет. Вы впервые столкнулись с ситуацией, когда мотивы поступков важных для вас людей вам непонятны. Раньше таким пустяком можно было пренебречь, теперь никак: эти люди играют непосредственную роль в вашей карьере. Но для вас всё удалённое является броуновским движением. Поэтому вы привлекли меня, чтобы я сделал за вас черновую работу, а вы потом воспользовались бы моими находками для получения достойного в вашей жизни результата. Чем чёрт не шутит, вдруг в ваших руках оказался бы серьёзный аргумент в споре за привилегии? Канетелин бы вам действительно ничего не сказал. Найти с ним общий язык вам было не под силу.

– Почему?

– Вы верите в мудрость государства, а оно циничнее любого отдельно взятого человека.

– У Канетелина все были врагами. А что касается цинизма государства, это издержки особого положения власти. Государство даёт вам право достойной жизни. Оно выполняет такие функции, которое ни одно другое сообщество наций просто не в состоянии на себя взвалить.

– Вы меня не поняли. Я о государстве не как о системе управления. Я о власти как о третьей силе, о которой вы уже тут упоминали. – Он остановился и заставил остановиться полковника. – Есть власть для народа, есть народ для власти. И есть власть для самой себя со своими глобальными интересами, капризами и войнами. Она не имеет ничего общего с общественными отношениями, извините за тавтологию. Её задача – поддерживать собственный суверенитет, её цели – нажива, нажива в мировом масштабе, потому что только так она сможет беспрепятственно осуществлять свою деятельность внутри собственного государства.

На лице полковника промелькнула гримаса, выражающая в отношении Виталия полную ясность.

– По-моему, в вас говорит неудовлетворённость… Может, вы и правы, но я полагаю, всё зависит от того, в какой системе координат вы себя позиционируете. Когда-то вы сможете перебраться в другую плоскость, скажем, в ту же власть для народа или даже, как вы говорите, во власть для самой власти. Тогда у вас появятся другие критерии, и оценки станут другими: не в баллах, а в квадратиках, или в кружочках, я не знаю, как там у них принято. Всё будет другим: и мысли о справедливости, и те же ориентиры. Поэтому ваша задача – и всех вместе с вами – только сохранить себя до лучших времён, не пытаясь внушить кому-то, что людей с нравственной позицией и высокой моралью гораздо меньше, чем хотелось бы видеть. И вообще… Никому не вредно иметь своё мнение. Более того, его необходимо иметь, чтобы чувствовать себя полноценной личностью. Но мировоззрение человека меняется – с годами и в зависимости от внешних условий, – а жизнь такая коварная штука, что как бы вы ни уповали на собственные непоколебимые убеждения, в какой-то момент непременно придётся в них разочароваться. И возникнут другие – подчас противоположного толка.

Он удовлетворённо посмотрел на Виталия, дав ему время оценить сказанное.

– Поэтому отдельно взятая личность со своими колебаниями ничего не определяет, – продолжил полковник после тактической паузы. – Она лишь жужжит и барахтается. И необходимо иметь надёжные скрепы, чтобы это спонтанное барахтанье не разрушило однажды весь дом.

– Согласен. Только я за то, чтобы такие скрепы делало само общество.

– Ничего не получится. Нам с вами, например, никогда не договориться. Серьёзные решения всегда принимаются келейно.

– Но с итоговым отчётом.

– А зачем? Только для того, чтобы дать возможность высказаться кучке недальновидных деятелей? Они якобы полемизируют с властью, но в любом случае, слышит их кто-то или нет, их влияние ничтожно, практически равно нулю. В результате такая полемика служит лишь для разогрева интеллектуальной прослойки некой думающей части граждан, генерируя в ней ненужные отрицательные эмоции. А отрицательные эмоции интеллектуалов – серьёзная штука, их пускать на самотёк нельзя, иначе зародятся Канетелины в квадрате.

– Так обычно рассуждают неинтересные люди. – Виталий почувствовал, что его почему-то задевают слова полковника. – Люди, для которых будто бы всё ясно, не различающие цвета радуги, не умеющие по-настоящему любить.

– По-настоящему можно только ненавидеть.

– По-вашему, все друг друга ненавидят?

– В том-то и дело, что в любой момент ненависть не может быть присуща всем поголовно. Это противоестественно. Но она гораздо ценнее безразличия, из-за которого и рождаются самые отвратительные формы противостояний.

– Не из ненависти?

– Думаю, нет.

Виталий обнаружил вдруг, что начал заводиться. Он уже жалел о том, что дал втянуть себя в полемику с этим монстром противостояний, силу которого обнаружил давно, еще в первые моменты их знакомства. Как-то незаметно после деловой части разговора они перешли на общие темы, словно продолжая обсуждать свои отношения через ни к чему не обязывающие споры. Такое бывало редко, но если случалось, то Виталий лишний раз имел возможность убедиться, как витает по вселенной иная мысль – даже не точка зрения, а некая мера сознания, никак не соответствующая его правде и, казалось, выверенная до мельчайших нюансов, чтобы бить его – и других вместе с ним – по всем позициям. И таких убеждений были тысячи, десятки тысяч – разнообразных и твёрдых, поносящих его менталитет, «открывающих глаза» серым душам, использующих те же самые доводы с другой стороны. Бывало, в такие мгновения он терял аргументы и начинал говорить что думал. Ему это не нравилось, но бороться с мнениями означало их не слышать, что для него лично вырождалось в неучастие в полемике вообще, поскольку, конфликтный от природы, он по любому пытался реагировать на чужие доводы и часто без должных оснований выходил из себя. В этом плане он как раз очень хорошо понимал Канетелина. Наверное, любой бы с удовольствием внёс свою лепту в трагическую часть всемирной истории. Он долго не мог прояснить для себя, что всё-таки в долгосрочной перспективе побеждает: ум или характер. Конечно, обладание и тем и другим является наилучшим способом заявить свои права в этой жизни. Однако такая редкость сама по себе способствует выявлению неординарных личностей, умело противостоящих обстоятельствам, что подтверждается всего лишь отдельными эпизодами истории. Гораздо чаще приходится наблюдать ограниченных в своих возможностях особей. И их, безусловно, тянет в стычки. И каждая из них видит эти стычки по-своему. Конфликтность и людей, и сообществ, и поколений, и цивилизаций, возможно, и заключается в несоответствии мыслительных и духовных начал, которые никак в этом мире не могут соединиться. Они витают в пространстве, недопридуманном до конца, а человечество всё пытается выстроить для себя базис, очерчивая рамки одного (характера) и безуспешно надеясь сдружиться с другим (с умом). Хотелось бы иметь меры воздействия, что-то определять хотя бы в такой малости, как живой нрав, – увидеть предрасположенность к рисованию или убийству, обнаружить на клеточном уровне контуры кинжала или кисти, «забанить» всё ячейки несуразностей. Но даже встраивание личностей в системы, с одной стороны государственные, с другой – религиозные, не гарантирует функционирование этих систем в рамках норм, которые с таким апломбом предъявляются отдельным индивидуальностям. Наоборот, каждый привносит в систему всё самое худшее.

Обогнули пруд ещё раз и углубились в гущу лиственных. Зелень приятно поглощала звуки, они шли по петляющей меж деревьев тропинке, и в молитвенности леса Глеб Борисович выдал пару новых неожиданно глубоких сентенций.

Они ещё долго вели странный диалог, имевший целью общее прощупывание позиций, поскольку конкретика у образованных людей слишком блёклая, её всегда стараются обойти и заменяют некой рыхлостью. Однако отвлечённые разговоры, как ни странно, могут рассказать об оппоненте больше, чем его признание или непризнание по важным пунктам. И, в меру насытившись аурой подозрительности, оставшись наедине с собой, каждый из них не уставал думать о другом в контексте его нынешней причастности к событиям.

Уже разойдясь в разные стороны, по пути к автомобилю и по дороге дальше, они продолжали молчаливый диалог, словно предугадывая ответы другого и реагируя на них исходя из собственных взглядов и убеждений.

В и т а л и й: «Люди слишком разные, чтобы стремиться к общему счастью и благоденствию. Они смешные и «голубые», набожные и сумасшедшие, и никто из них не вправе считать себя правильнее других. Человек теряет очень многое в жизни, когда не хочет признать того, к чему предрасположен изначально. И его постоянно стремятся сбить с толку, поскольку массы никогда не превзойдут по тонкости чувств индивидуальный организм. Массы извращают суть, приписывая людям несусветную трогательность или бешеную революционность, однако то, что бурлит внутри, совсем необязательно становится руководством к действию. Идеология ничто. Идеология направлена на упразднение. Она всегда стремится нивелировать всплески чувств и представить их как нечто обыденное, подвластное толпе, тогда как самые малые всполохи внутренних переживаний неописуемы. Постыдное новшество социализма заключалось именно в низвержении личности до ничтожества. И сейчас то же самое. Ничтожество хотят сделать властителем дум – сладкоголосое, мягкое, пахнущее нафталином и придурью. Ну что ж, видимо, и ему пока есть место на планете, раз бесшабашная толпа управляется по телевизору».

Г л е б Б о р и с о в и ч: «Он полагает, я не знаю, как прикинуться непосредственным. Будто изо всех щелей моих веет снобизмом, из-за чего простота и легкомысленность мне давно не свойственны, а разговор по душам с таким всегда выглядит натянутым. У меня нет связей напрямую, он прав, ведь даже в общении с женой я скатываюсь к перепалкам с ней как с простушкой, мне это свойственно, мне это наносит ущерб, и я стараюсь его компенсировать. Однако он и сам личность глубоко противоречивая. С чего он взял, что знает людей изнутри, находясь на отрицательном по отношению к ним расстоянии? Даже Захаров заявлять такое себе не позволяет, хотя у него есть препараты, меняющие настроения и мысли людей в любую сторону. Виталию свойственна игра, ясное дело. Он способен заигрываться. Но это мнимый процесс, когда теряешь ориентацию и достижения становятся значительными, – но лишь в сценическом их воплощении, а не взаправду. Здесь важна степень адекватности происходящему. В «Жизни Клима Самгина» Горький обозначил кого-то как актёр для себя. А есть ещё актёры для людей. Пожалуй, все люди делятся на тех или других. И если спрятанное в глупости или строптивости желание паясничать на публику хоть как-то объяснимо, то свойство лицедействовать на потребу собственному нраву опасно. Человек, придумывающий в свой адрес аплодисменты, – словно бикфордов шнур к заряду. Рано или поздно кто-то из них догорает до основания, и тогда неминуемо наступает катастрофа».

В и т а л и й: «Государство родилось не на пустом месте и не из благих побуждений. Люди искали для себя защиты, но кто-то смекнул, что их страхами можно пользоваться. Всё это для того, чтобы умело людьми управлять. Каждый добровольно лишает себя части прав, подразумевая, что это лучше полного бесправия. Однако лишение прав при всём желании справедливости получается далеко не равномерным. Обыватель вынужден смиряться с неудобствами, которые не испытывает среднее звено управления. Среднему звену приходится задумываться об отступных, на что плюёт олигархат. Правил обычно так много, что их можно трактовать как угодно. Кумовство, клановость, расслоение по уровням влияния. Они всегда были и будут – просто в государстве они умело завуалированы, прикрытые якобы внешними общественными интересами.

Теперь, допустим, наступила анархия: все всё могут, всем всё дозволено. Всякие правовые регуляторы отсутствуют, наступает эра технических. Разумеется, все так же оказываются в неравных условиях, только сдерживающим фактором выступает не право, а сила. Никому не запрещается вступать в переговоры или сговоры, откуда зарождается новая иерархия, показывающая, у кого больше аргументов, – у кого всё схвачено натреть, а у кого наполовину, – и в результате чисто формально получается тот же расклад. Те же кумовство, клановость, расслоение по уровням влияния…

Спрашивается: если в какой-то точке сошлись две противоположные формы общественного устройства, можно ли обнаружить между ними разницу?»

Г л е б Б о р и с о в и ч: «Страна сильна героями, а герои не назначаются, их выбирает поколение. Только в связке с идеями есть смысл проявления своих лучших качеств, и наоборот, лишь из совместной деятельности индивидуумов рождаются полезные для общества идеи. То, что индивидуум противопоставляет себя обществу, есть его личное дело, однако сама идея такого противопоставления невозможна без обратной реакции (результативной или нулевой) со стороны общества. Это говорит о том, что он так или иначе, но вписан в него. Его действия подконтрольны. Он желает обособиться, то есть избавиться от контроля, то есть как бы не реагировать на то, что ему дано, благодаря существованию внутри социума. Если бы он рос снаружи его, у него не возникло бы мысли отгораживаться, поскольку отгораживаться было бы не от кого и не от чего. Теперь же он понимает, что, приобретя навыки общения, навыки сосуществования, их можно как бы и похерить. Или подучиться заново в другом племени. Или просто умело разводить костёр, потому что ему даны обществом спички, а объяснять, что такое пламя, никому не надо. Он сидит одиноко в пещере и смотрит на мятущиеся по стене тени, представляет одиночество как счастье, укутывается в тёплый плед и начинает вспоминать прошлое. Теперь наконец-то пришёл покой, теперь наступила радость созерцания, не обязательность творческих потуг, а возможность простого творчества. Впрочем, и оно, как быстро пришло соображение, тоже теперь ненужное дело. Нужно только убить кабана, чтобы поесть – вот и всё творчество. А чтобы в конечном счёте поставить добычу мяса на поток, да отбиваться о гадов, да защищаться от стихий, не мешало бы прикупить ещё кое-чего стоящего; а то, может, и новинки какие-нибудь в мире появились интересные. Неплохо бы опять ненадолго – на пару дней, что ли – смотаться в цивилизованный мир, похавать немного чего-нибудь вкусненького, увидеть эти гнусные рожи людей и поругать соседей, чтоб им кость поперёк горла встала. Да и почитать газет, а то скучно стало, – узнать, какие новости».

В и т а л и й: «Если он проверяет меня на вшивость, то, безусловно, узнал обо мне всё, что необходимо для его таблиц. Другое дело, какое он придаёт этому значение. Он практик, а не метафизик и свои выводы об оппоненте должен делать исходя из его действий, а не суждений. Судить о человеке по формальным признакам не гнушались только нацисты. Даже если я испытываю к кому-то ненависть, у меня хватит внутренних тормозов не уподобляться животному, не вредить другим, чтобы удовлетворить позывы бешеного противодействия, которые бывают совсем непродолжительными. Я переживу такую малость и вовсе не потому, что строг к себе или предпочитаю не связываться с неизвестностью. Просто главное свойство любого организма – это поиск, стремление к созиданию, а не к разрушению, на этом основана эволюция, и человек здесь не исключение. Поэтому исходя из логики природных законов в масштабах планеты должно доминировать добро. И если я не идиот, то и внутри меня тоже, а я, наверное, не идиот. Люди, подобные мне, копаются в чужих душах, чтобы не понять их, но поставить метку, определить степень их ненадёжности. Это тоже свойство, только теперь уже существа разумного.

Враз сжечь мосты, избавиться от прошлого – такое мы можем, такое доставляет даже удовольствие, скорее всего мнимое, но кто задумывается о последствиях в моменты эмоциональных перегрузок. Однако моё отличие от Глеба Борисовича заключается в том, что он уповает на системные стопоры, а я на собственные. Мне нужно только сопереживание, чего в групповом исполнении не дождёшься – оно всегда будет фальшивым. А функционирующая система стремится такие личности отсечь. Просто от них избавиться. Она будет лить слёзы по младенцу, но обязательно отрубит голову его матушке, если по её лекалам та подпадает под определение гидры».

Г л е б Б о р и с о в и ч: «Никакой морали нет, всё это чушь собачья. Если человек одной половиной мозгов думает о нормах поведения, а с помощью другой при этом пытается кого-то околпачить, как можно вообще говорить о его высоких нравственных побуждениях? Он просто их выдумал, чтобы иметь возможность оправдаться по поводу смысла своего существования. Никакой морали нет, есть внутренние противоречия, и выбор, который человек делает в себе, регулируется общественным договором. Такой договор может быть справедливым и не очень, масштабным или крохотным, но без него не обойтись. Наоборот, каждое побуждение должно быть прописано заранее: в каких случаях и что порицается, в каких одобряется, не нанося никому косвенного ущерба. Пусть и злоба будет общественным явлением – тогда против неё действительно родится противоядие.

Цели, преследуемые отшельником, всегда мелкие, как бы он широко ни мыслил. И решения его мелкие. По одиночке люди недальновидны, и в какой бы странной голове ни зародилась бомба, в реальную мощь она может превратиться только внутри хорошо отлаженной, анализирующей системы. Бомба как умысел целого поколения – это нечто».

Пройдя вдоль северной окраины парка, Виталий вышел на дорогу, где он оставил свой автомобиль.

Он сел в машину и некоторое время не двигался, поглощённый размышлениями, однако неожиданный порыв ветра закачал деревья, заставив его отвлечься от своих мыслей.

Парк встрепенулся, зашумела беспокойная листва. Сразу обозначились солирующие, кто тут чего стоит. Хвойные задавали основной тон, мерно помахивая лапами из стороны в сторону, а берёзки и осины интенсивно затрепетали при изгибах, словно шевеля перед ним десятками тысяч своих пальчиков. Казалось, их пронзительные метания выражают нечто понятное, необычайно созвучное его настроению. Он любил такие моменты, во время которых чувствовал в себе настоящий приток сил, даже решительность. Несколько минут он наслаждался зелёным волнением, широта его взгляда казалась беспредельной, однако он уже ясно ощущал, как возвращается к делам, а мысли, заботясь о текущем, неуклонно подавляют праздничность конкретикой.

Асфальт пересекла собака. Понуро опустив морду и поджав хвост, она переходила проезжую часть по диагонали. Он подождал, пока она сойдёт на обочину, подумав, что и животные, возможно, решая свои проблемы, забывают о сиюминутных опасностях, сосредоточенные на физических тяготах сильнее, чем на инстинктах. Потом, оставив её жить своей жизнью, он наконец отъехал.

Дорога, которой он следовал, несколько раз огибала изысканные постройки, одна из которых называлась какой-то дачей, признанной объектом исторического наследия. Он сразу же вспомнил связанные с ней события, отметив, что они продолжаются, похоже, до сих пор.

Небольшой участок с домом, находящийся в пригородной зоне, превратился однажды в настоящее поле сражений, где столкнулись прошлое и будущее, по велению уже нашего времени вырождаясь в грустную комедию. Жизнь извлекла из памяти новую историю: он с интересом обратился мыслями к тому, что рассказал ему как-то далеко не рядовой городской чиновник.

Объект был закреплён за местным муниципалитетом, но, очевидно, не имел в лице его функционеров реального покровительства. О здании забыли, а тем временем в соответствующем департаменте решились подмахнуть пару бумажек с печатями, и земля вместе с домом была отдана в долгосрочную аренду солидной финансовой группе с государственным участием, которые, как известно, денег на ветер не бросают. Что-то там было отмечено про восстановление, и на месте обветшавшего памятника архитектуры развернулось строительство. Хитрость за пределами адекватности у наших предпринимателей в крови. Проект оказался экстравагантным, но то ли на бумаге он выглядел по-другому, скрывая новодел, то ли к его обсуждению привлекли слишком мягких защитников истории, тема прошла, а явное несоответствие будущей постройки оригиналу проявилось, когда уже над деревьями стали возвышаться новые контуры строения. Сооружение не походило на старый дом ни по концепции, ни по размерам, ни по внешнему облику. Об исторической «даче» напоминали только две фиговые башенки, приделанные к массиву от великого ума, призванные, очевидно, показать, как мы щепетильны в отношении творений дедов. В целом оно выглядело просто надругательством над историческим названием, поскольку название в свете тайных комбинаций новых владельцев, естественно, не сменили.

Забила тревогу общественность, подключились газеты и телевидение. Поднялся шум, и дело дошло до суда. Затянулась тяжба, причём не в отношении каких-то пройдох, когда решения принимаются быстро, а государства со своими влиятельными структурами. Как известно, солидные компании денег на ветер не бросают, поэтому на защиту потраченных средств были аккумулированы ещё бóльшие суммы в надежде завершить-таки проект и в дальнейшем по прекрасно разработанному бизнес-плану гарантированно отбить все «бабки».

Подключили нового архитектора, известную маститость, который предложил немного проект исправить – так, чуть-чуть, чтобы и владелец не понёс значительных убытков и историческая преемственность в понимании памятников архитектуры не нарушилась. Надо сказать, к делу он подошёл творчески. Умело задействовал свою природную жилку, а может быть, даже не одну, проведя несколько месяцев в раздумьях над концепцией, и, безусловно, эти раздумья были хорошо оплачены. Он предложил сначала снести верхний этаж, потом убрать флигель, добавив другой, потом «поиграл» с материалами, попытавшись приблизиться к исходной постройке в дереве и кирпиче. В результате по окончании изыскательских работ здание изменилось, как было уже сказано, незначительно, но зато сколько энергии ушло на отработку вариантов и, соответственно, потрачено человеко-часов, сколько применено старых новаций, о которых надо было ещё вспомнить. Труд сей в целом, как и следовало ожидать, влетел владельцу земли в копеечку, но отдадим должное тому, что исполнитель проекта действительно старался, иначе зачем было делать столько безумных эскизов, которые наверняка же он не штамповал, как блины.

Всякий раз, когда он предъявлял очередной план, слушатель шарахался от новизны взглядов, но терпел архитектора, поскольку видел в его делах последовательность, а отказаться от его услуг, когда чувствовалось, что вот-вот – и должно проявиться что-то стóящее, достойное обсуждения, было бы неразумно. Пусть и разводят обывателей на траты – все всё понимают, – но здесь-то участвуют солидные люди. Риски те же, однако отдача от принятых решений много существенней, поэтому и стоит поиграть в заинтересованность. В крайнем случае этого архитектора можно легко забыть. Если он наварил на этом проекте бабла, честь ему и хвала, а компанию убытки не интересовали – не те масштабы.

Большого деятеля отличает умение лихо маскировать свои действия, когда неясно, где он приложил-таки к творению руку, а где не затратил на него никаких усилий. Возможно, проблемы с «дачей» и помогли архитектору найти нужную форму камуфляжа, но это уже его история, мы же о другом.

Изменения были подготовлены. Владелец земли потирал руки, так как считалось вроде бы, что необходимо только предъявить общественности хоть какую-то реакцию на критику, и дело в шляпе: ошибки учтены, с разбирательством покончено, заинтересованные люди получили удовлетворение, резолюция вынесена, проект реанимирован, жизнь потекла дальше.

Тем временем суд, выслушав аргументы сторон, удалился на совещание. Совещание затянулось на несколько лет. Какие силы были задействованы в подковёрной борьбе, кому понадобилось биться за этот объект, неизвестно, но где-то надавили, где-то просели под натиском авторитетов, и здание всё же было решено снести. Ломать – не строить, за это взялись тут же, скорее из решимости претворить в жизнь великую справедливость, которая у некоторых не слишком одарённых воображением ассоциируется со словом «ликвидация». В какой-то момент место расчистили, и, по мнению Виталия, раз такое случилось, то это был наилучший вид данной территории, где прекрасный лес не захламлялся вообще никакими постройками. (Здесь он был солидарен с людьми, понимающими справедливость как ликвидацию.) Вроде бы рисовались планы восстановить дом в первозданном виде, владельца земли обязали сделать это за свой счёт, но теперь уже не торопилась компания, исповедующая принцип «после поражения обязательно придёт победа». Затаив обиду, она оттягивала решение суда как могла, сосредоточившись на других направлениях, а по поводу данного амбициозного проекта хранила молчание, будто забыла о нём вообще, даже не предпринимая шагов, чтобы объясниться.

Пришло время, когда сменилось региональное руководство, и вокруг объекта сменили забор. В вопросе о «даче» была начата новая глава. С подачи руководителя, оказавшегося связанным с компанией, арендующей участок, стройку возобновили вновь с уведомлением восстановить старое. Но велась она как прикрытие, работы начали, ещё не представляя, когда им наступит конец, потому что они достались компании в нагрузку, в обмен на исполнение других важных планов, и даже местная администрация не могла сказать о строительстве ничего конкретного.

Далее в историю вмешались личные отношения действующих лиц. Так случилось, что глава компании-застройщика и руководитель региона что-то сильно не поделили, попутно испытав друг к другу неприязнь, после чего из союзников очень быстро превратились в лютых врагов. Такие метаморфозы в век глобального захвата, как представляется, вполне себе обыденная вещь. Сильнее оказался руководитель региона. В результате в следственных органах был задействован нужный компромат, на главу компании завели уголовное дело, обвинили его в хищениях, и договор аренды земли был расторгнут. «Дача» вернулась под радеющее крыло муниципалитета. Но, судя по всему, объект свалился на исполнительные органы власти как неожиданная обуза.

Хуже нет, когда распрощаешься вроде бы с планами, привыкнув к размеренному течению жизни, а тебе навязывают их вновь. Пришлось возвращаться к битым горшкам. Объявлять новый конкурс, поскольку результаты старого по инерции признали недействительными (всем показалось, что подкуплены были даже офисные служащие, раскладывающие по столам карандаши), нанимать новых подрядчиков, потому что прежних в размахе дела на всякий случай вымазали в грязи, оплачивать неустойку контрагентам, из-за того что, по хитрости бумаг, администрация оказалась многим должна и долгое время даже не подозревала об этом. В общем, дом со своим, будь оно неладным, прошлым стал уже притчей во языцех при обсуждении любых городских планов, бросая тень на победителей, в которых никак не чувствовался победный дух, а лишь растерянность в глазах, точно они заметили у важного клиента расстёгнутую ширинку. О доме много говорилось на совещаниях, писались статьи, к теме привлекались иные журналисты, но воз оставался на прежнем месте из-за отсутствия как такового желания что-либо предпринимать.

Потом случился кризис, и стройку заморозили ещё раз. Долгое время на виду торчал второй этаж с пустыми проёмами окон, огороженный гофрированными листами, отделявшими от парка территорию странных экспериментов. В конце концов забор демонтировали, но объект до сих пор не сдали: дом стоит без внутренней отделки. Теперь как память о памятнике, подновлённом с фасада и так же, как и полвека назад, не готовом принять посетителей. Сколько средств крутилось вокруг названия этого объекта, трудно себе представить, поскольку бóльшая их часть ушла не по назначению. Те, кто первые упоминали о его восстановлении, давно уже работают на других должностях, в других местностях, сидят в современных офисах и управляют.

Люди говорят о глубоком наследии, о почитании предков, об исторических местах, однако истинные их мнения, как в зеркале, отражаются в этом необычном долгострое, где поначалу затеяли коммерческое предприятие, потом попытались найти компромисс, потом плюнули на то и на другое, оставив всех в недоумении масштабом своей глупости и некомпетентности. А в результате изуродовали память, наследив после себя слишком дерзко, что бросается в глаза любому впервые посетившему это историческое место человеку.

Печальные вековые ели возвышаются над обновлённым, грубо приукрашенным домом. Ближайшие к нему деревья, разумеется, убрали, и теперь он стоит на фоне аккуратной стенки лесного массива, а не утоплен в него, как было раньше.

Большие мохнатые лапы когда-то свисали над крышей, притыкаясь к окнам мезонинов. Какой-то сказочностью, волшебным покоем отдавало при виде этого места, где собирались когда-то затейливые умы эпохи. И нынешним модернизаторам жизни оказалось невдомёк, что память сохраняется не просто в предметах, а в совокупности их с обстановкой, с ландшафтом, со вкусом и светом прошлого как необычайной атмосферой изысканности, влияющей на сознание многих и многих людей.

Парковая зона давно закончилась, а Виталий всё ещё держал в памяти увиденное. Каким-то образом история с домом отразилась на его понимании ситуации в целом. Вычислять людей он был не способен – он их чувствовал, и попутные настроения будто подталкивали его к отысканию правильных о них суждений.

Он выехал за город и мчался теперь по шоссе, фиксируя поля и пролески, дальние косогоры, освещённые радостным солнцем, возбуждённую прелесть широкой равнинной местности.

Ватные облака, раскиданные в небе, кое-где врезались в память причудливыми формами. Он успевал видеть всё, продолжительные поездки очень редко выливались для него в нудное дорожное однообразие. Проносящиеся мимо машины и люди, дома и животные будто с такой же скоростью отводили назад его мысли, освобождая разум, а вместе с тем и избавляя его от налипшего в последние дни неприятного осадка. Неразрешённые проблемы постепенно разравнивались. Ему ещё предстояло сделать одно дело, и он чувствовал, что с удовольствием уезжает из города, будто оставляя позади трудности, стремглав несясь к победному финишу, до которого теперь открытая дорога.

Автомобиль мчался, маленькая точка на карте перемен стремилась к чему-то неизвестному. Приближался миг, подсказанный логикой событий, которые в последние дни однако утратили всякую предсказуемость.

**4**

«Пора вставать», – подумал Димка, приподняв сонные веки.

До сигнала будильника оставалось совсем немного. Он выключил его, решив понежиться в постели ещё пять минут, и проснулся только через час.

– Вставай, проспали, – толкнула его в бок Лида.

Она вскочила и забегала по комнате, отыскивая халат.

– Я не слышала будильник.

– Я его выключил.

– Молодец, – саркастически заметила она и ринулась в ванную.

Повернув голову, он уловил только дуновение воздуха, помчавшегося за ней, когда она скрылась за дверью.

Лида ночевала у него, уже в который раз, практически став в его апартаментах хозяйкой. Ему это было приятно. Он с удовольствием улавливал те особые моменты их близости, которые уже начали растворяться в бытовых вопросах. Его жизнь претерпевала изменения, но вопреки опасениям они не доставляли ему неудобств. Наоборот, здравый смысл и воздушное настроение Лиды вписались в его быт, словно недостающие элементы, из-за чего её присутствие оказывалось всегда к месту и было приятным. Уставившись в потолок, он с наслаждением вспоминал ароматы жарких поцелуев, поняв, что наконец нащупал некую устойчивость своего существования, поскольку не представлял раньше, как сможет совместно с кем-нибудь жить. К тому же она нравилась родителям, и в этом плане у него вообще не было никаких проблем.

– Чего ты лежишь? – Она уже расчёсывалась и одевалась. – У вас столько ванных комнат, что одновременно могут умываться, наверное, с десяток человек.

Улыбаясь, он мотнул головой:

– Только шесть.

Он лежал на боку, подперев голову рукой, и рассматривал её, будто действительно никуда не торопился. Или, по крайней мере, имел определённый план, хотя на данный момент ещё не мог поделиться с ней никакими соображениями.

Лида присела рядом с ним:

– Ну. Долго мы ещё будем нежиться?

Она запустила пальцы в его растрёпанные волосы, уже зная, что это нравится ему больше всего.

Димка закрыл глаза, млея от удовольствия. Не надо было быть ясновидцем, чтобы понять, что он вообразил себе нечто чувственное. Он потянулся губами к её ладони, готовый принять её ласки и превратить их в свои, но Лида отстранила рукой его голову, сказав будто даже с лёгким сожалением:

– Давай поднимайся. Пойду что-нибудь сделаю на завтрак. Ко второй паре успеем.

Он задержал её, не дав уйти без своего благословения:

– Не могу отпустить тебя даже на минуту. Сейчас это важно.

– Прямо сейчас?

– Да. – Он встал перед ней во весь свой любовный рост и крепко её обнял.

Первый раз он почувствовал, что период стыдливого обожания перешёл в стадию ненасытности, когда бессмысленным кажется любое мгновение, не посвящённое любимой.

Несчётные ласки приводили к свербению плоти. Он тонко улавливал по чувственным каналам её ответную реакцию и оттого распалялся ещё сильнее. Лида не возражала, и это явилось пока самым значительным его достижением. Не представляя теперь, как он мог без неё жить, Димка с жадностью целовал её в губы, ощущая всем телом, что нравится ей не меньше, чем она ему.

– Пойдём к третьей паре, – прошептал он.

– Сумасшедший.

В её устах это была самая приятная для него похвала.

Мысли спутались. Он любил теперь нечёткость содержания, без которого в математике вообще невозможно было достичь какого-либо результата. Оказывается, и ученье могло быть полезным, поскольку представляло для него необходимый контраст с остальной жизнью. Он погрузился в глубокую метафизику, описывающую явления гораздо определённее важных тем, которые затрагивали в его представлении не слишком сведущие в других областях люди. Время, как всегда, остановилось, и лишь тонкие всполохи материи, давая о себе знать особо выразительным способом, подтверждали связь с реальным миром. Его смелая забывчивость возвещала о том, что настал волшебный миг такого мягкого, кичливого, ни с чем не сравнимого взаимодействия.

Спустя некоторое время они завтракали на кухне, поглядывая в тишине друг на друга, готовые чуть ли не рассмеяться от удовольствия. Они церемонно отпивали кофе, постукивая чашками о блюдца, и с наслаждением поедали бутерброды с ветчиной и хрустящие тосты с джемом.

Дома никого не было, они чувствовали себя свободно, но одновременно каждого теперь посетили мысли о своих потребностях, мысли об их существовании теперь в необычном качестве. Димка молчал, оценивая перспективы в развитии их отношений.

Лида ещё не до конца к нему привыкла, ей нужно время, чтобы освоиться. Не в этом доме, а рядом с ним. Когда она почувствует, что стала частью его сознания, тогда их любовь обретёт и смысл и будущее, в которые он верил безоговорочно.

Он замер, рассматривая её руки, будто устроенные совсем не так, как он думал раньше.

– Ты чего?

– Знаешь… – Димка обозначил на лице ближайшую удовлетворённость. – У меня появилась замечательная идея. Давай не пойдём на лекции совсем. Посвятим этот день себе полностью. Отдохнём как нормальные влюблённые, которым положено смотреть на всё весело.

– Но завтра воскресенье. Завтра и отдохнём.

– И воскресенье не будет лишним.

Похоже, его предложение не очень ей понравилось.

– Дима, мне обязательно нужно в университет, у меня сегодня зачёт. Я и так по твоей милости пропустила практику.

– Сдашь потом. Первый раз, что ли?

Он только сейчас сообразил, что действительно вылез со своей идеей не вовремя, но оттого ещё сильнее захотелось её уломать.

– У меня сегодня такое прекрасное настроение. Я ведь для тебя важнее, чем какой-то зачёт? Разве не так?

– Конечно.

– Вот видишь. Мне бы тоже надо поприсутствовать на коллоквиуме: нужно прояснить для себя некоторые моменты из теории. Но я с радостью бросаю эту блажь ради общения с тобой, ради твоей улыбки, которая для меня очень важна. Может быть, теперь, как никогда раньше.

– Тебе наплевать на мои дела? – поинтересовалась она, мысленно свыкаясь с его затеей, но ещё не отказываясь от занятий в университете окончательно. – Любовь, между прочим, это жертвенность. Надо уметь преодолевать себя ради любимого человека.

– Вот я и хочу, чтобы ты себя преодолела. – Он обхватил её за талию, снова приблизив к себе.

– Хитрец.

– Нет, правда. Бывают же дни, когда нужно встряхнуться, забыть всё и отдаться вдохновению. Или совершить глупость, к которой никогда в жизни не готовился. Вопрос только в том, веришь ли ты, что для меня наступил именно такой момент.

Она внимательно на него посмотрела, конечно, соглашаясь в душе на любые его предложения и только оставляя для ума маленький островок независимости, чтобы её любовь к Димке имела ещё большую цену. Потом обвилась вокруг его шеи и мило залепетала, сама не понимая, зачем буквально только что противилась его желанию прогулять университетские занятия:

– Хорошо, давай весь день проведём вместе. На самом деле мне нравится эта мысль. В ней есть что-то отрезвляющее. Я с удовольствием предалась бы беззаботному существованию, если бы не какие-то условности, которые нас окружают.

– Плевать на них. Имеем же мы право хоть раз на них наплевать.

– Имеем.

– И ты не будешь потом жалеть?

– Если буду, я тебе обязательно об этом скажу.

Он в очередной раз почувствовал, как она ему безумно нравится.

– Договорились.

День выдался чудесный. Ласковое осеннее солнце мягким светом осеняло дома и набережные, отражаясь в реке игривыми искрами. Веселящие глаз отсветы наполняли атмосферу дружелюбием, в неё хотелось окунуться и мило барахтаться так до приятного изнеможения. Сотни радостей растворились на широких мостовых, поджидая за углом, в кустистых зарослях скверов, среди расхаживающих в любви горожан, и везде чувствовалась открытость, теплота, спокойное достоинство взглядов. Несмотря на тревогу последних дней, отваживающих население от людных мест, парки были полны народа. Всё так же прогуливались мамы с детьми, так же мчались поджарые бегуны на роликах, игриво зазывала реклама и нескончаемые павильоны манили обилием дешёвых лакомств.

Они пошли в парк аттракционов, намеренно погрузившись в мир развлечений. Простое удовольствие от скорости, игры тела и души оказалось тем необходимым дополнением, что сумело поднять их чувства на недосягаемую высоту. Он не склонен был подозревать себя в беспечности, но ему действительно вдруг захотелось забыть всё на свете и находиться только рядом с ней, испытывать одинаковые с ней эмоции, думать об одном и том же. Физическая близость с ней дурманила его, как неопытного юношу. Прижимая её к себе, он ощущал ту блаженную простоту достижений, к которым не было необходимости готовить себя в университете. Ему нравились лёгкость и непосредственность в общении, может быть, потому, что он только недавно начал ощущать себя свободным. Он знал, что это благодаря Лиде, благодаря тому, что она есть. Та нечёткая, дальняя связь, которая соединяла их с детства, возможно, управляла и их увлечениями тоже. В школьные годы он соревновался с ней умом, воспринимая её как равную себе или в чём-то даже превосходящую его. Он даже боялся её, не позволяя себе расслабиться в её присутствии, наверное, в большей степени из-за того, что она девочка. Теперь же, когда лишние препятствия между ними были устранены, та бесподобная энергия привязанности к ней, которая несколько лет не давала ему покоя, изменила его отношение к ней до неузнаваемости. Он покорился страсти, и, оказывается, ни в чём себя не ограничил. Пока, во всяком случае. Он понял, что и её свободы не ущемлены тоже. Или в какой-то степени она с готовностью идёт на жертвы, очевидно, видя в перспективе благополучие и семейное счастье, которое связывает с ним безоговорочно. Их любовь раскрылась. Со всей очевидностью стало ясно, что на данном этапе жизни она является для них главной.

В полосе удач он обнаружил, что и темы их разговоров стали значительно шире, чем представлялось раньше. Прежде они общались сведениями, потом напирали на ощущения, а в последнее время находили удовольствие в обсуждении мнимых настроений. Они мило балагурили ни о чём, новости учебного процесса и университетских тусовок их интересовали лишь попутно. Он научился быть лёгким в разговоре, чего раньше за собой не замечал, поэтому и окрылённость его выглядела в её глазах вполне естественно и привлекательно.

Вдоволь накатавшись на сумасшедших горках и настрелявшись из винтовки по каким-то пугалам, они весело обсуждали друг друга, предаваясь наслаждению игры и испытывая яркие впечатления.

– Зачем ты закрываешь глаза, когда спускаешь курок? – живо интересовался Димка. – Так ты никогда не попадёшь в цель.

– Мне их жалко.

– Правильно, в самый последний момент ты ещё и дёргаешься всем телом, словно заранее испытываешь неимоверную боль. Но твои корчи напрасны: на сто процентов можно быть уверенным, что ты промахнёшься. На тебя без смеха невозможно смотреть. Киллера из тебя не выйдет, это точно.

– Я рада. Можно подумать, что ты всё умеешь.

– По крайней мере нужно делать вид, что умеешь.

– Да уж, умника ты из себя умеешь строить.

Лида шутливо ткнула его в бок. Ей было хорошо, потому что он редко по-настоящему веселился, иронизируя обычно как-то натянуто, тяжело. За его шутками скрывалась тоска, во всяком случае раньше она не могла отделаться от такого ощущения.

– Отец рассказывал про своих знакомых, – поделился услышанным Димка. – Его приятель учил свою дочь вождению. Когда она впервые выехала на оживлённую улицу и оказалась в гуще машин, то жутко испугалась. Ехала-ехала и в какой-то момент бросила руль, закрыв глаза. «Ой, – говорит, – я не знаю, что делать».

Лида рассмеялась.

– Всё обошлось, потому что он сидел рядом и быстро сориентировался. Теперь она тренируется на заднем дворе, вернее, на специальном тренажёре, чтобы привыкнуть к сложной обстановке на дороге.

– Ну, я бы руль не бросила.

– Мы потом это проверим.

– И ты готов со мной рискнуть?

– Да, потому что я в тебя верю. – Он притянул её к себе. Они посмотрели друг на друга. – Это не пассивное восприятие опасности, когда просто настраиваешься на то, что надо что-то пережить. Здесь нужно действовать. А чтобы действовать, нужно понимать как.

– А ты понимаешь?

– Не знаю, – признался он.

Они присели на скамью возле фонтана. Рядом сидела старушка, трогательным видом взывая к торжеству спокойствия и нежности.

– Иногда мне кажется, что я способен на многое, а иногда теряюсь в простых ситуациях.

– Это от большого ума.

Он вскинул брови:

– Серьёзно?

– Когда много размышляешь, начинаешь рисовать жизнь по-своему, а сталкиваясь с реальностью, недоумеваешь, почему, продумав всё заранее, нажил себе столько комплексов.

– Ого! Сильно сказано. И что же, по-твоему, нужно делать, чтобы жить в унисон с планетой?

– Двигаться.

– Как это?

– В прямом смысле. Больше двигаться. Заниматься спортом, бегать, танцевать. Тогда преуспеешь во всём: и в умении и в понимании. Растерянность – это свойство человека, когда его мысли в очень недостаточной степени компенсируются движением.

Она шутила, но Димка подумал, что в её словах действительно заключается некий смысл и он бы к такому выводу вряд ли когда-нибудь пришёл. Поэтому он сухо констатировал:

– Только женщина может подумать, что трясти бёдрами – это то, что ей нужно в первую очередь.

– Трясти – не трясти, а шевелить ради жизни на земле просто необходимо.

Оба в молчании замерли. Потом дружно прыснули, придя от смысловых пикировок к неожиданно простому заключению.

– Ну что ж, раз ты настаиваешь на активности, предлагаю подвигаться прямо сейчас.

Он схватил её за руку и утащил в толпу поклонников какой-то рок-группы, дававшей на импровизированной эстраде концерт. Там они под рёв гитар сплясали ламбаду.

Было немножко не в тему, поскольку звучала музыка другого жанра и офигевшая от шума молодёжь что-то громко скандировала, вскинув вверх руки, напористо выдавливая в воздух звучные тона. Но мелодия, в общем-то оказалась не нужна. Достаточно было массового возбуждения, чтобы влиться в заведённый коллектив, представляя в нём нечто своё, которое никто не думал сравнивать и различать.

– Такой ты мне нравишься больше всего, – говорила она, когда они брели по аллее парка. – Я всегда переживала, когда ты замыкался в себе на две, на три недели.

– Неужели такое было?

– Да. А если тебя «отмыкала» другая, я нервничала.

– Бедняжка. Ты меня ревновала. По-моему, я в школе перессорился со всеми на свете. Ты не могла этого не замечать.

– Заметила. Потому что меня ты обижал в первую очередь.

– Неправда, я обижал всех поровну. Впрочем, точно сказать не могу, я не подсчитывал.

Она прижалась к нему плотнее.

– И когда ты в меня влюбилась? – поинтересовался Димка

– Угадай.

– Наверное, когда мы ещё маленькими играли во дворе.

Лида задумалась, очевидно, поймав волну воспоминаний.

– Нет, значительно позже. – Она не хотела продолжать, но через мгновение, поскольку он молчал, всё же добавила: – Ты был милым мальчиком, но довольно сложным. У тебя тяжёлый характер.

– Разве?

– Мне кажется… – Она запнулась. – Иногда мне кажется, что кто-то свыше намеренно усложнил тебя, чтобы в результате мы всегда были вместе. Вот когда я стала об этом догадываться, тогда я в тебя и влюбилась.

Её откровение было неожиданным. Почти как первое признание в любви, хотя они давно уже во всём друг другу признались. Димка глубоко вздохнул, почувствовав душевный трепет. Лида была бесподобной, хотя он и сам умел временами нагнать волнение. Ему хотелось расцеловать её, однако он намеренно притормозил и, будто удовлетворённый услышанным, спокойно резюмировал:

– Значит, ты меня раскусила.

Она только обхватила плотнее его руку, точно в уютном единении готовилась испытать что-то для обоих приятное. Она действовала на него магически, и в конце концов он не смог сдержать своих чувств.

На самом деле он всё помнил. Он был безмерно ей благодарен, и, обласканная временем, её преданность не смогла трансформироваться в нём ни во что новое. Он никак не думал, что именно Лида, более других изучившая его тревожные недуги, окажется для него тем важнейшим человеком, на которого в тайне от себя он, бывало, уповал. Потому что, вдоволь напсиховавшись в детстве, в юношеском возрасте он её начал стесняться. Сотни раз она довольствовалась его невнятными объяснениями, когда приходилось принимать в расчёт её присутствие. Она была свидетелем его слёз, нервных выпадов против родителей и учителей, о чём по мере взросления он вспоминал с ужасом, представляя, какой глупой, экзальтированной взвесью такое поведение выглядит в её глазах. Он мог воспринимать её как друга, как доктора, но никак не человека, с которым на долгие годы обмениваешься судьбой, вверяя свои тайны, по крайней мере большинство из них, в надёжность горячо любимых рук. Однако Лида постепенно развеяла его опасения. Ненавязчиво, время от времени она действительно давала понять, что именно те особенности его натуры, которые терзали его память, как-то выгодно характеризуют его, являются необычным дополнением к юношеской заурядности, за которой скрывается, наверное, притягательная личность. И она сумела внушить к себе доверие. Нередко он, уже с готовностью, подвергал себя воздействию её волшебных чар. Будто она понимала его, будто замечала то, что пренебрежительно упускали из виду другие. Сегодня она впервые упомянула о его сложном характере, причём не сразу, похоже, решилась об этом сказать, и ему было приятно осознавать, что она акцентировала внимание не на своём как бы открытии, а на причине, по которой они оказались вместе. Она всегда угадывала, в какой момент необходимо её участие, в этом заключался её необыкновенный товарищеский дар. Он бы не озадачился, наверное, её дружбой, если бы она его просто изучала. Однако те незабываемые минуты, когда после очередного стресса она гладила его лежащую у неё на коленях голову, практически во всех нюансах рассказывая ему, что он теперь испытывает к врагам, и с материнской лаской внушала ему покой, призывая забыть неприятные каверзы жизни, наплевать на скотство других, оставаясь в душе нетронутой нежностью, те минуты словно привораживали его, до глубинных закоулков настраивая чувства на благодарный отклик. Он давно уже считал Лиду самым близким себе человеком. С ней одной он был максимально откровенен. Только её он видел в качестве своего поверенного, ни на секунду не сомневаясь в её доброте. То удивительное сочетание ласки и ума (предстающих в его глазах противоречием), которое она олицетворяла собой, подтверждая своими поступками и образом мыслей, давало ему повод смотреть на неё как на необыкновенное явление жизни, вселяющее в него уважение, благодарность, восторг и наконец глубокую, самоотверженную к ней привязанность.

В принципе его мало занимали причины её отношения к нему, истинная природа её любви. Он о них задумывался, но, как тонко чувствующая натура, ни к каким конкретным выводам прийти не смог. Красотой и деловитостью Лида заметно выделялась среди других близких ей по возрасту девушек. Она была умна и потому более неприступна, чем её сверстницы, но имела со всеми мальчиками ровные отношения, будто специально подыгрывая смелости отъявленных пижонов или глупости простодушных юнцов. Димка был ни тем ни другим. Ему не составляло труда поговорить с ней о том о сём, даже беззастенчиво вклиниться в её разговор с одноклассниками, но среди своих приятелей и приятельниц он будто никого не выделял, не отдавая предпочтения ни дружбе ни увлечению. Сколько, очевидно, неприятных бурь он спровоцировал в душе милого создания, сердцем жаждущего вполне понятных в её возрасте приключений. Подавая надежду, он бросал её в полупозиции и тем должен был озлобить против себя неимоверно. Уже исходя из дерзости подростковых замашек ему не следовало думать, что Лида могла бы заинтересоваться им как парнем или иметь отношения с ним как с настоящим другом. Но природа иногда настаивает на обратном. И тем более обмануть её в таких вопросах никому ещё не удавалось. Надо признать, что Димка был довольно симпатичным юношей, и уже исходя из этого они подходили друг другу в первую очередь. Однако ярко выраженная его независимость, которая отдаляла его от других и которая со временем только усиливалась, со всей очевидностью исключала его из числа её фаворитов. С ним никто не собирался бороться, потому что он демонстративно не предъявлял насчёт Лиды никаких претензий. Но она ведь с этим не мирилась. Она всё время пыталась за него зацепиться. Она ему прощала невнимание к себе, его неожиданные замкнутости и светилась от счастья, когда у них якобы всё было хорошо. Любому молодому характеру, жаждущему новых интересов, такая переменчивость отношений скорее всего изрядно бы надоела. Поэтому, если говорить о причинах Лидиного выбора, когда, несмотря ни на что, она упорно держалась направления на Димку, унижаясь порой, оставляя сверстников в недоумении, можно констатировать, что её влюблённость сама по себе представляла некий акт самопожертвования ещё не вкусившей ни настоящей злобы, ни настоящего счастья души. Что-то в нём имелось такое, что бесконечно притягивало её неординарный на окружение взгляд. Даже если он говорил не как все, непонятно о чём думал, его поведение вряд ли могло вскружить голову очаровательной девице, в лучшем случае послужив основанием лишь для отдельного к нему интереса. Но Лида с самого начала, он чувствовал это, стала его спутницей навек, не раз давала ему понять и даже напрямую говорила о своей глубокой привязанности к нему, а в какой-то момент первой призналась ему в любви. Её нескончаемая доброта просто не могла не откликнуться в нём соответствующими переживаниями. Лирика его вибраций, направленных доселе куда-то внутрь, стала прорываться к ней в отдельные особо чувственные моменты, и то, что она давно уже утвердила за собой первостепенное право на его любовь, в какой-то момент со всей очевидностью стало понятно и ему.

Он пришёл к своему чувству не через навязанное ему влечение, а своим ходом, путаясь и блуждая, испытывая растерянность рядом с её милыми попытками поддержать его, сладкими мгновениями, когда, например, она промокала салфетками его нос во время сильного насморка. Другого такая заботливость мгновенно свела бы с ума, послужив сигналом для ассоциативных волнений. В его же сознании только оставила отметку о незыблемости правил общения между мужчиной и женщиной. И всё же тот незатейливый ход событий, которым их осчастливила судьба, привёл их, наверное, к закономерному результату, чему он был бесконечно рад, открывшись чувству всей полнотой своего своеобразного внутреннего мира. Сейчас он уже не опасался того, что, любя друг друга, каждый из них будет думать о чём-то своём. Ибо глубоко внутри он ещё не отделался от ощущения уникальности своих чувств и такой же непостижимой уникальности свойств Лиды. Но, по-видимому, долгий подготовительный этап, когда он ощущал её внешне, но не тревожился чужой озабоченностью, был пройден, а вместе с ним ушла в прошлое и его якобы холодность, служившая препятствием для воссоединения двух таких славных сердец.

Будто почувствовав вину за причинённые ей в прошлом страдания, хотя и не признавая умышленности своего поведения, он с удовольствием старался компенсировать ей упущенные радости. Они много времени проводили вместе: ходили на выставки, в театры, катались на велосипедах, гуляли тёплыми вечерами по городу. Наслаждались объятиями и простым волшебным ничегонеделанием. Имея в лице Лиды хорошего собеседника, он неоднократно погружал её в различные обсуждения увиденного. Он спрашивал сначала её мнение, потом высказывал своё, затем парировал замечания и уводил её своими объяснениями в такие заразительные пространства, что она, оппонируя ему, в результате выбиралась из них с грузом приятной усталости. Он вдохновенно терзал её послушный разум всевозможными историями, описывая таинства достижений учёных как роман, и трудно было понять, сколько в его повествовании вымысла, а сколько правды. И всё это подкреплялось снадобьем постельных сцен, превращавшихся в их случае в продолжение, напрямую вытекающее из разнообразной, шумной, но не оставленной смыслом жизни. Лида была заражена им до крайности. Но и сам он понял, каким она оказалась для него сильным катализатором в свете его мироощущения, видения красоты и правды, сдобренного моментами ярких переживаний, о которых раньше он мог только догадываться. Он пришёл к выводу, что кое-чем из своего прежнего уклада, даже частью своих идей, видимо, придётся поступиться. Иначе не связать воедино все брошенные концы. С Лидой получалось немножко по-другому, чем он думал, но всё равно он видел перспективу и поэтому с готовностью отдался своему чувству, веря, что из красивого и прочного их союза вызреет ничуть не менее интересное их будущее.

Пока они ещё открывали для себя друг друга, видя, сколько разнообразия может таиться за самыми простыми и вроде бы понятными нюансами поведения. Другой мир не казался деланым, но был ещё и недостаточно своим, чтобы можно было погрузиться в него с головой, сделать его устойчивым продолжением своего внутреннего «я». Главное им хотелось сближения. Узнавая друг друга раньше по крупицам, теперь они имели возможность наслаждаться процессом во всех аспектах его развития: милых вычурностях бесед, изысканности побуждений, следований или бесхитростных препятствий порывам, едкости замечаний, отходчивости и пылкой страстности самой любви.

– У тебя очень красивые ногти, – болтал Димка.

– Нашёл, что отметить.

– Они хорошо гармонируют с твоими тонкими пальцами. Нужной длины, ты молодец. Правда, здесь вкралась небольшая оплошность. Указательный и безымянный пальцы у тебя одной длины, но если их сложить вместе – смотри, – то ноготь на безымянном чуть выступает. Видишь? Значит на безымянном ногти у тебя растут быстрее, и их надо чаще подпиливать. У тебя есть с собой пилка? Давай подравняю.

– Нет уж, я потом сама.

– Жаль, что ты мне не доверяешь. Я бы не испортил.

– Ты мог бы сделать не так. Здесь нужно владеть техникой.

– Ах да, я не сообразил… Но я тоже иногда подпиливаю свои ногти пилочкой.

– Ну-ка покажи.

– Вот.

– Да уж. – Она мягко отбросила его руку. – По-моему, ты их сначала обкусываешь.

– Никак не могу избавиться от вредной привычки.

– Придётся постараться.

– Обещаю.

– А пока тебе ещё один минус.

– Здрасте, пожалуйста. Я-то тебе минусы не ставил за твои ногти разной длины. Конечно, если всё время растопыривать пальцы на руках, будет не так заметно. Хотя на самом деле это выглядит не слишком эстетично.

– Ещё один минус.

– Ты прямо как в армии с нарядами.

– Хорошая идея. На один наряд ты уже наговорил.

– И что это будет?

Она посмотрела наверх:

– Не знаю… Но завтра напомни мне обязательно.

– Хорошо, напомню. – Он ехидно ухмыльнулся и, помолчав, весело добавил: – Ну и задачку ты себе придумала. Посмотрим, насколько хорошо у тебя с фантазией.

– Ты меня хочешь разозлить?

– Ну конечно же! Хватит веселиться.

Она попыталась стукнуть его по лбу, но он отпрянул. Потом хотела достать его рукой, но он резко отодвинулся. И наконец, вскочив, помчалась за ним улыбаясь вокруг скамейки и деревьев, размахивая руками и лихо повторяя его манёвры. Немного попетляв, он притормозил, Лида бросилась ему на шею, и они прижались к дереву, утонув в нежных прикосновениях, вдыхая аромат чувственности, как и воздух вокруг, полной грудью, перемешивая флюиды живой и неживой природы.

– Ты забавный. С тобой хорошо.

Он мотнул головой:

– Я серьёзный и самолюбивый. Забавным может быть котёнок, а не такой гигант мысли, как я.

– Ах ты, боже мой... А как же твои чувства? По-твоему, они являются порождением мысли? Любовь – это что, продукт сознания?

– Сложный вопрос, – наигранно ответил он.

Затем взял её за руку, и они побрели по траве, шурша первыми осенними листьями, слетевшими с веток на землю.

– Отец говорит, что мысли и чувства в организме человека порождаются одними и теми же механизмами. Остаётся только понять, что такое есть душа, а что такое сознание.

– Всего лишь?

– Ну да. То, что мысли влияют на чувства, а чувства на мысли, это очевидно. Но как одно перетекает в другое, как их отличить на молекулярном уровне? Где у них водораздел?

Она невольно задумалась:

– Как это грустно.

– Что?

– Человека в конце концов разберут по кирпичикам. Мы поймём, что все устроены абсолютно одинаково. Чтобы подумать о чём-то, надо будет нажать где-нибудь в районе запястья, а для любви к отдельным типам достаточно будет выпить определённое снадобье.

– Да. Мир утратит бóльшую часть своей загадочности, и ценным будет не доброта и любовь, а умение дальше плюнуть. Или сплясать чечётку на бревне.

– Какая гнусность.

– Не расстраивайся. До этого ещё далеко.

– Откуда ты знаешь?

– Ну, во всяком случае пока я ещё не могу никуда нажать, чтобы вызвать у тебя добрую улыбку.

– Для этого нужно нечто другое, – сказала она. – Но тоже потихоньку становится понятным, как управлять человеческими эмоциями.

Димка воспринял её слова с удовлетворением. Одна из особенностей его заключалась в том, что он иногда смотрел на неё как-то сверху вниз, и она отдавала себе отчёт, что при других обстоятельствах такая его манера поведения была бы для неё неприятной. Теперь же всё затмевалось безумной им увлечённостью, при которой любые чёрточки его характера отражались в ней специфически. К тому же она ожидала, что ещё не раз столкнётся с некими своеобразиями его нрава, и была готова к подобным экспериментам.

– Я подозреваю, – сказал он, – ты видишь во мне нечто большее, чем я из себя представляю.

– Я тебя люблю. Это естественно.

– И не замечаешь моих недостатков.

– У тебя их не много.

– Вряд ли это так. – Он окинул взглядом место, куда они забрели, и повернул с ней назад. – Просто знать и чувствовать, это разные вещи. Только люди умеют не видеть очевидного и знать то, чего нет на самом деле. В нас очень сильно развито абстрактное мышление. Одно предположение влечёт за собой другое, много условностей, неконкретных выводов. В результате устранить человеческие заблуждения можно только лишив его способности мыслить вообще.

Немного помолчали. Весело донеслась откуда-то барабанная дробь дятла.

– Скажи, ту книгу по психологии, про которую ты спрашивала у отца в старших классах, – поинтересовался он, – ты действительно её прочитала?

– Да.

– Чтобы понять, как со мной дружить?

Она кивнула.

– Там интересные примеры, но объяснения слишком тяжёлые и длинные.

– Ты её тоже читал?

– После тебя.

Они встретились по случаю глазами.

– Из всех типов личностей, которые там описаны, угадывался только наш Гога-первобытный, больше никто.

– Я тоже обратила внимание.

Пример ей понравился. Она рассказала, сколько необычного ей открылось в сопоставлении описаний с реальным поведением знакомых, как удивительно было обнаружить, что и характеры, оказывается, поддаются классификации, что, не зная конкретных причин их формирования, можно по крайней мере предвидеть реакцию человека на то или иное воздействие.

– По-моему, рассуждения о свойствах характеров могут основываться только на предположениях, – высказался Димка. – Можешь поговорить с моим отцом. Он тебе скажет, что в психологии все выводы делаются путём сопоставления с известными фактами. Они просто набирают статистику. Я не вижу в такой работе ничего научного.

– Я тебя знаю. Ты будешь отрицать всё, что тебе не нравится, и всегда найдёшь для этого нужное объяснение. – Лида вдруг почувствовала себя обязанной сказать, что думает. – Помнится, про эту же книгу ты говорил нечто другое.

– Ну и что?

– А не может быть такого, что ты формируешь своё мнение по ситуации?

– Для чего?

– Ну, допустим, исходя из авторитета собеседника. Ты можешь иметь несколько мнений по поводу одного и того же события.

– Так. Становится интересно. Тебе хочется выяснить, насколько я бываю принципиальным?

– Просто я ещё не до конца тебя понимаю… Нам стоит быть друг с другом более откровенными.

Он нисколько не насторожился в связи с последними её словами. Следовало ожидать, что Лида не будет ему бесконечно поддакивать. Она на всё имела свой взгляд и рано или поздно её убеждения должны были пересилить чувства, войдя в состояние открытого диалога с партнёром. Ему только не хотелось портить сегодняшний день, так чудесно обозначенный на карте их любви.

Раньше он не брал в расчёт никаких обстоятельств, привыкнув держаться особняком, относясь к большинству сверстников с высокомерием, и теперь, когда жизнь требовала корректировки поведения, почувствовал, как трудно бороться с самим собой, оставаясь доступным на уровне простого человеческого взаимодействия.

«Почему так получается, что я не могу быть до конца рассеянным? – думал он. – Как нелегко, оказывается, расслабиться. Люди страдают от неумения собраться, а меня так и тянет затеять спор, причём затронуть темы самые нелепые, где выяснять нюансы нет никакого резона».

Ничего выяснять они не стали. Он замял тему, переключившись на добрые воспоминания, и Лида, кажется, была совсем не против. Нащупав в разговоре странные опасности, он инстинктивно уходил в сторону, не запирая двери обсуждений, но открывая для других новые.

Он ощутил, что она многое ему позволяла, и как воплощение самой гордости его это должно было покоробить. Но поскольку она думала о том же самом, как-то само собой возникало взаимопонимание. Острые углы их отношений стирались шутками, наигранным потаканием слабостям, не позволяя тем превращаться в скрытый резонанс недомолвок. Если он ей противоречил, то стал чувствовать досаду от несдержанности, и наоборот, высказав ему своё особое мнение, Лида старалась не создавать впечатление, будто ухватилась за слова мёртвой хваткой и ни за что ему не уступит. Мнение высказывалось как бы между прочим, отдавая на откуп его развитости продолжение прений в том или ином ключе. Оба подходили к вопросу согласия, чуя потенциал друг друга, с особой бережностью. Лида иногда выясняла для себя, какие разговоры его сильно задевают, и не пыталась вредничать, видя, как он рьяно принимается отстаивать собственную позицию. Лучше всего у них получалось от серьёзных рассуждений переключаться вдруг на забавную болтовню.

– Помнишь, в летнем лагере мы участвовали в детской постановке? – ностальгически произнесла Лида.

– В третьем или четвёртом классе.

– В четвёртом. Я должна была летать как стрекоза, а ты нечаянно сломал мне крылья. Перед самым моим выходом. А потом бегал за мной по сцене и махал руками.

– По-моему, никто ничего не понял.

– Они смеялись. Смеялись твоей необычной находчивости, а позже решили, что так и было задумано.

– Да уж.

– Тебе аплодировали сильнее, чем мне.

– Разве? Ну конечно, если ты меня вытащила на поклон.

– А ты потом долго на меня дулся, и я не понимала за что.

Димка нежно обхватил в руке её пальцы:

– Не знаю. Наверное, я испугался, что наша дружба становится слишком очевидной. Что она потребует от меня значительных усилий и окажется мне в тягость. – Он повернулся к ней лицом: – Я испугался насмешек со стороны.

– Трус, – шутливо бросила она. В её словах доминировала наигранная усмешка.

– Можно подумать, для тебя мнение подруг ничего не значило, – сказал он, лучезарно улыбаясь, показывая, насколько милы ему воспоминания о своих нелепых детских поступках.

Лида приняла задумчивый вид, переваривая в себе какую-то новую мысль.

– Меня воодушевляет, что мы знаем друг друга с малых лет, – призналась она. – По крайней мере, мне иногда кажется, что я вижу тебя насквозь. Поэтому твои страстные порывы во многом убедительны… Я читала, будто доказано, что мужчины менее постоянные, чем женщины. У мужчин чувство более взрывное и неожиданное, оно может потрясать со сменой декораций вновь и вновь. А любовь должна быть спокойной. Тихой, как течение реки. Тогда она останется в сердце надолго. Тогда она будет действительно настоящей.

Его вдруг позабавило, как она творчески подошла к высказыванию банальных истин.

– Я думаю, ты имеешь полное право говорить о том, что такое настоящая любовь, – пошутил он.

– Не преувеличивай своих возможностей.

– А насчёт постоянства… даже классики высказывались на данную тему очень осторожно. Знали, о чём говорили. «Я вас люблю, но любовь ещё быть может». Сама понимаешь.

– Болтун.

Он крепко её обнял:

– Конечно болтун. Я буду любить тебя вечно. Я знаю. – Его губы приблизились к её ушам, будто он не знал уже, как выразить своё чувство, и вместо поцелуев, которые поразили бы её, наверное, до глубины души, он заговорил тихим убаюкивающим тоном, вполне оттеняющим, однако, важность его слов: – Не может быть, чтобы все эти годы, проведённые рядом с тобой, я мучился напрасно. Я был в неведении, но, по-моему, оно является главным гарантом искренности моих чувств. Потому что они утверждались постепенно, сквозь капризы характера, и я ни разу не позволил себе по их поводу соврать. Это ты была моим стержнем, вокруг тебя всё крутилось. Я благодарен тебе за это счастье быть спокойным и мягким, веселиться жизни, хотеть того, чего хотят другие. Наверное, я не сразу осознал, какая мне выпала удача. Мне только теперь становится ясно, каким я был дураком, не замечая самого главного, страдая своей бесполой экстравагантностью.

Он ещё многое мог бы ей сказать, но уже и этого хватило, чтобы она разволновалась, обмякнув в его руках от переживаний. Произнесённые просто, без пылкой выразительности, его слова, тем не менее, возымели то особое магическое действие, которое окутывает всякое страстное признание. Лида, обладавшая современным деловым мышлением, вряд ли поддалась бы на излияния сентиментальности, если бы они исходили от видавшего виды пройдохи или тихонького пупсика, рисующего себе картины любовных завоеваний от бессилия голосовых связок. Однако в такой момент, когда она представляла, что и говорить на данную тему вроде бы уже нечего, его голос оказался настолько завораживающим, что правдивость произнесённых им слов не подлежала сомнению, а их сила заставляла раскрываться перед ним в полной мере. Он не выбирал моменты, это получалось у него спонтанно, и, веря ему, Лида поражалась, какой удивительной, глубокой чувственностью он обладает. Поражалась и радовалась своему счастью, потому что совсем недавно ещё такие естественные отношения с ним представлялись ей просто невозможными.

– Димка, хватит. Пойдём чего-нибудь поедим.

Он всё так же тихонько бормотал ей в ухо:

– «Димка» – как-то обыденно. Слишком вульгарно звучит. Ласки не хватает.

Она посмотрела на него вопросительно:

– А как лучше? Димасик?

Он кивнул:

– Масик.

Ряд прекрасных белых зубов, в который раз украсивших её улыбку, явился залогом её согласия.

– Хорошо. Будешь Масиком.

Они пошли по широкой аллее, влившись в мирный поток отдыхающих. Яркие краски осени радовали глаз. Приток свежих эмоций, инспирированный поначалу энергией молодости, стал логичным продолжением получаемого удовольствия. И даже лёгкие прикосновения ветерка подыгрывали хорошему настроению, помогая испытывать душевный подъём, отдаваться прелести шумного дня с его характерными резонансами проявлений.

Пообедав в кафе, они решили сходить в кино. В кои веки раз Димка отыскал в рекламах драму и, исходя из неясных рекомендаций друзей, предложил Лиде её посмотреть. Она, безусловно, согласилась. Она доверяла его вкусу, собственно, даже стремилась понять его ощущения и поэтому в любом случае с интересом относилась к его выбору. Особенно к последующим комментариям, на которые он обычно не скупился.

Драмой оказались затянутые разборки с любовниками и ковыряние членов семейства в своём прошлом. В общем-то, довольно увлекательно, не слишком заурядно, чему способствовала прекрасная игра актёров, но Лида вдруг поймала себя на мысли, что испытала лёгкое разочарование от того, что фильм им понравился. Гораздо интереснее было бы услышать Димкино мнение в обратном случае. Поскольку он редко отделывался при ней однозначными ответами, её даже подмывало подбросить ему какую-нибудь мысль позаковыристей, чтобы побудить его светлый ум к работе в полную силу, а уж за словами бы у него дело не стало: всяких доходчивых слов и выражений он знал предостаточно. Абсолютно отрицательное мнение он не высказывал никогда – о нём вы должны были догадаться сами, но вот попутные его рассуждения, обволакивающие серой дымкой сюжет, выступали порой намного интереснее самого объекта критики.

– Любовь и вера – совершенно разные стихии, – говорил он однажды после их совместного просмотра какого-то спектакля. – Почему их совмещают в единое целое праведники? Любовь – от наваждения, а вера – от любопытства, безысходности, собственного бессилия. Неужели можно подумать, будто снизошедший до жалости будет любить вас так же, как собственное дитя? Именно поэтому они и называют всех божьими созданиями, божьими детьми, чтобы изначально устранить противоречия, но это носит скорее мнемонический смысл, а к реальному чувству не имеет никакого отношения.

Подвергшийся с его стороны нападкам персонаж якобы через веру в Бога обрёл реальную любовь, но долго не мог принять того, что объект его чувств религиозных убеждений не разделял. И возникшая дилемма – смириться с противоречиями сознания либо бежать от земной любви без оглядки – стала лейтмотивом сюжета, потакая переживаниям зрителя и потихоньку надавливая на его представления в духе «за и против».

Сегодня Лида не получила от него порции сильных антитез, но, как всегда, наслаждалась духовной близостью с имитивным, обладающим особой энергетикой и глубокой созерцательностью юношей. Он виделся ей человеком с редкой грациозностью ума, в духе Оскара Уайльда. Шалить в словопрениях было его натурой. Но заводным ключом к этой дивности его сознания она ощущала именно себя. И он это чувствовал. И давал ей понять об этом. И целовал её поэтому страстно, вдохновенно, потрясающе напряжённо. И какая музыка бытия воспевала теперь их достоинства, их признательность друг другу, их большущую тягу к плоти, естеству, не могли бы описать никакие классические выверты тысячелетней литературщины. Жизнь творилась их страстным обожанием, но не столько обожанием тела, сколько дивной сопричастностью событиям, связанным с интеллектуальной доктриной двух единственно безоговорочно принимающих друг друга созданий.

День удался. Димка проводил Лиду до дому, где они ещё с полчаса прощались, стоя в садике недалеко от её подъезда, и вернулся к себе только около одиннадцати.

Внизу его встретила мать, убиравшая на кухне посуду.

– Как дела? – поинтересовалась она.

– Отлично.

– Есть будешь?

– Нет, спасибо. Я не голоден. Отец дома?

– У себя. – Она зачем-то указала наверх в сторону его кабинета. – Как пришёл, опять заперся и не выходит.

Она устало опустилась на стул, разглядывая сына, и Димка задержался в нерешительности, не в силах бросить её, видимо, обуянную печалью и разочарованием.

– Ты прав, этот дом действительно навевает тоску, – призналась она. – У каждого так много личного пространства, и оно в таком удалении от остальных, что говорить о семейном уюте здесь просто нелепо. Пока я иду из одной комнаты в другую, я забываю про радостные мысли и начинаю испытывать негодование.

Он подошёл и поцеловал её, заставив насладиться порывом своей сыновней нежности.

– Как с Лидой? Всё нормально?

– Да, хорошо.

– Я рада за тебя. Она мне очень нравится…

Она боязливо потрогала его руку, очевидно, скрывая от него какую-то неземную трогательность, видимо, пришедшую, по её мнению, не к месту.

– Прости меня за те глупые слова в больнице…

– Мам, перестань. Я уже забыл про это, а ты всё переживаешь.

– Возможно, у меня тогда и промелькнуло желание тебя обидеть, но это только ради твоего будущего. Ты же знаешь, как я всегда за тебя болею.

Он не заставил её слишком сильно в нём сомневаться:

– Я знаю.

Она была ему благодарна. Если бы он промчался мимо, бросив на неё скорый взгляд, в очередной раз ей было бы не по себе. Но Димка был не настолько жесток, как его отец и даже она сама, она осознавала это. Вопрос, откуда в пучине его патологической несдержанности взялась рассада глубокого человеческого участия, стал занимать её в последнее время с новой силой. Какими-то кусочками своего характера Димка был обязан, наверное, предкам, которых она не всех хорошо знала, особенно по линии мужа. Но большей частью формирование сына как человека всё равно прошло у неё на глазах, и сколько у него за всё это время возникло стрессовых ситуаций, она не смогла бы прикинуть даже приблизительно. Он по-прежнему оставался для неё загадкой, и тем приятнее было обнаруживать в нём отголоски её собственной любви – единственное, что приносило ей успокоение.

Димка поцеловал мать в щёку и поднялся к себе в комнату. Он не переставая думал о Лиде. Сегодня он окончательно понял, что бесконечно счастлив. Карьерное будущее, конечно, важная вещь, но то, что он в этом мире не одинок, представлялось ему намного важнее. Когда рядом находится такое удивительное существо, как Лида, всякие проблемы и сложности адаптации в чужой среде перестают быть главными. Ему всегда будет с кем поговорить, а вероятность нарваться на нравоучительный тон, который он терпеть не мог в других, с отходом родителей на второй план будет только уменьшаться. Лида рассудительная и тонко чувствующая натура, с ней всегда приятно быть рядом.

Через полчаса он спустился вниз выпить стакан молока.

За окном играли тени освещённых садовыми фонарями кустов. Где-то в глубине темнота шевелилась, ему казалось, что ветер прочёсывает окрестности, касаясь всего наружного, того, о присутствии чего он сейчас не мог предположить. Необязательно в саду прятались призраки – может быть, ангелы любви затеяли там бойкую возню. У него было хорошее настроение, и неприятных ощущений не возникало.

Он выключил в баре свет и пристально посмотрел в окно. Да, действительно не возникает.

Нарочито медленно он стал подниматься по лестнице, чтобы, как истый естествоиспытатель, проверить свои ощущения в реальных условиях. Некая боязнь тёмных коридоров, зародившаяся у него в детстве, ещё не прошла, и она неизменно обострялась по вечерам. Сейчас он уже не был уверен в том, что не хочет побыстрее лечь в постель и забыться приятным сном, вспоминая чудные часы, проведённые сегодня с Лидой. Сердце постукивало, он решил положить страхам конец и смело двинулся вперёд. Но, подходя к своей комнате, резко остановился как вкопанный.

В тусклом свете ночных ламп в глаза бросилось отверстие в стене, ещё не заделанное после того случая. Со стороны комнаты он закрыл его какой-то гравюрой, а в коридоре оно так и осталось зиять чёрной брешью, напоминая порой о случившемся в доме происшествии. Собственно, он и теперь спокойно прошёл бы мимо, но вдруг обнаружил в нём какие-то изменения, не сразу сообразив, чтó именно заставило его насторожиться.

Тихо подобравшись к нему мелкими шагами, он уставился на отверстие с близкого расстояния, неприятно поражённый обнаруженным. Оно стало явно бóльших размеров, раза в полтора точно, и раньше он этого не замечал. Изменения произошли недавно, а стало быть, в его отсутствие опять что-то случилось.

– Вот чёрт! – непроизвольно вырвалось у него.

Он прошёл в комнату и снял со стены гравюру. Сквозь круглую дырку из коридора пробивался свет. Боязливо притронувшись пальцем к внутренней поверхности отверстия, он отдёрнул руку. Потом потрогал её ещё раз смелее. Поверхность была гладкой, словно отполированная и залитая лаком.

Димка обернулся, нервно осматривая комнату, боясь обнаружить в привычной обстановке что-нибудь не то, чего не замечал здесь буквально несколько минут назад. Заглянул в свой гардероб и под кровать, чтобы удостовериться в безосновательности подозрений, но успокоиться так и не смог.

Он пошёл к отцу, громко постучав и резко дёрнув ручку двери.

Захаров сидел за столом, читая бумаги, вопросительно взглянув на сына, когда тот прямо-таки влетел в его кабинет:

– Что-нибудь случилось?

– Пап, пойдём. Там что-то непонятное опять творится.

Вместе они вернулись в Димкину комнату, и Захаров точно так же удивился феномену, обследовав отверстие с фонариком с двух сторон.

– Что это может быть? – спросил Димка.

– Понятия не имею.

– Но должно же быть хоть какое-то объяснение?

Захаров обернулся:

– Должно. – Он аккуратно повесил на место рамку с гравюрой. – Только я его не знаю.

– Ты что-то от нас скрываешь?

– С чего ты взял?

Димка только сейчас вспомнил о странной встрече, которая произошла утром.

– Тот журналист, который к тебе приходил. Я его видел сегодня. Он отъезжал от нашего дома.

Новость не произвела на Захарова никакого впечатления.

– Он озабочен несчастным случаем, произошедшим в моей клинике. Наверное, пытается нарыть материал на сенсацию. Они все только об этом и думают.

В его словах прогремел железный занавес, который опустился строго перед следующим Димкиным вопросом, и тот замолчал. Хотелось бы Димке уметь так же жёстко и недвусмысленно прекращать прения, не позволяя себе, однако, никаких грубостей.

Решили, что Димка снова должен перебраться пока в другую спальную. В эту ночь он постоянно ворочался и не сомкнул глаз.

**5**

Его не оставляло чувство тревоги. Он боялся за себя, за своё счастье. Теперь, когда так хорошо всё начинало устраиваться, в его жизнь стали вмешиваться какие-то потусторонние силы, о которых никто ничего не знал или до сих пор умело скрывал свои действия. Димка терялся в догадках не столько о странностях, творящихся в их доме, сколько о том, почему известным фактам не придаётся серьёзное значение. Отец выглядел спокойным, впрочем, как всегда, львиную долю времени отдавая изучению своих психов. Мать высказывала некие опасения, но тут же про них забывала, словно речь шла о подгоревшем мясе или очередной новости из жизни медийных звёзд. Обстановка была нормальной, и каждый варился в своём соку, как всегда у них велось, пока на повестке дня не возникали личные или семейные проблемы, касающиеся всех без исключения.

Он снова рассматривал отверстие в стене, его тянуло к нему как магнитом. В некоторых случаях, думал он, люди не склонны обращать внимание на то, чего не понимают. Димка вспомнил одну статью, повествующую о вульгарных интерпретациях обычных явлений и о нежелании элементарно повозиться над разбором существующих схем. Если человеку лень даже оценить накопленный опыт, то при столкновении с загадкой, кроме того, чтобы придать ей ещё более загадочный вид, способностей уже не хватает. Отец демонстративно не поддавался панике, делая вид, что беспокоиться не о чем, и Димка невольно старался не встревать со своими сомнениями, отдавая должное выдержке отца или, может, его скрытности при консультациях на стороне.

На улице, когда Димка вышёл из дома, рядом с тротуаром вдруг остановился автомобиль. Из салона выглянул Виталий.

Некоторое время назад он припарковался недалеко отсюда, и это был уже второй случай, когда он решился покараулить Димку возле дома Захаровых.

Тот выжидательно на него уставился. Виталий понял, что парень его узнал.

– Помнишь меня?

– Да. Вы недавно приходили к отцу… – Димка почему-то почувствовал тревогу. – Вы следили за мной?

– Я ждал, когда ты будешь один. Мне нужно с тобой поговорить.

– О чём?

Студент сверлил Виталия глазами, подсознательно касаясь самых разных предположений.

– О странном случае в вашем доме. Тем более что он не единичный.

– У вас имеются новые сведения? Но почему вам нужно поговорить именно со мной?

– Потому что твой отец, возможно, скрывает нечто важное, представляющее угрозу многим жизням… Мне нужно, чтобы ты меня выслушал.

Димка в растерянности смотрел в землю, безусловно, зная, что согласен услышать от журналиста нечто затрагивающее имя его отца. Он сомневался только в быстроте принятия такого решения, которое созрело, кажется, ещё до того, как журналист произнёс последние слова. Он будто угадывал причины интереса к его отцу, которые так странно накладывались на его собственное недопонимание родителя. Кроется ли за его готовностью желание узнать правду или это есть банальная тяга ублажить свой разум возможностью обвинять? Дело было не в отце, а в нём самом, и он своих желаний где-то испугался.

– Хорошо. Я готов уделить вам время, если вы хотите.

В конце концов он может верить или не верить словам этого малознакомого ему человека, подумал Димка, а услышать, что тому известно, совсем не помешает.

– Где и когда мы сможем поговорить?

Димка задумался.

– Сейчас я в университет, вечером буду занят. Где-то в три у меня будет окно. Приезжайте в кафе «Олимп» на Круглой площади, я туда часто захожу.

– Договорились. В три я тебя буду ждать.

Наверное, он разволновался. Димка не ждал ничего хорошего от встречи с журналистом. Тот планировал увидеться с ним наедине, значит намерен на него как-то давить. Собственно, о его целях Димка даже не догадывался, однако то, что разговор будет идти об отце, неприятно его беспокоил, поскольку предполагал вклиниться в его личные дела и подразумевал необходимость давать родным оценки.

А Виталий думал о своём. Он мог бы предложить подвезти парня до университета и поговорить с ним по дороге, но решил, что с ходу нужного от него не добьётся, да и самому Виталию сподручней беседовать в более спокойной обстановке, когда не приходится ни на что отвлекаться. Он не любил в делах суеты и, когда был сосредоточен на главном, чувствовал себя сильнее.

Без пятнадцати три он уже сидел в указанном месте, попивая кофе и просматривая свои записи в тетради. Среди посетителей было много молодёжи – наверное, студентов ближайших вузов, облюбовавших данное заведение для встреч и определения дальнейших планов. Несколько минут в его углу было довольно оживлённо. Виталий с интересом наблюдал компанию весёлых юношей, поглощающих продукцию фастфуда и, похоже, настраивающих себя на хорошую вечеринку. Но после того, как они ушли, разлившаяся вокруг сонная тишина вернула его в деловое русло, заставив забыть о возникших было неудобствах. Кафе задышало светским покоем, мягкая непринуждённость завсегдатаев сыграла на приятных струнках его души. Он окинул взглядом помещение, отметив для себя привлекательную фигуру у стойки бара, и ещё раз погрузился в написанные мелким почерком свои заметки.

Младший Захаров опаздывал. Прошло уже десять минут после назначенного времени, а того всё не было.

«Может, испугался? – подумал Виталий. – Позвонил отцу?»

Присущее молодым отсутствие пунктуальности его не трогало: сам когда-то не умел ценить время, тем более время не своё. Но на парня он всё же возлагал определённые надежды, и если не удастся привлечь того в качестве помощника, то придётся реализовывать план «Б», действуя более жёстко и нарушая законы, чего бы ему пока не хотелось.

Димка появился ещё через пять минут, издали увидев Виталия за столиком, прискакав к нему, как запыхавшаяся лань, и смирно усевшись напротив:

– Извините за опоздание. Кругом такие пробки, берёшь время с запасом, но всё равно не хватает.

– Ты разве не с учёбы? Университет же тут рядом.

– Я был на практике, в другом месте.

Виталий подвинул ему меню:

– Будешь чего-нибудь? Выбирай, я заплачу.

– Да нет, спасибо, я не голоден.

Журналист посмотрел куда-то мимо визави, в глубь помещения, потом вернулся к студенту взглядом, настоятельно предложив:

– Кофе будешь?

Видимо, Димка посчитал свой отказ демонстративным и сразу же согласился:

– Да, пожалуй.

Виталий подозвал официанта и заказал два кофе с булочкой и два молочных коктейля.

Парень откинулся на спинку кресла, продолжая выжидательно наблюдать за Виталием. Его крайне занимала обозначенная тема, но, по-видимому, она одновременно являлась для него и нежелательной.

«Что если ему вообще ничего не говорить? – мелькнуло в голове Виталия. – Он будет озадачен, без сомнения, и в следующий раз воспримет моё предложение всерьёз, а не в свете посягательств на доброе имя его родных». Вместе с тем разыгрывать ходы не было времени. Надо уже было что-то предпринимать.

– Я познакомился с твоим отцом, встречаясь с одним человеком, который оказался пациентом его клиники, – начал Виталий.

– Я в курсе. Отец про вас упоминал.

– Ты предупредил его о нашем разговоре?

– Нет. Он рассказал о вас в тот же вечер, когда вы к нам приходили.

Виталий выдержал неопределённую паузу, отпивая кофе и оставив ненадолго студента самим с собой.

– Так вот. Ты, наверное, слышал, что это был известный в своих кругах учёный-физик, работавший над секретным государственным проектом. Его гибель произошла при довольно странных обстоятельствах, хотя дело усложнил тот факт, что все пациенты данного заведения являются в разной степени неадекватными людьми. Их отношение к миру и к себе может вызывать сочувствие или недоверие, однако для высокой квалификации психиатра это лишь материал для исследований, потому что в его глазах поведение не разделяется на нормальное или ненормальное – оно только приводит к тому или иному эффекту.

Димка потупил взор, и Виталий подумал, что, возможно, вызвал в его душе некий резонанс.

– Твой отец много с ним общался и с большой долей вероятности мог получить от него сведения, которые до сих пор не может понять и использовать. Сведения, представляющие государственную тайну. Но именно потому, что он не передал их в соответствующие органы, я бы хотел стать их следующим обладателем.

– Для чего?

Виталий ухмыльнулся:

– Странный вопрос. Типичный вопрос молодого человека в твоём возрасте. Он не риторический. Тебе действительно хочется понять для чего. Увидеть главное: как можно, не имея ни знаний, ни опыта, обладать солидными средствами или хотя бы уметь подчинить своему нраву массы поклонников, в которых и отражается твоё истинное предназначение.

– Я не такой.

– Да знаю. У тебя на лице нарисовано, какой ты хороший. Но купить можно любого человека. Некоторые просто не отдают себе отчёт в том, что их купили.

Вроде бы он запутал парня.

– Вы хотите меня купить?

Журналист уведомил его милосердным взглядом, попутно бросив, словно речь шла о пустяке:

– Да, если ты продаёшься. Иначе просто разговор будет более длинным.

– Я могу просто уйти.

– Можешь, но имей в виду, что твой отец так же может оказаться под уголовным преследованием. А я могу отвести от него подозрения.

На секунду Димкино недоумение иссякло, и он наконец решил спросить о главном:

– Чего вы от меня хотите?

По глазам Виталия, скорее всего, стало видно, что кульминационный момент беседы наступил, причём в положительном для себя исходе он был уверен на сто процентов.

– Отдельным лицам, а через них мне, стало известно, что Полуэкт Арнольдович Захаров наиболее важные сведения записывает в серый блокнот, который хранится в его сейфе в клинике. Либо лежит в столе дома…

Димка замотал головой:

– У него в кабинете тоже есть личный сейф, вбетонированный в стену.

– Ну что ж… – Виталий будто предвидел данное обстоятельство. – Это не усложняет дело. Блокнот рабочий, он им, бывает, пользуется, и помимо того, что есть моменты, когда блокнот перекочёвывает из одного сейфа в другой, иногда, наверное, необходимо сверяться с записанными там сведениями, то есть иметь его при себе. Если тебе предоставят возможность, смог бы ты незаметно снять с него полную копию?

– За деньги?

– Разумеется.

– И каким образом?

– Сначала мне нужно твоё принципиальное согласие.

Вот теперь Димка в полной мере осознал, каковы его расклады по жизни. В мгновение ока в голове пронеслись незабываемые детские обиды, непонимание и ненависть, возведённые в какую-то драматическую форму, наполнявшие его все эти годы, чтобы в определённый срок он мог безжалостно выставить счёт, указав родным на то, в чём они явно просчитались. Он увидел их надменные в пустоте лики, обозначавшие самодовольство, упоение, в котором приходилось чертыхаться из-за нелепых обстоятельств. Этим обстоятельством являлся он сам. Его так и подмывало вынести им приговор – свой, личный приговор, отвечающий всем правилам житейского уклада: то, что ты недодал или передал близким, пусть и непреднамеренно, обязательно аукнется тебе в будущем. И он будто был не прочь уличить в неблаговидных поступках отца и необоснованной преданности тому, искажающей любовь к самому Димке, матери.

Но вместе с тем какие-то важные устои, гласящие о том, чего делать никак нельзя, вдруг проснулись в нём, зазвенев на все лады по каналам душевных переживаний. Он даже удивился, почувствовав отпор секундной слабости, такой сильный, будто мысленно пытался оправдать гнуснейшую подлость. А убедительная тяжесть в груди, которая появлялась у него в моменты внутренних противоборств, говорила о том, что его ответ теперь не просто обозначит его отношение к той или иной просьбе, но в корне повлияет на его комфортность пребывания с самим собой. Вопрос стоял о будущем его внутреннего «я», о цельности его как человека, и, несмотря на молодой возраст, в котором многие его сверстники ещё бессознательно барахтались из-за отсутствия ориентиров, он научился ощущать такие вещи в полной мере.

– Нет, я не могу этого сделать, – завил он, глядя в глаза журналисту. И как только произнёс это вслух, окончательно утвердился в своём решении.

– Можно узнать – почему?

Виталий никогда не придавал значения первому отказу. Лицо парня отражало его упорство и твёрдость характера, но особенности лиц в работе Виталия практически не играли никакой роли. Договариваясь о главном, он наблюдал их переменчивость постоянно. А иногда и вскрывал за искусно сработанной маской совершенно противоположный ей нрав.

Однако парень, по-видимому, идти на попятную не собирался:

– Я вижу в таком поступке предательство.

– Предательство чего?

– Доверия и любви родных.

– Ты называешь предательством стремление узнать правду?

– Оно для вас стремление. А для меня поступок, совершенно не соответствующий моим внутренним убеждениям. Предательство есть предательство и ничего больше.

Всё же Виталий думал, что с парнем будет договориться просто. Он, конечно, предполагал, что того придётся уламывать, но ничуть не сомневался в том, что цели своей добьётся. Однако уже теперь почувствовал, что дальнейшие убеждения напрасны.

– По-твоему, правда не стоит внутренних усилий, нравственной борьбы, потому что, видите ли, калечит представления о правильных и неправильных поступках? Хороши бы мы были, если раскладывали понятия по полочкам, не в состоянии никому помочь и никого изобличить из-за всеобщей точности суждений.

У парня были свои аргументы. (И откуда он их только выкапывал?)

– Правду можно добыть и хитростью, и с помощью пыток. Она, конечно, не становится от этого менее ценной… Вот только цели, преследуемые при таком подходе, вызывают вопрос, нужна ли она тогда вообще. Если ею пользуются каждый по своему усмотрению, она перестаёт быть правдой всеобщей, а превращается в орудие наживы, сведения счётов или ещё чего-то гнусного.

– Ты говоришь о проблеме нравственности конкретных лиц, а не о проблеме правды.

– Да. Я потому и ставлю правду ниже своего личного доверия тому или иному человеку. – Он бесхитростно изучал глазами журналиста, будто не надеясь даже, что мог раздосадовать того своими смелым суждениями.

«Умный мальчик, чёрт возьми», – подумал Виталий. Ему показалось, что его начали недолюбливать.

Он вдруг почувствовал, что ему бы очень хотелось быть на стороне студента. Как просто слыть идеалистом. Как просто презирать, когда не можешь воспрепятствовать внушением. Видеть неприятную рожу во всяком не имеющем отношение к твоей взыскательности субъекте и посылать подальше всякое отметившееся недобросовестностью существо. Но это только до тех пор, пока не возникнет необходимость налаживать с ним отношения. Парень ещё не понимает, как важно порой перешагивать через себя, ломая стереотипы, да что стереотипы, ломая стройную систему взглядов, если ты успел обзавестись ими в кругу добропорядочных людей. И дикое своенравие представлять как современный базис для переговоров. И уметь находить в этом своенравии тонкие нюансы, через которые возможное проникновение в чужой мир обеспечит тебе преимущество. Не только возведёт в степень твои слова, но и сам принцип, который ты исповедуешь, сделает сильным козырем в игре, ибо принципиальность, дух и уважение есть игра, и очень часто серьёзная игра навылет.

Виталий, как всегда, лишь на секунду увидел, что сидящий напротив молодой человек чем-то внутренне схож с ним самим, но потом привычно отдалился от подобных сравнений, представив в образе миловидного юноши некого посланца из неприятельского стана, которого в лучшем случае нужно вернуть перевербованным.

– Тебя не интересуют эти странные явления, которые происходят в вашем доме?

– Интересуют. Расскажите. Но я не очень представляю, какое отношение к ним имеет мой отец? Если вы что-то знаете, самое время поделиться.

Виталий не собирался ему ничего рассказывать. Самое большее, на что он теперь рассчитывал, это стать для студента контактным лицом, к которому тот мог бы обратиться в особых случаях. Он постарался донести до того, как всегда, убрав из объяснений конкретику, что с подобными случаями тот может столкнуться ещё неоднократно, что величина опасности при таких столкновениях очень высока, что все эти явления в общем-то нельзя назвать непредсказуемыми, но разобраться во всём мешают высокая секретность вышедшего из-под контроля проекта и развернувшаяся вокруг него жёсткая борьба, в которую, судя по всему, вольно или невольно втянут его отец. И пока парень демонстрирует щепетильность в отношении нравственности тех или иных поступков, могут пострадать невинные люди, для которых его принципы покажутся не совсем правильными.

Юноша слушал его без должного внимания, поглядывая иногда в сторону, на каких-то отдельных посетителей кафе. Хотя по редким вопросам, которые он задавал, можно было понять, что он хорошо улавливает смысл доносимой до него информации. Он смотрел на собеседника открыто, заранее обозначив свою позицию, и один этот взгляд, казалось, был ответом на все старания журналиста.

В целом Виталий так и не сумел его переубедить, и дело, скорее всего, было не просто в его упрямстве. Юноша действительно ему не доверял. Всё, что Виталий приводил в качестве аргументов, оборачивалось против него самого, потому что Виталий, наверное, выглядел в упомянутой им борьбе вполне вероятным, действующим её участником.

Когда они разошлись, Виталий испытывал раздражение. Он почувствовал вдруг, насколько сильно был расстроен после разговора с парнем, и не потому, что юноша отказался ему помочь, здесь можно было обойтись и без его участия, но ощутив сполна, что его правда не работает в самом главном из всех случаев – в условиях молодого умного оппонирования, не испорченного ещё жизненными дрязгами и зрелостью проблем, когда они рассматриваются безотносительно причин их возникновения.

«Молокосос. Недальновидный щёголь, – думал он. – Вряд ли его заботят последствия собственных решений. Он видит только себя, словно большую единицу, но мечтающую обрасти не нулями, а виньетками».

Хотя в вопросе отношения к родным юноша занял вполне предсказуемую позицию. И того накала их домашних разногласий, о которых с Виталием поделился однажды Глеб Борисович, оказалось, видимо, мало, чтобы можно было рассчитывать на дерзостный настрой сына, готового вывести на чистую воду собственного отца.

Виталий вдруг подумал о своём родителе. Нельзя сказать, чтобы он трепетал когда-то перед его мудростью и правдивостью. Отец был жёстким человеком, но не имел особых претензий к чужому волеизъявлению, поэтому Виталию он виделся прежде всего как хороший папа, вполне сносный член семьи и только после как носитель неких недостатков. Смог бы Виталий вот так же вынюхивать его тайны, копаться в его вещах, чтобы передать в чужие руки какой-нибудь символ, означающий для отца козырь в большой игре? Если бы Виталий уважал его чуть меньше, чем теперь, то, может быть, и да. А на чём основывалось это его уважение, в котором он не видел ни плодов своих добродетелей, ни особого душевного отношения к нему отца, он с трудом мог объяснить до сих пор.

Отец отличался упрямством и был прямолинеен, можно сказать даже, простоват, из-за чего его убеждения отдавали нафталином. Он являлся надёжным винтиком системы, до тех пор пока последняя не дала сбой. Признаков новизны он не видел, ещё сильнее преклоняясь перед отжившими идеалами. Виталий не слушал отца, он никогда ему не верил: отец всё время пытался под кого-то подстроиться, хотя не умел этого делать. В сущности трудно было рассчитывать на более-менее серьёзный общественный статус без соответствующего образования. Он терпел одну неудачу за другой, а потом рассказывал, что ему досталось неимоверно тяжёлое время, в котором правила менялись с быстротой молнии, а в выгоде оставались только пройдохи и негодяи. Он прислушивался, о чём говорят вокруг, но не мог понять, кто прав, а кто виноват. Он, как Самгин в известном произведении Горького, ревниво определял, у кого чьи мысли. Своих никогда не имел и полагал поэтому, что и остальные так же беззастенчиво повторяют чужие суждения, не сподобляясь свериться с настроением авторов, в каком контексте и по какому случаю они их высказывали.

Нет, отец не являлся для него авторитетом, и именно поэтому Виталий не мог определить теперь, какое истинное значение он имеет в его жизни. Милого папу из детских воспоминаний настырно оттенял занудливый ворчун, только и знающий, что вставлять в разговор, к месту и не к месту, всякие колкости.

Вновь накатила волна раздражения. Ему противны были любые лица, попадавшиеся на глаза, неизменно несущие в себе самые глупые воплощения жизни. Удивительным образом одних и тех же людей в разные моменты времени он мог представить с совершенно противоположных сторон. И его тяжкие недуги играли в таких представлениях всё более отчётливую роль.

Зачем он тут оказался? Почему опять влился в сутолоку мира, испытывая на прочность свои нервы, чего можно было избежать, окажись он на минуту более прозорливым? Но, видимо, всего предугадать невозможно, и, как ни сторонись неприятностей, они всегда настигают каждого в свой час. Лучше было бы не обращать на окружающих внимание, но он так не умел. Будто специально его касались самые нелепые формы повседневности, досаждая его вкусам слишком мелкой, пустой альтернативой.

К нему вдруг обратился сытого вида человек с жидкими усами и каким-то скрипучим, гнусавым голосом:

– Уважаемый, не подскажете, как пройти к ближайшей станции метро?

Виталий ткнул пальцем в предполагаемом направлении, едва притормозив перед встречным и, очевидно, не сумев помочь тому правильно сориентироваться. Эти старомодные «уважаемый» и «сударь» неприятно резали слух. Наверное, тот хотел быть вежливым, однако вряд ли предполагал, что своим обращением может настроить кого-то против себя.

«Какой я тебе уважаемый, козёл? – мысленно откликнулся Виталий. – Если бы ты знал, что я о тебе думаю».

Мужик тут же повернулся к следующему прохожему, с которым, судя по всему, ему повезло больше.

Зато для Виталия опять настал момент истины. Как они не вовремя приходят, эти моменты, и как сложно всегда к ним приспособиться, оставаясь в чужих глазах ласковым и первозданно чистым. Сбоку его толкнул заметно выпивший тип, вслед за чем Виталий непроизвольно и в вульгарной форме выругался.

То выражение, которое он употребил, разумеется, его не красило. Оно имело явно агрессивный характер и призвано было придать возмущению воинственный оттенок, укоренившийся в бытовых перепалках как некая устная форма оскорбления. Так обычно некоторые отводят душу. Однако никогда не знаешь, каков будет ответный ход и стоит ли задевать соперника ради удовлетворения собственного самолюбия, рискуя навлечь на себя его первобытный гнев, содержание которого может быть чрезмерно грубым и даже опасным.

Последовала группа вводных слов, обозначающих небывалую рассерженность оппонента, настолько сильную, что непременно была упомянута мать, породившая такое гнусное, с его точки зрения, существо, и она при всём оказалась виновной в первую очередь. Само собой разумеется, гнев относился к стоящему перед ним субъекту, и имелась цель задеть его за самое живое. По словам мужика, Виталия наклоняли и вертели во все стороны на самых немыслимых приспособлениях, имеющих отношение к человеческому телу, так что неискушённый в таких делах слушатель резонно усомнился бы в правдоподобности описываемых затей. Наверное, мужик и сам не особо верил в необходимость такого надругательства над противником. Просто по традиции сограждан требовалось упомянуть теперь о самом гадком из своих переживаний, понятном всем и известном, превратившемся постепенно из осквернения памяти в осквернение слуха. Поэтому долго мусолить речь не приходилось. Её обороты были давно заготовлены, предполагая грубым потоком обрушиться на голову сердечного и не сведущего о силе доброты обывателя.

Речь оскорблявшего не имела конца. Чтобы усилить впечатление, один за другим следовали повторы. Он нисколько в данном упражнении не усердствовал, не сомневаясь в красочности произносимой тирады. Слова складывались в фразеологические обороты, из коих следовало, что, как большой мастер описываемых дел, он в первую очередь отсоединил бы от врага некоторую его часть ниже пояса – рывком, поворотом или ещё каким-то одному ему известным приёмом, – и в результате того охватило бы горе, о котором мужик якобы мечтал всю свою сознательную жизнь. В этом заключался главный эффект мнимого воздействия, поскольку предполагалось, что от подобной трагедии в силу частого о ней упоминания знает каждый. Музыка слов сопровождалась гримасами, из-за чего трудно было усомниться в находчивости мужика, будто и правда, выпади ему такая возможность, способного уязвить Виталия до глубины души. Отдельные эпитеты особо жёстко вколачивались в сознание. То есть из сферы возмущённости переходили в область гнева, достигая эффекта экстенсивным путём, когда количество их всё же превращается в небольшую крупицу качественной злобы. И неважно было, что изгаляемый сам не видел себя рядом с другими. Тот универсальный язык брани, который он использовал наряду с другими членами общества, давал ему возможность вклиниваться в чужую среду хоть бы пугалом, хоть бы тем невзрачным существом, на которого трудно смотреть без сожаления. Его рёв и бестактность отражали саму природу человека. Поскольку с избавлением от одного противного типа не улетучивалась мысль о миллионах таких же, растворённых в публике повсеместно, готовых в любой момент, невзирая на обстановку, искалечить праздник сердца жутким сквернословием. Потому и речь его при всей её упрощённости была понятна и обидна. Она тревожила сознание. Она не в такой мере задевала за живое, в какой бесила от небывалой жёсткости изнанки, представлявшей с правильным и гладким употреблением слов будто одно целое, всегда имевшей про запас довольно хлёсткие, нелицеприятные выражения.

И в какой же мере благороден язык, имеющий столь разнообразные в прихотях оттенки? Не характеризует ли его на самом деле глубокое пренебрежение нуждами ближних, которые покрываются хитрой витиеватостью его фраз? Универсальности правды нет, но существует универсальность мата, и она показывает, как далеко нам безразличен человек, если из любого положения его можно лихо огорошить парой сочных эпитетов.

Крики мужика ещё долго разносились по округе, когда Виталий ушёл уже на приличное расстояние. Они звенели в ушах. Оттого, наверное, мужик и горланил, как обезьяна-ревун, что подобные выражения не теряют актуальности даже произносимые в пустоту.

Наконец, добравшись до своего автомобиля, Виталий покинул зону турбулентности и вышел на волну постфактумного переживания действительности.

Он устал от мельтешения людей, однако тут же попал в сутолоку автомобильную. На проспекте образовалась пробка, двигались медленно, то и дело кто-то пытался втиснуться в едва обозначившиеся пустоты. Среди автомобилей тоже не было стройности. Она вроде бы присутствовала порядно, но некоторые пытались перестроиться, чтобы потом свернуть, и вносили путаницу в движение, вставая поперёк, мешая, перекрывая потоки сразу в нескольких направлениях.

Здесь присутствовала некая тихая нервозность, обусловленная прежде всего ощущением потери времени. Никто не толкался, не сигналил, расходуя накопленный запас терпения рационально, понимая, что ничего тут не поделаешь: такова обстановка, такова случайность. И, зависимый от обстоятельств, каждый вынужден был мириться с возникающими время от времени трудностями и сносить при этом причуды других, касающиеся не столько его лично, сколько куска, пусть и дорогого, но всего лишь железа с пластиком. Притормаживалась активность – она даст о себе знать чуть позже, – разрасталось тягучее бремя горожанина, вынужденного свыкаться с транспортными коллапсами, теснотой, медлительностью. Но уродливые выверты души никуда не девались и здесь. Они даже и не думали прятаться и иногда прорывались ужасом воспалённого воображения в заторе, на панели, в массе не уважающих ни себя ни других граждан.

Виталий не хотел бы с ними встречаться, он чувствовал, что временами сам возбуждён донельзя. И всё же львиную долю возникающих с ним неприятностей, или потенциально возможных неприятностей, списывал на убогое это окружение.

Выбраться из западни удалось не сразу, пробка рассасывалась постепенно, отрезок за отрезком. Только через двадцать минут он смог двинуться быстрее и с радостью предался очарованию свободной езды.

Люди не занимали его как таковые. Почему-то их прекрасные стороны, воспеваемые в картинах и романах, представлялись ему неким раритетом, засыпанным нафталином и упакованным в коробку для долгого хранения – настолько неестественными в наши дни казались причудливые дары природы, коими облагораживаются теперь лишь отдельные представители человечества. Только единицам дано не обращать внимание на приоритеты, не погрязнуть навсегда в пресловутой практичности, за исключением, конечно, экземпляров, представленных клиникой Захарова и им подобных. Мученическая участь свободных нравов приводит людей в замешательство. Они действительно мучаются, не зная, чем себя занять, порой не приходя в себя до самой смерти. И на этой благодатной почве отупения махровой гущей разрастаются все самые гадкие из человеческих пороков. Кто отравляет, кто норовит отщипнуть послаще. Кто-то, оказавшись в конце очереди, непременно хочет вырваться из неё вообще. Но самое главное, все они друг от друга зависимы и все они друг друга ненавидят. Не найдя подходящей игрушки в виде слабого, они преступают черту человечности, по-своему возносясь над суетой, а на самом деле всё глубже утопая в болоте всеобщего гнилья. И никакая смиренная поза, никакой ласковый тон не в состоянии скрыть тупого безразличия к чьей-либо судьбе, не оправданного даже желанием того, чтобы их оставили в покое.

Наоборот, им хочется к чему-нибудь прилипнуть, непременно прицепиться, обязательно поучаствовать. Раствориться в массе или подстроить чужие нравы под себя – без разницы как, – и они пытаются общаться. Они видят других, среди сонма таких же им подобных. Облако пыли, поднятой их дражайшей жизнедеятельностью, составляет тот скучнейший фон, который обзывается общественным сознанием. Их много, они утверждают правду. Они гордятся не собой, а скопищем. Они растекаются по всем уголкам, заполняя бреши в размышлениях идеологией, им мерещится жизнь, которой они по-настоящему и не пробовали, поскольку давно разучились иметь что-то собственное. Огромный рой мельтешащих, дёргающихся, приторно мягких или дерзких, актёрствующих субъектов, среди которых встретить живущих своим миром, самодостаточных большая редкость. Они сидят за рулём автомобилей, ходят, бегают – везде, вокруг. Он изначально не терпел каждого из них и всех их вместе, пусть даже они источали добрые улыбки: всё равно казалось, что они улыбались не просто так, а с каким-то умыслом…

На перекрёстке Виталий притормозил и неожиданно упёрся взглядом в купола православного храма.

Сначала из-за строений показались боковые маковки. Словно витринные экземпляры, они привлекали внимание пышностью форм, выставленные напоказ среди образцов прямолинейной архитектуры. Потом, когда он подъехал ближе, взору открылся массивный центральный купол. И, уже оказавшись рядом, всей своей величавостью, зримым торжеством перед Виталием встал прекрасный собор, одним видом своим усмирявший пустые гордыни, ибо с его гордостью не могло сравниться ничто на свете.

Виталий невольно затормозил, припарковавшись у тротуара. Он смотрел на культовое сооружение, будто только что проснулся, с трудом возвращаясь к реальной жизни. Он почувствовал что-то впечатляющее, хотя видел собор до этого много раз. Изыски архитектуры его, безусловно, не интересовали, но то значение, которое заключал в себе храм, особые флюиды, излучаемые камнем и местом, где была воздвигнута святыня, именно сейчас заставили его обратиться в сторону сооружения, словно в решающий миг вставшего перед ним последним аргументом.

Он вышел из машины и пересёк улицу, оказавшись у боковой калитки ограды, окружавшей территорию собора. Рядом согнувшись, вся в чёрном, стояла дряхлая бабка, опустив голову и вытянув вперёд руку. Он пошарил в карманах, найдя какую-то мелочь, и положил всё в её мелкую ладошку. Та перекрестилась, пробормотав слова благодарности.

На паперти стояли ещё несколько таких же убогих созданий. Если подавать, то всем. На секунду Виталий замер в нерешительности, но, вспомнив, что в бумажнике есть достаточно мелких купюр, не поленился каждую одарить небольшой долей участия, отчего испытал неимоверную душевную лёгкость. В какой-то миг показалось, что творить добро его предназначение, однако размытость представлений о подобной деятельности оставляла в голове только образные пятна, не содержащие конкретики или какого-либо плана. Он только хотел чего-то своего, но вмешиваться в чужие судьбы не собирался. Вот и теперь, пропустив мимо себя старух, уже думал о другом, сверяясь со своими вкусами, пытаясь насладиться торжеством покоя и умиротворения.

Внутреннее убранство собора потрясало пышностью отделок, сверканием позолоты, масштабом росписей. Оно призвано было ошеломить входящего представлением о лучшей жизни, которая, спускаясь с небес, напоминала о себе в таких особо величавых, зримых формах. По традиции православные храмы изнутри выглядят намного богаче, чем снаружи. И простого прихожанина, отмерившего взглядом архитектурные ракурсы строений, праздничная отделка интерьеров еще сильнее погружает в атмосферу таинств, имеющих, оказывается, к земным красотам прямое отношение.

Огромные ионические колонны, собранные в пакеты, поднимались кверху, поддерживая полукруглые своды нескольких отдельных порталов. Все свободные места антаблемента, а также специально выделенные круглые полосы колонн были заняты позолоченными надписями на латыни. Слова молитв и высказывания апостолов виднелись всюду, напоминая об истине при подъёме головы. Своды были покрыты росписями из сцен на библейские сюжеты, а центральный плафон занимали святые лики, внушительно глядящие сверху на ползающих по полу посетителей. Ни один из простенков, никакая ровная вертикальная поверхность не пустовали. Всюду висели иконы, многочисленность смотрящих, безусловно, праведных людей, завораживала и подавляла одновременно, немым внушением нависая над душой, будто возводя любую грешность в ранг предсказуемой. Более значимые, крупные изображения были разнесены по разным углам и снабжались стоящими перед ними подставками под свечи. Всё это играло в лучах многочисленной подсветки, которая, смешиваясь с проникающим через проёмы в стенах естественным освещением, создавало неповторимое сочетание красок и чувств.

Растворённая в воздухе торжественная тишина нарушалась только топотом туристов и звучным вещанием гидов, рассказывающих нескольким группам об исторической ценности объекта и его богатом содержимом. Сотни взглядов живых и неживых представителей цивилизации скрещивались на небольшом по масштабам планеты участке переживаний, наверняка с любопытством отмеряя попавших в поле зрения отдельных персонажей. Внизу думали о том, за какие такие заслуги вековая память поощряет (да и поощряет ли?) своих сынов, существовавших или нет в бесконечной суете дней, да и неизвестно, чем на самом деле занимавшихся. Наверху с наивным простодушием пялились вниз, находя в ныне живущих, повесивших их портреты перед собой, утешительные для их проповедей последствия.

Может, в борьбе этого дерзкого и этого надуманного и заключается смысл поступательного движения вперёд, развития души, если она действительно развивается? Однако никакая искусственность величия не заставит принять идею безоговорочно. Сколько бы ни покрывались позолоченными балдахинами предметы поклонения, равно как и служители церкви их восхваляющие, те не станут от этого ближе к отдельно взятому сознанию.

Виталия абсолютно не трогала изысканная помпезность интерьеров, и он никак не воспринимал натужные старания адептов христианской этики. Ту сиюминутную вибрацию чувств, которую он испытал, приближаясь к храму, он соотносил лишь с незаполненными ячейками своей личностной сути, жаждущей чего-то нового, ну и реагирующей порой на незаурядные вывихи истории. Помимо интереса, он мог иногда погружаться в таинства поклонений, впитывать в себя гармонию торжеств, наслаждаться культовой архитектурой и затаённо дышать воздухом святых мест. Но всё это не выходило из плоскости любопытства. Он всё время ощущал, что просто играет по правилам, а присущую интеллектуальной натуре импровизацию оставляет на потом, когда на него не будет давить общественное мнение. В этом соборе он просто апеллировал к устоявшимся нравам, не ощущая себя частью доминирующего мировоззрения. И когда на душе становилось тревожно, он лишь позволял себе прикоснуться к всеобщему источнику успокоения, ожидая, что, может, и на него снизойдёт вдруг какая-нибудь благодать.

Возле святых икон молились отдельные прихожане, в основном дряхлые бабки, но недалеко от себя он увидел и молодого, вполне респектабельного вида мужчину, закрывшего глаза и едва заметно шевелившего губами. Наверное, он обращался к Богу, не особо уповая на ответ, из-за чего и показался Виталию скорее случайным посетителем, чем истинно верующим. Остальные усердно крестились и целовали иконы, вкладывая в свои действия раскаянно-смиренный смысл. Их раболепство скорее носило ритуальный характер, но было им необходимо, как и отдельная атрибутика веры, без чего простой люд не может идейно ни на что опереться. Казалось, задымленные мрачные углы – самое место для ритуальных поклонений. Они словно специально так устроены, в стороне от торжественной центральной части храма, чтобы без суеты, на тонком слуху, принимать поклоны и чаяния верующих, уделяя каждому в отдельности как бы больше внимания. Здесь разливался свечной запах и особо таинственно, в странной игре света и тени, проявлялись лики святых. И люди, неустанно крестясь, с благоговейным трепетом вглядывались в расписные чёрточки на портретах, и, может, даже им казалось, что те беззвучно реагируют на их присутствие, отвечая обращённым к ним лицам едва заметным движением морщин, прищуром глаз или цветом румянца. Таинство веры становилось насыщенным, от общения с иконой можно было что-то унести. Огромным упоением отзывался в душе акт простого панибратства, идейный отрезок времени, когда вы с Богом как бы на равных, когда якобы напрямую решаются ваши проблемы, когда заведомо точно нет рядом того, кто мог бы отнестись к вам равнодушно. И мир оттого становился шире, глубже, многообразнее. В его далях выделялось что-то удивительно близкое, особенное, заметное только вам и, главное, безусловно, способное откликаться на призыв об участии. Поможет или нет та странная субстанция, оставалось решать вам, но неизбежность навострённого в вашу сторону уха, улавливающего самый тонкий лепет стенаний, представлялась очевидной. Вселенная становилась правильной уже не оттого, что кто-то способен или не способен вам помочь, а оттого, что огромным фикусом вставал вопрос, достойны вы или нет этой самой помощи, хороши ли вы были сегодня, не запятнали ли свою репутацию греховным деянием? Хватает ли в вас перегиба, чтобы достать лбом половицу? Да и сами мысли, которым, как известно, судья только Бог, – не в них ли всё дело? Не тут ли известная слабина, мешающая видеть наяву ваш объект поклонения?

Ближайшая бабка встала на колени и, перекрестившись, согнулась в три погибели, коснувшись лбом пола. В общем-то, место было не совсем удачным – собор являлся наполовину музеем и тут было много разного народа, – но для неё, скорее всего, это был ближайший храм. Она подняла спину, перекрестилась уже не так быстро и снова тронула лбом каменные плиты. Так повторилось несколько раз. Вроде бы она часто ещё и бормотала, хотя в разноголосом эхе, витающем по залам, в котором выделялись звучные речитативы гидов, разобрать её слова было невозможно.

Далее последовала финальная часть сеанса. Замерев в глубоком поклоне, точно заслушавшись волшебными звуками шагов, она так и осталась стоять, уткнувшись лбом в камень, несколько минут кряду и до самого того момента, пока Виталий не покинул собор, обернувшись в её сторону из любопытства на выходе.

«Неужели они действительно думают, что над ними кто-то есть, что до них есть кому-то дело? – размышлял Виталий на ходу. – Несчастные люди. Разве можно в этом находить какое-то утешение?»

Он углубился в городские кварталы и присел на скамейку во дворике. Вокруг, казалось, была совсем другая жизнь.

«Верить можно тогда, когда есть хотя бы один, пусть очень маленький, но вполне реальный шанс, что ваше желание исполнится, и вы точно знаете, какими вещами это исполнение может быть обусловлено. Но верить изначально неизвестно во что – для нормального человека это непостижимо».

Он с удивлением смотрел на горожан: это были те же самые люди. Распущенные, дерзкие, галдящие и плюющие на панель на каждом шагу. Что изменяется, когда они заходят в храм? Они лишь визуально проявляют смирение, обманывая себя глухим воркованием и наводя трепет в душе представлением каких-то особых, вневременных форм связи. Такое представление позволяет им быть пассивными, проявляя усердие только в обслуживании своей идеи. Но и подобный образ жизни, получается, отваживает их от выявления личных истин, отдавая последние в жертву правде коллективной. На её фоне личное становится несущественным. Можно пренебречь недовольством, неуважением отдельных индивидуумов, ведь, следуя общему тренду восприятий, мелкую возню с притворщиками можно отнести на задний план. Она совсем незаметна, её вроде даже и невыгодно выставлять напоказ, поскольку прок измеряется по значительно более крупной шкале, где борьба с мелкими пакостями сознания очков вам не принесёт.

Они не видят себя монстрами, хотя являются по сути таковыми. Приниженные и оскорблённые, они работают на формирование чужого образа мышления. Им важна только массовость, зрелищность деяний, которые оправдывают любые неполноценности развития, которые становятся настоящим бичом современного мира. И в подобную эпоху, когда люди затеряны в дебрях изощрённой лжи, актуальность приобретают именно зрелищные средства противодействия.

С шокирующим для себя отрезвлением он почувствовал, что сам является одним из них.

«Я грешен, но ведь главное не касаться грехами других, – думал он. – Не мешать их радости, доброте, любви, вдохновению. И каким бы ни был итог последствий – не вносить в него свою толику презрения, отравляющего чужую жизнь самым непосредственным образом».

И, погрязший в противоречиях, уже в который раз он инстинктивно воззрился в себя, уповая на конец тоннеля, где, возможно, проявится в свету совсем новый, неожиданный для него образ.

«Господи, помоги быть человеком! Помоги быть могучим и правильным! Ты мне не веришь, ты думаешь, я хитрый и заносчивый. Но почему ты помогаешь убогим? Помоги сильному! Наплюй на мою гордыню, зазнайство и самовлюблённость – разве этим определяется сущность человека? Неужели эти мелкости сознания создают саму величину его личностной сути? Признай лишь то, что не всё вертится вокруг твоего всесилия, но и от малой величины твоих подданных зависит что-то. Определяется что-то, вменяет кому-то в вину, не признаёт поблажек, вершит суд и само по себе – независимо от твоего желания – отправляет людей в преисподнюю».

Ему показалось, он так же шевелил губами, как мужчина в соборе. Открыв глаза, он посмотрел по сторонам, но гуляющие во дворе уделяли его персоне значительно меньше внимания, чем он уделял им.

Вообще он заметил, что слишком всё усложняет. Но что поделать, если того требует его нервная натура. Постоянные приступы возбуждения утомляли его, он старался отвлечься, расслабиться, однако не думать о своём не мог. А пики неудовлетворённости жизнью приходились как раз на те моменты, когда его особо сильно что-то доставало, не давая возможности сосредоточиться или просто мешая работать или отдыхать.

Глубокая бездна между ним и простонародьем стала раскрываться в его представлениях всё чаще. Он мечтал об отшельничестве, предполагая, наверное, уехать куда-нибудь подальше, и на фоне своих желаний с очевидной для себя предвзятостью отмечал всё видимое и слышимое вокруг с отрицательным знаком. Тишина и покой, от которых многие сходят с ума, казались ему верхом блаженства. Он представлял их себе именно растянутыми на года, чтобы напитаться вдоволь соками мудрости, а отдавать – что ж, кому что-то надобно в действительности отдавать? Мудрость всегда индивидуальна, её передать кому-то невозможно. Ею можно только обогатиться – для собственного удовлетворения, для ощущения полноты внутреннего мира, ощущения того, что никак по-другому ты себя познать уже не сможешь. Для аналитического склада мышления, наверное, это самая значимая перспектива жизни. А близость родного или любимого человека, похоже, является близостью эфемерной.

Можно было бы списать свои выводы на результат плохого настроения, однако уж слишком часто ему приходилось испытывать отрицательные эмоции. Мусор, всеобщее наплевательство, плебейские нравы не просто раздражали, они его прямо-таки бесили. С его правами на самом деле никто тут не считался, их никто не признавал, их не было и в помине. Виталий давно уже сделал вывод о том, что сдружиться с атмосферой разнузданности и хамства вокруг никогда не сможет.

**6**

Тишина представлялась таинственной, напряжённой, раньше такого на работе не наблюдалось. На её фоне излишняя активность выглядела даже странной. Словно опустившись в меланхоличную бездну, отделы пребывали в мёртвом оцепенении, рассовав сотрудников по углам, отобрав у всех живые интересы, дав им всем неимоверной сложности задание.

Виталий и сам испытывал тупую заторможенность. В последние несколько дней не пришло ни одной путной мысли, почему-то ничего не хотелось делать. Он старался быть незаметным, говорил мало, погружённый вместе с остальными в необычный летаргический сон. Любая работа словно мельчала на фоне неотступно накрывающей мир глобальной безысходности.

Заглянул Пашка из юридической службы. Он был одним из немногих, кто умел оставаться весёлым в любых ситуациях. Проходя мимо, он зашёл в комнату, остановившись у дверей и глядя со спины на что-то бормочущего про себя приятеля. Виталий будто тихо объяснялся с пустотой. Безмолвно шевеля губами, он увлёкся интонацией до характерных выражений лица, потом обернулся.

– Ничего страшного, если разговариваешь с предметами, – расцвёл улыбкой Павел. – Главное, чтобы они не начали тебе отвечать.

– Настроение паршивое, – невольно оправдываясь, сказал Виталий.

– Не у тебя одного, как я заметил, и это необычно. Давно я не наблюдал у нас такой удручающей обстановки. Даже как-то неловко обращаться к сотрудникам за советом.

– У тебя возникли сложности?

– Да так, мелочи, – махнул рукой Пашка. – У жены завтра день рождения. Не знаю, что ей подарить.

– Трахни её по-праздничному, – не моргнув глазом, брякнул Виталий.

Пашка засмеялся:

– И в этом ты весь. Трудно придумать более дельного совета, ничего по существу не предлагая.

– Я предлагаю поздравить от души. Самое достойное к бокалу шампанского приложение.

– Как всегда, с тобой трудно спорить.

Последнее время Пашка стал часто заглядывать. Возникла мысль, что он набивается к нему в друзья, и это слегка напрягало. Если он латентный гей, тогда бы проблем не возникло, но если он связан с кем-то из Виталиных врагов и хочет что-либо у него выведать, то ещё одной заботой становится больше. Придётся и с ним быть осторожней, чтобы ненароком не взболтнуть чего лишнего. Чёртова работа. Ни с кем не расслабиться.

– Я ознакомился с твоей последней статьёй, там много сомнительных моментов, – посчитав, что вступительная часть удалась, заявил Павел.

– И что?

– Некоторые вещи требуют подтверждения. Иначе статью нельзя пропускать.

– Я знаю. – Он угрюмо уставился мимо собеседника. Пояснений не последовало.

– Зачем же ты сдал неготовый текст?

– Он готов. Только это первая часть. Там ещё будет продолжение.

– Вот оно что. – Павел удовлетворённо приподнял подбородок.

– И я её тебе не направлял.

– Да, она пришла от Ракитова. Я думал, ты в курсе.

Возникла неопределённая пауза.

– Но всё равно… – Павел будто вынашивал какую-то мысль, мучительно подбирая слова, отчего складывалось впечатление, что ему действительно непонятна самоуверенность коллеги. – Как ты можешь делать выводы из того, из чего они не следуют?

– Работа у меня такая – за всё переживать и ни за что не отвечать. – Виталий наконец проявил к собеседнику что-то вроде живого интереса. – И вообще ты что, первый день здесь работаешь?

– Не первый. Поэтому я давно уже хочу поговорить с тобой начистоту.

В глазах Виталия не отразилось ни капли озабоченности по поводу серьёзного тона приятеля.

– Ну давай. Говори.

Павел на секунду задумался, сообразив вдруг, что не знает, с чего начать.

– Судя по фактам, которыми ты оперируешь, у тебя довольно информированные источники, – предположил он. – Однако мне совершенно не нравится, о чём ты пишешь. Я думаю, писать такое, не имея серьёзных покровителей, не выполняя чей-то заказ, невозможно.

– Ты хочешь знать, насколько я в своей работе искренен?

– Да, если тебе важно иметь в моём лице союзника.

Навязчивость Павла стала приобретать вполне отчётливые контуры. Впрочем, может быть, в его действиях присутствовала определённая тактика.

Виталий намеренно не смотрел на приятеля, потому что на самом деле испытывал к нему симпатию.

– Вряд ли мы будем полезны друг другу. Хотя не потому, что я этого не хочу. Просто есть некие формы ответственности, пренебрегать которыми я уже не могу. По крайней мере по отношению к тебе.

– А по отношению к остальным?

– За остальных я не в ответе. Такая забота не входит в мои обязанности. Они могут мне верить или не верить, или даже плевать мне в след. Почему ты решил, что я должен быть лишён такого же права?

– То есть ты допускаешь, что можно быть по отношению к читателям нечестным?

– Трудно быть ко всем до конца честным. Я предпочитаю для начала извлекать выгоду, а потом уже думать о проблемах внутри общества.

– И эти вещи несовместимы?

– Практика показывает, что нет.

Они встретились глазами. Виталий уже склонялся к мысли как-нибудь закончить разговор или уйти, чтобы отделаться от приятеля, но потом вдруг почувствовал необходимость дать ему, может быть, совет или лишний раз предостеречь его от излишней щепетильности по отношению к другим, так как увидел в нём предпосылки к совершенно не оправданным в будущем конфликтам.

– Принципиальность хороша на митингах, в делах главное – эффективность, – сказал он. – Из-за чего и союзников, я думаю, нужно выбирать исходя не из принципов, а из логики развития событий. А увлекаясь позой поборника добра и справедливости, очень легко нажить себе кучу врагов, которые постоянно будут совать тебе палки в колёса. Я лично стараюсь быть гибким и менее восприимчивым, чтобы оставалось место для манёвра. Что, если твои враги окажутся очень сильными? Они раздавят тебя даже не заметив, поэтому их количество нужно всё время минимизировать. Если за тебя возьмутся – считай, ты обречён. Ты весь у них на виду, как одинокое деревце посреди равнины. – Виталий развёл руки, словно показывая очевидность последствий в самом худшем варианте для проигравшего. – В этом мире нельзя скрыться, – продолжал он, – поскольку всё равно приходится с кем-то взаимодействовать. Раз ты живёшь среди множества людей, в большом сообществе, ты испытываешь на себе все его проблемы. Поэтому за тобой следят, хотят знать, чем ты дышишь, куда ходишь, с кем общаешься. Наступил такой век, когда каждый из нас либо нужный, либо лишний. Отсидеться в стороне ни у кого не получится. И в любой момент где-то на экране монитора могут появиться все твои характеристики, однозначно определяющие человека со всеми его заморочками. Полный набор данных: отпечатки пальцев, группа крови, группа мочи, рост, вес, цвет волос, твои пристрастия и наклонности. Найти и идентифицировать человека при необходимости можно без труда, поэтому лучше не давать повод для того, чтобы тобой сильно заинтересовались. Ввязываться в борьбу следует только тогда, когда есть непреодолимое желание в неё ввязаться. По крайней мере, не будешь потом жалеть о сделанной глупости.

– А ты в неё ввязался?

Виталий сделал вид, что ожидал подобного вопроса:

– Если ты считаешь, что я выполняю чей-то заказ, вряд ли мою деятельность можно назвать борьбой.

На прямые вопросы он старался однозначно не отвечать. Тем более что Павлу он до конца не доверял, хотя тот не раз уже оказывал ему полезные услуги. Впрочем, он сам нередко действовал точно так же, исходя из собственных интересов, и не видел причин, побуждающих знакомых ему людей к бескорыстным поступкам. Лучше заблуждаться в безосновательном осуждении кого-то, чем сожалеть потом о своём простодушии, которое может обернуться злым роком, нанося непоправимый ущерб вашему благополучию. Поэтому если Павел полагал, что своей сговорчивостью заслужил уже Виталино поощрение в виде доверительных дружеских отношений, то он ошибался. У Виталия был только один друг, и то до конца не посвящавший его в свои проблемы. Но теперь проникаться трудностями посторонних, тем более открываться кому-то в собственных мыслях и ощущениях, у него надолго отпала охота.

Павел решил, похоже, немного пошевелить приятеля.

– Самая большая тайна – наши мотивы, – мрачно провозгласил он. – Мы оберегаем их от посторонних глаз и ушей с величайшей старательностью. Если знать, что движет человеком в тот или иной момент, какая из составляющих набора его испорченностей превалирует, можно считать, что его поведение описано заранее. За ним и не надо будет следить: просто нейтрализовать его побуждения необходимыми внешними условиями, и задача решится сама собой. Без запретов, борьбы, ограничений, которые никогда не принесут нужного эффекта.

– Ты забываешь про человеческий характер. На самом деле их огромное многообразие, этих характеров, и под каждый конкретно не подстроишься.

Виталий хотел было упомянуть авторитетное в данном случае мнение Захарова, но, подумав, промолчал.

– Тот или иной характер, как мне кажется, определяет только силу воздействия на человека, но правило не отменяет, – настаивал Павел. – Чем сильнее люди чего-то хотят, тем больше они уязвимы.

– Главная проблема в том, что многие сами не знают, чего хотят.

– Наверное, к их числу ты не относишься.

– Нет. А что, речь обо мне? – в стиле недопонимания спросил Виталий.

Павел, очевидно, стремился отделаться намёками, предполагая, что разговор сам выйдет на нужные рельсы. Либо бросить его и на сегодня успокоиться. Не всегда же необходимо доводить начатое до конца, нужно и меру знать: врагов, как говорит Виталий, и так кругом хватает. Однако сидевшие у него в голове подозрения не давали покоя, а в зависимости от того, что сказал бы Виталий, он готов был и поддержать журналиста в его делах, и надолго от него отстраниться.

– Эти вещи, о которых ты упоминаешь, действительно имели место быть?

Виталия уже напрягало, насколько далеко Павел пойдёт в своих расспросах.

– Там приводятся только предположения.

– Однако по непроверенным данным ты косвенно обвиняешь в торговле госсекретами вполне определённых лиц.

– В статье нет ни одной фамилии или должности.

– Они читаются между строк.

– Ты можешь читать между строк всё, что тебе угодно. Это не клевета, сам понимаешь. Там только изложено моё видение ситуации исходя из всем известных событий.

– Всё правильно. Мы вольны трактовать события тем или иным способом. В конце концов твои утверждения кто-то может оспорить и пристыдить тебя за глупую предубеждённость, а разнообразие мнений и рождает наиболее адекватное представление о мире вокруг нас. И правда есть не что иное как совокупность устремлений независимых источников к истине. Но всё это до тех пор, пока такая независимость существует. Пока наиболее значимую часть источников не объединяет заговор.

– Правда – это факт.

– В настоящее время да. Но факты можно по-разному интерпретировать. Например, если из имеющихся фактов какие-то умолчать, а какие-то добавить, совокупная правда будет другой. И что из фактов получится при описании даже самого недалёкого прошлого, зависит от интерпретаторов. Они, безусловно, влияют и на будущее, из-за чего, я полагаю, деятельность таких интерпретаторов очень хорошо оплачивается.

– Оплачивается, как и всем, через зарплатную ведомость. – Виталий с интересом наблюдал за приятелем, будто узнал о нём что-то новое. – Однако ты фантазёр. Никогда не замечал, что ты склонен искать между строк истину. Не знаю, что на тебя вдруг нашло, но, видимо, ты достаточно хорошего обо мне мнения. Ты думал, я начну оправдываться, говоря, как мне тошно, как надоело возиться в современной военно-политической блевотине? Отнюдь. Скажу прямо: я далеко не бескорыстен, как ты правильно пытаешься представить. Я своенравен и мерзок, и мне не только не противно пугать людей надвигающейся катастрофой, но и хочется поиметь их в таком состоянии. Мне это доставляет удовольствие. Я весел. Сам знаешь, как замечательно заниматься в жизни тем, чем хочется, да ещё и получать за это деньги, как за хорошо выполненную работу.

Наверное, он его напугал. Павел не стал долго задерживаться, видимо, сопоставляя полученную информацию с настроением Виталия. Слишком вызывающе прозвучало для него подобное признание. Если бы он знал Виталия чуть лучше, то, услышав такое, вряд ли ещё раз по своей воле переступил бы порог его кабинета. Но он думал, что Виталий на себя наговаривает, как склонна делать интеллигенция, подкрашивая веки и принимая устрашающий вид перед зеркалом убогости, чтобы на короткий миг активизироваться и стыдиться потом фокусов собственной души. Он не поверил ему окончательно, хотя учуял в гримасе его откровения некую гнильцу, исходящую по округе благонравия недобрым духом.

«Он, безусловно, запросто может соврать, – думал Павел. – Просто соврать, исказить реальность, хотя имеет авторитет и призывает ему верить. Он журналист, но склонен скорее к отсебятине. Как подумаешь, сколько их таких, освещающих арену амбициозных проектов, становится тошно, потому что внимать голосу разума никто не хочет. Или не умеет. Этим они и пользуются».

Уловив в настроении журналиста отрезвляющую правду, он долго ещё не мог успокоиться, открыв для себя истинное лицо подобных «аналитиков» и «экспертов».

А Виталий ничуть не озаботился неприятным впечатлением, которое оставил о себе у приятеля. В данный момент Павел не входил в сферу его интересов, и борьба мнений, к которой он маниакально склонялся по любому поводу, в случае с Павлом лишь обозначила его скрытую приверженность к позёрству, помогающему ему чувствовать себя в своей тарелке. Он изображал одиозность, не слишком беспокоясь об ответной реакции. В крайнем случае всё можно будет быстро поправить, прибегнув к обезоруживающей откровенности. В такие минуты он умел быть убедительным, нередко склоняя на свою сторону недоброжелателя и даже явного врага, если в его распоряжении к тому же имелись сильные контраргументы. И в отношении Павла он чувствовал, что теряет его не навсегда: когда будет нужно, спокойный рассудительный юрист, без сомнений, отнесётся к его проблемам с пониманием.

Однако упомянутые в разговоре скрытые мотивы неприятно задели его за живое, заставив колыхнуться крепкий фундамент его жизненных устоев. Сам того не подозревая, Павел нащупал невзначай его уязвимые места. Виталий имел свойство оправдываться перед собой, и, бывало, чей-нибудь вздорный упрёк заставлял его испытывать глубочайший внутренний дискомфорт. Вот и теперь намёки Павла на его нечистоплотность в работе активизировали его эмоциональную защиту по полной. Он не хотел мириться с обвинениями, мысленно отбиваясь от гипотетических нападок. Ведь не ради же денег в конечном счёте он выполнял некоторые гнусные задания, без которых можно было обойтись? Не ради же мелкой выгоды предпринимал некоторые шаги, обеспечивающие нужный информационный эффект? Просто он ощущал присутствие вокруг намного более неприятных или даже опасных, чем он сам, людей, противодействие которым считал своим предназначением, в связи с чем методы собственной деятельности пытался представить как наименьшее для всех зло. Он не верил в безысходность положения. Он видел поступательность предпринимаемых шагов, и ему, как любому другому человеку, совсем не безразличны были сложившиеся вокруг общественные отношения, где повсюду властвовали дурь, жлобство и лицемерие. Хоть он всячески и сторонился людей исходя из свойств своего характера, оставить гадов нетронутыми или удалиться от них, зная, что бóльшая их часть нейтрализована, выглядело для него не одним и тем же. Может, оттого и были для него ненавистными отдельные экземпляры человечества, потому что в жизни доминировало некое совокупное зло, искажающее представления о мире до неузнаваемости. Он не очень хорошо представлял себе, против кого направлен его протест, однако не сомневался, что чувства, подобные тем, что он испытывал, и есть та движущая сила, которая в своё время определяла и направляла действия Лария Канетелина.

Как он понимал теперь физика, желавшего осадить устроителей жизни большой встряской! Тех, которые противны ему самим фактом своего существования. Они окопались на всех уровнях, они прикрываются пустыми лозунгами. Их мнимая организованность только бесит, а правота выглядит беспардонно навязанной. Неужели не достаточно уже поводов для того, чтобы проявить в отношении их встречную жестокость?

Ведь есть в мире сволочи, объединённые в разные ассоциации, которые под видом коллективного разума творят мерзости исходя не из убеждений, а, как правило, из обычных меркантильных интересов и имеют силу воздействия, однако, на широкие массы людей. Этих уродов пугают недостойным устройством в обществе избранных, таком же сволочном и продажном, где им давно определено место обитания. И что, нужно останавливаться, когда есть возможность изменить ход событий не совсем правильным с известной точки зрения способом, но таким решительным, позволяющим нанести противнику серьёзный урон? Нужно хранить беззаветно святую веру в добро? Не использовать смелостью оказавшийся в ваших руках разящий меч? Что если удалось бы извести такую кучку сукиных детей, вселяя горе также в им сочувствующих? Не убеждением нейтрализовывать ненавистных недругов, а разом избавиться от ватаги мерзких исполнителей, причиняющих боль по чужому наущению. Какая прекрасная месть! Какой чудный ответ злом на зло! Неужто можно сомневаться по поводу его необходимости?

Много раз Виталию приходилось думать о мире с его религиозностью, о праведном благоухании в чертогах разума как мистическом царстве покоя и любви. В этом царстве сосредоточена будто бы главная сила всеобщего благоденствия, связанная с милейшей степенностью, с тишайшей уравновешенностью его адептов. Но любовь – это беспокойство. И доброта тоже. А великая непрерывность счастья – надуманный трюк, требующий смирения с приниженностью нравов в ответ на энергичные нападки по всему фронту, отчего кажется, что кем-то безраздельно господствующим над всеми вам пытаются втолкнуть в сознание обычное фуфло. Вас пытаются обмануть, лишив воли созидания, ибо созидание злом есть такая же составляющая процесса, как и мирные достижения на благо человечества. Зло контрпродуктивно, это правда. Ему сопротивляются, и его всегда будут стараться победить. Но оно тоже есть источник вдохновения, и поди скажи тогда, что в нравах гениев его совсем немного! Поди определи ту часть созидания, что основывалась на безупречных доблестных порывах, и ту его долю, которая обязана своим происхождением низменным качествам человеческой души. Зло соседствует с добром на равных и вопреки бытующему мнению нередко склонно брать верх. И распознаётся оно порой не сразу, а по прошествии приличного отрезка времени, поскольку на малый его отрезок не всякая даже отменная память может успеть среагировать. Посему и борьба между людьми идёт жесточайшая. И в методах никто не стесняется. И предпринимают люди коварные шаги без оглядки по сторонам, в чём и видят свою силу, а не в частых измерениях себя по шкале праведности.

Если бы результаты его заключений были так же очевидны, как он их себе представлял, он давно бы уже стал, вероятно, настоящим убийцей. Но сомнения являются главным ограничителем наших действий, и это, пожалуй, хорошо, если мотивы вступают в противоречие с пониманием о дозволенности тех или иных поступков. Хорошо, что нас что-то останавливает. Мы ловко скрываем свои переживания, всегда желая большего, чем позволено. И даже маститый психолог не в состоянии разобраться в хитросплетениях чужих мыслей и чувств: он только предполагает, что за ними может прятаться. Когда-нибудь убийц будут вычислять по результатам нескольких простейших тестов. Пока же – только мечтая о диком удовлетворении, каждый о своём – мы находимся в полнейшей безопасности. Нам нечего бояться чужих умов. Мы лишь можем стать клиентами какого-нибудь Захарова, поскольку, как он говорил, лёгкие психические расстройства в современном мире наблюдаются у половины населения планеты.

Сам Захаров, разумеется, был не столь категоричен в суждениях, но поскольку его статьи в основном читали только специалисты, то в кругу дилетантов и он любил козырнуть оригинальным мнением, создавая предпосылки привлекательности своей значимой персоны. Когда вокруг него собиралась несерьёзная публика, он с нею развлекался, насколько ему позволяло его воображение, а затем уходил как бы на второй план, зная, что задел сделан и в любой момент он может влезть в разговор, не представ при этом занудливым снобом. Он выглядел мастито, но везде и всегда прямо-таки благоухал открытостью, создавая у других неизменно радужные впечатления о себе и своей семье.

В ресторане собралась ватага друзей, в основном знакомые жены, поскольку отмечать собирались её именины.

После странного случая в своём доме, Захаров не решился пригласить гостей к себе. Он снял просторный банкетный зал в городе, где играла музыка и имелась уютная веранда для уединений.

С полдюжины семейных пар, коллеги, родственники и несколько приятелей, которые будто бы имели счастье испытать на себе оздоровительные сеансы академика и это им очень помогло – все они приятной компанией рассредоточились по залу, вкушая ароматы празднества, создавая атмосферу некого подобия светского раута. Захаров улыбался всем поочерёдно, как добрый пан на прогулке, успевая и пошутить, и мило тронуть за руку какую-нибудь давнюю знакомую. Этим он возбуждал в ней кучу всяких эмоций, но тут же отходил в сторону, точно странные знаки внимания являлись для него необдуманной детской забавой. Он прибегал иногда к подобным формам поведения, полагая, что с его стороны они не выглядят глупо, и, надо сказать, некоторую часть дам подобными выходками мило обескураживал. Он знал в этом толк. Наши прилично образованные леди не читают уже любовных романов о нравах восемнадцатых – девятнадцатых веков и совсем не в курсе тех звёздных пассажей, которыми завоёвывали сердца дамочек далёкие предки. Современные феминистки бредят наукой, политикой, в крайнем случае пузатым олигархом с кучей счетов в мировых банках, ожидая от мужчин равноценного партнёрства. То, что у партнёра сыплются из трусов купюры, их, конечно, не заводит. Слишком мало претендентов в любовники имеют интеллигентные, одухотворённые лица. Среди них всё больше ветреные идеалисты, подобные героям шпионских сериалов, или капризно-надменные личности, которые уже не в силах выдать что-либо подобающее временам электронного конструктивизма. Но захаровской проницательностью и наукой, что он олицетворял, все просто упивались. Он был ни для кого не досягаем. Он умел овладеть и одиночками и массой. Поэтому Захарова любили все гости поочерёдно, в зависимости от продолжительности общения с ним, или сразу, когда судьба преподносила им подарки, подобные сегодняшнему праздничному обеду, обещавшему им, само собой, неизгладимые впечатления.

– А где же Дима? – спросила его приятельница, бывшая с ним последнее время накоротке.

– Куда-то уехал со своей подругой.

– В такой день?

Захаров очертил в воздухе непонятную фигуру:

– У него сейчас проблем больше, чем у нас.

– Ах да, конечно, – понимающе сказала знакомая, полагая, что она, видимо, чего-то не знает.

Она уже хотела было прояснить для себя данный вопрос, но Захаров повернулся и ушёл к другим гостям.

Приглашённые потягивали аперитив, делясь друг с другом последними новостями. Некоторые плохо знали захаровское окружение, и он сводил их по возможности с другими, благо что присутствовали в основном колоритные личности и им было о чём поговорить. На отдельном столике стояли фужеры и напитки, возле них образовалась группа наиболее активных персон. В ход пошли шутки, в зале нарастало оживление, что не могло не радовать принимающую сторону, всё ещё по старинке связывающую хорошее настроение с примитивной раскованностью в компании.

Впрочем, не сказать, что Захаров как-то сомневался, насколько удачным окажется этот вечер. Данную публику он хорошо себе представлял, она была предсказуема. Уже видевшись с каждым из пришедших как минимум по нескольку раз, он знал, чего от них ожидать, и поэтому находился в состоянии приятного возбуждения, что означало для него истинное душевное спокойствие.

Все его хитрецы знакомые умело скрывали свои проблемы, дабы не привлекать к себе излишнее внимание. Излишнее внимание со стороны портит карьеру. Будучи озабоченными здоровьем или жизненными трудностями, они в любой обстановке демонстрировали непринуждённость в поведении и умение быстро переходить от серьёзных разговоров к шутовству. Этим они якобы подчёркивали наличие у них недремлющего полноценного ума. Даже его давний знакомый, крупный бизнесмен, находящийся в данный момент под следствием, излучал оптимизм, был весел как никогда и сиял бесконечной радостью, будто жизнь удалась у него на сто лет вперёд. Хотя, зная перипетии дела, Захаров понимал, чем было вызвано столь беззаботно-душевное его настроение. Тот пережил свой страх. По всей вероятности, для него уже всё случилось, поэтому не приходилось напрягаться ожиданием худшего. Всё, что он мог себе представить, одномоментно накатилось на него волной, и оставалось только соорудить подстилку, чтобы максимально сгладить последствия падения. Он понимал, что его невозможно жалеть, отчего философия бытия его оказалась слегка упрощённой. Но и достигнутое им дно виделось всего лишь отдельным выступом, а не бездной, мрачной бесконечностью, уносящей вглубь темноты потоком сознания.

– Я столько раз представлял себе этот момент, – тихо объяснял он Захарову, – но никогда не думал, что встреча со следственными органами не станет для меня катастрофой. Даже жена находит, что я не так уж сильно подавлен. Наверное, это твоё влияние.

– Вряд ли, – с намёком на иронию возразил академик. – Если бы я по-настоящему тебе помог, тебя бы сейчас безумно мучила совесть.

– А вдруг так оно и есть?

Захаров скривил губы, изобразив полуулыбку.

– Я сам иногда теряюсь, что в этом мире бесспорно, а что нет, – заявил он. – Как только начинаешь объяснять кому-то истину, сразу понимаешь, что это фальшь. То, что мы хотим делать, и то, что мы делаем, вещи без конца противоречивые. Получается, идеал лежит только в сознании, может, его вообще нет, может, это фикция. Чтобы его достичь, постоянно нужно себя обманывать. На такое способна только церковь.

Делец имел вид утончённого эстета, у них с академиком были крепкие связи. Захаров не осуждал его за воровство, поскольку знал, что бизнесмен оказался крайним и дело против него на девяносто процентов было сфабрикованным.

– Мне почему-то кажется, – сказал бизнесмен, – что ты можешь быть счастливым. У тебя, по крайней мере, прекрасная семья.

– Ты думаешь?

– А что у тебя не в порядке?

Захаров в несвойственной ему манере потрогал пальцем подбородок:

– Тяжело с сыном, например… По-моему, он меня ненавидит. Наверное, я долгое время неправильно себя вёл по отношению к нему.

– Он у тебя очень умный. И наверное, своенравный.

– Я его люблю, но он, похоже, этого не чувствует… Впрочем, мои проблемы по сравнению с твоими пустяки. Главное, чтобы у тебя всё нормализовалось.

– Ты же знаешь, что я отдуваюсь за других.

– Знаю.

К ним подошла дама средних лет в изысканном вечернем платье, с браслетом и светящимся кулоном на шее.

– Здравствуй, Полуэкт, – прозвучал её певучий голос. – Мне всегда нравилось твоё особое гостеприимство. Почему мы не у тебя дома? – бесцеремонно поинтересовалась она на правах близкой родственницы.

– Я затеял там небольшой ремонт. (Они действительно недавно отремонтировали Димкину комнату.) Не успели ещё прибраться после бардака.

– По-моему, у вас уже в начале недели всё было чисто и опрятно, – вскользь бросила она и уставилась на бизнесмена.

– Николай Иванович, – представил его Захаров.

– Можно просто Николай, – добавил тот.

– Рита Константиновна, – указал Захаров на родственницу, сделав движение по направлению к группе вновь прибывших. – Я вас оставлю ненадолго.

Он обошёл несколько кучек собравшихся, здороваясь с теми, кто только что появился. Не хватало ещё одного, которого всегда приходилось ждать, по одной этой причине Захаров его сильно недолюбливал.

Жена уже бодро затронула отдельные направления в искусстве, произведениями которого успела поразиться в последнее время. Она принимала поздравления и возвращалась к теме разговора, пытаясь не упустить нить. Для неё было важно закончить мысль, иначе собеседницы ничего не поймут, а силы, потраченные на объяснения, уйдут впустую, поскольку все самое главное казалось ещё не сказанным и подходящие слова постоянно вертелись на языке. Потом она сильно обрадовалась приходу своей лучшей подруги, и они некоторое время увлечённо шептались вдвоём.

В зале появилась молодая женщина не совсем из их круга. Быстро пробежавшись глазами по публике, она наконец нашла того, кого искала, сосредоточенно, с каким-то особым интересом изучая его мимику и жесты. Увидев её, Захаров спал с лица.

Он быстро закруглился с приветствиями, но подошёл к ней не напрямую, а описав по залу некую дугу. Вероятнее всего, неожиданное появление незваной гостьи вызвало у него беспокойство.

– Зачем ты пришла? – тихо спросил он, отдаляя её от себя взглядом.

– Хотелось посмотреть, как ты веселишься.

– Ты хочешь скандала?

– Это будет зависеть от тебя.

Он помолчал, пытаясь угадать её следующий шаг. Однако, как от неё спастись, он всё равно не представлял.

– Что я должен сделать?

Лёгкое ощущение власти над мужчиной, таким надменным, высокомерным существом, успокоило её, Захаров это почувствовал. Мелкие колючие зрачки засветились по-доброму. Что-то игривое, такое несносное, что ему нравилось в ней, промелькнуло в её облике, и она, на мгновение удовлетворённая, миролюбиво произнесла, словно заведомо держала на руках выигрышные карты:

– Пойдём уединимся на пару слов.

Он еле сдержал раздражение (что ей всегда в нём нравилось):

– Ты понимаешь, как это будет сейчас выглядеть?

– Ну и пусть. Отвертишься. Отбрехаешься, ты умеешь.

– Перестань издеваться. Встретимся завтра.

– Нет. – Она теперь дико настаивала. – Или я сейчас пойду и всё ей расскажу. При всех.

Она не блефовала, она была способна на такое. Потерять его не стало бы для неё трагедией, но зато какой эффект она произвела бы в их пурпурном обществе самолюбования – такого приключения ей хватило бы надолго. Она вспоминала бы его потом с наслаждением, воспринимая радость от доставленных ему хлопот как свою победу. Большего, очевидно, она взять не могла, но и коварство мстительницы было в её положении весомой наградой.

Немного поколебавшись, он согласился:

– Хорошо, пойдём на веранду. Там никого не должно быть.

Они удалились, и жена Захарова бросила им вслед случайный взгляд, отвлёкшись от беседы с закадычными приятельницами, где она опять-таки вела ведущую партию.

Они вышли в пространство, немного пугающее прохладой и безлюдьем. Девица встала перед ним наподобие вкопанной.

– Ты вздумал избавиться от меня? – резко спросила она.

– С чего ты взяла?

– Я вижу. Я неинтересна тебе. Я нужна тебе как забава, но, по-видимому, игривый запал твой уже иссяк. И, ты знаешь, в любом другом случае ты смог бы прекрасно откупиться, только не в моём. Уж извини, что я однажды встретилась тебе на твою голову. Я не простая. Ты мне действительно приятен, и я не хочу, чтобы наши отношения прервались, толком не начавшись, лишь из-за того, что тебе, видите ли, дорог твой семейный уклад, дорого счастье ни о чём. Я хочу продолжить наши встречи вне зависимости, можешь ты это вынести или нет. Ты будешь делать так, как я захочу, если тебе свято твоё милое домашнее благополучие, или я устрою тебе такую свистопляску, что ты будешь вспоминать обо мне всю свою оставшуюся жизнь.

– Что ты несёшь?

– Ты думал, что встретил очередную куклу? Боже мой, какая наивность! Все эти ласки и вместе с тем простейшее пренебрежение… Да все твои учёные замашки видны на расстоянии за сто миль от эпицентра. Ты мне сразу показался идеальным, а это странно, не правда ли? Я тебя обожала, не скрою, но и думала. Думать – это свойство всякой материи, даже самой примитивной. Неужели ты полагал, что отсасывать у тебя – чисто физиологическая забава? О-о, в этом есть что-то особо увлекательное! Настолько, что оно превращается в прелесть, когда представляешь большой ум, делающий поблажки милой баловнице. И, видишь ли, я готова была терпеть роль таковой, даже невзирая на те мизерные траты, которые ты предполагал нести из-за меня.

– Тебе нужны деньги?

– Не будь идиотом. Я бы не припёрлась сюда из-за денег.

– Чего же тебе надо? – Он намеренно терял самообладание, хотя она являлась не тем случаем, из-за которого его теряют. Он только хотел удовлетворить её чувство превосходства над ним в полной мере.

Она повернулась к нему вполоборота, подыгрывая самой себе, но и Захаров уже втянулся в перекличку настроений. Она была хороша собой, она умела восхитить. Невостребованность её дальних, очаровательных начал, к которым он ещё только подбирался, по-прежнему вызывала у него дикий оптимизм. Он тихо сник, ожидая приговора, и только молил бога о том, что это ещё не всё: не конец, не занавес, не строгое затишье.

Она схитрила, притворившись, что колеблется, и он позволил себе засомневаться в её искренности, зная, что принятие решительных шагов не подвластно долгим размышлениям. Наконец она дерзко, насколько смогла, но на самом деле довольно мучительно из себя выдавила:

– Мне нужны данные последних наблюдений по Канетелину.

– Что? – Он готов был ликовать.

Она была дурой, но даже при этом момент развязки разговора не показался бы ему столь счастливым, как теперь.

– Мне нужно всё, что он тебе рассказал и все записи о нём, которые находятся на твоём личном сервере.

Более дешёвой платы на сегодня он и представить себе не мог.

– Я дам тебе всё, что нужно, – бархатным голосом проговорил он. – На самом деле его научные бредни не представляют никакой государственной тайны. Она в чём-то другом, чего я не знаю.

Через несколько минут ему удалось от неё отделаться. Она ушла, поверив ему с первого раза. Может быть, не до конца, но её наверняка наполняло чувство хорошо выполненной работы. Напоследок он её тонко и изящно поцеловал, как всегда, ни на йоту не отойдя от своих привычных манер, и, проследив, как она уходит, вернулся в зал.

Его отсутствие уже заметили. Всего пять минут спустя гости уже вовсю исходили трёпом об обстоятельствах его исчезновения, все ожидали нормального застолья и выпивки. Жена тут же поинтересовалась насчёт странной посетительницы, посчитав, что оставить без внимания встречу мужа с какой-то незнакомой девицей не в её правилах.

– Кто это такая?

– Сестра одного моего пациента, – не моргнув глазом, ответил Захаров. – Она волнуется за него сверх меры.

– С ним что-то не так?

– Я назначил ему дополнительные седативные. Но она переживает, что он слишком много спит.

– Это нормально?

– Да, вполне нормальная реакция. Такое бывает.

Расселись за столом. Они давно не собирались большой компанией, вследствие чего настроение празднества дополняло разноголосье приятной встречи, одной из немногих, поскольку в последние годы такие случались всё реже и реже. Наполнили бокалы, и Захаров на правах хозяина застолья произнёс первый тост.

Он поднялся над всеми, давая понять, что наступила по-настоящему торжественная минута.

– Иногда я думаю, сколько интересного уже состоялось в моей жизни благодаря тебе. – Он обращался к жене. – Диссертация, научные прорывы, семья, сын, любовь, профессиональное признание. Всё-таки все наши достижения осуществляются ради кого-то. Даже если и говорят, что ради чего-то, всё равно подразумевают какие-то одушевлённые лица. Мир состоит из людей, которые так или иначе на нас влияют и некоторые оказывают влияние значительное. В моём случае это ты – мирный, бесподобный кусочек вселенной, из-за которого, поверь, все мои невероятные жизненные потуги. Наверное, без тебя я бы по-настоящему не состоялся. Ты была и будешь моим основным богатством, и самое главное, я знаю, что ты никогда меня не подведёшь. Я думаю, мой тыл нормально застрахован. За тебя, Вера. За твою любовь и понимание.

Речь получилась симпатичная, и все выпили с энтузиазмом. Дальний конец стола снова оживился, там солировал брат дяди жены – или дядя брата, Захаров всё время путал, – который без конца нудно шутил, и его все поэтому любили. Почти сразу подали жареных перепелов. Было произнесено ещё несколько здравиц, приглашённые с наслаждением предались расслабленности, увлечённо воркуя, кушая под звуки болтовни и музыки, доносящейся из большого зала.

Жена ненадолго потупила взор, она думала о чём-то своём, слегка поддавшись мимолётным видениям, как оказалось, вспомнив некоторые эпизоды из жизни с Захаровым. Чуть позже она призналась:

– Твой тост… Мне было приятно слышать. Спасибо.

– Ты так говоришь, будто я выжал из себя что-то невообразимое.

– Нет, правда. Я просто хотела тебе сказать… Я знаю, что ты бываешь умницей, когда надо. Но всё-таки… Ты хороший, Пол. По-настоящему хороший. Я тебя люблю.

Его лицо осветила улыбка. Едва заметно он кивнул, почувствовав неловкость из-за своего обмана, но тут же отогнал прочь неприятные мысли, отвлёкшись в сторону назойливой соседки, в очередной раз поинтересовавшейся у него про Диму.

«Знает она или нет? – подумал он о жене. – Если знает, то её игре можно позавидовать. Может, у неё тоже кто-то есть? Но тогда наша бесконечная любовь просто невероятна».

Завели разговор о детях, вернее, пока ещё не закончили. Тема детей и внуков в их отсутствие, само собой, являлась первой с порога и доминировала на протяжении довольно длительного отрезка времени. Каждый, испытывая гордость за родные чада, охотно делясь о них новостями, с любопытством внимал рассказам о сыновьях и дочерях других гостей. Все же хотелось, наверное, чтобы свои выглядели хотя бы по собственным ощущениям лучше. Были проверены на публике известия о новых талантах отпрысков, новых увлечениях, в приватных беседах отмечены некие необычные свойства их натур и потом уже обсуждения дошли до разбора их взаимоотношений с ровесниками и родными, если таковые усиливали или подавляли темперамент подростка.

Виолетта Павловна (которая соседка справа), узнав, что хотела, от других, понеслась теперь освещать нюансы в поведении своего внука, принимая в лице Захарова главного эксперта в области не доходящих до её понимания вещей. Она живописующе рисовала именно своё непонимание, а собственно сам школьник, складывалось впечатление, был вполне нормальным мальчиком, всего лишь плохо контактирующим с бабушкой и наносящим тем самым серьёзный удар по её самолюбию. Богдан, видите ли, стал дерзить, раньше он таким не был. И мы все когда-то были другими. Наверное, это сказываются теперь среда обитания и культивируемая вокруг озлобленность против чужаков.

– Среда абсолютно такая же, как и пятьдесят лет назад, – вставил Захаров.

– Вот именно! – подхватила Виолетта Павловна. – Может, дело в изменении обстановки внутри семьи? Но она тоже стала не хуже и не лучше, чем раньше. Более того, я не могу сказать, что мы слишком опекаем ребёнка дома, он растёт свободным, открытым, всегда готов обсудить с родителями свои трудности. Но я вижу в нём какое-то неприятие правил, неуважение к людям. И поскольку я больше других его одёргиваю, пытаюсь ему что-то объяснить, на мне он и срывает свою злость.

После того как ей посочувствовали ближайшие за столом женщины, она продолжила:

– Я знаю, все дети эгоисты. Они избалованы средствами коммуникаций. Они погрязли в виртуальном мире, где ты ни за что не отвечаешь, и теряют ценность реальных отношений. Они пугаются реальной жизни и оттого выпячивают обратную сторону своей души. Им нужно помогать. Но пока они чувствуют себя пройдохами, поскольку везде полно советов и советчиков, привить им любовь к жизни невозможно. А потом что-то делать будет уже поздно. Потом они окончательно отгородятся от вас каменной стеной и перестанут даже понимать, что такое истинное чувство.

– Времена меняются, а с ними меняется и метафизика души, – сказал Захаров. – Люди всякий раз переживают всё заново и по-своему. Вы всерьёз полагаете, что можете внушить ребёнку свои представления о любви?

– А как же! Представления о любви, о добре. Они незыблемы. Какова же по-вашему роль воспитания, если вы не собираетесь рассказывать детям, почему надо делать так и не надо иначе? Как вы хотите донести до них, что хорошо и что плохо?

– Только личным примером, больше никак. Все эти никчёмные разговоры имеют эффект около нуля. Ребёнок должен пережить стресс и сам сделать выбор, сообразуясь с подобным же поведением родителя или учителя. И если получит положительный опыт, тогда он запомнит свои мысли и поведение как основополагающий принцип, которым нужно руководствоваться в дальнейшем.

– То есть им не надо прививать доброе отношение…

– Ничего вы им не привьёте, – перебил он её. Она уже изрядно ему надоела. – Вы можете только усилить что-то или заглушить. Уверяю вас, они какие должны быть, такими и будут. Как это ни прискорбно звучит, дети есть продукт генетической модификации, воспроизводящей в себе десятки предыдущих выборок, и вы не можете даже подозревать, какая из вашего ребёнка прелесть вырастет или в какого он монстра превратится. Вам это неведомо. Поэтому не следует так уж сильно к ним приставать. Всё, что в них хорошее, это не от нас, по крайней мере не только от нас, и всё, чем они нам неприятны, связывает нас с ними самым непосредственным образом.

Она необычайно выразительно задержала дыхание, лихо посмотрела академику в глаза и всем своим видом восхитилась:

– Интересная мысль. Я поражена.

– Мыслью?

– Вашими знаниями.

Он небрежно откинулся на спинку стула:

– Я это прочёл в газетах.

Виолетта Павловна невольно осклабилась. Потом сделала понимающее лицо. Потом как-то неестественно раскрепостилась, двинув голову вперёд, и дико расхохоталась, делая паузы между вздохами, отчего смех её напоминал кудахтанье курицы.

Оттого что он сильно её рассмешил, ему сделалось не по себе.

К счастью, на другом конце стола разговор шёл в ином направлении, мужчины напротив обсуждали спортивные события, а знакомый бизнесмен отдельно развлекал Риту Константиновну. В таком собрании Захаров вовсе не хотел быть в центре всеобщего внимания, иначе бы он со всеми сразу разругался.

Виолетта Павловна, отсмеявшись, притихла, набирая в глубине сознания новые аргументы. Она переключилась на свою сводную сестру, и вместе они негромко перекидывались фразами о наболевшем. Тут-то было полное взаимопонимание, можно было не сомневаться. Заговорщицкий вид, который обе приняли, свидетельствовал о том, что точка зрения Захарова их ничуть не волнует, она им чужда, она их раздражает. Поэтому почтенные женщины без проволочек оставили возмутительный круг инакомыслия и, по всей видимости, принялись набирать баллы мудрости тет-а-тет.

– Хочешь салата? – участливо предложила жена.

– Нет, спасибо. Я уже наелся.

– Ты выглядишь уставшим. В последнее время ты всегда такой. – Она рассматривала его как после долгой разлуки. – Раньше ты был более лёгким, воздушным. И весёлым.

– Димка так не считает.

– Естественно. Он видит в тебе отца, а не приятеля. Было бы странным, если бы ему требовалась одна лишь доброта.

– Скажи честно, я хороший отец?

Она нежно тронула его за руку:

– Всё-таки тебя задели её слова о воспитании. Виолетта любит подбодрить собравшихся каким-нибудь спором.

Услышав о себе, та на секунду обратилась в их сторону, хотя сказано было тихо и она вряд ли уловила иронию в прозвучавшей фразе.

– Я думаю, в отношении к Диме тебе не в чем себя упрекнуть.

«Есть, – думал Захаров. – Он чувствует ложь. Постоянно. И он презирает нас за то, что мы делаем вид, будто ничего не происходит».

– Ты к нему ближе, – констатировал академик. – Он всегда любил тебя больше, а мой авторитет считал лишь показушным. О чём бы я ни начинал с ним говорить, он сразу замыкается в себе. Я так и не понял до конца, что его во мне не устраивает.

Как всегда, она ласково подытожила, оставляя ему и надежду, и возможность думать, как он хочет:

– Ещё не поздно всё выяснить и исправить.

Но немного погодя добавила:

– Хотя мне странно слышать, что ты не можешь найти к нему подход.

Захаров действительно чуть ли не первый раз высказался по поводу сына подобным образом. Раньше они обсуждали Димку, не сомневаясь, что во всём разбираются, что правильно реагируют на сложные моменты в его жизни. Но теперь и в откровенном разговоре Димка мог высказаться неопределённо. Он стал взрослым, изобретая собственные уловки, так что разобраться в его поведении стало гораздо сложнее.

Приглашённый генерал рассказывал забавный случай из армейской жизни. Таких через его богатый послужной список прошло немало, он один мог развлекать публику весь вечер. Ему явно мешала военная выправка, на которое всё время ориентировалось подсознание. Если бы не привычка соблюдать дисциплину, он скорее всего стал бы настоящей душой компании. Захаров знал его очень хорошо, они были давно знакомы. Между делом тот постоянно задерживал взгляд на какой-нибудь особо привлекательной девице, доводя её до смущения и даже параноидальных приступов мозговой активности. Таков он был молодым, но и получив генеральский чин, не утратил ещё боевой дух, подпитывая его из своего богатого вместилища самых разнообразных впечатлений. Сегодня объектом его внимания стала некая волшебная женщина (подруга жены), с которой они не договорили ещё с прошлого захаровского банкета годом ранее.

Через некоторое время гости окончательно раздобрели, пошли шумные тосты и возгласы. Кто-то уронил рюмку со спиртным и без капли смущения, поставив её на столе, налил снова.

В общем-то видеть, как солидный генерал, приняв на грудь, лезет с любезностями к чувствительной даме на глазах её мужа (впрочем, глаза того уже щупают пространство в другом направлении) было в их компании обычным делом. У Захаровых всегда было и торжественно и весело, и ревность во время их сборищ представлялась игрой, поэтому ею никто, похоже, всерьёз не болел. Гости привыкли к раскованности и свободолюбию, особенно когда встречи происходили в захаровском доме с большим количеством разных помещений. Обычно приглашались несколько хороших друзей Захарова и попеременно многочисленные подруги и родственники жены. Тех было слишком много, так что самых дальних родственников приглашали по очереди, Захаров нередко путался в их именах. От обилия известий, которые долетали до его ушей, кружилась голова, но даже глупости, источаемые говорливыми дамами в невероятных количествах, не донимали его в такие дни особенно сильно. Он смирялся с прослушиванием дурацких комплементов в свой адрес, поздравлениями с тем, чего поздравлявшие не понимали, а потом забывал про раздражение и мило шутил. Всем казалось, что он необычайно сметлив и любезен, а уж про его ум в обществе сумбурных деловых красавиц ходили пожизненные легенды.

Мужчины встали проветриться, им было хорошо. Бизнесмен, налив всем по ликёру, завёл неизбежный в последние дни разговор о чрезвычайной ситуации в городе:

– У партнёров пострадало производство. Может, это и не значительные издержки, но если власти не говорят, как собираются бороться с террористами, мне самому становится не по себе от мысли стать следующей жертвой.

– Да, жертв слишком много. Но согласись, и страшит, и вызывает интерес тот факт, что злодейство вдруг стало неуязвимым.

– Что может быть в злодействе привлекательного?

– Ну, например, возможность безнаказанно разобраться с неугодными тебе людьми.

– Если допустить такое, то и с тобой можно будет вот так же просто разобраться.

– Примерно то же, что происходит в нынешние времена, только на более высоком технологическом уровне.

Бизнесмен искренне удивился:

– Тогда перестают действовать законы. Что же будет ограничителем для людей? Все нравственные критерии окажутся ненужным мусором.

– Может, наоборот. На них как раз и начнут обращать должное внимание. Убил животное – в тюрьму, обидел человека – на поселение. Разделят всех, пока не поздно, на плохих и хороших.

– Что за бред. Как это можно сделать? Да даже если бы и можно было, что потом?

– Думаю, задача вполне решаема.

– От недостатка совести лекарства нет, – вмешался в разговор один из родственников Захарова.

– Только не говорите, что человеческой совестью занимается одна лишь религия, – возмутился генерал. – Эти праведники узурпировали понятия нравственности и душевности и отмеряют их наличие у людей, исходя только из того, верят или не верят они в бога. Меня это раздражает.

– Вам-то что? Пусть думают, как хотят.

– Они не просто думают, они насаждают свои взгляды. Упорно и повсеместно.

– А вы внушайте своё, аргументируйте.

– Может, тебе полечиться? – в шутку бросил бизнесмен. – Вот у него вон, – указал он на Захарова.

– Вряд ли я смогу ему помочь, – констатировал академик.

– Ну как же. Пару методик даже я могу порекомендовать.

– Мне вот странно, – обратился к генералу родственник, – что вы довольно прохладно относитесь к вопросу веры. По-моему, так думать теперь не модно. Сколько попов теперь освящают всякие военные изделия, а мелкие приходы сейчас имеются чуть ли ни в каждой воинской части.

– Всё это чушь. Веяние времени. Сейчас больше не на что переключиться. Вера заменяет идеологию, а для простого обывателя ничего стоящего предложить пока не удаётся. Пока он в растерянности, и ему нужно на что-то опираться.

Генерал рассуждал по-домашнему походя, беззлобно, отнюдь не допуская соображений, что он не готов когда-то в более серьёзной обстановке изменить свою точку зрения. Потому он и ценил общение с Захаровым, что тот никогда не позволял себе думать, будто генерал может в чём-либо заблуждаться. Он был военным, но с частным мнением и со всеми присущими простому гражданину закидонами.

За спиной Захарова неожиданно появилась Рита.

– Вы не верите в бога? – спросила она генерала.

– Нет.

– Почему?

– Нельзя ответить почему. Вы либо верите, либо нет.

– Да, но надо же в себе разобраться. С этим надо что-то делать, – пошутила она.

Мужчины оценили её чувство юмора. Рита, безусловно, всем нравилась.

– Я понимаю Полуэкта Арнольдовича, – продолжала дама. – Знания учёного слишком мешают ему безоговорочно принять веру. Но для военного, по-моему, жить не по христианской морали недопустимо.

– Мы только что об этом говорили, – отреагировал генерал. – Мораль не может быть христианской или нехристианской. Она общечеловеческая. Я могу подчинить своё сознание правилам, но отдать его во власть неведомой силе не в состоянии.

– Вы считаете людей, которые так поступают, ущербными?

– Нет, отчего же. У каждого свои координаты измерений, и где они помещают себя в пространстве, это частный вопрос.

Рита вполне могла поспорить с генералом, и ещё неизвестно, кто бы из них оказался более убедительным. Захаров знал, как она сильна в дискуссиях, оттого не считал необходимым выступать в качестве джентльмена на её стороне.

– Мне думается, – поделилась мыслями Рита, – сознание людей, принимающих бога, гораздо более свободное и независимое, чем у людей, которые его не принимают.

– Вот как?

– Вера вдохновляет. Она является единственным постоянным источником вдохновения.

– Не пытайтесь его переубедить, он вам не поддастся, – нашёл момент высказаться Захаров. – Но он прав: заботиться нужно всего лишь о теле. – Академик никогда не упускал случая продемонстрировать свой интеллектуальный потенциал. – Сознание приходит из небытия и в небытиё уходит. Где оно было, моё сознание, когда я ещё не родился? Я об этом ничего не помню. Его не существовало. То есть если оно и было, то мне об этом ничего неизвестно. Стало быть, это не моё сознание, если только у меня начисто не отшибло память. У всех нас не отшибло. Точно так же и после моей смерти: разве мне интересно, что моё сознание станет вдруг чьей-нибудь сторонней принадлежностью? Конечно, да. Только где те сигналы, которые возвестили бы мне об этом сегодня? Моё сознание о них ничего не знает, не ведает. Моё сознание отсюда сугубо принадлежность моего тела, и душа вторична, вне всякого сомнения. Человек – очень телесное существо: мыслит дегенеративно, представляет о себе нечто несусветное, а смеётся-то как, ухохатывается. Просто стыдно перед самим собой – настолько это по-дурацки выглядит. Мы не можем придумать себе никакой более-менее правдоподобной участи – с чего же вдруг природа не догадалась наделить нас умом более вёртким? Чтобы мы ни о чём не ведали? Сомневаюсь что-то в её никчёмной прозорливости.

– Как всегда, пессимизма в тебе хоть отбавляй, – заметил один из собеседников.

– Оптимисты делают мир лучше, а пессимисты снимают сливки, – вставил другой, – потому что их предупреждения оказываются более значимыми, чем все глобальные открытия вместе взятые.

– Рита Константиновна, пойдёмте выпьем. Вы нам расскажете, как освободить сознание от хлама всевозможных научных трактовок.

«Клоуны, – подумал Захаров. – И ведь это только с виду. Сколько гадкого у них на уме, исходя лишь из того, что я знаю».

Он отчётливо вдруг осознал, что дико раздражён легковесной игривостью окружающего его общества. Что не видит в нём искренней радости и благородных порывов. Что всего лишь застал его в минуты сосредоточенного уважения к себе подобным, а в расслабленном состоянии оно совсем другое: дерзкое, уродливое, преступное. И те отдельные единицы, что составляют его истинное лицо в качестве знакомых и друзей, наносят репутации этого самого общества непоправимый урон, потому что другие его представители тогда ещё хуже.

Взять того же бизнесмена. Захаров прекрасно отдавал себе отчёт, что даже дружба с ним не спасала того от его мысленных нападок. Тот был вздорным и упрямым, и их деловые отношения при других обстоятельствах вполне могли бы привести к конфликту между ними.

«Наверное, каждый из них мог бы быть террористом, – думал Захаров, поглядывая в сторону гостей. – Каждый способен навредить исподтишка, для чего и не нужно особого желания. Тот врождённый инстинкт коварства, который убивает соперника на клеточном уровне, называясь иммунной системой, разве не присущ он этим симпатичным господам и дамам? Что, если бы у них появилась возможность истреблять неугодных на расстоянии? Они бы не говорили, а действовали. И употребляли бы здесь ещё более красивые слова и выражения, которые не имели бы ничего общего с их сущностью. Настолько уверенно можно утверждать об их скрытых инстинктах, потому что я один из них».

Захаров присмотрелся к публике за столом. Мужчины лопотали, дамы улыбались, все прекрасно выглядели. Но кто-то уже схватил чужие приборы, орудуя ими как своими, а другой был готов оспорить всё что угодно, лишь бы его слушали.

«Пожалуй, только Виолетта Павловна не несёт в себе потенциальной опасности. Она одна здесь стерильный человек. Она будет удовлетворена, если никто вокруг неё не получит удовольствие, но как достичь подобной “нирваны”, сама никогда не догадается».

Несколько минут он сидел, забытый, в отдалении и перебирал в памяти «компромат» на участников банкета. Приятный вечер превратился для него в сеанс разбора полётов без участия обвиняемых.

Исходя из их поступков и комментариев он не мог считать их членами элитного общества. Носители подобного статуса, они с трудом вырываются из плена своих иллюзий, но главное у них нет к тому ни желания, ни потребности. Они полностью растворяются в игре, в том состоянии, в котором всё вокруг лишь подразумевается, где можно всё время балагурить и не испытывать ответственности за себя и других. Очень удобная среда обитания, поскольку и в необходимости причинять умышленную боль нет сомнений. Мир воспринимается как неправда. Правда где-то там, на небесах, в другом месте, а вокруг вас бесконечная череда иллюзий, не стóящих серьёзного внимания: поиграли с чем-то – и бросили под кровать, как ребёнок игрушку, и сосредоточились на другой красивой картинке, на шуме и живости вокруг неё, которые все беззастенчиво поддержат. Истинные переживания заменяются надуманным пафосом. С ним растут и глохнут. Превращаются в омертвевшие образования, способные двигаться и лицемерить, издавать не стесняясь непотребные звуки, то есть врать напропалую, и по результатам собственного вранья, когда оно уже превращается в убеждения, обвинять других в пагубной заносчивости. Тогда не страшным уже кажется, в качестве якобы достойного ответа, и оскорбить, и ударить, и тем более тихой сапой использовать навет, превращая любого оппонента в жупел, вредителя в почтеннейшем сообществе, против которого нужны и соответствующие меры. Тогда уже не страшным кажется предстать мерзавцем, поскольку нет ничего более оправдывающего себя в чужих глазах, чем кара по заслугам.

И ведь они и образованные, и воспитанные, как представляет Виолетта Павловна, в прекрасном духе. О них не скажешь с пренебрежением, будто о мрачных субъектах, лелеющих, как правило, одну, нарисованную у них на лбу мечту. Все – с высокой степенью позиционирования, понимающие важность норм поведения, норм ответственного подхода к решению общих задач, но почему-то с лёгкостью пренебрегающие ими, когда дело касается их личных, даже самых мелких интересов. Каждый из них имеет свои странности и слабости – в общем-то, у кого их нет, – однако при этом действовать во вред другим избегают не все, а многие и не пытаются этого делать.

«И я такой. Неужели я дам себя объегорить? – думал Захаров. – С честными намерениями жить в таком мире невозможно. Да и стояние на месте, как показывает практика, опасно для здоровья. Поэтому все мы в какой-то мере террористы. Все изощряемся, а при первом же удобном случае норовим ранить другого сознательно. А кто-то и сознательно убить».

Подобные мысли приходили ему в голову нечасто. Но именно в праздники и торжественные даты, когда накатывали порывы воодушевления, его натура умудрялась охладить их трезвостью дальнего ума. Он внимательно рассматривал знакомых, словно с момента последней встречи они изменились до неузнаваемости, и всё пытался определить, чем он по-настоящему от них отличается.

К нему подсела пышногрудая блондинка, которая появлялась в их доме не однажды, но так и не смогла оставить в его памяти сколь-нибудь заметный след.

– Привет.

Он с трудом вспомнил, что её зовут Соня.

– Здравствуй.

– Почему ты не идёшь за стол?

– Немного задумался.

Она на что-то настроилась и в корне не могла принять его одиночества. Поэтому последовавшее затем предложение прозвучало несколько забавно:

– Пойдём потанцуем.

Он не стал противиться:

– Пойдём.

Они спустились в большой зал, где играл оркестр. Несколько пар на площадке танцевали какую-то штуку, нечто среднее между вальсом и танго. В пылу увлечения музыка казалась непревзойдённой, и партнёры со своими дамами выписывали под неё несусветные кренделя.

«Самое то, – подумал Захаров. – Как раз для меня».

Он даже с некоторым энтузиазмом захватил талию партнёрши, вырвавшись в центр софитовой площадки, и разношёрстная публика уже умерла в его глазах.

Они двинулись, но Соня тут же потускнела, с трудом пытаясь подстроиться под его шаги. Она была не азартна – во всяком случае, не сейчас. Она растерялась, увлёкшись не танцем, а его близостью, и всё пыталась разглядеть что-то в его таинственных зрачках, видимо заранее настроившись разгадать сложную для себя загадку.

Всё же ему удалось запустить это тело в нужном направлении. Она дёрнулась, удивившись. Мир заиграл, забренчал вокруг; в какой-то миг показалось, что им вдвоём весело, однако милая посредственность всё же доминировала в ней без конца. Музыка играла, а она корячилась, как странная особа, в жизни не встречавшая плохо танцующего мужика.

Через несколько тактов они успокоились, упав в меланхолию трогательного романса. Следуя в точности извивам его тела, она плыла с ним между дрейфующих у них на пути пар и только теперь попыталась быть разнузданной и доступной, видя, как он сбавил обороты, наслаждаясь моментом их тихого и как бы откровенного разговора.

– А ты недолюбливаешь людей. – Её веки тяжеловато нависали над окутанными хмельным туманом глазами.

– К тебе это не относится.

– Правда?

– Да. А что, это очень заметно или тебя тревожит, что я не смогу быть в отношении тебя достаточно обходительным и галантным?

– Развязным. – Она шутливо вскинула брови, но показалось, что ей хочется чихнуть.

– Ну, развязности во мне хватает. Тебя вводит в заблуждение слишком торжественная обстановка.

– У тебя каждый миг торжественный.

– Откуда ты знаешь?

Он стал вспоминать, не обидел ли её когда-нибудь, но в голову приходило только то, как они здоровались и прощались.

Они покачались ещё немного в такт мелодии, и она бросила ему в лицо, будто обвиняя:

– Тебе нравится, когда вокруг тебя всё вертится.

– Да… Может быть.

– Не юли. Нравится.

– Не юлю. Действительно нравится.

– Поэтому ты скучный на праздниках.

Она действительно была пьяна. Именно сейчас она ему вдруг стала ближе.

Он всем телом почувствовал её прикосновения, сквозь которые к нему пробивалось упрямое существо, запавшее на него в недалёком прошлом, до сих пор не дававшее о себе знать то ли из-за своего малодушия, то ли по причине фатальной несхожести форм их сердец. Он обнял её почти как дорогую, несколько тактов прошагали в точности вместе. Теперь уже ему хотелось продолжения танцев, чтобы под музыку сказать ей что-нибудь тёплое и душевное; такое её чувство нельзя было оставлять незащищённым.

Заиграло что-то подходящее, он снова попробовал изобразить с ней танго и наступил ей на ногу:

– Извини, я такой неуклюжий.

– Ничего, это я немного запуталась в движениях.

Она будто растворилась в своём волнении, представ перед ним трогательной простушкой, заставив его воспринимать неловкость как результат только её неумелых действий. На мгновение она припала к его груди, но потом приняла прежнюю позу, следуя за ним с ровной осанкой. Её лицо опять выражало озабоченность, словно она чередовала перед собой невидимые картины памяти.

В зале появилась жена, танцуя с одним из приглашённых приятелей. И ещё несколько пар образовали компанию знакомых, ему невольно приходилось натыкаться на их лица, когда он пытался выведать у партнёрши её секреты.

– Знаешь, – заговорила Соня, – человек не нуждается в утешении, особенно когда теряешь кого-то из близких. Ему не нужно сочувствие, не нужны добрые слова, поглаживание по голове.

Он не сразу понял, о чём она говорит, но ясно было, что о чём-то личном.

– Его лишь тянет быстрее осуществить свои мечты, он должен быть заряжен оптимизмом. – Она взглянула на него почти с упрёком. – А его пичкают тормозящими таблетками, будто специально задерживая перед жуткими видениями. Будто хотят, чтобы он насытился ими по горло для каких-то не понятных никому целей.

Он словно почувствовал, что теперь она владеет его телом. Неприятная тема, которую она затронула, видимо, сидела у неё в голове все последние дни. Если не месяцы и годы.

– Утешение – в мечтах, в идеях, – продолжала она. – Когда они становятся близкими к осуществлению, такую терапию не сравнить ни с каким лекарством, даже самым современным. – Она остановилась и с тоской в голосе заключила: – Я категорически не умею вскружить голову. Никогда не умела – ни раньше, ни сейчас.

– Пойдём посидим, – предложил он.

Они подошли к стойке бара и уселись спиной к залу. Оркестр умолк, словно удовлетворяя её желание тихо пооткровенничать.

– Человек без движений, с жуткими болями, не в силах даже пошевелиться и что-то изменить, – рассказывала она. – Он медленно тает, но и из тебя выжимает все соки… Моя мать лежала парализованной четыре года. Я вся измучилась: её то отпустит, то пронзает сильнейшей болью по всему телу. – Захаров вспомнил, что приходил когда-то к Соне домой. – И никакие лекарства ей не помогали. Она страдала за меня, я за неё – ужасное время взаимных страданий. Мне было жалко её до отчаяния, я не знала, что делать. Врачи помогали как могли, но обезболивающее действовало ограниченное время, а потом – новые часы мучений и стонов, немыслимой траты сил. Я же тогда ходила к тебе на приём, только чтобы отвлечься, чтобы хоть какое-то время не видеть и не слышать всего этого… И ты мне нравился.

Она потёрла пальчиком полированную стойку бара, целиком погрузившись в воспоминания, и как будто никого вокруг себя не видела. Даже не пыталась удостовериться, слушают её теперь или нет.

– Минуты, часы, дни, недели – как я их проклинала. Как ненавидела судьбу. Потому что пропиталась вся страданиями матери и потому что не могла её бросить. Мне хотелось видеться с тобой, хотелось игры, флирта, а я иссыхала вся без остатка возле её постели. Мне чудились странные свидания. Во время короткого затишья я уже представляла себе особый миг и придумывала наши диалоги, которые вполне могли бы оказаться реальными. Стоило забыться, и мир рисовался мне совсем в других красках, но мать тут же возвращала меня к жизни. Иногда мне просто хотелось её убить…

Соня подняла глаза, встретившись взглядом с Захаровым.

Следующие слова уже точно были адресованы ему:

– А потом она умерла… Безусловно, я была подавлена, но вместе с тем невероятное облегчение постепенно стало овладевать мной. Знаешь, у меня возникло ощущение, что я вышла из тюрьмы, что всё будет по-другому, что жизнь теперь обретёт новые краски, надо прилагать только усилия, и у меня обязательно будут впереди какие-то значимые события. Именно тогда ты начал по-настоящему присматривать за мной, помнишь? – Он смутно помнил только несколько встреч с ней. – Это я так придумала. Я полагала, что в недалёком будущем ты перестанешь видеть во мне свою пациентку. Глупо, – она горько ухмыльнулась, – но что мне оставалось делать? Ты отрабатывал на мне свои методы, а я мечтала, как однажды улягусь с тобой в постель. Я видела в тебе человека, который возьмёт меня и потом полюбит. Забавно, я даже подружилась из-за тебя с твоей женой.

Он молча внимал её исповеди.

– Да-да. Ты думал, я приходила к вам, чтобы поболтать с ней для развлечения? Я только хотела увидеть тебя…А ты всё пичкал меня своими дурацкими препаратами, которые я не могла отказаться принимать. И ты знаешь, по-моему, ты своего добился. Мне уже как-то неинтересно стало общаться с тобой. И с твоей женой тем более. Сначала было действительно хорошо, я подумала, что ты понимаешь, что делаешь, а потом вдруг осознала, как теряю один за другим все мотивы и удовольствия. Мне становилось безразлично, что я делаю, чем живу. Вместе с влечением к тебе уходило и нечто важное, основополагающее, я думала, оно вернётся, но этого не случилось до сих пор… Я существую словно в ограниченном пространстве со стеклянными стенами в дырочку. Света и воздуха хватает, но до меня не доходят ни волшебные запахи, ни удивительные звуки. Я вижу только перемещения вокруг и то в каком-то неестественном, потустороннем ритме. Люди для меня ничего не значат, но не потому, что я уродливый циник, а потому, что я их просто не замечаю – вот чего ты добился. Ты хотел помочь мне, но, наверное, ещё сильнее покалечил. Эти антидепрессанты, на которых все помешались… Неужели ты думал, я такая? С чего ты взял, что я тронутая? Твои таблетки отбили у меня всякую охоту с кем-то встречаться.

Захаров кое-что подумал на этот счёт, но так и не вспомнил, в какой момент уговорил её принимать лекарства.

Они сидели как чужие, то ли стесняясь друг друга, то ли окончательно испробовав все слова поддержки. Ему захотелось уйти. Невыносимо печальным оказалось чувствовать рядом её отверженность. Никто ещё так трогательно, пронзительно высоко не признавался ему в любви, пусть и ушедшей, и вид нелепой Сони, имеющей, однако, перед многими дамами его круга значительное преимущество, лишь усугублял его тоску. Он в миг уловил в себе прежние качества, давно забытые, с которыми франтонировал среди женщин в более молодые годы и которые считал своей принадлежностью как истинного вдохновителя людей эпохи. Но время иссушает любые пристрастия. Делает странными душевные поползновения, идущие раньше от сердца, а позже вообще неизвестно откуда. Не только она, но и он потерял многое спустя пару десятков лет после их первой встречи. И теперь он только вспоминал и дивился, каким образом она умудрилась остаться в его глазах незамеченной и почему его привычка смотреть на всех свысока не возмутила её до крайности. Он дивился, как долго она выбирала момент, чтобы сказать ему о самом главном, в чём она нуждалась.

Заиграли вальс, несколько пар вышли на площадку, счастливые мгновением по-настоящему почувствовать друг друга. В хорошем танце всегда больше понимания, чем в словах.

Она очнулась:

– Мне нужно идти. – В её глазах отражалась безнадёжность. – Слишком много откровений за один раз.

– Я вызову такси.

Он позвонил в службу развозки, где пообещали прислать автомобиль через пятнадцать минут.

– Давай выпьем, – предложила она. – Только не будем подниматься наверх. – Она тронула его руку, и он ощутил напряжение, в котором, вероятнее всего, она была весь вечер.

Ему вдруг захотелось узнать про неё больше, она достигла своей цели, однако вселенская грусть, окутавшая её с ног до головы, закрыла для него все лазейки, через которые он мог бы протиснуться к её раненой долгим пренебрежением душе. Он почувствовал себя виноватым, хотя больше как специалист-психиатр, а не как несостоявшийся любовник.

– Почему ты меня боялась?

– Я не боялась.

– Почему ты молчала?

– А что бы изменилось? Всё сложнее, чем ты думаешь…

Она не договорила, опять упёршись в стену предрассудков, и продолжительная пауза, которую он не стал прерывать, окончательно оставила её при своих мыслях, не дав ему возможности разгрузиться от бремени недопонимания.

– Странно это как-то, – заметил он. – Я стараюсь нивелировать отклонения в психике людей, но по большому счёту любовь тоже ведь является отклонением. Одни хотят быть нормальными, другие не хотят. Но самое главное мы навязываем друг другу лишь собственные представления о нормальности.

Остальное время просидели молча, поглядывая на танцующих и в свой бокал. Ровно через пятнадцать минут приехала машина.

– Не хочу ни с кем прощаться. Скажи жене, что мне позвонили и я ушла.

– Хорошо.

На улице он посадил её в автомобиль и оплатил дорогу до её дома.

– Извини, что была грустной.

– Всё нормально. Увидимся.

Он посмотрел вслед уезжающему такси. Она исчезла вместе со своим прошлым, но вместе с тем оставила ему кусочек своей странной любви и неприятных воспоминаний. Она растормошила его чувства. Скрытые залежи добра ещё наполняли его сердце, и он погрузился на минуту в себя, копаясь в переживаниях, нащупывая отголоски былых радостей, которые так звонко возвещали ему в молодости о прекрасном.

Он встал под навес у входа, начал накрапывать дождь, а его влекло куда-то в мигающую огоньками даль, от которой он был не в силах оторваться. Сгущались сумерки, и городская жизнь приобретала новые очертания. Она казалась более насыщенной, чем днём: яркой, голосистой, бесшабашной. И вместе с тем отзвуки его давних проблем пробивались в такие минуты наиболее отчетливо. Будто изначально во всей наглядной полноте вокруг обязательно присутствовала какая-то интригующая нервозность.

Поворотом головы он оценил женские прелести двух девиц, в довольно грубой перепалке остановившихся возле дверей, и проследовал внутрь, возвращаясь в праздничную атмосферу вечера, про которую уже успел забыть.

Жена разговаривала с приятелем в большом зале. Он подошёл к ней и потянул за руку:

– Давай потанцуем.

Когда они поднялись наверх, уже подали десерт. За столом было весело, при виде именинницы все вспомнили, по какому поводу собрались, неуклюжая хвала разрезала воздух зычным возгласом одного из присутствующих.

Голоса стали громкими, речь менее содержательной. То, что имелось в голове последние дни или недели, выплёскивалось на уши не совсем подходящих для подобных мыслей собеседников. Некоторые вдруг находили возможность слегка покуражиться, а другие, в свою очередь, видя их трезвые намерения, которые представляли себе не слишком трезвыми, оценивали их действия как-то по-своему. Но, в общем-то, все держались в рамках приличия. Захаров дорожил темпераментом своих избранных, являвшихся для него залогом спокойствия.

Раздражение имеет свойство накапливаться незаметно. Причины, его питающие, порой увидеть очень сложно. Они растворены в окружающих многими компонентами, каждый из которых не представляет из себя ничего сугубо неприятного, по крайней мере такое можно без проблем стерпеть. И выход гневу может дать любой толчок, до селе не являвшийся даже теоретически поводом.

Подняли тост за родителей, что натолкнуло одного из собравшихся на мысли о сыновней благодарности.

– Какой бы ни был плохой отец, я не могу за него не пить. Пусть он даже ничего больше не сделал, но во мне он отражается в свой полный рост. Я себя люблю и уважаю. Я такой, какой есть, и в этом его прямая заслуга. Я – егó творчество.

Слова откликнулись добрыми воспоминаниями у соседей по столу и породили разговор о заслугах предков перед нами, перед отечеством, перед миром с его непредсказуемым будущим и прошлым, которое власти горазды переписывать в угоду действующей политической конъюнктуре.

Как всегда, кто-то из присутствующих отличился фальшивыми изречениями, к которым сподвигла его затронутая тема, и в затеянной пикировке обозначились первые причины разногласий. Спор ещё только собирался затронуть отвлечённое, наболевшее внутри оппонентов, но в глазах уже замаячили круги озлобленности, поскольку любые общие вопросы сводятся к противостоянию отдельных персоналий. Неважно при этом, испытывают они друг к другу уважение или нет – в идеологическом плане дуэлянты такими категориями не оперируют, их мотивация слишком сложна, чтобы учитывать обычные нормы поведения. И тем более затронутые комплексами характеры всегда пытаются вычислить нечто подобное у визави, будто унижение его является в словесных баталиях главной целью. Когда мы спорим, то боремся не по существу, я всякий раз с образом противника, с его наглядностью, без которой в другом случае и не взялись бы утруждать себя словами убеждений. Для образованных людей, конечно, важны аргументы, но по большому счёту им не придаёт особого значения никто, какой бы серьёзной образовательной базой он ни обладал. Важнее личная приязнь или неприязнь, с помощью которой разногласия либо решаются, либо переводятся в спящий режим, до следующего противостояния, об участии в котором вы можете даже не подозревать. Так происходит раз за разом. И вот если после нескольких попыток не удаётся вывести соперника (часто случайного) на «чистую воду», тогда уже открывается прямая дорога гневу.

Один из родственников невольно повысил голос, он довольно часто исповедовал такой стиль общения. Ему не понравилось, как его играючи осадили, и в невинной шутке обнаружил некую форму оскорбления. В ответ прозвучала другая шутка, менее изысканная, а когда стало ясно, что она не удалась, то есть в словах изначально был заложен лишь небывало презрительный смысл, на мгновение он потерял над собой контроль, громко двинув под собой стулом. Затем последовал откровенно хамский выпад.

На спорщиков обратили внимание все присутствующие. Кто-то с недоумением, кто-то с интересом направил взор на разгорающийся пламенем угол стола, и то, что там закипают нешуточные страсти, угадывалось с первой секунды наблюдения. Двое интеллигентного вида мужчин вдруг потеряли свой привычный облик. Их раскрасневшиеся лица, означавшие переход в следующую стадию противостояния, излучали самую что ни на есть жлобскую энергию. Казалось, не хватало только маленького фитиля, чтобы грохнул взрыв безумного мордобоя. Жена обиженного попыталась повлиять на ситуацию, успокаивая мужа, но в нём бурлило возмущение, уже готовое перерасти в ярость.

– Володя, перестань. Что ты несёшь?

– Он несёт правду. Это полезно, пусть выскажется, – язвил оппонент.

Того некому было одёрнуть, но вот пришли на помощь друзья.

Оба оказались задиристыми типами, если не назвать их более подходящим для такого случая словом. Под опекой присутствующих, при искусственном сдерживании негодование уже не имело границ и грозилось перерасти в прямой конфликт. Может, кто-то из них специально ждал, когда его тронут, и тогда бы он выступил как надо. Опасная затея. Кто знает, что тогда произойдёт и как отреагирует ужаленная гордость противника, доселе обрабатывающая лишь мелкие переживания. Душа просит развязки, а потерянный разум носится по уголкам сознания, сгорая в противоречии показать врагу кузькину мать и при этом не переборщить.

Захаров предъявил своё лицо оппоненту Володи, пытаясь подействовать на него успокаивающе:

– Тихо, тихо. Ты чего разбушевался?

Ему самому вдруг захотелось двинуть этому козлу в челюсть.

– Не надо меня трогать! Убери руки!

– Хорошо, не буду. Только не нервничай.

– Я спокоен.

Однако вид его говорил об обратном. Приятель явно настроился на конфликт, и остановить его могли лишь контрмеры. Но размышлять он времени не дал, ловко выскочив из окружения друзей, в одну секунду оказавшись перед мелким типом со своей женой и примерившись уже к губастой физиономии некогда хорошего знакомого. Жена Володи дико испугалась. Тот подумал, что настал момент взять свои слова обратно. Вся компания во главе с Захаровым, словно пребывая в оцепенении, несколько секунд ждала развязки.

Никто из них на самом деле и не попытался бы остановить смутьяна в одиночку, они были сильны лишь коллективом, точнее коллективным внушением. По отдельности каждый из них был если не жалкой душонкой, то уж точно не сильной личностью, и когда не хватало времени на раздумья, инстинкт подсказывал им замереть на месте в ожидании чужих инициатив, другого развития событий, оставляющего их личное невмешательство нейтральным.

Речь, разумеется, шла о мужской части праздничной компании. А что же Захаров? Его волшебный тон был теперь совершенно неуместен. Не умея теряться в силу профессиональных привычек, на самом деле он и не способствовал упразднению конфликтов. Пожалуй, трезвых он мог бы уговорить не выделываться. Но критическая точка уже была пройдена и по количеству миллилитров выпитого алкоголя на одно рыло, и по состоянию развития конфликта на данный момент. Никто так и не понял, с чего всё началось, однако развязка получилась для собравшихся воображал вполне логичная.

Вырвавшийся из круга друзей бузотёр успел и прицелиться по своему усмотрению, и размахнуться как следует, и даже произнести по ходу дела пару неласковых слов, принижающих достоинство не уважаемого им сегодня господина. А затем двинул ему кулаком в нос с таким выдающимся усердием, что тот, раскидав по пути стулья, шмякнулся на пол, схватившись за край скатерти как за спасительную соломинку. Вниз полетели посуда и недоеденные салаты. Вскрик жены смешался со звоном разбитого стекла. Упавший уставился в потолок, ощущая на лице тёплую кровь и с трудом соображая, как так получилось; обидчик смотрел на него сверху уже без злости.

Жена изобразила что-то там кулачками, взывая к массам, но даже после этого летаргическое оцепенение толпы ещё не прошло: поверженного можно было запросто добить. Если бы разборки происходили в кругу бандитствующих элементов, то так, очевидно, и было бы. Однако интеллигенция выплёскивает своё зверство небольшими порциями, по минутам. Далее она пугается содеянного. Далее жалеет, раскаивается, рисует в голове презрение к себе со стороны окружающих, выбирает новую жертву, накапливает силы и ждёт момента повторить выходку, но уже в более габаритных масштабах. Интеллигенция творит зло без наслаждения. Она не принимает того, что зло уравновешивает силы. Она приходит к злу вынужденно, но неизбежно, видя, что непротивление злу есть такое же зло и этим очень многие пользуются.

Гости вечера наконец-то пришли в себя и оттащили бузотёра в сторону. На нём не было лица, но скорее всего из-за того, что ему ещё хотелось поскандалить, однако он сообразил, что это было бы уже слишком.

Настроение испортилось, приглашённые не знали, как переварить случившееся. Виолетта Павловна надолго замолчала, приводя в порядок нервы. Драке взрослых, в общем-то солидных, респектабельных граждан она не находила объяснения. Произошедшее подействовало на неё отрезвляюще, она вдруг в момент потеряла уверенность, напрямую столкнувшись с такой неприкрытой враждебностью во взглядах, и, что ужаснее всего, в бесцеремонных физических действиях. Её лепет об этической чистоте поколений ей самой показался теперь жалким. Если даже мягкие, приятные в общении её знакомые при случае готовы были задушить друг друга, что уж говорить об остальных людях, о мрачности сознаний которых она догадывалась, глядя в телевизор.

Потерпевшему хотели вызвать врача, но его жена категорически отвергла помощь, и они уехали в неизвестном направлении. Простились холодно, поскольку, по её мнению, чувство вины за случившееся должны были испытывать все присутствующие.

Бузотёр тоже ретировался, уйдя в туалет и не вернувшись. За ним уходили другие. Званый вечер расстроился, потому что все понимали, что он был организован, исходя из их мифических хороших отношений, их дружбы, основанной на полезных и родственных связях. Жуткий эпизод с дракой показал, каковы эти отношения на самом деле. Контраст между представлениями и реальностью оказался слишком очевидным. Нетрудно было примерить слова и поступки разбушевавшихся к себе и рядом стоящим, чтобы не увидеть между всеми ними большой разницы. Самым стойким оказался генерал, который уже командовал вокруг себя рюмками, оставаясь в прекрасном расположении духа. Выбить его из колеи подобными пустяками было невозможно.

Рита Константиновна старалась держаться Захарова и его жены, остаток вечера они провели вместе. Два раза к ним подходил знакомый бизнесмен с одними и теми же словами:

– Кто бы мог подумать. Не понимаю, что он так разошёлся.

Успели ещё немного пообщаться, однако вскоре стало совсем грустно, и решили празднество свернуть.

Захаров, как хозяин торжества, учтиво провожал компанию, отправляя пары в заранее заказанный автобус для развозки. Кто-то задерживался на несколько прощальных слов, но большинство отделывались от мероприятия с удовольствием, выглядев уставшими. Виолетта Павловна со своей сестрой уехали на такси, бросив в сторону до мозга костей знакомых полный недоумения взгляд…

Он вошёл внутрь, уже ненавидя этот ресторан. Некоторое время он оставался поодаль от других, наедине с собой.

Тоскливо осмотрев вестибюль, он остановился, испытывая некоторое замешательство от полных загадок явлений наряду с их абсолютной практической ясностью.

На стене перед ним висело антизеркало. Захаров только сейчас обратил на него внимание, и поскольку рядом с академиком никого не было, то поначалу он даже не понял, что ему показалось необычным в собственном отображении. Он себя не узнал. Его правая рука оказалась левой, вообще правая половина левой, он видел себя не как отражённым в зеркале, а таким, какой он есть на самом деле, как бы со стороны. В раму «зеркала» была вмонтирована камера высокого разрешения, а фиксируемая картинка с большой степенью чёткости тут же разворачивалась на экране, и человеку, подошедшему к нему, казалось, что он видит некую интерпретацию себя в пространстве, как бы со стороны: наличие той же обстановки в те же моменты времени не вызывали никаких сомнений.

«Вот она, реальность, – подумал Захаров. – Но как её понять? Она во мне или на этом экране? Я живу взаправду или актёрствую? Странно видеть, как ты исполняешь роль, не написанную ни в каком сценарии, а кусочки жизни предстают перед тобой, будто эпизоды в кино».

Он подмигнул, глядя в своё лицо, и тот на экране ответил ему другим глазом, расположенным по диагонали.

«Ладно, пусть окружающий мир кажется фальшивым, но если я пытаюсь обмануть себя, стало быть, с другой стороны стремлюсь отыскать правду? Одно без другого не обходится. Надо просто действовать, а не стоять на месте. А потом стать актёром или оставаться самим собой – в зависимости от того, что выгоднее. Наверное, в этом и заключается наш выбор, и шансов оставаться правдивым тогда пятьдесят на пятьдесят».

Он поправил на себе галстук и бодрой походкой направился к остаткам гостей, намереваясь ещё, может быть, провести с ними некоторое время.

**7**

Мягкий воздух касался лица, приятно поглаживая кожу. Он овеществлял собой всю безграничную прелесть природы, в которой чувствовалась особая о вас забота. Нежные обволоки дуновений распределяли по рецепторам возвышенного качества сигналы. Рядом ощущалась ласка, будто десятки добрых рук по велению сердца возились с вашим телом, подлаживаясь под характер, устанавливая с вами дополнительный контакт. Казалось, даже небритость подбородка играла в лёгком охмурении вас особенную роль. Виталий задержался на улице, как обычно, подставляя лицо приветливому ветру, и затем, вдоволь надышавшись свежестью, сел в автомобиль и отправился к дому погибшего друга Олега Белевского.

Марина встретила его в сборах.

– Уезжаешь?

– Да, поживу немного у мамы. Здесь слишком тяжело, я не могу привыкнуть к одиночеству. И потом, мне не нравится то, что у нас происходит. Мне страшно.

– Власти говорят, что террористов поймали.

– Я им не верю.

Он понаблюдал, как Марина суетливо складывает в сумку вещи. Потом притормозил её, тронув за руку:

– Хочешь, я тебя провожу?

Она была растеряна, будто он предложил ей нечто неординарное.

– Поезд вечером. Я ещё должна встретиться с подругой.

– Ты поедешь прямо от неё?

– Нет, ещё вернусь.

– Тогда я за тобой заеду. Когда мне быть?

Не скрывая безразличия, она согласилась:

– Давай без четверти восемь. Поезд в девять.

Он снова нежно к ней прикоснулся:

– Я подъеду.

Невольно он остановил её собирательный порыв, она присела и, поскольку он молчал, разглядывая фотографии на стенах, предложила:

– Может, кофе?

Он обернулся:

– Не откажусь.

Пока она готовила свежий кофе, Виталий стоял рядом.

– Мне его тоже не хватает, – прервал он молчание. – С ним было просто, при нём можно было высказывать любые мысли. Знаешь, как в детстве: когда в смятении, хочется обязательно кому-то высказаться, а часто оказывается так, что некому. Так вот Олег был для меня отдушиной… Помнишь, как мы все вместе?..

– Виталий, не надо, – перебила она его.

Он понял, что некстати заговорил про Олега, ей уже хотелось отвлечься, но она не могла. Оказываемые с первых дней жесты поддержки теперь превращались в пытку. Оно и так волей-неволей касалось памяти о нём, но сказанные по пятому разу добрые слова отзывались внутри метаморфозой навязчивости. Повторялось всё избитое, и даже Виталий с его весомым интеллектуальным багажом, который словно воскрешал в ней живые воспоминания о муже, очевидно, представлялся ей тривиальным утешителем. Наверное, Виталий хотел бы превратиться в её поклонника, но он никогда бы уже не стал вторым Олегом. Претензии Виталия оказались бы ложью. Нужно что-то новое, совсем из другой оперы, даже, может быть, из другого мира, чтобы потрясти её яркими впечатлениями.

Тем не менее она старалась быть мягкой, восполняя недостаток слов жестами. Они сели в комнате на диване, она расположилась рядом, чтобы не смотреть на него постоянно, если бы он находился напротив.

– Ты вроде интересовался его работами, – сказала она. – Удалось что-нибудь выяснить?

– Ничего существенного. Я надеялся узнать что-нибудь, связанное с разработками в их лаборатории. Но всё настолько покрыто мраком, что суть их достижений не понять даже в общих чертах. Там все напуганы и молчат.

– Как ты думаешь… – Продолжение фразы далось ей нелегко. – Олег мог быть виноватым во всём этом ужасе?

– Нет, – ответил он без колебаний. – Я уверен, что нет. Он не такой. Я бы теперь знал об этом.

Больше они Олега в разговоре не упоминали. Виталий старался забыть о причинах Марининого отъезда, представив его как самое рядовое событие. Он расспросил её о маме, узнал как её здоровье и посетовал на собственные эгоистические наклонности, препятствующие поддержке должных отношений со своими родителями. Марина вспомнила, что видела их однажды и они ей очень понравились. Но почему-то Виталий на них не похож – ни внешне, ни внутренне, как ей показалось. Наверное, сказывается урбанизация жизни, общества. Он спросил, каким образом она влияет на наследственные признаки людей, и Марина ответила, что наследственные признаки летают в воздухе, как пыльца, и в чистых деревенских полях, где нет людей, их намного меньше, так что доминирующей становится особь, которая осуществляет прямое опыление. Вспомнили кое-что из биологии, об устойчивости и изменчивости видов, с удивлением вдруг осознав, как противоречива природа в самых простых проявлениях жизни. Толчок к изменениям дают сильнейшие, но выживают всегда приспособленцы, которые плотно их оккупируют.

В общем они отвлеклись немного, и когда Виталий покидал Марину, она находилась уже не в том настроении, в котором он застал её часом ранее. Ему было приятно пообщаться с ней. Как будто за последние несколько недель ничего не изменилось. Они сидели на фоне тех же обоев, с кофе и печеньями, императивно заложив ногу на ногу или легко подаваясь вперёд, как увлечённые, порывистые в стремлениях люди. Та же атмосфера непринуждённой болтовни, то же окрыляющее ощущение игривости и – взгляды, в их маленьком уголке дружбы являющиеся главным приоритетом в отношениях. Не хватало только главного задиры, их потрясающего скептика, много знающего и оттого особо ценного скептика, Олега. Виталий не хотел делиться с Мариной своими ощущениями, но, безусловно, и она думала о том же. И такая однополярность их мыслей, скорее всего, влияла как-то на их настроение. И, возможно, она способствовала пониманию того, что такая встреча является для них одной из последних.

Вечером она была уже другой. Виталий отвёз её на вокзал, всю дорогу молчали.

В зале ощущалась суета, но не оттого, что было много отправлений, – исчезла предсказуемость, деловитость публики, в местах скоплений людей в последние дни было как-то неспокойно. Кучки народа всё время беспорядочно перемещались, как в неразберихе сомневающихся, что нужно делать. Они присели наверху в зале, и постоянно, когда он собирался ей что-нибудь сказать, его отвлекали проходящие мимо, громко бубнящие, озабоченные граждане. Марина думала о своём.

Ему стало интересно, испытывает ли она грусть по поводу их расставания. Всё-таки она его знает достаточно давно, и с гибелью мужа он должен оставаться, наверное, самым нужным для неё человеком. Однако она до сих пор никак не дала почувствовать, что как-то нуждается в нём. Общие воспоминания, которые для обоих были ценными, оставались как бы за рамками их разговоров, точно затрагивали нечто святое, неприкасаемое, и ему было трудно понять, насколько уместными покажутся проявления заботы о ней, чуть более основательные и нежные, чем обычное в таких случаях участие.

Немного погодя, он проводил её на перрон. Они встали возле вагона.

– Не жди отправления. Давай попрощаемся сейчас. – Она, наверное, уже ехала, оставаясь по-прежнему наедине с собой.

– Я не спешу. И мне важно видеть тебя как можно дольше.

– Зачем? – произнесла она с грустью в голосе.

Он не ответил.

Рядом расположились отъезжающие, шумно обсуждая незаконченные дела. Несколько пар и ребёнок с кроликом в клетке стояли чуть поодаль. Все они составляли антураж прощания, лихо перемешивая в себе музыку стихии и мягкий этюд, который венчал медленно падающий, неизвестно откуда здесь взявшийся осенний лист. Он вдруг захотел её поцеловать и прижать к себе, но сдержался. Почему-то ему стало стыдно. Что за глупости эти его непредсказуемые эмоции! Марина сейчас вся в себе, или в Олеге, или ещё где-то далеко, а его лишь трогают фантазии, затмевающие реальный мир выдумкой, в которой всё больше становится доверчивых лиц.

Он посмотрел на неё выразительно, но она этого не заметила. Становилось действительно тягостно ждать, и, поёжившись, он всё-таки не утерпел, чтобы сказать ей главное, чему и посвятил, оказывается, весь свой сегодняшний вечер:

– Ты мне очень нравишься… Ты всегда мне нравилась. И мне жаль, что ты уезжаешь.

Она воззрилась на него тоскливо, вернее, делая вид, что тоскливо, но на самом деле упиваясь ленью своего одиночества. Он понял, что пока ещё не время. Лёгкий сквознячок заинтересованности в выражении её лица мог бы дать надежду на их будущие отношения, если бы не отчуждение к нему, которое она испытывала, интуитивно дорисовывая из него образ обычного похотливого самца. Картина нравов выступает на первый план после трагедии. Он знал, что так оно обычно и происходит, однако в личных отношениях никогда её открыто не наблюдал. И вот теперь, ни в чём не виноватый, увидел, что в нём могут сомневаться, поскольку никогда не представлялся равным своему другу. Во всяком случае Марина, которую он теперь хотел, никак не отнеслась к его осторожным намёкам. Она была выше этого, она любила Олега. Она была величественной, почти святой.

Свет фонарей всё ещё окружал их, Виталию казалось, что он видит её в ауре оранжевых тонов до сих пор. Она уехала, помахав рукой, и насколько значимым был для него этот жест, он не определил ни сразу, ни теперь, когда его охватило лёгкое похмелье бездействия.

Он вёл машину, думая о своём отношении к Олегу как к другу, перемежающемся с любовью к Марине как к женщине. Он думал о влечении к той, которая олицетворяла в себе изысканную форму женского обаяния, и не понимал, почему такая страсть не давала о себе знать раньше. Неужели его останавливало уважение к приятелю, какая-то часть которого выступала главной защитой их неразрывной дружбы?

А может, это и не любовь вовсе, она права? Может, эти всполохи очарования, которые завтра пройдут, унеся с собой всякую прочую трогательную мутотень, не оставят даже следа в его прагматичном рассудке? И та жалость, с которой он готов был породниться несколько минут назад, окажется лишь серой тенью вещества, обитающего в межзвёздном пространстве, малыми порциями посещающего захламлённую земную обитель? Неизвестно, в каких бы он оказался дураках, если бы поддался искушению явиться в её глазах давним поклонником. Как бы он уладил тогда сиюминутный порыв страсти? Вероятно, пока ещё свежа память, у неё неизбежно будет возникать сравнение с Олегом, и оно, вне всяких сомнений, будет не в его, Виталия, пользу. Это точно.

Он намеренно поехал назад той же дорогой, даже решил увидеть ещё раз знакомый дом. Словно мало ему было воспоминаний и прямых откликов на столь недалёкое прошлое. В общем-то, хотелось бы разбавить чем-нибудь охватившее его ощущение пустоты, но стремления души, как всегда, сводились к обратному. Он проехал мимо «особняка» Захарова, расположенного тут же недалеко, и знакомые контуры строения, к которому он приезжал уже сотню раз, показались в самом конце улицы, в том месте, где она делала резкий поворот.

Тёмный силуэт, угадываемый по отдельным, характерным только для него деталям, выступал за деревьями скучными очертаниями одинокого теперь жилища. Виталий свернул возле него на другую, такую же пустынную улицу, и, уже отпустив взглядом дом Олега, намеревался прибавить газу, чтобы рвануть наконец в свою сторону, но мрачным призраком уловил вдруг видение, которое заставило его сбросить скорость до минимума, почти до пешеходной, и в конце концов остановиться возле тротуара.

Совершенно отчётливо он видел внутри необитаемой постройки слабое свечение. После того как он только что проводил единственную хозяйку дома в поездку, обнаружить там признаки присутствия других обитателей выглядело по меньшей мере странным. Он выключил мотор и вышел из автомобиля. Приключения продолжались. То, что ему ничего не показалось, он был уверен на сто процентов. И если бы не странная роль Олега во всей этой истории, он, скорее всего, проигнорировал бы свои подозрения, слегка удивившись обнаруженному и спокойно проследовав к пункту назначения, где и домысливал бы потом похожести до необходимого, как это делают обычно лучшие теоретики планеты.

Приблизившись к постройке, поглядывая на окна, он тихо подошёл к входной двери и уловил еле доносящиеся изнутри прерывистые шумы. Там кто-то был, кто-то забрался в дом с непонятной целью. У Виталия учащённо заколотилось сердце. Входная дверь, похоже, была заперта, хотя входить внутрь он не собирался, хотелось просто удостовериться в своих подозрениях. Он подошёл к боковому окну и заглянул в него. И тут же увидел мелькнувший в дальнем помещении жёлтый огонёк. Свет заставил его отпрянуть назад; показалось, что его могли заметить, поскольку в дверном проёме вполне отчётливо вдруг возникла некая фигура. Он ещё помнил, как видел недавно странное светящееся явление во дворе, но слепок картинки, оставшейся в голове от увиденного, возвестил его о другом. У находящегося в доме объекта было вполне земное происхождение: он был человеческих размеров и у него во всяком случае было две ноги.

Виталий спустился с веранды, стараясь не шуметь в темноте, зашёл за угол дома, и сделал это очень вовремя: входная дверь неожиданно открылась, и неизвестный вышел из дома, после чего послышался щелчок запираемого замка. Это был не уличный вор, у него имелись ключи.

Пришлось невольно затаить дыхание, застыв на месте, не подавая никаких признаков жизни, поскольку странный человек возле дома и не думал уходить. Что он там делал, было неясно. Какие его намерения? Чёрт его знает, какие расклады теперь в нынешней ситуации: может, обнаружить себя представлялось для него смертельной опасностью.

Пару минут Виталий стоял в темноте абсолютно недвижимый и вдруг услышал совсем рядом шуршание шагов: тот пробирался вдоль фасада в его сторону. Зачем?

Сердце заколотилось сильнее. Что делать? Убежать? Вряд ли Виталия заметили явно, тому могло только показаться. Тогда что за настырность в стремлении удостовериться, что рядом с домом никого нет? Ушёл бы – и никто никого не видел. Однако шевеление чувствовалось уже кожей. Кто-то находился всего в полутора метрах от него, прямо за углом. Казалось, Виталий даже слышит его дыхание, а страшный облик убийцы медленно выплывает перед ним, грозя оскалом и орудиями насилия в руках. Он плотнее прижался к стене, смотря перед собой в чёрную даль, уже приготовившись к встрече с врагом, намереваясь рвануть куда-нибудь вглубь сада наутёк. Но шевеление тут же пропало, и снова воцарилась полнейшая тишина. Не считая отдалённых звуков гудящего города и периодического шуршания шин на улице, больше ничто не донимало его слух. Участок возле дома опять погрузился в таинственный, наполненный неопределённостью сон.

Выдержав ещё несколько минут, он наконец решился заглянуть за угол: там вроде никого не было. Человек исчез, словно растворился в воздухе. Непонятно было, как он по-тихому ушёл, если Виталий прислушивался к каждому шороху вокруг себя.

Подумав немного, Виталий опять, но уже с большей опаской, поднялся к входной двери, дёрнул ручку и заглянул в окно. Ничего более он не обнаружил. Слегка успокоившись и убедившись, что никакая сволочь ему больше не угрожает, он проследовал к автомобилю, завёл мотор и умчался к себе домой, резонно заключив, что на сегодня ему приключений хватит.

В тот момент, когда Виталий прятался от опасного незнакомца за углом дома, человек, побывавший внутри строения, уже спешно уходил по улице в направлении людных кварталов, даже не подозревая, какие страхи навёл на следящего. Он не добился желаемого и сам был несколько напуган неприятным вниманием к дому со стороны. Как только появились признаки движения рядом постороннего лица, ничего не оставалось делать, как по-тихому покинуть место обследования, чтобы не поиметь на свою голову дополнительных проблем. Мягкой рысцой он увильнул от случайных свидетелей к тротуару и притворился пешеходом, спешащим куда-то в ауре сказочного освещения аллеи. Он был очень даже рад, что ему удалось выйти из дома незамеченным.

Таким образом, если бы Виталий узнал, что боялся за углом шумов совершенно неизвестной ему природы, он был бы крайне озадачен подобной новостью, что, вероятнее всего, породило бы в нём страхи более высокой степени насыщенности, а опасения быть кем-либо обнаруженным тогда показались бы ему просто смешными.

Полуэкт Арнольдович Захаров в это время сидел в своём кабинете в клинике, просматривая данные на пациентов, которые поступили к нему в последние несколько дней. Ему показалось, что один из них, престарелый художник, потерявший жену и детей, очень похож и манерами, и образом мыслей на Канетелина, но, что самое главное, высказывает абсолютно идентичные речам физика суждения. Будто Канетелин возродился в новом обличье, как ни в чём не бывало продолжая разгуливать по коридорам клиники, давая своим поведением богатую пищу для размышлений.

Академика удивило столь необычное совпадение. Конечно, в мире полно одинаковых людей, не настолько разнообразен род людской, чтобы считать каждую личность уникальной. И если отбросить присущее нам стремление найти в людях особые черты характера, то и множество их внешних отличительных признаков вроде лица, манер, походки не покажется нам таким уж большим. Захаров сравнил на экране лица пациентов – бывшего и нынешнего – и не увидел чего-либо поразительного, уличающего их в необычном сходстве. Наоборот, казалось, что перед ним два совершенно разных человека. Они смотрели по-разному, не имели близких черт и даже отражали вроде бы специфические особенности ни в чём не совместимых образов жизни. Взгляд Канетелина был жёстким, волевым, несущим в себе скупость бытия. Художник же будто смотрел на мир наивно-удивлённо, видя перспективу успеха в каких-то неожиданных ракурсах. Однако обмануть интуицию Захарова, нажившего с годами высокий социальный статус, было невозможно. Эти два типа, безусловно, были вылеплены из одного теста. Они словно имели общий внутренний мир, о чём он сделал вывод, разумеется, не по фотографии. Первая же беседа, проведённая с новым пациентом, заставила его вспомнить все отличительные особенности дерзкого, непобедимого характера физика, с которым приходилось иметь дело несколько лет.

– Вас что-нибудь беспокоит? – спросил Захаров художника.

– Нет, я в норме, – рассеянно ответил тот. Но тут же, спохватившись, бросил недоверчивый взгляд на руководителя клиники: – Что меня здесь может беспокоить? Разве что кучка идиотов, пытающихся плюнуть ради забавы в мою тарелку.

– Здесь не настолько злобная атмосфера. Вам не нужно никого бояться.

– Конечно. Как будто вы знаете, что такое зло. Как будто вы убиваете его электрошоком. Оно лишь прячется от вас поглубже, вы его не видите за нелепыми позами и тупыми выражениями лиц. Искоренить его вы не в силах.

– В мои задачи это не входит…

– Я этим занимаюсь! – Он чуть ли не подскочил в кресле. – А вы шарлатаны! Вам ни в чём нельзя верить! – Его глаза уже блестели негодованием. – И вы знаете, я в гораздо большей степени понимаю здешних пациентов, чем вас. Потому что они только заблуждаются, а вы намеренно портите жизни.

– Но вам не собираются делать ничего плохого.

– Я вам не верю!

– Успокойтесь.

– Вам меня не побороть. Не те методы. Истинное зло не в людях, а в атмосфере. Я его писал, мне это доступно… – Он опять потускнел, будто вспомнил нечто важное, и визуально засобирался куда-то, ёрзая в кресле, порываясь встать, тут же ощупывая карманы на пижаме, хватая в воздухе невидимые предметы и неизменно сидя на месте, как на привязи. – Мне нужно работать… Я должен. – Теперь он смотрел на Захарова умоляюще.

По просьбе родственников, ему выделили в клинике отдельную комнату, поставив туда мольберт и захламив её всякими принадлежностями художника. Частенько он думал, что находится у себя в мастерской. Большую часть дня он проводил там, работая над выдающимися картинами, а необходимые инъекции санитары нередко делали ему прямо у холста, с любезного его согласия, для чего он включал в свой рабочий график маленькие перерывы. Он возбуждался, когда заканчивал очередную картину, но теперь уже меньше. Он приглашал к себе на просмотр других пациентов, отвечая таинственной хмуростью на их непонимание его творчества, а когда не удавалось сбыть написанное им, пытался продать холсты по сходной цене санитарам, дежурным по этажу и охранникам, невольно подбивая их своим поведением на любезности. Но не все его терпели, и жуткие неудачи, вероятно, имели для него определённые последствия. Храня горечь поражений, как и все, глубоко внутри себя, снаружи он мотивировал спокойствие надеждой. Но благополучное разрешение его проблем оттягивалось, а объяснить свои постоянные неудачи он не мог. Срывы были редкими, но продолжительными, после них он писал ещё более мрачно. Хотя если бы удалось увидеть в его творениях какой-либо особый характер, форму, игру света и тени, такое для гурманов современной живописи представилось бы, наверное, верхом изысканности.

Что-то очень знакомое показалось однажды Захарову, когда он не без любопытства рассматривал фотографии картин художника, которых тот, находясь здесь, написал уже несколько десятков. Сначала возникло только подозрение, что он такое где-то видел, но не успела ещё догадка окончательно оформиться в уверенность, как он уже полез в дело Канетелина и открыл на компьютере раздел с нужными материалами. Просматривая рисунки Канетелина, которые тот сделал будучи в состоянии глубокого транса, Захаров обнаружил абсолютное сходство одной из них с последней картиной художника. И по форме, и по расположению пятен, и по их цвету одна оказалась практически копией другой.

«Не может быть, – подумал Захаров. – Такого просто не может быть».

Рисунки представляли собой разноцветную мазню, которая, возможно, и обрела бы какую-то художественную ценность, если бы её продвижением в публику занимались пиарщики-галеристы. Но оба автора, преисполненные порывом сумасбродства, придавали творческому началу своих действий лишь побочное значение. И стало быть, в отсутствие рационального, которым можно было бы объяснить хоть какую-то, самую крохотную вероятность такого совпадения, почти абсолютная идентичность рисунков выглядела просто фантастической. Оба рисунка были выполнены акварелью, и, кстати, то была единственная акварельная работа художника, всё остальное он написал маслом.

Немало озадаченный очередным каким-то мистическим явлением в своей клинике, Захаров усердно изучал совпадения двух разнесённых по времени и пространству событий (Канетелин в своё время пребывал в другом крыле здания) и терялся в догадках, силясь найти подобному факту хоть какое-то объяснение. В сказки он не верил и поэтому отдалённо почувствовал здесь скрытый подвох. Записи выполнения и того и другого рисунков остались, их можно просмотреть и он обязательно их тщательно изучит. Однако уже теперь он пытался обнаружить на листах ватмана мелкие подсказки, невидимые, может быть, с первого взгляда, но свидетельствующие о том, что его хотят обмануть, и хоть каким-то образом дающие понять зачем.

Он увеличил масштаб рисунков на экране и стал сравнивать наиболее выразительные многоцветные участки в левом нижнем углу. Там и там это был водоворот оттенков, который венчало пятно вроде кляксы, но даже и оно имело весьма схожие очертания. Казалось, в те моменты, когда они появились, оба пациента совершали абсолютно одинаковые действия. Можно было подумать, что одно и то же событие каким-то невероятным образом оказалось раздвоенным во времени, приобретя совпадающий по форме, во всех мельчайших нюансах конечный результат.

А что, если так оно и есть? Отнюдь не пытаясь уяснить для себя, как такое возможно, Захаров вдруг увидел вполне реальное продолжение своих поисков, более озаботившись следствием происходящего, а не его причиной. Ведь если художник неосознанно скопировал действия Канетелина, то, может быть, в памяти у него хранятся и совпадающие со знаниями физика мысли? Он ими не пользуется, но каким-то образом они появились, и, не связанный заботой о неразглашении секретов, он способен безропотно поделиться ими, если наткнётся на них во время подходящего терапевтического сеанса. Может, попробовать ввести ему «сыворотку правды»? В его случае это рискованно, однако позволит кое-что прояснить. Усугубить состояние тихого помешательства, ничего не добившись, было главной причиной, по которой Захаров медлил с применением сильных препаратов, пытаясь прощупать художника во время отдельных бесед.

– Вы случайно не знали Лария Капитоновича Канетелина? – поинтересовался как-то Захаров.

Художник посмотрел на него рассеянно, но вопрос понял:

– Он кто?

– Физик, крупный учёный, который находился какое-то время у нас на лечении.

– Нет. Никогда не слышал этого имени.

– В общем-то понятно. Он был известен только в узком кругу специалистов. Но вы мне его чем-то напоминаете. Скажу больше, иногда я улавливаю между вами прямое сходство. Я имею в виду сходство в характерах.

Пациент карикатурно усмехнулся:

– Мало ли одинаковых людей.

Художник растерялся, не понимая смысла разговора. Он посчитал, что доктор намеренно темнит, пытаясь разозлить его, и не мог сопротивляться нарождавшемуся приступу раздражения.

Захаров показал ему фотографии совпадающих работ:

– Смотрите. Это ваша работа, а это рисунок того физика. Они совершенно одинаковые.

Художник забегал глазами с одного снимка на другой:

– Зачем он скопировал мою картину?

– Я бы спросил иначе: зачем скопировали его рисунок вы? Поскольку тот был сделан раньше.

Лицо пациента исказилось напускным гневом, но он и впрямь был растревожен этим издевательством над собой, решив, что его глупо разыгрывают. Он теперь ещё меньше верил собеседнику, готовый в любую секунду сорваться на крик.

– Это подлог! Вы нарочно пытаетесь убедить меня в несуществующем сходстве! Вы состряпали копию моей работы и теперь внушаете мне, что я вторичен и слава принадлежит не мне. В чём же ваша цель?

Он возбудился, заявляя, сколько музеев уже пытаются приобрести его картину для коллекции. Он перечислял восторженные отклики экспертов по современной живописи, причём некоторых цитировал дословно. Говорил, что у него согласована даже встреча с одним галеристом, о которой доктору, разумеется, ничего не известно, и что акварель его, ещё будучи ненарисованной, уже заняла почётное место в ряду высоких образцов искусства и будет радовать глаз искушённого зрителя, в отличие от тупых зрачков Захарова, долгие годы в будущем. Он разошёлся не на шутку, в конце его пришлось успокаивать.

Санитары отвели его в «церемониальную», или «комнату отдыха», как называли её между собой здешние работники, и дали ему возможность хорошенько выспаться. То была стандартная процедура для резвых, и место для неё подобрано соответствующее. Там, приходя в себя и практически забывая о причинах буйного поведения, пациенты тихо мечтали выйти к людям, на свежий воздух, почитая за счастье, когда их через несколько дней выпускали в общий коридор и в свою комнату.

В другой раз, когда Захаров заглянул к художнику в его «мастерскую», тот тихо подошёл к нему и, настороженно всматриваясь в лицо академика, спросил:

– Вы покажете мне фотографию вашего физика?

– Покажу, если вам интересно.

– Он погиб?

Захаров ответил не сразу, несколько секунд что-то просчитывая про себя.

– Несчастный случай. Он довёл соседа до состояния неконтролируемой ярости, а мы не успели предотвратить конфликт.

– Здесь такое случается?

– Первый и, я надеюсь, последний раз.

Художник ещё более поскучнел, представ в задумчиво-туманном виде.

– Я отсюда выйду когда-нибудь?

Захаров с готовностью вселил в него надежду:

– Выйдете. Я не сомневаюсь.

Блаженно-вальсирующее покачивание из стороны в сторону резко контрастировало с мрачной физиономией пациента, переживающего оторванность от родных и близких. Академик предложил ему: «Пойдёмте со мной», не надеясь на положительный отклик, но тот с готовностью зашагал за ним, будто всецело доверился другу и ухватился за некую путеводную нить, ведущую его в мир высоких чувств и вдохновения. Широкими, размашистыми шагами, раскидывая ступни в стороны, забавно подпрыгивая на ходу, он устремился вперёд рядом с доктором, чуть ли не обгоняя его; проскочил мимо лестницы, вернулся и подладился под его темп, чтобы снова не оказаться смешным на поворотах. Его шизофрения теперь максимально приблизилась к чудачествам гения. Ветреность натуры творца отразилась в его поведении в полной мере. Он был восхитительно загадочен, скрывая от других возбуждение, но дивно нервируясь мимолётной обстановкой недоверия к себе. Он с готовностью преодолел несколько пролётов, будто знал, куда шёл, и наконец очутился в том месте, в котором ожидал, возможно, какого-то для себя сюрприза. Лёгкий переполох в душе вызвали и эгоцентричный тон того, от кого он здесь зависел, и некое подобие экзамена, который ему предлагали сейчас выдержать. Хотя, может быть, он просто искусно наигрывал.

Академик подвёл его к столу, где лежали уже фотографии человека, про которого он спрашивал.

– Странный тип. Я никогда его не видел, – пробубнил художник, вцепившись пальцами в одну из карточек и поднеся её близко к глазам.

Словно близорукий, сощурившись, он изучал мельчайшие детали портрета, как бы пытаясь его творчески интерпретировать, но на самом деле только нервно кривлялся.

– Он вам чем-то не нравится?

– Мне никто здесь не нравится. И в первую очередь вы. – Художник недоверчиво покосился в сторону доктора.

– Я пытаюсь вам помочь.

– Глупости. Я здесь из-за денег, и вы тоже. Только я их лишаюсь, а вы приобретаете. Вы в сговоре с моими врагами. Я не верю вам, как не верил, наверное, и он. – Художник бросил фотографию на стол, будто всё для себя выяснив.

«У меня-то побольше причин ему не верить, – подумал Захаров. – Наверное, он тоже испытывает желание кого-нибудь наказать. Хотя на вид он не такой агрессивный, как Канетелин, но только ли из-за того, что имеет дело с красками, а не с оружием?»

И самое, наконец, странное было то, что художник, настрадавшись возле мольберта, истратив кучу душевных сил, когда приходилось в отчаянии замазывать собственные шедевры, начал вдруг беспорядочно писать на бумаге цифры. Словно вспоминая по вечерам только ему одному известные суммы, он заносил числа в столбик одно под другим и подобными вещами занимался уже несколько дней подряд. Он точно издевался над Захаровым, если его заплутавшее в реалиях сознание было способно на подобного рода шутки. Но он делал это слишком натурально. При любой игре визуальные эффекты всё же смазываются присущими каждому индивиду особенностями. А тут и всплеск эмоций в момент неконтролируемого переключения на иной род занятий, и дикая растерянность, и слёзы на глазах. Лицо его напрягалось в потугах, руки дрожали. Числа он воспроизводил неспешно, точно каждое выплывало из глубин его памяти с большим трудом. В такие моменты совершенно отчётливо было видно, что он не способен адекватно реагировать на происходящее.

Захаров всё же решил провести с художником сеанс химической редукции, попросив помощи у одного из наиболее лояльных к нему своих коллег. Он не рассчитывал, что в результате получит разъяснения, скрывается ли за этими записями какой-либо смысл или нет, но не стал отказываться от возможностей, данных ему современной наукой. Вдруг глубоко спрятанные мысли пациента сами пробьют себе дорогу наружу и беспокойный человек поведает ему о том, чего даже сам до конца не знает.

Тусклое холодное освещение создавало вокруг атмосферу мрачной предрешённости. Синие люминесцентные лампы, расположенные на потолке, светили на середину помещения, где сидел в кресле пациент. По углам же сгущались сумерки, размывая контуры предметов, порождая ощущение безбрежности пространства и одиночества. Доносящиеся якобы снаружи голоса только обозначали чьё-то присутствие, но на самом деле никого рядом не было. Доктора находились за его спиной. Мягкий тембр скользил по закоулкам сознания. Это был сон, где разговор смешался с представлениями, где невозможно было понять, то ли это он вспоминал, отвечая на чьи-то просьбы издалека, то ли сами просьбы оказались навеянными ожившими в голове образами. Отсутствие картинки заставляло фантазировать. Сон сочетался с тем, чего он реально боялся, а засевшие глубоко в подкорке мысли просились наружу при первом же проявлении доброго, сочувствующего понимания.

Художник, строго выпрямившись, находился в состоянии глубокого наркотического транса. Как человек с нарушенным эмоциональным фоном, имеющий значительные психические отклонения он очень быстро ушёл в абстрактный мир, где к его мнимым переживаниям должна была присоединиться информация о действительно имеющих место событиях. Он почти не двигался, хотя в какой-то момент стал порываться вскочить, очевидно, не справляясь с накатывающим на него волной беспокойством. Мышцы его оказались напряжены. Что-то необычайно интересное демонстрировал пациент, по крайней мере в глазах ассистента, не наблюдавшего до этого ничего подобного.

Художник импровизировал, но был отключён от событий и не понимал, где находится. Двери подсознания, наградившего его беспочвенными страхами, пока он уходил в себя в полутёмной комнате, оказались плотно запертыми. В какой-то момент даже возникли сомнения, что удастся без проблем вернуть его в действительность. Захаров снимал всё на камеру и по причине неординарности происходящего начал уже жалеть, что во время эксперимента присутствовал свидетель. Во всяком случае, то, что произошло дальше, требовало пояснений, и ассистент, безусловно, будет обращаться к нему с вопросами.

Пациент неожиданно дёрнулся, будто хотел освободиться от ремней, но потом весь сжался, словно от страха, невидимое явление его сильно потрясло. Хоть он не мог потрогать воображаемые предметы, но в законченности и точности возникшего перед ним сюжета предлагал не сомневаться. Он закрыл глаза и вероятному неверию в то, что он видит, противопоставил более чем убедительные аргументы.

Едва он раскрыл рот, стало понятно, что он в точности воспроизводит слова Канетелина во время такого же, последнего для физика, сеанса, при котором также присутствовал ассистент. Ничего знать об этом художник не мог, если только это не происки врагов Захарова. И так как в большое количество загадок от одного человека Захаров не верил, то быстро склонился к последней версии происходящего. Кто-то порылся в его архивах, отобрал нужные материалы и подготовил разыгрываемый перед ним спектакль.

Однако тогда придётся признать высочайшую степень мастерства его главного исполнителя, в чём Захаров также сильно сомневался. Столь точно сымитировать психическое расстройство невозможно: есть элементарные физиологические ограничения. И главное было непонятно, для чего потребовалось разыгрывать столь сложную комбинацию, если любая видимая в перспективе цель достигается гораздо более примитивным способом?

Захаров был в замешательстве, глядя, как виртуозно больной изображает свидание на том свете, подбивая наблюдателей делать вполне определённые в отношении его слов выводы.

После того как художник убедил ассистента поверить в его первые «показания», он, похоже, приступил к разоблачениям. Он принялся разоблачать коварные замыслы Захарова, беспардонно выпытывающего нужные сведения у своего бывшего пациента. Речь, без сомнений, шла о Канетелине. Творящееся на глазах у помощника выглядело как прямое обвинение академика в издевательстве над людьми в корыстных целях.

Помощник подошёл к пациенту спереди и уставился ему в лицо:

– Кто вы?

– Я Ларий Канетелин, доктор наук, заведующий лабораторией в физическом исследовательском центре.

– Над чем вы работаете?

– Это закрытая тема.

Захаров безотрывно следил за ним на экране монитора.

– Ваша работа как-то связана с теми взрывами, которые потрясают город последнее время?

– Да… Процесс не остановлен. Он находится в неустойчивой фазе, что очень опасно. И при этом он управляем, что опасно вдвойне.

– Кто может им управлять?

– Из тех, кого я знаю, таких уже нет. Но их может знать руководитель клиники, академик Захаров.

Ассистент и академик переглянулись.

– Что вы ему говорили?

Пациент умолк, словно выдохся и уснул. Однако быстро бегающие под закрытыми веками зрачки свидетельствовали о том, что он находится в активной фазе сна, которой присущи самые глубокие и яркие видения.

– Где вы находитесь? – продолжал расспрашивать ассистент.

Сидящий перед ним стал ёрзать и морщить лицо, его будто охватило беспокойство, он чего-то боялся.

– Где вы находитесь? – повторил ассистент, как бы уже настаивая на ответе.

– Яркий свет, – натужно выдавил из себя сидящий. – Комната с круглыми окнами, за которыми чернота, ничего не видно… – Он описывал одно из помещений, находящихся на подвальном этаже клиники. – Испепеляющая жара, трудно дышать. Кто-то приподнимает мне пальцами веки. Я его узнаю, это доктор Захаров. Он задаёт вопросы, но его не понять, потому что голос у него раскатистый, очень больно бьёт по ушам.

Пациент затрясся мелкой дрожью, будто предвидя, к чему клонит вопрошающий, и вдруг заплакал. Ему показалось, что всё то же самое повторится ещё не один раз.

– В голове круги, а тело страдает нестерпимой ноющей болью. Её невозможно унять, она накатывает быстро, а отходит потом очень медленно. И любое движение, любое прикосновение ко мне отзывается внутри ужасной резью, словно по живому. Он знает.

Сидящий снова закрыл глаза, изнемогая от усталости. Ассистент взял со столика иглу и резко уколол его в руку, тот никак не отреагировал. На коже выступила большая капля крови, так что ранку пришлось обработать и заклеить пластырем.

– Пожалуйста, не надо, – тихо умолял пациент. – Этого не должно быть, я не хочу.

– Что вы ему говорили? Вспоминайте.

– Я не знаю. В этом нет никакого смысла.

– Надо вспомнить, хоть что-то.

– Нет. Мне трудно… Нескончаемая боль. Как вы не понимаете…

Он стал дёргаться резче, раскрасневшись как рак. Вздувшиеся жилы на его лице очерчивали безумную ярость, и смертоносный взгляд теперь утерял былую меланхолию.

– Он живодёр! Он терзает меня изнутри! Я готов его убить! Он думает, я знаю… я и представить не могу, для чего он возится со мной все эти годы.

– Вспомните, что вы ему говорили, и всё закончится.

– Отстаньте от меня! Я не в состоянии ничего вспомнить.

– Вы же осознаёте, что ваши работы в лаборатории засекречены. Вы же представляете, чем вы занимаетесь.

– Понятия не имею.

– Может, вы хотите разговаривать наедине с Захаровым? Я его позову.

– Не надо! Прошу вас.

Теперь истерические порывы, с помощью которых он пытался освободиться от ремней, не прекращались ни на секунду. Тугие стяжки врезались в кожу, не давая возможности двигаться. Он корчился и трясся, расходуя безумное количество энергии на бесполезные старания, и трудно представить, во что могло вылиться его отчаяние, если бы ему была предоставлена теперь свобода действий.

Спустя пять минут он всё ещё не устал, на лбу уже выступили капельки пота. Его ярость, словно отделившись от сознания, выступала в каком-то автономном режиме, так что возникли подозрения, что независимо ни от чего он израсходует на неё весь остаток своих жизненных сил. Озадаченный академик, наблюдая за ним с интересом, наконец смилостивился и кивком головы дал команду ассистенту, после чего тот вколол подопытному лошадиную дозу успокоительного.

Итак, художник ничего не рассказал: или не мог или не понимал, о чём его спрашивают. Человеческие силы небезграничны, наверное, этого типа можно было расколоть. Но вот дебри подсознания способны скрывать порой такие штуки, что определить их значимость удаётся далеко не с первого раза. Уровень их защищённости поражает иногда самое подготовленное для таких случаев воображение. Оказанное на пациента воздействие процентов на девяносто могло вскрыть реальную картину с его дальней памятью, если бы не искусственные преграды, выстроенные в его голове достаточно умным и грамотным специалистом. С художником был особый случай. Того заранее подготовили, и Захаров не очень себе представлял каким именно образом. Он чувствовал, что его заманивают в ловушку. Не принимать в расчёт сумасшествие художника было глупо: Захарова переигрывали, и кто-то делал это очень искусно. За ним самим должны были наблюдать, пока он не выложит ненароком все имеющиеся в его распоряжении данные, а тогда вся труднейшая возня с Канетелиным окажется напрасной. Любой из персонала клиники, проявив сноровку, продаст его с потрохами и окажется в более выгодном положении, чем он, только лишь потому, что Захаров отказался однажды делиться своим правом первооткрывателя и предпочёл как слишком амбициозная личность делать собственную игру. Ставка на Глеба Борисовича не сработала, да и не было уверенности, что к разрушению планов Захарова не ведёт именно он. Были варианты его обхода, пожалуй, рискованные, но вполне осуществимые, и Захаров надеялся использовать имеющиеся возможности, однако сейчас его полностью занимал новый клиент, поскольку в поведении того проглядывалось что-то такое, что действительно могло помочь в решении имеющейся проблемы. Требовалось свести воедино добытые у Канетелина сведения. Художник имел к ним доступ. Осознанно или нет, но он оказался втянутым в эту историю и должен теперь нести полную ответственность за своё богом избранное место. Или дьяволом – Захарову, в общем-то, было без разницы…

Академик сидел теперь в своём кабинете, изучая материалы на художника. Он не испытывал к нему сочувствия или жалости. Превалировало иное: перед ним был недруг, поскольку, когда чувствуешь, что ответом на добро является замысел, в одно мгновение улетучиваются все благородные позывы, перед вами раскрывается ничтожество, которое под свою опеку может взять только мать Тереза. Он не мог его ни в чём винить, хотя художник не становился от этого менее виновным. Просто мелкое существо, поддающееся однажды нажиму со стороны, уже не может рассчитывать на благосклонность сильной личности. Удел безмозглых творить пакости – неприятно, но решаемо. И теперь вся забота Захарова состояла в том, чтобы выпотрошить эту душу без остатка, не оставить ей шанса на спасение, выведать её забытости вместе с затхлостью, очернить в суде, чтобы никакой всевышний даже не подумал предоставить ей возможность выбраться к солнцу.

В тот же вечер, когда Виталий прятался за стеной дома от опасного незнакомца, академик Захаров разглядывал на экране компьютера своего загадочного клиента, перебирающего тюбики с красками, видимо, готовившегося к новому, решающему штурму вселенной. Комната благосклонно отвечала замыслам пациента, тот был спокоен, расслаблен, смазливо медлителен. В его действиях проступала даже некая юность первооткрывателя, настолько он был поглощён замыслом будущего, мило раскладывая инструменты своей бурной деятельности по местам.

Сцена приготовления ко сну, как всегда, не предвещала ничего необычного, успокаивая глаз лёгкой небрежностью пациента после насыщенного дня тревог и отчаяний. И всё же от взора академика не укрылась некая отличительная особенность обстановки, заставившая сконцентрировать на себе всё его внимание.

Он уставился на небольшое пятно на картинке, увеличив изображение до максимально возможного разрешения. С минуту вглядываясь в очертания странного предмета и убедившись в том, что видимый эффект на экране не является погрешностью воспроизведения, Захаров откинулся на спинку кресла, замерев в раздумьях.

Он не верил своим глазам. Всё, что он только предполагал, оказалось правдой, и, похоже, ему представилась возможность убедиться в этом воочию. Он уже хотел бежать туда, но пока не трогался с места. Оценивая свою нерешительность как проявление малодушной опаски, то есть трусости, он не сводил с экрана глаз, может быть, надеясь, что обнаруженное им исчезнет, пропадёт из поля зрения или растворится в пространстве совсем, однако натужно убеждал себя не терять времени даром, раз судьба благоволила ему и указывала теперь место, где находится ключ к разгадке всех нынешних тайн.

Наконец он резко выпрямился и нащупал в кармане карту, отпирающую дверные замки в палаты пациентов.

Слабоосвещённые лестницы и коридоры были абсолютно пустынны. Не считая его и охраны, из персонала в клинике находились лишь один врач и трое санитаров. Он прошёл несколько постов, сказав охранникам по паре дежурных фраз, и направился в дальнее крыло здания, где находился художник. После того как он пересёк обширную рекреацию и свернул за угол, он оказался возле той самой, с мрачными предзнаменованиями, комнаты, вставил в приёмную щель карту, резко дёрнул на себя ручку, теперь уже без заминок, решительно войдя внутрь помещения, и закрыл за собой дверь…

Тишина на этаже представлялась почти что зловещей. Любой, окажись сейчас в качестве наблюдателя, испытал бы, наверное, странную напряжённость в предвестии событий, являющих собой развязку сюжета. Вопреки ожиданиям из комнаты не доносилось ни единого звука. Через тонкую щель под дверью пробивалась белая нить: в помещении включили верхний свет, – и больше никаких признаков присутствия там людей, никаких разговоров, движений, зафиксировать не удавалось. Более того, клиника будто ещё глубже погрузилась в сон, утонув в чёрной неопределённости тайн и их носителей. Лёгкий шелест за окном в такой обстановке казался пугающе резким. А жуткая атмосфера неподвижности, отсутствия чего-либо живого и в то же время насыщенность этажей болезненно отупевшими, навязчиво-придирчивыми или яростными типами, притаившимися на время за каждой перегородкой, заставляла цепенеть от страха, думать о скрытой угрозе, присутствующей в этом тихом и милом на первый взгляд обиталище.

Прошло несколько минут, а в комнате по-прежнему будто ничего не происходило. Большой свет погас, и дальнейшая тишина выглядела теперь совсем странной. Никакой фантазии не хватило бы, чтобы представить, что там в данном случае делает Захаров. Наконец он вышел в коридор, закрыв на замок дверь, замер на месте с пластиковой картой в руке и уставился перед собой как потерявший всякие ориентиры несчастный. Он тяжело дышал, углубившись в непроглядную даль, словно напитался только что безумным страхом.

«Надо подключать журналиста», – единственно ясной мыслью отметил он последние секунды потрясения.

Медленно двинувшись по направлению своего кабинета, он с трудом пытался обдумать случившееся, понимая, что ему реально теперь следует бояться нависшей на ним угрозы. Было очевидно, что он по уши влез в жуткую историю, в которой от него ничего не зависит, и жалел сейчас, что остался сегодня поздно вечером в клинике. Если бы он не наблюдал сегодня своего странного клиента, то ничего бы не узнал и спал спокойно, и, возможно, перед ним не встал бы сейчас вопрос: «Что делать?» В одно мгновение такая правильная природная любознательность оказалась тем глупым любопытством, которое подвело его вдруг к опасной черте.

Вернувшись к себе, Захаров ещё некоторое время медлил, обдумывая правильность принятого решения, и потом нашёл в телефоне номер Виталия. Тот ответил не сразу.

– Я вас не разбудил? – спросил Захаров.

– Нет, я не дома. Что-нибудь случилось?

– Я хотел бы с вами встретиться. И чем быстрее, тем лучше. Мне надо кое-что вам показать.

– Хорошо, но я сейчас уезжаю по срочному делу. Буду только завтра днём.

– Приезжайте ко мне домой вечером. Сможете?

– Да… Часов в шесть, наверное.

– Договорились. Буду ждать.

Ну что ж, по крайней мере будет с кем посоветоваться. Журналист, возможно, сам нарыл нечто стоящее. Если убедить его, что они теперь в одной упряжке и нестись им придётся в одну сторону, синергия их взаимодействия окажется полезной для обоих. И тогда можно будет найти такой выход, чтобы максимально обезопасить их и их родных от прикосновения к такому страшному злу, которое гуляет теперь на свободе. По крайней мере, хочется в это верить.

**8**

В этот день ничто не предвещало беды, наоборот, события развивались с обычной жизнеутверждающей последовательностью. Поводов для опасений не было. Димка не думал о плохом, как многие другие, зацикленные на негативе, и по ходу ухудшающихся вокруг настроений старался больше времени проводить с Лидой, которая помогала ему смотреть в будущее с оптимизмом.

Ощущение тревоги накатило волной неожиданно, где-то часа в три, когда закончились занятия в университете. Сегодня он с Лидой не встречался, возвращаясь после лекций домой. Совершенно случайно выбрав нестандартный маршрут (о случайности чего он задумывался потом не раз), Димка вышел из автобуса за два квартала от своего дома и дальше пошёл пешком. День оказался солнечным, улица улыбалась в ответ, но ощущения беды уже витали в воздухе. Нервы не зря напружинились нехорошим предчувствием, и первые же вестники трагедии заставили его узнать, что такое ужас, в полной мере.

Неожиданно где-то рядом раздался треск и сумасшедшей силы грохот. Земля под ногами дёрнулась, он даже не заметил, что вздрогнул. Вырвавшийся откуда-то из-под низу демон заставил его присесть, расставив руки в стороны, а милая картина залитого светом пролеска закачалась вдруг, заваливаясь попеременно вправо и влево, так что мир вокруг предстал в каком-то жутком фантасмагорическом виде. Откуда-то с задержкой долбанул в голову сильный рык, повисла в воздухе сбитая с поверхности пыль, посыпались камни и через мгновение густыми клубами над деревьями стал скучиваться и подниматься вверх серый ядовитый дым. Как-то незатейливо в первую секунду взвизгнула сирена и сразу же затем умолкла. Вместо неё криком раздалась какая-то женщина: может, ей стало страшно, может, она что-нибудь сломала. Её жуткий вопль время от времени разносился по округе, но так и не дал понять, откуда он исходит точно. Медленно возвращалась реальность. Последствия очередной катастрофы уже бросались в глаза: он с ужасом стал различать исковерканную впереди дорогу и разбросанные тут и там в разных положениях трупы людей.

Первые минуты продвижения дались с трудом. Прибитые ударом конечности находили опору по наитию. В ушах звенело; забитые плотными пробками, они почти не различали никаких звуков. Он машинально крутил мизинцами и давил ими на барабанные перепонки, когда, ошарашенный действием наружных сил, пытался вернуться в мир полноценной личностью, а не очумевшим тюфяком, которого стукнули по голове лопатой. Но последствия взрыва, постепенно открывавшиеся его взору, давали понять, что лучше бы ему видеть всё это неосознанно.

О силе взрыва можно было только предполагать. Воронка развороченной земли зияла чуть дальше, а перед ним находились развалины строений и, будто поломанные сильнейшим ураганом, упавшие стволы деревьев. Ближайший из разрушенных домов, похоже, спас его от взрывной волны. В нём было что-то живое, поднимавшееся с дымом среди разрушенных стен. Элементы интерьеров проступали наружу, порождая ощущения уютной домашней обстановки, одномоментно уничтоженной какой-то неестественно мощной силой. Испуганный кот, весь в пятнах то ли от грязи, то ли действительно присутствующих в его окрасе, силою обстоятельств оказавшийся в последний момент вне жилища, сновал вокруг, инстинктивно помня место своего обитания, но не находя на пересечении мысленных координат ничего похожего. Он был также оглушён взрывом и, не соображая, что делает, перебегал с одного места на другое, тараща глаза на образовавшиеся завалы.

Дух войны наполнил собою всё пространство. Спотыкаясь, Димка побрёл вперёд, огибая попадавшиеся на пути препятствия. Он не знал, спешить ли ему к своему дому, потому что видел уже неузнаваемые контуры того, что было на его месте, и с ужасом начинал понимать: шандарахнуло именно где-то там.

На секунду нависла тишина, никаких шевелений. Только дым, начинавший застилать округу, будто накатывал с каким-то глухим гулом. Бесконечный звон в ушах перебивал теперь любые звуки, издалека доходящие до его сознания. Обнаружилось, что он не слышит своих шагов, не различает падающей со стен каменной крошки. Болела нога, он увидел кровавое пятно на штанине и небольшую рану, которую, остановившись, наскоро перевязал платком. По-прежнему никого из живых не было видно. Обойдя разрушенный дом, он глянул на груду камней и замер.

На земле лежал человек с перебитым упавшим столбом позвоночником. То место, где на тело свалилась глыба, было смято вместе с костями в лепёшку. Из-под камня торчала верхняя часть туловища. Раскиданные в неестественном положении ноги, возможно, даже отделённые от тела, находились с другой стороны столба, под которым растекалась кровавая лужа и торчали ошмётки мягких тканей. Распростёртые на обломках руки с искривлёнными пальцами, открытый рот и кошмарного вида гримаса на лице словно ввели Димку в ступор. Он уставился не шевелясь на изуродованный труп, и ему стало страшно оттого, что такая же участь ожидала или постигла кого-то из его родных. Странная изнанка смерти, представлявшей на примере кого-то только жуткое зрелище, начала скрести его изнутри изуверскими страданиями. Лишь только он увидел в ней муки близких ему людей и собственные утраты, у него закружилась голова, а к горлу подступили тошнотворные позывы. Пришлось опереться о ближайший ствол. Он смотрел только под ноги, пытаясь уйти от действительности, повернуть голову туда, в сторону своего дома, у него не было сил. Тело управляется желаниями или инстинктами, но когда начисто лишаешься воли, оглушённый мощью обстоятельств, бессмысленно требовать от него повиновения.

Мимо пробежал чумной, скрывшись в пустом пространстве. Димка вряд ли мог сказать, через какое время после этого поднял голову. Он уже шёл, или брёл, перешагивая камни и огибая другие препятствия. Ускоряясь, увидел наконец некогда залитую светом поляну, изменившуюся теперь до неузнаваемости. А груда бетона и стекла, наваленная там, где недавно стоял их роскошный дом, явно указывала на то, что именно здесь находился эпицентр взрыва, потому что от строения не осталось ни одного целого угла.

Обломки были раскиданы по сторонам на десятки метров. Растения поломаны и прибиты к земле. Он наткнулся на осколок раковины, удивившись поначалу хламу, валявшемуся на их территории. Отчаяния пока не было, он ожидал его с минуты на минуту, но жуткий стук сердцебиения возвещал уже о начале тех трагических последствий, которые он должен был пережить.

Отец вроде находился дома, если никуда в этот момент не уехал, у него сегодня выходной. А спастись после такого вряд ли можно. Димка разглядывал развалины, ошарашенный картиной бедствия, исковерканного пространства его мирных будней, и неожиданно метнулся по обломкам в самый центр бывшего жилища. Ему показалось, что он слышал стоны, доносящиеся откуда-то из ближайших мест. Забравшись на огромную плиту, он прислушался.

Непрерывный звон в ушах мешал сосредоточиться, тонкие звуки определить не удавалось, да и непродолжительные прочие терялись в какофонии травмированного сознания, отчего он напрягался, опуская голову ниже, стараясь различить хоть какие-нибудь свидетельства присутствующей жизни. Снизу веяло теплом и гарью. Пламени нигде не было видно, так что причина запаха была в чём-то другом.

Он перебегал с места на место, исследуя каждый проём и щель, просовывая в пустоты руку с фонариком, который предусмотрительно всегда носил с собой. Измазавшись, хромая на ушибленную ногу, он старался не упустить время. Если ему не показалось, отец был где-то здесь, совсем рядом, возможно, в каком-нибудь метре от поверхности. Его мучила собственная беспомощность, уже теперь его снедала мысль, как до него добраться.

Димка увидел его в дальней части развалин: отец лежал на спине в узкой щели между двух плит. На отдалении полутора метров из темноты на него смотрели широко раскрытые глаза. Димка старался светить чуть в сторону. Раскрасневшееся лицо отражало неимоверные потуги в сдерживании навалившейся на него сверху тяжести.

– Пап, я сейчас, я помогу.

Засуетившись, Димка вскочил на ноги, попробовав приподнять огромный кусок плиты, но тот оказался чрезвычайно тяжёлым. Непроизвольно дёрнувшись туда-сюда, он замер на месте, усиленно соображая, что предпринять. Потом обнаружил в стороне какую-то доску, сбегал за ней и, подсунув конец между плитами, попытался приподнять верхнюю с помощью рычага. Ничего не получилось, та не поддавалась никаким усилиям. Он снова бросился на землю, в тупой надежде стремясь дотянуться пальцами до отца. Затем просунул ему палку.

– Попробуй взяться за конец, – в отчаянии предлагал он.

Но руки родителя, похоже, были травмированы. Ближайшая к нему сильно подвернута и заведена за спину, другую Димка не видел и понял, что отец не может пошевелиться.

– Потерпи, я сейчас найду помощь.

В ответ ему был всё тот же полустрадальческий-полуотрешённый взгляд.

Димка поднялся, по телу пробежала нервная дрожь. Посмотрев по сторонам, он только вдалеке увидел двух копошившихся возле груды мусора людей.

Куда все подевались? Впрочем, район их был малонаселённый, на самой окраине города, жителей тут действительно было немного.

Он вдруг вспомнил про телефон. Слава богу, цел. Димка набрал номер службы спасения:

– Алло, у нас взрыв! Человек в завалах, срочно нужна помощь!

На другом конце уточнили адрес, сказали, что спасатели уже выехали и просили подождать.

– Я не могу ждать, мне нужен кто-нибудь сейчас!

Бархатный женский голос попытался его успокоить, выясняя обстановку и подсказывая, каким образом нужно действовать в данном случае. Глупые советы, казалось, отнимали только время. Он отключился, не дослушав.

– Сейчас уже приедут, они в пути! – кричал он, опускаясь на колени и заглядывая в исходящую страданиями щель.

Жуткое лицо, пропускающее сквозь себя едва заметную ухмылку, неподвижно зияло в глубине пространства, не реагируя ни на свет, ни на его дёрганые движения, когда он вставал и падал, всё пытаясь протиснуться к нему поближе.

Димка снова взялся за доску, прилагая неимоверные усилия, чтобы хоть на миллиметр приподнять плиту и сдвинуть её с места.

– Пап, я стараюсь. Потерпи ещё немного. – Из глаз, мешая, текли слёзы.

Осознавая всю тщетность своих попыток, Димка, тем не менее, продолжал суетиться, одну мысль ничего не делать воспринимая как преступление. Он знал, что не поможет ему и уже вряд ли успеют спасатели, которым тоже необходимо некоторое время на подготовку работ. В последний момент возле тела отца обнаружилась свежая кровь. Димке даже показалось, что плита чуть просела, а из-под неё раздался едва различимый хруст, мысли о причинах которого, занятый спасением, он гнал от себя прочь. О сломанной грудной клетке отца, о том ужасе, который пережил он, сдавливаемый мощным прессом в районе рёбер и черепной коробки, Димка узнал позже. Как и вспоминал о том, что сам пару раз пробегал по этой плите во время поиска, может быть, добавив к критической нагрузке сверху и свою маленькую йоту непреднамеренности. Сейчас он изо всех сил только налегал на рычаг, он отрывал на рубахе пуговицы, кряхтел и тужился, потому что чувствовал, что если остановится, то не простит себе этого никогда. Рьяной продолжительностью своих в общем-то бессмысленных стараний он пытался подавить в себе приступ отчаяния. И пусть его крохотная доля противодействия ничего не решала, он должен, просто обязан был что-то делать, поскольку со всей очевидностью понял, что привязан к отцу любовью.

В этих потугах он видел всю свою неправоту, глупую наивность и страстное желание забыть теперь всякие разногласия между ними. Реальной тенью лик смерти показался между плит и махнул перед Димкой своей безжалостной косой. Он не мог сдержать неосязаемое, поэтому имевшиеся в его распоряжении силы бросал и бросал против вполне ощутимого, убийственно грозного веса камня.

Послышались первые сирены. Через несколько минут подъехала спецтехника, забегали люди, загудело оборудование. Он помнил, как показал пальцем на роковое место и больше туда не смотрел. Его отвели в сторону, задав несколько вопросов, усадили в какой-то фургон. Молодая дама с правдивой чуткостью во взгляде пыталась его успокоить, внушая последовательно жизнеутверждающие мысли, так что он невольно представлял себе остальных, тех, кого знал и ценил, в кого верил, несмотря ни на какие беды на земле. Таких оказалось немного, но, отойдя от него, она оставила впечатление, что верить надо во всё человечество.

Он не поворачивал головы, однако до него доносился шум разбора завалов, команды, комментарии работников, будто специально подбирающих точные слова, чтобы досконально описать свои действия. Или ему так казалось. Он боялся туда смотреть. Детальное воспроизведение картины происходящего шло само собой, в воображении, с необходимыми дополнениями и нюансами, рисующими в голове весь ужас открывшегося зрелища.

Вот поднимается плита, и взору предстаёт расплющенное тело отца. Явно деформированные части скелета торчат во все стороны. Кровь пропитала одежду, отпечаток месива оставлен на обеих поверхностях сжатия. Чтобы поднять труп, не за что взяться.

Его терзали мысли о собственной вине перед отцом, вдруг навалившиеся на него ошеломляющей тяжестью. И вместе с ними охватившее его оцепенение, из-за чего он не мог пошевелить даже пальцами, заставляло смотреть в одну точку, будто собравшую в себе все боли современного дикого мира.

В кармане завибрировал телефон. Звонила мать.

– Дима, ты где? Там передают что-то ужасное о нашей улице.

– Да. – Слова утопали в спазмах, говорить удавалось с большим трудом. – Я на месте…

К горлу подступил ком, и по щеке скатилась крупная слеза.

Лида была рядом. Она сидела с ним вторые сутки, тихая, органичная, будто отбирая через касания часть его мук себе.

Не хотелось ни есть, ни пить. Ни говорить, ни двигаться, ни моргать. Глухие стуки и бормотание за стеной заменяли собою всё пространство вокруг, и, кроме Лиды, он никого сейчас не видел. Она являлась его зримым продолжением, оказывая ему столь необходимую теперь молчаливую поддержку.

Он лежал на кровати, укрывшись пледом, она читала у окна, изредка бросая на него тревожный взгляд, готовая исполнить любое его желание. С того момента, как мать ушла в комитет по делам пострадавших, он не двигался. Колебались в голове только мысли. Его охватила усталь, и воспоминания беспорядочно и нудно пробивали дорогу к свету.

Их поселили в комнату в какой-то дешёвой гостинице. Лида предлагала на время перебраться к ним, но он отказался, не представляя себе, как со своим горем жить среди чужих, хотя и хорошо знакомых ему людей. Был вариант устроиться у Лиды только ему, а мать смогла бы пожить у своей сестры в другом конце города. Но Димка опять же не захотел её бросать, чувствуя, как они нужны сейчас друг другу. Волной навалившиеся проблемы растворялись в безумной тоске по былому. Казалось, судьба допустила резкий скачок, после которого образ жизни, быт и даже мысли должны измениться кардинальным образом. Прежнего уже не будет никогда, а тот разрыв в отношениях с родителями, который он втайне от Лиды обдумывал последние месяцы, исполняется уж слишком жёстко, по сценарию, написанному самым бездушным сочинителем.

Когда он думал об этом, его одолевала невообразимая гамма чувств. Печаль и злоба, боль и отчаяние попеременно или разом давили на сердце, заставляя вспоминать все перипетии его прошлой жизни, ещё не выискивая в ней поводов для раскаяния, но добавляя самые грязные оттенки в уже сложившееся мнение о себе. Его мучило то, насколько он предстал перед образом отца достойным или недостойным. Он удивлялся теперь собственному поведению. Как в тишине и безмятежности в общем-то милого их существования мог восстать его воспалённый неистовством рассудок? Сколько гадостей он успел наговорить в адрес родителя! Да если и не говорил, то позволил прочитать в своём поведении перед ним, которое отец мог разобрать до мельчайших нюансов безошибочно. И в общем-то жизненное кредо отца, если подумать, совсем не отражалось на его любви к Димке, в чём-то своеобразной, но всё же тёплой, душевной, открытой. Только сейчас, по итогам расставания, пронзительно звонко зазвучал назидательный тембр родителя, наверное, имеющий право на существование, содержащий в себе столь же важную, сколько и язвительную суть. Пришло понимание того, что должно было восприниматься по умолчанию. Любви в отце было больше, а ненависти не было вообще. И в этой связи кичливой позой обладал только он, Димка, а отец если и был к нему несправедлив, то только лишь по части собственной интерпретации Димкиных проблем. Он с ужасом думал, как ему придётся теперь жить с этой недосказанностью в их отношениях, чего уже не исправить, и сквозь лавину эмоций всё более отчётливо, прямой и косвенной, приходило ощущение его личной вины в трагедии.

Десятки раз он вспоминал, как останавливался на той сумасшедшей по тяжести плите, в то время как внизу мучительно долго умирал сдавленный прессом отец. Его глаза, вылезавшие из орбит, молили о помощи. Яркая полоска жизни, которую отец видел в последние мгновения совсем рядом, почти в метре от себя, наверное, отражала всю прелесть окружающего его мира. Она отражала всю любовь, которой ему так не доставало со стороны Димки. Отец вправе был на неё рассчитывать, и, чёрт возьми, может, следовало сказать что-нибудь об этом в такую минуту? Что толку было от Димкиной суеты, но он и взглянул на отца всего пару раз мельком, не попросив у него прощения, не успокоив его, а только ганашась бестолково, как всегда и во всём раньше. В отношении отца Димка так и не сумел сконцентрироваться на главном, возможно, для этого ещё не пришло время, однако безумно горько сознавать, что уже не будет вариантов поддержания их дружбы. Такая непростая связь его душевной ранимости и матёрого жизнелюбия отца навсегда останется в ряду несбыточных надежд.

Тяжёлым укором легли на сердце последние доносящиеся снизу хрипы. Боже праведный, а вдруг отцу показалось умышленным его идиотское скаканье по плитам, когда тот не мог уже различать ни причин ни следствий происходящего! Вдруг он заметил в Димкиных действиях хоть каплю затаённой по отношению к нему ненависти! С какими чувствами он сейчас смотрит на него, не веря его мукам и терзаниям? Но ведь тогда и злобу, способную выплеснуться таким способом, можно представить как ожесточившую Димку до умопомешательства. Неужели в последний момент в голове отца мелькнули подобные мысли? Как горько осознавать, что определяющими в его представлениях о сыне стали существовавшие между ними разногласия. И нет возможности поправить положение, и никакое страстное признание уже не принесёт облегчение в его душу. Он, будто живой укор, вместе со своими чувствами навсегда останется в памяти, недосягаемый для ответных слов и знаков, бередя сердце неприятными о нём, Димке, домыслами.

Мир оставался прежним, вокруг ничего не изменилось, и Димка переводил свои душевные терзания в плоскость внутренних процессов, всегда дополняющих чувства редкими оттенками. Вероятнее всего, не посещавшие его доселе мысли о Боге были где-то рядом. Он не касался их по молодости, увлечённый обычными юношескими заботами, однако до сих пор чуждая его интересам тема вдруг всколыхнула глубокий пласт переживаний, заставив почувствовать незримую связь наружных знаков с формирующей их потребностью к жизни. Ведь не случайно же, думал Димка, его доводят до отупения мысли о собственной вине, об упущениях, ничтожных выдумках, проступках. Не напрасно же он утешает себя раскаянием, которого не знал до сих пор, поглощённый в основном обидами. Ощущение неприятности от того, что осталось в памяти умирающего в последние минуты, от его горести, досады, сожалений, наверное, это и есть вера. Тонкая связь с живой материей, никуда, как известно, не исчезающей. Связь, которая воплощается через идеи и поступки в зависимых от неё тривиальных особях. Она достаётся с любовью и, перетекая в душевные пространства, привносит те особые заботы и тревоги, которые по-настоящему роднят нас с другими. Наверное, это и есть вера. Вера в то, что постоянно вам будет упрёком, невидимым жестом, вестью оттуда, из бескрайних высот обитания, откуда глядят на вас милые сердцу глаза.

Он повернулся на спину, похоже, очнувшись от летаргического забытья. Лида погладила его взглядом, готовая вскочить по первой его просьбе. То, как она умела воздействовать на него расслабляюще, ощущалось теперь в полной мере.

Стремление противостоять тоске, пока он не мог пошевелиться и заговорить, постепенно набирало силу, питаемую лёгким принуждением Лидиного вмешательства. Он вновь её любил, глядя на её добрые руки. Когда она рядом, он знал, никакое горе не способно лишить его человеческих радостей.

– Иди домой, – заботливо проговорил он. – Тебя, наверное, ждут.

Она не хотела его оставлять:

– Мне так спокойней.

Дивное миролюбие её домашнего вида вновь напомнило ему о мгновениях их безмятежного счастья.

Он ей поверил, Лиде действительно было с ним спокойней. Более того, он сам ощущал, как утихает в её присутствии боль, как переключаются на что-то обнадёживающее мысли и его ответная реакция, даже невидимая, заслуженно одаривает её благодарным откликом, вселяя в неё такую нужную веру в человеческое участие. Он прекрасно понимал, насколько велико значение её присутствия, и поэтому, подталкивая её к противоположному решению, всё время умолял про себя, чтобы она его не слушалась. Видимо, напасти судьбы, которые в трудную минуту изменяют отношения, угадывались им безошибочно, и даже по поводу Лиды он мог испытывать – печальное следствие его мнительности – уколы отдалённого предчувствия. Однако то, с какой готовностью она взяла на себя функцию хранителя любви, с какой бережливостью в такие трудные дни отнеслась к их взаимодействию, окончательно отбросило все его опасения, и он начал ощущать рядом с собой основу настоящего, всеобщего человеколюбия.

– Может, поедим? – спросила Лида. – Я принесла кое-что.

– Давай.

Он уселся на кровати, скрестив ноги и накинув на плечи байковое одеяло, как будто в комнате было холодно. На самом деле его ещё не оставляло желание как-то отгородиться от мира, уйти в глухую интимность собственных чувств. Он машинально кутался и отворачивался. Лида дала ему бургер и чай в стаканчике.

– Чай уже остыл, – сказала она.

– Ничего, и так хорошо.

Она присоединилась к нему, умудряясь откусывать от толстого бутерброда маленькие кусочки. Димка же ел с аппетитом, грузно выдувая воздух из широко распахнутых ноздрей. Видно было, что он проголодался. Хотя в отдельные моменты машинально работающие челюсти заставляли думать о его полном безразличии к вкусовым качествам пищи.

Вниз упала крошка, он принялся искать её в складках одеяла. Лида нашла первой, и он схватил её за руку. Они встретились глазами, продолжая жевать, пытаясь нащупать привычную связь, изысканно облучая друг друга волнами переживаний.

Сейчас ему было трудно кого-то любить. В голове стояла одна и та же картина, а мысли всё время отсылали его в прошлое. Отец присутствовал теперь в любых его действиях, во время любых разговоров, и он даже боялся контактировать с кем-либо, словно был подвергнут опасному вирусному заражению. Разжав её ладонь, он взял хлебную крошку и положил себе в рот. Мрачная отрешённость сквозила в этих действиях, однако от Лиды не ускользнуло промелькнувшее в них милое шутовство, и она с облегчением отпустила его в поток гнетущих воспоминаний, не особо наседая на него успокоительными речами.

Протянув руку, она взяла со стола пластмассовую тарелку и подала ему:

– На вот, возьми. Чтобы не крошить на одеяло.

Это помогло. Как только он подставил посудину, вниз повалились куски булки и огурцы. Посмотрев на Лиду, он на секунду замер с набитым ртом, словно оценивая отражённую в её глазах картину, и после как ни в чём не бывало продолжил перемалывать бутерброд, не придавая значения своей неаккуратности.

Потом они молча предались расслабленности. Она положила на стол недоеденную булку и легла рядом с ним. Димка приткнулся к ней плечом. Стало легче дышать, спокойнее. Что-то тихо возвестило ему, что степень родства схожих душ распространяется и на неё тоже. Как обычно, он ощутил нежную сущность её женского начала, безоговорочно трогающего его за самое живое. И вместе с тем нудная, тяжкая озабоченность его несуществующей виной стала отступать на дальний план, открывая горизонты всему многообразию жизни, в которой, безусловно, найдутся ещё яркие, неповторимые моменты. Она как будто думала о том же самом, отчего её присутствие сейчас нисколько не обременяло. Наоборот, оказалось желанным. Её чудный запах, особая лирика настроения, которой она владела неосознанно, позволяли чувствовать её в любую минуту, как только отвлечённое чем-либо его зависимое эго получало команду повернуться к ближнему лицом. И теперь, вдоволь насытившись горечью утраты, он прикоснулся наконец к живому существу, великим предначертанием оказавшемуся Лидой, и сто сердец его запели прежним сладкозвучием, оголяя струнки беспримерной выразительностью звучания. Он потянулся к ней, жаркие страсти их влечения, когда-то сделавшие своё дело, вновь обросли ароматом большущего личного счастья.

– Ты любишь родителей? – неожиданно спросил он.

Лида поняла, что он что-то держит в себе помимо своей воли.

– Да, конечно.

– Я всё думаю, почему это с нами случилось.

– Ты не мог всего знать.

– Если бы дело было только в знаниях...

Она не поняла:

– А в чём ещё?

Он замолчал, то ли собираясь с мыслями, то ли вообще не имея намерений разговаривать. Как всегда, выразительные глаза его вмещали целый океан неразборчивых чувств, лишь в представлении незнакомых с ним людей обозначающих леность натуры, но на самом деле рисующих глубокую бездну очарования.

– Я много раз видел сны, похожие на правду, – заговорил он. – Там были люди, солнце, чистый воздух, всё как в реальности, никакой сказки или фантасмагории. Вот только отношения между людьми представлялись какими-то театральными, скорее даже анекдотическими, словно выделяющими отдельные, наиболее характерные нравы. И среди них был я. Я сам как бы со стороны – согласись, видеть себя со стороны довольно необычное явление. Ты как будто выступаешь одновременно в двух ипостасях: объекта и субъекта наблюдения. Очень завораживающее зрелище, надо сказать. Мне поначалу было интересно, потому что я про себя думал одно, и чувствовал одно, а мой герой, с моим лицом, манерами, действовал совсем по-другому.

– Может, всё-таки это был не ты?

– Хотелось бы верить. Он постоянно давал повод усомниться в этом, он был близок к этому, поскольку ни за что я не смог бы совершать такие гнусные поступки, которые он допускал. Но когда я сам от его лица поднимал на людей руку… Понимаешь, с той стороны в меня вдруг вселялась озлобленность. В среде светлых поэтичных настроений творилось нечто странное. Откуда-то бралось насилие: среди бела дня, в кругу не помышляющих ни о чём плохом знакомых. И поскольку я это видел, наверное, оно мне было нужно. Я не думал о себе. Там, во сне, так ли уж я безупречен? Я только чего-то где-то совершал. И скорее всего, из-за подобных моих действий страдали другие, но там ничего не чувствовалось. Они сразу все исчезали, те обиженные. Оставался только я как идея и я как воплощённый в костях и тканях милый человечек, который бредёт по свету в неизвестном направлении. Бывает, он останавливается на холме или в мрачных заведениях, сходится с людьми, приветливо им улыбается, разговаривает с ними о забавных пустяках, делится своими наблюдениями, выслушивает их рассказы, весело шутит. Его устраивает всё вокруг: и быт, и нравы, и обстановка. Он воспринимает мир как благо, поскольку разнообразия вокруг намного больше, чем его чувств, и они всегда ведут к открытиям, что, несомненно, радует. Только подумай, вечная тайна любви, не имеющей границ. Сладкая мечта, которая окутана переживаниями строптивого нрава. Яркий огонёк надежд. Надежд, что осветляют самые зачерствевшие от соприкосновения с грубым наждаком души… Но вдруг проявляется в такой тиши и благости моё зловещее лицо. И вот тогда всё становится на свои места. Вот тогда там, во сне, только ещё начинаются фантазии.

– Ты слишком много всего накручиваешь.

– Но это сон! Я ничего не придумываю. Я только не понимаю, почему я там противен сам себе. Можно было бы сослаться на надуманность сновидений, но я говорил, всё выглядит настолько буднично, что иногда повергает меня в шок. Я словно живу двойной жизнью. Я издеваюсь над людьми, заставляю их испытывать душевную боль, что не доставляет мне никакого удовольствия. Просто является констатацией факта, доходящей до меня в такой момент, когда исправить уже ничего нельзя. И в следующий раз всё то же самое… Но более того, я видел, как бреду в темноте по крыше и вдруг понимаю, что оказался на краю пропасти. Это узкая перемычка, на которую я зашёл неизвестно каким образом и продвинулся вперёд на довольно приличное расстояние. И вперёд и назад идти страшно: нутром чувствуется дыхание бездны, заставляющее каменеть мышцы, видеть спасение в любой мало-мальски значимой опоре. Нас двое: я и какой-то вдруг приятель. Оба напуганы близостью конца. Его лица я не вижу, но хочу верить, что никогда раньше я его не встречал. Очевидно, и ценность моего с ним соседства в данную минуту определяется только наличием объекта, за который можно в крайнем случае ухватиться. Но поддерживать равновесие вдвоём ничуть не безопаснее, чем самостоятельно: есть упор, но и появляется дополнительный, не зависящий от тебя риск быть сброшенным с высоты. Не помню, кто из нас качался больше, но в какой-то момент я потянул его вбок. Я устоял, а он свалился вниз. Просто, без лишнего шума, скрылся в черноте и больше я его не видел. Потом я проснулся…

Он протяжно выдохнул, будто отделался от самой неприятной части повествования, однако чуть позже продолжил в том же духе.

– Наверное, ужасно, когда ты пользуешься любой попыткой спастись, когда ни о чём не думаешь и только подвластен инстинкту самосохранения. Когда отключены все нравственные критерии поступков, остаются только простейшие эмоции и среда их проявления. Этот эпизод остался бы незамеченным – мало ли что снится по ночам, – если бы уже в следующий раз я не подвергся анализу произошедшего. Веришь ли, я вернулся к прежней сцене, будто и не было перерыва на дневные дела. Моё положение осталось прежним, словно в новой серии фильма, начавшейся с небольшого куска предыдущей. Тот встречный поневоле стал жертвой моего страха. Не помню, как я оказался на земле, но неприятные мысли уже вовсю терзали мою душу. Казалось, они текли в полном соответствии с реальными представлениями жизни. Я был ошарашен случившимся. Я презирал удачу, меня не устраивало счастье за счёт других. Десятки схожих сцен, представляющих мои боязни, выстраивались в некую тенденцию – явную характеристику вины, вины, не подкреплённой силой духа. А доканало меня известие, ставшее главной новостью, ради которой, вероятно, и затевался этот сон. Проблуждав в потёмках, я вернулся домой и узнал, что ночью кто-то сбросил с обрыва моего отца.

– Димка, перестань. Не бери в голову. Это ты сейчас только начинаешь вспоминать всякие небылицы, подгоняя их под факты. На любое бедствие найдётся предсказание, и мы бессильны перед прошлым: в нём всегда видятся только досадные упущения.

– Если бы ты знала, как тяжело. – Он закрыл лицо руками.

– Ничего. Всё пройдёт. Постарайся думать о другом.

– Я не могу.

Она придвинулась к нему вплотную. Теперь будто и её касалась безмерная тоска, напавшая вдруг летаргическим безволием. Приходилось сопротивляться, но, как никогда, ей хотелось его жалеть.

– Ты должен думать и обо мне тоже. Мне без тебя никак, ты мне нужен. Каким бы ты ни был, я хочу быть с тобой. Я так долго ждала, когда ты станешь моим, что уже не в состоянии смотреть, как ты страдаешь. И мне становится больно, оттого что я ничем не могу тебе помочь.

Он снова повернулся на бок к ней лицом. Помолчали.

– Знаешь, – продолжала она, – а мне всегда снятся красивые сны. Лёгкие, воздушные. Я многое не помню, но просыпаюсь обычно с таким ощущением, будто побывала в сказочной стране. Это помогает. Мне почему-то кажется, что всё меняется только к лучшему.

– Ты сама сказочная, – почти мечтательно провозгласил он.

– Разве?

– Вернее… такая художественная. Ты чем-то трогаешь и проникаешь в сознание.

– А как ты проникаешь, не стоит даже упоминать.

Лида принялась рассказывать ему о своей работе на кафедре, о науках и про тех лиц, которые преподают. Он закрыл глаза, а она старалась отвлечь его от неприятных дум. Ей казалось, он слушает её через силу, но через некоторое время его ровное дыхание возвестило о том, что старания девушки не прошли даром.

Похоже было, что он спал. Ей очень хотелось при этом, чтобы его сон оказался спокойным.

**9**

Напряжение нарастало, и, поскольку становилось очевидным, что в стране есть более безопасные места, городское жители начали спешно разъезжаться. Властям уже никто не верил. Представленные в качестве пойманных террористов несколько уголовников только усложнили ситуацию. Ибо власти, пытаясь успокоить общественное мнение, допустили главную ошибку, потеряв чувство реальности. Потакание настроениям масс часто приводит к обратному результату, если делается непрофессионально. А где они, нынешние профессионалы? Где их управленческий стержень? Люди смекнули, что их обманывают, и в критический момент, как и следовало ожидать, повернулись к руководству задом. Да и друг к другу тоже. Жители брали отпуска, уезжали к родственникам или просто в другие города. На вокзалах заметно прибавилось народу. Пригородные трассы были забиты автомобилями. Телевизионные каналы опровергали слухи, но позитивной информации было мало. Складывалось впечатление, что они просто игнорируют факты, иногда скатываясь до откровенного вранья, впрочем, не имеющего уже никакого значения.

Никто не говорил, что бежит от опасности. Молчали, потому что самим было противно видеть, как рушится жизненный уклад, как беспомощно выглядят ещё недавние радетели порядка, на которых свалились, конечно, непомерные заботы, но которые и не смогли вовремя запастись нужными инструментами для борьбы. Шутки были натянутыми, народ не понимал, надолго ли всё это. Да и смысл происходящего, по форме напоминающего стихию, однако явно носящего рукотворный характер, предполагал, что он ставит в тупик не только обывателя. Тем не менее брали с собой только самое необходимое. Ещё оставалась надежда, что беды пройдут, злодеев покарают, а мудрость устроителей жизни ещё сидит где-то на дальней полке бытия, выжидая момент соскочить с неё да развернуться во всю ширь своих необычайных способностей. Люди будто отправлялись по делам – правда, удручённые, все разом, – но без паники, как всегда, кляня кого-то за подложенную им в очередной раз свинью.

Иные испытали уже боль утраты. Трудно понять, какие чувства одолевали их. Они видели обеспокоенные лица, тревожный маячок сознания, возвещающий о таком же захвате врасплох, но не могли пожелать другим удачи: слишком неуместным казался им излишний оптимизм. Растерянность – самое точное, что характеризовало направляющихся в сторону от города жителей. Они не могли объяснить детям, что это вдруг без видимых причин приходилось убегать в неизвестном направлении, ибо дети-то уж точно определяли панические настроения, которые порождала незримая угроза. Любые объяснения выглядели фальшиво, а сказать им правду никто не мог, потому что правды никто не знал. В самом деле не будете же вы сетовать на чёрта, сидящего у вас под полом и заставляющего без оглядки бежать из дома.

Таким выглядел непонятный исход в начале осени 20… года. Не стоит сомневаться, что некоторые уже дожили до проклятий в сторону власть предержащих. Немного надо для ощущения радости, однако так же легко испортить настроение до прямо противоположного. Однако если его испытывает масса не зависимых друг от друга людей, то это повод задуматься о более глубоких причинах происходящего…

Человек брёл без оглядки, поддавшись общему предчувствию надвигающейся катастрофы. Мимо катили машины, а он медленно переставлял ноги, тупо уставившись вдаль, будто не надеясь уже увидеть цель, к которой стремился. У него не было ни семьи ни дома, он был несчастен, и вроде бы чего уж теперь бояться мировых потрясений, когда жизнь давно не кажется прекрасной и минуло столько лет, когда он последний раз кого-то по-настоящему любил. Но мнимая солидарность с сообществом упрямо вела его вперёд, звала его в сторону будущего, и он, как многие из ныне здравствующих, боялся ужасов войны, хотел для себя покоя, своего личного покоя, который ассоциировался у него с тёплым ночлегом, сигаретой в зубах и добытым куском хлеба на ужин.

Он увидел в этом мире опасность и для себя тоже. Его влекло подальше от трескотни, и он жутко не хотел смотреть, как умирают другие. За себя он уже не сильно волновался, но за других ещё мог переживать нежно. Единственное, что его пугало, это невозможность оказать пострадавшему реальную помощь. Он чувствовал себя отрезанным ломтем, засохшим и покрытым плесенью, и не представлял себе, как даже приблизиться в случае необходимости к любому из этих удивительных людей. Порой казалось, что он не чужд ещё сердечной теплоте и вопреки здравому смыслу не ему нужна помощь, а эти люди, испытывающие страхи за свои семейства, должны принять его поддержку, его искренний в тоске по человеческому участию порыв. В противоположность жуткой внешности его душа ещё цвела пышным цветом, где-то глубоко в его глазницах ещё светился огонёк добра. Он выглядел убого и жил в глубокой нищете, но силою воображения тянулся ко всему светлому и, будто по памяти, продолжал ощущать привязанность к ближним. Словно укушенный любовью, он не воспринимал на себе презрительные взгляды. Он не знал, куда они едут, и, пока сами они, побросавшие в панике свои жилища, не ринулись потоком из города, совсем не принимал их боязнь за правду.

Человек шёл, отделённый от других скоростью движения. Он знал, чтобы увидеть его, им нужно остановиться, и сам не мог разобрать в пестроте проносящихся автомобилей конкретные лица. Однако мир не становился от этого более условным. Каждый отдельный водитель со своими спутниками вёз частичку его настроения. Общая тревога, какой бы она ни выглядела устрашающей, скорее успокаивала его, потому что только в ней он чувствовал себя равным среди равных. Он с удовлетворением вышагивал в ту же сторону, куда стремилась немалая часть жителей города. Они так же снимались с насиженных мест, и, хоть представления о бедах у него и всех остальных, вероятно, были разными, он нисколько не сомневался, что теперь-то причины их и его бегства должны совпадать.

На нём были потрёпанные штаны и куртка, за спиной болталась старая сумка, в которой, очевидно, имелись несколько малозначительных вещиц. Он шаркал по земле стёртыми подошвами, вслед за другими потихоньку уводя себя от прежней жизни. Он шёл за лучшей долей – где-то на новом месте, возможно, повезёт больше.

Мимо прокатил грузовик, заехав колесом на обочину и подняв облако пыли. Человек остановился. Немного подождав, пока рассеется образовавшаяся впереди завеса, он двинулся дальше, вглядываясь в перспективу и обнаружив резкий поворот шоссе в сторону. Теперь он наметил новую для себя цель, решив побыстрее туда добраться.

В особняке заговорщиков царило безмолвие. Ничто не указывало на проходившее в данную минуту совещание. И даже по заведённой традиции прописанная тут музейная тишина не исключала бы тарахтения двух известных Глебу Борисовичу стариканов и властные реплики главного участника сходки. Но за дверями кабинета не слышалось ни звука, что немного спутало его планы. В самом здании камер видеонаблюдения не было, поэтому он мог спокойно перемещаться незамеченным. Но отсутствие фигурантов заговора на месте вынуждало искать их по всему дому, возможно, по одиночке, что существенно повышало риск быть обнаруженным раньше времени. Если кто-то из них успеет подать сигнал опасности, ему крышка.

Глеб Борисович заглянул в кабинет, потом отошёл в сторону и бесшумно двинулся по коридору, проверяя соседние комнаты. Одет он был в чёрную спецназовскую форму, на голове маска, в руках пистолет с глушителем. Очевидно было, что любому гостю встреча с ним не предвещала ничего хорошего. Он быстро осмотрел ближайшие помещения и направился в восточное крыло здания.

«Где они могут быть? В библиотеке?»

Оглядываясь по сторонам, он осторожно приблизился к дверям библиотеки, которые оказались чуть приоткрытыми. Сквозь щель между створками, насколько позволял ракурс, он осмотрел обстановку в зале и посередине его увидел сидящего спиной к нему в кресле человека. Судя по всему, тот читал, находясь в одиночестве – во всяком случае, никаких других звуков изнутри не доносилось.

Глеб Борисович стремительно вошёл в зал, проконтролировав направления справа и слева: в помещении действительно, кроме них, никого не было. Над спинкой кресла торчала хорошо известная ему плешивина и уши с заправленными за них волнистыми локонами волос. Человек в роговых очках, услышав шум, видимо, хотел обернуться, но не успел: Глеб Борисович, недолго думая, выстрелил ему в затылок. Голова дёрнулась и завалилась вперёд, из пробитого в затылке отверстия потекла кровь.

Пуля вылетела наружу, раскурочив кости лица. Он посмотрел на залитый кровью живот, ошмётки носа, губ вперемешку с очками, некое подобие стратега, ещё недавно размышлявшего о сопутствующих его логике людских потерях, и удовлетворённо констатировал про себя: «Раз».

С первым из собравшихся здесь извергов было покончено. Оставались ещё двое, на ликвидацию которых у него имелось совсем немного времени. И если «шершавый голос» беспокойств не вызывал, то председатель их компании являлся деятелем другого сорта. Тот был всегда осторожен, коварен, являясь лидером нового поколения, знакомым и с правилами боя, и с правилами выживания.

Прислушиваясь к тишине, не доносятся ли откуда-нибудь из ближайших коридоров шаги, он поднялся по лестнице на второй этаж. Здесь было больше света, обстановка выглядела более располагающей. Очевидно, по бокам находились гостевые комнаты, часть из которых оказались запертыми. Не хотелось бы получить какой-нибудь сюрприз у себя за спиной, но он ещё не до конца обеспокоился затаившимся в укрытии возможным врагом и ещё имел основания полагаться в своей миссии на внезапность. Проследовав мимо второстепенных помещений, Глеб Борисович приблизился к комнате, которую занимал, насколько ему было известно, хозяин особняка. Возможно, они что-то изменили в планах, ожидая появления дополнительного лица или новых известий, но то, что все трое сейчас находятся в здании, он не сомневался. Скорее всего, разбрелись по дому, собираясь с мыслями в преддверии назначенного часа, и тогда ему придётся быть крайне аккуратным, чтобы не выдать своего присутствия до того, как со всеми троими будет покончено.

И всё же приобретённых им ранее навыков оказалось недостаточно, чтобы намеченная операция прошла гладко, без сучка и задоринки. Уже поравнявшись с входом в нужную комнату, он вдруг услышал у себя за спиной лёгкое шуршание, резко обернувшись и направив ствол на застывшего в изумлённой позе хозяина дома.

Мгновенно сообразив, что тут делает закамуфлированный гость с пистолетом в руке, тот стоял, онемев от испуга, видимо, первый раз подумав о том, что и его жизнь может оборвать какая-то предметная сила, а не болезнь, старость или прочие несчастья на седую голову. По выражению его лица, отражающего сожаление от прерванной сказки бытия, полных инфантилизма вытаращенных глаз, по виду его сутуловатой приземистой фигуры, так подходящей для доброго ворчливого старика, а не озабоченного масштабными изменениями политика, можно было представить, что он появился тут случайно и никак не связан с дерзкими планами, пренебрегающими жизнями других в угоду собственным амбициям. Будто он впервые осознал опасность, исходящую от вооружённых людей, склонных к насилию, поскольку не имел раньше случая увидеть их в реальной жизни – только в кино. Можно было действительно усомниться в правдивости произносимых им до сих пор слов: за ним пришли, а он был полон жалости, как не знающий мира ребёнок, забредший в наводнённый страхами лес. Или его прежнее существование являлось настолько беззаботным, а разговоры об утратах настолько лицемерными, что собственную кончину он никак не мог представить себе такой банальной, так буднично отводящей ему последнюю секунду, в которую он ещё мог чувствовать себя творцом истории. Одним словом, он изумился заставшей его врасплох смерти, глядя в глаза приговору, как невинное дитя глядит в глаза волку, не понимая, что его сейчас съедят.

Всего пару секунд прошло с того момента, как Глеб Борисович обнаружил за спиной объекта своей охоты, затем последовал выстрел. Раненный в сердце, тот мешком рухнул на пол и мгновенно умер.

«Чёрт, тихо не получилось», – испытывая досаду, подумал Глеб Борисович.

Теперь уже таиться не было смысла. Он заглянул в комнату хозяина и потом стал быстро осматривать оставшиеся помещения.

Неожиданно кто-то выскочил из туалетной комнаты, пуля догнала его в конце коридора. Ахнув, он упал на бок, извиваясь и пытаясь ползти. Глеб Борисович подскочил и добил его в голову.

Дьявол, это был не руководитель группы. Сколько тут может быть людей? Надо быстрее заканчивать.

Он пошарил по карманам убитого, найдя и забрав его телефон. По поводу известной ему троицы он побеспокоился заранее, перед тем как войти в дом, позвонив и приказав заблокировать все их номера. Но неожиданности могут теперь возникнуть на любом шагу. Если кто-нибудь сообщит о случившемся и его прямо сейчас начнут «вести» из центра, ему не скрыться.

Глеб Борисович рванул вниз к выходу и поспел как раз вовремя. Третий уже хотел было потянуть ручку тяжёлой входной двери на себя, чтобы выскочить наружу, но, видя, что, задержавшись даже на долю секунды, будет неминуемо убит, спрятался за выступ стены. У него был пистолет. Несколько раз он выстрелил, но промахнулся, и Глеб Борисович сначала ранил его в руку, а потом в грудь – полковник хорошо владел оружием.

Пистолет из рук заговорщика выпал, тот осел на пол, прислонившись к стене, и когда открыл глаза, то увидел перед собой чёрную фигуру в маске, деловито возвышавшуюся над ним, словно утверждавшую своё превосходство над легковесным и, в общем-то, беззубым смутьяном.

Но Глеб Борисович не испытывал удовлетворения. Он просто выполнил работу, которая в данный момент представлялась ему очень важной, лишь слегка заинтересовавшись образом этого лихого закулисного деятеля. Тот не потерял лица, глаза его всё так же бесцеремонно сверлили пространство, а тонкие губы вкупе со скуластыми очертаниями физиономии по-прежнему источали надменность, пренебрегая мелкими колебаниями души, не входящими в сферу понимания настоящих государственных воротил. Он уставился в прорези глазниц своего убийцы, досадливо ухмыльнувшись, прекрасно понимая, кто перед ним находится.

– Жаль, что не удалось с вами вовремя разделаться. Вы мне никогда не нравились.

– Взаимно.

– Но вас ждёт та же участь. Одному вам не выжить.

– Я не один, дура.

Он наставил ствол пистолета ему в лоб и спустил курок. Великий заговорщик так и остался сидеть с открытыми глазами, склонив голову набок, рассматривая уже совсем иные чертоги Вселенной. Теперь можно было сказать с полной уверенностью: зона влияния страшной троицы сузилась до самых незначительных размеров, если считать потусторонний мир неким продолжением существующего. Он сделал всё правильно. Во всяком случае, ограничив распространение столь неприкрытого, ярого зла, он может с облегчением вернуться к собственным правилам жизни – не таким грубым и циничным, чтобы противопоставлять себя разумному человечеству по всем аспектам сразу.

Он ещё раз обошёл здание, осмотрев все без исключения комнаты и закоулки. Похоже, там никого больше не было. Однако чтобы убедиться в этом окончательно, времени уже не оставалось, пора было сваливать.

Сев в автомобиль одного из участников сходки, в котором он сюда незаметно и прибыл, он подъехал к входным воротам территории и заглянул в домик охраны. Трое охранников по-прежнему лежали на полу в отрубе. Эти очнутся часа через полтора, когда он будет уже далеко отсюда, и никто из них не сможет сказать, кто сюда наведывался. Видеонаблюдение по всей территории отключено, аппаратуру он испортил и носители с записями изъял. На него, конечно, падут косвенные подозрения, но доказать они ничего не смогут, если кто-либо не озаботился сбором доказательств его деятельности заранее. Однако он тоже весьма предусмотрителен. Против своих потенциальных врагов ему есть что предъявить. Не зря он бессменно руководит проектом самой современной в мире слежки вот уже десять лет. С ним дружат и его боятся, и за это время ещё никто ни разу не пытался его подставить. Свалить его сможет только единая воля этих дегенератов, чего у них нет, они постоянно везде перестраховываются. Или его может убить отчаявшийся придурок, которому уже нечего терять, который не боится гнева полковника с того света с его многочисленным губительным компроматом. Но такое вряд ли возможно, им есть что терять. У каждого есть дети, родственники, активы, оберегать которые давно уже превратилось в смысл их жизни, даже представить о существовании без которых является для них невыносимой мукой. Такое существование для них выглядит материальной пустотой, которую они ничем другим заполнить не в состоянии. Поэтому опасаться ему особо пока что некого.

На том и базировалась его уверенность в собственных силах, которая помогала ему проворачивать серьёзные дела. Причём каждый раз он имел со стороны весомую поддержку: заручаться союзами, дабы иметь репутацию сговорчивого человека, было его принципом.

Уехав далеко в лес, Глеб Борисович сжёг одежду и автомобиль, а спустя несколько минут вышел на грунтовую дорогу. В намеченном месте его ждала другая машина.

**10**

Виталий работал над текстом аналитической записки, когда в дверях возникла секретарша шефа:

– К вам какой-то парень. Внизу на проходной.

– Хорошо, спасибо.

Спустившись на первый этаж, он увидел Диму Захарова, стоящего в сторонке и грустно рассматривающего улицу в окне. Появление журналиста ничуть не отвлекло его от собственных мыслей.

– Я всё знаю, мне рассказали, – вместо приветствия встретил его словами сочувствия Виталий.

– Этого можно было избежать?

– Вряд ли на подобные вопросы есть ответ. Я не могу даже предполагать, что произошло, потому что правду знают немногие, и даже их она, вероятнее всего, водит за нос.

Вернувшись из глубин самосознания, Димка сосредоточился на визави:

– Вы говорите загадками.

– Профессиональная привычка. За этим обычно прячут или нежелание раскрываться, или неумение вообще выразить то, что хочешь, доходчиво.

– А у вас теперь как?

– На твоё усмотрение… Если ты мне не веришь, можешь считать, что я пытаюсь сбить тебя с толку, чтобы ты был более податливым.

Несколько секунд юноша колебался, потом вытащил из кармана потрёпанную книжицу в серой обложке и протянул её журналисту:

– Вот то, что вы просили.

Виталий покрутил блокнот в руке, будто не ожидая, что тот окажется таким невзрачным и затасканным.

– Где ты его обнаружил?

– В куртке отца, которая осталась в машине.

– А машина?

– Оказалась припаркованной на улице.

– Странно.

– Мне тоже непонятно. Её перевернуло взрывом, но я успел в ней пошарить первым.

На некоторых листах выделялись прозрачные, в полстраницы, пятна. Жирные, что ли? Виталий быстро пролистнул блокнот, остановившись в нескольких местах и всматриваясь в написанные корявым почерком строчки. В основном там были имена и даты, названия препаратов на латыни и короткие заметки, очевидно, по поводу применения лекарств пациентами. Однако можно было смело сказать, что всё это писалось уже давно, настолько давно, что возникали сомнения в принадлежности блокнота самому академику.

– Может, есть ещё другой блокнот, я не знаю, – сказал Димка.

Виталий осмотрел книжку внимательнее, словно прикидывая её раритетную стоимость:

– Да нет. Скорее всего, это и есть то, что я хотел видеть.

– Вам это поможет?

– Надеюсь. – Он посмотрел на юношу с угадываемой в глазах благодарностью. – Я верну его через несколько дней, хорошо?

– Да, конечно. Можете не торопиться.

Парень ушёл, и с того момента Виталий не мог оторваться от оказавшихся в его руках записей ни на минуту. Ещё не поднявшись к себе, он начал перелистывать страницу за страницей, пытаясь запомнить имена и названия непонятных ему препаратов, а усевшись за стол, полностью углубился в перечни и комментарии, не отдавая себе отчёт, как они в будущем смогут ему пригодиться.

Но самое интересное ждало его в конце блокнота, чего он сразу, перелистывая страницы при юноше, не заметил. На предпоследнем листе была оставлена совсем не такая, как остальные, судя по всему, довольно свежая запись, состоящая из нескольких, расположенных друг под другом равенств и цифр:

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 0 = 1

1 + 1 = 0

7.15.3

8.

10.1. : 33 х 5 подряд

«Вот это уже интересно. Это должно означать нечто важное», – подумал Виталий, предчувствуя удачу и лишний раз убеждаясь в обоснованности своих догадок в отношении Захарова.

Записи заканчивались заметками о Канетелине, и данные цифры, вероятнее всего, академик получил от него. Каким образом, неизвестно, но для Захарова они, похоже, так и остались загадкой.

Виталий задумался над первыми четырьмя строчками цифр, мучительно вспоминая, где и когда мог такое видеть. Ясно, что это никакие не равенства, а некие правила преобразований. Да, точно, правила преобразований элементов двоичного кода при их сложении. И читал он об этом в основах теории криптографии. Пожалуй, это даже единственное, что он оттуда запомнил, поскольку ознакомился с книгой бегло, но, видимо, и Канетелин в своё время почитывал подобную литературу, раз умудрился применить на практике самое известное правило в шифровании посланий. Текст представляется в виде двоичных символов – например, нулей и единиц. Затем, применяя ключ в виде набора таких же нулей и единиц, они поэлементно «складываются» и преобразуются в шифровку, состоящую уже из случайного набора таких символов, который не поддаётся в обозримый промежуток времени обработке. А зная ключ, путём такого же обратного преобразования в любой момент можно вернуть исходный текст послания и таким образом хранить в тайне, но у всех на виду, любое сообщение сколь угодно долго.

Если в двоичные символы перевести просто буквы алфавита, то с применением современных вычислительных средств задача дешифровки текста заняла бы несколько минут, максимум часов – в зависимости от количества символов, задействованных в ключе на каждую букву. А так при использовании достаточно длинного ключа над расшифровкой можно биться долгие годы, поскольку на практике часто применяется ещё и многоуровневый способ преобразований.

То, что в качестве зашифрованного сообщения Канетелин использовал свой философский труд, по крайней мере часть его, стало очевидным само собой. Поразмыслив минут двадцать, Виталий почти уже не сомневался, что очень близок к разгадке тайны Канетелина, в которую тот превратил своё научное завещание. Физик был не слишком умудрён опытом тайнописи, хотя следовало отдать должное его изобретательности. Но попади эта записная книжка в руки компетентных органов, его послание человечеству было бы разгадано в два счёта. Впрочем, если бы не записная книжка… Где сам Канетелин хранил эти координаты, да и хранил ли их вообще где-нибудь, кроме как у себя в голове, неизвестно.

Забежав на минуту к шефу, чтобы предупредить об отлучке, Виталий рванул к себе домой.

Числа, записанные через точку, означали, скорее всего, местоположение нужного отрывка внутри книги. Номер раздела, номер статьи. А третье число… Ну, допустим, номер абзаца в статье. Что ещё может быть?

Войдя в дом, он не раздеваясь бросился к столу и вытащил из ящика увесистый том канетелинского сочинения. Теперь он почувствовал, что испытывает к нему настоящий интерес, который не шёл ни в какое сравнение с прежней пустой любознательностью. Долой иносказания, там должно быть зашифровано что-то стоящее.

«7.15.3». Он открыл седьмой раздел, нашёл в нём статью под номером пятнадцать и в третьем от начала абзаце прочитал:

*«Ключ к решению задачи именно в этом, и пусть кто-либо оспорит данный метод, не предложив до сих пор никаких других реальных инструментов».*

Да, похоже, так оно и есть, он на правильном пути. Короткий абзац – это ключ. «8.» означает весь раздел целиком. Наверное, там и скрыта вся полезная информация. А запись «10.1.:33 х 5 подряд» говорит о том, что в десятом разделе в первой статье забит перевод расшифрованного двоичного кода снова в буквы.

Тридцать три буквы алфавита: от «а» до «я». Гласные звуки соответствуют нулю, согласные – единице, или наоборот. Мягкий и твёрдый знаки, наверное, причисляются к согласным. Надо пробовать.

То есть буквы оригинального текста в разделе «8» перевести в двоичные символы. Потом с помощью ключа в абзаце «7.15.3» путём поэлементного сложения преобразовать их в новый набор символов. А затем, сопоставляя их с фиксированными строчками по пять нулей и единиц, записанными друг за другом тридцать три раза в разделе «10.1.», представить их в виде новых букв, которые должны сложиться в читаемый текст. Во всяком случае это будет ясно по первым переведённым таким образом словам.

Где-то он уже такое видел. Потому и способ дешифровки текста нарисовался у него в голове очень быстро. Однако за лёгкостью решения задачи как-то незамеченной оказалась странность подобного способа сокрытия данных. Куда проще, казалось бы, организовать надёжный тайник с бумагами, чем мудрить изощрённую схему кодирования записей, даже с учётом некоторой неадекватности физика, сразившей того в момент принятия сложных решений. Если даже Виталию с его, в общем-то, дилетантскими взглядами под силу расшифровать послание учёного, что тогда говорить о сотрудниках более чем компетентных в данной области органов. Или на это его игра и была изначально рассчитана? Коллеги-физики спешно пройдут мимо, а вот славные гвардейцы государства получат-таки в свои руки долю его научной прозорливости, и они не будут сомневаться, для достижения каких целей следует применить его открытие. Он собирался диктовать условия, но, по всей видимости, переоценил свои силы. Ну что ж, главное, не повторить его ошибок.

Думая об этом, Виталий машинально строчил на бумаге ряды нулей и единиц, основываясь на тексте раздела восемь. Под ними он оставлял место как минимум ещё для трёх строк, чтобы расписать знаки, как было задумано ранее. Первой строкой ниже шёл ключ, состоящий из нулей и единиц, в которые был превращён абзац из седьмого раздела, обозначенный в блокноте «7.15.3». Его он просто дублировал вперёд необходимое число раз. Наверное, так. Ещё ниже, другим цветом, он записал поэлементную сумму нулей и единиц из двух верхних строк, исходя из приведённых в записной книжке правил. Исписав таким образом две страницы, он решил, что пока хватит. Если получится, он расшифрует лишь несколько слов, которые вмещает в себя поле однообразных до ряби в глазах цифр, но уже и этого будет достаточно, чтобы понять, прав он или глубоко обманывается в своих предположениях.

На отдельном листе он выписал из указанного места в сочинении пятиразрядные коды, соответствующие буквам алфавита. И затем, выделив первые пять символов преобразованного после сложения кода в зашифрованном тексте, стал сравнивать их с «буквами» в списке.

Неужели ничего не совпадёт? Однако почти сразу же он обнаружил абсолютную идентичность первых пяти символов в тексте с пятиэлементной строкой, соответствующей в списке букве «В». Отлично, что-то получается. Или, может, это случайность? Подталкиваемый азартом игрока, почувствовавшего удачу, он погрузился в пучину знаков и, не останавливаясь, прошерстил всё, что понаписал, от начала до конца, в результате чего оставил на листе вполне заурядную, но так щекочущую нервы и греющую душу запись: «Взяв за основу».

Есть! Значит он прав. Он просто молодец, что добрался-таки до описания открытия первым. Будет теперь чем торговаться. Если физик нигде больше не зафиксировал координаты, которые отмечены в записной книжке Захарова, то прочитать исходный текст практически невозможно. А гибель Захарова, вероятнее всего, и связана с теми несколькими цифрами, что оказались однажды записанными в блокнот и до последнего момента не давали ему покоя.

Чёрт, он совсем забыл. Виталий с опаской посмотрел по углам комнаты, закрыл и убрал в стол рукопись Канетелина и свои листки. Надо было бы принять меры предосторожности, а он так увлёкся расшифровкой, что не подумал о видеокамерах, которые вполне могли установить у него в доме. Не хотелось бы раньше времени делиться своей находкой с кем-то ещё.

Чтобы восстановить исходный текст, придётся изрядно повозиться. Он представил, сколько дней уйдёт на расшифровку статьи, и тут же удивился бестолковому старанию физика, потратившего ещё больше времени на составление столь трудоёмкого и экзотического текста сочинения. Неужели физику не лень было этим заниматься? Канетелин был, конечно, ненормальным, но не до такой же степени. Если отбросить все периоды, когда тот находился в невменяемом состоянии, занятие подобной дурью не могло бы удовлетворить наделённый столь большим научным потенциалом ум. Правда, если ему никто при этом не помогал. Возможно, кто-то написал ему программу для автоматического перевода текста в шифрованный вид. Но кто? Олег Белевский? Вряд ли. Тут чистая математика, Олег такими вопросами не занимался. Наверное, один из его коллег-сотрудников, которого уже ни спросить, ни увидеть.

Однако оригинал статьи у Виталия есть, и он приложит все усилия, чтобы восстановить её исходный вид, а там уже решит, что дальше делать.

**11**

В оперативном центре глобального слежения, работающем по программе с кодовым названием «Мегалокатор», случилось непредвиденное. Вернее, оно случилось в одном из подразделений структуры, отвечающем за объекты невысокого уровня важности. Точнее всего лишь у одного из сотрудников, выполняющего личное поручение руководителя о слежке за человеком, не занесённым ни в одну из баз данных. Все записи по данному объекту за всё время слежения за ним бесследно исчезли. Не осталось ни файлов, ни ссылок, ни адресов, вообще никаких следов того, что данный человек был обозначен в системе как объект наблюдения. То есть получалось так, что оператор самовольно прекратил по нему работать и вывел его из потока информации, не предупредив о своих действиях руководителя.

Однако, насколько оператор понимал, именно последние несколько дней данные наблюдений за Виталием Сукристовым интересовали полковника достаточно сильно. Он докладывал по журналисту и предоставлял по нему материалы как минимум по два раза в день, а иногда даже лично привозил полковнику файлы поздно вечером домой. И теперь он был растерян, соображая, каким образом известить Глеба Борисовича о случившемся. Если это сделал не полковник, то последствия исчезновения данных могут быть самыми серьёзными. Сей факт будет означать, что помимо Глеба Борисовича кто-то ещё в их структуре заинтересован в информации по журналисту и даже знает и скрывает о нём нечто большее, чем руководитель проекта. Однако и тянуть с докладом было невозможно, тут дорога каждая минута. Неизвестно, какие контрмеры заготовлены у полковника, но если его сейчас не известить о проблеме, то в любом случае оператор окажется потом крайним. Он не стал заводить объект по новой, решив дождаться указаний начальства.

На звонки Глеб Борисович не отвечал. Линия их связи считалась «горячей», не реагировать полковник не мог, если только не был чем-то экстренно занят.

Прошёл час после обнаружения системных изменений, нервы напряглись до предела. Наконец полковник отзвонился:

– Я всё знаю. Ничего не предпринимайте. Работайте в обычном режиме.

Будто отлегло. Оператор успокоился и даже позволил себе выйти на улицу и выкурить сигарету, хотя в очередной раз до этого твёрдо решил бросить курить.

Но заверения руководителя в поддержке мало что значили, он это прекрасно понимал. По рассказам других сотрудников, такое уже было. Если ты попадал в особую группу или тебе было оказано особое доверие, то, исходя из специфики деятельности их секретного объекта, радоваться такому случаю мог только наивный простачок, представляющий карьерный рост как череду решений полезных для начальства задач. Карьерный рост – это борьба за выживание, а не движение вверх по служебной лестнице, здесь все методы хороши. Он готов был следовать полученным по жизни полезным советам, однако что делать в случае с руководителем проекта – не знал. Выше по должности у них никого не было, и, чьей поддержкой заручиться, оператор, пока работал с ним, придумать не успел.

День прошёл в обычной рутинной возне: настройке параметров, анализе информации, определении точек обхода, записей событий и прочей малоинтересной работе, важность которой могло понять только вышестоящее начальство. Здесь вообще было трудно разобраться, прикрывал ли он своим отчётом чей-то конкретный зад или вычислял опасного государственного преступника, поскольку результаты слежки, которые тянули на преступление, вдруг оказывались помеченными в досье как особой важности операция, а ничего не значащие подробности жизни оборачивались для объекта трагедией, истинную подоплёку которой знали лишь единицы. Он давно уже привык не обращать на поступки людей внимания. Не делай он этого, от обилия отрицательной информации о политиках и бизнесменах можно было бы свихнуться. Разграничить, что есть плохо, а что хорошо, не может даже компьютер с миллионами занесённых в него параметров. Что говорить тогда о человеке, способном интерпретировать что угодно в свою пользу и, наоборот, из малозаметной мелочи раздуть скандал вселенского масштаба. Видеть, как люди падают в бездну, к чему он в определённом смысле приложил руку, было бы ужасно, но между ним и трагедиями находились десятки посредников, и, раз ни один из них даже не попытался изменить ход событий, свою роль в превратностях судеб он считал незначительной. Геройству он предпочитал разумность, утверждающей, что выступать имеет смысл только тогда, когда для борьбы накоплен солидный потенциал.

Имея, таким образом, некоторый опыт наблюдателя, угрозы, нависшие непосредственно над ним, он ощущал очень хорошо. Что-то подсказывало ему, что сегодняшнее событие будет иметь опасные для него последствия.

Глеба Борисовича не было на работе весь день. Вечером он позвонил, назначив оператору встречу для конфиденциального разговора. Собственно, ничего особенного такая форма общения не имела. Иногда они обсуждали некие проблемы на стороне, когда руководитель по каким-то причинам не мог появиться на своём рабочем месте. И теперь вполне резонной выглядела необходимость проконсультировать оператора о текущем состоянии дел и предостеречь его от неверных действий. Обеспокоенность вызывала только резкая смена приоритетов, и в данном случае его глубокое погружение в дело журналиста не несло в себе никаких плюсов и выгод – одни лишь минусы.

Встреча была назначена в специально снятой для подобных мероприятий квартире, куда он уже один раз ходил. Наверное, она использовалась и для любовных свиданий, и если Глеб Борисович «засветил» перед ним такое место, значит, наверное, всецело ему доверяет. Впрочем, сейчас его меньше всего заботили развлечения босса на стороне. Он почему-то боялся туда идти. Даже возникла мысль оставить какое-нибудь сообщение, чтобы в будущем, если что, можно было бы вычислить его координаты, узнать, куда он направлялся, но подобная предусмотрительность могла дорого ему обойтись. Если Глеб Борисович узнает о попытках раскрыть свои тайны, то не пощадит его, вне всяких сомнений. У такого деятеля слишком многое стоит на кону, чтобы обращать внимание на мелких попутчиков. И уже сейчас, когда неприятно сковывает страхом мышцы, безысходность ситуации вселяла в оператора то неискоренимое отчаяние, которое служит людям подспорьем в момент совершения подвига точно так же, как и заставляет делать самое ужасное в жизни зло.

Он зашёл в бар напротив и, усевшись за стойкой, выпил две порции водки подряд. Почему-то он решил, что в трезвости теперь не было нужды. Дверь подъезда, куда он должен войти через полчаса, хорошо просматривалась в окно. Обыкновенная дверь обыкновенного дома. Ничем не отличавшаяся от сотен таких же в старом городе, но для него означающая край пропасти, на который он уже ступил в последние минуты неприятного ожидания. Кругом было тихо, удивительная пустота в будний вечер никак не смущала – он думал о квартире, в которой его, вероятно, уже поджидает враг, и если бы ему удалось теперь избежать опасности, он был бы, наверное, самым счастливым человеком на свете.

Уйти? Что будет, если он плюнет на всё и проигнорирует указание полковника? В конце концов, могут же у него возникнуть непредвиденные обстоятельства, помешавшие встрече, сделавшие невозможным исполнение воли руководства. Он понимал, что это не выход, но, по крайней мере, удастся отсрочить развязку истории, истории, в которой ему пришлось сыграть такую безобидную, пассивную роль. Ему всего лишь не повезло, но расплачиваться за невезение приходится сполна. В какой-то мере здесь усматривалась расхожая в мире несправедливость. Диплом с отличием, служба в армии, хорошо оплачиваемая работа, прекрасные перспективы в личной жизни – и всё это вдруг накрывается дубовой крышкой без права предпринять меры по спасению. Вполне возможно, ничего и не произойдёт, однако он осознавал, что самым логичным ходом игрока, то есть полковника, заметающего следы своего участия в деле, является устранение ненужных свидетелей, в которых оператор оказался, когда работал по журналисту. Оператор сразу понял, что журналист накопал нечто суперважное, и, на его беду, полковник сам был замешан в последних событиях.

Вспоминалась семья, где его все любили. Им гордились, каждый раз отмечая среди друзей его успехи, твёрдые принципы и место в жизни, которое он заслужил своим усердием и прилежанием. Вопреки мнению оболтусов-братьев и своенравной сестры его перспективы не выглядели скучными, да те и сами втихаря ему завидовали, в чём признавались ему поодиночке в минуты редких откровенных разговоров. Он не знал сомнений, когда учился и трудился, и лишь недавно стал задумываться о значении ещё одного фактора, так резко, бывает, меняющего жизненный расклад в лучшую или худшую сторону. Этим фактором был случай, на который он никогда бы не стал полагаться, но который, оказывается, и помимо вас выбирает пути продвижения, связанные с вашим будущим. И поскольку случай не принадлежал у него к разряду помощников, он собственноручно открыл двери противоположному его свойству – злейшего и опаснейшего вредителя. Рано или поздно такое должно было произойти. Если он не пытался заарканить удачу собственными руками, тихо наблюдая с пьедестала высоких нравов на шараханья пассионариев, то судьба подкинула ему подлянку, от которой теперь придётся старательно отбрыкиваться. Но хватит ли у него на это сил?

Он вспоминал, как ещё совсем недавно отказался перехватить инициативу у сослуживца, чтобы перейти в другое подразделение по протекции. Ему показался такой поступок некрасивым. Он упустил момент, думая, что прав, а позже на него вышел Глеб Борисович, сделавший ставку, очевидно, на его честность и неподкупность, и использовал его в своих целях до тех пор, пока указанные его качества не обернулись для босса помехой.

Он видел, как постепенно его отодвигают в сторону. Он никогда бы не стал для полковника ценным кадром, поскольку с кадрами так же, как с дружбой: важна степень преданности, ну а навыки и умение приходят со временем. Люди ищут себе в друзья подобных, остальных только используют. Поэтому полковник без колебаний пожертвует фигурой мелкого службиста, чтобы обезопасить себя от непредсказуемых угрызений чужой совести, и подобная развязка в сложившейся ситуации выглядит наиболее логичной.

Было уже не страшно, а как-то тоскливо. Вечная борьба добра со злом выглядела пустой надуманной отвлечённостью. Всё равно каждый выпячивает в душе наиболее ему близкое, а когда для услужения общим принципам необходимо чем-то жертвовать, тупо прикрывается малодушием и трусостью, в том смысле, что знал, что делает, только не мог заставить себя поступить иначе. И зачем тогда указывать на негодников с мракобесами, если в багаже их внутренних тревог найдутся точно такие же простейшие отговорки?

Родные казались теперь ближе, хотя, возможно, в голову просто ударил хмель. Милая детская возня, когда все братья и сёстры были ещё одинаковыми, спонтанные ссоры из-за пустяков, бесконечные игры и мелкие пакости, которыми изобиловала та жизнь, да даже наивная подростковая озабоченность, – всё виделось теперь сказочным путешествием из ниоткуда, лёгкой прогулкой по картинной галерее взросления, где обиды не соотносились с затратами душевных сил, на них источаемых. Виделось таким мирным переходом в новое качество, которое подразумевает терпение и боль как наковальню и молот для выправки некого сильного характера. И в череде обязательных испытаний, больших или малых – кому как представляется, исходя из опыта прожитых лет, – вы вдруг приходите в состояние милой полноценности, отрезвляющей вас до осознания отдельной величины. Вы наполняетесь радостью свободы, не терпящей никакой опеки со стороны, но и понимаете реальную меру ответственности, меч которой в виде закона незримо нависает над вашей головой. Вы старательно лавируете в среде соблазнов и препятствий, с гордостью неся свой верховный сан личности. Вы готовы теперь применить те знания, которые сделали из вас разборчивого во всех отношениях человека. И однако же тупая образина действительности вновь показывается из-за угла, намекая на бессмысленность ваших будущих усилий. Вы подходите к черте осознанного выбора, но самое главное, выбора из ничего, поскольку он давно уже сделан за вас. Пока воображение рисовало разумные ходы, которые необходимо подкрепить толковой тратой отпущенного вам времени, действительность смастерила для вас прекрасную колею с минимумом развилок и отклонений. Если не хочешь выглядеть как все, можешь брести, конечно, своей дорогой, только никуда не придёшь. Но и на колее есть возможность только разгоняться и тормозить, чтобы не потерять на повороте равновесие, – в остальном от вас ничего не зависит. Он осознал вдруг, что каким бы умником ни был, избежать участи услужения такому вот Глебу Борисовичу не мог. Ибо если ты не хищник, то внедрить по ходу собственные правила не сможешь, и любая твоя громкая затея заранее достойна лишь семейной коробки с нафталином. Все старания оказались напрасными, перспектива – надуманной мутью, призванной укрепить вас в мысли о славности выбранного пути. На самом деле существует лишь наука выживания, и ставки в ней совсем другого сорта, нежели рисуются в дипломах по специальности.

Нет, он не окажется слюнтяем. Если бы только выпал шанс! Он будет бороться, если представится хоть малейшая возможность переиграть этого верховного дьявола, руководящего их объектом. Того только называют полковником, по его званию офицера запаса. На самом деле он лицо гражданское, и о его связях с высшими властными элитами реально знают очень немногие. Его боятся, хотя он никому не угрожает. Он делает ходы на шаг вперёд, а то и на два. Такого ещё только начинаешь ощущать в качестве врага, когда уже оказываешься не у дел. Поэтому мирное сосуществование в границах его терпимости есть максимум, на что может рассчитывать любой смертный, живущий в одном с ним пространстве. В остальном же тягаться силой с выстроенной им системой недоверия и лжи есть безумие. Но в том-то и дело, что для борьбы с ней найдутся такие же безумные люди – прекрасно безумные.

Время пришло. Он вышел из бара и медленно двинулся к дому, в котором была назначена встреча. Мимо проехали несколько автомобилей, улица была малолюдной, будто вымерла, оставляя его наедине с собственными страхами. Решающий момент карьеры мог оказаться и последним в его жизни, если то, о чём он предполагал, было правдой.

Несколько шагов по направлению к месту встречи дались с трудом. Но вот он уже стоял перед дверями подъезда, и никаких минут на размышления больше не осталось. Он обернулся, как бы из осторожности, но на самом деле продлевая последние секунды нерешительности, потом без явного энтузиазма набрал шифр кодового замка.

За дверями тихо пиликнуло, одновременно с этим отщёлкнулась внутренняя щеколда. Он потянул на себя дверь, за которой образовалась тёмная пустота вестибюля, и вошёл внутрь здания. Что ему оставалось делать?

**12**

Смотавшись на работу, Виталий убедил шефа в том, что ему срочно необходимо съездить в другой город по делам. Несколько дней нужны для работы с информатором, от которого можно получить ценные сведения для будущей статьи. Таким образом, у него образовалось достаточно свободного времени, и он с нетерпением ждал момента, когда сможет уединиться в надёжном месте, чтобы приступить к расшифровке канетелинского текста.

Обдумав меры предосторожности, он решил плотно пообедать, дабы подольше не отвлекаться потом от дела. Он уже заранее представлял себя обладателем ценнейшего научного открытия, суть и конкретная применимость которого описаны в лежащем у него в столе сочинении. Он прикидывал, с какими потом людьми следует связаться, которые не смогли бы отодвинуть его на задний план. Главное – не ошибиться. С Глебом Борисовичем говорить на данную тему не стоит: он опасный человек. Как только он узнает о разгадке, он отберёт всё у Виталия, и Виталий окажется ненужным звеном. Нет, здесь нужно действовать осторожнее, возможно, действительно не в этом городе. Поехать невзначай в какой-нибудь научный центр и тихо прощупать почву там. Связи у него есть, компетентные специалисты тоже найдутся. Пока открытие не стало достоянием общественности, то есть следящих за ней представителей специальных служб, оно имеет ценность много большую номинала и за него есть возможность торговаться. В такой момент нужно успеть выбить для себя приемлемые условия. А перед тем обезопасить себя угрозой растиражировать сведения по всему миру: как правило, такая защита какое-то время действует, и его хватает, чтобы интрига всего предприятия постепенно сошла на нет. В выигрыше останутся не все, главное попасть в обойму счастливчиков. Не подсуетишься вовремя – будешь только рассуждать потом об общих ценностях, то есть кусать по-тихому локти, составляя на досуге карты нравов в контексте принадлежности их к тем или иным категориям свинства.

Виталий намазал хлеб маслом и положил на него кусок ветчины. Сверху свежайший лист салата. Приятно тягучий томатный сок позволил ощутить во рту нежнейшую гамму вкусов, определяющих ликование закусок перед полноценным обедом. Впереди его ждали великолепный суп, который он сам старательно готовил вчера вечером, и жаркое из говядины, отвечающее всем требованиям изысканных гурманов, на которые он ориентировался, возясь на кухне. Он не любил готовить, но если уж брался за дело, то выполнял его всегда качественно.

В городе царили тревожные настроения, он заметно опустел. Введённое после долгих проволочек чрезвычайное положение подействовало угнетающе. Выпуски новостей следовали один за другим, выдавая широкой аудитории массу всяческих подробностей со своеобразными комментариями. Практически они никого уже не интересовали. У микрофонов отметились деятели почти всех рангов, но по большому счёту сказать им было нечего: следовали призывы лишний раз не выходить из дома и не паниковать, то есть просили переждать – и всё будет хорошо. Работу надлежащих органов освещали скупо. Чувствовалось, что растерянностью охвачена не только среда рядовых граждан, но и слои властных структур, впервые столкнувшихся с невидимой угрозой.

Надо побыстрее заняться трудами физика – по крайней мере, можно будет определить, что это за зверь, с которым предстоит бороться.

Виталий вдруг почувствовал себя чуть ли не спасителем нации, однако высокая волна героизма не умерила его аппетит, он продолжал с наслаждением жевать, не ускоряясь в процессе поглощения пищи, а только заряжая себя оптимизмом неминуемой победы. То, что его личная выгода совпадала в данном случае с интересами народа, не означало, что он должен немедленно всё бросить и заняться претворением в жизнь своего плана, не утолив голода.

Он был степенен как всегда, тишина подсказывала ему нужные мысли, частые беды людей высвобождали в нём дополнительную энергию. Стремиться увидеть в хаосе своё главное предназначение, вышелушить из него отдельное семя благоразумия – это ли не цель высокого порядка, определяющая нужное время и нужное место для человека его уровня развития! Героизма тут, естественно, никакого. Даже близко не стоит. Ему нужно не спасать кого-то, а видеть перспективу, и потом уже признательность отдельных граждан, возможно, дополнит его историю как красочное сопровождение действий, придав им важный смысл и понятную направленность.

Он увлечённо ел, предвкушая момент, когда полностью погрузится в работу. Проблемы и беды, занимавшие сознание большинства жителей города, были теперь несущественны. Сейчас они касались его той странной гранью, которой поворачиваются лишь к сильным людям, опьянённым сказкой великих преобразований.

Внезапно он почувствовал резкую боль в животе. Качнувшись на стуле, Виталий скорчил гримасу страданий, а после замер в сложных чувствах, смешавших недоумение с испугом.

Боль не проходила, а только усиливалась, он невольно простонал, точно призывая кого-нибудь на помощь, потому что невидимым кинжалом что-то резало его брюхо изнутри. Сильнейшим спазмом сковало внутренности, в глазах поплыли очертания предметов. Он бросил столовые приборы и согнулся пополам от невыносимых схваток, терзавших его органы.

Ещё находясь в сознании, он посмотрел туманным взором на стол, сообразив, что еда каким-то образом оказалась отравленной, и рухнул на пол, не в силах терпеть всё более нарастающую страшную резь в животе.

– Вот суки, – неестественно коряво, сдавленным голосом прохрипел он.

Вокруг потемнело, прохладный пол потусторонним напоминанием прислонился к его телу и щеке, сверху ещё спускались странные ароматы. Он весь сжался, словно в этом движении заключался некий спасительный смысл. Однако неотвратимый конец уже точно возвещал о своём приближении, и чёрная пустота вопреки представлениям о проносящейся перед человеком в последний момент всей жизни нависла над ним, лишь отчётливо обозначая её осознанность.

Он попытался повернуться на полу, дёрнулся в последней судороге и замер…

На столе остался недоеденный обед. Бормотал телевизор. В остальном квартира казалась пустынной и безжизненной, словно в постоянном ожидании хозяина, отлучившегося из дома достаточно давно. Либо тишайшее его пребывание здесь выглядело настолько незаметным, что распознать следы его жизни представлялось делом чрезвычайно сложным. Во всех комнатах царил отменный порядок. Постели убраны, предметы разложены строго по своим местам. Аристократический стиль обстановки не нарушался никакой нелепой небрежностью, не допускаемой журналистом даже после запланированных в его доме встреч. Поэтому и теперь в спальной было настолько чисто и уютно, что не давало повода придраться ни к какой мелочи. Поставленные в ванной в стаканчике две его разные зубные щётки были разведены в стороны и ни в коем случае не соприкасались друг с другом щетинками. А милая прибранность царила также и на кухне, где ничто не указывало на беспорядок, связанный с приготовлением вкусных кушаний.

Тело лежало в согнутом положении, голова повёрнута в сторону, будто последний взгляд был обращён на дверной проём.

Небольшой коридор вёл в гостиную, которая являлась и зоной отдыха и рабочим пространством одновременно. В дальнем углу у окна стояли письменный стол и кресло. На столе ноутбук, часы, стаканчик с карандашами и ручками, синяя книжка – всё с идеальном порядке, как на выставке в музее. Пыль тщательно вытерта, а предметы аккуратно расставлены по местам, точно в продуманной заранее композиции, характеризующей малоинтересный, пассивный образ жизни журналиста. В ящиках стола сложена всякая мелочь, тетрадки со скупыми записями на разные темы, и только нижний ящик целиком занимает толстая папка с сочинением Канетелина, а также несколько листов, исписанных разноцветными значками, говорящих о недавнем интересе журналиста к рукописи, в которой он, наподобие исследователей древних манускриптов, обнаружил необычайной важности скрытый смысл.

В прихожей раздались щелчки открываемого замка. Порог переступил незваный гость. Дверь аккуратно закрылась, затем так же еле слышно щелкнул внутренний замок.

В темноте коридора нарисовалась фигура. Мягко ступая, человек двинулся в комнаты, похоже, зная, что внутри его уже не сможет остановить обнаруживший незаконное вторжение хозяин дома.

По пустынной грунтовой дороге в пригороде ехал автомобиль. В направлении, в котором он двигался, ничего не было – отдельные пролески и болото, – поэтому навстречу не попадалось ни единой живой души. Старая деревня, обозначенная на карте водителя, пустовала уже доброе десятилетие, если не больше.

Пробираться удавалось с трудом, но дорога была ещё крепкой, кое-где усиленная щебнем, только местами она терялась, и некоторые участки приходилось объезжать стороной.

За рулём находился Глеб Борисович. Рядом на сиденье стоял портфель с большущей папкой внутри, перчатками, маской и парой флаконов с химическими реактивами. Он ехал и раздумывал об опасностях нашего мира, причём как человек, подчинённый строгим правилам управления, опасность он воспринимал несколько иначе, чем простой обыватель, пусть и обладающий достаточно большой широтой взглядов, какую имел Виталий.

Он с грустью посмотрел на портфель. Ну что ж, это была последняя жертва, жертва неизбежная в сложившихся обстоятельствах, но уже последняя. Теперь никакая случайная погрешность не сможет привести мир к катастрофе. Никакой болезненный ум не окажет влияние на действующий порядок. Индивидуализм не может простираться так далеко, чтобы быть источником вакханалии в обществе. Поэтому в противостоянии человека с системой он выбирает систему, а сладкозвучные мотивы, являющиеся движущей силой отдельных отпрысков эпохи, пусть остаются лишь в умах их почитателей. Пусть не вылезают наружу своей искривлённой правдой, грозясь перевернуть устоявшийся с веками миропорядок с ног на голову. Иногда им удаётся многое, этим индивидуалистам, и люди им рукоплещут, и Глеб Борисович сам был готов побаловать кого-нибудь своим вниманием. Однако беззлобные страсти души неотделимы от самых гнусных проявлений человеческой натуры, и вложенные в руки некоего малохольного умом сила, да пусть и мудреца семи пядей во лбу, неизбежно обернётся для ближайших бедой. Если не для отдельно взятой страны. Если не для всего человечества в целом. Нет, мир не для того создавал сообщества, чтобы можно было открыто пренебрегать правилами общежития, чтобы можно было открыто измываться над существованием убогих. Глеб Борисович хорошо представлял себе человеческую природу. Странная трансформация взглядов Виталия, которая произошла за короткий срок, буквально на его глазах, лишь утвердила его во мнении о зыбучести отдельных сознаний, о непредсказуемой изменчивости позиций, основой которых являются вкусы и желания. Как бы кто ни отрабатывал по жизни свой запрограммированный код, ничто не гарантирует со временем от его сбоев. Смутьяны обычно слишком уязвимы, чтобы не представлять из себя угрозу, от них нужно вовремя избавляться. И хоть единоличные решения Глеба Борисовича противоречили его собственной концепции общего разума, общего подхода к выполнению задач, он считал себя вправе выступить от имени системы, которую представлял. Время от времени поляну нужно подчищать, в том и заключалась сила коллегиального противостояния злу, когда инициатива лежит в русле целенаправленного поступательного движения.

В отношении жертв он не испытывал глубокого раскаяния в содеянном, он сам мог оказаться жертвой, а его философия отводила человеколюбию лишь определённые в пространстве рамки. Он знал только, что любовь не заменяет смысла, а истерики души происходят чаще от внесистемных метаний человека от одного призрака к другому. В жизни важен каждый шаг, но какой из них окажется роковым, не дано предугадать никому. Лучше всего быть последовательным, тогда, по крайней мере, будет меньше вероятность совершить такую ошибку, о которой придётся потом горько сожалеть.

Конечно, и честные, порядочные люди страдают нередко от своей последовательности. Однако он не находил, что вещи эти взаимосвязаны, нужно уметь терпеть. Себя он, естественно, порядочным не считал, не видя выхода в сложившихся обстоятельствах, которые отвели ему особую общественную роль. Но и не думал терзаться по поводу чётко выраженных своих уголовных способов решения проблем, полагая, что если и воздастся ему за грехи на том свете, то с учётом нейтрализации своим злом более значительного и разрушительного по воздействию чужого.

Итак, загадок не осталось, ибо самой главной загадкой является человеческая непредсказуемость. Сколько несчастий, возможно, предотвращено помимо случившихся. Открытие учёных, разумеется, будет зафиксировано, но останется тайным для общественности. Оно будет надёжной основой для защиты интересов системы до тех пор, пока мир не озарится новой глобальной находкой, несущей в стан прогресса нетерпеливые выходки инакомыслящих. Кто-то видит в последнем естественный процесс, ведущий человечество в будущее. Только не стоит путать человечество с горсткой ополоумевших гениев, в руки которых тоже попадают иногда заветные сигналы издалека. Или тех, которые не отдают отчёта в своих действиях, теряясь от всесилия и бессилия в одном флаконе.

Глеб Борисович вёл автомобиль с ощущением того, что оказал стране большую услугу, разобравшись в ситуации чётко и достаточно оперативно, предотвратив расползание опасных знаний по любительским углам. Мысли о жертвах среди горожан возникали скорее по инерции, как досадные промахи в работе, не допустить которые, однако, он был не в состоянии. Он верил, что, не обруби он вовремя все концы, жертв могло быть во много раз больше. И вот тогда действительно ничего сделать было бы уже нельзя. Он грустил, вполне довольный собой. Ни одна из потерь в среде известных ему людей не выглядела бессмысленной. Каждый из них имел право на существование, но такова жизнь, которая смешивает в одно целое достойных и недостойных, предлагая отвечать на вызовы эпохи по-боевому жёстко.

Лишь лёгкие отголоски настроений, связанных с эпизодами, когда он был дружелюбен или участлив в чьей-либо судьбе, давали ему повод смотреть на мир обывательскими глазами. В остальном же его ум был пронизан взглядами государственного масштаба, и распылять их на малозначительные составляющие он считал себя просто не в праве.

А природа была приветлива и дружелюбна, как всегда. Она умалчивала о неумении приспосабливаться к ней, поглощая коварство и злобу, по-тихому изобретая новые для противостояния им формы. Зато открыто встречала доброе внимание, удивление, страсть, словно для этого создавая свои лучшие визуальные и шумовые эффекты.

Вечернее солнце, освещая салон автомобиля, дарило радость. В хрустальном блеске синевы отражался покой с миропорядком. Ничто не внушало опасений, жизнь была такой же прекрасной, как и раньше. Невнятные желания встряхнуть тайный смысл всеобщей гармонии пока остались у людей неосуществимыми.

Дорога петляла теперь сильнее, в прошлый раз добраться до пункта назначения казалось проще. Глеб Борисович уже не посматривал по сторонам, но тем не менее уверенно повторял извивы грунтовки, всё дальше забираясь в глушь пустынных территорий. Его никто не ждал, он ехал в заранее подготовленное место, скучное и унылое, но, как показывает практика, самое надёжное, когда необходимо некоторое время побыть одному.

Его не пугал однообразный пейзаж вокруг. Наоборот, чем скупее открывалась перед глазами картина, тем богаче и интереснее в противовес ему выглядел собственный внутренний мир. А он, благодаря незабываемым встречам со своими вынужденными оппонентами, теперь уже стал его временами чувствовать.

# ЭПИЛОГ

Через два года после описанных событий город дышал уже гораздо свободнее. Жизнь потихоньку вошла в прежнее русло, и горожане неохотно вспоминали о трагических днях, так и не узнав, кого следовало подозревать в своих бедах. Поводов для беспокойства больше не было. Мир не перевернулся, даже в этом многие находили заслугу руководства. Хотя им ничего не объяснили, бытовало мнение, что те, кто должен знать, обязательно всё и знают. Так или иначе, люди вновь почувствовали себя защищёнными, что в данных условиях было равносильно благодарности властям, которые они избрали.

На окраине города в ухоженных скверах цвела сирень. Хвойно-лиственные посадки пленяли глаз изумительным сочетанием торжества и мягкости. Длинные аллеи уводили в глубь парковой зоны, где она переходила в поля и рощи, перемежающиеся с современными коттеджными посёлками. Строительство никогда не прекращалось, и уже новые карапузы бегали на благоустроенных площадках под присмотром молодых сердобольных мам. Те собирались группками или прогуливались поодиночке, но новости, обсуждаемые ими, уже касались личных проблем, и в разговорах их уже не мелькала обозначенная прошлыми событиями тревога. Совсем исчезла с лиц странная растерянность, вновь засияли улыбки, и теперь жизнь неизбежно крутилась вокруг нового подрастающего поколения.

В одном из домов коттеджного типа на втором этаже лежал в кроватке и шевелил ручками маленький Захаров. Доносящиеся с улицы звуки привлекали внимание, он с интересом прислушивался, пытаясь понять, какому роду удовольствия они соответствуют. Мальчик был счастлив, вытаращив глазки и с изумлением рассматривая верхнюю часть комнаты. Пока никого рядом не было, он самостоятельно радовался жизни, удивительные моменты в которой оказались такими непредсказуемыми.

Невольно потянувшись, он хлопнул ресничками и неожиданно для себя крякнул, придя в приятное возбуждение от скрытых в себе возможностей, рисующих жизнь такою весёлою штукой. Трогательные «аки» вырвались изнутри снова, он зашевелил губками, сложив их бантиком, придав лицу умилительное выражение, и затем уже целенаправленно попытался повернуть голову, чтобы осмотреться.

В комнату зашёл Дима Захаров и склонился над кроваткой:

– Ну что, моё солнышко, мы проснулись?

Он потрогал пальцем ладошку малыша, и тот, увидев перед собой знакомого человека, засиял улыбкой.

Дима взял сына на руки, в который раз испытав необыкновенное чувство обожания этого милого и сладкого комочка любви. Все выразительные средства плоти и души оказались сконцентрированы в данный момент в маленьком существе, призванном носить гордое имя его ребёнка.

– Ну, как там у нас дела? – Он просунул палец под памперс. – О-о, похоже, пора переодеваться.

Ребёнок почти не кричал, лишний раз не беспокоя никого своими проблемами. Столь «воспитанное» создание, как в шутку думал Димка, вызывало подозрения скрытой формой его естественных потребностей. Но врач-педиатр объяснил, что в молчании малютки в экстренных ситуациях нет ничего необычного, его психика не страдает и он развивается по вполне нормальным правилам для малышей. Просто в данный период он может обнаруживать закодированные в его голове отголоски предков, что выражается в тех или иных реакциях на раздражители и заложено в него генетически. И принцип сдержанности или кричания есть только малая величина его развивающихся психофизических способностей.

Димка мало что понял из объяснений доктора, но подумал, что его сын уникальный, а стало быть, предрасположен к разного рода странностям, и от этого любил его ещё сильнее. Наверное, жизнь и должна продолжаться как-то подобным образом. Всё, что недосказано в нас, обязательно отразится в будущем. Серое станет чёрным, белое – ещё белее. Мир увидит оттепель, потому что не может же он всё время закаляться, а зарождающееся внутри него противостояние прорвётся однажды гнойным нарывом и унесёт прочь тягучие сгустки брожения, очищая поверхность от остатков агрессии.

Комната светилась счастьем. Оно не прерывалось никогда с тех пор, как они сюда переехали; их чудный малыш, само собой, являлся главной его составляющей. Глядя на него, Димка ощущал любовь не просто как привязанность к конкретным людям, а как всемирное чувство, свойство Вселенной, насыщенной такими же крохотными созданиями и миллиардами лелеющих их родителей.

Ему казалось, что и Лида была для него как ребёнок. Во всяком случае, он почему-то видел в ней человека, достойного точно такого же обожания, такой же безумной нежности, какие он постоянно проявлял по отношению к своему сыну. После того как она родила, он стал любить её ещё сильнее. Он чувствовал, что изменился. Насколько уравновешеннее он стал, поглощённый домашними заботами. Насколько более важным он представлял теперь своё участие в судьбах, а главное, в судьбе далеко не безразличного ему человека, испытывающего сильное желание скрасить его жизнь. Какими ещё делами он мог отблагодарить такое трепетное сердце, если не созданием уютной атмосферы тепла и привязанности, заботы и ласки, которыми наполнилось их новое жилище?

Он с интересом отмечал в себе смещение акцентов, уже не видя обязательным убийственное ковыряние научных баз в будущем. На них пойдёт только остаток его энергии, и каким он на самом деле окажется – покажет время. Теперь же его вполне устраивала безмятежность, в которой он нашёл главный смысл своих прежних экзальтаций, которая много полнее славы, открытий, устремлений, зависти и честолюбия, вместе взятых.

Димка уложил малыша в кроватку, тот проявлял активность, довольный тем, что им занимаются, видимо, помня, что с папой всегда весело. Он хватал палец, которым Димка водил по его животу, и пытался тащить его на себя. Палец не давался, кулачок соскакивал, что почему-то приводило мальчика в восторг. Он издавал радостный вскрик, будто его веселила целая армия клоунов, и эта его яркая самобытность сама по себе заставляла испытывать к нему нежнейшую любовь.

Пухлые щёчки и большие сияющие глаза ребёнка неизменно побуждали к проявлению самых тёплых чувств. Он забавно шевелил ручками и ножками, его милая открытость миру подавляла любые разочарования. Хотелось видеть его смеющимся и довольным, уделять ему массу времени, а поскольку это чудное дитя и плакало всегда как-то тихо, извинительно, проявляемая к нему нежность укреплялась даже мыслями об особом взаимодействии душ в их семье.

Безотчётная преданность заботам о ребёнке само собой характеризовало отношения Димы с Лидой. С первого взгляда можно было понять, что они безумно счастливы. Ушла в прошлое неопределённость, и их жизнь, значительная часть которой была связана теперь с событиями в доме, обросла бытом, с каждым днём открывающим им новые прелести, когда в однообразных мелочах видишь только удовольствие.

Вечером, полулёжа на диване, обнявшись, они смотрели телевизор. Димка следил за сменой картинок на экране, но думал о Лиде. Он не переставал восхищаться ею. Она была рядом, чувствовалась всем телом, и высшая форма блаженства от соприкосновения с ней подкреплялось приятным словом «любимая».

Он держал её за руку, будто после долгого расставания, и видел крепкую, дружную семью, мыслями о которой был поглощён без остатка. Она являлась и мечтой и реальностью, с ней он понял, что такое настоящая любовь. Он испытывал уверенность, что у них непременно ещё будут дети.

2011 – 2016

СОДЕРЖАНИЕ

[ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 2](#_Toc84329325)

[ЧАСТЬ ВТОРАЯ 182](#_Toc84329326)

[ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 338](#_Toc84329327)

[ЭПИЛОГ 489](#_Toc84329328)